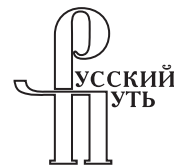


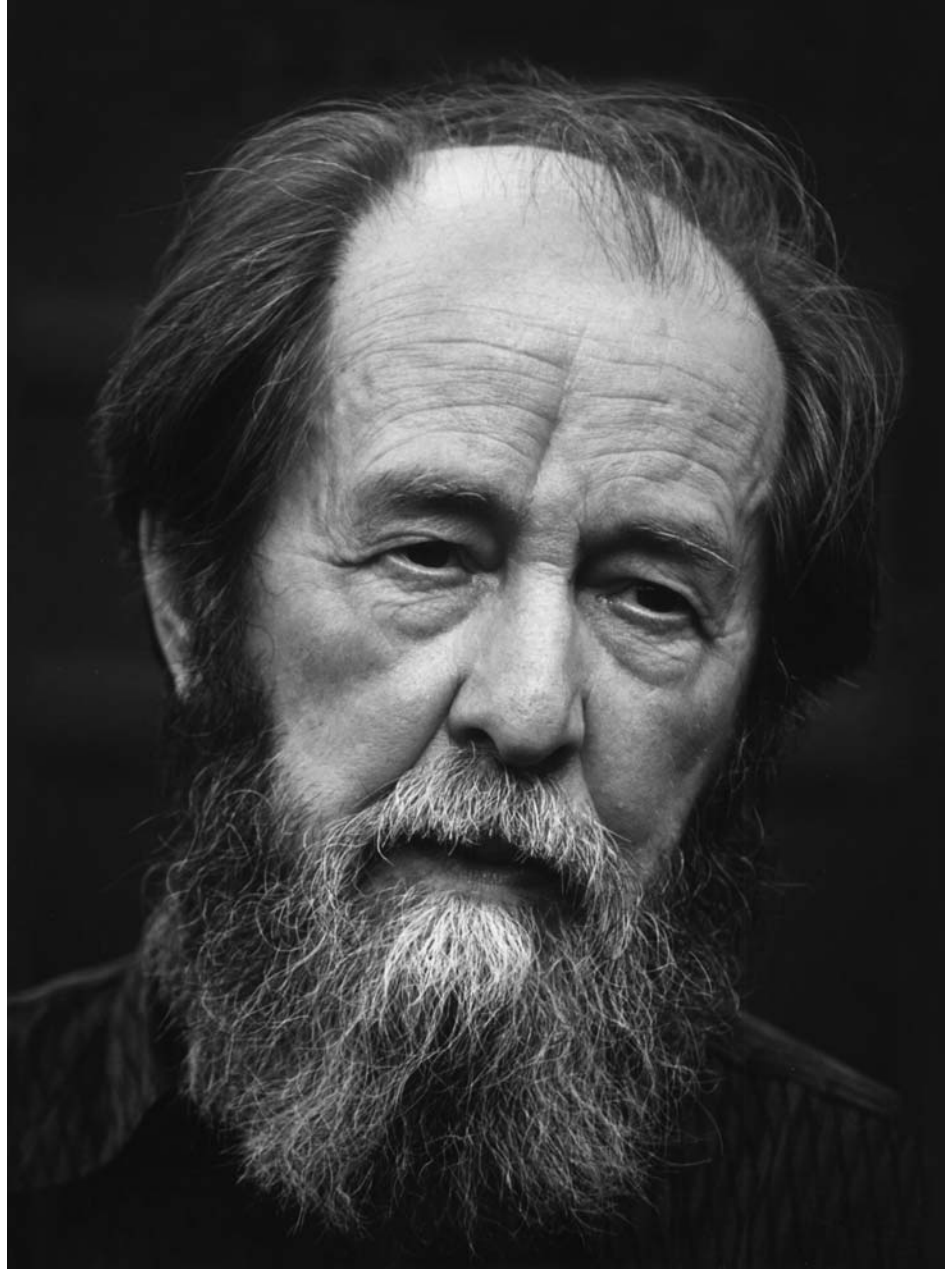
A photograph of an elderly man with a full, grey beard and hair, wearing a brown textured jacket over a striped shirt. He is seated in a library, with bookshelves filled with books visible in the background. The lighting is warm, highlighting his face and the texture of his clothing.

МЕЖДУ ДВУМЯ
ЮБИЛЕЯМИ
1998-2003

*Писатели, критики,
литературоведы о творчестве
А.И.Солженицына*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКИЙ ПУТЬ»





МЕЖДУ ДВУМЯ
ЮБИЛЕЯМИ
1998-2003

*Писатели, критики, литературоведы
о творчестве А.И.Солженицына*

Альманах

Составители
Н.А.Струве, В.А.Москвин

Москва • Русский путь • 2005

Художник
С.А. Стулов

Альманах «Между двумя юбилеями (1998–2003)» собрал наиболее заметные выступления отечественных писателей, публицистов, критиков и литературоведов, посвящённые жизни и творчеству А.И. Солженицына и приуроченные к его 80- и 85-летнему юбилеям.

Альманах открывается разделом, куда включены новейшие публикации А.И. Солженицына: фрагменты 1965–1967, 1974–1976 годов из «Дневника Р-17» (Дневник романа о Революции Семнадцатого года — «Красное Колесо»), несколько фрагментов «Из путевых записей» (1994), беседы и интервью последних лет (с Витторио Страда и Питером Холенштейном).

Отрывок из «Дневника Р-17» 1976 года предоставлен писателем специально для настоящего Альманаха и публикуется здесь впервые.

В следующем разделе собраны наиболее яркие статьи, эссе, аналитические заметки и размышления о феномене судьбы, личности, творческом пути А.И. Солженицына, принадлежащие перу отечественных публицистов, критиков, общественных деятелей, уже публиковавшиеся в газетно-журнальной прессе и вызвавшие в своё время живой читательский отклик и большой полемический резонанс. Все вместе они дают панорамное представление об огромном общественном интересе к уникальной фигуре А.И. Солженицына, современного русского классика — художника и мыслителя. Они обнаруживают также и дискуссионную составляющую этого интереса: Солженицын — писатель, которому общество адресует свои большие вопросы.

В Альманахе эти материалы воспроизводятся с согласия авторов, в хронологическом порядке, с указанием времени и места их первого появления в печати.

Последний раздел составили материалы Международной научной конференции «Александр Солженицын. Проблемы художественного творчества», посвящённой 85-летию писателя и прошедшей 17–19 де-

кабря 2003 года в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье». В конференции приняли участие филологи, философы, историки, переводчики произведений А.И.Солженицына на иностранные языки, общественные деятели из России, Украины, Великобритании, США, Франции, Китая.

Тексты докладов и выступлений отечественных и зарубежных учёных даются в авторских редакциях и публикуются в той последовательности, в какой они прозвучали на конференции.

При подготовке Альманаха к печати издательством была проведена сплошная сверка цитат из сочинений А.И.Солженицына в соответствии с указанными источниками.

*Н.А.Струве,
В.А.Москвин*

Часть первая

А.СОЛЖЕНИЦЫН.
ИЗ НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

ТРИ ОТРЫВКА ИЗ «ДНЕВНИКА Р-17»*

1965**

18 июня

Сейчас, когда я, кажется, взаправду вступаю в роман всей моей жизни, задуманный в 1936 г. (сформулировано 18.11.36, но ещё и до того, наверно, надо мной носилось в воздухе неясно — с каких-то ранних детских лет), — сейчас потянуло меня не разбрасывать распирающие мысли и сомнения, а заносить их в дневник, так успокаиваться, отъединяться для работы.

Последние дни я был угнетён от своего ничтожества перед этой темой, перед таким размахом. Я знаю — что́ нужно, но не верю, что могу осуществить это, — я, со своими ограниченностями.

Потом записал себе такое У т е ш е н и е:

1) даже если роман совсем не удастся — его надо писать. Так много обдуманно — что нельзя теперь этого не высказать, хотя бы просто для разъяснения, как исторический этюд. И

2) если я — не смогу, — то ведь в современной литературе, насколько можно судить по поверхности, — и никто другой не может.

А тем, кто будет приходить *после* нас, — будет и ещё трудней. Для них потеряются последние ощущения *современности* этих событий. Они будут рассматривать их так же исторически, как декабристов, Новгород или наполеоновскую войну.

<...>

* Дневник романа о Революции Семнадцатого года — «Красное Колесо», тридцать лет сопровождавший работу автора: 1960–1991. — *Ред.*

** Публикуется по: Литературная газета. 2003. 10–16 декабря. С. 3.

19 июля

Ещё, наверно, вот зачем я начал этот дневник: чтобы запретить себе дальнейшие проволочки, откладывание, работу над чем-нибудь другим. Полное ощущение, что я *вхожу* во храм, *вхожу* — и, значит, надо писать. (Смешно, конечно, что первые строки дневника начались раньше первых строк романа.)

Сегодня я очень хорошо работал над тамбовскими материалами — и смотрю, что они целыми кусками, почти готовыми ложатся в будущий роман. Это то дивное ощущение, когда «всё само начинает вязаться», как у шахматиста, в чью пользу склонилась партия: его слонам сами открываются все нужные диагонали (а противнику, как назло, сами запираются), его коням каждая клетка обещает дать *вилку*. Так и у меня вдруг — выплывают эти «вилки», которых я не подстраивал: 2-я армия Самсонова — и 2-я под Несвижем; Западный фронт — и демобилизация его в Тамбове. Не надо ни в чём насиловать Историю — она сама стелет дорожки для героев. И, кажется, папин путь — если б он не умер — я тоже начал постигать в эти дни. (Я добавлю ему несколько лет жизни — таких горьких, каких он не знал...)

И ещё: когда я печатаю на машинке серьёзный ответственный текст — я просто никогда не ошибаюсь. Но когда печатаю обязательные, но скучные и не нужные мне ответы (вчера — отзывы на бездарные рукописи), я ошибаюсь непрерывно, стыдно смотреть на грязный лист. Так, наверно, и в творчестве: страшно браться за Р-17, слишком огромно для моих сил, — но уж там-то я выложу их вполную, все, не сделаю глупых ошибок. <...>

Я понимаю, во что я вступаю, — в Храм. И только если Бог благословит — я могу справиться с этим непомерным.

Этот Роман, ещё не написанный, всегда был величайшей любовью моей жизни. Ничего на свете я не любил до такого обмирания сердца. Все эти четверть века, хотя ни одной взрослой строчки в нём нет... (Нет, уже не четверть века, а треть...)

Дневник станет ещё одним действующим лицом в создании романа — моим помощником, критиком и — погонщиком. Это бодро получится. (Никогда я не нуждался в подстёгивании, а сейчас, м.б., и понужусь.)

(Июль, Тамбов)

В город, совсем незнакомый мне, приехал как в свой родной: хожу, хожу и *знаю*, каким это *было* в 1917–1920. Облегчается тем, что вся главная часть Тамбова почти не подверглась никаким перестройкам: город

остался, каким и был в революцию. Захожу в интересные дворы, рассматриваю здания сзади, захожу в парадные. Поучительные улицы: дома, как физиономии, выражают характер, выдумку и выдвижение своих хозяев, а слова «архитектура» как не знали. — Архиерейское подворье. Двор Казанского монастыря. — В Нарышкинской читальне и в областном архиве — набираюсь, набираюсь из газет того времени и ещё каких материалов. Но есть новое здание партийного архива — туда меня не пустят, а там-то — вся главная суть «антоновщины». В бывшем дворянском собрании воображаю ту историческую речь Тухачевского. Пораспытать бы жителей старых — да разве теперь это возможно? Кто будет рассказывать незнакомому?

11 июля

Поездка в Тамбов убедила меня, что он задуман верно. Большой импульс. Не потерять ощущения. Надо начинать!

(Хотя собрано и обдумано уже так много, что я не ошибусь, если 1963 год уже буду считать началом систематической работы над романом.)

— «Красное Колесо»? <...>

1966

<...>

1 июля

Перечитывая свои юношеские главы романа, написанные в 1936–1938 годах, обнаружил: текст беспомощный, писать совершенно я не умел, поддавался худшим литературным традициям, а в чём состоит подлинная литература — не знал. Взять оттуда для сегодняшнего романа — нечего. Но вот удивительно: распределение материала по главам, строение Части, т.е. композиция — абсолютно зрелая, могу использовать сейчас. Значит, чувство композиции — моё природное!

1967

8 августа

Как-то и опыт «Матрёны» — этот простой, но до дрожи мистический тон, тоже должен иногда находить место в романе.

10 августа

Как интересно выясняется по ходу дела. Установив для себя три вида изложения (обычное, политическое и кино), я никак не мог приладить двух последних (и общей фрагментарно-стыковой манеры) к первым двум частям романа. Получалось только традиционное медленное изложение большими главами (ну, м.б., кино-фрагмент будет при прорыве кольца окружения). И вдруг понял: да ведь I и II Части и должны быть такие! — они же до революции, ещё в п р е ж н е й России.

Так материал сам меня поправил. Форма романа будет *меняться на ходу* — по мере самой Революции!

21 августа

Нет надобности так броско заявлять об особой форме глав, как это делает Дос Пассос или даже Хемингуэй. Нет надобности злоупотреблять даже шрифтом. Главы обзорные или «политические» буду отмечать обыкновенным штрихом у номера: 12' вместо 12. Читатель неискушённый и внимания не обратит, да ему и незачем: читай и читай себе подряд. А дёбка сразу заметит, что здесь *класс* глав. Обзорные главы и не должны через меру выделяться от повествовательных: ведь это только железобетонные балки при кирпичачах, в то же здание идут.

Так и кино-главы могут быть отмечены 18" или 18-к. Впрочем, по сдвигам своих строчек и настоящему времени повествования они сразу станут заметны всем.

Но, разделив для себя типы глав, уж в «обычных» главах не допускать ретроспекции и скольжения. Уж там давать повествование добротное.

— И сегодня же придумал, с кого писать Арсения Благодарёва. Удивительно простая и блестящая мысль!..

22 августа

Что значит написать этот роман? Это — стать себе на плечи, и ещё раз тому второму на плечи, и тогда напрячь ноги, подпрыгнуть, зацепиться пальцами за край стены, подтянуться и перелезть. Вот так — трудно. Вот так — почти невозможно.

А иногда думаю: не исключено, что и справлюсь, а? Вот диво-то будет.

30 августа

Нет, что за радостно-возбуждающая эта работа — формировка сюжета! Куда сосредоточишь взгляд — там из серого тумана выплывает лицо

за лицом, связь за связью, событие за событием. Рождается целый мир, но не тобою, а Демиургом давно рождённый, — ты же только помогаешь ему выявляться.

— Вот, оказывается, как пишется такой роман. Это не повесть, даже не «шарашка», где можно было прямо начинать с 1-й главы. Здесь сами собой вот какие получились этапы работы.

1) Полуслепой поиск материалов (вернее — «нёводное» собирание их подряд), группировка по проблемам («пёстрые конверты») и по Узлам Истории = Частям Романа (чёрные конверты).

2) Сосредоточение взгляда на Узле или на возможной сюжетной линии — и так

возгонка сюжета (голубые конверты)

выявление персонажей (серые конверты).

Как из серого тумана проступают цветной сюжет и цветные персонажи.

3) (Конечно, начинается вперемежку со 2), как и 2) — с 1).) Более законченная формировка сюжета — до поглавных планов (коричневые конверты, коричневые обложки).

И м.б. год целый буду только это и делать, пока дойду до

4) Само писание, 1-я редакция.

(Декабрь, из *Коричневой тетради*)

Отличное состояние одинокого творчества. Его свойство: во время пустых дел (хозяйство, лыжи, велосипед) какая-то подъёмная площадочка в тебе всё время подаёт и подаёт наверх мысли, просто заваливает, успевай записывать в разные места. Это работает подсознание, домысливая то, чего ты не домыслил вчера и позавчера. В таком именно стиле, заглотом, навалилась на меня вся шулубинская глава* во время хозяйственной велопоездки из Рождества в Наро-Фоминск летом 1966. Хорошо, что была бумага и карандаш, слезал и записывал.

* Глава «Ракового корпуса».

1974*

16 апреля, третий день Пасхи

Сегодня ко мне в Цюрих пришёл и этот дневник, вместе со спасённым романом (впрочем, роман был дублирован плёнкой, не пропал бы)**. И эту праздничную запись делаю в старой тетрадке на новом месте, на мансарде, в «ленинском» городе. Не пустой символ, что вытягивать роман дальше буду в Цюрихе.

Тепло и радостно ощущать пальцами любимую бумагу. Запишем, а когда-нибудь и поведаем, как же это всё протекло через железный занавес.

— Не зря, не зря я в конце года подводил все итоги, «Телёнка» кончал. Действительно тряхнуло. Действительно перелом.

13 мая

Счастье архива вновь собираемого: разными подпольными путями приходят из России материалы, заготовки, книги — и всё ныряет в старые конверты, папки (чему нет старой оболочки — как чужое, не привыкнуть). Сегодня 3 месяца, как я всё «пересаживаюсь». Пора писать по-серьёзному. Да до романа (прерванного 28 октября в Рождестве) ещё далеко: набралось других дописок и доделок на несколько месяцев. <...>

8 августа

Июнь и июль ушли на «Телёнка». Работаю хорошо, а до романа не добраться. Сейчас окунулся в ленинские материалы — так много их (да ещё на немецком), что и через них не пробиться сразу писать.

24 августа

Сегодня раскрыл общий план 2-го Узла, подготовленные заметки о 3-й редакции — и ужаснулся с болью: я так от 2-го Узла отвык, отстал, как будто писал его в другой дальней жизни или вообще не я. Такого огромного перерыва в работе над романом у меня никогда не бывало.

* Публикуется по: Известия. 2003. 11 декабря. С. 10–11.

** Солженицын был выслан из СССР 13 февраля 1974-го, а большая часть его архива вывезена доброжелателями — тайно, в несколько приёмов в течение 1974 г. — *Ред.*

Приступлю — как заново, но — когда приступлю? Ещё так много арьергардных боёв, ног не вытянешь, и публикаторской работы, и неизбежных европейских встреч. Было время — рвало меня сердце в политику, по сути и сейчас рвёт и много раз ещё утянет, — а всё ж какое-то внутреннее благоразумное опоминанье происходит во мне: как бы мне вернуться целиком в литературу? зачем я себя истрачиваю на низшем уровне, на публицистике, доступной каждому болтуну? Почему не спешу, пока длит Бог жизнь, восстанавливать, восстанавливать истинную нашу историю, уберечь её от поверхностных мальчишеских суждений? <...>

25 августа

Сегодня прекрасно нащупался узелочек, как Ленин сам подстроил, организовал отъезд через Германию, пустив дезинформацию, что это готовили Мартов, Grimm, кто хочешь, только не он. Событие хорошо стягивается к 18 марта ст. ст. — и так можно будет кончить Узел III — по моему принципу — не размазывать того, что описано: отъезд и т.д. Всегда важно скрытое решение события, а не внешнее проворачивание его. Для отъезда пришлось бы удлинить Узел на 6 дней — вряд ли нужно, заменю календарём.

26 августа

Ленинский переезд через Германию как мост перекинул меня в 4-й Узел и первым реальным входом втянул туда. И вот — первый Календарь Революции составляю.

29 августа

Сейчас обнаружил, что дважды (независимо) делаю одно и то же построение-предположение: что Ленин, инерционно увлечённый *своими* важными делами, один раз пропускает, не замечает Мировую войну, другой раз — Февральскую революцию (не сразу приемлет). Думаю, что это — вполне верно (сужу, как он в Поронине влип).

30 августа

В ленинских главах впервые встречаюсь с языковой задачей, противоположной моей обычной: надо тщательно убирать даже из авторской речи (чтоб не создать неверного *фона*, языковой фон всегда должен соответствовать духу персонажа) всё сколько-нибудь своеобычное, русское, яркое, объёмное: надо выплощивать, высушивать речь — и только так приблизишься к реальной ленинской. <...>

13 сентября

Не расхлебать бесконечных нагромождений и уплотнений, которые создались из-за того, что я пропустил Узел «Август Пятнадцатого». Вот и Циммервальдская конференция как раз туда ложилась. Даже теперь, когда «Октябрь 16-го» почти готов, — всё снова и снова подмывает меня соблазн: а не пересмотреть? а не построить хоть теперь этот Узел? Страшно — потеря времени, вновь и вновь читать источники, перестраивать многие главы в «Октябре 16-го», а то бы сделал...

<...> Нет, что упущено, то упущено, к этому вернуться уже не по силам. А ретроспекцию с Лениным надо нагнать ещё одной (третьей!) главой во втором Узле: Германия — Парвус — тайные связи.

При трёх главах можно дать Ленина в трёх тональностях: с кегель-клубом — юмористической, в Упадке — лирической, в подпольных связях — зловещей.

Глава «Кегель-клуб» ляжет как прыщ на рабоче-крестьянских главах. Никакой связи с Россией — ни чувством, ни мыслью, ни почтой. Даже русскому мотиву, русской теме в этой главе неоткуда возникнуть.

14 сентября

По сути, я впервые за роман нахожусь в Цюрихе в таком положении, что живу и пишу в том месте, где происходит действие (и даже — в нужные месяцы можно проверить погоду — октябрь и март). Это особенно удачно для таких «мозговых» глав, как ленинские.

20 сентября

Сегодня окольным долгим путём дошёл *последний кусок архива* — а именно всё ленинское. И так, дал Бог пройти это годовое испытание. Пошли теперь силы писать Узлы! Как уйти, уйти из общественной деятельности?!..

21 сентября

Состав и расположение ленинских глав во 2-м Узле совершенно ясны. Но как *исполнить* их? В своей трактовке Ленина — уверен, и материала собралось — премного, и локальный швейцарский. Но как *исполнить*? — каждую главу по-разному и не скучно? Бродят мысли о какой-то совсем новой форме для «Кегель-клуба»: истерическую цепь фрагментарных коротких абзацев, перебивчивость их. Пересечения мыслей и доводов — то прямая речь, то косвенная. Диспут — протокольно. Бессвязно проговариваются безликие избитые социалистические формулы. Отврати-

тельный бледный, сухой язык. Если это всё бы совместить — будет остро, ново.

26 сентября

«Кегельный клуб». Трудность таких «многоголосых» глав: материал группируется не только по темам, частям сюжета — но и по методам изложения (мелодиям). И из этой перекрёстной систематизации постепенно вытокается глава. Очень много разного сразу держать в голове и увязывать. В каждой мелодии — своё эшелонирование материала, — и все зависят друг от друга. <...>

23 ноября

Как же я отвлечён и закручен — вместо августа, в крайнем случае сентября, — кончил первую редакцию ленинских глав 2-го и 3-го Узлов только сегодня. Надо было Сборник* выдвинуть. А кроме кип писем — так и рвутся все в Цюрих, изгибают свои маршруты и требуют часа — меня повидать. Если я из центра Европы не уберусь в глушь — не будет моей книги.

26 ноября

В тяжкие минуты: верностью этой теме я только и проявляю верность своему детству и своему назначению. Сколько б ни делал я ошибок в жизни, но в э т о м ошибки нет, в э т о м — не ошибаюсь, здесь — омываюсь душой. <...>

29 ноября

Только сегодня после многих лет (пяти, от исключения из СП) смог соединить вместе, иметь *воведино* перед собой *всё* собранное о Ленине: ведь разрозненно хранил его, и всё не дома. При всех неприятных чертах западной жизни — как же это свободно и счастливо, что не ждёшь налёта и ареста!

1975

25 января

Какой суетной год (на Западе) — сколько отвлечений, лишнего и непривычного. Вся эта волна сочувствия, письма и встречи, только

* «Из-под глыб».

отбирала время и силы. И вся необычность западных дел и отношений. <...>

Через год после высылки я от романа дальше, чем был, и как будто не продвинулся, а назад ушёл. Дальше так жить нельзя, из Европы надо уезжать, и в глушь. Надо выключиться из современности, одно спасение, иначе ни я и никто уже этого повествования не напишет.

Сейчас приехал на 2 недели в Штерненберг, продвинуть ленинские главы. Наконец — слышен ветер, дождевые капли, клубится туманом сырая горная чаша, — и сразу распрямляется, освобождается душа, просто по минутам.

30 января

Я никакой не новатор, я даже не люблю быть новатором. Но когда условия прижимают — надо исхитриться и что-то выдумывать. Парвус! — колоссальная тема, огромной важности человек, а где и когда я могу его описать, кроме единственного моего 2-го Узла? Но тогда надо бы его притащить в Цюрих на встречу с Лениным, — однако такой встречи в этом месяце и году не было, и я подорву доверие к достоверности моего исторического рассказа. Написать бы обзорную главу о нём? — так и без того в Узле уже их шесть огромных.

И вот решение: сделать полужанровый наплыв: Ленин принимает Скларца, посланника от Парвуса, а всё время видит в нём Парвуса, и должно, перебиваясь, пройти три их спора: спор жизненного выбора; спор прошлогодней встречи в Берне; и — сегодняшний. И во всё это ещё втиснуть и биографию Парвуса. Как вот это может удалиться?

4 февраля

Вот когда начинаю ощущать, что в передаче Ленина я *взял* высоту! Не любительская работа, нет.

7 февраля

И всё-таки, Ленин был — лёгок, это не трудность, гордиться тут особенно нечем. Неизмеримо труднее будет показ реальных *масс* исчезнувшей России: при каких обстоятельствах, как именно — эти отравленные семена повели их на самоуничтожение? <...>

13 февраля

С главой «Парвус—Ленин» получается парадоксально: фантастическая глава в строго историческом романе? может ли это быть? не бессмыслица? Думаю, нет, ибо это только фантастический приём для вы-

явления несомненной исторической истины. Фантастичность самая умеренная, функциональная. В конце концов, это недалеко от приёма сна (рядом — в главе «Шляпников»), но — и не сон, не должно быть понято как сон: слишком чёткие факты, доводы, теория.

Так, чтобы читатель понял: я совсем не мистифицирую его, встречи конечно не было, но я даю диалог из реально накопившихся взаимных мыслей. Выясняю соотношение личностей.

27 февраля

В горном домике в *Sternenberg*'е на деревянную стенку навесил несколько портретов Ильича, чтоб обозримее видеть сразу все при работе, схватывать нужные черты, а получилось — как в сельской избе-читальне, потеха. Но вот третий день изо всех портретов выделяется одна потрясающая фотография: сколько зла, пронизательности и силы. В и д т мой замысел — и не может (не может ли?) ему помешать. По-смертная пытка ему — а мне земное соревнование.

— (*после прогулки по горам лунной ночью*) Расстраиваюсь, что медленно работа идёт. А потом думаю: а умер бы в 1954? а арестовали бы в 1965 да закатали бы на десятку? Чтó бы был я, что бы сделал? Ничто. Бога благодарить.

2 марта

Получилось три главы воображаемой встречи Парвус—Ленин. Материала — изобилие, и кажется мне: это действительно один из важнейших ключей к пониманию нашей революции, обойти нельзя, сокращать нельзя. Как ни вычерпывай Парвуса — он остаётся загадкой. Он, конечно, гораздо больше, чем искренний социалист: он — несравненный ненавистник России.

Но — фантастическая форма диалога и перебивчивость, которыми я хотел скрыть свою насильственную ретроспекцию (1915-й впирается в 1916-й), — не удалась, просто — по моей любви к последовательному порядку. Фантастика свелась к лёгким декорациям, которые автор ненастойчиво ставит и убирает на виду у зрителя, улыбаясь, что иначе не мог устроить диалога.

Если что страшное получится — оно должно быть в *суть* диалога.

8 марта

Добавление нескольких концентрированных глав (6 ленинских вместо прежней одной) не могло не привести к ломке композиции Узла. Им

надо было место найти и раздвинуть, и дать простор. Сперва никакого не находилось, только перемежать с Тягомотиной — но совсем недостожно, не взаимодействовали, и придавалось повышенное значение Тягомотине. Аля верно сказала: надо дать соседство с очень русскими главами. А таких здесь почти нет близко, только Саня с Котей. Но тогда слишком приближалось к Шляпникову, а эти вершины должны быть раздвинуты и видеться каждая отдельно. Ещё предложила Аля: так перенеси и санины главы. Я уж как-то не решался, так считал композицию законченной. Стал перетаскивать, и после нескольких перестановок всё легло изумительно: Инесса + Упадок (бывшая одна глава Упадок, единственная изначальная) вернулись *как раз* на своё прежнее исконное место, которое они потеряли из-за появления «Кегель-клуба», — и даже на своё первоначально задуманное число — 25 октября, т.е. пред-годовщину переворота. И — на ночь переворота 25/26 даётся весь дьявольский дуэт с Парвусом.

— Сегодня кончается 6-й год моей работы.

14 марта

Ну, кончил ленинские главы, вот когда наконец! Получилось 11 штук — из-за того так много, что «встреча» Ленин—Парвус из одной главы раздробилась в четыре. Это вызывает сомнения. Однако если учесть, *что* я туда втиснул: ещё одну ретроспекцию 1905 г., Парвуса со всей его линией, истинную встречу 1915 г., все связи и не-связи Ленина с немцами, — то, пожалуй, с этой задачей я справился вполне удовлетворительно: нет чисто обзорных глав, создал прямые соотношения характеров и речи.

Зато остальные главы в книге — по-моему, хороши. И книга — должна произвести впечатление, если что-нибудь ещё может задержать впечатление рассеянного и расслабленного Запада, идущего к гибели.

Вот чувство: моя работа идёт плотно, уверенно и знаю куда — а вокруг рушится мир. Как ветры разных направлений на разной высоте. По-настоящему сработали бы мои книги — только в России, — да сколько одиночек их там прочтёт?..

17 марта

Сегодня удивительное совпадение: окончив работу по Ленину с такой большой помощью *Sozial Archiv'a*, я в нашу прощальную (они не знают, что я в Канаду уезжаю) встречу пригласил их посидеть в ресторан *Eintracht* — не какой другой, символично ведь! Был молодой Платтен

(накануне того как в больницу лечь; он вообще несчастный и очень честный, — надо поражаться добросовестности, с которой он раскрывает участие отца в ленинских махинациях), чех д-р Тучек и *Willi Gauchi*, автор книги, которую я всю прочёл и широко использовал. Но *Eintracht* оказался заперт. Пошли в «Чёрного орла» мимо *Stüssihof'a* — т.е. главными тропами Кегель-клуба. Заперт и «Чёрный орёл»!.. Тогда я предложил «Белого лебедя», помня, что, кажется, Ленин бывал и там. Входим — пошли наудачу за дальний свободный стол. Так же произвольно расселись. Поднимаю глаза: на близкой низкой стене прямо против меня — портрет Ленина! — да какой: тот, мой избранный для книги, — самый страшный и выразительный, где он и дьявольски умён, и безмерно зол, и приговорённый преступник. Три недели он висел у меня на стене в горах, с ненавистью и страхом следил за моей работой. И вот — здесь, разве не символ?.. И юный Платтен рядом!.. Оказывается (но умысла не было, ведь вёл я) — именно здесь было второе (подсобное) место встреч Кегель-клуба. Мы отпраздновали мою книгу на *этом* самом месте!

Выходим. Девушка даёт мне расписаться в книге почётных посетителей. Там, чуть раньше, по-русски: «С удовольствием посидели в этом уютном милом ресторанчике. Группа советских туристов».

1976*

8 апреля

Вчера поздно вечером прилетел в Сан-Франциско. Сегодня — ещё инкогнито (взяли для меня материалы из Гуверской башни), приступил к работе по 3-му Узлу. В течение одного дня мозги уже и направились.

Очень ясно видно: поступь 27, 28 февраля и 1 марта давать надо по часам, всё повествование чётко организовывать на стержне времени.

14 апреля

Особенность документов по 3-му и 4-му Узлу: заседания Временного Правительства — в скупых протоколах, по СРСД и большевицким собраниям — нет и того. Если и давать обзорные, то уже — не на цитировании документов, а — на проницательной догадке (не пропустить ни одной мелочи!).

Наверно, это из лучших счастлих историка: по краткому сухому документу восстановить и угадать объёмную ситуацию и человеческие чувства.

15 апреля

Протоколы Временного Правительства уже первой недели (подлая низменная капитуляция вкруговую перед всеми) производят тошнотворное, омерзительное впечатление. Как большевики их ни бичевали — а даже $\frac{1}{4}$ правды не вылепили.

16 апреля

Как я ни был готов к Февральской революции, но и я не понимал степени и неотвратимости *уже* произошедшей катастрофы, *уже* в первых числах марта. Начав свой замысел когда-то с Октябрьской, всё остальное считая прелюдией, которую писателю нельзя обминуть, — я, видимо, всю оставшуюся жизнь только и ухлопаю на эту одну «прелюдию».

17 апреля

При огромной ответственности, которую я на свои Узлы взвалил, — смешно сказать, но обзорные главы — не только не помеха, отвлечение от художественности, — а полная необходимость: чтобы Узлы прини-

* Публикуется впервые.

мались весомо-серьёзно, как исторические книги, а не фантазия художника («Шингарёв сказал», «Керенский ответил», — откуда автор знает?.. А по обзорным линиям событий — обнажится с новой несомненностью).

К страшным я открытиям пришёл относительно Февральской революции. Не ожидал.

20 апреля

Как всё-таки трудна адаптация к истории. То, что сердцем и разумом безошибочно знаешь в сегодняшней жизни, — ту самую ситуацию не сразу узнаёшь в прошлом, — и поддаёшься сперва и долго — распространённой лжи (Февральская революция и момент отречения).

21 апреля

Ощутимая роль интуиции. Много раз замечал, как нахожу инстинктивно пути и решения — ещё прежде, чем ознакамливался с обильным материалом, а материал потом подтверждает чаще всего, даёт углубление, объём, но идёт дорога — по угаданному пунктиру (так — и Воротынцев с его общественными взглядами). Сам себя только теперь понимаю как выразителя крестьянского мироощущения за два века, — но *не* народнического и *не* казённо-монархического (отчего и недовольны мною образованные левые и образованные правые).

27 апреля

Придётся давать много казённого фольклора («февральской публицистики»). Надо завести для него особый курсив, чтобы сразу узнавали.

29 апреля

Вообще, вся Февральская революция (что привело к ней и что из неё вытекло) имеет очень *общее* значение. Этот процесс идёт и во всём мире и везде даёт губительные плоды. Наше (образованной России) поветрие XIX века — не просто любить угнетённых сердцем и стараться их освободить, но сразу (декларациями, однако от них потом не увернёшься) дать им толчок в верхнее положение: дать распоясаться и дать сесть себе на шею. В этом — европейская история XX века. В этом, начинаю подозревать, и победа Севера над Югом в Штатах. В этом и сегодняшние требования отсталых стран: кормите! (десятилетиями и всё больше). Свободными это не делает никого: угнетённые попадают в новые тираннии. Но и гнёзда устоявшейся жизни разоряются.

1 мая

Живое дыхание революции: противоречивость источников. До сих пор некоторые факты разноречиво показываются: когда точно произошли? в какой форме?

2 мая

В бурные недели Февральской революции газетных монтажей не дашь: почти и газеты не выходят. Но из немногого, что есть, — поразительно яркие осколки. Не давать ли их — как заставки казённого фольклора, и тогда — выделять им отдельные страницы — для рельефности, чтоб читатель успевал перенастроиться?

5 мая

Всю жизнь я с этим замыслом, а Февральской революции никогда не оценивал в её глубине и значении. Поэтому и пропустил готовиться по России старой, администрации, династии и т.д.

— Не так легко и сразу мне досталось открыть, что «Биржёвка» дала неверные сведения о ходе первых дней революции — и остальные (Семёнов-Коган и др.) просто слово в слово перепечатывали. Вообще, Февральская революция оставлена в небрежении, взлохмаченной и недоизученной, как и вся I-я Мировая война на русском фронте. Это ещё затрудняет (но и важнее делает!).

— А сейчас вспоминаю: именно рассказ Шульгина о *Февральской* («Дни», году в 1928) меня и захватил огнём — и уже тогда, по сути, определил тему моей жизни: Революция! Но в советской обстановке как было не свихнуться на Октябрьскую?

8 мая

Надо в 3-м Узле — не слишком много обзорных глав и не слишком много объяснять, — а побольше разительных *стыков* (вроде родзянкинского благодушия 6 марта) — и сами стыки всё объяснят. 3-й Узел по составу и мельканию фрагментов будет совсем не похож на предыдущие, — но это и есть именно то, к чему я готовился. Да вообще: описание революции, вживе и в подробностях, — это и есть то, к чему я создан. Я — историк революции, это — мой главный жанр, отчего я и выбрал тему ещё школьником (только тогда я думал, что нужно Октябрь описывать). Ладони горят! — так змеится и сожигается в них материал, порываясь хоть в нолеву редакцию пока — но скорей! Дорвался я до главной работы жизни!

15 мая

Надо подумать: в самые роковые дни разделять их — 27-е, 28-е, 1-е — отдельными титульными страницами? почасным графиком? Создать в голове читателя предельно ясное временное совмещение.

5 июня

Два месяца прошло — и ни до какого мыслимого контура не дошёл материала, а уже неизбежно ехать. Вечная гонка жизни — как когтями вырывает меня из материала... (*Пало Альто*)

7 июля (*Пять Ручьёв*)

По мере того как меняется моё понимание Февральской революции и *места* её в общей революционной истории — и прежнее отстранение от личности Николая II и от всей династии тоже уже не оправдано. Обзорная глава об отречении распалась на 5–6 (с гучковской) глав, и там выделяются уже явно психологические, реальные куски, а не обзорные.

Удалось это написать в передрыгах июня. А в эти дни уже окончательно оседаю в «поместьи», где хочу прожить много лет. Теперь или никогда начинается сплошная сквозная работа. Помогите, Боже!

9 июля

Больше того: изменение в понимании работы поворачивает и всю жизнь. Переезд в Соединённые Штаты был задуман и совершался из соображений жизненных: окончательность места (особое ощущение для работы), простор, уединение, большая доступность архивов и русской среды. Но от поворота моего понимания темы — как *главной* во всём Повествовании, как решающего Узла не только для прошлой России, но и для будущей, — этот переезд влечёт за собой коренное изменение образа поведения, всего жизненного направления. Оказывается, вся моя отчаянная 11-летняя борьба (от взятия архива) была вынужденной, а совсем не единственно-нужной для моей жизненной цели: Октябрьская революция и коммунизм — ужасны, но Февральская и же с ней несли России и свою гибель. Нельзя было не писать «Архипелага», нельзя было не накаляться ото всех советских мерзостей, а между тем растрчивались силы и время, нужные для исторической работы. Но это и есть ужасная накладка трупов и глыб на русском пути — в с е мешают идти, а со всеми — нет сил справиться.

А теперь надо навёрстывать многолетним уединением и *полным* отходом от политической жизни современного Запада, приучиться — ни на что не реагировать. (Оно и полезно: слишком густой напор моей пуб-

лицистики скоро перестанет убеждать. Нужно включить ход времени и ход обстоятельств, пусть они убеждают.) Мои минувшие годы были — прорыв и напор, теперь должна быть — глубина и тщательность обработки. Я много заел у своего будущего, позади оставил много неосвоенного, проскользил, не вник или прошёл туннелями интуиции. Теперь это всё надо дорабатывать.

Соотношение моего возраста и оставшейся непомерной работы диктует долгий (хотя бы 4–5-летний) период внешнего молчания. Да он и нужен для поворота всего фронта темы. И читатель от меня отдохнёт. Через 5 лет будем знакомиться снова.

<...>

17 июля

Фрагментная форма глав ломится сама, не спросясь. Если 23 февраля ещё можно дать чисто экранно, то 24 февраля не только требует отлики, но — вся информация никак не вмещается — ни в экранную, ни — в какую другую форму.

19 июля

Ох, неэкономен киноэкранный способ! Мало материала размазывается на много страниц, не стиснешь. Это — только для оживления читательского внимания, или отдельные, очень уж яркие сценки. Нечего и замахиваться — давать экранами систематически февральский Петроград. Выход, наверно, — только во фрагментных.

<...>

22 июля

Февральская революция — мол, русские загубили великий демократический опыт? Так революция — всегда прорыв огня. А свойства огня — всё пожечь — лучше всего и выявляются в неопытных руках. Да, к этому «священному огню» мы пришли варварами. Но и в высших западных странах, где «всё удалось», — в конце концов тот же огонь поел, только тлением, взял своё.

<...>

25 июля

Мой привычный и «спасительный» приём — все события насаживать на ось времени, бывает и груб. Столкнулся с этим при первой редакции экранной главы 23 февраля: связь эпизодов должна объяснять особенности этого дня, а не просто идти за течением времени.

— Но что киноэкранный хорошо передаёт, это — настроение толпы. Сказать — «было миролюбивое» — ничего не сказать. А показывается — очень рельефно.

— Когда медленно всматриваешься в материал, не жмёшь насильственно, открываются совсем неожиданные возможности. Не задумывал, сама рука пошла, и получился фрагмент — как немой монолог толпы (Выборгская сторона перед прорывом в центр 24 февраля). О, это богатые возможности! И как же я их не предвидел? Фрагментарные главы получают как бы дополнительное измерение.

26 июля

О первых трёх днях революции мало что есть в истории: крупные политические деятели ещё не включились, революционные партии застигнуты врасплох, и всем им неинтересно было писать об этих днях, интересно — когда сами они уже руководили. Это затрудняет мою работу, но и указывает путь: выявить рельеф чувств и событий в тех безымянных мелочах. В первых трёх днях историческое исследование только художнику и доступно.

— Да, вот это именно я и прирождён написать — революцию, в каждом её шажке, клочке и повороте, — вот это моё. Ничего больше я мог бы и не писать — но только Март Семнадцатого — непременно!

27 июля

Фрагменты от толпы как-то невольно сами сдвигаются к киноэкрану, тут нет чёткой границы, а форма, очевидно, самая естественная. Это надо ещё обдумывать и понять.

— Граница между жанрами должна быть чёткая. Неопределённость их — это уже доля современного вавилонского смешения искусства.

4 августа

Объём материала, который нужно проработать для первых двух-трёх Узлов, — необъятно широк, вся русская история за столетие. А начиная с 4-го — он быстро сужается, концентрируется весь только к событиям этих дней. Так же — и в осмыслении исторических персонажей, и в выборе вымышленных. Так же — и с использованием всех показаний сохранившихся стариков (необходимость, подгоняемая их возрастом). Т.е. работа, которую нужно вложить, выглядит пирамидой с очень полными (после 3-го Узла) сторонами. Я движусь очень медленно, и так

должно быть. Но через 5 лет, если сохранюсь в рабочем состоянии, пойду быстро, снимая плоды подготовки.

<...>

31 октября

О, своевременность каждой вещи в возрасте писателя и в его жизненных обстоятельствах! Не написал любовных рассказов в юности — уже и не напишешь. Упустил советско-германскую войну из-за ареста — и никогда не вернёшься. «Архипелага» если б не написал под сильным давлением и гонением — теперь бы ни за что не написал, или уже без той страсти, обкатисто, без острых пронзительных углов. Если бы «Телёнка» не писал одновременно с борьбой — ничего бы не было, или бледно, теперь — не интересно возвращаться. «Раковый» — уже был упускаем (как и не осуществлённый «Один день учителя», многие рассказы), захватил на последнем пределе. И только единственный Р-17 всегда откладывался, давая место всем прочим. Или это — к гибели его или, пожалуй, — к высшей зрелости. И это — единственная книга не прямо из личного опыта, она могла и откладываться.

С годами автор меняется и физиологически, и умственно, и в убеждениях, и в настроениях. Ничто не повторимо. И если он пишет 30 лет, то это — не единый насквозь автор.

<...>

18 ноября

Сегодня 40 лет, как я задумал Р-17. Такой замысел пронести в себе даже неосуществлённым — уже счастье. Да почти этим и кончается оно. По сути, я встречаю 40-летие в поражении: и малой части не написал того, что задумал, и даже обнаружил в последние месяцы, что я задумал тогда не то, что нужно теперь писать: я задумал — как получился Октябрь и его последствия. А нужно это всё писать — о Феврале.

Помню, это был слабосолнечный ноябрьский день, по тогдашнему счёту (каждый шестой) — выходной. Накануне вечером была большая студенческая вечеринка, а теперь я вышел в душевном томлении и пошёл по Пушкинскому бульвару. Трёх кварталов не прошёл — и между Николаевским и Соборным даже остановился, так внезапно вгрузился в меня замысел — и стал лавинно расширяться (я ещё не знал тогда понятия лавинности). Побрёл домой, боясь расплескать, — но ещё до дома не дойдя, стал что-то записывать, уже не держалось.

В тот день мне ещё не было 18 лет, — откуда берётся эта уверенность молодости? А без неё бы мы ничего не сделали.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСЕЙ, 1994*

... Походил я ещё по городу, безо всякого сопровождения. Понравился мне Иркутск и 30 лет назад, и сейчас. (Но невыносимо видеть, что на вокзале, за вход в зал ожидания, где пассажир может сидеть на скамье, — берут плату... Когда в России было такое?..)

Навестил семью умершего Арнольда Раппопорта, моего солагерника по Экибастузу.

Побывал и в краеведческом музее, в каждом найдётся что-нибудь. В октябре 1917 — умиленное воззвание «Не верьте лжи»: «Партия большевиков не собирается нарушать спокойствие вашей частной жизни и не покушается на ваши сбережения»... — так что зря обывательская газетёнка «подняла черносотенный лай». — А вот и портреты иркутского Военно-Революционного Комитета: бритоголовый Сурнов, бандитское лицо; черноусый, похожий на Сталина, Флюков; и лохматый, небритый, с крестьянским видом, их председатель Ширямов. А вот постановление ВРК о расстреле Колчака и Пепеляева: расстрелять, чтобы «не допустить город до ужасов гражданской войны. Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв». (Теперь-то есть публикации — например, журнал «Родина», 1995, № 1, — что зашифрованный секретный приказ о бессудном расстреле Колчака исходил, разумеется, от Ленина, через Склянского в Реввоенсовете, и завизирован Троцким.)

А ещё за два дня до того я посетил иркутского епископа Вадима в Знаменском монастыре — договориться о панихиде по Колчаку; я думал — в каком-нибудь условном месте, вряд ли известно точное место расстрела, и далеко оно? А оказалось — более чем просто: тут же епископ провёл ме-

* Очерк, сделанный на основе путевых записей, которые автор вёл в июне 1994 года, возвратившись после 20-летнего изгнания на родину. Публикуется по: Труд-7. 2003. 4 декабря. С. 10.

ня на берег Ангары через заднюю калитку в каменной стене — именно этой тропой, через неё, и вывели Колчака с Пепеляевым на расстрел! — и тут же показал косу, вдававшуюся в реку, — на ней и расстреляли наспех.

Теперь, в последний мой иркутский день, 16 июня, солнечным утром — ещё до сильного зноя, епископ с полным причтом (7–8 священников) на той косе и отслужил панихиду. В перекатном кресле доставили туда и 91-летнюю монашку — свидетельницу, как Колчаку перед расстрелом разрешили помолиться перед иконами Знаменского монастыря. (Я поцеловал ей руку.) На панихиду пришли и казаки — человек 35, во главе с атаманом и при мальчиках, тоже в казачьей форме. Ещё и прихожан было с полсотни, неплохой хор. (Бросилась в глаза льноволосая девочка в голубом платки и босая, туфли держала в руке.) Наши свечи задувало речным ветерком. По мосту через Ангару всё время шёл поток машин (пассажиры из автобусов дичились на нас), два раза пролетали низкие самолёты, заглушая панихиду. Впечатление было — исторического момента. И сердечная связь с Александром Васильевичем, героем моего «Колеса», — как с живым и близким. Епископ Вадим поднял камешек с галечной косы и поцеловал. Казаки стояли строем. После панихиды я произнёс им речь: об исконной мощи казачества, о его патриотичности, как боролось оно в Гражданскую войну — и не надо теперь смешиваться с казаками «красными». Атаман заверил, что они — не такие. Казачонки стояли «смирно» и с сияющими глазами. Всю панихиду Би-Би-Си снимало, но не поняли никакого смысла-значения — и потом в фильме у них мелькнул какой-то жалкий обрывок. Затем мы с Ермолаем снова пошли в монастырь, приложиться к тем иконам и мощам св. Иннокентия (нетленность которых большевики в 20-х годах в газете объясняли сухим песком захоронения).

Отчего у меня было в этот час какое-то ощущение победы? Оттого ли, что как бы сама Русь вернулась на распроклятое место и отдала признание своему казнённому герою?

Всё это путешествие, вот уже три недели, разворачивало мне размах русских пространств. И сложилось ощущение как бы единого ряда удач, посылаемых Господом. А ясно чувствовал, что в Москве — будет совсем иначе: густо враждебные силы.

Вечером, уже в поезде, записал в дневник замеченное: «В России ко мне возвратилось ощущение пейзажа (потерянное в Америке). Вот северо-западнее Иркутска, перед закатом, красно-золотистые не только сосны, но и берёзы — и какие цветные просторы! И как хочется везде здесь *быть! везде — быть!*»

Эта жажда — наверно, и до смерти во мне сохранится, над любым клочком карты России разгорается жажда — побывать там! Да только при возрасте моём — где уж!..

* * *

И в каком же состоянии мы содержали эти благословенные места? От Байкала до Енисея все леса, все кустарники заражены энцефалитным клещом. <...> А обширные водогноилица? Стал я их пересчитывать по карте: Зейское, Вилюйское, Саяно-Шушенское, Иркутское, Братское, Усть-Илимское, Красноярское, Новосибирское... Какой ещё народ-самоубийца безвозвратно затопляет свои удобные для сельского хозяйства земли, леса, возможные залежи в недрах? И ещё воспевают это своё безумие.

К Братскому, к Усть-Илимскому мы и ехали. (Это Юра Прокофьев меня уговорил: непременно побывать в Усть-Илиме, хорошо ему известном по телеоператорским поездкам. Свернул я в этот большой крюк — и очень ему благодарен.) Ночью в Тайшете наш вагон перецепили на БАМ. Я проснулся уже перед Чукшей — бывшим 3-м отделением Озёрлага. Вдоль всей этой злосчастной и злонужной дороги — индустриальные остатки, загаженность и последки лагерных зон. — А скоро и Вихоревка — и меня ждут на перроне! В Вихоревке прежде был головной ОЛП 4-го отделения Озёрлага, и вот теперь собралось на перроне десятка два бывших эзков, все уже немолоды, — и как же тепло мы обнимаемся, как братья, до слёз, и фотографируемся вместе. Степлаг — Озёрлаг, лагерь братья! Большинство из них тут — «маньчжурцы», русские эмигранты, воротившиеся или загребленные советскими граблями из Маньчжурии в 1945 и отсидевшие все по 11 лет, а в 1956 все признаны полностью невиновными. В перебивчивых наших разговорах, в переглядах — зримо и беспощадно вновь проступает наше жестокое лагерное прошлое, тогда казавшееся безысходным, — а вот схлынуло и оно...

А дальше — станция Андзёба, штрафной лагпункт Озёрлага, тут был мой солагерник Тэнно — и ещё не известный мне тогда будущий верный сотрудник — «невидимка» Лембит Аасало; я писал об этом лагпункте, ещё не выдав его, и вот я здесь. И опять — встреча с лагерниками, и опять от них — несколько букетов (я уже задушен цветами, жаль, погибли в вагоне, учусь отдаривать тут же обратно, дарителям).

Ещё перегон — и в прославленном Братске меня забирает автомашина, и главный администратор Братска Л.Ф.Яценко даёт мне пояснения по долгому пути, ибо длина Братска — 70 километров!.. Изначальный

Братский острог был построен в 1631 году (потом тунгусы его и палили, и переносился он на другое место), а через 300 лет накинудись строить тут, на Ангаре, ГЭС. На проглот «лесокомплексу» вырубил леса на 100 километров вокруг, загубили и охотничьи места. А теперь не знают, куда девать электроэнергию, большевицкий Госплан! Раскинули городу широкие проспекты — не по здешней зиме, гуляют ветры. А дальше — «хрущёвки», и нищие посёлки, а где-то в лесу — чуть не небоскрёбы. Сегодня — Алюминиевый завод стоит, Сибтепломаш стал никому не нужен, не работает. Жители просят земли, раньше давали по 6 соток, теперь по 15, уже построено 60 тысяч дачек. Состояние окружающей среды — ужасное. Молодёжь сюда больше не едет, рождаемость упала вдвое, смертность растёт. — Сколько по Братску ни катили — никакое пятнышко не порадует глаза.

Но перед затоплением имели разум перенести хоть сторожевую башню Братского острога (предположение, что в ней отбывал одну зиму протопоп Аввакум) и несколько деревенских изб — в «Мемориальную деревню», куда мы дальше и поехали. А вот тут — душа расступается и напитокывается. И место для этой «ангарской деревни» — как от Бога выбрано, и до чего же щемят эти сохранённые избы зажиточных сибиряков и западных бурятов, завозни на чердак, торговые рыбачьи амбары, баньки у речного берега. Крепко строено, на века, «лиственница три сосны переживёт». «Изда-связь»: чистая жилая и, через сенцы, скотная. В избах — низкие двери, для сохранения тепла; рубель (скалка с рёбрами), чашки из капа, мыльный нарост с сосны — вместо мыла, корытце с водой под лучину, зубчатый барабан — тереть картофель на крахмал. В какой нецивилизованной жизни — как изобретательно и устойчиво — недёргано! — наши предки устраивали свою жизнь. В хлебных амбарах — закрома для зерна, совки, деревянные лопаты, ступы, цепа-молотила. — И вблизи — деревянная церковь Михаила Архангела, XIX века, резные царские врата и паникадила. От русской деревянной архитектуры сжимается моё сердце — и сколько же этой красоты и сердечности уже погибло и догибает на Севере сегодня, никем не наблюдаемое, не охраняемое, не подправляемое...

Дальше подхватил нашу малую группу глава администрации Усть-Илимского района А.А.Дубас — администратор ещё молодой, энергичный, чрезвычайно находчивый, чувствующий современный дух, с фейерверком идей, но не очень их слушают. И повёз нас в Усть-Илимск — на срез того железнодорожного крюка, который наши вагоны должны были медленно проделать. Место гидроэлектростанции выбрано ещё 30 лет назад, статус города дан 20 лет тому. Тут — рубят лес 9 леспромхозов, миллионы и мил-

лионы кубометров в год (говорят: ангарскую лиственницу берёт Венеция на сваи, они с годами становятся как железные), а восстановление леса — плохое (я думаю: вообще никакое). Но уже не нужна никому в России целлюлоза этого лесоконбината, как и Байкальского, губящего славное озеро, только на экспорт как полуфабрикат, позорно-невыгодно; не нужна и электроэнергия, слишком много её тут, и некому её подавать. В Усть-Илимском водохранилище — миллион кубометров топляка. (Жаловался Дубас, что у губернатора Ножикова заместители — «баре», но, оказалось, и у него самого, всего лишь районного, — тоже десяток заместителей...)

Тем временем миновали мы несколько затопленных деревень — и приехали в деревню Эйдучанку — на высоком месте, но вода — привозная; сюда-то и вселяли... Много безработных, добывают смолу-живицу, только некому сбывать. Школа — на 250 человек, а учеников теперь 600, и нет денег на строительство новой, и нет квартир для учителей. Выпускники из 9-го класса — тем более без работы, когда и взрослым её не хватает. Настроение — безысходное.

Но стеклось несколько десятков жителей, пошла у нас беседа, на ногах, — и поразил меня уровень их вопросов и высказываний — нет, это совсем не дремная серость, много пережили и много думают.

Сколько же дремлющих мыслей и сил в народе! — как взрезать корку над ними? как дать им выход? Ото всей страны, при её столичной шумливой возбуждённости — поверхностной и неприложимой к делу, — ощущение закланного самоубийства.

Тут, в Эйдучанке, дали мне выпить парного молока с пуховым белым хлебом — 21 год не пил! возвращение на родину!..

В Усть-Илимске — «социалистическом городе», современные домовые блоки, между ними — перелески, расставлено всё на больших пространствах, ходит трамвай, и, кажется, вредные дымы лесоконбината ветрами относит прочь. Здесь поразило меня, как в глухом сибирском углу теплится интеллигентный круг. Умудрились устроить у себя Усть-Илимский филиал Иркутского университета — правда, пока только 1-й курс, но 7 факультетов и 200 студентов! — очень милые, беседовали мы с ними. Какие обещающие молодые лица, пока не ожесточит и не исковеркает их наша безумная жизнь. — В другой день пригласили меня в выставочный зал — вот и картин сколько, и как художники здешние усиленно держатся за право творить! Устроилась беседа. Говорили преподаватели истории, русской словесности (им по полгода не платят зарплаты): телевизионная реклама и детективные, порнографические фильмы забивают души молодёжи, в язык их наносят жаргонный мусор,

вредят и газеты; из юношей вырастают не мужчины, а «оно», что-то бесполое; несостоявшиеся 10-классники — за бортом; духовное обнищание, юношество потеряло идеалы, где их искать? (Кто-то ввернул... Павла Корчагина: вот был у нас идеал!..) Рабское положение преподавателей: не на что подписываться на журналы, не на что выехать в отпуск. «А Москва — нас забыла, там не помнят, что здесь — культурные люди». И мы забыли: что такое театр? почему никто никогда не приедет на гастроли? Да — весь город наш никому не нужен... (А некоторые высказывали и опасения: не будет ли им наказания за то, что они вымолвили сегодня...) Заехали ещё и в городской музей (слабенький) — там ещё одна группа интеллигенции. Устроили чаепитие с клюквой и брусникой, и снова тёплый разговор — и снова я поддерживал их чем мог. (А по сути — от встречи ко встрече во многом повторялся, но как же и быть, если слово не множится и не разносится дальше каждого зала?)

Во всех встречах было много жалоб на порчу Ангары, на то, что достройка Богучанской ГЭС, ниже по течению, окончательно погубит реку. В один из дней была ещё и поездка по Ангаре на катере, где эта тема поднялась во всей силе. Поклялся я, что не оставляю так. (О том рассказ «Всё равно».)

А огромный Усть-Илимский лесокombинат я застал в раздробе на мелкие предприятия (при судорожной «приватизации» — ключно, по кускам, кто бы взял, не отказался, — разорвана общая технологическая линия), в растаске, в разрухе. Подвижный низкорослый инженер Дрофа бойко мне объяснял все беды и заведён был хоть ещё на несколько часов. А в диспетчерской говорили с группой рабочих, там-то был котловик Николай Иванович Семёнов (народный мудрец в рассказе, взятый мною в моториста). Он резал: человек наш выпотрошен полностью, ни во что не верит — ни в начальство, ни в депутатов, ни в президента, потеряли заработок, не на что хлеба купить, хоть бейся головой в бетонную стену, рабочая сила ничего не стоит для директора. И впечатал: «Если не кончится твёрдой рукой — будет крах».

И — пророчески мне это прослышалось. И ёкнуло: что именно таков единственный выход, и он — настанет, если России стоять ещё.

На последний наш день в Усть-Илимске, 19 июня, Троица выпала. Любимый мой праздник в году — а в моём кругомоте даже нет ощущения. В этот день съездили на «Высотку», не забуду её никогда. «Высотка» — это такой изначальный район Усть-Илима, место первого «десанта», где поселились строители ГЭС — на первое время, кое-как, в еле сколоченных халабудях. И вот — прошло 30 лет, воздвигли и ГЭС, и социалистический город, а первоначальные хибарки так и кучатся на прежнем месте, и за-

вязли в них обитатели — то ли те самые, исконные, уже и многие сменные — с «химии». Тут были рядом лагпункты, к расконвоированным приехали жёны, так и осели. (А некоторые называют эти свои малые участки «дачами»: всё-таки кусок натуральной земли, а не многоэтажная взвесь.) На главном перекрёстке улиц — свалка железного и стеклянного мусора, сносимого жителями («11 лет не дают машины вывезти»). Воды в посёлке своей — никакой, с огородами — вся надежда на дождик, на полив не потратишься, да даже и на умывание: вода — только привозная, 500 рублей бочка. Так и стоят прикрытые железные бочки на краю проезжей части улицы, каждая против своего дома. Стирать ходят «при колонке», далеко, но и в колонке не хватает напора летом, а только зимой. Самый ближний магазин остался — за два километра. Телефонов во всём посёлке — нет ни одного, что случись — иди, просись в милицейской дежурке. «Забросили нашу Высотку». Детям нет места играть, кроме как на пыльной дороге, по ней гоняют мотоциклисты. — А мы приехали с неотвязным и нескромным сопровождением бибисишной съёмки. Стеснённо подхожу к семье, усевшейся по воскресному досугу на скамейке у щелястого заборчика. Говорю «с праздником!», отзываются понятно, явно — помнят Троицу. Мужичёнок — вурдалакски дикий, запущенного вида, а добрый. Жена — светлая лицом, тихий голос, усталая — но всё ещё не сломленная? — а кому же тянуть семью? Чуть не третий год кряду она всё «на декрете», четверо малышей, возятся тут же у ног, а девочка восьмилетняя — эпилептичка, по три раза в день «её колотит», падает, «может убиться». И отчего у неё? «Наследственное». А лекарства — «разве в Москве есть». — И много ценят у них под ногами, от двух сук, часть раздала. — «А вы не возьмёте?»

О, скудость! о, предел нищеты! Россия моя! — Россия конца XX века! — кто из наших предков мог тебя предвидеть такой? И — как и когда ты выберешься? и кто тебя вытащит? Нет такого богатыря, мы их извели. И вот э т а к о е — кто видел и кто чувствует из московских вершителей, политиков и борзописцев? Хочется — крикнуть через всю страну — а как? какими лёгкими?

БЕСЕДА С ВИТТОРИО СТРАДА*

20 октября 2000

Первый вопрос, который я хотел бы перед Вами поставить, такой. В истории XX столетия Россия занимала центральное место как эпицентр «десяти дней, которые потрясли мир», а также благодаря своему вкладу в самые разные области культуры. На исходе столетия положение это изменилось. Россия, пользуясь Вашими словами, «в обвале», и в сфере культуры ей сейчас достаётся почти маргинальное место. Как Вы считаете, Россия может возродиться? Как Вы представляете себе пути и тип её возрождения?

Да, действительно, в XX веке России выпала незаурядная роль. Как Вы правильно сказали: её участие в революции, сыгравшей огромную роль в истории XX века. Во-первых, тем розовым туманом, который она напустила для всех передовых умов Земли: казалось, что начинается эра рая на Земле — то, к чему человечество стремилось. Во-вторых, своим вкладом во Вторую мировую войну. Россия потеряла 27 миллионов человек в той войне. Этот вклад решил исход Второй войны; и тот образ жизни, который сегодня на планете установился, он, собственно, обеспечен вот этой огромной российской жертвой.

Но культура, как ни парадоксально, продолжала ярко развиваться даже и в жестоких советских условиях, только о ней многие не знали или узнавали слишком поздно. Я считаю, что несколько российских нобелевских лауреатов по литературе пропущено в этом веке лишь благодаря тому, что знакомство с их творчеством возникало или после их смерти, или почти уже при смерти. Культура развивалась, потому что она творчески продолжала традиции, идущие из предыдущего столетия. Она развивалась несмотря на давление сверху и дала много очень ярких имён.

* Беседа была снята на киноплёнку в доме писателя для демонстрации на конференции, посвящённой его творчеству, в итальянском городе Пенно (24–25 ноября 2000 г.). Русский текст впервые напечатан в кн.: А.И. Солженицын. На возврате дыхания: Избранная публицистика. — М.: Вагриус, 2004.

Да, теперь, в результате социального и нравственного крушения, которое мы потерпели на рубеже 90-х годов, пострадала вся жизнь в стране, и пострадала жестоко культура, сейчас у нас в культуре, действительно, большой упадок. Это замечание я не распространю на все виды культуры. Например, считаю, что в музыке, в музыкальном исполнительстве мы никак не упали и сейчас. Но во многих других видах творчества культура — да, ушла в глубины России, она отступила в области, в регионы, она теплится там, ещё не подверженная общему краху, и, может быть, в ней накаплиются те плацдармы, которые дадут возможности культуре восстать. Я в это очень верю.

Сейчас вопрос, который увязан с предыдущим, вопрос из Вашей жизни. В деле разоблачения и осуждения коммунизма Вы сыграли одну из самых выдающихся ролей мирового масштаба. Претерпела ли теперь какое-то изменение Ваша оценка коммунизма и марксизма?

Нет, моя оценка коммунистического режима несколько не смягчилась. Увы, он сыграл роль и при своём конце, — в том губительном движении, которое началось вслед ему.

А сейчас о Вашей биографии. В молодости Вы сами, как и многие другие, искренне разделяли идеалы революции. Как и когда Вы избавились от этих иллюзий, выработав новый взгляд на российскую действительность своего времени?

Лично в моём случае: я ещё с детства имел воспитание православное; и, кроме того, ясно ориентированное относительно этого режима. И так я держался лет до шестнадцати. А вот лет с семнадцати-восемнадцати увлёкся диалектическим материализмом, всеми марксистскими этими идеями, поверил в них. Однако с некоторыми исключениями. Во-первых, я никогда не разделял восхищения Сталиным, всегда относился к нему резко отрицательно. Во-вторых, изучая, скажем, «Диалектику природы» Энгельса, я не очаровывался его замечаниями о естественных науках или о математике, с иронической улыбкой их воспринимал. Вот эта «недоработка» в советском идеале, она и сказала: собственно, рано или поздно я должен был сесть. А когда я попал в тюрьму, в 26 лет, то уже за один год я действительно полностью очистился ото всего марксистского, потому что я в тюрьмах пытался спорить и всё время был бит, всё время мне не хватало аргументов. Так меня тюрьма перевоспитала, и уже с 27 лет я имел отчётливое представление — то, с которым прошёл жизнь, с которым написал все свои произведения.

А Ваши товарищи...

Мои сокамерники. Я узнал от них такое обилие фактов и аргументов, которые в своей молодой жизни пропустил.

А сейчас о христианстве. В России христианство, православие, играло существенную роль, пронизывая собой её гражданскую жизнь и культурное развитие. В советский период восторжествовал государственный атеизм. Какова в этом отношении ситуация в наши дни, происходит ли подлинное религиозное возрождение? какова роль Русской православной церкви сегодня, особенно в свете последнего Поместного Собора? и какое у Вас отношение к канонизации царской семьи? Существует ли, на Ваш взгляд, возможность более активного и полного диалога между православной и католической Церквями? и как Вы оцениваете личность и деятельность нынешнего Папы Иоанна Павла II?

Тут несколько вопросов, разрешите, я по очереди буду отвечать.

Не секрет, что вообще в мире христианская религия испытала за последние столетие-два сильный ущерб, ослабление. Это мировой процесс, но в Советском Союзе он сопровождался кровавыми событиями. До революции наша православная Церковь тоже развивалась в какой-то мере ущербно, оттого что была подчинена государству, ещё с Петра. Это ограничивало её духовные возможности. Наш образованный слой уже в течение XIX века весь откинулся, отклонился от религии. Но и в нашем простонародьи, которое оставалось свято верующим ещё и весь XIX век, — уже на рубеже XIX–XX веков в нём начало проявляться такое, что ли, атеистическое хулиганство, в деревнях даже глухих, которое подготавливало кадры для близкой уже революции. Так что к моменту революции 17-го года наша религия уже пришла подорванной. А большевики ударили по православию, по священству, ударили так, что если не 90% священников уничтожили, ну так 85. Храмов закрыли 90% или 95. Началась полоса жестокого насильственного атеизма. Насильственного — для среднего возраста, но впитываемого молодёжью, а годы-то шли, десятилетия, и молодёжь стала средним возрастом, и атеизм стал уже во многом овладевать страной. Религия православная отступала, по возрасту своих верующих, и опять-таки отступала от центра в глубины страны, в тихие углы. Такова ситуация, собственно, и сейчас. Сейчас у нас... я бы не осмелился повторить так, как раньше говорили о России, — христианский народ. Нет, уже не могу сказать. Христианство, православие ушло в отдельные сохранившиеся общины, в отдельные семьи, в отдельные очаги веры, в отдельные монастыри, но оно не составляет единой

христианской действенности, оно не может решительно повлиять на ход мыслей и событий в стране. А Русская православная церковь, испытала жестокое крушение, как я сказал, чуть ли не 90% священников было в своё время уничтожено, — она, конечно, с огромным трудом поднималась и ещё поднимается из этого разгрома. Её естественным движением было восстанавливать здания, храмы, монастыри — это было естественно, но боюсь, что она не успела уследить за ходом процесса, отстала от процесса и сейчас отстаёт, потому что процесс духовный, да и бытийный, — он не замирает, он движется, и одним восстановлением материальной стороны Церкви нельзя ограничиться.

О канонизации...

Видите, мучеников у нас, страдальцев за веру, — десятки тысяч. Гибель их, начиная с митрополита Владимира, началась ещё в конце 17-го года, задолго до расправы с царской семьёй. И никто о митрополите Владимире не поднимал разговора, и о множестве уничтоженных других священников и монахов. Потом — и расстрел митрополита Вениамина... А канонизация царской семьи у меня лично как человека, много занимавшегося историей России, встречает противодействие вот в каком отношении. Ведь канонизация царской семьи происходит не в равномерном ряду десятков тысяч погубленных, она выделяет царскую семью на первостепенное место. Я, проработав над историей революции 50 лет, с огорчением убедился, что Государь Николай II хотя и был, несомненно, редкий пример христианина на троне, но он же был первый и основной виновник всего, как рухнуло в России, главный виновник. Он многое сделал для падения России до 1905 года, из этой пропасти спас его Столыпин. Но он ещё следующие 11 лет, до 17-го года, снова всё упустил, и в самом 17-м году совершил непростительные личные и государственные ошибки, приведшие потом к массовым людским гибелям. Поэтому меня коробит, что выделяется его роль едва ли не как первомученика, первострадальца и главы сонма святых. Поспешный жест. Да, святых мы заслужили многих, и далеко ещё не всех открыли. А в отношении царской семьи — конечно, это невинные страдальцы, но у меня вызывает противодействие, что вознесли их из ряда.

Переходя к диалогу между православной и католической Церквями, скажу: величайшая беда христианства — раскол Церкви на Западную и Восточную. Если мерить тысячелетиями, то христианство было едино лишь одно тысячелетие, а вот второе — уже раскол, что и сказалось на всём ходе Истории. Это большая беда. Поэтому диалог между католиче-

ством и православием жизненно нужен, духовно нужен, это конечно. Но в диалоге этом не должно быть как бы надменного перевеса какой-нибудь стороны над другой и желания проводить миссионерство на территории другой. Вот это нельзя. Когда я виделся с Папой Иоанном Павлом II, я как раз напомнил ему такую историю, я Вам вкратце её повторю. В 1922 году, в момент наибольшего жестокого разгрома православия в СССР, когда сажали митрополитов, когда травили церковь, кто-то в католической церкви понял так, что это кара Божья православии за отступничество, и в 22-м году в эти самые месяцы разгула, травли православной церкви, кардинал Гаспари встретился в Генуе с наркомом иностранных дел Чичериным и повёл переговоры о том, чтобы предоставить католической церкви льготы в СССР. То есть он имел наивность думать, что большевизм — только против православия, а католичество будут сохранять. И на этом не кончилось. В 26–28-м годах прелат Мишель Дербиньи дважды ездил в Москву — готовить конкордат между католической церковью и большевизмом, — продолжение тех же иллюзий. Когда я напомнил об этом Папе, он грустно кивнул и сказал: это были заблуждения отдельных иерархов. — Что касается Папы, я неоднократно высказывал своё восхищение этой личностью, его образом, я рад, что мне пришлось с ним познакомиться, беседовать. Восхищаюсь им и считаю, что вся его эра для католической церкви и вообще для всего мира — огромное счастье. Желаю ему здоровья и долголетия.

А сейчас перейдём к литературе. В России литература всегда занимала центральное место в жизни страны, причём её функция не ограничивалась сугубо литературными рамками. В нашу эпоху Ваше творчество — самый яркий пример преемственности этой традиции. Однако за семь десятилетий эта традиция представляется отчасти нарушенной, поскольку новую русскую литературу интересуют уже меньше масштабные темы социального и эпического характера. Как Вы смотрите на это изменение и как Вы вообще оцениваете сегодняшнюю литературную ситуацию в России?

Это тоже не маленький вопрос. Да, русская литература выросла под сильным влиянием православия. Даже у авторов, которые не были верующими, — всё равно это сильное поле православное охватывало литературу столетиями. Поэтому в русской литературе всегда нравственная нота, нота сочувствия ко всем страдающим была очень сильна. Она пронизывала все произведения, выражаясь и в большом, остром интересе к социальным проблемам, — а в условиях, когда у нас в России не слишком шибко было с гласностью и публичностью, литература заменяла многие

другие виды человеческого общения, это так. Когда пришла советская эра, то, надо сказать, коммунистическая власть умело проэксплуатировала это направление. В русской литературе по инерции так был силен интерес к социальной жизни и нравственной, что коммунистическая власть захватила его в капкан и направила по своему пути, то есть как будто бы оставила литературу на продолжении той же традиции, а на самом деле прямо наоборот: заставила её служить казённым государственным заказам — и всё это подавалось как интерес к социальным событиям, сочувствие к людям и к великим идеям. Так мы испытали сильное мучительное извращение, которое, конечно, лучшие мастера всегда понимали, но они ведь оставались почти подпольными, как Булгаков, как Ахматова, как другие. Они понимали и не приняли этой уловки, но публичная литература превратилась в такую вот пустую казённую говорильню — видимая литература, наружная.

И вот теперь, когда произошло новое крушение социального строя и произошла всеобщая коммерциализация... (А насколько наш капитализм самый дикий по сравнению с западным, на Западе и вообразить такого нельзя, — настолько и коммерциализация приняла самые дикие формы.) Так вот, кроме накопившегося у людей за десятилетия противодействия казёнщине, когда литературу заставляли служить государственной идее, — теперь выработалось сильное течение принципиального отказа от *всякой* традиции в русской литературе. Я бы сказал, это течение даже имеет характер интеллектуального сладострастия, то есть с какой-то сладострастной ненавистью отвергается всякая социальная роль литературы, всякое включение её в какие-либо проблемы общественной жизни. Отказ ото всей традиции литературы, разрушение всех иерархий, какие в литературе были, отрицание всяких авторитетов — это наложилось как реакция на коммунистическое издевательство в течение 70 лет. Так что мы потерпели двойное крушение: одно — дикий хаос коммерции и второе — это негативное, гневное отношение к традиции. — И что же с традицией? Она, конечно, бьётся за себя, она бьётся, но на книжном рынке её позиции слабы, она не может в этом коммерческом соревновании устоять.

А произошло у нас страшное явление: вместе с административным распадом России, который уже факт, произошёл и культурный распад России. Культура перестала быть цельноединой в государстве. Сейчас почти нет возможности найти такой орган печати или такое издание, где бы напечатать — и прочла бы вся Россия. Нет, то, что в центре кипит, — от центра далеко не распространяется, а то, что в областях, — в одной области есть, в другой нет. Если в какой области меня читают, по-

тому что издали, в соседней области стонут: где достать ваши книги? негде достать. Люди покинуты центральным образованным классом, покинуты государственной заботой, покинуты самим единством государства, они на местах пытаются отстоять какие-то традиции нашей страны. Конечно, там растут таланты, конечно, они вырастут. Я никогда не поверю, что наша литература может кончиться, оборваться. Она вынырнет, но при таком разорванном культурном пространстве — нелегко. И конечно, у нас выходят хорошие книги, но они не имеют тиража, их нигде нет. У нас воют библиотеки без новых поступлений. Книги купить дорого, у нас две трети населения в нищете, а библиотеки, вот, не имеют поступлений, поэтому — что читать?.. Положение культуры бедственное, его будет трудно преодолеть.

Оставляя в стороне текущую политику, несомненно, можно констатировать, что российское общество в целом изменилось и продолжает меняться. В своих публицистических выступлениях Вы всегда заостряли внимание на социальном развитии, обустройстве России. Ожидали ли Вы до 90-х годов, что эволюция примет подобный характер? Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию и перспективы её изменения?

Работая десятилетиями над историей революции 17-го года, я всё больше и больше боялся, чтобы выход из коммунизма не приобрёл абсолютно неуправляемого хаотического состояния. И я отрывки из своего «Красного Колеса» передавал по радио из Америки, пытаюсь предупредить о том, что может случиться. Но это, конечно, могло иметь лишь ограниченное влияние, кто-то слышал, кто-то нет. Хаоса я ждал и боялся, больше всего. Но, как это, знаете, бывает: прошлое мы анализируем шутя; настоящее — некоторым удаётся анализировать, некоторым не удаётся; а вот в будущем почти все ошибаются. Я понимал, что грозит хаос, однако, видя перед собой историю 17-го года, не предвидел, чего вовсе не было в 17-м году: воровства верхушки. Бессильные, даже анекдотические деятели Временного правительства, ничтожные деятели Совета рабочих депутатов — никто из них не был вором. И тут я не предвидел, что нынешняя номенклатура, что эти неистовые комсомольские вожди, секретари горкомов комсомола, они только и ждут, в какое имущество вцепиться. И когда начался хаос — у них не оказалось других идей, как — хватать, воровство! Это страшно, потому что Россия за ельцинскую эпоху разворована, разворована в невероятных масштабах. Наше национальное достояние: нефть, газ, металлы, электричество — ушло в частные руки, и почти бесплатно. И теперь это аргументируется:

мы потому так делали, чтобы не было возврата к большевизму. И сейчас... Страна наша, кажется, не воюет, и нет стихийных бедствий, а вдруг, время от времени, происходят «веерные отключения» электричества от крупных городов, от огромных районов, — вдруг отключается электричество на 18 часов. Как будто бы летает над нами туча бомбардировщиков и бомбят: то в одном месте, то в другом, то в третьем. Вот так в нашем государстве устроили так называемый «рынок». Но какой бы ни рынок, а государство за это отвечает: т а к о г о б ы т ь н е м о ж е т ! Будь у нас социализм, капитализм, феодализм — но такого быть не может!

А сейчас перейдём к Италии. Частный вопрос: отсылает ли название Вашего романа «В круге первом», его смысловое содержание, к дантовскому аду? По-Вашему, это верная ассоциация — современный Данте проходит по тоталитарному аду с мечтой выбраться из него, а оказывается всего лишь перед бесконечным чистилищем, современной Россией и современным миром?

Конечно, это напрашивается, органическое сходство и подобие спуска в круги ада у Данте и спуска в круги бытия в Архипелаге. Однако здесь есть и одна принципиальная духовная разница. В схеме Данте чем больше грешен человек, тем ниже он оказывается, в низшем круге, а наверху — наименее грешные. Гулаг устроен иначе, и в ходе моего романа видно: те, кто пытаются бороться со злом, не служить злу, отгородиться от него, — те опускаются вниз. А те, кто согласны со злом сотрудничать и примириться, — те остаются наверху. То есть картина прямо обратная.

И ещё вернёмся к Гулагу. Оставшиеся коммунисты возмущаются, когда два тоталитаризма современности — коммунистический и нацистский, с их лагерной и концлагерной системой — ставятся на одну доску. А как Вы считаете, справедливо такое сближение?

Да, между двумя системами, конечно, есть много общего, и система Гитлера во многом копировала достижения Ленина — Сталина, только у нас был принцип преследования классовый, а у них — расовый. И они нуждались тоже в органах насилия, хотя и по расовому принципу. Поэтому, зря так волнуются сторонники обоих режимов — очиститься тут невозможно.

Вы непосредственно знаете Запад, проведя долгие годы изгнания в Европе и Америке, и неоднократно критически отзывались о нём. А как Вы смотрите на Запад сейчас, сегодня? Каковы, на Ваш взгляд, позитивные и негатив-

ные аспекты западного мира? И как Вам представляются отношения сегодняшней России с современной западной реальностью?

Вы говорите, я критиковал Запад. Критиковал, конечно, но нужно уточнить. Практической организацией жизни на Западе — я восхищался. Много я хотел бы отсюда перенять, начиная с действенного местного самоуправления. Мы вот сегодня погибаем потому, что у нас не допущено местное самоуправление, задавлено, нет его. (Местное самоуправление, которое было в России до революции и которое Ленин объявил пятым колесом, он сказал: «Земство — это пятое колесо». Так вот нам бы его вернуть, самоуправление, чтобы народ мог проснуться и сам что-то делать, а не верхние чиновники, которые нам спускают распоряжения.) У меня была — боль за Запад. Боль за то, что в ходе благополучного течения жизни, в благоденствии, западные люди стали терять духовную силу, духовную высоту перед испытаниями. Вот боль за духовную слабость Запада заставляла меня быть критиком Запада, именно она.

Тут есть смысл поговорить и шире, касаясь уже рубежа века и Тысячелетия. Сейчас, во второй половине XX века, начался грандиозный процесс, который ещё, может быть, мы до конца не оценили, — процесс *перерождения гуманизма*. Гуманизм, когда он возникал, увлёкся таким замечательным замыслом: заимствовать у христианства его лучшие идеи, доброту, сочувствие к угнетённым, но попробовать, чтоб это без Бога шло. И на какое-то время гуманизму это удалось. Два столетия гуманизм шествовал как светлое явление, которое проводит светлые идеи, но без Бога. А в середине XX века гуманизм принял ещё контуры глобализма, обещательного глобализма: мы потому никак не пробьёмся к светлому будущему, что у нас нет центрального правительства земного, нет рационального распределения всех ресурсов.

Но вдруг — к концу XX века подошло с неожиданной стороны. Оглянулись — планета наша маленькая, кончается для нас. Гуманизм-глобализм, который призывал помочь всем обездоленным во всём мире, освободить все колонии, поднять Третий мир до уровня Первого, вдруг разглядел, сработала железная логика: это не удастся, потому что нет на это средств и невозможно такое осуществить на нашей тесной Земле. И тут глобализм показал своё новое лицо. Вспомним, несколько лет назад в Рио-де-Жанейро народы хором умоляли Соединённые Штаты, главным образом Соединённые Штаты, ну и другие передовые страны: остановите ваше производство в таких безумных масштабах! Соединённые Штаты имеют 5% мирового населения, потребляют 40% недр и материалов, — и 50% всего отравления за ними. Умоляли их: остановите! Нет,

не могут, ни Соединённые Штаты, ни другие передовые страны остановить не могут, потому что этот нарастающий рост всеобщего потребления требует больше и больше. И вот — нынешнее положение в мировой экономике. Выяснилось, что экономика Третьего мира не поднимается, а опускается. Разрыв между Первым и Третьим миром увеличивается и будет увеличиваться. Для того чтобы оставить простор для отравных действий передовой индустрии, надо заглушить индустрию в Третьем мире, и её уже заглушили. Третий мир стал только подавать недра и услуги. И в том числе мы, Россия, попадаем в этот Третий мир, и уже прямо туда идём. Нынешний глобализм уже выдвигает такой термин: не *прогресс*, а социал-дарвинистский *отбор*: происходит отбор успешливых, лучших, и этот отбор идёт уже десятилетия на наших глазах. Появилось такое понятие в современной публицистике — «золотой миллиард». Это Северная Америка и Европа, это сегодня приблизительно пятая, а потом будет шестая часть населения Земли. Для неё открыты пути пока, пока, и надо оставить их открытыми — за счёт кого же? За счёт остальных. Таким образом гуманизм переродился в глобализм худшего вида, и сегодня не все это ещё признали. А потому что без Бога строили, вот два века протянули... И это — трагедия гуманизма, это главное содержание перехода в XXI век и в Третье тысячелетие. Как мы из этого выйдем — никто наверно не знает. Положение России в этом смысле ужасное, потому что мы потратили столько лучших сил и 27 миллионов в Мировой войне, и на все эти стройки социалистические, и на создание военно-промышленного комплекса — и остались безо всего, мы в развале, и нас заталкивают в Третий мир. И мы вымираем, самое страшное — вымираем.

Так вот нам бы с Запада брать хорошее, а мы в потерянности нашего хаоса перехватывали и многое плохое. Когда у нас произошло крушение коммунизма, мы, десятилетиями молившиеся на Запад, ожидавшие, что там всё хорошо, не так, как у нас, мы, наше население, были наполнены эйфорией. Обнимитесь, все народы! Наконец мы с вами сливаемся! Мы все — открыты! Освободить Восточную Европу — пожалуйста. (Не посмел Горбачёв даже сказать: а вы не будете Восточную Европу брать в НАТО? — не посмел попросить бумаги, это было бы неприлично просто, просто неприлично.) Разоружиться — разоружаемся, сколько могли, сколько успели. Мы были полны веры и доверия.

И вдруг началось странное явление. Власти Соединённых Штатов, почувствовав победу в холодной войне, не смогли этим ограничиться. Сколько знает земная история попыток создания мировых держав? Сегодня в этот соблазн впали Соединённые Штаты. Не в том смысле, что

они пошлют войска и захватят всю Землю, нет, сегодня в этом нет нужды. Подчинить Землю можно экономически и культурно, и всё. Соединённые Штаты и впали в этот соблазн.

Вот НАТО — Северо-Атлантический союз, я подчёркиваю, *Северо-Атлантический*. И где оно уже? В Средней Азии, в Закавказье и броненосцем врезалось в Украину, которая мечтает войти в НАТО. Как должна Россия понять? Конечно, создать окружение, самое обыкновенное стратегическое окружение, такое, что если нужно будет в какой-то момент, то за 2–3 часа можно наши главные центры достичь с этих мест легко. У России, естественно, испуг перед этим, испуг и противодействие. А Восточная Европа? Очень интересна реакция Восточной Европы. Восточную Европу я отлично понимаю, и Прибалтику понимаю. Они так напуганы агрессией с Востока, что молятся на это НАТО. У них не хватает предвидения увидеть: агрессия с Востока им не грозит весь XXI век, а наверно, и дольше. А вот что им грозит — что они попадают наёмными ландскнехтами в НАТО. НАТО для выполнения своих теперь мировых задач потребует — и уже потребовалось, мы видели, — потребуются посылать туда и сюда авиацию или пехоту. Так отчего не посылать восточноевропейцев? Можно посылать. И поляки будут не Польшу защищать, а где-то в Африке или в Азии служить. Да посмотрите, как это было проявлено с Югославией. Ведь когда НАТО бомбило Югославию, восточноевропейская общественность аплодировала, Прибалтика аплодировала! Мы проливали слёзы над восточноевропейцами — несчастные, бедные, как бы вас освободить, — а они аплодируют: бейте сербов! бейте сильнее, бейте! Что случилось с людьми? Какой поворот в мозгах? Момент, когда НАТО отвергло Организацию Объединённых Наций, какая бы она ни была слабая, и стало действовать само, — был исторический момент, выходящий за пределы всей проблемы Югославии. Помните, как Гитлер вышел из Лиги Наций, Лига Наций ему мешала? И дальше мы знаем, что было. Так и тут: один раз ООН мешает, второй раз ООН мешает. Вот сейчас было предложение, чтобы ООН разбирала ближневосточный вопрос. Отодвинули Совет Безопасности, не надо, уже мешает ООН. Это страшно, грядёт совершенно новый общемировой строй.

Последний вопрос. Мы стоим на пороге нового столетия и Тысячелетия. Ваша необыкновенная жизнь полностью пришлась на уходящий век. Что бы Вы хотели сказать молодому поколению, молодым, которые нередко, причём не только в России, сбиты с толку, которым приходится и придётся жить в мире, совсем не похожем на мир старого поколения, в мире, полном напря-

жённости, новых противоречий, опасностей, прежде, пожалуй, и не снившихся?

Молодому поколению? Во-первых, не поддаваться соблазну потребительства. Потребительство, которое само как будто даётся в руки: больше иметь, захватывать, покупать, приобретать, менять модели, — надо иметь внутреннюю остановку, внутренние границы: остановись, это уже не нужно, остановись, это лишнее! Соблазн потребительства не доведёт до добра никакого отдельного человека и тем более вообще человечество. И в этой связи и по той картине, как мы тут обсудили, я бы предложил молодому поколению не строить иллюзий, что мы вступаем в счастливый век. Эта ошибка была совершена человечеством при переходе из Девятнадцатого века в Двадцатый. С каким воодушевлением встречали Двадцатый! После Девятнадцатого — Двадцатый мнился одним сплошным солнечным сиянием, а мы видим, что получилось. Такого ослепления сейчас нет, но ещё многие, может быть, надеются на какие-то быстрые удачные перемены. Нет, положение очень тяжёлое. Планета в тяжёлом состоянии, планета во многом отравлена, нарастает избыток углекислого газа и радиоактивных отходов, экология отчаянно плоха.

Жизнь будет трудна, но никогда обстоятельства не выше человеческой воли. Человеческая воля и сознание выше обстоятельств — это я говорю, пройдя фронт, лагеря и смертельную болезнь. Человеческая воля выше обстоятельств, она может их перебороть, но если она сконцентрирована и если она не лженаправлена. Вот что я хотел бы сказать.

ИНТЕРВЬЮ С ПЕТЕРОМ ХОЛЕНШТЕЙНОМ*

Декабрь 2003

Александр Исавич, какие воспоминания связаны у Вас со Швейцарией?

Самые тёплые — и от общего доброжелательства ко мне со стороны множества швейцарцев, и от многих личных встреч как в Цюрихе, так и в нагорьях Цюриха, и в других кантонах... В Цюрихе я широко использовал исторические материалы, а в Штерненберге и Хольцнахте — плодотворно работал в уединении. Наблюдения над швейцарским государственным опытом были для меня глубоко поучительны — и я много взял из него: о принципах наилучшего построения демократии.

Какую роль сыграл тогда в Вашей жизни недавно умерший мэр Цюриха доктор Зигмунд Видмер?

Доктор Зигмунд Видмер гостеприимно помог моему быстрому и лучшему устройству в Цюрихе, и в нагорьях, для работы. И доктор Видмер, и супруга его, фрау Элизабет, проявили к нам большое участие, всегда были и остались добрыми друзьями нашей семьи. И сейчас мы сохраняем благодарное почтение к его памяти и скорбим вместе с его семьёй.

Почему в 1976 году Вы не остались жить в Швейцарии, а уехали жить в Америку?

Так как Цюрих — один из центров Европы, многие пути ведут через него, то месяц от месяца всё учащались приезды к нам неожиданных посетителей. Моя же многолетняя работа над эпопеей «Красное Колесо» требовала, с одной стороны, глубокого уединённого простора, с другой — использования богатейших русских книжных и газетных фондов, которые на Западе в изобилии собраны только в Соединённых Штатах.

* Дано для швейцарского еженедельника «Weltwoche», где напечатано 4 января 2004. На русском языке впервые опубликовано в кн.: А.И. Солженицын. На возврате дыхания: Избранная публицистика. — М.: Вагриус, 2004.

Вы хорошо чувствовали себя в американском Вермонте? Что означала лично для Вас вынужденная эмиграция?

Моя высылка из СССР была для меня долголетним болезненным отрывом от России. А Вермонт стал уединённым местом — 18-летнего ожидания, пока я смог вернуться на родину.

Находясь в эмиграции, Вы предсказали распад Советского Союза и предостерегали от «расхищения национального богатства». Реальность превзошла Ваши опасения?

Распад Советского Союза я предсказывал, зная, что национальные отношения в нём не благополучны, как это прославлялось пропагандой, а — сильно напряжены. Но я всегда призывал избежать губительной скорости, резкости перемен. И уж никак не ожидал, что 25 миллионов русских соотечественников будут покинуты на притеснение, угнетение за нововозникшими рубежами России. И что российская центральная власть допустит и даже благосклонно направит безудержное расхищение национальных богатств авантюристами (с объявленной целью «как можно скорей уйти от социализма») — этого я, да и никто, никак не ожидал. Ограблены и миллионы граждан, и, ещё разительнее, — само оскудевшее государство, казна.

Насколько, по Вашему мнению, Ваше произведение «Архипелаг ГУЛаг» способствовало распаду коммунистической системы?

Об этом не мне судить, но, действительно, многие комментаторы выражают, что «Архипелаг ГУЛаг» способствовал распаду всей коммунистической системы. Когда я его писал, я понимал лишь, что эта книга подрывает идеологические основы коммунистического строя.

Когда в 1994 году Вы вновь ступили на российскую землю, Вы сказали, что в России нет демократии, но есть олигархия. Справедлива ли эта оценка и сегодня?

Да, при возврате в Россию я оценил её политический строй как олигархию — в аристотелевском понимании этого термина: когда государство управляется ограниченным замкнутым количеством правящих лиц. (В России сегодня термин «олигарх» ошибочно применяется только как синоним финансового магната. Это — лишь частный случай олигарха.) Да, Россия управляется замкнутым политическим классом,

отдалённым от населения, а народ не имеет никакого реального влияния на свою судьбу — и, значит, демократии в Российской Федерации нет, и по сегодня.

Вы часто предсказывали России демократическое будущее. Почему не оправдались Ваши ожидания?

Я всегда, ещё от 1973 года, говорил, что: 1) переход от тоталитаризма к демократии может быть только медленным, постепенным, осторожным, иначе наступит хаос (он и наступил, как видим); 2) построение демократии возможно только на основе «демократии малых пространств» (как в Швейцарии — община, затем кантон, затем государство).

В современной России первое было грубо нарушено, второе — не начато и до сих пор.

Вы неоднократно высказывались в пользу сильной президентской власти в сочетании с местным самоуправлением. Это напоминает земство при Александре II. Старый рецепт для новой России?

Россия — всё ещё огромное государство, и в таком государстве — да, я полагаю, должны действовать в сочетании: и сильная президентская власть с нисходящей вертикалью, обеспечивающей соблюдение законов, — и восходящая от низовых общин вертикаль органов самостоятельности, которые и устраивают все виды живой жизни в стране. При Александре II действовала неполная часть этой схемы: самоуправление (земство) было обрезано и снизу (без «волостного» земства, то есть общинного) и сверху (без всероссийского звена, оно было запрещено). Допущены были только средние звенья — уездные и губернские. Большевики же, придя к власти, один из первых своих ударов направили на уничтожение всякого самоуправления — чтобы не было конкуренции их власти.

Статья 12-я российской Конституции предусматривает местное самоуправление, которое действует наряду с органами государственной власти. А есть ли в действительности это самоуправление?

Статья 12-я не соблюдается. Местному самоуправлению не дают развиться как местные администраторы, так и парламент (Государственная Дума), не создавший ясных законов, дающих самоуправлению реальную свободу действовать и финансовое обеспечение.

Однажды Вы сказали, что русский народ сможет выжить, только если не утратит свою духовность. Что Вы конкретно имели в виду?

Не только русский народ, но и всякий: если утратит духовность, то обратится в аморфную массу потребителей.

Вы упрекаете Государственную Думу в том, что половина её депутатов представляет не интересы народа, а интересы партий. А разве эти партии не народ избирал?

Партийные депутаты не выбраны избирателями персонально, у них нет своего конкретного электората, они, таким образом, никак не являются «народными представителями», они выполняют волю только своей партии (только перед ней и отвечают), а значит, и тех, кто её финансово содержит. Вообще, в России сейчас нет прозрачного контроля за участием финансов во всех видах избирательной системы, что искажает всю достоверность выборов. (Это относится — и к возможностям административного влияния.)

Как Вы думаете, существует ли в России свобода мнений и свобода прессы?

Сравнительно с тем, как мы жили до 80-х годов, — свобода устного выражения мыслей — полная. Свобода прессы существует также в немалом объёме, но всегда хочется больше.

Каковы сегодня роль и значение Русской православной церкви?

Ныне православная Церковь свободна от государственного влияния и не встречает административных препятствий в своей деятельности. Однако 70-летний гнёт и преследования Церкви со стороны коммунистической власти — массовое уничтожение храмов, и самих священнослужителей, и растоптание приходской жизни, и отход новых поколений от веры — оставили глубокие последствия. Всем тем Церковь ещё сильно подорвана и сегодня, лишь постепенно оправляется.

После того как Вы критически отзывались о Сталине в Ваших фронтовых письмах другу, в 1945 году Вас приговорили к 8 годам заключения и ссылке. В 1956 году Хрущёв реабилитировал Вас, прочитав «Один день Ивана Денисовича». А как вообще получилось, что Хрущёв прочитал эту книгу?

Реабилитирован я был в 1957 году — не лично Хрущёвым, а в потоке общего пересмотра судебных дел. «Один день Ивана Денисовича» был

донесён до внимания Хрущёва в 1962 году — отважными самоотверженными усилиями Александра Твардовского при содействии хрущёвского референта Лебедева.

Вы потом встречались с Хрущёвым лично? Если да, то какими были Ваши взаимоотношения?

Я был представлен Хрущёву в декабре 1962 на встрече с деятелями искусств — помимо этого не встречался и не беседовал с ним никогда.

После распада СССР многие надеялись, что Вы займёте президентское кресло. Почему Вы никогда не предлагали себя в этом качестве?

Я — писатель, то есть художник, а не политик. К политическим заявлениям на протяжении жизни меня вынуждала гнетущая обстановка в СССР, невозвратимые потери в нём действенных общественных сил от 70-летних репрессий, а кроме того — искажённое представление о России на Западе. Ещё до возврата на родину из изгнания я не раз публично говорил, что возвращаюсь именно как писатель, не приму никаких постов ни по выборам, ни по назначению. (Именно в те месяцы в российской прессе публиковались и приглашения мне баллотироваться в качестве Президента.)

Вернувшись в Россию, Вы много ездили по стране, выступали в Думе и вели собственную передачу на телевидении. Это говорит о том, что президент Ельцин благоволил Вам. И тем не менее Вы упрекаете его в том, что он ускорил развал государства. Что Ельцин сделал не так и почему?

Грубые промахи Ельцина — и даже преступления относительно будущего России — отчасти были видны мне уже из Вермонта, и я тогда же его предупреждал не раз. Но тем разительней стали они мне видны от момента возврата в Россию. Я высказал это ему в нашей единственной встрече и многократно публично говорил об этом по всей стране. Это отражалось и в моих тогдашних выступлениях по телевидению — за что и были они в 1995 году запрещены.

Вы поддерживаете с ним отношения?

Кроме той личной встречи в ноябре 1994 года — никаких контактов с Ельциным в России у меня больше не было. В 1998, при моём 80-летию, Ельцин распорядился наградить меня высшим государственным орденом Андрея Первозванного. В обстановке всеобщего разорения страны

я принять ордена не мог. (Об отказе я предупредил его администрацию заблаговременно, не ища публичности в том, но Ельцин остался при своём решении.)

Как Вы оцениваете политическую деятельность Михаила Горбачёва? Какую роль он сыграл в процессе демократизации России?

Сейчас я окончил публикацию по-русски моих мемуаров «Утодило зёрнышко промеж двух жерновов», которые, я надеюсь, в недалёком будущем будут доступны и немецкому читателю. Там я оцениваю и эпоху Горбачёва.

В августе 1990 года Горбачёв реабилитировал Вас и других изгнанников. Почему Вы вернулись на родину не сразу, а лишь в 1994 году? Может быть, вернувшись раньше, Вы достигли бы большего?

Нет, я был реабилитирован (от обвинения в «измене родине») только осенью 1991. Мои суждения и предложения о происходящих в России процессах я опубликовал в России в сентябре 1990 весьма многочисленным тиражом (27 миллионов). Бóльшего влияния, чем моим словом, — я оказать не мог. То потребовало бы от меня прямой активной политической деятельности, от которой я отказался задолго прежде.

Вы как-то упрекнули Михаила Горбачёва в том, что он «всеми правдами и неправдами» задерживал публикацию Ваших книг. Что заставляло его это делать?

Для эпохи Горбачёва мои книги были слишком радикальным потрясением. Позже и советники Горбачёва печатно объясняли, что Горбачёв опасался моего влияния. (Об этом — в том же «Зёрнышке».)

В «Архипелаге ГУЛаге» подробно описано, как заключённым удавалось, несмотря на бесчеловечные условия в лагере, сохранить человеческое достоинство. Наверное, не менее трудно было сохранить в лагере и свой собственный язык?

Задача сбережения и восстановления чистого русского языка стояла перед нашим обществом в советское время не только в лагерях, но и на воле. Не менее того стоит она и сегодня. В лагерные годы открыто я только и мог себе позволить заниматься русским языком. Что я и делал годами углублённо, а в 80-е годы издал особый словарь, помогающий, как я надеюсь, сохранять богатства русского языка.

Первую реакцию на Вашу книгу о «еврейском вопросе» в России – как, впрочем, и на сам выбор темы – можно охарактеризовать как смятение и замешательство. Как Вы можете это объяснить?

Книгою «Двести лет вместе» я пытался нарушить утвердившееся в советское время неестественное табу на любые вопросы русско-еврейской истории. Эта книга – попытка установить сочувственное взаимопонимание обеих сторон и создать основу для благоприятного диалога. И с обеих сторон есть читатели высокого интеллектуального и морального уровня, которые так и восприняли книгу. К сожалению, большая часть пока не проявила такого понимания.

Вы выступаете за воссоединение России с Украиной и Белоруссией. Почему?

Я всегда выступал за единство России, Белоруссии и Украины по причине их исторического, этнического, религиозного, культурного и языкового родства и уже давнего и неискоренимого переплетения в многомиллионных семейных связях. К глубокому огорчению – за истекшие от раскола 12 лет было сделано много жестоких ошибок и искусственно предпринятых (и поддержанных извне) враждебных мер против такого единства. И сегодня оно представляется если не безнадежным, то весьма отдалённым во времени.

Есть ли, по Вашему мнению, какое-нибудь решение чеченской проблемы?

Хорошо познакомившись с чеченским характером во время казахстанской ссылки 50-х годов, – я в 1992 году давал Ельцину совет удовлетворить чеченскую жажду независимости и предоставить Чечне самостоятельное государственное существование – только без исконных казачьих земель по левому берегу Терека («подаренных» Хрущёвым Чечне при возврате чеченов из ссылки). Начатая Ельциным в 1994 война с Чечнёй была глубоко ошибочной (да и провально неподготовленной). Но с 1996 по 1999 Чечня при Масхадове и была фактически вполне независимой. Однако она употребила эту независимость никак не для строительства мирной жизни, никак не для устройства мирного производства – но для грабительских налётов на Ставрополье, массовых угонов скота оттуда, захвата заложников (а внутри Чечни продолжала физически искоренять оставшееся русское население). Использовала независимость – для стягивания арабских боевиков со всего мира, тренировки террористов в лагерях подготовки, непомерного накопления вооружений извне – и первая же напала на Дагестан (часть Российской

Федерации) с ваххабитскими завоевательными лозунгами. С тех дней у России и не оставалось другого выхода, как принять военный вызов. А теперь попытки найти политическое умиротворение и прекратить военный конфликт – трудная задача на долгие годы.

Говорят, Вы предложили восстановить смертную казнь в отношении главарей чеченских бандформирований. Чем это продиктовано?

Я говорил не именно о чеченских главарях, а о **всемирной** неизбежности самозащиты человечества. Террористы, уничтожающие массы гражданского населения, – по сути объявляют смертельную войну всему обществу, – и нет другого выхода, как вызов принять.

Смогут ли когда-нибудь исламский и христианский мир жить вместе?

Сегодняшняя вражда – не религиозного характера. Надеюсь, что возобладают благоразумие и естественные человеческие и религиозные мирные чувства. Думаю, что и Россия могла бы сыграть в том весьма положительную роль.

Свои гонорары за «Архипелаг ГУЛаг» Вы отдаёте в Фонд, который оказывает финансовую помощь бывшим узникам Гулага. И ещё Ваш фонд учредил литературную премию. Как обстоят дела в современной русской литературе?

С наступившим в России в 80-е годы потрясением мгновенного перехода от многолетнего запрета всякой самостоятельной речи и творчества – ко внезапно хлынувшей полной внешней свободе – многие писатели в России, увы, не справились, захлебнулись в этой свободе. Одни поддались болезни поверхностного экспериментаторства и измельчания, другие – соблазнительной погоне за мимолётной модой и коммерческим успехом. (Болезнь, впрочем, и всемирная.) Но историческое нравственное и художественное здоровье русской литературы столь крепко, что она перестояла и коммунистическую эпоху, переставивает и сегодняшнее смятение – и, я верю, снова утвердится жизненной, духовно укрепляющей силой для народа, и, надеюсь, не только для русского.

Вам исполняется 85 лет. Каков, вкратце, итог пройденного жизненного пути?

По обстоятельствам жизни свой литературный путь я реально начал лишь сорокалетним. С тех пор я осуществил в литературе многие из моих замыслов, да кое-что и в общественной жизни, но там многого выполнить не удалось. Насколько будет прочтён главный труд моей

жизни — эпопея «Красное Колесо» — покажет лишь время, уже после моей смерти.

20-летний насильственный отрыв от родины я и жена моя выдержали духовно, и в неустанной деятельности. Трое наших сыновей, теперь все уже за 30, выросли целеустремлёнными, определившимися личностями — и, несмотря на детство их и юность в изгнании, — неотрывными от России.

В 1970 году Вы получили Нобелевскую премию в области литературы. Каково значение этой награды в Вашей жизни?

В годы самых жестоких преследований от коммунистической власти Нобелевская премия укрепила моё положение — и помогла мне устоять.

Вы боитесь умереть? Испытываете ли Вы страх перед смертью?

Лишь в юности я боялся умереть: так рано, как умер мой отец (в 27 лет), — и не успеть осуществить литературных замыслов. От моих средних лет я утвердился в самом спокойном отношении к смерти. У меня нет никакого страха перед ней. По христианским воззрениям я ощущаю её как естественный, но вовсе не окончательный рубеж: при физической смерти духовная личность не прерывается, она лишь переходит в другую форму существования. А достигнув уже столь преклонного возраста, я не только не боюсь смерти, но уже готовно созрел к ней, предощаю в ней даже облегчение.

Продолжаете ли Вы писать, и если да, то над чем Вы сейчас работаете?

Да, писать продолжаю. Но сколько мне пришлось в жизни давать интервью — в каждом из них содержался этот вопрос: над чем я сейчас работаю? Однако и не было ни единого случая, чтобы я на этот вопрос отвечал. Потому что: чего ещё нет — того и нет. Простите.

Какое Ваше самое большое желание?

Чтобы русский народ, несмотря на все многомиллионные потери в XX веке, несмотря на нынешний катастрофический упадок — материальный, физический, демографический, у многих и моральный, — не пал бы духом, не пресёкся в существовании на Земле — но сумел бы воспрянуть. Чтобы в мире сохранились русский язык и культура. (И сохранилась бы в том и моя скромная доля.)

Часть вторая

РОССИЙСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ОБ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Людмила Сараскина
КОД СОЛЖЕНИЦЫНА*

*Есть книги и есть авторы, которым суждено быть
возмутителями общественного спокойствия,
даже если они повествуют о событиях давно минувших.*

Казалось: ушла в невозвратное прошлое тема, навсегда определившая человеческую и творческую судьбу автора «Архипелага ГУЛага». А значит, и место Солженицына в русской литературе прочно закрепилось за ним как за писателем *историческим*. Иные из его нынешних критиков то и дело повторяют: актуальность Солженицына исчерпалась с началом перестройки, гласности и свободы слова; Солженицын не понимает эпоху, в которой живёт, не чувствует страны, в которую вернулся, а значит — опоздал навсегда.

Между тем сегодня, как и тридцать, и двадцать лет назад, отношение к Солженицыну — это снова тест, интеллектуальное, нравственное испытание для власти, для интеллигенции, для любого читателя в их стремлении и в их способности жить не по лжи.

Разумеется, речь идёт не об апологии или культе Солженицына, не об общегосударственном поклонении нобелевскому лауреату, а о совместимости современного российского общества с тем кругом идей и настроений, которые представляет Солженицын сегодняшний, Солженицын — публицист и исторический мыслитель.

Уже сейчас стало ясно: либеральная и демократическая общественность споткнулась на Солженицыне едва ли не с тем же «успехом», что и общественность хрущёвского, а затем брежневского времени. Уже сейчас стала очевидной и правота Солженицына, предвидевшего такой поворот судьбы: «Я сегодня не связан ни с каким политическим движением в России, ни с какой политической партией и ни с каким политическим лицом. Я буду исходить только из того, что я понимаю полезным и нужным для России. И не считаясь с тем, кому это сегодня нравится, а завтра не нравится. Поэтому я допускаю, что я не буду иметь полной свободы слова в России» (1993 г.).

* Публикуется по: Россия. 1996. № 1. С. 56–57.

Замечу, что именно из эмиграции вместе с Солженицыным приехало в Россию подозрение, что их, Солженицыных, «двое». Легко можно установить происхождение этого подозрения. Да и кто же не знает хитроумную уловку советских литературоведов «ленинского типа», которые для удобства в обращении расчленили «сложных» Достоевского, Гоголя, Толстого на «мыслителей» и «художников». Художники, дескать, они были гениальные, а мыслители — так себе, посредственные, порой и реакционные: того не знали, этого не поняли, сего не учли. Во все вузовские учебники, не говоря уже о школьных, вошли рассуждения о неразрешимых противоречиях, терзавших писателей, у которых всё лучшее — «от мастерства», всё худшее — «от мировоззрения».

Когда автора «Одного дня Ивана Денисовича» за его публицистику объявляют второсортным мыслителем, когда по поводу «Ленина в Цюрихе» или статьи «Наши плюралисты» говорят: «затемнение громадного ума, громадной личности, громадного художественного духа», «крушение великого писателя», — это свидетельствует лишь о несовместимости некоторых политических координат. Но если Солженицын не вписывается в марксистско-ленинские, национал-шовинистические или либерально-демократические системы мышления, это не значит, что он плохой мыслитель. Это значит, что он существует в своей собственной системе координат. «Солженицын, — говорит Эрнст Неизвестный, — как личность, как писатель, как историк, как нравственный проповедник разламывает рамки узкополитического подхода. В этом он абсолютно последовательное русское явление».

Сегодня уместно вспомнить, как долго у нас ждали, пока Солженицын выскажется по поводу грандиозных перемен в отечестве. Когда же загадочное молчание «вермонтского отшельника» было наконец нарушено и общественное нетерпение получило свежую пищу для размышлений, многие сугубо партийные ожидания сменились партийными же разочарованиями. Те, кто напряжённо гадал, под чьи знамёна встанет главный русский писатель современности, кого и куда за собой позовёт, что и где возглавит, остались ни с чем: художник и мыслитель Солженицын сумел не угодить всем сразу и не вписался ни в одно из нынешних политических направлений. Сейчас, как и двадцать лет назад, Солженицын остаётся фигурой в высшей степени притягательной и в такой же степени неудобной.

Персонажам нынешнего политического Олимпа смысл высказываний Солженицына оказывается враждебным заведомо — как не имеющий конкретно-партийной цели и не отвечающий каким бы то ни было групповым интересам.

Солженицын же составил свой политический букет, что называется, мимо партийной моды. Ибо нет сегодня в России такой партии, в программе которой органично сочетались бы: ненависть к насилию и тоталитаризму; неприятие социалистического выбора и коммунистической перспективы; естественное чувство привязанности к национальной традиции и родным корням; ярчайший и последовательный патриотизм; приверженность демократии, которую как образ правления выбирают в качестве средства, а не в качестве цели; приверженность рыночной экономике, переход к которой должен быть предельно смягчён для миллионов не готовых к ней граждан. К сожалению, все вышеназванные качества ныне рассредоточены по разным программам и разным партиям, для Солженицына абсолютно неприемлемым, — где патриотизм переплетён с расизмом, поклонением Ленину — Сталину и свирепым антидемократизмом, где демократия соединяется с антинациональной политикой и высокомерным наплевательством на судьбы того самого большинства, именем которого клянётся и божится записной демократ.

Неучастие Солженицына в политических состязаниях, его отказ от какой бы то ни было политической карьеры отнюдь не ставят его в положение «над схваткой». Просто у него свои ценности, свои общественные приоритеты, своё представление о самом важном, самом насущном. Именно поэтому на настойчивые предложения московских либералов принять участие в каком-нибудь очередном антифашистском конгрессе или хотя бы произнести кодовые слова о растущем русском фашизме и его угрозе мировому сообществу Солженицын неизменно отвечает, что, на его взгляд, России в первую голову угрожает не фашизм, а демографическая катастрофа: «Каждый год наш народ вымирает на миллион человек чистой убыли, как если бы по всей России бушевала гражданская война».

В этом смысле, вернувшись после двадцатилетнего изгнания на Родину, Солженицын не только не опоздал, но приехал в Россию вовремя, в самый раз. Потому что только его моральный авторитет, только его общественная репутация могут сегодня вернуть благородный смысл таким понятиям, как «русский вопрос», «русское национальное сознание», — понятиям, втаптывавшимся в грязь едва ли не целое столетие. Нужно быть Солженицыным, чтобы с высокой трибуны Государственной Думы произнести пронзительные слова о *сбережении народа* как главном русском вопросе XX века. И нужно быть Солженицыным — чтобы эти слова зазвучали наконец без фальши, лицемерия и отвратительной спекулятивной лжи.

Сегодня, когда понятие «патриотизм» воспринимается едва ли не как особая нашивка на спецодежде соответствующей политической партии, Солженицын настаивает на своём понимании термина: «Патриотизм — это цельное и настойчивое чувство любви к своей родине и к своей нации со служением, ей не угодливым, не поддержкою несправедливых её притязаний, а откровенным в оценке пороков и грехов. На *такой* патриотизм — имеет право любая нация, и русские — никак не меньше других».

Такова публицистика Солженицына сегодняшнего, провозгласившего: «Мы должны строить Россию *нравственную*... Все добрые семена, какие на Руси ещё чудом не дотоптаны, — мы должны выбрать и вырастить».

За двадцать лет изгнания — около ста семидесяти крупных публицистических работ, не считая основного труда по истории русской революции «Красное Колесо»; стало быть, по восемь-девять больших публицистических статей в год. И это «вермонтский отшельник»?

«Вся возвращённая мне жизнь, — писал Солженицын в знаменитых мемуарах “Бодался телёнок с дубом”, рассказывая о своём чудесном исцелении от рака, — с тех пор — не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель». Солженицын, закончивший в изгнании свой великий литературный труд, вернулся в Россию в том числе и для того, чтобы воспитать, вырастить своего читателя, своего критика, своего исследователя. Процесс взаимного узнавания писателя и страны после длительной и насильственной разлуки воспринимается сегодняшним Солженицыным не как лишние хлопоты или досадные помехи в обретении славы, а как новая творческая задача, которой он отдаётся с азартом и страстью.

Татьяна Иванова

ОТ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПОДВИГ*

Недавно в издательстве «Согласие» вышла книга Александра Исаевича Солженицына «Бодался телёнок с дубом». В ней почти семьсот страниц. На сегодняшний день это самое полное из всех существующих изданий книги. И, безусловно, самое значительное событие в литературной жизни России последнего времени. Хотя издаётся много, очень много ранее запретных, прекрасных, даже изумительных книг.

О книге Солженицына написано, публикуется и ещё будет опубликовано множество отзывов. И мысль о том, кто вправе писать, отнюдь не безосновательна. Я — вправе? Но кто я, собственно, такая, чтобы рассуждать о произведении самого Солженицына?..

Правда, наш великий современник всегда хотел, чтобы как можно больше людей в России прочли его книги. Не мог же он предполагать, что они не будут над ними думать, не захотят о них говорить... Разные люди, не только самые известные, самые лучшие.

Конечно, многие прочли «Телёнка» еще в самиздате, в заграничном исполнении, в «Новом мире», в 1991 году — с продолжением. Всё не то. Читала и я самиздатовское, заграничное, новомирское. Но — книга... Толщенная, своя насовсем, можно читать не спеша, можно читать сколько хочешь, можно перечитывать отдельные страницы, делать пометки на полях, ставить галки, восклицательные знаки. И спешить к ней, летишь, многое отодвигая, ждёшь, когда наступит этот блаженный миг — лампа, книга, ты.

«Бодался телёнок с дубом» — обозримое для современника общественное, политическое и литературное поле. Все знакомы и всё знакомо. Время, охваченное повествованием (самое начало шестидесятых — середина семидесятых), полностью совпадает с началом моей, например, взрослой жизни и её серединой. И «Новый мир» Твардовского — стал частью крови, текущей в жилах. И «Один день Ивана Денисовича» —

* Публикуется по: Книжное обозрение. 1996. 24 сентября. С. 5.

праздником не только долгожданной правды и надежды на её продолжение. А и праздником национальной гордости: жива, живёт великая русская литература. Повесть об Иване Денисовиче, а потом новомирские же рассказы — всё было бережно переплетено. И устроено на стеллажах, которые, казалось, пополняться больше никогда не будут, — на стеллажах с русскими классиками. И проза Солженицына там встала — нормально.

А высылка его из страны, а мерзости в прессе — какая трагедия, какой стыд. Похоже было на 21 августа 1968 года. Хотя после того переживания острота социального чувства была уже не такой болезненной. После того (1968) ждали любых подлостей и любых свинцовых мерзостей. Ожидаемое не так потрясает.

Главный герой этого удивительного романа. Собственно, тот, кто «бодался». До последних лет он был безлик. Маленькие фотографии — не в счёт. Теперь он перед глазами, телевизионный. Его голос, жесты, речь. Его жена и сыновья. Его поступки... Потому ещё и читается «Телёнок» теперь иначе, совсем иначе, чем раньше. Солженицына видишь и слышишь.

Он не приехал к нам в августе 1991 года. Почему?

Он перед президентскими выборами нынешнего года не сказал нам так ясно и убедительно, как только он и умеет говорить, что нельзя голосовать за коммунистов. Почему?

Ещё удивительнее. Прямо во время выборов, перед тем как опустить бюллетень в урну, он дал короткое интервью корреспондентам.

Курточка какая-то была на нём — не бархатная ли? Взгляд раздражённый, почти брезгливый, и такой же голос. И это раздражение, эта брезгливость были про нас — его сограждан, его читателей. Несовершенны мы! «Сколько лет я призываю к покаянию — ни слова покаяния».

Так и хотелось сказать ему в экран: батюшка барин, простите своих холопов, будьте милостивы, не прикажите портки сымать, прикажите миловать, отслужим мы, неразумные...

Книга отвечает на все вопросы — перечисленные здесь и не заданные по разным причинам. (Например, потому что кажутся бестактными.) По Карамзину: хочет человек или не хочет, в своих писаниях он свою душу открывает.

Живой Солженицын предстаёт перед нами со страниц этой несказанной книги. Бесконечно талантливый и безгранично мужественный, идеально выдержанный, умнейший, способный предвидеть и видеть насквозь, просчитывать опасности и пренебрегать ими, в том числе и смертельными, — во имя идеи, во имя цели, во имя дела.

И немыслимая любовь, какая случается раз в сто лет, если не реже, тоже предстаёт нам со страниц этого дивного классического русского романа. Где мужчина — воплощённое мужество и геройство, где женщина прекрасна, женственна, жертвенна, верна, да притом и умна.

Какие всё окончательные слова: «идеальный», «геройство», «жертвенность», «классика»... Но они точны, эти слова, вот в чём, кажется мне, и ответы на все заданные и незаданные вопросы.

Герой «Телёнка» обладает достоинствами, несоизмерными обычному человеческому существу. Он *в самом деле* слишком глубоко и точно, и не только насквозь, а на два метра под землёй, видел и понимал всё про Твардовского и «Новый мир». Слишком глубоко и точно. Потому для него было мучением проявлять солидарность — всегда подчиняться редакторским требованиям безоговорочно, видеть коллектив единомышленников там, где он ясно видел лукавцев, хитрецов, лизоблюдов, да и попросту предателей.

Они не были таковыми с обычной человеческой точки зрения. И душа восстаёт на их защиту. Но надо осознать, что она это делает по недомыслию, недочувствованию... Надо, приходится это осознать. Когда осознаешь, можно это знание отбросить, вычеркнуть, любить, кого любила (я пишу сейчас о своих собственных ощущениях, ничуть не претендуя на какие-то обобщения или рецепты для других людей). Но не осознать — не выходит, потому что Солженицын пишет всё так внятно, так ясно и просто, что невозможно не понимать, что он прав. И ему не верить.

Он за кого-то не заступился и кого-то не благодарил за опасную и бесценную помощь в его работе. Это потому, что считал себя не вправе делать хоть что-то, способное отвлечь его от работы над «Архипелагом». «Архипелаг» же понимал как работу, смертельную для строя. Приготовляясь нанести строю смертельный удар, он удерживал себя от желания пойти на поводу у злобы дня.

И — схваченный «ЧКГБ» (аббревиатура Солженицына) Буковский остался без заступничества Солженицына. И — сбитая грузовиком Елена Цезаревна Чуковская (одна из самых самоотверженных и бескорыстных помощниц писателя) не получила в тяжёлой физической боли и в душевной муке того сочувствия, на которое (он понимает) могла надеяться.

Мир несовершенен. Люди несовершенны. Они не такие, как надо, они ведут себя не так. Всё верно. И правы — правее всех в этом мире, — конечно, те избранные, кто не тратит себя на пустяки (что не пустяк в сравнении с вечностью). Но любить их, самых совершенных и правых,

трудно. Потому что для живого человека, которому грозит, например, тюрьма, всего важнее именно злоба дня. И если способная помочь рука не протягивается ему на помощь потому, что держит именно в эту минуту вечное перо, попробуйте объяснить этому человеку что-нибудь про вечность и высшие цели...

Был момент: из ЧКГБ угрожали гибелью детям Солженицына. Они не знали, да и не могли знать, что муж и жена к тому времени приняли решение: было ими решено, что жизнь их мальчиков не дороже памяти замученных в ГУЛаге.

Не только их собственные жизни, но и жизни их мальчиков... Конечно, это решение сверхчеловеческое.

Тем более ведь знаешь, что роль слов, даже собранных в самые потрясающие книги, безусловно велика, но и столь же безусловно — не окончательна в том, что коммунистический режим был сокрушён. Как, кстати, и в том, что он был установлен.

Хотя... Чья же роль тогда окончательна?..

На все вопросы не ответишь, да и о книге в семьсот страниц, где ни на одной странице напрасное не имеет смысла, в нескольких строчках не скажешь.

Но есть какие-то отрывки — их просто нет сил не привести. Так разнообразно наполнены они содержанием, смыслом.

Вот опубликован «Архипелаг». И ассоциация американских издателей выражает готовность опубликовать исторические материалы, которые советская власть захотела бы противопоставить «Архипелагу». Но — таких материалов нет. «За 50 лет палачи не подобрали себе оправданий». И ведь последние полгода книга была у них в руках. Нет, и тут не удосужились. Напечатали в «Нью-Йорк таймс» вялую статью Бондарева. Сталинград, да генерал Власов, да не понимает Солженицын нравственности, да у него антиславянское чувство, да у него национальный нигилизм... В «Известиях» напечатали статью — опять генерал Власов. Статья обширная. Солженицын развернул — думает, ну, сейчас будут опровергать, кто Прагу от немцев освободил, «документы — у них; каких нет — подделают, а где ж мне своих сокамерников теперь созвать? Но — нет! Даже не хватило наглости, главного не опровергли: что единственным боевым действием власовских дивизий был бой против немцев — за Прагу!».

Сколько можно судить, вопрос о Власове и власовцах, как и положено, занимает умы. Публикаций не так много. Но то, что Солженицын называет «главным», никем не опровергнуто.

Юрий Карякин говорил когда-то, что «Архипелаг» он перечитывает в обязательном порядке раз в год. Я знаю одну очень славную женщину,

которая просила разрешения у моей мамы: «Валентина Алексеевна, можно я не буду читать “Архипелаг”?» Ей было тяжело, нервы у неё не выдерживали. И мама «разрешила». Но та женщина не лезет в газеты, эфиры и на телеэкраны с публичными выступлениями. Ей можно. Те, кто «лезет», должны, как Карякин, — раз в год. Иначе они спорят с очевидностями, оспаривают то, что давно и бесповоротно доказано.

Добавление к основному тексту «Телёнка» называется «Невидимки». Это о людях, которые помогали. Здесь уже упомянута Елена Цезаревна Чуковская, для Солженицына, как и для своих близких, — Люша. О ней отдельная глава. Из этой главы ясно, что труд её в помощь подпольному писателю Солженицыну был страшно громаден и сопряжён с риском. Глава о Люше — из самых тёплых и благодарных в книге.

Но теплота и благодарность вообще-то не главные качества в характере главного героя. Несколько лет во флигеле Ростроповича на даче — так и должно быть. Знакомство с Сахаровым — важное, но Сахаров делает слишком много ошибок. Жизнь в Переделкине у Чуковского — нечто естественное.

Несколько квартир, жалких комнатёнок в коммуналках, куда писатель мог прийти в любое время дня и ночи, на любой срок и был спрятан, накормлен, уложен спать, где с ним говорили о его произведениях столько, сколько ему было нужно (а писатель был погружён в работу, интересно ему было говорить лишь о ней), где перепечатывали огромные рукописи в нескольких экземплярах, сжигали копирки, умели переправить сотни и тысячи страниц в «укривище».

Об этих людях — написано. С той мерой теплоты и благодарности, какая присуща безмерно целеустремлённому человеку.

Впрочем, чего мне не хватает? Ведь весь восторг перед этими людьми я испытала благодаря рассказу Солженицына. Значит, с высшей точки зрения его задача выполнена, его «мера» точней точного.

Всё так. Только я знала Сахарова. И не мне судить, как там насчёт ошибок. А более благородного человека как было не сыскать, так не сыскать и теперь.

И — только я сама жила и живу этой жизнью, в таких коммуналках и квартирах. Я знаю, что такое «гость» в доме. Почувствующий? Живущий...

Впрочем, всё ничтожество и малость наша, примериваешь на себя — всё велико... Но история! Что вытворяет история, какие закручивает сюжеты! «И тут произошло совпадение более чем символическое, как умеет ставить только История... На диване грудой ещё лежала неразобранная посылка от Наташи Климовой-младшей, — а по той же узкой чердачной лесенке через две минуты к нам взойшёл Аркадий Петрович

Столыпин — тот маленький сын Столыпина, едва не убитый во взрыве на Аптекарском острове Наташей Климовой-старшей, — да и пришёл ко мне обсудить эскиз моей главы о Петре Столыпине. С этим милым человеком мы сидели дружески, а рядом лежали пакеты, так же дружески присланные от дочери несостоявшейся его убийцы. Так за две трети столетия повернулась Россия. Дочь с тем же талантом и порывом, как мать, теперь работала и рисковала в противоположную сторону».

А сколько людей — бескорыстных и бесстрашных помощников — было в России у Солженицына без фамилий и без имен... «например, те двое парней в радиокомитете на Новокузнецкой (кто-то ведь из моих радиоколлег, недаром я их люблю. — *Т.И.*) — с отчаянной смелостью из портфеля гебиста, вышедшего из комнаты, вынули и переписали оперативную инструкцию по слежке, которую я затем мог процитировать в интервью».

Читаю и перечитываю «Бодался телёнок с дубом», никак не начинаю. Русский язык превосходен. Хотя временами кажется, что и нарочит. Характер главного героя — автора этих невероятных мемуаров тяжёл, достоинства его так велики, что кажутся несоразмерными человеку. И не оттого ли иногда воспринимаются как недостатки.

Но нельзя не понять — перед нами человек воистину великий.

Подвиг Солженицына просто не знает себе равных.

Повествование о подвиге от лица, подвиг совершившего. Вот что такое «Бодался телёнок с дубом».

Книга с захватывающим, острейшим сюжетом.

Мемуары. Документальное повествование, с истинными датами, географическими названиями, именами, фамилиями, цифрами.

Повесть о Горе-злосчасти, о Петре и Февронии, Поучение Владимира Мономаха, Житие протопопа Аввакума — да, отзывается, да...

Но ещё и классический (и полифонический — в соответствии с определением самого Солженицына, данным им по иному поводу), — ещё и классический русский роман. Какие наперечёт и в русской, и в мировой литературе.

Книга, о которой вообще нельзя говорить в ряду других книг, потому что ей нет ряда.

Как нет ряда и нашему великому современнику — Александру Исаевичу Солженицыну.

Юрий Кублановский

СОЛЖЕНИЦЫН ПРИ ДЕМОКРАТИИ*

...У меня в Переделкине висит фото, когда-то (19 января 1982 года) изъятое при обыске, а потом — после нескольких письменных затребований — возвращённое: портрет Солженицына. Измождённое, скорбное, в глубоких морщинах, с резко опущенными углами губ лицо — писатель в декабре 1971-го, у гроба Твардовского.

И когда теперь встречаюсь с Александром Исаевичем, — каждый раз поражаюсь: да передо мной другой человек! Прошли четверть века, а он словно помолодел: морщин поуменьшилось, из лика ушла грозность, заставлявшая пасовать перед ним даже коммунистическую бюрократию. Десятилетия плодотворного труда и жизни на чистом вермонтском воздухе, в умеренном, как раз таком, какой человеку нужен, недостатке, жизнь не военная, не зэковская, не подпольная, а впервые — писательская сделали своё дело: Солженицын поприветливел и назло годам посвежел.

Однажды я рассказал ему, что недавно на тусовке критик С. прошипел: «Ненавижу Солженицына!» Александр Исаевич усмехнулся: «Прямо так и сказал? Ну что же, помрёт скорее, знаете, ненависть ведь такое чувство...» Вообще, Солженицын вызывает порой реакции, прямо скажем, неадекватные. Помню, в Париже Владимир Максимов удивлялся, что в первые свои эмигрантские дни услышал от бойкой супруги популярного литератора-диссидента: «Ну что, свернём Исаичу шею?» — «Я изумился, возразил, что, по-моему, у эмиграции другие задачи».

...5 сентября 1973-го Солженицын через окошко приёмной ЦК в единственном экземпляре передаёт Брежневу «Письмо вождям Советского Союза», а в сопроводительном — пишет: «Вы увидите, что моё письмо написано не с публицистическим задором, не с упрёками, а только с живым желанием убедить Вас. Я не теряю надежды, что Вы, как простой рус-

* Публикуется по: Труд. 1997. 26 февраля. С. 1, 6. Для настоящего издания текст статьи авторизован и уточнён.

ский человек с большим здравым смыслом, вполне можете мои доводы принять, а уж тогда тем более будет в Вашей власти их осуществить».

«Простой русский человек с большим здравым смыслом» через две недели после письма на заседании Политбюро отреагировал так: «На моё имя поступило заявление в ЦК КПСС от Солженицына. Он пишет, в отличие от всех предыдущих писем, несколько иначе, но тоже бред. Я просил т. Сулова ознакомиться с этим делом и дать его на ознакомление в круговую членам Политбюро». Реакция кремлёвских олигофренов понятна, но аналогично к «Письму» Солженицына отнеслась и значительная часть нашей с переменным успехом диссидентствовавшей (в основном за счёт кукишей в кармане) интеллигенции: сама до мозга костей утопистка-«западница», именно Солженицына стала обвинять она в прожектерстве и утопизме.

А между тем уже тогда, с тревогой глядя в гипотетическое посткоммунистическое пространство, Солженицын здраво считал, что *плодотворное, возрождающее народ освобождение может прийти лишь через сильную духовную, культурную и социальную дисциплину, а не через её левомифральное разложение*. И это вызвало неистовство политических дилетантов и конъюнктурщиков, многих идеологов эмигрантской «третьей волны»: «аятолла России» ещё не самый крепкий эпитет их по адресу Солженицына.

Все мои девять эмигрантских лет то тут, то там я сталкивался именно с таким отношением к Солженицыну. На «Радио “Свобода”» мне вообще настоятельно (исключительно из доброго ко мне отношения) посоветовали не упоминать его имени.

...Я вернулся в Россию (как говорится, «с концами», как позднее и Солженицын, больше из литераторов не возвратился никто, по понятным причинам триумфальные гастроли предпочитая здешней лямке) и с удивлением столкнулся с аналогичным отношением к Солженицыну. Всё больше «борзея», иные журналисты писали о нём в тоне, в каком никогда не осмелились бы писать, к примеру, о Сахарове. Сначала поскребли коготком, увидели — можно, тогда стали лить помой ушатами. Солженицын медлит вернуться — плохо. Журналист А.Минкин в «МК» его за то как следует отчитал. Солженицын вернулся — ещё хуже: «не с того конца» приехал, почему не сразу в Москву; сколько сарказма, желчи — такое впечатление, что с цепи сорвались. Информационная блокада о его поездке через Россию (особенно вопиющая, ибо всем именно это в те недели и было более всего интересно) перемежалась развязными подначками и подкопами. Приехал авторитетный, великий, можно сказать, человек — не надо авторитетов, плюнем в ав-

торитет, теперь это слово вообще не употребляется иначе, как с эпитетом «уголовный».

Солженицын ещё в Вермонте сказал, что не исключает, что в России до телевидения его не допустят, что ему придётся узнать блокаду новой цензуры. Ироничная теледикторша об этом рассказала с улыбкой — как о казусе, как штришок отрыва классика от нашей новой демократической реальности. Симптоматичный пример: ещё в Штатах именно Солженицын наперёд знал, что его ждёт дома, ибо насквозь видел социальную систему последних лет, специфику её пропагандистского механизма.

Прошло несколько месяцев (я и сам отснялся — по его приглашению — в двух телебеседах с Александром Исаевичем), и мне уже пришлось спрашивать «хозяина» ОРТ Березовского: «Почему удалён с телевидения Солженицын?» И — услышать развязный ответ власть имущего, хотя кто такой Солженицын и кто такой рядом с ним Березовский?..

И вот теперь все говорят, спрашивают: «Почему молчит Солженицын?» Ну почему же молчит? Например, раз в полгода он печатает в «Новом мире» свежие рассказы.

Среди них — «Абрикосовое варенье», где советский граф Алексей Толстой делится секретами своего мастерства: «Я, признаюсь, в Девятьсот Семнадцатом году — тогда ещё в богеме, с дерзновенной причёской, а сам робок, — пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов XVII века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дырки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горячим веником — из груди пытаемого вырывалась самая оголённая, нутряная речь. И вот это — дымящаяся новизна! Это — язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал». И далее — герой с восторгом приводит словесные обороты из полученного им накануне отчаянного письма ээка, зывающего о помощи...

Слава Богу, писателю Солженицыну не надо прибегать к столь «сильнодействующим» соцреалистическим методам: его язык первозданен — это подлинник, а не копия.

Недавно вышел расширенный вариант солженицынских мемуаров «Бодался телёнок с дубом» («Согласие», 1996), двухтомник публицистики, включающий и наинovelейший «“Русский вопрос” к концу XX века», вышла брошюра телевыступлений «По минуте в день» («Аргументы и факты») — и всё равно общее впечатление — совершенно, как видим, ложное, — что «Солженицын молчит».

А всё потому, что встали, не работают маховики, «технологически» опосредующие в конце XX века доходчивость писателя до читателя: кого угодно можно «раскрутить», можно «забыть». Не Солженицын молчит, а *его слово заблокировано почти столь же глухо, как и при коммунистах*. Да что там, самиздат был, кажется, эффективнее, имел больший резонанс, эхо! Ныне же слово Солженицына как бы не находит отклика. Солженицын при демократии исподволь вытеснен на информационную периферию. Почему? *Либо он не демократ, либо у нас не демократия*. Думаю, что и то и другое.

Трудно назвать демократическим режим, когда средняя смертность в 2,5–3 раза превосходит рождаемость, когда жизненный возраст россиян ужимается со скоростью шагреновой кожи и соответствует лишь срокам в самых отсталых странах. В статье «К нынешнему состоянию России» Солженицын пишет: «Создалась устойчивая и замкнутая олигархия на 150–200 человек, управляющая судьбами страны. Таково точное название нынешнего российского государственного строя. Это — не выросшее из корней государственное дерево, а насильственно воткнутая сухая палка или, теперь уже, железный стержень. Членов этой олигархии объединяет жажда власти и корыстные расчёты — никаких высоких целей служения отечеству и народу они не проявляют».

Вот эти-то «150–200 человек» плюс их культурно-идеологическая обслуга и блокируют Солженицына.

Ну а демократ ли Солженицын в нынешнем расхожем употреблении этого слова? Разумеется, нет. Он убеждён, что ни партийная рвачка, ни выборы, основанные на пропагандистском зомбировании с привлечением шоу-бизнеса, ни нынешнее всеобщее равное прямое тайное голосование, ни выделенные таким путём во власть «избранцы» политического здоровья отечеству не обеспечат. «Надо искать форму государственных решений более высокую, чем простое механическое голосование. Всё отдать на голосование по большинству — значит устанавливать его диктатуру над меньшинством и над особыми мнениями, которые как раз наиболее ценны для поиска путей развития... Обезличенное полное равенство людских выражений — есть энтропия, направление к смерти. Общество живо именно своею дифференциацией... Власть — это заповеданное служение и не может быть предметом конкуренции партий».

...Каждый раз при встрече с Солженицыным ловлю себя на мысли, что не верю своим глазам: неужели этот подтянутый, ухоженный, в отлично сидящем пиджаке мужик (отнюдь не старец) и есть тот самый Солженицын, у которого за плечами такая судьба, такое творчество, наконец, выигранная схватка с тоталитарным Левиафаном (во всяком слу-

чае, прежде чем пасть физически, тот был им уничтожен морально)? Никакого снобизма, натужности — просто здоровая органика знающего себе цену достойного человека...

Наверное, Солженицын — *последний* великий русский. Давно нет почвы, на которой всходили такие люди. Общение с ним подзаряжает энергией, которой хватает на много дней неунывной обнадёженной жизни.

Валентин Берестов
ВОЗВРАЩЕНЕЦ*

В февральском номере «Нового мира» нечаянная радость — новые «крохотки» Александра Солженицына. Вернулся к «крохоткам», к стихотворениям в прозе, как их называл Тургенев. А в эпиграфе фраза из письма редактору: «Только вернувшись в Россию, я оказался способен их писать, там — не мог».

И сразу вспомнилась молодость, шестидесятые, «Матрёнин двор»: «Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию». Значит, из ссылки, а то и с каторги, легко (и восторженно!) соображали мы тогда. После XX съезда! «Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что задержался я с возвратом годиков на десять». Значит, арестовали в войну или сразу после неё. «Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса». Теперь, читая это, понимаешь: вот единственная почва, на которой вырастают «крохотки». И ещё: «Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила». Прежде всего она жила в самом писателе!

Никто не ждал и не звал? А Твардовский в том же «Новом мире»? Помню, какой был праздник, когда в редакции появился «Один день Ивана Денисовича». Я узнал об этом у Чуковского и Маршака. Автор чуть было не назвался псевдонимом — Рязанский. Но всем трём классикам была милее подлинная его фамилия, которую они, любуясь её звучанием, произносили — Сол-же-ни-цын.

Маршак ещё без рукописи, так сказать, на пальцах, пытался объяснить мне, какая это дивная вещь: «Послушайте, голубчик, что за русский язык!» — и воспроизвёл наизусть: «Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!» Лишь тут я узнал, что речь идёт об одном дне в сталинском лагере. За номером «Нового мира» с этим

* Публикуется по: Стас. 1997. Май. № 5.

рассказом бежали в киоск с рассвета. Всё неожиданно! Ждали картину страданий и мук интеллигента, а получили удачный (с лагерной точки зрения) день каторжника-мужика. Их, оказывается, больше всех было и среди политических эков, тут они впервые обрели голоса и лица. Ждали блатных словечек, тюремного жаргона, а получили живой и плотный, как в «Толковом словаре» В.Даля (не без использования такового), язык чуть не всех слоёв народа, зато к блатным словам, как к чужеземным, приложен словарик. И наконец, ждали потрясающий, как тогда говорили, человеческий документ, а дождались великого писателя. Москвичам лишь не совсем ясно было, кто это — новый Толстой или новый Достоевский. (Уж так повелось в советской литературе, либо наш Толстой, либо наш Достоевский, кого только не провозглашали тем или другим!)

Я познакомился с Александром Исаевичем лишь недавно и, страшно сказать, — где. У гроба Лидии Корнеевны Чуковской. Он сказал, что та всегда была русской, а не советской писательницей. Русским писателем, без единого советского атома, пришёл и Солженицын. И мы поняли, что как раз такого мы и ждали. Корней Иванович Чуковский переиздавал и без конца читал вслух рассказы В.Слепцова «Питомка» и «Ночлег». Картины народной жизни, написанные в прошлом веке, но до чего ж нынешние, живые. Теми чтениями Чуковский как бы восполнял отсутствие писателя, какой и сейчас нужен России. И я после «Ивана Денисовича» поздравил Чуковского письмом: вы ждали — вот он и явился! Словно бы вернулся после почти столетнего отсутствия.

А мог бы встретить его ещё у Маршака. Один литератор, наблюдая первую их встречу, пришёл от Маршака в ужас: «Ему привели чудо — автора “Ивана Денисовича”, а он читает ему речь, какую собрался произнести в Англии на четырёхсотлети Шекспира!» Мне он тоже читал её наброски: «Нам легче понять Шекспира, чем нашим отцам и дедам. Нам довелось увидеть собственными глазами, ощутить всем своим существом крутые повороты истории... В такую эпоху, полную действия, в котором одни принимают участие добровольно и по убеждению, а другие поневоле, нам кажутся убедительными шекспировские контрасты. Мы понимаем, что у его героев характеры не менее сложны, чем у персонажей в романах более мирных и спокойных лет, и даже превосходят их в сложности, но в действии, в борьбе проявляются не все, а главные человеческие черты». Прочтите двучастные рассказы Солженицына последних лет, где люди очень сжато и ёмко даны на этих крутых поворотах, и вы увидите, Маршак говорил с Солженицыным о главном, единственно верном для нашей страны, эпохи, литературы.

Вот мысли Сталина из романа «В круге первом»: «Целые народы подобны королеве Анне из шекспировского “Ричарда III”, — их гнев недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они всегда будут рады отдать себя победителю». Тираны одинаковы во все века!

Солженицын — из Ростова, древний Танаис рядом. Он видел эллинские надгробья, где мёртвый изображён вместе с живыми, и вспомнил их на свидании «в круге первом»: «Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом». Дальше — суть постоянных возвращений писателя: «В том-то и ужас, что *возврата не будет. Вернуться нельзя*». А что можно? И ответ: «Можно только прийти заново». Добавим к этому: и вернуть — многое и многим.

Вот новая «крохотка» — «Колокол Углича». Бит плетью, лишился уха, сослан в Сибирь. Вернулся на прежнее место, но в иную эпоху, к иным людям: «Я — бью единожды. И какой же дивный гул возникает в храме, столь многозначно это слитие глухих тонов, из старины — к нам, неразумно поспешливым и замутнённым душам». Частица этого дивного гула — сам язык писателя: «бью единожды», «слитие тонов», «неразумно поспешливые души». Сколько свежести всего-то в двух фразах! И ведь так у Солженицына — везде. Люди с иными душами, но тот же дивный гул и, увы, та же «непробивная боярщина, что четыреста лет назад, что теперь». И всё-таки колокол гудит после столь долгого молчания!

Лишь однажды в истории Руси этой боярщине пришлось-таки лет триста с лишним вертеться, угождать народу, отбиваться от Орды и от Ордена, вступать в торговый союз с Лондоном и Гамбургом, мостить мостовые, учить детей грамоте, не пробивать окно в Европу, а быть «обустроенной» Европой, оставаясь самой что ни на есть Русью. Во взглядах на Новгород Великий мы с Солженицыным расходимся. Ну, ничего. Он лёгок на подъём, съездит в Новгород, пройдёт по древним мостовым с академиком Яниным и убедится, что всё это создано не «диктаторами», как в 1925 году считал С.Ф.Платонов, что его любимые поморы — от тех новгородцев, от вечевых колоколов. В.Л.Янин расскажет ему про кончанские и уличанские вече, близкое народу местное самоуправление, а оно сейчас так занимает писателя. Уж если возвращаться, то и свободную Русью не пренебречь бы!

Удивительны возвращения Солженицына. Ушёл на фронт из Ростова — вернулся из ГУЛАГа в Среднюю Россию. Ушёл математиком, артиллеристом — вернулся великим писателем, не понапрасну верящим, что свободное, правдивое слово сокрушает империи. Ушёл атеистом — вер-

нулся глубоко верующим. «По лагерной уловке свои мысли укладывал в рифмованные строки, чтобы запомнить». И запомнил:

И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнувши воды живой, —
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отрёкшимся был Ты со мной...

Мера к нему вернулась, мера вещей. Познай самого себя! Великий завет философии. Такое познание приводит к самым благо- и животворным озарениям. Потрясший миллионы душ «Архипелаг ГУЛАг» завершён и таким выводом: «Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений».

Страшная книга, которая писалась в «укривищах», утверждает, что «смысл земного существования не в благоденствии, как мы привыкли считать, а в развитии души». А «наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз». Писатель задаёт вопрос, к какому наука ещё не подступилась, а ему бы и быть главнейшим: «Как человек становится злым и как — добрым». Тут не одна Россия, а всё человечество. «К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму идею зла». И мне вспоминается пример словупотребления, сочиненный В.И.Далем, учителем Солженицына: «Ломоносов делал честь своему веку». Как Солженицын — нашему.

И если уж говорить о возвращениях, то Солженицына с его «Архипелагом» и девизом «Жить не по лжи!», тут же принятым многими, ждало возвращение в ГУЛАГ. Внуки Чуковского, давшего писателю «укривище», рассказывали, как он учил царापатья в дачное окно, а не стучаться (это обычай КГБ), как он клал рядом с постелью вилы, а мечтал ещё и о косе, ибо по закону то и другое не считается холодным оружием, а поугатать им шпиков и наёмных бандитов очень даже можно.

Недавно переводил «Чистое сердце» бельгийца Мориса Карема. Батюшки, это ж про Солженицына!

Суму, изгнание, тюрьму
Сулили сильные ему.
Но тот, кто счастьем знает цену,
Проходит сквозь любую стену.

Даже сквозь стену ракового корпуса. Недавно прочёл в его воспоминаниях о Борисе Можаяеве: «Больной свою болезнь должен знать вполноту, и тогда выставить против неё всю силу духа». И не найдёшь более счастливых страниц, чем те, из «Ракового корпуса», как победивший болезнь («довесок» к ГУЛАГу) Костоготов радуется розовому сквозистому чуду цветущего урюка в старом Ташкенте. А стена дома, сложенная зэком? «Тебе ни на что не нужна эта стена, и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но жалкий, оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнёшься». Даже перепел у него поёт не по-обломовски: «Спать пора!», а по-штольцевски: «В путь пора!»

«Там», где не пишутся «крохотки», — это уютный Запад, наградивший Александра Исаевича Нобелевской премией. Кажется, он пробыл «там», вне России, не меньше, чем на войне и на им открытом стране и миру тюремном «архипелаге», вместе взятых. Уехал под конвоем из СССР на запад, вернулся уже в Россию победителем с востока, через Магадан. Но осталось ещё многое, к чему нужно вернуться и что вернуть к жизни.

Олег Павлов
«СОЛЖЕНИЦЫН —
ЭТО СОЛЖЕНИЦЫН»*

Мемуарно-юбилейной публикацией Евгения Евтушенко «Обречённый на бессмертье» — главкой из биографической книги, посвящённой Солженицыну, — «Литературная газета» открыла не иначе как юбилейные торжества, ведь не тайна, что Александру Исаевичу Солженицыну в декабре этого года исполнится восемьдесят лет. Но в другой газете, которая ещё смелее называет себя «газетой московской интеллигенции», почти в то же самое время вышла статья Роя Медведева «От триумфа до безвестности», одобренная голосами «с улицы» и мнениями деятелей культуры о Солженицыне, — однако там, похоже, торжества уже так скоро хотели не открыть, а отменить. Но в духе обеих публикаций — не газет — есть и нечто совершенно одинаковое.

Уже в простом этом наборе заголовков, обстоятельств кишмя кишит по-ярмарочному, вероятно, то же самое лицемерие, о котором писал в одной из своих статей Солженицын, только живое, а не пойманное и скованное мыслью, потому что сколько ни думай, сколько ни пиши о нём, взятое невесомо из жизни, оно всей тяжестью своей канет обратно же в жизнь... Евтушенко обрекает Солженицына на бессмертие, попутно отказывая в смысле всему, что написано после «Одного дня Ивана Денисовича». Не иначе как итог жизни этой и этого творчества подводит и Рой Медведев, но менее утешительный: Солженицын не сделал всего, что мог, а читай Медведева внимательней — ничего не сделал, ничего не мог, никем он не стал... Рейтинг его как политика в России пал!

И это почти детективная история, интригу которой надо суметь понять: *юбилей Солженицына и лицемерие на исходе XX века*. Эти два тяжелейших, снаряжённых самой мощной начинкой снаряда испытают на прочность две Судьбы — судьбу писателя и судьбу интеллигенции, то-

* Публикуется по: Москва. 1998. Ноябрь. С. 125–126.

гда как все навязавшиеся за последние десятилетия узелки на линиях этих судеб только давали на ощупь понять, что уже-то снова напряжены и неясны. Писателя, возвратившегося на родину из многолетнего изгнания, творческая интеллигенция в своей массе встретила уже как врага – в синодике у Роя Медведева читайте, что говорили Сарнов, покойный Юрий Нагибин, Бакланов и многие, но ведь не цитирует он их изречений других, другого времени и образца – когда они много лет тому назад тоже встречали Солженицына с «Одним днём Ивана Денисовича» как писателя и чуть не плакали от восторгов. В «Дневнике» Юрия Нагибина тех лет почти дословно: явился мессия, пророк! А вот его же, Нагибина, слова, и это уже в новейшем было сказано времени, они-то и пригибаются Медведеву: «Человеку, создавшему двадцать томов, кажется, что он объял всю Россию, её прошлое, настоящее и будущее. Это всё чушь!»

Что же произошло? Солженицын – это Солженицын. Деятели культуры, от Евтушенко с Роем Медведевым до Кедрина с Прохановым, что неожиданно стали на глазах целым неделимым коллективом, – это уже массовка. А такого юбилея в России долго ждали, давно ждут. Поток польются и панегирики, и нечистоты, но сольются в одну-то полноводную мутную реку, что хлынет в общество, а куда ж ещё «излить душу» людям интеллигентным, как не в общество? Этого слива грязных вод с души избежать невозможно. Тогда, в шестидесятых, все почти были небесной одной белизны; теперь, под конец века, одни, не раз и не два заключая сделки с совестью, другие, проигравшись в пух и прах кто на мелкой, кто на крупной ставке в политику, будто б в банальное «очко», остались глубоко не удовлетворёнными тем, как и во что воплотились их судьбы, – остались недовольны своим творческим или же моральным проигрышем. Не имея ни права морального, ни такой судьбы творческой, чтобы равнять себя с Солженицыным, проигравшиеся эти игроки будут пытаться равнять под себя Солженицына.

Это и есть – юбилейщина. Был вот юбилей у Сергея Михалкова, но это же Михалков, и никто не будет себя к нему примерять, а только великодушно, с высоты своей, простят, что давно уж простили и себе. Но юбилея Солженицына мало кто себе простит. Нет другой такой судьбы в литературе, как у него, а самое важное – он остался самим собой; самая-то правда в том, что не играл ведь он в азартные игры этого века, а потому и не проигрался!

Смешней же другое – канализировать свои грехи, проигрыши и скопившуюся желчь на самом деле некуда. Нельзя излить теперь душу обществу, потому что общества у нас нет. Ну нет лет как пять, после перестро-

ечного пиршества духа, общественной мысли; ну нет, нет мнения общественного после расстрела парламента и чеченской войны; нет общности, даже собственности общественной, однокоренной, теперь с гулькин нос. Из всех интересов общие только те, как выжить, но выживают, как известно, только поодиночке, а всем миром разве что продают ни за грош.

Солженицын советует, как обустроить Россию, чувствуя личную ответственность за Россию, но это чувство доступно и каждому гражданину. В одиночку же он сделал столько, сколько не сделал и весь коллектив ораторствующей интеллигенции, пустивший на воздух энергию, сотворённую в людях и самоотверженным русским художником, – сотворённую его самыми запретными в этом веке, но и самыми свободными книгами.

Михаил Золотоносов
 БЫК У ОБЛОМКОВ ДУБА*

Страшно и вообразить, какая нас ждала бы свистопляска, окажись Солженицын пригодным для роли «государственного писателя». Орден ему, конечно, дадут. Но трогательного шоу не получится.

«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Финал «Матрёнина двора» (1962), самого совершенного из ранних рассказов Солженицына. Наверняка автор вкладывал в эти слова и личное: и не столько даже констатацию собственной, уже осуществившейся праведности, сколько программу жизнестроения на будущее. В скромность писателя я не верю, но важно помнить, что самомнение оправдалось. Жизнь Солженицына — самое лучшее и самое бесспорное его произведение. Праведность всегда требовала в России героизма, а *подвижничество* недаром однокоренное со словом *подвиг*.

Подвиг Солженицына связан с противостоянием государству: от «Одного дня» через «Архипелаг ГУЛаг» (самое значительное литературное произведение А.И. и «великое» по гамбургскому счёту в русской литературе в целом) — до «России в обвале». В этом и заключена главная его связь с традицией русской интеллигенции: желание добиться свободы для личности, разрушив систему государственного подавления. Хоть сам Александр Исаевич изо всех сил нажимает не на *личность*, а на *народ*, симпатизирует русским консерваторам, антинигилистам (Столыпин для него — лучший человек на все времена), историческая роль А.И. оказалась иной — роль идеолога разрушения государства. Таким он был в старые социалистические времена, таков он и нынче. Главный его враг по-прежнему Российское государство в лице правителей, высших бюрократов, которые облегли Россию. «Коммунизм» оказался лишь одной из преходящих масок главного врага.

* Публикуется по: Московские новости. 1998. 29 ноября — 6 декабря. С. 24.

ВЕЧНЫЙ КРИТИК

Для характеристики «антигосударственности» характерны две самые последние крупные публицистические работы: «Русский вопрос» к концу XX века» (1994) и «Россия в обвале» (1998). Главная мысль обоих сочинений — патологическая, традиционная и ничем не преодолимая глупость российских правителей. «Русский вопрос» — это не просто вопрос о выживании русских (быть народу или не быть), но именно о политике элиты, которая ставит это выживание под вопрос. С глупостью связаны упущенные возможности внутреннего развития и растрата народных сил, направленных на ненужные России внешние цели (особенное внимание А.И. уделил «роковому панславистскому увлечению» в прошлом веке; ср. с нынешним интересом Думы к Сербии). Политическая элита, управлявшая русскими едва ли не с самого начала и по сегодняшний день, предстаёт у А.И. компанией двоечников. «Для государственного руководства слишком мало у нас людей, кто б одновременно был: мудр, мужественен и бескорыстен». Причём «слишком мало» — это так, для красного словца. На самом деле — никого.

Когда А.И. вернулся в 1994 году, через 20 лет после высылки, он буквально сразу же принялся — как тогда казалось, по инерции — обличать и новую Россию. Помню, что тогда это многих покорило и было воспринято комически. Дескать, прибыл предсказанный Войновичем (в «Москве 2042») Сим Симыч Карнавалов на белом коне, автор «Большой зоны», и закричал звонким голосом о «заглотившей власти».

Но наступил август 1998 года, и «демократическая семилетка» с шумом провалилась, подтвердив правоту солженицынской идеологической инерции. Может быть, такова особенность России, в которой всё проваливается? И именно при России и должен состоять *Вечный Критик*? Он без неё не может, без неё его функция не реализуется, а правота не получает столь убедительных доказательств. Вот странная судьба — и страны нашей, и русского писателя Солженицына. Он думает, что он строитель (последняя глава «России в обвале» так и названа: «Строительное»), а он — разрушитель, антигосударственник. Одним словом, бык.

Дело тут не в России вовсе. И прибыв на Запад, А.И. тут же оказался *чужим*. «А для Запада это выглядело так: от лютого советского правительства они защищали меня как демократического и социалистического героя... Спасли меня — а я, оказывается, несколько не социалист, и предлагаю авторитарность, и тому драконскому правительству какие-то переговоры... И после близких недавних восторгов — полилась на меня уже и брань западной прессы...»

Это цитата из сочинения, которое «Новый мир» публикует именно к 80-летию писателя, — «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки из знания». С одной стороны, это продолжение «Телёнка», история публикации сочинений, описание «политической мельницы» и хитрых, предприимчивых людей, думавших только о наживе (одна из них — Ольга Карлайл, любимый объект бомбометания «Литературки» 1970-х годов.). С другой стороны, это тонкая метафора того, что произошло с писателем в 1994-м и последующие годы, после репатриации.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ

Как и на Западе, Солженицын и в России оказался сам по себе, вне какой-либо стаи, не вписался в *московскую культуру* с её темпами, с её родоплеменным устройством в области литературы и журналистики. Нужно действительно иметь силы на самостоянье, быть духовно самодостаточным, чтобы на родине продолжить путь эмигранта: жить вне «союзов», как пушкинский «царь» («Ты царь. Живи один. Дорогою свободной...»). Никому А.И. не подошёл в виде знамени или хоругви, у всех нашёл не свободу, продажность, корысть и быстро об этом сообщил своим страным, ни на что «телевизионное» непохожим образным языком и форсированным, открывающим горячую заинтересованность голосом. Не даром его еженедельные телевизионные лекции оказались недолгими: кто же у нас после десятилетия *гласности* потерпит *правду*? И зачем этот внепартийный писатель, который бьёт по всем подряд (и никогда не знаешь, кто будет следующим в этой очереди)?

Да и сама горячность, детская вера в силу слова (рождённая ещё в те поры, когда он своим голосом мог перекрыть *общий гул современности*) испугали.

(Каждый раз, когда наталкиваюсь на какую-нибудь глупейшую телепередачу, каких большинство, думаю, что на все *это*, на всех *этих* время нашлось. А на писателя, говорившего правду ещё когда за это сажали, убивали из-за угла или в лучшем случае высылали, времени на нашем телевидении не найти.)

Кстати сказать, Солженицына его роль Вечного Критика, приведшая к изгойничеству, как раз и спасла от опасности стать *комическим персонажем* после возвращения в Россию в 1994 году. Дурного вкуса медленное приближение к Москве *по глубинке*, напомнившее Сто дней Наполеона; присланные перед этим манифесты — «Как нам обустроить Россию?» (18 сентября 1990 года его распечатала «Комсомолка», а по-

том и многие газеты) и «Русский вопрос» к концу XX века» (1994), — всё это работало объективно против А.И. Ведь ощущение было таким, что он не понял, в какую страну вернулся, что эпоха *одного слова правды, которое весь мир перетянет*, невозвратно прошла, что в России «правда» стала профессией, и не ему соревноваться с «профи».

Но, слава Богу, помогло наше непобедимое российское хамство: Солженицына не «переогромил», а просто заткнули ему рот, ибо для всех он приберёт неприятные слова. И больше всего — для ельцинского режима. Правда, критика оказалась такой, что и КПРФ не пригодилась. «Своих» ни во власти, ни в оппозиции А.И. не обнаружил. И даже ни одного политика на букву «Л» не полюбил...

Вот тут, на мой взгляд, главный урок: Вечный Критик — неисправимый индивидуалист. И именно в этом — *учитель жизни и великий человек*.

Как и положено интеллигенту, он не транслирует групповые догмы, а высказывает *собственное* мнение, которое никому не приговораем. Ни власти, ни оппозиции. Так было в те годы, когда из Америки Солженицын призывал *каждого из нас* к моральному сопротивлению (помню, какое глубокое впечатление этот призыв произвёл на меня лично и во многом меня сформировал); так и сегодня. А.И. показывает, что можно и нужно жить вне стаи; что только так интеллигент может сохранить собственное достоинство. Никому не поддакивать, никого не обслуживать, не соблюдать условности, участвуя в лживых государственных или общественных ритуалах. *Не давать собой пользоваться*. Писатель видит всех и всё, но сам невидим.

НАРОД И ОТЕЧЕСТВО

Довольно долго подвергая племя российских правителей и чиновников перманентной уничтожающей критике, Солженицын столь же последовательно и «инерционно» защищал русский народ. Народ, согласно исторической концепции А.И., никогда не был виноват в своей истории, в том, что его регулярно превращали в «экспериментальный лепной материал». И в последней книге можно найти ритуальную критику обвинений русского народа в испорченности (восходящую, как неверно утверждает А.И., к троцкистам и меньшевикам). Но вместе с тем впервые появились формулировки недостатков русского национального характера, слова о необходимости этот характер перестроить. По сравнению с войной, объявленной когда-то русофобам (главным из них

«вермонтский обком» назначил Андрея Синявского), и до сих пор (например, в той же «России в обвале») возникающим призраком всемирного заговора против беззащитного и незлобивого русского народа («чтобы нас, русских, обезличить») — слова о народных недостатках означают несомненный прогресс.

Новация симптоматичная и явно связанная с пятилетним пребыванием на Родине. Наконец, критика охватила и ту зону, которая прежде от критики была защищена и для всех народников (каковым и является А.И.) была табуирована. В итоге осталось одно Отечество — *«это то, что произвело всех нас. Оно — повыше, повыше всяческих преходящих конституций»*. Оно — и не государство, и не народ, а идеальная сущность, мозговая конструкция, аналог *Царства Божьего внутри нас*. Только его Вечный Критик пока и оставил.

Он считает себя писателем, вынужденно занимающимся политологией и историей, поскольку коммунисты всех поуничтожали. Я же не случайно вёл речь обо всём, кроме художественных произведений, слишком «сделанных» и чересчур идеологизированных (таково и наилучшее из них — роман «В круге первом»). Солженицын потому и писателем стал, что только в художественной литературе ещё можно было в хрущёвские 1950-е годы заняться политологией и «социальными вопросами» — под видом романов и повестей. (В другие места не пускали. Его и сейчас стараются не пускать туда, куда можно не пускать при нынешней свободе.) И в то же время свобода политическая для А.И. — это метафора свободы творчества, ибо в центре мироздания — собственная писательская судьба. Так возник и так существует этот сложный феномен — писатель Солженицын, *учитель жизни*, Вечный Критик и Разрушитель.

Андрей Антонов

ПРОРОК В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ И МИРЕ*

Многие события в жизни Александра Исаевича были помечены какими-то особыми мистическими знаками. В далёком 1938 году двадцатилетний парень ёрнически поприветствовал партийного руководителя Украины Никиту Хрущёва на спортивном празднике в Киеве. Тот приветствия, наверное, и не заметил, а если заметил, то сразу забыл. Мог ли думать молодой Саша Солженицын, что именно этот человек откроет ему путь к мировой славе своим милостивым разрешением опубликовать «Один день Ивана Денисовича»? Мог ли сталинский функционер думать, что этот помахаивший ему рукой паренёк станет одним из могильщиков коммунизма, причём с его косвенной помощью?

Случайное совпадение, очередная шутка судьбы? Возможно, и так, но вот излечение от рака, уже давшего метастазы, многие считают самым настоящим чудом, божественным предопределением. С этим также можно соглашаться или нет, однако неоспоримым остаётся тот факт, что Солженицын обладал каким-то особым провидческим даром.

«Я вернусь в свою страну», — твёрдо заявил писатель в одном из своих западных интервью. И тут же уточнил, что имеет в виду не только опубликование написанных им книг, но и своё, если можно так выразиться, физическое возвращение.

Вряд ли кто серьёзно отнёсся тогда к этим словам. Утопия, полная утрата чувства реальности. Да и как можно было расценивать их иначе? На дворе 1983 год. В Советском Союзе Андропов до отказа завернул идеологические гайки, практически уничтожил диссидентское движение. «Железный занавес» стал ещё более непроницаемым, отношения с Западом ухудшаются с каждым днём. И вот в таких условиях... Сейчас уже, казалось бы, можно говорить о некоем провидческом даре, о том,

* Публикуется по: Экспресс хроника. 1998. 7 декабря. С. 1.

что Солженицын предчувствовал крах коммунизма, был кем-то вроде Нострадамуса. Нет, не так всё просто. В то же самое время писатель предупреждает Запад: берегитесь, коммунизм наступает по всему фронту, а вы расслабились, потеряли волю к сопротивлению. Очередное противоречие? Или, может быть, как раз подтверждение той истины, что ничего фатального в мире нет, что в конечном счёте всё зависит от воли людей?

И люди услышали, причём услышали именно его, Солженицына. Многие ли помнят сегодня, что процесс демократизации 1968 года в Чехословакии (знаменитая Пражская весна) начался с того, что на съезде чехословацких писателей было зачитано письмо Солженицына о необходимости отмены цензуры; что в 1975 году в Португалии именно попытка коммунистов сорвать печатание «Архипелага ГУЛага» вывела на улицы тысячи возмущённых манифестантов и красный путч потерпел сокрушительное поражение. Многие ли задумывались над тем, почему именно «Архипелаг ГУЛаг» так потряс западную общественность, ведь и раньше много писали о большевистских лагерях.

Может быть, потому, что к определённым категориям читателей Солженицын обращался напрямую. Вы, молодые левые бунтари Запада, скорее всего, меня не услышите и внимания на мою книгу не обратите. И только тогда всё поймёте, когда сами потопаете в лагерь, — смысл одного из таких обращений в «Архипелаге ГУЛаге».

Нет, услышали, поняли, внимание обратили. В конце семидесятых годов во Франции возник феномен так называемых «новых философов». Почему феномен? Да потому, что Бернар Анри Леви, Андре Глюксман и прочие представители этого течения в прошлом были ультралевыми, активистами студенческих бунтов мая 1968 года. Сохранив бунтарство и нонконформизм, «новые философы» в своих трудах весьма профессионально обличали тоталитарную идеологию. По их собственному признанию, именно «Архипелаг ГУЛаг» помог им переосмыслить очень многое. Их ещё называли «детьми Солженицына».

При всём этом нельзя сказать, что Солженицына на Западе боготворили. Его критиковали, порой очень жёстко, называли даже «русским Хомейни». Причём не было чёткого деления на сторонников и противников. Свободные люди оставляли за собой право с чем-то соглашаться, а что-то оспаривать. Когда Владимир Войнович в своём романе-антиутопии «Москва 2042» вывел образ некоего Сим Симыча, многие посчитали это злой карикатурой на Солженицына. Однако сам Войнович говорил, что это не карикатура, а лишь своеобразный протест против обожествления писателя...

О роли Солженицына в посткоммунистической России, наверное, много будут размышлять историки и литературоведы. Роль эта весьма своеобразна. На Западе писатель избрал участь «вермонтского отшельника», но там он был эмигрантом, а вот в своей стране... Общественность ждала пророка, а политики — не просто пророка, а такого, который именно их поддержит авторитетом своего слова и своего имени. Как это ни покажется парадоксальным, но определённые надежды на Солженицына возлагали и коммунисты, не анпиловцы, конечно (те уже на Ярославском вокзале встретили писателя злобными плакатами), а другие, если можно так выразиться, «респектабельные». Тем более что и прецеденты уже имелись. Достаточно вспомнить хотя бы Александра Зиновьева, превратившегося из обличителя коммунизма в сталиниста-догматика. Солженицын же сурово критиковал реформы и правительство, весьма нелицеприятно отзывался о Западе, так что некоторые зацепки были. Надо ли говорить о том, что надежды коммунистов не оправдались. Впрочем, как и всех остальных. Солженицын так и остался «гуляющим сам по себе». Выступил перед депутатами Госдумы, провёл несколько телепередач (впоследствии снятых с эфира), поделился своими соображениями о том, как надо обустроить Россию. Вот, пожалуй, и вся общественная деятельность. Дополнительных недругов писатель всё-таки нашёл, в лице украинских националистов хотя бы. Это неудивительно. Солженицын подчёркивал, что по-прежнему считает коммунистов бандитами, однако считает бандитами не только их.

А вообще-то ничего неожиданного не произошло. Сам Солженицын никогда себя ни пророком, ни политиком не считал. Он просто говорил то, что думал, а правом других было с чем-то соглашаться, а что-то отвергать. Его все слушают, но мало кто к нему прислушивается. Нет пророка в своём отечестве. А отечество Солженицына сегодня — это уже не только Россия...

Юрий Кублановский
СОЛЖЕНИЦЫН В ИЗГНАНИИ*

Каждый читавший «очерки литературной жизни», а точнее, остросюжетные мемуары Александра Солженицына «Бодался телёнок с дубом», помнит, что заканчиваются они депортацией писателя в Западную Германию 13 февраля 1974 года. Вопреки настоянию «либерального» А. Косыгина — («Нужно провести суд над Солженицыным, а отбывать наказание его можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных корреспондентов, там очень холодно») — судить Солженицына ЦК не решился.

«Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания» — начинаются как раз там, где обрывается книга первая: «За несколько часов вихрем перенесённый из Лефортовской тюрьмы, вообще из Великой Советской Зоны — к сельскому домику Генриха Бёлля под Кёльном, в кольце плотной сотни корреспондентов, ждущих моих громовых заявлений, я им ответил неожиданно для самого себя: “Я достаточно говорил в Советском Союзе, а теперь помолчу”... Странно? Но с первых же часов — от неохватной здешней лёгкости, — как замкнулось во мне что-то».

«Замыкание», однако, было недолгим. Опубликованные теперь зарубежные интервью, эссе, выступления, обращения и статьи Солженицына составляют три увесистых тома. Ну а проза, поразительная проза эпопеи «Красное Колесо» — ещё многим больше. Продуктивность Солженицына в эмиграции не уменьшилась, но благодаря спокойным, спешествующим делу условиям, кажется, возросла. «Постепенно стал из кризиса выходить — и даже награждён был “лавинными днями”, как я их называю... они больше всего и вытягивают работу: по неизвестной причине в какой-то день, прямо с утра, вдруг начинают прикатывать мысли, догадки, да какие обещательные, да как повелительно! — только успе-

* Публикуется по: Труд. 1998. 9 декабря. С. 5. Для настоящего издания текст статьи авторизован и уточнён.

вай, пока не ускользнула, записывать, одну, другую, третью, и так возбуждаешься, за столом не усидеть, начинаешь ходить, ходить, а мысли, картины, сцены всё прикатывают и прикатывают — ох, успеть бы хоть бегло, не дописывая слов, занести на бумагу».

Это то, что в поэтическом «просторечии» называется вдохновением, что Иосиф Бродский в конце своей нобелевской речи определил как «колоссальное ускорение сознания, мышления, мироощущения». Обычно мы живём вполсилы, в треть силы; в такие «лавинные дни» ресурсы личности бывают задействованы полностью.

Яркое свойство солженицынских мемуаров — предельная концентрация повествования, чрезвычайно высокий удельный вес каждого предложения и пассажа, умение одним штришком точно запечатлеть человека, в относительно небольшие объёмы — вместить и публицистику, и полемику, и пейзаж, и лирику, и откровенную исповедь. Писательская речь работает «на сжатие», читательскому сознанию лениться тут не приходится, Солженицын вводит нас в самую «лабораторию», где формируется его миропонимание, в данном случае — его отношение к Западу, к принципам затратной технотронной цивилизации последних десятилетий XX века.

Пока Солженицын жил в России — Запад казался в первую очередь союзником по борьбе с гибельным для нашей родины коммунизмом; главные претензии к Западу были в том, что он недостаточно в своём противостоянии последователен, что чересчур мягкотел. Оказавшись в эмиграции, Александр Исаевич понимает, что дело тут драматичнее, чем казалось из России, что Запад отождествляет Россию с советчиной, что антикоммунизм размывается на Западе в русофобию.

«Уже не ощущаю я Америку таким плотным, верным и сильным союзником нашего освобождения, — признаётся Солженицын после нескольких лет эмиграции, вспоминая свои самые первые заокеанские выступления. — Да если б я знал! Если бы кто-нибудь мне тогда показал позорный закон американского Конгресса (не отменённый и по сей день. — Ю.К.), где русские не были названы в числе угнетённых коммунизмом наций, а всемирным угнетателем назван не коммунизм, а Россия...»

Поразительны предвидения Солженицына. Еще в семидесятые годы он предостерегал от прихода в посткоммунистической России к власти тех сил, которые именно в конце концов к власти в ней и пришли.

Или: «Украинский вопрос — один из опаснейших вопросов нашего будущего, он может нанести нам кровавый удар при самом освобождении, и к нему плохо подготовлены умы с обеих сторон... Во всяком случае, знаю и твёрдо объявляю когда-то: возникни, не дай Бог, русско-украинская война — не пойду на неё и сыновей своих не пущу».

...У Солженицына замечательно трезвый, точный взгляд на русского человека, на «национальный вопрос». Споря с Андреем Сахаровым, которому «само разделение идей на западные и русские непонятно», писатель возражает: «Ведь это — не физика, не геометрия, это гуманитарность, и как же, не чуя этого разделения, нам высказываться по общественным проблемам? В гуманитарной-то области идеи во многом определяются именно средой своего рождения, традицией и менталитетом именно этого народа». И Солженицын «не переставал жалеть, что, платя и платя жизнью для утоления своей чуткой совести, этот великий сын нашего народа никогда не примет к сердцу задачу национального возрождения его».

В изгнании Солженицыну приходится и вовлекаться в тамошнюю общественно-политическую жизнь, столь бесхарактерную по отношению к коммунизму, и осваивать новое бытие, и писать свою эпопею, прорабатывая горы исторических материалов, и, конечно, по мере сил возвышать голос в защиту преследуемых. Упёртый, маразмизирующий тоталитаризм в ту пору «наградил» русских патриотов особенно большими сроками. И.Огурцов, Л.Бородин, В.Осипов... «Редактор “Вече” (патриотического самиздатского журнала. — Ю.К.) В.Осипов уж как старался быть лояльным по отношению к советскому правительству, с большой буквы его писал, всё силился увидеть в нём опору русских национальных надежд, даже главную силу полемики направил против меня как изменника этим надеждам, — но именно ему, а не левым диссидентам и не еврейскому оппозиционному течению... достаётся сейчас 8 лет второго срока и особый режим как “рецидивисту”». В заявлении в защиту Осипова Солженицын 25 сентября 1975 года, кажется, впервые, чётко указывает: «На Западе до сегодняшнего дня безграмотно и беспечно взаимозаменяют слова “советский” и “русский”. На самом деле эти слова прямо противоположны по смыслу».

Но не то же ли самое делает сегодня наша «левая оппозиция» — послушайте товарищей Зюганова и Проханова: в их демагогическом сознании русское давно осоветилось, а советское обрусело.

...Чудесны в солженицынских мемуарах описания европейских красот, так о Европе в русской литературе доселе не говорилось. Франция, Англия, Испания — зримые живые картины, и это — при большой, повторю, сжатости повествования. Или вот на Аляске: «огромные белопепельные орлы, а снизу крылья почти чёрные, летали над самыми верхушками деревьев и проходила от них тень как от самолёта. Даже страшно: вот снизится, схватит когтями Алю в меховом капоре и унесёт. Было очень холодно, хотя май».

Из перипетий и коллизий солженицынских мемуаров косвенно выкристаллизовывается автопортрет человека, совмещающего сердечный порыв и стратегические задачи, непосредственность и алмазную твёрдость характера, неутомимую жажду уединения и темперамент бескорыстного публициста. Солженицыным движет исконное русское правдолюбие, хотя он и видит ясно «неисправимый порок мира, отпавшего от всякого даже представления об иерархии мыслей: ничей голос, ничья сила не могут ни запомниться, ни подействовать. Всё перемелькивает и перемелькивает в новое разнообразие».

Такова цена *свободы слова*. И современная Россия платит эту цену сполна...

«Иногда у нас возникают бессвязные предвидения будущего, и порой оказываются они исключительно верны. Произвольно у меня бывали иногда такие: впрочем, потом начинаешь и действовать в этом направлении, так что спутывается предвидение с результатом. В связи с намеченной жизнью в Америке возникло у меня такое видение (но уже и желание, и намерение): возвращаться в Россию не через Европу (не в Москву, которая ослабленно разделила эти страшные годы России, да и я не московский житель) — а через Тихий океан и Владивосток... — и потом долго, долго ехать по России, всюду заезжая, знакомясь, — это и будет *вернуться в Россию*. (Если не погонят иначе чрезвычайные обстоятельства — именно так и сделаю.)»

Без малого через двадцать лет Солженицын именно так и сделал.

Владимир Крутин
 ЖИЛ И ЖИВЁТ НЕ ПО ЛЖИ*

Несобственно-прямая речь

В русском языке термин «несобственно-прямая речь» означает приём, когда автор прячется за героя, говорит вроде бы от себя, но как бы и за героя. Приём этот помогает, может быть, раскрытию замысла, но есть всё-таки в этом приёме некая хитринка: спросить не с кого. Кто говорит? Автор? Нет, вроде герой. Герой тоже легко отопрётся: это, мол, не я сам, а за меня говорят. Таким приёмом, по сути, написаны почти все работы Александра Солженицына, начиная с «Одного дня Ивана Денисовича». Поток его «однодневного» сознания и размышления идёт вроде бы от его имени, но мы-то понимаем, что это не так, это автор такой умный, это автор знает, о чём и как думает рязанский заключённый.

«Красное Колесо» — это десятки, чуть ли не сотни авторизованных персонажей, когда автор, овладев приёмом стилизации, может говорить и «царским», и «военным», и «мужичьим» языком. Полифония — по-русски многоголосица — должна создавать «узловые» и вместе с тем типичные моменты русской переломной истории. Не знаю, как другие, а я просто устаю от такого приёма. Полифония звучания кажется мне шумом, персонажи — куклами, которые изображают реальных исторических лиц и говорят то, что прикажут... Воля ваша, я много раз, и по-тихому, и с разбега, кидался под колёса «Колесу» и вскоре обнаруживал себя на обочине дороги, по которой оно каталось туда и сюда.

Может, это кому покажется резковато сказано для юбилейных торжеств писателя, но что делать — сунулась мне под руку статья из «Нового мира» (№ 10. С. 130–131), где «Колесо» названо «грандиозным», сочетающим «в себе художественную эпопею с историческим исследованием, фундированным, наверное, нисколько не меньше, чем самая солидная научная работа». То, что «Колесо» фундировано, я нисколько не со-

* Публикуется по: Парламентская газета. 1998. 10 декабря. С. 1, 3.

мневаюсь, я просто говорю: дочитать не могу. Но признаю, что «Август Четырнадцатого» прочёл. И в конце концов это моё личное дело, может, я один такой, кому-то и «Красное Колесо» — икона. Разве мы не помним ошеломляющего 11-го номера «Нового мира» за 1962 год? Библиотекарша, в которую я, естественно, был влюблён, дала мне журнал на одну ночь. Кстати, это «на одну ночь» было и с другими трудами писателя, за одну ночь читали мы слепые самиздатовские тексты «Архипелага», «В круге первом», «Раковый корпус». Но такая была сильная тяга к правде, такая молодая память, что когда я читал уже превосходные по своей полиграфии заграничные издания этих работ, то ничего нового уже не вычитывал.

В том же «Новом мире» я долгие годы был членом редколлегии и (легко поднять протоколы её заседаний начала и середины восьмидесятых годов) всегда выступал за публикацию произведений Александра Исаевича. Что и сбывалось вскоре, и не в одном «Новом мире». Эпоха не эпоха, а время Солженицына было в русской литературе, а в мировой осталось на долгие годы.

Почему так я сказал, что в мировой осталось? Потому, что для мировой хватает нынче уже немногого, для русской же необходима художественность и духовность. Солженицын, при всём моём искреннем к нему почтении, явление более социально-политическое, может, даже философское, нежели литературное. О, я помню эти вечера литературы, когда требовательный зал ценил писателей по одному признаку: как писатель относится к Солженицыну? Уважает — наш человек. Не уважает — долой. Один раз, уже давно, покойный Пётр Паламарчук организовал вечер в бывшей церкви Московских Святителей, а тогда в клубе им. Баумана, посвящённый Солженицыну. Вечер шёл часов пять. Милиция, давка, телеграммы в Вермонт. «Ценим, любим, ждём».

Ждали и дождались. Вернулся. Слава Богу, вернулся. Лучше сказать, явился, проехал Россию, собирая слёзы и страдания для будущих работ. Не на сладкие хлеба приехал: те, кто славил, решительно отвернулись. Давали экран, отобрали: не то заговорил. Те, кто верил, продолжали верить, хотя вскоре увидели — Солженицын с демократами. С разрушителями России. Как иначе сказать, если одобрял пришествие к власти ельцинистов, оправдывал братоубийство октября 93-го. Может быть, тут сказался отдаваемый долг за приют Ростроповичу в нелёгкие годы гонений. Тогда «Стива», как называет его Солженицын в продолжении своих автобиографических записок «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (очень точное название, нельзя же угодить меж трёх). Записки эти продолжают работу «Бодался телёнок с дубом». Так вот, «Стива»,

приютивший Солженицыных, очень ярко показал себя в августе 91-го, когда бегал по Белому дому (так назвали Верховный Совет дежурные, утоляя свою жажду по американскому устройству мира), бегал, охраняя Ельцина не с контрабасом, не до него, а с автоматом. В 93-м, в дни расстрела, играл с оркестром на Красной площади и с пианистом — сыном Солженицына. То, что сын пианист, — это очень хорошо, другое дело, что музыка звучала на фоне проливаемой русской крови.

В продолжении записок, в «Зёрнышке», прежняя, «телёнковская самозначительность». «Итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф». Вспомним «Телёнка». Твардовский приезжает в Рязань к молодому, неизвестному автору читать рукопись на дому, таково условие. Автор не даёт редактору выпивать — сиди, читай. На вокзале Твардовский всё-таки отрываётся от пригляда и выпивает, ах, нехорошо!

Но не мы ли, не любой ли из нас созидал образ борца, народного защитника, великого писателя? Созидали! Иные в залётном усердии уверяли, что видели на «Матрённом дворе» призрак гоголевской шинели. Шинель была, говорили другие, но энкавдэшная. Не мы ли мечтали: вот вернётся Исаич, и Россия будет спасена. Так что порицать писателя, что он о себе высокого мнения, мы-то были высочайшего. Мы и вознесли на ту высоту, с которой он учил жить всех: и Америку, и Японию, Китай учил с СССР не церемониться, создавал «расширительный» словарь русского языка, учил священноначалие, писал тексты молитв, нас учил жить не по лжи, возносился всё выше, вещал всё увереннее и... и перестал быть слышимым. То есть слышали и читали, но жизнь в России обустроивалась по-своему.

Теперь, с высоты времени, спокойным зрением видно, что диссидентство работало не против засилия марксизма-ленинизма, уже и в конце семидесятых это была картонная мишень, никто всерьёз научный коммунизм не воспринимал, кроме тех, кто на нём кормился (бурбулисы, например, афанасьевы, гайдары), а работало диссидентство на врагов России.

Те же гебисты. Ну да, ну сволочи, подслушивают, жизнь портят, но если есть государство, должна быть служба его безопасности? А в теперешнем состоянии общества человек может быть защищён только государством. Нынешняя, совершенно дикая постановка вопроса о возвращении памятника палачу русского народа говорит ещё и о том, что есть тоска именно по безопасности жизни в государстве. То есть уже и демократов допекло. Коммуны свалили, страну разворовали, население

успешно развращается и спаивается, но всё как-то тревожно: у подъездов постреливают, и убийц, вот что — канальство, досадно, не находят. Дзержинский бы нашёл. Он бы, конечно, ещё за компанию сотню другую пришёл, но это же другой разговор... Диссиденты всегда будут и всегда будут недовольны. И кто сказал, что возможен рай на земле? Первые утописты, вторые коммунисты, третьи...? Да, демократы. Обещали же. Вот идеологии не будет, вот рынок будет, тут-то наши слёзы и высохнут. А вышло — кровь полилась.

А Запад чему научен трудами Солженицына? Не знаю. Как и не было Вермонта, говорится в последнем телефильме «Узел», но ведь и для Запада как и не было никого в Вермонте. В том же «Зёрнышке» описание первого после высылки появления на Западе. Не хочется к репортёрам, а всё равно надо идти. И пошёл, уже вставленный в заготовленную нишу антисоветской пропаганды. Но писательское зрение всё ещё остро, подмечает, как немолодой фотограф, пятась, хлопается на спину, жалко.

Запад выветрил из писателя художника. Наизусть знающему «Захара Калиту» уже такого же или хотя бы чуть послабее не дожидаться. Уже превозносительная учительная сила водит пером писателя, уже, перестав наскакивать на Шолохова, разбирает Чехова. Из недавнего «Окунаясь в Чехова» (тот же «Новый мир», № 10 с.г.): очень требовательно взыскивает с классика, надо бы Антону Павловичу писать (далее цитата): «строже, лаконичней, подразумеваемой. Но тогда не писали иначе, это в XX веке научились». Тут вроде и не смеешь думать, что, может быть, наоборот, разучились. «А слов исконных, корневых, ярких русских — у Чехова почти не бывает (от южного детства?)», — спрашивает в скобках ростовский собрат по перу.

Заговоривши о языке, обратимся к языку и самого чеховского исследователя. Вот из «Ракового корпуса», без комментариев. Издание 1991 года с аннотацией: книга с «восстановленными доцензурными текстами, заново проверенными и исправленными автором». Цитаты: «Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту». Снова о губах, вскоре они уже «намятые поцелуями до огрублости». А вот «расширительный словарь», создаваемый, по словам автора, тридцать пять лет. Это как доказательство, что русские глаголы терпят любые приставки. И почему мне верить, что «дрязг, дром» — это «сушняк в лесу, нанос»? «Мерекать» всегда было «соображать». Тут расширения нет. А расширение «мерковать — раскидывать умом — очень головное, никогда не привьётся». Так я мерекаю.

Кто же в России жил не по лжи, на кого надеяться? На земство. Нет. Занимаясь историей образования в России, ясно видишь, что именно

земство задушило церковно-приходские школы, это высочайшее заведение, где воспитание и образование были нераздельны. На учителей надеяться? Тоже нет. Кто, как не Учительский союз в начале века, ещё до миллиоковой Думы, до большевиков высказался за изгнание священнослужителей из русской школы, именно этот Учительский союз, разогнанный большевиками в 18-м году в благодарность за помощь в 904-м году. Нет, надеяться не на кого, только на Бога. Да это и прорывается во многих трудах Солженицына. Именно верующие в «Архипелаге» живут не по лжи, только они могут сохранять образ и подобие Божие в человеке в самых невероятных условиях.

Но и с церковью у юбиляра своеобразные отношения. Он и её учит. Выступая на Рождественских чтениях, в присутствии патриарха Солженицын упрекает православную церковь (именно так, не священноначалие даже, что модно для нашей госпожи интеллигенции, а церковь, которая всегда та же, Христова, как и Христос, чьё тело церковь являет). Говорит об осовременивании богослужебного языка. Ну ладно, это мы слышали уже от С.Аверинцева, крепко стоящего на почве Византии, от Лихачёва, возможно уставшего от переводов с древнерусского (тут большевистская хитрость — назвать церковно-славянский древнерусским), но слышать от Солженицына, описавшего с таким сочувствием страдания православных? На каком же языке они молились? На осовремененном? Нет, на том же, что и преподобные Сергей и Серафим. Помню, как резануло православных именно это место о переводе богослужения на современный язык в телебеседе Никиты Струве и Солженицына. Струве можно понять, всю жизнь в Париже, но мы-то в России. И почему мне верить авторитетам, на которые ссылается Солженицын, на Бердяева и Ильина? С чего? Острый ум Бердяева? Но оттого и острый, что неправославный, православный — значит смиренный, без смирения нет мудрости. Верить Ильину? Это очень онемеченный ум.

Православная церковь никому ничего не должна, это твердыня, это скала, на которой единственно может быть основано спасение России. Уж чего только не перепробовано во всех веках кончающегося тысячелетия: конституции, республики, демократии, революции, битвы за свободу, которые обязательно ввергали в новую несвободу и новую борьбу за свободу... Церковь говорит о свободе как о данной Богом человеку возможности созидать себя по образу и подобию Божию. От этого созидания всё: спасение души, спокойствие жизни, её осмысленность. Возрождение России единственно возможно под духовным водительством православной церкви. Иудейская страна, некогда цветущая, погибала, когда в неё, Промыслом Божиим, явился Спаситель. И она бы спаслась,

если б послушала Его. Не послушала и вскоре погибла под развалинами иерусалимского храма. Солженицын — личность многомерная. Независимая. Признак независимости — никому не старается угодить. Вступая в мафусаиловы годы, он полон сил, и труды его множатся. Пребывающим в трудах он ярко показан в телефильме о нём, уже упоминавшемся. Ведущий, я потом понял, что режиссёр явно робел перед юбиларом, ждал скрипа ступенек, означавшего, что наступило время прогулки, шёл вместе с героем фильма, так же, по-арестантски, складывал руки за спиной (нам это долго показывали), обсуждал годовые кольца на липе, спиленной почему-то очень высоко (напоминает постамент), слушал рассказ о молнии, попавшей в эту липу, вернее, о липе, в которую попала молния, потом, допущенный в кабинет, сидел в углу, а нас заставлял рассматривать бороду писателя (частями), очки, стол, с различными приспособлениями для письменных работ, и саму эту письменную работу по вычёркиванию и вписыванию слов... Видимо, по замыслу, мы должны были соприсутствовать при творческом процессе, но, увы, мы, неблагодарные, присутствовали при рассматривании бороды и не видели процесса. Но спасибо режиссёру за вопрос о Распутине. Спасибо и Солженицыну за ответ. Выразил праведный гнев по поводу того, что радио «Свобода» назвало Распутину фашистом. «Распутин — нежная душа», — сказал Солженицын. Он и о Чехове так писал: «Чехов — чистая душа».

И снова дачный участок, который кажется очень большим, и снова обмен мыслями, не очень большими. Но что спрашивать с двухчастёвки, когда пред нами огромная жизнь. И двухмерному, тем более плоскому во всех смыслах, экрану её не выразить.

Что бы, как бы ни говорилось, ни писалось в эти дни о Солженицыне, представить без него литературную, социальную, политическую жизнь России последних тридцати лет невозможно. И строгость нашего взыскания оттого, что мы видели и видим крупность этой фигуры. Воевал за Отечество, страдал за правду, пытался образумить Запад и Восток, так его ли вина, что ни Запад, ни Восток к нему не прислушались. Он был вправе обидеться — и не обиделся, он мог и не вернуться — вернулся. Он с нами, он часть России.

Георгий Васюточкин
УПРЕЖДАЮЩИЙ ГОЛОС*

*Приветствуя Солженицына, вернувшегося в Россию
триумфатором, поставившим на колени
восемнадцатимиллионную армию красноречивых-коммунистов,
писатель Георгий Владимов не заблуждался насчёт
ближайшего будущего этого великого человека:
«Быть костью в горле, быть режущей соринкой в глазу,
быть песчинкой, царапающей общественную совесть, –
много это или мало?»*

В стране, где «командные высоты захвачены вполне бессовестными ситуантами, которые в трудные времена помалкивали... а дорвавшись до власти материальной, они, естественно, замахнулись и на духовную». И эти партаппаратчики второго и третьего порядка, и пригревшиеся на их подачках московские профессионалы сферы «интеллектуальных услуг», разумеется, не желали, чтобы какие-то соринки царапали их склеру, или так называемую совесть. Уже в сентябре 95-го Солженицын без всякого предупреждения был снят с телевизионного экрана. Армия постмодернистов, не упускавших случая изучить карманы своих великих литературных предшественников, открыла огонь на поражение, объявив Солженицына «аятолой», «пещерным монархистом», писателем, не представляющим никакого интереса в современном литературном процессе. Называть имена этих сочинителей много чести для них будет, хоть и наколоты они все для будущего историка. В присутствии гиганта все остальные чувствуют себя неуверенно; даже преклоняющийся перед ним Георгий Владимов предсказывал: «...что бы ни делал этот человек, почти любой его поступок может быть прочтён как жест, имеющий значение символическое». Если кто-то претерпевает прижизненную сакрализацию – попробуй он себе позволить обыденное поведение! И тот же Георгий Владимов одним из первых упрекнул: зачем Александр Исаевич отправился отдельным вагоном через всю Россию! Да ещё с остановками! Смотрел бы себе, как все, в окно мчащегося скорого...

Особенно неприятно терзала слух постсоветского обывателя последовательно выдерживаемая отчуждённая солженицынская речь –

* Публикуется по: Вечерний Петербург. 1998. 11 декабря. С. 2.

в отношении ко всему, что до событий последнего лета преподносилось как торжество демократии. Пророк, не желающий считаться с реалиями исторического процесса, отшельник, разошедшийся с собственным народом, анахорет и, наконец, колоритнейший шаман с бубном в одной из программ «Куклы» – вот каким работники масс-медиа желали представить Солженицына рядовому россиянину. Страстная политизированность его выступлений мешала обывательскому пищеварению. «Хватит политики, давайте работать, зарабатывать деньги», – заклинал с экрана петербургского телевидения один из ведущих тогда, в 95-м, наших городских банкиров. Как видно, без политики – не вышло.

Пророчества Александра Исаевича – того же свойства, что и формулировки теорем: они доказательны, а доказательства может проверить каждый сведущий. Однако не станем упрощать себе задачу, подбирая суждения и оценки Солженицына девяностых годов, своевременно согласившись с которыми власти избежали бы и чеченского позора, и конфуза с обвальная приватизацией, и криминального беспредела. Это ещё не история, слишком трепещет всё и болит. Да и едва ли не всякому теперь кажется, что не нужно и Солженицыным быть, чтобы констатировать провал реформ, криминализацию власти, утрату национального достоинства. Поставим задачу шире: если Солженицын не «пророчесствует» по божественному наитию, а говорит расчётливо, пропуская сквозь себя потоки чисел, имён и документов, насколько оправдались его *давние* прогнозы *теперь*, – прогнозы, сделанные не вчера, а четверть века тому назад. И здесь не «Россия в обвале» годится, а высказанное им в разных местах и по разным случаям в период торжества «развитого социализма» не позже 1976 года. Из Нобелевской лекции (премия присуждена осенью 1970-го, лекция датирована 1972-м): «Человечество стало обнадёжно единым и опасно единым... *Внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего». С тех пор отбывали ужас полпотовского геноцида в Кампучии, доисторический кошмар межплеменного африканского побоища (хуту против тутси), агрессия Ирака против беззащитного Кувейта, остановленная вмешательством войск международного сообщества. Длится балканский конфликт, двадцатилетняя гражданская война в Афганистане, развязанная исламскими фундаменталистами резня в Алжире. Всюду не обойтись без вмешательства миротворческих сил – а тогда, в 72-м, только и слышалось: «это наши внутренние дела» и «не позволим!». А ещё и Чернобыль, и Спитак, и тысячи тонн гуманитарной помощи...

«Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, не избыточный, тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось». Написано о *западном* обществе, но разве это не метит в цель, когда узнаём, как энергетики снимают напряжение с атомных станций, шахтёры блокируют железнодорожное сообщение, парализуя страну, банкиры повсеместно задерживают платежи, чтобы прокрутить попадающие на их счета бюджетные деньги.

А вот из других выступлений — не позже 1976-го: «Демократии — это острова, потерянные в необъятном потоке истории. Вода всё время поднимается. Самые простые законы истории не благоприятствуют демократическим обществам» (Интервью журналу «Ле Пуэн», декабрь 1975). Но пропустили мы и этот оклик, зато во все уши внимали Френсису Фукуяме с его «*концом истории*», будто бы наступающим в силу всеобщей демократизации мира. Теряли драгоценные годы, регламентно насаждая вожделенные демократические механизмы, будто только в том и дело, чтобы закон благостный написать на бумажке да по регламенту протолкнуть его большинством.

А как не вспомнить недоуменную настороженность советской интеллигенции, умилённо повторявшей слова академика Сахарова о неизбежной конвергенции двух систем, при неожиданно диаметральной солженицынском ответе: «И не “конвергенция” ждёт нас с западным миром, но — полное обновление и перестройка и Запада, и Востока, потому что оба — в тупике». Это из его знаменитого «Письма вождям», датированного 1974-м! (Удивимся лексической проницательности наших национальных гениев: слово «гласность» восходит к Герцену; Александр Солженицын призвал к перестройке за тринадцать лет до начала её горбачёвской реализации.) И ведь только сейчас эту столь неуютную теорему подтверждают высказывания ведущих лиц Запада. Джордж Сорос в последние месяцы говорит о наступлении глобального кризиса мировой капиталистической системы. А годом раньше вице-президент США Гор однозначно определил системный тупик, в котором оказалось мировое сообщество, как «кризис рыночно-потребительской цивилизации».

В том же «Письме вождям» за 18 лет до создания СНГ Солженицын писал: «Вся мировая история показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное состояние народа несовместимы». И ещё — там же — «не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-нибудь окраинной нации». В совсем недавнем «Как нам

обустроить Россию?» (1990), до Беловежской Пуши, писал: «НЕТ У НАС СИЛ на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч». Разве он и тут не был прав?

Но есть предвидения-предостережения, которые ещё не поздно учесть и сегодня. Прочтите номер «Правды» от 26 ноября с докладом Зюганова на втором съезде народно-патриотического союза России. Коммунист Зюганов, назвавший в ряду «наших великих предков» Иосифа Сталина, утверждает нынешних патриотов наследниками этих великих... КПРФ, по его словам, является «важнейшей частью НПСР». Тут — подлог на подлоге. И слова Солженицына из 1974-го бьют в цель: «Что такое совмещение марксизма с патриотизмом? — бессмыслица. Эти точки зрения можно “слить” только в общих заклинаниях, на любом же конкретном историческом вопросе эти точки зрения всегда противоположны. Это так явно, что Ленин в 1915 году даже декларировал: “Мы антипатриоты”. И то было истинно, искренне. И все 20-е годы слово “патриот” у нас значило абсолютно то же самое, что “белогвардеец” (“Письмо вождям”). А при “великом предке” Иосифе Сталине — до 1934-го — сам термин “патриот” считался в России преступным. Всё русское постоянно подвергалось презрению в выступлениях, в прессе» (Интервью журналу «Ле Пуэн»). Коммунисты — теперешние особенно — вот они-то, профессиональные шулера, никак не вправе назвать себя патриотами. «Коммунизм — это не русское, но мировое явление. Он засел в России, он использовал Россию» (там же). И вот теперь эти пришлецы, истреблявшие церкви и расстреливавшие священников тысячами, устами Зюганова велеречиво заверяют: «...внимаем духовному слову Православной церкви. Оберегаем религиозные ценности всей многоязычной и многонациональной России».

Солженицын с математической точностью предугадал сущность новоявленной КПРФ почти за двадцать лет до её регистрации. На пресс-конференции в Стокгольме (1974) он дал ответ Роя Медведеву, подсказывавшему неповоротливым кремлёвским вождям, что «нужна новая социалистическая партия, свободная от ответственности за преступления прошлого». «То есть, — поясняет Солженицын, — одна партия уже зарезала 60 миллионов человек, её рук уже не отмыть, — так перестраиваемся в другую и начнём заново. “Возрождение марксизма” у Роя Медведева примерно такое, как если бы в Германии появился сейчас публицист, который бы доказывал, что у Гитлера теория была правильная, а исполнение неудачное». И это предостережение наши правители пропустили мимо ушей!

И зря пропустили. В голосе Зюганова сегодня звучит металл Ильича в октябре. «Режим фактически рухнул, раздавленный тяжестью своих злодеяний... Каждый день был днём священной народной борьбы против внешних и внутренних ненавистников России. Если упустим появившуюся у нас возможность переломить ситуацию в стране, второй возможности у нас не будет» (Правда. 1998. 26 ноября).

Этого только глухой не услышит. Переворот на пороге. Так будем же слушать живого Солженицына. Он не ошибается.

Михаил Новиков

ПРОБЛЕМЕ СОЛЖЕНИЦЫНА – 80 ЛЕТ*

Он единственный в России писатель, к которому без всяких оговорок можно применить эпитет «великий». Бог дал ему долгую жизнь, он пережил войну, смертельную болезнь, лагеря, изгнание.

Возвращение на родину оказалось очередным актом солженицынской драмы: ему чужда новая Россия, похожая сразу и на ненавистный СССР, и на нелюбимый Запад.

Солженицын утверждает: в разладе между ним и современной культурой виноваты СМИ и интеллигенция. СМИ и интеллигенция полагают, что дело в самом писателе.

Проблема Солженицына, кажущаяся на первый взгляд уникальной, на деле – частный случай распространённого явления под названием «иностранин в своей стране». Чтобы убедиться, что проблема существует, достаточно перечитать сейчас любой его текст – хоть классического «Ивана Денисовича», хоть «Россию в обвале». Чтение немилосердное, требующее сил, которые уже никто не готов тратить на какие бы то ни было тексты. Публицистика Солженицына подаётся так безапелляционно и агрессивно, снабжена такой разветвлённой системой опровержений всех мыслимых возражений, что и спорить не хочется. Диалог невозможен.

К тому же Солженицын обижает людей с лёгкостью, на которую не отваживались ни Достоевский, ни Толстой, которых не назовёшь добродушными авторами. Это распространяется как на отдельных людей, так и на целые сословия – можно вспомнить знаменитую «образованщину». Русская интеллигенция и без того склонна была к самоуничтожению, а уж после того, как её никчёмность подтвердил писатель и мыслитель нобелевского ранга, – комплекс шестидесятичной вины достиг размеров необычайных. Сходного отношения со стороны писателя заслужили и средства массовой информации: советские, понятно, за дело; западные – этих, впрочем, не пронять; потом российские – с ними какой-то скрипящий спор всё длится.

У Солженицына есть мощный аргумент в обеспечение собственной требовательности к людям и общественным институтам – его умопо-

* Публикуется по: Коммерсантъ. 1998. 11 декабря. С. 9.

мрачительная работоспособность. Но и тут заключено очевидное противоречие: тексты выходят, мягко говоря, неровными по качеству. И, главное, в 78-м году «Архипелаг ГУЛаг» читался экстатически, вздох и был самой нужной и самой актуальной книгой на русском, которую только можно было вообразить. В 98-м подробный и довольно претенциозный рассказ о том, как семья Солженицыных устроилась в изгнании, озаглавленный «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», поражает обилием незначительных бытовых подробностей, избыточной задушевностью интонаций и тщательным учётом оказанных писателю почестей.

Список претензий, которые нация могла бы предъявить своему великому писателю, неисчерпаем так же, как и встречный. И абсолютно бессмыслен, и надо бы прекратить его составлять. Потому что едва ли кто-то, обладающий хоть немного более мягким характером, хоть немного большей уступчивостью и чуть менее ортодоксальными взглядами, сумел бы с такой точностью и законченностью выстроить свою жизнь. Конечно, гнилая советская власть развалилась бы так или иначе, но никто другой, как Солженицын, вогнал в её сердце осиновый кол. Кого следующего на него нанизать?

Тут мы возвращаемся к отторжению Солженицына, к одиночеству Солженицына. «Не услышан», «не понят», «не прочитан» — все эти дежурные фразы принято произносить с виноватой интонацией. Не доросли? Но ощущение ненужности, невостребованности, непонятости, упомянутый синдром иностранца знакомы каждому, кто хоть как-то способен к абстрактному мышлению. Стране вообще не очень-то нужны думающие люди, тем более пишущие. Анатолий Ким понят? Услышан? Василий Белов разве не может посетовать на то, что родная страна не разумеет его речей?

Это нормальное положение, как бы к нему ни относились в нём оказавшиеся. Если можно говорить о какой-то идеологии нового поколения, то заключается она в осознанном и принципиальном индивидуализме. Никакого общего пути — ни с кем и никогда. Однако Солженицын не мирится с этой интеллигентской особенностью ни при коммунистах, когда это называлось внутренней эмиграцией, ни в новой ситуации — когда ценности частной жизни принято называть буржуазными. В этом смысле Солженицын антибуржуазен — что не мешает ему быть пламенным эгоцентриком.

Сейчас этот романтический, ницшеанский эгоцентризм производит странное впечатление. Но никаким оружием, кроме собственного *ego*, Солженицын никогда не располагал. И едва ли кто-либо, кроме автори-

тарного писателя, мог сломать идиотически-крепкий советский идеологический механизм. (Кондовый реалистический метод отомстил ему: «Красное Колесо» оказалось, в литературном смысле, чем-то вроде второго тома «Мёртвых душ».)

Сейчас всякое соприкосновение с «новым», возвратившимся Солженицыным, мудрецом и патриархом, вызывает внутреннее метание. Бросят от «ох, правильно ведь он всё говорит» к сложной эмоции, которую передал Достоевский в своём отзыве о Льве Толстом следующими словами: «До чего возобожал себя человек». Солженицын создал себя как сложное культурное явление. Не замечать его нельзя — это стыдно. Описывать невозможно — он сам всё о себе написал. Может быть, всё-таки читать? Слишком тяжело, конечно. Но вот Джеймс Джойс заметил: «Если не стоит читать “Улисса”, то не стоит и жить». Тот же случай.

Юрий Крохин
АРХИПЕЛАГ СУДЬБЫ*

Теперь, когда самым читаемым российским автором стала сочинительница милицейских детективов А. Маринина, нелишне вспомнить, какое впечатление произвёл литературный дебют Александра Солженицына. Когда в конце 1962 года «Новый мир» опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича», буквально вся читающая страна была ошеломлена. «На памяти моего поколения, — вспоминал Владимир Лакшин, — не было такого мгновенного и ослепительного успеха книги. Два её отдельных издания разошлись в считанные часы. Находились энтузиасты, которые, не имея шанса достать журнал или книгу, переписывали для себя и своих знакомых её текст от руки, просиживая вечера в библиотеке до самого её закрытия». Рассказом об одном почти счастливом дне заключённого Шухова зачитывались в Европе и Америке. В 1964 году автору едва не присудили Ленинскую премию — в последний момент одумались...

Впрочем, первому выступлению Александра Солженицына в печати предшествовала драматическая история. Державший всё написанное в тайных хранилищах бывший зэк решил — осенью 61-го он отправил «облегчённую», то есть подвергнутую авторедактуру, рукопись рассказа «Щ-854» в «Новый мир».

«Сам я в “Новый мир” не пошёл, — вспоминал Александр Исаевич, — просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтобы идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать рукопись. Я отдал — и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след».

* Публикуется по: Российская газета. 1998. 11 декабря. С. 14.

Скоро в Рязань пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищён статьёй», а на следующий день прилетела телеграмма самого Твардовского, приглашавшего автора в редакцию.

«Ближайшие недели и месяцы мы в нашем дружеском кругу, — писал сподвижник Твардовского по журналу В. Лакшин, — только о том и толковали, как это напечатать, строили планы самые фантастические, с каких ворот зайти и что умнее предпринять. Это сейчас кажется, что иначе и быть не могло...»

На самом деле долго сочинялось и редактировалось письмо Твардовского Н. Хрущёву. Рассказывали, что повесть Хрущёву в Пицунде читал его помощник В. Лебедев, и Никита Сергеевич слушал внимательно, а потом срочно позвал Микояна, чтобы слушать вместе. Хрущёва особенно взволновала сцена кирпичной кладки, когда Иван Денисович, аккуратно выкладывая ряды, бережно расходует раствор.

Через две недели, когда Хрущёв вернулся из отпуска, ЦК срочно затребовал 23 экземпляра повести — её тут же набрали в типографии и отправили для обсуждения. 20 октября вождь принял Твардовского и объявил высочайшее «добро» — после двукратного обсуждения Президиум ЦК разрешил печатать «Ивана Денисовича».

Повесть появилась в ноябрьском номере журнала и не просто обозначила открытие шлюзов для лагерной темы, но утвердила качественно иной уровень правды в литературе. «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин из всех двухсот миллионов граждан Советского Союза», — произнесла Ахматова. Ещё до публикации Анна Андреевна сказала автору «Одного дня»: «Знаете ли вы, что через месяц вы будете самым знаменитым человеком на земном шаре?» — «Знаю. Но это будет недолго». В этом, к счастью, Александр Исаевич ошибся. Следующая новомирская публикация — это были «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка» — произошла через месяц, когда не смолкли ещё раскаты грома от «Ивана Денисовича».

«Я старый литературный волк, — сказал тогда Илья Эренбург, — и, читая, обычно понимаю, как это сделано. У Солженицына догадываюсь даже, как сделан “Иван Денисович”... Но вот как написан “Матрёнин двор”, решительно не понимаю. Это родилось».

Твардовский, по праву считавший себя крёстным отцом писателя, волновался, ожидая новых вещей Солженицына. «Первую вещь, — говорил он, — и дурак напишет. А вот — вторую?» Между тем были готовы и переданы в «Новый мир» «Раковый корпус» и «В круге первом», шла тайная работа над «Архипелагом ГУЛагом». В октябре 64-го сняли Хрущёва, после чего начавшиеся при нём нападки на произведения Солжени-

цына усилились. О печати новых романов нечего было и мечтать. Письмо Александра Исаевича IV съезду Союза советских писателей, в котором он напомнил о судьбе Бабеля, Булгакова, Пильняка, Мандельштама и других погубленных литераторов, о злобещей роли цензуры, о конфискации органами госбезопасности солженицынского архива, стало достоянием самиздата и дало повод властям обвинить писателя в клевете на советскую власть. Вдобавок на Западе издали «Раковый корпус» и «В круге первом». Противостояние писателя и власти началось, на каждый удар Солженицын отвечал своим, весьма мощным и неожиданным...

Можно, конечно, сожалеть, что четверть века писатель провёл вне родины. Но, кто знает, не случись этой вынужденной эмиграции — или изгнания (впрочем, Зинаида Гиппиус верно заметила: «Мы не в изгнании, мы — в послании»), — может, и не была бы написана эпопея «Красное Колесо».

Своё грандиозное историческое полотно, составляющее десять томов, Солженицын определил как «повествование в отмеренных сроках в четырёх узлах». Работа над ним длилась в общей сложности полвека. Страстное желание осмыслить трагическую отечественную историю Солженицын ощутил ещё до войны, будучи студентом математического факультета Ростовского университета и одновременно филологического факультета ИФЛИ. Понадобился горький фронтовой опыт, годы лагерей и ссылки, напряжённой писательской и исследовательской работы, чтобы создать широкомасштабную эпопею, вместившую события начала XX столетия в России. Вывод, который должен сделать читатель: революция — общая вина всех, начиная с Николая II и кончая простым матросом, она стихийна и предопределённа одновременно.

Сегодня нам, поражённым историческим беспамятством, особенно важно понять собственное прошлое. Ибо, как говорят, история злопаятна, она не прощает незнания её. «Мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, — утверждает А.Солженицын, — за восемь месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость». Задумаемся над этими вещими словами, сказанными словно в наши дни, а на самом деле — в 1982 году...

Максим Соколов
ПОЧВЕННЫЙ ШТОЛЬЦ*

И восхищение перед тем неподъёмным, казалось бы, для одного человека трудом, который удалось своротить Солженицыну, и неприятие — порой юмористическое, порой не очень — и личностных, и мировоззренческих, и даже чисто поведенческих («вермонтский отшельник», «православный аятолла» etc.) черт великого писателя имеют одну и ту же причину. Один из самых почвенных русских писателей является в то же время личностью чрезвычайно нерусской — отсюда восторги, отсюда и негодование. Нерусский — в смысле «по-немецки собранный и дисциплинированный». Русская почвенность устойчиво ассоциируется с известными национальными чертами — «Мы беспечны, мы ленивы, // Всё из рук у нас валится, // И к тому ж мы терпеливы — // Этим нечего хвалиться» — тогда как вся жизнь Солженицына ещё с довоенных времён была исполнена размеренной трудовой аскезы в духе лучших бюргеров Германии. Гётевский принцип «доканчивай то, что начал» — это принцип и солженицынский. Сочетание лучших черт немецкой основательности с безусловной укоренённостью в русскую почву оказывается столь неожиданным, что от Солженицына отворачивались и, вероятно, будут отворачиваться как раз те, кто объективно желал бы именно этого соединения. Великая мечта о возвращении России в семью культурных европейских народов, соединение идеалов России и свободы предполагают ведь как раз это: восхождение родины к размеренному культурному быту старых европейских наций — для чего Россия и должна стать нацией почвенных Штольцев, другого способа восхождения к культуре не наблюдается.

Если бы бюргерская педантичность Солженицына порождала лишь массу бытовых анекдотов про писателя-пророка, было бы полбеды — какой же великий русский писатель без таковых анекдотов? Беда в том,

* Публикуется по: Известия. 1998. 11 декабря. С. 1, 5.

что такая серьёзность и основательность не могла не столкнуться в самой жестокой расправе не только с Советским государством — это-то понятно, — но и с отечественной общественной мыслью, представители которой всегда любили говорить, но не всегда любили (точнее — всегда не любили) договаривать до логических выводов.

Осматриваясь на ту трясику, в которой мы пребываем в декабре 1998-го, можно винить кого угодно — Ельцина, Гайдара, Зюганова, Горбачёва, Карпа, Сидора *etc.*, но стоит обратить внимание на одно мало замеченное обстоятельство. За время коммунистического правления Россия породила три волны эмиграции, так любившей говорить: «Мы не в изгнании, мы — в послании»; в годы брежневского помягчения возник самиздат, и стало возможным — не без неприятностей, разумеется, но всё-таки — обсуждать что-то конкретное, касающееся послекоммунистического жизнеустройства. Что же было если не придумано, то хоть обдуманно? — почти ничего.

Премудрости избирательного права, конституционализма, федерализма, бюджета, налогов, приватизации — всего того, с чем неизбежно должна была столкнуться страна, избавившись от коммунистов, — умственная элита как метрополии, так и русского зарубежья постигала одновременно с простым народом — то есть по мере поступления трудностей. Что даже ставит под известное сомнение расхожий тезис об интеллигенции как о мозге нации: если мыслительные реакции мозга одновременны и одноприродны с таковыми же реакциями рук, ног и прочих членов тела, то мозг ли это?

Причём такое положение дел сложилось довольно давно. На всю послевоенную эмиграцию нашлось всего два оригинала, всерьёз и конкретно обсуждавших проблемы будущей России, — И.А.Ильин и Г.П.Федотов. Спорили неистово, но хоть по существу: детали политического устройства, федерация, международный статус России *etc.* Потом не стало и этого — и только Солженицын попытался придать рассуждениям о России вообще и демократии соотнесённость с какими-то реалиями. Статья 1982 года «Наши плюралисты» вконец рассорила его и с интеллигентскими кухнями СССР, и с «третьей волной» эмиграции, и с крышами Парижа — после чего ему и было присвоено почётное звание аятоллы. Перебранка была столь звучной, что в громе её так никто и не расслышал ни простейших вопросов типа «Вы за демократию. Прекрасно, но по какой избирательной модели — пропорциональной, мажоритарной, смешанной? и если по той или другой, то почему?», ни призывов к конкретным делам и спорам тоже конкретным. Тем более осталось втуне его тогдашнее напоминание о Феврале Семнадцатого как о вечном

суде и вечном уроке для русской интеллигенции, не усвоив который она обречена на повторение российской катастрофы. Призыв помнить о Феврале оказался столь усвоенным, что даже в дни 80-летия революции, в свободном и неподцензурном 1997 году столь призывающая к осмыслению годовщина была еле помянута прессой — и никак не осмыслена. Да и зачем? — если помнить о тогдашнем «кадетско-революционном ожесточении общественности», если держать в голове залиvistые фиоритурсы тогдашних думских ораторов и если знать, как быстро — всего-то год понадобился — рулады думских златоустов сменились сухим треском выстрелов в чекистских застенках, то ведь и нынешнему ожесточению, нынешней демагогии, нынешней самоуверенности не так легко будет предаваться: может и страшно стать.

Скорее всего, именно поэтому, из чувства инстинктивной боязни не выдержать в интеллектуальном поединке, русское общество не восприняло «Красное Колесо» — скучно, многотомно, занудно, маловысокохудожественно. На иной взгляд — и не скучно, и русская проза редкостная, а то, что многотомно, так, во-первых, хорошей книги много не бывает, а во-вторых, и здесь Солженицын явил себя изрядным немцем. Согласно анекдоту, русский пишет установочную статью «Россия — родина слонов», американец — брошюру «Всё, что вам нужно знать о слонах», немец — четырёхтомное «Введение в основы слоноведения». Можно обвинить немца в тяжеловатости — но против увесистого четырёхтомника по существу-то ничего не возразишь. «Повествование в отмеренных сроках» провалилось, ибо после него надо было или менять душу, или сделать вид, что никакого повествования, собственно, и не было. В 70-х годах сходная проблема была у левых с «Архипелагом».

Горе в том, что всей немецкой основательности русского почвенника, жизнь положившего на то, чтобы показать, втолковать самым непонятливым, что чёрно-говённый архипелаг вырастает из земли не сам по себе, но приходит вослед радостям безоглядного прогрессизма, — оказалось всё же недостаточно. Будут юбилейные речи, будут чествования, а декабрьская Москва 1998 года слишком уж похожа на увиденный Солженицыным ноябрьский Петроград 1916 года: всё ещё на месте, но в то же время неудержимо ползёт, а красное колесо ещё неспешно — но всё быстрее — продолжает раскручиваться.

Печальный юбилей.

Александр Архангельский
ОДИН В ПОЛЕ ВОИН*

Мы умеем восторгаться взхлёб — и самозабвенно улюлюкать. День благодарения не наш праздник; его трезвая радость мало кому доступна. Нетрудно догадаться, как будет встречен 80-летний юбилей самого известного русского писателя второй половины XX века: слёзы восхищения перемешаются с трамвайным хамством. Что ж, к чрезмерному жару и нестерпимому холоду Солженицыну не привыкать. И трепетных слов о пророческом даре, и вздорных обвинений он наслушался предостаточно. И в советские времена, и совсем недавно.

Не спешил возвращаться в перестроенный СССР, посмеивался над Горбачёвым — пеняли за равнодушие к общему делу. Объявил о скором приезде — уверяли, что рвётся к власти. По возвращении затворился в Троице-Лыкове — возмутились: как же так, он обязан вмешаться в ход событий. Встретился с Ельциным осенью 1994-го — ворчали: пошёл в услужение режиму. Фактически объявил бойкот Борису Николаевичу (который как-никак Солженицына подставил, назначив встречу накануне чеченской кампании и словно освятив заведомо неудачный «блицкриг» солженицынским авторитетом) — вновь недоумевали. В нём видели то спасителя Отечества, который вернёт говорухинскую «Россию, которую мы потеряли», то врага народа, предавшего монархические идеалы; то агента мирового сионизма, то заядлого антисемита; то губителя Империи, то носителя имперского сознания; то консерватора омертвевших литературных традиций, то разрушителя основ художественности; то сокрушителя коммунизма, то несправимого тоталитария; то учителя жизни, то равнодушного эгоиста.

Между тем, достаточно прочесть написанное Солженицыным в последние годы, чтобы убедиться: ни одна из этих «ролей» ему не подходит. Он любит Россию «петербургского периода», настаивает на возможно-

* Публикуется по: Известия. 1998. 11 декабря. С. 5.

сти восстановления некоторых жизнеспособных форм самоорганизации народной жизни (прежде всего земства), однако трезво понимает (и много раз говорил об этом), какие неизлечимые «болезни роста» сопровождали Империю даже в периоды её наивысшего расцвета. Тем более опасны мечты о её возрождении теперь, когда Россия этнически обескровлена, обессилена. Он твёрдо обещал вернуться и столь же твёрдо предупреждал, что будет заниматься прежде всего литературой, а уж потом — политикой. Вслух размышлял о еврейских корнях Богрова, убийцы Столыпина, — и писал сочувственную статью об Израиле. Считал монархию вполне приемлемой (хотя и отжившей) формой правления, но вряд ли кто отзывался жёстче о Николае II, который *трижды проснал Россию*. Кажется, мы и впрямь стали страной писателей, страной учёных, никак не страной читателей. В этом Солженицын совершенно неповинен.

УСЛЫШАННЫЙ СОЛЖЕНИЦЫН

Слава Богу, так было далеко не всегда. Бессмысленно пересказывать сейчас солженицынскую биографию; всё, что считал нужным, он поведал в двух автобиографических книгах — «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни» и «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания» (последняя только что вышла полностью по-французски; по-русски печатается с продолжением в журнале «Новый мир»). Но по крайней мере о двух сочинениях, двух публикациях сказать необходимо. Это повесть «Один день Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАг».

Именно ноябрь 1962-го, когда подписчикам поступил тираж «Нового мира» с «Одним днём», стал поворотным пунктом новейшей российской истории. Хотя традиционно называют принципиально иную дату — 1956 год, XX съезд. Но хрущёвский доклад, при всей его эпохальной важности, полностью встраивался в коммунистическую систему, подчинялся её неотменимым правилам; *десталинизация* не предполагала *десоветизации*, скорее наоборот: призвана была «развить и углубить» мертвенные принципы социализма, придать апокалипсическому зверю человекообразные черты. А тут система взрывалась изнутри. Неприсятельная повесть об одном счастливом дне зэка Ивана Денисовича строилась по законам, несовместимым с принципами революционного гуманизма, ставила частного человека если не в центр мироздания (религиозные мотивы в повести тоже звучат, хотя и глухо), то, во всяком случае, вы-

ше Государства. Она была пронизана, пропитана чувством внутренней свободы, на которую тщетно покушается власть и которую не в силах одолеть лагерное жизнеустройство. Сейчас это уже нелегко ощутить, но даже в самой демонстративной традиционности «Одного дня» звучал авангардный вызов. Через голову соцреализма Солженицын обращался к стилевым линиям классической русской словесности, к «Станционному зрителю», «Старосветским помещикам», «Бедным людям». И это был поистине дерзкий художественный жест, смысл которого далеко выходил за рамки «чистой эстетики», как далеко за рамки «чистой эстетики» выходил сталинский эксперимент по созданию единственно правильного литературного метода.

А 1974-й, когда появились первые переводы «Архипелага», стал поворотным пунктом общеевропейской истории. Потому что интеллектуальная Европа конца 60-х — начала 70-х была не просто левой — она была крайне левой. Миф об изначально светлой революции, преданной Сталиным, воодушевлял слишком многих; влияние интеллигентов на политику было сильным, как никогда; призрак коммунизма и впрямь бродил по европейским городам. И вот появляется книга, чуждая абстрактным доказательствам, рациональным построениям, но перенасыщенная зримыми образами страдания, какие принесла России революция. Книга, преисполненная страсти и окрашенная неповторимым солженицынским юмором; при этом — математически выверенная, построенная как неопровержимое художественное свидетельство на страшном суде истории. Вырваться за пределы поля её тяготения невозможно: приходится подчиниться неумолимой литературной логике или вовсе отказаться от чтения. Тогдашние европейские левые не отказались. Первой их реакцией были гнев и ярость; во французской печати повторялась даже формула, предложенная «Литературной газетой»: Солженицын — литературный власовец. Но месяц от месяца, день ото дня ситуация менялась; «новые левые» начинали вслушиваться в обаятельный голос русского писателя, хитрого ээка; вслушавшись — стали задумываться; задумавшись — многие, хотя и не все, ужаснулись.

Разумеется, Солженицын не сумел исцелить европейских интеллектуалов 70-х годов от непоправимой исторической наивности. Известен его спор с Генрихом Бёллем о тактике Германии в случае внезапной агрессии СССР. Немецкий гуманист считал, что Западу нужно будет немедленно капитулировать: иначе русские танки, пройдя по узким улочкам европейских городов, разрушат исторический облик Европы. Солженицын ехидно спросил: а что вы будете делать при советской ок-

купации? «Как что? Пить пиво и обсуждать философские проблемы», — отшутился Бёлль. «Первое, что вы увидите наутро после прихода советской власти, — съязвил русский собеседник, — это табличка на дверях кафе: “Пива нет”».

Но Бог с ней, с наивностью. Главное в ином: западному обществу вовремя было предложено противоядие; интеллектуальная экспансия коммунизма была остановлена. И остановлена не политиком, не религиозным проповедником, не философом, а писателем. Остановлена не с помощью военной силы, не посредством закулисных переговоров, не энергией умственных построений, а силой литературного слова, как в 1962-м силой литературного слова было надломлено железобетонное основание Советского государства.

Собственно, если бы Солженицын *ничего* больше на протяжении своей 80-летней жизни не сделал, не написал публицистические статьи, названия которых вошли в пословицу («Жить не по лжи!», «Образованщина», «Как нам обустроить Россию?»), не выстроил грандиозный свод эпопеи «Красное Колесо», не опубликовал потрясающие «двучастные» рассказы 90-х — всё равно: «Один день» и «Архипелаг» обеспечили бы ему вечную благодарность потомков. И даровали пожизненное право говорить с современниками с «позиции силы», как говорит лишь власть имеющий. Это не значит, что современники обязаны принимать на веру любые солженицынские суждения; что он не может ошибаться, порой катастрофически; это значит лишь, что всякий раз мы должны молчаливо выслушивать его до конца — и только после этого вставлять своё слово. Сколь угодно критическое.

Но всё происходит иначе.

СОЛЖЕНИЦЫН НЕУСЛЫШАННЫЙ

То, с чем мы сталкиваемся сейчас, давным-давно опробовано на Западе, особенно в эмигрантской среде. Была и прямая клевета (как в нашумевшей книге Ольги Карлайл, о которой Солженицын слишком детально пишет в публикуемых «Новым миром» воспоминаниях). Но чаще встречалось язвительное равнодушие. Солженицын произносил гарвардскую речь, предупреждая западные демократии о следствиях мягкотелой тактики «умиротворения агрессора», обличая моральный упадок, — предпочитали пропустить мимо ушей основную мысль и сосредоточивались на второстепенном, на незнании, непонимании им

американской жизни. Он угадывал демократический вектор развития Испании времён позднего Франко, утверждал, что, если есть свобода слова, о диктатуре говорить не приходится, — его обвиняли в тайном сговоре с престарелым тираном. Напоминал о религиозных основаниях европейской цивилизации, окончательная утрата которых, подмена «бытовым гуманизмом» всеобщей сытости чревата моральной смертью западной культуры, — называли фундаменталистом. А главное, оправдывая собственную читательскую лень, ссылались на неудобочитаемость «Красного Колеса». И — действовали по давно известному принципу: «не читал, но скажу».

Многотомное повествование о русской революции «в отмеренных сроках» построено и впрямь предельно сложно; газетная хроника монтируется с беллетризованным повествованием. Здесь есть несомненные вкусовые срывы (особенно связанные с любовной линией), но есть и потрясающая сюжетная тяга, и пронзительный лиризм, и точность исторического взгляда. При всём том это именно романное сочинение. В отличие от историка, который железной рукой исследователя ведёт своих читателей от тезиса через систему доказательств к выводу, Солженицын меняется вместе со своими героями; его замысел как бы растёт на наших глазах. Первые тома, и прежде всего «Август Четырнадцатого», исполнены были антитолстовского пафоса; ранние герои «Колеса» убеждены, что ход истории *в конечном счёте* зависит от человеческой воли, которая мучительно трудно, но всё-таки согласуется с волей Провидения. В последних томах персонажи всё чаще скептически признают непознаваемость истории, её неподвластность сумме индивидуальных волей...

Не знаю, как переломить тенденцию, преодолеть устоявшееся предубеждение, чем «заманить» читателя в пространство «Красного Колеса»? Может быть, хотя бы страшноватыми параллелями с современностью? Вот неутолимость, непреклонность левых, рвущихся к власти; вот — безволие государя; вот — самовлюблённая поза упрямого интеллектуала Милюкова, ради красного (в прямом смысле красного) словца, по сути, предающего Россию... Есть какая-то страшноватая ирония в том, что эпопея была практически завершена (точнее, остановлена ради возвращения в любезное Отечество) в 1993 году; её вынужденно открытый финал словно отзывается эхом октябрьских выстрелов на улицах Москвы, *покрасневшей* от позора, чуть было не сдавшейся на милость победителя.

ПРОГНОСТ И УТОПИСТ

Хочу ли я сказать, что Солженицын — пророк, сквозь зарево Октября 17-го заранее предвозвестивший сполохи октября 1993-го? Ничуть не бывало. Он не пророк, прозревающий духовными очами божественные предназначения, а «просто» гениально чуткий прогност, умеющий суммировать свои наблюдения над настоящим и по ним угадать вектор направления будущего. Так Солженицын некогда предрёк неизбежную гибель стареющего коммунистического режима, распад советской империи, с поистине инженерной точностью «рассчитал» все потенциальные опасности этой гибели и этого распада. А в конце 1997-го, когда многим показалось, что Россия наконец-то выскочила из пропасти; что начался долгожданный подъём экономики; что сформировались крупные капиталы, которые заинтересованы в стабильности, а потому не допустят нового хаоса, он завершил работу над книгой, характерно названной «Россия в обвале». Это, может быть, самое усталое и самое трагическое солженицынское произведение; единственная цитата — она многое объяснит:

«...теперь — и все признают, что Россия — расплющена.

Оправдатели настаивают, что иначе и пойти не могло, другого пути не было... Здравомыслящие — уверены, что здоровые пути были, они всегда есть в народной жизни.

...спор этот уже отошёл в бесполезность: нам всем думать надо лишь — как выбраться из-под развалин.

...я не надеюсь, что и мои соображения могут в близости помочь выходу из болезненного размыва нашей жизни. Эту книгу я пишу лишь как один из свидетелей и страдателей бесконечно жестокого века России — запечатлеть, что мы видели, видим и переживаем».

После такого не хочется останавливаться на частностях, на второстепенном. Не хочется спорить с заведомо утопическими экономическими построениями, защищать монетаризм, оборонять Гайдара и Чубайса от солженицынской несправедливости. Не хочется задерживать внимание на социальных рецептах, подчас опасных. (Тревожась о судьбе русских меньшинств в Казахстане и других диктатурах с человеческим лицом, выросших на окраинах Союза, Солженицын предлагает ответить на эту политику такой же политикой на территории России в отношении этих народов.) Главное в этой книге другое — боль за свою страну и ощущение горького счастья родства с ней. Исповедь, а не проповедь. Диагноз, а не рецепт.

Если Солженицын что-то и явил собою «городу и миру», то не образ пророка, непогрешимого в суждениях, а пример *счастливого человека*, прожившего жизнь по своим правилам вопреки обстоятельствам. Если чему-то у Солженицына учиться, то именно этому потрясающему чувству свободы и гениальному умению радоваться дару жизни, сознавая весь её неразрешимый трагизм. Чтобы полностью осуществиться, нужно противонаправить ход своей жизни общему вектору эпохи; пробурить, пробить эпоху насквозь — и в конце концов дать ей своё имя.

Андрей Немзер

ХУДОЖНИК ПОД НЕБОМ БОГА*

Мы привыкли числить Солженицына борцом, политиком, идеологом, общественным деятелем. Всё это, разумеется, так. В историю нашей страны (и, похоже, всего мира) имя Солженицына вписано крепко-накрепко — без «Одного дня Ивана Денисовича» и «Архипелага» у нас была бы совсем другая Россия. Роли Солженицына в низвержении коммунизма (и как доктрины, и как системы) посвящены тысячи страниц. Солженицына приписывают (впрочем, безосновательно) к политическим группировкам, из его сочинений извлекают программы и доктрины, его восторженно (слишком часто — безвкусно и бестактно) величают, с ним энергично (слишком часто — недобросовестно и злобно) спорят... Обойтись без этого информационного шума, вероятно, нельзя. И дело тут не только во вполне человеческой жажде обрести Благодетеля или заклеить Врага, не только в недомыслии, суетливости, своекорыстии или поверхностном отношении к серьёзным вещам. Невозможно признать, что Солженицын жил и живёт, писал и пишет вне и помимо политики. Но того ошибочнее полагать, что когда-либо политика мыслилась им главным делом, подчиняла себе его волю и дух. Борьба Солженицына всегда была борьбой не «против», а «за» — за жизнь и свободу.

На одной и той же странице рассказа, впервые сделавшего имя Солженицына известным, говорит писатель об этих величайших взаимосвязанных ценностях. Лагерники посмеиваются над Иваном Денисовичем, «он-де срок кончает». Шухов помнит: «Закон — он выворотный». (Чуть раньше, вроде бы по другому поводу — в споре об условностях исчисления времени, — высветилось роковое русское недоумение: «Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?») Шухов не верит в освобождение. Но! «А иной раз подумаешь — дух сопрёт: срок всё ж кончается, катушка на размоте... Господи! Своими ногами — да на волю, а?» Можно ли

* Публикуется по: Время МН. 1998. 11 декабря. С. 7.

сильнее передать человеческую мечту о свободе, чем в этом выдохе из семи слов? И можно ли точнее выразить жажду жизни, чем в сверхкраткой истории следствия, решившего судьбу Ивана Денисовича? «В контрразведке били Шухова много. И расчёт у Шухова был простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживёшь ещё малость. Подписал».

Война, тюрьма, болезнь — Солженицын познал их полной мерой — суть силы, отнимающие (или чудовищно корёжащие) жизнь и свободу. Противостояние коммунизму так же естественно, как стремление одолеть раковую опухоль (на разворачивании этой метафоры строится повесть «Раковый корпус»). Другое дело, что «естественность» даётся с огромным трудом, — легче подчиниться общественному недугу, надеяться на милость случая, бессознательно отказаться от даров жизни и свободы.

Что происходит с душой в мире колючей проволоки? — Ради ответа на этот вопрос — не политический, а антропологический, философский — написаны «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» (подсоветская деревня — почти лагерь; для солженицынских крестьян равно значимо — и что «лагерь», и что «почти»), «Архипелаг ГУЛАг». Почему и как люди так много уступили силам зла? На этот вопрос отвечает «Красное Колесо», «повествование в отмеренных сроках», сопровождавшее Солженицына всю его творческую жизнь.

Большую книгу о революции и её истоках задумывал ростовский студент-математик. Не было у него тогда военного опыта, не было и твёрдых политических воззрений (свою тогдашнюю подчинённость советским нормам Солженицын детально описывает на многих страницах «Архипелага», претворяя личный опыт раскаяния в мощное обобщающее исследование). Была любовь к жизни, человеку, России, было домашнее переживание истории, была инстинктивная догадка о сверхзначимости свершившегося перелома, разрушившего (как поймёт и засвидетельствует автор «Красного Колеса») нечто большее, чем российская государственность, экономика или бытовой уклад.

«Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту *всего* (у Солженицына разрядка. — А.Н.) XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: “Люди — забыли — Бога”. Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама себя и подорвала себя, может быть,

больше чем на одно столетие, а может быть, навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой». Довоенный Солженицын, конечно, был очень далёк от чеканных формулировок его Темплтоновской лекции (1983), но главный пункт приложения жизненных сил был им выбран уже тогда. Он ощутил необходимость запечатлеть Первую мировую и революцию. Чувство решившегося художника заставило его думать о современности. Этот выбор определил судьбу.

По Солженицыну, свободный человек — человек дела, труда, творчества. Здесь можно вспомнить многое — от Ивана Денисовича, кладущего кирпичи, и врачей «Ракового корпуса» до грандиозной галереи вдохновенных и умелых работников докатастрофной России (крестьян, инженеров, военных, промышленников, купцов и т.п.), созданной в «Красном Колесе». Особое место в этом ряду занимает художник, человек, отмеченный высоким даром. Многократно предьявив людям творчества строгие счета, именно с художником и искусством связывает Солженицын надежду на выздоровление России и человечества. Истинный художник «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога. <...> Не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах, и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его» (Нобелевская лекция). А благодаря художнику — в частности, благодаря Александру Исаевичу Солженицыну — ощущение это становится доступно и нам.

Георгий Владимов
СПИСОК СОЛЖЕНИЦЫНА*

Этим летом, ещё в докризисную пору, подарил мне Александр Исаевич свою книжечку «Россия в обвале», сказав, что это последнее его выступление такого рода, больше он политикой не занимается. Хочется верить, не чувство безнадежности им владело перед уходом из публицистики, не возрастная усталость, но сознание исполненного долга — писательского и гражданского. Чтобы этот долг исполнить, пожилой человек за четыре года объездил 26 областей, встречался с тысячами людей, выслушивал их жалобы и сетования, затем перечитывал ворохи писем, обобщал, систематизировал, кому-то и отвечал. Обыкновенному человеку и одна содержательная беседа на дню в нагрузку. Но кто сказал, что Солженицын — обыкновенный?

И вышла его книжка — итог всех исследований и раздумий — тиражом в 5000. В наше перевёрнутое время тем меньший тираж у книги, чем она значительней. Я не пишу рецензию, она в этом не нуждается, лишь изложу несколько разрозненных мыслей, возникших при чтении.

АВГУСТ 1991-ГО

Примечательно, что Солженицын, не любитель революций, признаёт величие и значение Августа. Эти три дня «могли стать звёздным часом в истории России. События несли черты настоящей революции: массовое воодушевление... Вольные изъятия уличной толпы. До горячего захлёба ощущение совершаемого великого исторического поворота».

Явственно тут сослагательное наклонение: «могли стать» — но не стали, «несли черты настоящей» — но лишь черты, «ощущение поворота» —

* Публикуется по: Московские новости. 1998. 6–13 декабря. С. 2.

но не поворот. Возможно, для Солженицына Август был не отменой Октября 1917-го, но продолжением Февраля, которого дожидались 74 года, а уж как был проигран Февраль, как вообще проматываются, пробалтываются великие революции, об этом он томá написал — и не может от решиться от мысли, что никакое благое историческое дело не решается революцией. Между тем оно именно так решается, хотя далеко не сразу. К благому революция не ведёт, это правда, но открывает к нему пути, почему я и считаю Август событием величайшим в нашей истории, даже при том, что ожидания были обмануты. Теперь в ходу версия, что это был спектакль — в режиссуре Горбачёва, но её перехватил Ельцин, и танк ему подкатили в рифму с ленинским броневичком. Может быть, и спектакль, но кто мог предвидеть, что на сцену полезет зрительный зал? что москвичи не станут молча глазеть с тротуаров, как танки дерут асфальт, но преградят им путь и наладят общение с танкистами? Революция — это и всегда спектакль, и во всякой есть что-нибудь театральное — оперный штурм Бастилии в 1789-м, в дни Парижской коммуны 1871-го — опрокидон Вандомской колонны на подстилку из навоза, в Германии 1989-го — раскурочивание Берлинской стены, — но есть и непредвиденное, неожиданное, что и делает событие историческим и судьбоносным, — участие масс, которые и сами себя привыкли считать покорным быдлом. Ну а немного погода находится кто-то, кто заглаживает великие следы, ставит Вандомскую колонну обратно на пьедестал, разбивает цветник на месте свержения Железного Феликса, загромождаёт митинговую Манежную площадь апогеем купечкой немислимой роскоши и апофеозом свинозадых коней. Всеми время. Время прикалывать красные бантики и время ими сорить на мостовую. Пришло время Августу зваться немощным словом «тусовка».

Но революция всё же была настоящая — никакой партией она не инспирирована и не может считаться её заслугой, лишь чистым порывом к свободе, — с этой высокой позиции мы и можем предъявить счёты тем, кто промотал, проболтал, извлёк выгоду лишь для себя.

Мало кто хотел строить новую Россию, больше — своё благополучие. Этим, как ни крути, пролетарская революция выгодно отличалась. Можно её представить самодеятельностью бузотёров и хулиганов, и Солженицыну, в «Архипелаге» поиздевавшемуся над «революционной беготнёй», трудно думать иначе, однако ж бузотёры и хулиганы жертвовали собой — как Бабушкин, Халтурин, Бауман или кубинский Че Гевара. Их неподдельный энтузиазм был обманут. Но — умирали за народное счастье (как они его понимали), за новое общество, за светлые дали. Диссиденты, умевшие поставить на кон свою свободу и саму жизнь, позволи-

ли себя оттеснить партократам и комсомольцам. Та «абсурдность» польского характера, что понуждает их сражаться и в проигранной ситуации и потому-то иногда выигрывать, как выиграла «Солидарность», у нас что-то не прижилась. Но иного и быть не могло — если народная вера столько раз бывала обманута.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Всё дальнейшее Солженицын воспринимает трагично, он с гневом и горечью осуждает «гай-чубайсовские реформы», ставит в вину Гайдару «шоковую терапию» и открытые цены — при монопольном производстве и отсутствии конкуренции, Чубайсу — приватизацию с «диковатым» словом «ваучер», откуда и пошла вся «разворовка», «разграб». Меры и впрямь страшенькие, приведшие к панике, к обнищанию, ко многим самоубийствам, — хотя по теории всё было грамотно и никак не преступно, просто нужно было знать, в какую почву лягут семена реформ. Открытые цены могут быть прочтены иначе — несмотря на них (или — благодаря), понемногу заполнились пустые прилавки, а монополия даже способствует конкуренции. Когда Готлиб Даймлер изобрёл автомобиль, а Карл Бенц его построил и выпустил в серию, они были монополистами, но их взвинченные цены не помешали Форду — а скорее подтолкнули — начать сборку первого «фордика». Он выступил конкурентом — и задвинут отнюдь не был. Английское слово «*voucher*» означает расписку, ручательство, но, метко замечает Солженицын, и ловит за руку приватизаторов: в ваучерах была оценена лишь доля процента всероссийского добра, а кому и как продали остальное? И ещё один вопрос, который только от него мы и услышали, — он это говорит о земле, но приложимо и к заводам, к рудникам и скважинам: откуда они у государства? кому принадлежали? не всем ли работникам? «Так прежде гомона о *продаже* поискать бы пути, как вернуть...»

Гай-чубайсовские реформы вряд ли были просто нелепостью, они имели целью создать класс богатых (а не средний, о котором вещалось), которые дело свободного рынка уже обеспечат своими стараниями, — и процесс пойдёт. (Эту же цель в Германии имела партия Гельмута Коля, которого непонятливые избиратели недавно прокатили с ветерком.) Богатым так понравится быть богатыми, что они и всех других захотят подтянуть до своего уровня. Не переставая быть эгоистами, они выполнят задачу альтруистическую. Вот это и есть простота, которая хуже воровства. Богатые, как известно, тоже плачут, но по другим поводам, не

нашим с вами. Богатыми им нравится быть, но особая прелесть для них, что все вокруг много беднее. О том, как пошёл процесс, знают истину банки — Швейцарии и княжества Лихтенштейн. Свои проблемы «new Russians» решили успешно, осталась одна — надолго ли хватит нашей нефти и газа, алмазов и золота. Впрочем, отчего бы им и не делать башни из воздуха — уже буквально. Когда планета станет задыхаться от выхлопа, они сибирский воздух погонят по трубе на Запад, а соотечественники будут так же дожидаться причитающегося им по Конституции глотка дыхания, как сегодня — зарплат.

Я сейчас прочитываю горы всякой премудрости о причинах кризиса и как залатать эту озоновую дыру в экономике. Кто говорит — без эмиссии не обойтись, лишь бы не девальвация, другой — в эмиссии-то и видит погибель, а девальвация — та выручит. И всё временно, временно. Это напоминает мне, как, согласно легенде, перекликаются архангелогородцы на знаменитой речке Соломбале: «Иван, кидай якорь-то! Што не кидаешь?» — «Да ён непричаленной!» — «Да мать его, что не причаленной! Хоть немного, да подержит». Сколько «подержит» якорь непричаленный, то есть не привязанный к судну, а лишь к бухте троса, этого я не знаю, но вертится в мозгу, меж «дефолтами» и «траншами», нечто совсем непарламентское: «Если не можете, господа, воровать по совести, так хотя бы — по уму. Ведь самим хуже». Мне кажется, «приватизаторы» малость призадумались, пригорюнились — и может быть, кризис всем нам пойдёт на пользу? И может быть, всё решение проблемы — посчитать, кто сколько «приватизировал», да постараться вернуть? Как просто, казалось бы. Ан не просто!

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС

И в чём бесконечно прав Солженицын, кризис наш — не политический, не финансовый, не экономический, но — нравственный, духовный. Было так принято за основу и принцип, что движущими силами могут быть своекорыстие, жажда личной выгоды, которые почему-то считаются свойственнее людской природе, нежели честность, порядочность, верность слову, альтруизм, а в первую голову — забота об отечестве, процветании родной страны. Вот что вышло в натуре:

«Страшней того, как успели разграбить и распродать Россию, — откуда выросло из нас это жестокое, зверское племя, эти алчные грязнохваты, захватившие и звание “новых русских”? с таким смаком и шиком разжиревшие на народной беде? Ведь ещё губительнее нашей нужды — это поваль-

ное бесчестие, торжествующая развратная пошлость, просочившая новые верхи общества и изрыгаемая на нас изо всех телевизионных ящиков».

Солженицын, по-видимому, не допускает, что зверское племя выросло «из нас», то есть из русского народа, которому он всегдашний яростный защитник. Ему претило, когда советскую интервенцию в Афганистан называли русской, — слишком жестоко отвечает нация за свои слабости и за насилие над ней. И можно ли считать русских целиком виновными в октябрьском перевороте, когда столько их билось три года против советской диктатуры? Нам, правда, приходилось слышать то же о латышских стрелках, о евреях-комиссарах, о поляках-чекистах, о белочехах, сгубивших Колчака, — когда поднимался вопрос, допустимо ли решать судьбу чужого народа. Но поймём его боль и страсть, с которыми он отвергает всеохватные клейма: «долгие века Россия страдала маниакально-депрессивным психозом», «Россией принесено в мир Зла больше, чем любой другой страной», «эта Русь переполнена скверною от крыши до дна», «человеческий свинарник», «помойная яма». Это всё омерзительно, только, право, не стоило бы объяснять происками Запада, прямо-таки вожделеющего гибели русской духовности (может быть, это Сорос, помогающий нашим нищим библиотекам?), злоумышлением радио «Свобода», агрессивным «расширением НАТО» — каковое и впрямь происходит, только не НАТО захватывает Польшу или Прибалтику, а они просятся под его защитное крыло, страшась реанимации русского коммунизма, по Солженицыну же, «космического злодеяния».

ИДЕОЛОГИЯ

В страстной своей защите он отрицает и необходимость защищаться от фашистской идеологии — «которой не было в России никогда — и совсем не она России угрожает». Ох, Александр Исаевич, вашими бы устами... С видимым облегчением эту фразу подхватили и выворачивают «национал-патриоты». И приятно, должно быть, узнать генералу Макашову, что никакой он не фашист. И даже не антисемит. Просто он жидов не любит. И Баркашов вовсе не штурмовые отряды готовит, просто ребята оружием увлекаются и строем. Разве что Проханов возразит, что пусть бы и фашизм, лишь бы государство было сильное. И стилизованная свастика нас не покоробит, и почитание Адольфа Алоизовича. Я не против, чтоб издавали «Mein Kampf», скучнее я в жизни не читывал, но ведь боготворят, не читая. Это уж наша черта — так же, не читая, гвоздили «Доктора Живаго».

Но — откуда же всё-таки «зверское племя»? Да разве не оттуда, не из советской власти, блатной генетически? И не Солженицын ли нам поведал, как ленинцы ещё до переворота шли на смычку с уголовниками и сами предпринимали грабительские «акции»? Это и не скрывалось никогда, в советских фильмах — «Яков Свердлов», «Первый курьер» — с добрым юмором показывалось, как урки сочувствовали революционерам (почему-то всегда большевикам — разбирались!), предупреждали о провокаторах и шпиках, помогали импортировать «Искру». А после Октября они пополняли кадры репрессивных органов — и если время от времени власть всё же отстреливала блатных, это мы можем понять, как «разборку» — меж теми, кто пролез в ЧК и кто остался верен воровскому закону. А ещё попозже «социально близких» науськивали на политических, поощряя поблажками и сокращением сроков, — есть и об этом в «Архипелаге». В эпоху Брежнева приклатнение достигло самых верхов и разворовка пошла совсем весело, хозяин и сам пользовался величаво, беря взятки подарками и орденами, и другим позволял. Даже о низах проявлял заботу, отпустил грехи заводским и колхозным «несунам». Да по-человечески и грязнохватов можно понять; они такие же, как все мы, жертвы «развитого социализма». Долгими годами они смотрели, обливаясь, как ничем не примечательные особи берут от власти, что рука захватит, так нестеснённо, как законную жену не берут за коленку, и не могло же не созреть в их головах: «Почему не я?»

Между прочим, при культе личности такой вопрос невозможен, он и обозначает сокрушение культа — равно, к сожалению, и всех вообще авторитетов. Маршал Жуков, отстоявший Москву, искренне считал, что это не удалось бы ему без Сталина. (Он так рассказывал моему другу, режиссёру В.Ордынскому, ставившему с его участием фильм «Если дорог тебе твой дом».) А незаменимый Сталин, в те октябрьские дни только дезертир и трус, когда Жуков возвращался к ночи с позиций, укладывал его спать на кушетку и самолично стягивал с него сапоги, не забыв спросить о себе — не отъехать ли ему в Куйбышев, куда всё правительство смылось. И всякий раз ответ был: «Без Сталина в Кремле — армия оборонять Москву не будет». А мысль, почему бы самому не возглавить если не всю страну, так всю армию, в голову «железному маршалу» не приходила. Нынче она приходит даже управдомам. Есть два занятия, за которые считается возможным приняться, не учась, — писать книги и управлять государством. И не сказать, что это чисто российское поветрие; на футбольном чемпионате скандировали французы: «Зидана — в президенты!» Почему Зидана? Так два гола забил решающих! Кто же и выведет Францию в сверхдержавы?

Наши выборы — не ответственнее (уже и того довольно, что Президент перед вторым сроком ставит себе в плюс ошибки первого), и Солженицын предлагает сделать их двухступенчатыми, чтоб лучше знать нам кандидатов. То есть знать будем выборщиков, а уж они там дальше решат. Но в эпоху телевидения и Интернета как-нибудь разберёмся мы в Явлинском, в Лебеде, в Лужкове, не столь это сложно. С другой стороны — что мы ведали о знатной ткачихе, которую выдвинула фабрика, дислоцированная в нашем районе? Голосование против обоих кандидатов — вариант остроумный, да как-то смахивает на скрытое неучастие. А участвовать-то — надо.

ПРОЗЮГАНИЛИ

Как ни относиться к Горбачёву, но двумя бесспорными завоеваниями мы обязаны ему. Это он провозгласил гласность, и это при нём первом было хоть подобие нормальных выборов, а не те издевательские, что назывались «новой победой блока коммунистов и беспартийных» (никогда не мог понять — над кем победа?). Мы так мечтаем о «сильной руке», не подозревая, что она растёт из нашего же плеча. Гласность и выборы — вот две вожжи, которыми сам народ может управлять Россией. Эти две вожжи на Западе всегда туго натянуты, у нас они провисают. Провисшей вожжей править невозможно. «Да что зависит от моего голоса?» — говорит отчаявшийся. Очень многое зависит, если к нему относиться как к той дробинке, что перетягивает чашу весов. В английском варианте — к соломинке, сломавшей хребет верблюду. В истории многих народов такие примеры были. У нас — к сожалению, негативные, но от этого не менее убедительные.

Независимость Соединённых Штатов от английской короны решилась перевесом всего в один голос. Один ответственный раздумчивый человек из тринадцати решил, что разрозненные провинции, объединившиеся в одно целое, — это уже новое государство, и пусть будет так. И стало семь против шести. Поскольку голосовали тайно, имя этого человека неизвестно. Наших раздумчивых выборщиков судьбы России мы знаем поимённо.

Был исторический момент в нашей юдоли, который бездарно мы прозевали. Прозююкали. Прозюганили. Это когда после Августа замаячила идея суда над компартией — ну, не так чтобы Нюрнбергского, но всё же грозившего ей лёгким, как пух от уст Эола, порицанием. Впрочем, при ином повороте мог бы последовать и президентский указ о лю-

страции — как в отсталой Чехословакии. Изъясняясь компьютерным жаргоном, в кои-то веки столько людей — мягко скажем, не самых симпатичных — скопилось в одном файле (допустим, «KPSS.EXE» или «KPSS.COM»), и всех их нажатием клавиши можно было чохом переместить в «корзину» (*Recycle Bin*). Ну а потом уже кое-кого, не столь полканистого или барбосистого, с учётом ходатайств, можно было бы и восстановить, переместить обратно в рабочие каталоги. Я так думаю, одну сотую наличного состава. Кто-нибудь скажет — одну тысячную. А кто — вообще никого. Это уж как референдум скажет.

Этого всего не допустил Зорькин, милейший предусмотрительный Зорькин, на тот час рукою злого Провидения выдвинутый в председатели Конституционного суда. Откуда-то из политического небытия явился он, чтоб свершить своё мрачное дело, и в небытие канул бесследно. А жаль, ему-то уготовано бессмертие в памяти народной. Разговоры о люстрации — впрочем, уже платонические — ведутся и ныне, и какая же замечательная логика выдвигается против! Да кто же не сотрудничал с КГБ? Да каждый десятый! Да и всякий, кто ездил за границу, писал отчёты — вот и сотрудничество. Выходит, если каждый десятый — вор, так остальные девять должны его простить? Оставим в покое отчёты о заграничных поездках, оставим тех, кто сотрудничал, речь-то — не о возмездии, пусть себе зарабатывают на жизнь. Только — не руководите, господа. Вы уже наруководили. Да ведь и в суде над коммунистами что такого ужасного? Совковое сознание настолько не приучено к приговорам *оправдательным*, что в самом процессе уже видит наказание. Но он может обернуться торжеством! Отчего не предположить, что добрые дела перевесят? Компартия должна бы даже потребовать суда над собой, и я не понимаю, почему она упустила такой выигрышный шанс.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Некогда писал мне Солженицын из Вермонта: «Сегодняшнее бедственное положение нашей родины — необозримо, неисчерпаемо, непорочимо». Так оно и сегодня. На что же уповать нам — после всех поражений и потерь? Солженицын выдвигает идею народного самоуправления, напоминает о земствах, известных ещё с XVI века и в которых все местные вопросы решались на местах же. Он выстраивает земскую вертикаль, систему «препоручения власти снизу доверху» и воздействия власти верховной на низы, вникает даже в такие детали, как число работников и кто должен быть на зарплате, а кто на обще-

ственных началах. Вертикаль стройна и соблазнительна, и есть статья в Конституции, дающая народному самоуправлению «добро», и были попытки создания, да, к сожалению, опали — то сопротивление местных властей, то, опять же, деньги надобны, а нет их. И здесь он обращает взор... к тем же скорохватам — правда, помягче названным:

«И наконец: не все же новобогаты — с обезумелым волчьим сердцем. Есть же среди них и открытые к благотворению, как это всегда велось на Руси. Среди нововыросших предпринимателей, утвердившихся денежно, есть же и порядочные люди — и они своим благотворением уже помогают добрым начинаниям».

То, что велось на Руси, нынче зовётся «спонсорством» и, как говорится, имеет место, но в случаях редких, почти сказочных. И не только у нас. Некогда французы подарили американцам статую Свободы, требовалось лишь воздвигнуть пьедестал, а это стоило 100 тысяч. Их собирали по крохам, жертвовали старики от своих пенсий, один мальчик прислал 16 долларов, сэкономленных на школьных завтраках. Ни один миллиардер не отстегнул эти 100 тысяч. А ведь какая слава его ждала — установил Miss Liberty, символ Америки! Нет, я думаю, у нас бы такая широкая натура нашлась, и благотворители раскошелятся (умеренно) на культуру, науку, медицину, но на построение власти, которая вдруг да их прижмёт... Александр Исаевич, мы бы с вами не дали, правда?

А вот и признание автора: «...о *самоуправлении*, как его устроить — почти никогда не заговаривали, это — не в мыслях, я сам на то наводил». Вот это и смущает — почему же земства, которые так хороши и спасительны, не возникли повсеместно и самостийно, как возникают повстанческие комитеты? Не знали, с чем это едят? Но творчество масс тем и интересно, что идеи оно выхватывает буквально из воздуха. В Кровавое воскресенье в Петербурге строились первые баррикады, а где их видели россияне, в каком кино? Если власть препоручается снизу вверх, она и возникать должна инициативой низов. Если же вводить земства сверху, прямым законом Думы, не получим ли мы те же советы, где бал будут править партии, где целью будет подавление одного слоя населения другим и всё-то марионеточное «самоуправление» сделается приводным ремнём центра?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

На что ж ещё уповать? Солженицыну не занимать смелости — он обращает свои укоры и обвинения в дряблости и апатии против всех нас,

он справедливо негодует — что же мы за народ такой, что вот этого не можем, не смеем, сами не додумаемся, не проявим энергии, ждём, когда верхи — коим до нас и дела нет — о нас позаботятся, наладят нам жизнь! Да мы же достойны нашей нищеты и унижения, и правильно нас презирают! Чуть не с детства мы усвоили — Боже упаси обвинять народ, только отдельных его представителей, — хотя писатель именно этим и занимается, укоряя и обвиняя читателя, то есть народ. И Солженицын, имеющий на это больше права, чем кто-либо другой, не только укоряет и обвиняет, он указывает на те характерные коренные черты нашего народа, которые считает спасительными, иммунными от распада, размыва, самоуничтожения. Он даже перечисляет их по пунктам: «доверчивое смирение с судьбой... сострадательность: готовность помогать другим, делаясь своим насущным... способность к самоотвержению и самопожертвованию... готовность к самоосуждению, раскаянию... непогоня за внешним жизненным успехом; непогоня за богатством, довольство умеренным достатком... открытость, прямоту... несуетность, юмор, уживчивость... размах способностей, в самом широком диапазоне... широта характера, размах решений...»

Правда, эти обаятельные черты ничему злему в нашей истории не помешали, но всё же они достаточны, чтоб сохраниться как личность, выжить — как Шухову Ивану Денисовичу. Но не время ли нам переориентироваться на героев иных, умеющих взять судьбу за рога? Солженицын и сам говорит об этом: «Чтобы XXI век не стал последним столетием для русских — мы должны найти в себе силы и умение сопротивляться распаду уже сейчас, и чем напорней разрушают нашу жизнь — тем напорней бы и сопротивляться».

Однако: позволит ли это нам наш национальный характер?..»

Похоже, сам он считает, что такой, как сейчас, — едва ли. И дополняет свой список последней надеждой: «Если в предстоящие десятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории, и даже государственность — то одно нетленное и останется у нас: православная вера и источаемое из неё высокое мироощущение».

Но — если не терять? Если вернуть потерянное? Здесь Солженицын — сам-то боец несравненный — высказывается, всего лишь, за «доверчивое смирение с судьбой...». А я бы дополнил его список ещё одной чертой, достаточно известной, — правда, она всегда приводится в связке с другим народом, некогда нам противостоявшим. Немцы выигрывают все сражения, кроме последнего; русские же — напротив, все проигрывают — кроме последнего. Эту черту признаёт мир и восхищается ею, пусть бы он презирал все другие, — способность упереться на последнем рубеже

и от него начать по-другому. Это показали они в 1941 году у околицы Москвы, а в 1942-м — на кромке волжского берега, те же самые люди, кто в панике убежал, сдавался оптом и в розницу, — нет, конечно, не те, но такие же! И было их численно меньше — в ротах по 15–17 штыков. Но торжествовала здесь мысль Толстого, что не числом штыков решается дело, а — духом армии. Эта черта, пожалуй, устрашительнее для недругов нашей Свободы, пытающихся нас загнать обратно, откуда мы сумели вырваться. Может быть, мы им проиграем все бои. Кроме последнего.

Евгений Попов
ВЕСЁЛЫЙ ИСАИЧ*

Чёрный юмор на красной подкладке

Давно, давно пора, дорогие сограждане, опровергнуть расхожий взгляд на Александра Исаевича как на мрачного старика, вещающего с высокой горы грозные, вечные истины.

Напомню, у кого память короткая: высланный из нашей бывшей родной страны, Солженицын, он же (согласно вранью каких-то «лекторов») дезертир Солженицер, довольно скоро начал восприниматься некоей частью западной интеллигенции как мракобес, обскурант и изоляционист. А тем, у кого память ещё короче, посмею напомнить, что мнение это возвратилось в Москву гораздо раньше, чем туда вернулся сам писатель.

Парадокс? Однако наша снова родная страна — зона парадоксов. У нас и «правый» только сейчас обретает своё место *справа* от центра. Так и смех, юмор Солженицына воспринимается как некое отклонение от его творческой системы. На самом деле смех органично входит в жизнь его произведений, да и просто в его жизнь. Смех — всегда у него рядом с печалью и страхом. Ну разве не печально — оказавшись на территории дяди Сэма, отгородиться от свободного мира высоким вермонтским забором? Ну разве не смешно, что зэк новой формации Владимир Буковский неприступный забор этот легко перепрыгнул, как только захотел, и предстал пред Солженицыным аки лист перед травой, чего мы и другим нашим бывшим и нынешним соотечественникам желаем.

Помню, как меня поразило фото, где лагерный охранник в добротной казённой овечьей шубе шмонает худого, оборванного Солженицына в телогрейке, на которую нашиты зэковские номера.

О Боже, подумал я, неужели *они* ещё и фотографировали людей, делая своё постыдное дело? И как Солженицын ухитрился отыскать фото-

* Публикуется по: Огонёк. 1998. 14 декабря. С. 17–18.

графию в одной из тех миллионов бумажных папок, которые по сей день большей частью «хранятся вечно»?

Потом я узнал, что снимок был сделан уже на воле, после выхода из лагеря, что это — инсценировка. И его скорбное лицо на фото — да это же маска! И эта жалкая одежда смахивает на лохмотья шута, юродивого, который говорит правду королям.

Переодетый, «ряженный» Солженицын...

«Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать — тридцать — сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси <...> будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части <...>, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом» («Архипелаг ГУЛаг»).

Я был одним из тех, кому «Архипелаг» давали на ночь, на сутки, и был он стопкой нечётких фотографий с книги, и власти охотились за каждым экземпляром, как за бежавшим на волю зэком. Закончив чтение, я, помнится, подумал: что происходит? Ведь после *всего этого* ничего не остаётся, как взять верёвку и повеситься. Но откуда же этот свет? Христианский свет! Теперь я понимаю, что солженицынский смех — одна из главных составляющих этого света...

«В древнерусском смехе большую роль играло выворачивание наизнанку одежды <...>, надетые задом наперёд шапки. Особую роль в смеховых переодеваниях имели рогожа, мочало, береста, лыко. Это были как бы “ложные материалы” — антимаериалы, излюбленные ряжеными и скоморохами. Всё это знаменовало собой изначальный мир, которым жил древнерусский смех».

Это — из блестящего исследования Дмитрия Лихачёва. Учёный академик, и — тоже, тоже! — бывший зэк, считает, что элементы смеха Древней Руси сохранились в русском культурном обиходе до конца XIX века. Однако революция 17-го года вышвырнула Россию на обочину цивилизации, и мы ещё долго будем гадать, чем были те годы: Ренессансом Средневековья, рабовладельческого или первобытнообщинного строя? Точно так же наши внуки будут писать диссертации о том, что же всё-таки скрывалось под этой таинственной «перестройкой».

Когда Солженицын вполне серьёзно беседует с Государственной Думой о *самом главном*, а всенародные избранники веселятся так, будто пе-

ред ними выступает юморист, поневоле задумываешься: не обитают ли *он* и *они* в каких-то двух разных измерениях?

ЛИХАЧЁВ: «Поступки-жесты и слова юродивого одновременно смешны и страшны...»

СОЛЖЕНИЦЫН: «Вдруг въезжает через ворота человек верхом на козле, держится со значением. Это кто же? Почему на козле? Он потребовал себе лошадь, но лошадей мало, и ему достался козёл» («Архипелаг ГУЛаг»).

ЛИХАЧЁВ: «Мир двуплановый: для невежд — смешной, для понимающих — особо значительный».

СОЛЖЕНИЦЫН: «В субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову. <...> И я нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в “Рабочей одежде”, в чиненых-перечиненных ботинках с латками из красной кожи по чёрной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться...» («Бодался телёнок с дубом»).

ЛИХАЧЁВ: «Этот смех чаще всего обращён против самой личности смеющегося и против всего того, что считается святым, благочестивым, почётным».

СОЛЖЕНИЦЫН: «Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не *посадили*» («Бодался телёнок с дубом»).

Распространено мнение, что русская литература сильна лишь своей нравственной стороной. Три кита русской прозы, Юголь, Толстой и Достоевский, подтверждают эту характеристику.

Но искусство — в принципе *внравственно*, и, начиная с неистового протопопа Аввакума, существовала и существует у нас мощная ветвь смеховой культуры. То, что для западного интеллигента целиком располагалось в мире грёз, преувеличений, мрачных предсказаний, стало нашим бытием: «*Мы рождены, чтоб Кафку сделать бльью*». Данте описал выдуманный им ад, Солженицын — ад реальный, в котором побывал — и вернулся.

Сфера смеха Солженицына — чёрный юмор на красной подкладке, и невозможно выделить «химически чистые» элементы этого смеха: сатиру, иронию, пародию, гротеск, как невозможно расчлнить звонкий летний дождь на водород и кислород.

Поразительно описание Солженицыным поведения своего и своих товарищей после вынесения им приговора: «Хохоча, получили по пластинке гадкого мыла и прошли в просторную гулкую мыльню смывать девичьи гульбы. Тут мы оплёскивались, лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились, как если бы это школьники пришли в баню

после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма».

И вновь Чехов не даёт покоя Солженицыну. Работая на кирпичном заводе, в грязи и ледяной воде, он вспоминает барона Тузенбаха, который мечтал опроститься и заняться тяжёлым физическим трудом... именно на кирпичном заводе.

Но вот та исходная точка, где он солидарен с Чеховым — и больше не подтрунивает над ним. Персонаж Чехова, ссыльный, говорит:

«Я... довёл себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай Бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет».

Эта исходная точка — свобода. О свободе, о Боге и человеке, а не о «правых — левых» пишет Солженицын, и всё его творчество — попытка достичь гармонии созидательного и разрушительного начал.

И он никогда не теряет головы. «Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье», — едко шутит он, размышляя, что если бы не тюрьма, глядишь, и сам стал бы одним из бесчисленных российских «винтиков». Смехом обороняется он от гордыни, и покаяние его — через смех.

Палач и жертва — звенья одной цепи. Смех Солженицына разрушает эту преступную связь. Страдала и страдает вся страна, и вся страна участвовала и участвует в преступлении, но так же трудно выделить из толпы чистого злодея — многие успели по несколько раз побывать в шкуре и палача, и жертвы. Солженицын дивится своей судьбе, вместившей несколько судеб, и очень разных: никогда бы такое не смог сочинить! Его изгнание и самозаточение в Вермонте (пародия на ГУЛАГ), его триумфальное, демонстративно пышное возвращение на родину в спецвагоне (пародия на Ленина в 1917-м), последующее отчуждение, вплоть до самых юбилейных дней «осени патриарха», когда о нём вновь заговорили *везде*, — «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

В свои восемьдесят лет он судит людей, но отнюдь не считает себя последней инстанцией. Он смеётся, негодует, юродствует, смело режет свою правду, и смех его — тот фермент, который претворяет кровавый сок нашей жизни в драгоценное вино, сосуд с которым действительно можно «хранить вечно».

Ибо меняется всё на свете, кроме самых простых вещей и понятий, изменить которые можно, лишь разрушив их.

Ибо никто не знает, куда идёт мир. Уставая жить, смотришь на мир в перевёрнутый бинокль, и мир этот удаляется, удаляется, удаляется.

И если считать, подобно принцу Гамлету, что не только СССР, не только Россия, но и весь мир — одна большая *зона* и убежать отсюда можно лишь в смерть, то вот на этот случай для всех нас, заключённых этой тюрьмы, утешительная фраза весёлого Исаича:

«Вообще ээки ценят и любят юмор — и это больше всего свидетельствует о здоровой основе психики тех туземцев, которые сумели не умереть в первый год. Они исходят из того, что слезами не оправдаться, а смехом не задолжать...»

Спасибо, Александр Исаевич! Может, есть у нас ещё шанс увидеть «небо в алмазах», как выражались герои Чехова, чьё счастье было в том, что им повезло не дожить до нашей эры?

Михаил Новиков
ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Как и полагается великому русскому писателю, Солженицын не создал литературной школы и не имеет учеников. Вокруг него существует какая-то свита, и, вероятно, найдутся люди, которые считают себя его последователями, но, говоря объективно, то литературное направление, к которому относятся лучшие солженицынские тексты, не прижилось ни в Советском Союзе, ни в России.

Что же это за направление? В русском языке термина нет, в англоязычной традиции оно имеет название *new journalism*, «новый журнализм». Суть этого метода в программной субъективности взгляда. Читателю сначала растолковывают, чьими глазами он увидит происходящее, а уж потом дают картину, предоставляя возможность, если хочется, «вычистить» особенности авторского восприятия.

Что касается этой «параллельности» Солженицына с такими американскими авторами, как, например, Норман Мейлер, — видимо, речь идёт о каких-то поколенческих процессах, может быть, более глубоких и важных, чем извивы национальных культур. В отечественной литературе не существует, кроме Солженицына, никакого аналога *new journalism* — уже хотя бы потому, что советская власть умела затыкать рты и знала, что и как следует писать, — и в это «что и как» текст, в котором слишком много автора, вовсе не укладывался.

Впрочем, одного Солженицына хватило, чтобы заполнить эту нишу русской словесности, — так, собрание сочинений, изданное УМСА-Press, составляет двадцать томов. В таком количестве писали в XIX веке — во-первых, потому что литература в ту пору всюю занималась инвентаризацией мира и, во-вторых, потому что примерно в 40-х годах XIX века авторам начали платить за «листаж». В случае Солженицына важен,

* Публикуется по: Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 1998. 15 декабря. С. 43–45.

конечно, первый мотив — в конце концов, для вселенской славы и безбедного существования хватило бы и одного «Ивана Денисовича». Но те силы, которые ведают на небесах писательскими вдохновениями, внушили этому автору, что художественная опись действительности по-прежнему нужна, — и мы имеем несколько тысяч страниц безусловных шедевров и огромные массивы спорных и неудобочитаемых текстов.

К числу шедевров относится прежде всего «Архипелаг ГУЛАг» — может быть, самая большая удача русской классической литературы в этом веке. Стало общим местом говорить, что поэтика Солженицына принадлежит XIX веку и благодаря этому обстоятельству он оказался прочитан — в первую очередь за границей, но и у нас тоже. Более того, предвидя грядущие муки над этим текстом бесчисленных поколений русских школьников, заметим, что всё-таки и другие их муки будут происходить никак не над постмодернистской литературой, а над более или менее замшелой классикой. Эта связь и гарантирует понимание солженицынских текстов.

К тому же стилистическому направлению, что и «Архипелаг», относятся автобиографическая книга «Бодался телёнок с дубом» и её продолжение «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». В данном случае тема — «бодание» со всяческим официозом, — конечно, не такой набатной, раскалённой мощности. С этими книгами можно сопоставить «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, хотя сопоставление окажется не в пользу Солженицына. Всё же это пространное самоописание, выстраивание легенды о самом себе оказывается куда более занимательным, чем чистые вымыслы.

То, что сделано Солженицыным в беллетристике, безусловно, принадлежит соцреализму, и в 1998 году читать довольно-таки мелодраматические, но холодные повествования о вымышленных героях далеко не так интересно, как несколько десятилетий назад. Однако романная беллетристика Солженицына устарела не сама по себе — а со множеством прославленных текстов вроде «Доктора Живаго» или вещей Владимира Дудинцева. Русский роман и вправду умер — и даже Солженицыну оказалось не по силам гальванизировать его.

Более сложная ситуация — с «расширением» русского языка, которое на протяжении всей своей литературной жизни пропагандирует Солженицын. Рационализм выпускника физико-математического факультета сказывается в честолюбивом замысле управлять языком, вталкивая в него вытесненные, давно забытые слова и изобретая новые. Идею о том, что «русский язык мы портим», кто только не принимал чересчур близко к сердцу. Обречённость этих попыток обуздать стихию понятна вся-

кому непредвзятому наблюдателю — но Солженицын с помощью диковинных, неестественных словечек вроде «позаочью», «взакрыте», «переклон» и т.п. добивается абсолютной авторской узнаваемости текста. Фразу сознательно уродовали многие — от Льва Толстого до Сергея Довлатова; в лексических угодьях тоже резвилось немало русских писателей — от адмирала Шишкова до Велимира Хлебникова. Солженицын в этой литературной игре добился большего, чем кто-либо другой.

Всё же дискурсу Солженицына ничто не вредит так, как «чисто литературные приёмы» вроде «вымышленных героев, имеющих прототипы в реальной жизни». Читательский неуспех «Красного Колеса» прежде всего обусловлен его беллетристической упаковкой: то, что касается реальных событий, захватывает, но, как только дело доходит до лирической линии, книгу хочется закрыть.

Наверное, «Колесо» — одна из великих неудач русской литературы, вроде «Что делать?» Чернышевского, и из неё извлекут всевозможные смыслы, нюансы и обертоны. Если это произойдёт, остаётся только пожалеть будущих студиозусов. Так или иначе, двух историй — «большой», выстроенной искусным подбором фактов, и «человеческой», про любовь, — «Колесо» не вывезло.

Солженицын работает и едва ли не во всех малых жанрах — от стихов до публицистики. В пьесах и стихах видней всего тот компонент творчества всякого романиста, который зовётся графоманией; в публицистике, на современный индивидуалистический вкус, слишком уж заметно амплуа «печальника земли русской»; рассказы же и «Один день Ивана Денисовича» легко берут верх над вымученной советской «деревенской прозой», но без боя уступают книгам Варлама Шаламова.

В искусстве художественной прозы Шаламов, может быть, более изощрён; к тому же он более укоренён в наследующей Серебряному веку русской литературной традиции. Скажем, его легче представить собеседником Мандельштама. Но если бы Солженицын не написал своих вещей, Шаламов, может быть, не был бы прочитан и оценён. И без доли облегчённости, общедоступности, чрезмерной прямоты, которую чуткий читатель сейчас уловит у Солженицына, его книги едва ли выполнили бы свою задачу. Но — легко рассуждать об этом теперь. В конце семидесятых годов, когда «Архипелаг» стал хоть как-то доступен в «имковских» книжечках на папиросной бумаге, в фотокопиях, он читался без отрыва и нокаутировал безотносительно литературных особенностей. Этот текст воспринимался поверх культуры, поверх традиции. Что это — качество литературы или такова была структура момента?

Может быть, для нового читателя не менее важны, чем история преступлений советской власти, такие вещи, как особый тип сознания, носителем которого является Солженицын и портрет которого дан в его книгах. Сейчас найдётся, может быть, не так много людей, которые разделят солженицынскую веру в то, что мир познаваем и история объяснима.

Сейчас мы можем считать, что у книг нет общественных задач. Немодно думать, что художественная литература ничто без содержащегося в ней гражданского высказывания. Эта точка зрения осталась в заповеднике каких-то патриотов-почвенников, их книги мало кому интересны.

Павел Лаврѣнов
ИЗ УСТ В УСТА*

Не в скорые дни писать бы о Александре Исаевиче Солженицыне и не с теми пропусками, что вынужденно делаются по газетному жанру, а неспешно полистать его книги, перебрать публицистику и обильно цитировать мысли, идеи, предложения. Но по сжатости времени, по всеобщей толкотне и разодранности наших состояний, сказать бы то немногое, что давным-давно отстоялось в убеждения от прежних прочтений и последних, нынешних: «Россия в обвале», «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов».

Говорить о каждой книге писателя, статье, романе — дело более специальное и долгое, но и в отдельности, без этого полного круга, не понять ни сути, ни принципов его творчества, ни того подвига, что совершён и вершится поныне в пределах человеческой жизни. Многих и многих наших классиков узнаёшь по выбранной однажды теме, способу подачи героев и других специфических деталях, творчество же Александра Исаевича настолько многообразно и разнообразно, что всякий роман, рассказ, статья удивляют разностью и незнакомостью открываемого. В те далёкие семидесятые годы, когда жарко спорили, хвалили и хулили написанное им, один из западных исследователей на полном серьёзе заявил, — писателя А.И.Солженицына не существует, потому что одному человеку невозможно быть специалистом в области медицины («Раковый корпус»), знать до доньшка деревенскую жизнь («Матрёнин двор»), быть военным специалистом («Красное Колесо»), исследовать всю лагерную систему страны («Архипелаг ГУЛаг»), писать пьесы. Всё написанное — дело рук группы, взявшей себе псевдоним «А.И.Солженицын». Странно, но улыбки «открытие» того критика не вызывает. Отойдя от книжной полки, смотришь на тесно составленные тома и в который раз поражаешься объёму созданного. Не с черновиками и личной перепиской собрание, а

* Публикуется по: Книжное обозрение. 1998. 15 декабря. С. 8.

очищенные, выверенные, отлежавшиеся, многожды продуманные труды. Труды Духа.

К писательству Александр Исаевич и подходит как труду, тщательно взвешивая, отбирая, притёсывая слова, чтобы точно вывести ту чистую «срединную линию», какая только и имеет истинную ценность. Не перекачнуться, не сфальшивить. Степень ответственности, налагаемая им на свою работу, может показаться чрезмерной. Кому придёт в голову биться с редакторами, рецензентами и просто читателями за каждое слово, взятое из языка народа? Чего не уступить? Подумаешь, поменяли на гладкое, привычное! А.И.Солженицын же бьётся и доказывает правомерность его употребления, а выходит, — отстаивает наше право говорить своим колоритным языком. И возвращает утерянное. Целый словарь составил!

Сколько же толков было после статьи «Как нам обустроить Россию?»! Многие и не дочитали — язык непонятный. Иные утверждали: «Никогда не смогу говорить “обустроить”». Но вошло в повседневную речь, вернулось, зажило полноценно в нашем языке. Теперь поди попробуй обойтись без него. Целый синонимический ряд к нему выстроишь, а не заменишь — ёмкое. Слишком хорошо понимает Александр Исаевич, что с уплощением языка беднеет мыслью, душой и сам народ, постепенно умирает, перерождается, а народы — «неповторимая грань замысла Божьего». Помню, перекачивал и перекачивал, укладывал в себе язык Ивана Денисовича и не раз казалось: перебрал Александр Исаевич со «своеобычными» словами и выражениями. Не говорили так, невозможно так говорить. И лишь по прочтении книг, хранившихся в спецхране, стал доникать — это мы говорим невозможным языком. Не добираем — мы, а не Иван Денисович с автором.

А вот и слово «доникать» — от него, наберите-ка на компьютере, — отметится волнистой красной чертой: нет его в памяти машины. Тот, кто за границей, из наших, видно, эмигрантов, вбивал словарь, этого слова и не знает. Есть какое-то «дон икать», есть и другие, а этого живого, многоцветного нет.

Пройдя, перепроверя институтские знания, теперь уже обратный путь — от литературы современной до древнерусской, прочтя всю русскую философию, прислушавшись к своей родне, сохранившей по сей день впитанное с детства в Центральной России, убедился: язык Шухова — это язык России, какой лишь изредка слышал и считал чужаковым. Своими произведениями Александр Исаевич развернул целые фронты в битве за язык, потому, отчасти, и прятались его книги в спецхране спецхрана. Был такой. Самые крамольные книги держались в по-

тёмках внутреннего специального хранилища. На *просто запрещённых* стоял один штампик, а на *совсем запрещённых* — два. На всех книгах А.И.Солженицына, попавших в страну, стояло по два тех самых штампа, а точнее, клейма. Книги «врага народа» — «вражьи книги». И язык, значит, «вражий». Получалось, на самом языке запретное клеймо. Так и прятали наш язык от нас самих за стальными дверями с семью замками и электрической сигнализацией. А писатель в это время и за две точки над буквой «ё» бился! Просил программистов и в свой компьютер её вставить. Букву «я» в слове «семячки» по сей день отстаивает! Мы же, как оказалось, за пустыми спорами: можно или нет так говорить, писать — проморгали, проворонили те мысли, что высказаны нашим же языком годы назад и высказываются по сей час. Россию мы *не обустроили*, но *обваляли*. Слишком кололи глаза те живые слова, что и идеи, выстраданные писателем. Омертвевшее не воспринимает живое. А мы омертвели во многом.

Возвращая нам речь, Александр Исаевич собственным примером показывает и ту высоту качества работы, каковую и нам постигать. Ни одна его книга не увидит свет, пока он сам с Наталией Дмитриевной и малым числом бескорыстных помощников не вычитает и не выберет «блех» в текстах, прежде чем они уйдут в набор. Редчайшим исключением найдётся крохотная опечатка на сотни страниц во всех изданиях. Сколько надо проверять, столько и проверяется. Ответственность за свой труд — выражение предельного уважения к читателям. Во всём. Сноски, чтоб были удобны и не сухо. Слова — в конце книги с пояснениями. Главы эпопеи — с основными содержательными ориентирами. Внешнее оформление. И не терпит ни от кого небрежного отношения к своему труду. В этом твёрдость непоколебимая. Выпустить книгу с огрехами для А.И.Солженицына — позор. И горе, горе за потраченный труд многих и многих людей. Кто из писателей решится пустить ныне под нож многотиражное издание своих вещей из-за ошибок печатников? — Спасибо, хоть так напечатали. Александр Исаевич пустил. Распорядился уничтожить весь выпуск двучастных рассказов из-за пропущенных запятых, орфографических ошибок. Не может обращённое *Слово* к людям быть ущербным. Кроме того, синтаксис его произведений настолько «говорящий», интонационно оформленный, что пропущенная запятая сбивает ритм повествования, а за ним искажается и мысль.

Поражает аккуратность и организованность писателя. Мы часто делаем что-то впопыхах, оставляем на потом исправления, а то и перекладываем их на других. Вот так, второпях, был набит и текст моей «Косиножки». Не вычитанный должным образом, попал к Александру

Исаевичу. После разговора о рассказе он предельно серьёзно спросил: «Теперь скажите — кто Вам печатал? Почему ошибки?» Сквозь землю от стыда провалиться. Вякнул что-то в ответ, а писатель посетовал: «Я же не мог рассказ так в журнал передавать. Неудобно». Крупнейший автор русской литературы сидел и сам исправлял опечатки в стороннем произведении! До сих пор в голове не уместается. На тексте же том прикрепил листочек с пояснениями, и по пунктам. Ничего не упустил! И всё по делу. Мы в школах иногда размашисто работы учеников опрашиваем. И красным широко подчёркиваем, и на полях, и на обложке, и едко колем записями за ошибки. Тут же листы чуть тронуты, всё остальное на отдельной полоске. Пример? — На всю жизнь.

Предельная внимательность Александра Исаевича к своей работе, к работе других, самой жизни сказывается и на художественности его произведений. Особенность книг писателя в том, что ни одно впечатление, событие не пропадает даром. Запах яблони, красота озера, радостно прыгающая собака на воле без привязи или обычная гроза — всё обретает смысл первозданности, неповторимости. Даже поминание обычной травы несёт в себе сокровенное — Господь под ноги людям постелил. Беспомощный, вылупившийся, мокрый, дрожащий птенец — тайна, при всех космических достижениях человечества. Наш мир, уже бессчётно объяснённый и показанный со всех сторон, в книгах писателя открывается вечной загадкой: что есть мы, прилепившиеся миллионной долей песчинки на оси Истории? Что есть сама История? От расширительных этих вопросов А.И.Солженицын не уходит в многомудрые абстракции, но ясно, на простых, конкретных примерах поступков, дел каждого из нас даёт свои ответы; так порой для нас неприятные из-за определённости и честности. Как нам быть? — «Наше спасение — только в нашем самодействии, возрождаемом снизу вверх». Но мы же не способны пока к этому! «А пока не способны, то вот и правило: *действуй там, где живёшь, где работаешь!* Терпеливо, трудолюбиво, в пределах, где ещё движутся твои руки». Принимать правду открыто, не корчиться заслонительной усмешкой — удел сильных. По плечу не всякому. Честные отношения требуют мужества. Таковы ли мы? Сам Александр Исаевич для себя определил этот вопрос раз и навсегда. Не солгав ни в одном своём произведении, предлагает, призывает, уговаривает, совестит, увещевает всякого прикоснувшегося к его книгам, к тому же самому. И помогает. Поддерживает. Протягивает руку.

Способность писателя живо вести разговор через книгу удивительна. Как здесь опять не коснуться языка?! Согласно лингвистическим изысканиям, в языке прослеживается тенденция: как говорим, так и

пишем. И наоборот. Это считается опасным, потому что происходит опрощение, обеднение языка. В творчестве А.И.Солженицына всё иначе. Язык его произведений очень похож на разговорный — со всеми его междометиями, разрывами, стяжениями фраз и предложений, — но остаётся насыщенным. И речь персонажей, и авторская играют — так вполне удобно выражаться и в повседневной жизни, и это не будет выглядеть книжно.

При чтении возникает впечатление, что автор в яви говорит с тобой. Текст дышит, как дышит всякое истинное, классическое произведение. Образные слова заменяют целые объяснительные фразы. И кажется, писатель не написал, а записал за кем-то всё это. И как точно! В Древней Руси существовал такой жанр: «слово», когда текст говорил слушателям. Словами, произнесёнными с интонацией, рисовали художественные картины, образы, передавали действие. При этом сохранялась живость устной речи. Между рассказчиком и слушателем была прямая связь. Произведения Александра Исаевича тоже сохраняют прелесть устной речи, и поэтому так чувствуется сила его слова, как и в древности, обращённого напрямую к слушателям. Он передаёт *слово из уст в уста*. Писатель возвращает нам то, что мы прежде имели всегда, — *способность говорить и слушать*. А значит, и учиться у самих себя.

Именно таким языком, словом разит он всё чёрное в жизни, кое ему хорошо знакомо. Самое страшное — «Архипелаг», высказанный, выкрикнутый им миру, при всех ужасах лагерной жизни просветляется убийственно-едкой иронией. Страшное делается ничтожным, сжимается, усыхает. И мы, обалдело внимая сказанному, недоумённо вопрошаем: *Мы были такими? Это было с нами? — Возможно ли это?* А Писатель-Боец, не ждя нашего соображенья и раскачки, ухватывает жернова, стирающие народ в лагерную пыль, и ими же крушит и крушит систему ГУЛАГ. Опускает на головы вождям «Письмо» («Письмо вождям Советского Союза»), отбивается «Телёнком» («Бодался телёнок с дубом») от гонителей и братьев-писателей. И нам, всем нам подносит пышущие гневной болью «Образованщину», «Жить не по лжи!».

А.И.Солженицын никогда не ждал и не ждёт некоего часа, чтобы идти в атаку. Стратег и тактик в боях со Злом, сам себе полководец и сам же солдат, он доказал миру: «И один в поле воин». Хочешь не хочешь, а вспомнишь русские сказки и сравнишь невольно. Перечитывая и сейчас вот всё, что удалось купить вышедшее у нас, вновь ловлю себя на мысли — ни одна строка не побледнела от времени, ни одно слово не потеряло сочности. Больше! С отстаиванием, с течением лет, с книгами этими происходит нечто, что иначе как чудесным не назовёшь. Я бы сказал,

происходит их *саморост*. Система рухнула, а «Архипелаг ГУЛАГ» всё страшнее. Во веки вечные будут тянуться к нам руки наших убиенных собратьев. Не дадут покоя их измученные души. Матрёна давно погибла, но без «Матрёниного двора» трудно помыслить нашу «нутряную Россию». И жив ли Иван Денисович? А и он нужен как воздух. Без его умения жить от труда рук своих нам и не подняться. Жжёт совесть за безвинного Тверитинова со станции Кочетовка. И совсем уж необычно — до горько-смешного — «Образованщина» тех лет и вся публицистика целокупно ещё более интересна и актуальна в дни сейчасные. Для нас-то, поимевших уж теперь опыт всех экономических систем, хлебнувших всякого, только, быть может, и подходит время поразмыслить над написанным. А писатель совершил уже новый труд, написал и выпустил не менее жгучее и тяжкое: «Россия в обвале», в продолжение «Русского вопроса» к концу XX века».

Интересность, лёгкость произведений Александра Исаевича строится на всём спектре человеческих эмоций, чувств, качеств. Его герои по-монашески суровы, упорными воинами стоят в опасности, умелые трудяги, просверкивают юродством. Полнее всего, пожалуй, это выбрали крестьяне, мужики: Иван Денисович Шухов и Арсений Благодарёв («Один день Ивана Денисовича» и «Красное Колесо»). А то вдруг всё перекрывается извинительными нотками за неловкий укор, как в случае с гибелью той же Матрёны. Писатель, ведя своих персонажей, как бы присутствует в них сам, передаёт им свой выстраданный фронтовой, лагерный опыт, подучает, как быть в обстоятельствах жизни. Перенимает и у них. И никогда не найдём — отчаяния. Впрочем, было однажды — арест архива. Но и признался же в этом в «Телёнке» и навсегда одолел греховную мысль о ненужности своей жизни. Близость через исповедальность в распростых словах настолько пронизывает, пронимает, что, забываясь, уже сам начинаешь то подбадривать его героев, а то и самого писателя. Так и идёшь с ним по всем страницам произведений, а кажется, и по всей его жизни.

Насчёт жизни можно употребить и без «кажется». Тому дают основания и «Бодался телёнок с дубом», и выходящее сейчас продолжение в «Новом мире» — «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов». В них А.И.Солженицын весь на виду. Такой же и в жизни. Его неприхотливость в быту обескураживает многих и многих. Иностранцам, провожавшим его в рабочую столовую (когда выгнали из страны), было и не понять отказа отобедать в ресторане. Это понять можем, наверно, только мы, привыкшие к столовым с запахом больничных щей. И боль писателя об умерших от голода в лагерях, в коллективизацию, в войну. Да к

еде, как эстетско-плотскому выражению состояния тела, у него и почтения-то никогда не было. Квашеная капуста, картошка, каша. Главное, чем всегда жил и живёт он, — своим состоянием *Духа*.

По прочтении книг писателя очень загло мне обсмотреть его вблизи, уяснить его целиком. Сравнить понятое с увиденным вблизи. И не ошибся в своих представлениях, полученных через книги. Прямая спина, развёрнутые — так, наверно, держались офицеры русской армии — плечи. А на лице — ни тени возраста! Живость глаз, жестов, эмоциональное говорение, — всё молодо. Мы тела крепим, а он *Духом* высоты берёт. Ещё раз смотрю на книги, прибавляю к ним издаваемые Фондом мемуары, переписку, телефонные звонки, встречи, заботы о семье, — и в голове не умещается объём работы писателя. А сколько дней потеряно на конспирацию, переезды, да вычеркнуть годы лагерей. Временем, что ли, управляет? Похоже, так.

Течение времени, то стремительное, то тягуче вязкое, выступает почти самостоятельным художественным образом в крупнейшей военно-исторической эпопее «Красное Колесо». Горячее бурление в революционном Петрограде: без следа сторают мгновения, время кончается, как зримое материальное вещество. И медленный его ход в царском вагоне. Здесь оно пока плотное, структурированное. Единый, обволакивающий, устойчивый поток. В сценах о любви оно невесомое, незаметное. Время в любви блаженно. Ток времени в эпопее отзывается на любое событие: искривляется по линии колонны демонстрантов с красными флагами, рассыпается, раскатывается по пустынным площадям. И везде оно — дорого. И везде оно — последнее. Оно ещё даёт срок народу, Императору, войскам спастись от грядущего *Безвременья*. Но мало кто тогда это понимал. Не много понимаем и мы, хотя и издали себе в урок «Красное Колесо». В эпопее *Время* расстреляли, проговорили, размазали, изрубили шашками. И не стало его. Не найдём мы его и в «Архипелаге ГУЛаге», там его попросту нет. *Там — срок*.

А.И.Солженицын, ниспосланной ему силой, собрал сколько мог по России, по миру наше растраченное, спрессовал его в тома книг и вернул нам в *Слове*.

Дай Бог ума распорядиться нам бережно его творениями и дай здоровья ему и всем его близким. А *Дух* его и так крепок, в пример всем живущим.

Сергей Аверинцев
**МЫ И ЗАБЫЛИ,
 ЧТО ТАКИЕ ЛЮДИ БЫВАЮТ***

Слова, вынесенные в заглавие, взяты из записи Лидии Чуковской от 30 октября 1962 г. В этот день Ахматова с весёлым удивлением рассказывала ей о посетившем её человеке:

«...Светоносец! Свежий, подтянутый, молодой, счастливый! Мы и забыли, что такие люди бывают...»

Кажется, все слова об Александре Исаевиче Солженицыне, будь то в хвалу ему, будь то в хулу, уже сказаны. Теперь стали просто отмахиваться готовыми словечками, притом не только порицательными, а даже хоть бы и похвальными, важно — что готовыми. Мол, ага, знаем-знаем. Все слова сказаны, все формулы известны. Сегодня труднее всего, но и нужнее всего — попробовать вернуться к той свежести первого впечатления, которое так осязаемо в озадаченности Ахматовой.

Пусть послужит для этого предлогом хотя бы 80-й день рождения.

Есть какая-то провиденциальная эстетическая сообразность в том, что день рождения этого человека приходится на самое тёмное время в году: день съёжился дальше некуда, от стужи дух захватывает, из всех красок осталось только чёрное и белое, белизна снега и чернота мрака, — но каждая проходящая, отмечаемая тиканьем часов секунда явственно приближает солнцеворот. В жилах это чувствует кровь, в стволе дерева, наверно, чувствует по-своему сок. Время становится ощутимым.

Когда же ему было ещё родиться, как не в такие дни?

Ещё раз вспомним: как это говорила Ахматова? Очень неожиданное, намеренно неожиданное слово — «счастливый». Оно выбрано круто на оборот и наперекор обстоятельствам биографии, да и вообще всему, что лежит на поверхности. Что оно рисует? Наверно, тот тип бодрости, который только и может быть у фронтовика, у лагерника, — бод-

* Публикуется по: Общая газета. 1998. 10–16 декабря. С. 8.

рость экстремальных ситуаций, вспыхивающая именно от острого, катастрофически-напряжённого чувства времени. И мне вспоминается, как я первый раз услышал голос Солженицына по радио. Солгу, если не сознаюсь, что тогда был скорее озадачен, чуть ли не отпугнут: чем? Да стремительностью угадывавшегося за ней музыкального темпа — не столько темпа речи, сколько темпа души: *presto, prestissimo*. Для нас, воспитавшихся в отгалкивании от призрака ложной бодрости официоза, для нашей интеллигентской привязанности к отрешённым мыслительным созерцаниям и к темпам более созерцательным, — это всё не очень легко. С другой стороны, как же не вспомнить, что во времена, лучше, чем наше, знавшие толк в различии типов и призваний, именно такой психологический склад — война, «кшатрия» — почитался жизненно необходимым?

Трудно не вспомнить, как солженицынский Самсонов, опять-таки «кшатрий», непроизвольно медитирует над немецким идиоматическим оборотом «*höchste Zeit*»: «*будто время могло быть ником, и на этом нике миг один, чтобы спастись*».

Да ведь и чисто литературно Солженицын сильнее всего тогда, когда он выступает как, условно говоря, «баталист» — в весьма расширенном понимании этого слова: когда он изображает действия и события сугубо динамические, непредсказуемый исход которых решается от секунды к секунде. Таково всё, что случается в лагере. Таково в особенности — лагерное восстание. Таковы беззвучные поединки глаз, как у полковника Яконова и Сологодина. «*Инженер-инженер! Как ты мог?!*» — пытал взгляд полковника. Но и глаза Сологодина слепили блеском: «*Арестант-арестант! Ты всё забыл!*» Таковы шумные поединки политиков во взрывчатом публичном контексте думского заседания или митинга. Таковы неблагоприятные хеппенинги на улицах революционного Петрограда. Таковы же мемуарные эпизоды хроники поединка писателя с властью. Но таковы, разумеется, и сцены батальные в самом обычном смысле, какие мы встречаем в «Августе Четырнадцатого» и далее. (Я не разделяю распространённой точки зрения, согласно которой позднее творчество Солженицына как целое ниже раннего, взятого опять-таки как целое; мне представляется важнее преимущество динамических сцен над статическими, которое, как я нахожу, налично и тут и там.)

И стилистика тем убедительнее и ярче, чем непосредственнее она вытекает из «батализма».

«...В их схороненные палаты, хоромы, райкомы — вступил мертвяк Архипелаг, без рукавиц, в обуви ЧТЗ» (Сквозь чад. Париж, 1979. С. 60), — да таких

неистовых плясок ритмической прозы под резкое звяканье созвучий в русской литературе не было со времён Андрея Белого.

Слишком понятно, что в те времена, к которым относятся наиболее драматические перипетии единоборства писателя с советским режимом и советской идеологией, читатель, принимая сторону Солженицына, склонен был искать в нём авторитет прямо-таки абсолютный, никак не меньше; оборотной стороной этой неизбежной безудержности был ожесточённый тон, в который слишком часто впадали тогдашние оппоненты Солженицына внутри т.н. диссидентства. Нынче страсти подостыли, но подостыла и заинтересованность, время на дворе — забывчивое. Однако оправданий для забывчивости не будет никогда, жизнь сохраняет в себе всё равно только тот, кто не разрешает себе забывать. На смену всем эксцессам самоотожествляющегося преклонения и самодовольной неуважительности, равно смахивающим на суждения эгоцентрического подростка о старших, должно прийти немечтательное, трезвое, остро заинтересованное внимание именно к инаковости всего облика Солженицына. Именно к тому, чем он не похож ни на одного из нас. И к тому, чего никто из нас за него не скажет.

Лев Аннинский
ДАЁТ БОГ ЧЕСТЬ ТОМУ,
КТО МОЖЕТ СНЕСТЬ*

Оглядываясь на путь великого старца, шагнувшего в девятый десяток, невольно спрашиваешь себя: это было предзадано? И можно было угадать? Как Тургенев угадал когда-то в молоденьком артиллеристе Толстом: «Этот офицеришка всех нас заклюёт». Как Гердер во время ночных бесед угадал гения в молоденьком студиозусе Гёте.

Момент, когда не слишком уже молоденький, но безвестный ещё рязанский учитель взорвал журнальную ситуацию своим «Иваном Денисовичем», вряд ли побуждал к грёзам о седобородом мудреце, восседающем на литературном троне: в 1962 году всё это больше походило на драку у раздаточной, и недавний зэк с челом, пересечённым шрамом, воспринимался скорее как боец, мститель, бунтарь, мятежник, одинокий волк, чем как вожак, чующий направление мировых поветрий.

Впрочем, в рассказах, последовавших за той первой взрывной повестью, было уже что-то, превышавшее яростную месть «сталинистам» или горькое сочувствие раздавленным нуждой «колхозникам».

В «Матрёнином дворе» — словно лучик из бездны — калеченная кошка, спрыгивающая на пол со слитным стуком трёх ног... Что это? Правило трёх точек, шевельнувшееся в пальцах учителя математики? Символ веры, оживший в сознании бывшего сталинского стипендиата: едино — нераздельно — неслиянно? Таинство духа, врачующего изуродованное вещество жизни?

Таинство чуялось с той поры в каждой строчке, выходившей из этих пальцев. Ровный шрифт государственных публикаций не давал им дышать — только полуслепые машинописные копии, пропущенные через пальцы людей, которые множили, хранили и передавали эти тексты.

Третью века Россия читала Солженицына в утлых запретных скрижалях.

* Публикуется по: Общая газета. 1998. 10–16 декабря. С. 8.

Это было не просто усвоение — это был импринтинг: впечатывание в душу.

Это были не просто тексты, описывавшие реальность, — это была сама реальность — духовная. Взыскание последней истины. Гневное вопрошание о ней.

В миниатюрной «крохотке» про церковь на рязанском пейзаже или в каноническом романе про «раковый корпус» звучала и билась непостижимость конечной справедливости.

Вы могли воочию видеть, что «шарашка», описывавшая абсолютно запретные для канонов советской литературы хождения людей по адским кругам всесоюзного лагеря, выдержана в традициях критического реализма, усвоенных также и реализмом социалистическим, — это не мешало проецировать реалии «Круга первого» на мировой нравственный правопорядок: он проглядывал — сквозь всю кровавую карусель ГУЛАГА.

Вы могли улавливать в гигантском, скрупулезно документированном, многотомном обвинительном акте «Архипелага ГУЛага» дух эпоса, легенды, взметённый над проклятой реальностью, в семь слоёв перемешавшей кости жертв и убийц, — но сама легенда становилась реальностью.

Вы могли улыбаться, читая в биографии Солженицына, что студентом в предвоенные годы он мечтал написать — и даже начинал — эпопею под кодовым названием «Люби революцию», — но, улыбаясь тогдашним «кодам», вы не могли не почувствовать мощь гигантского замысла, который должен был реализоваться под любыми «кодами».

Россия — как органичность, терзаемая и разрываема силами истории. Россия — как часть вселенского целого, таящая в себе загадку и загадку этого целого. Россия — как урок, долг и воздаяние. Он это носил в себе, хотя, может быть, не всегда знал отчётливо.

Россия, породившая такого писателя, чувствовала это, но мало знала.

Россией изгнанный, он стал заново вживаться в ход её драмы, влез в её историю, свершившуюся на глазах живущих ещё поколений, колесовал душу её маршрутами в двух мировых войнах, разделённых жутким промежутком «мирной передышки».

«Красное Колесо» увязло на распутье: как любить Россию, ненавидя коммунистов, если именно их породила Россия и именно их захребетной жестокостью спасла то, что могла спасти, в костоломке XX века?

Страна, вырвавшаяся из идеологических тенёт, взмыла в свободу и позвала домой своего летописца.

Он вернулся — седобородый старец, — с горечью наблюдая, какой непредсказуемостью отливается её свобода.

За морем и веселье, да чужое, а у нас и горе, да своё.

Игорь Виноградов
ПАРАДОКС ВЕЛИКОГО ЗАТВОРНИКА*

Парадокс Солженицына я мог бы уложить в такой тезис: при всей как будто *открытости* нам в своём страстном писательском пафосе, в своих убеждениях и ценностях Солженицын — один из самых *закрытых* для нас художников, каких я знаю. Разумеется, это требует пояснений.

Поясняю.

Толстой сказал как-то: кого бы ни изображал художник — святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим в художественном произведении только душу самого художника.

Среди множества формул искусства эта, толстовская, нравится мне больше других потому, что искусство — для нас и в самом деле отнюдь не одна лишь возможность узнать о жизни что-то *фактически* новое — о царях, лакеях, святых и т.п. Или — о лагерях, заключённых, их обычных и необычных днях, хотя всё это уже и само по себе невероятно важно. О том же, что значило для XX века всё рассказанное нам Солженицыным, и говорить не приходится. Но общение с искусством — это всегда ещё и уникальная возможность выйти за пределы нашей личностной ограниченности, став в нём и через него как бы другой личностью. Ибо искусство даёт нам увидеть мир *иными* глазами, почувствовать *иной* душой, обнять *иным* умом и тем позволяет нам как бы *присвоить* себе личность художника через созданный им мир, в котором сгущено его видение и чувство жизни. Потому-то чем крупнее, ярче и по-человечески своеобразнее личность художника, тем ценнее для нас общение с его искусством. А чем больше граней неповторимого его «я» открывается нам в этом общении, становясь нашей «собственностью» и позволяя нам самой своей, можно сказать, кожей чувствовать, как именно видит, любит, воспринимает он жизнь, — тем это общение для нас притягательнее.

* Публикуется по: Общая газета. 1998. 10–16 декабря. С. 8.

Резкое своеобразие художественного мира, вырастающего перед нами из произведений Солженицына, состоит в том, что мы слишком мало встречаем и чувствуем в этом мире не граждански-общественную, не пророческую и проповедническую, не общемировоззренческую и, так сказать, общезначимо нравственную, а вот именно эту, глубинно-психологическую, если хотите — *частно-человеческую*, интимно-лирическую фактуру его личности. Его целеустремлённая воля почти не позволяет появиться здесь ничему, что не было бы напрямую сопряжено с той главной задачей, которую он осознал и принял когда-то в себя как высшую цель и смысл своей жизни, — быть Мечом в руке Божией, заговорённым рубить мировое Зло. Потому и человек, всегда размещённый у него во враждебном ему мире — в лагере, в шарашке, в раковом корпусе, в хаосе и распаде предреволюционной и революционной России, в колхозном застенке или в иных режимных отсеках нашей недавней всеобщей социалистической казармы, — всегда и интересен ему тоже прежде всего именно в *этом* развороте к окружающему и давящему его злу — выстоит ли, сумеет сохранить себя как человек, сломается ли, погибнет, превратится в зверя? Это — генерализующий принцип художественной типизации у Солженицына, всё взвешивающего на весах добра и зла, правды и лжи, достоинства и подлости, всё освещающего ясным и резким моральным светом. А всё, что носит более частный, личностный, *внеидеологический* характер и через изображение чего как раз и открывается нам наиболее внятно сокровенно-личностное «я» самого художника, отодвигается им по преимуществу на периферию...

Значит ли это, что Солженицыну и в принципе, так сказать, недоступны эти глубинные пласты жизнеощущения, а соответственно — и личностного самовыражения?

Отнюдь! Не говоря уж об удивительных штрихах, уводящих именно к таким глубинам в «Матрёне» или в «Крохотках», напомним хотя бы автобиографическое начало «Правой кисти», где автор с такой пронзительной силой рассказывает о том, как он приехал в Ташкент умирать, а его заставили — пожить, и как трепетно и больно начинала входить в него эта подаренная ему жизнь... А «Раковый корпус», отношения Олега Костоглотова с Вегой и Зоей-пчёлкой и те поразительные страницы, когда Олег выходит из больницы в весенний Ташкент, в жизнь? Розовое чудо цветущего урюка, зоопарк, антилопа нильгау на лёгких стройных ногах, с настороженной головкой и крупными, милыми, доверчивыми глазами Веге?..

Но таких страниц у Солженицына мало, и почти все они — лишь о приближении к тому порогу, за которым только и начинается обычная

нормальная жизнь со всеми её *женскими модами, зеркалами, белыми воротничками* и прочими нормальными своими *сложностями*, которые так испугали когда-то Костоглотова. Ибо он, как и все герои Солженицына, — из жизни *ненормальной*, и в ней нет места ни этим сложностям жизни нормальной, ни её цвету и запаху. Здесь всё другое, а оттого и человек в ней совсем другим важен, и жёсткая отчётливость идеологически-моральной прежде всего очерченности его психики и его поведения в жестокой реальности XX века оказывается вполне оправданной доминантой.

Но удивительно ли в таком случае, что при всём несомненном писательском величии Солженицына я всё-таки — и вряд ли случайно — почти не встречал людей, которые числили бы его в своих *любимых* писателях? В том особом, личностном звучании этого слова, в каком кто-то из нас может отдать это имя только Достоевскому, другой — Толстому, третий же, к примеру, только Бунину. Для *такой* любви, которая рождается всегда лишь из ощущения особой человеческой близости нашего внутреннего мира и мира любимого писателя и которая просто невозможна, если мир этот не открыт нам во всей своей полноте, — для *такой* любви Солженицын открыт, похоже, лишь очень близким к нему по самой жизни людям. Но — не нам. Из всех великих писателей нашего времени он, несомненно, самый великий от нас затворник, позволяющий общаться с ним в тех лишь пределах, которые он считает в своём общении с нами важными *для пользы дела* — великого дела борьбы со вселенским Злом.

Но почему я говорю об этом именно сейчас, в дни солженицынского юбилея? Ведь что скрывать — такая художническая его от нас закрытость не может не огорчать, рождая чувство постоянной как бы недоданности, какой-то неполноты нашего с ним человеческого контакта.

Но такова уж, видно, участь писателя-пророка, писателя-проповедника, писателя-аналитика. И это — потрясает и заставляет склонить голову, когда отдаёшь себе отчёт в том, *чем* пожертвовал этот праведник, чтобы быть верным своему праведничеству. Ведь в том-то и дело, что предельная искренность и какая-то особая выразительность и поэтическая сила тех нечастых лирических страниц, о которых я говорил, — это, может быть, самое неопровержимое доказательство того, что именно глубинно-личностные слои человеческого «я» Солженицына как раз особенно органичны для его таланта, едва ли в подоснове своей не лирического!..

Вот почему, когда я думаю об этом солженицынском парадоксе, я, даже и сожалея об утратах, на которые обрекает нас его закрытость, всё равно низко кланяюсь ему за эту закрытость. За то, что он не остановил-

ся даже перед тем, чтобы пожертвовать, может быть, самым сокровенным и важным для него как для художника, — пожертвовать, чтобы выкрикнуть свой самый главный крик, сказать нам всё, что он сказал и что перевернуло наш мир. И что и было для нас в XX веке важнее всего. Этого никто, кроме него, для нас не сделал.

...Но, кто знает, может быть, как раз сейчас, когда подвиг уже совершён, великий затворник даст, наконец, себе волю и ему вдруг захочется, как когда-то Толстому, забыть обо всех на свете российских и мировых бедах и написать что-то *чисто художественное*? И не просто очередную «крохотку», а что-то крупное и цельное из опыта той *нормальной* жизни, которая тоже была уже ему отпущена.

Пусть это будет моим очень личным пожеланием и пусть окажется оно, может быть, и не очень к месту. Но ведь жизнь неожиданна, а жизнь художника — тем более. И к тому же кто возьмёт на себя смелость утверждать, что можно подарить художнику к его юбилею что-то большее, чем наше ожидание от него нового и нам дара?

Александр Музыкантский
ЕСЛИ БЫ ВЛАСТЬ
ЧИТАЛА ЕГО КНИГИ...*

Впервые я услышал о Солженицыне в студенческие годы, когда «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича». Впечатление от повести было сильное, разговоров вокруг — масса. С тех пор старался не пропускать новых вещей этого писателя. Помню, как несколько ночей подряд читал «Архипелаг ГУЛаг» по экземпляру, любительски переснятому с книги, так что были видны загнутые странички оригинала. И потом, когда в конце 80-х — начале 90-х у нас начали публиковать Солженицына, перечитал всё, что знал раньше, а многое открыл впервые.

В этот период политика стала реальным конкретным делом. И я начал прорабатывать тексты Солженицына уже совсем по-другому, извлекая уроки. Будь то его публицистика, где он пророчески предрекал, каким трудным для нас будет выход из старой системы, под обломками которой многое разрушится. Или страницы, обращённые к событиям 1917 года. Так совпало, что в августе 1991-го я перечитывал главы «Красного Колеса» о феврале 1917 года. И как раз в дни путча мне стало ясно, что ситуации абсолютно схожие.

1 марта 1917 года. В Петрограде — второй день свободы. Ещё ничего не разрушено, на всей огромной территории империи действует старый порядок. Ещё император не отрёкся от престола. Просто рухнула власть в Петрограде. Но именно в этот день в столице произошли сотни убийств офицеров, бессудные расправы над невинными, тысячи обысков и погромов в учреждениях и квартирах горожан. Всё это было так ярко описано в «Красном Колесе», что я отчётливо понял: мы — в Москве — на волоске от катастрофы. И если бездействовать — могут повториться давние петроградские ужасы. Поэтому городские власти не дали толпе свергнуть с пьедестала памятник Дзержинскому.

* Публикуется по: Общая газета. 1998. 10–16 декабря. С. 8.

Его демонтировали по распоряжению тогдашнего мэра города Гавриила Попова.

Такова история моего заочного знакомства с Солженицыным. Позже, когда вплотную встал вопрос о его возвращении на родину, я напросился на встречу с его супругой — Натальей Дмитриевной, несколько раз приезжавшей в Москву. У нас оказалось много общих друзей — и Наталья Дмитриевна, и я окончили мехмат МГУ. Меня волновало, не окажется ли Александр Исаевич после возвращения орудием в руках каких-либо политических сил? Я задавал столь наивный вопрос, поскольку плохо знал характер Солженицына. Наталья Дмитриевна успокаивала меня, говоря, что это невозможно. После его возвращения, после встречи на Казанском вокзале, где мы были вместе с Юрием Михайловичем Лужковым, состоялось и наше личное знакомство. В дальнейшем мы беседовали несколько раз. А в 1995 году мне посчастливилось быть в кругу тех, кто участвовал в создании Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», задуманной Александром Исаевичем.

Я отношусь к этому человеку с глубочайшим уважением и считаю, что поговорка «Нет пророка в своём отечестве» появилась не случайно. Она точно отражает характер народа, который, имея своего пророка, не замечает этого. Мне кажется, если бы к 1991 году новая волна людей, пришедших во власть, прошла школу Солженицына, многих ошибок можно было бы избежать. Кстати, в 1994-м Солженицын первым чётко сформулировал ещё одну простую мысль: результаты реформ можно оценивать только по реальным изменениям в жизни людей. Улучшается жизнь — значит, реформы идут правильно. Нет — нужно вносить коррективы.

Мне кажется необычайно плодотворной и мысль Солженицына о пользе земств как основы самоуправления в России. На городском уровне самоуправление — это объединение жителей одного или нескольких домов, которые распоряжаются своим городским имуществом. Общим собранием решают, как расходовать деньги, с какими организациями стоит заключать договор на обслуживание своего жилища. У дома появляется коллективный хозяин, возрождается дух русской общины. Наиболее перспективная форма таких объединений — кондоминиум, то есть земельно-имущественный комплекс. Ведь настоящая демократия, по мысли Солженицына, не ограничивается выборами на президентском или парламентском уровне. Она — в идее самоуправления.

Читая и слушая Солженицына, я понял, что история содержит мало принципиально различных вариантов. Ситуации повторяются. Конечно, каждый раз со своими особенностями.

Егор Яковлев
ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ СВОБОДЫ*

Поздравления Солженицыну теперь на каждой печатной странице, в любой теле- и радиопередаче. Все желают писателю добра, здоровья. Времена же, когда советский режим остервенело добивался сокрытия самого имени Солженицына, представляются из нашего далека почти невероятными. Тем не менее многие кагэбисты и цекисты так в этом преуспели, что книги писателя, читанные на протяжении почти четырёх десятилетий, памятны не только содержанием, но и тем, где и как их удавалось заполучить. Толстый том со слепыми страницами многочисленных машинописных копий — это самиздатовский «В круге первом». «Архипелаг ГУЛАг» передан по дружбе в Белграде корреспондентом «Правды», я читал его трое суток, не выходя из номера. «Август Четырнадцатого» — получен из-под полы в оккупированной советскими войсками Праге.

Да что вспоминать далёкие времена. Ровно десять лет назад — день в день — отмечали семидесятилетие Александра Исаевича. Необоримым упорством Элема Климова, Андрея Смирнова был устроен вечер в Доме кино. Юрию Карякину, Лену Карпинскому, мне дозволили выступить. А вот напечатать самый скромный отчёт об этом вечере никак не разрешалось. Отдел пропаганды ЦК КПСС исследовал каждую строчку. В конце концов в «Московских новостях» публикация появилась вопреки запрету.

Сокрыть Солженицына было не дано. Еще бы! Уже написан «Один день Ивана Денисовича». И опубликован (!!!) в десятой книжке «Нового мира» за 1962 год.

...Память поразительно совмещает события, происходящие пусть и в разное время, но близкие по смыслу. Помню, как в ночь на 31 декабря улетал в командировку. Редакционную машину через Красную площадь

(тогда там разрешалось движение) не пропустили. Всё было оцеплено. Позже я узнал, что как раз в ту ночь извлекали из Мавзолея тело Сталина. А тогда, добравшись до аэродрома, расположившись в самолёте, открыл свежий номер «Нового мира», принялся читать «Один день Ивана Денисовича», впервые ощутив магию солженицынского письма: такой текст невозможно пробежать глазами — задерживаешься на каждом слове, будто движешься по булыжной мостовой.

Память, однако, подвела: между освобождением Мавзолея и публикацией «Ивана Денисовича» разрыв в целый год. Соединилось же то и другое потому, что это были, пожалуй, последние прорывы в антисталинской борьбе. Дальше началось отступление. Солженицын противостоял ему и «В круге первом», и в «Раковом корпусе», и в каждой написанной им строчке... А самое главное — противостоял мужеством личности, которая выдержала поединок, ни в чём не уступив режиму, пустившему под откос бесчисленное множество жизней.

Нынче о сокрытии Солженицына и речи быть не может. Скорее сам Александр Исаевич предпочитает быть подальше от суетной толкотни российских будней. Он не сторонится встреч — отнюдь. За последние годы писатель побывал в 26 областях, повидаться с ним приходили и сотни, и тысячи людей. А вот общения с политиканствующей элитой избегает. Отстранённость Солженицына — в его глубоком и абсолютном нежелании дать возможность, повод, предлог к использованию имени писателя в очередных дворцовых комбинациях. А попытки к тому были: высказывались предложения, строились догадки — какое место в политической жизни займёт Солженицын по возвращении в Россию. «Место» же ему оказалось ненужным. Ради чего? В стране сегодня любое политическое событие, любая политическая кампания по своим тайным целям, по своему скрытому содержанию — прямая противоположность тому, о чём говорится вслух.

Коммунисты мельтешат с возвращением на Лубянку памятника Дзержинскому. Они вдруг воспылали любовью к Феликсу Эдмундовичу? Ах, оставьте! Коммунисты провоцируют столкновение, экспериментируют, насколько могут в очередной раз прогнаться демократы. Быть может, коммунисты даже добьются своего. Но «Архипелаг ГУЛАг» — самое гневное разоблачение большевистского террора — уже написан. Исправить его никому не дано! Вся жизнь Солженицына убеждает: стрелки часов в обратную сторону не идут. Не идут, хоть ты тресни!

Солженицын принял на себя крест постижения жизни. Такой, какая она есть. И отбрасывает всё, что ему в этом мешает. В силу этого, если хотите, именно поэтому Александр Исаевич первым среди мыслящих

* Публикуется по: Общая газета. 1998. 10–16 декабря. С. 7.

людей российской современности высказал убеждение: советскую власть нельзя ни улучшить, ни очеловечить. От неё можно лишь избавиться.

Тогда я был с ним не согласен. Но Солженицын оказался прав. Бодался телёнок с дубом. И дуб не выстоял.

о. Георгий (Чистяков)
**ПРОЧЛА ЛИ РОССИЯ
 СОЛЖЕНИЦЫНА?***

В последние годы неоднократно писали и говорили о том, что сама тема, которой посвятил себя Солженицын, ушла в прошлое, а поэтому и его тексты читателем сегодняшнего дня не воспринимаются.

«Разумеется, в своё время он сделал очень много, но теперь... Его эпоха ушла в прошлое... Его творчество связано с тем периодом истории, о котором вспоминать всё время просто нельзя, ибо это приводит лишь к тому, что общество поляризуется, а задача заключается в том, чтобы уйти от этой поляризации... Антикоммунизм сегодня неактуален... Все от него давно устали...» — и т.д.

На самом деле всё не так. В «Архипелаге» Солженицын говорит не только о том времени, что ограничивается 1918–1956 годами, но прежде всего о внутреннем мире человека на Руси, не только об истории, но о реакции живого человека на историю.

Его книга — не хроника, но действительно «опыт художественного исследования», в котором писатель анализирует не только исторические события, но наше место внутри этих событий.

ГУЛАГ, быть может, и на самом деле ушёл в прошлое как исторический факт, но он существует в сознании многих из нас как идеал, как мечта, как ориентир. Не случайно же Государственная Дума приняла (посвятив этому два заседания в течение одной недели) решение восстановить памятник Железному Феликсу, стоявший на площади перед КГБ.

Дзержинский был снят с пьедестала сразу после августовского путча — казалось, навсегда. Но на прошлой неделе коммунисты голосовали за его восстановление, а представители остальных фракций в большинстве своём предпочли просто не участвовать в голосовании. Поэтому голосов против этого постановления подано было до смешного мало.

* Публикуется по: Русская мысль. 1998. 10–16 декабря. С. 1, 20.

В тот же день «Новые Известия» опубликовали интервью Олега Миронова, в прошлом депутата-коммуниста, не так давно выступавшего в Конституционном суде, когда там рассматривался вопрос о запрете КПСС, в качестве защитника компартии, а ныне являющегося уполномоченным по правам человека Российской Федерации (на этом посту он сменил Сергея Ковалёва). Миронов заявил, что «нельзя говорить, что 30-е годы в нашей стране были годами Средневековья, инквизиции. Плюс было достаточно». С его точки зрения, это была эпоха «колоссального позитива».

Сразу вслед за этим председатель Государственной Думы Геннадий Селезнёв потребовал восстановить в России каторжные работы. «На каторге, — сказал он, — человек должен каждый день молить Бога, чтобы Тот послал ему смерть, на каторге надо, чтобы человек умирал от изнурительного труда в каменоломнях и лесных чащобах».

И всё это в течение двух-трёх дней. Именно тех дней, когда по всем каналам российского телевидения начали демонстрироваться фильмы о Солженицыне, посвящённые его 80-летию. И после этого мы утверждаем, что эпоха ГУЛАГа ушла в прошлое? И антикоммунизм неактуален? И Солженицын пережил свою эпоху?

Трагедия нашей страны заключается в том, что в массе своей российский читатель не прочитал «Архипелаг» в 70-е годы, когда его читали по всему миру и, прочитав, тысячами уходили из компартий, отказывались от «левизны» и марксизма, открывали для себя Бога и на самом деле рождались заново.

Марксизм, к которому тянулись европейские интеллектуалы, в том числе и верующие, после появления «Архипелага» просто умер, а международное коммунистическое движение и всё, что было связано с попытками построить «социализм с человеческим лицом», потерпело полный крах. Социализм — это всегда террор. К такому выводу не может не прийти тот, кто прочитал Солженицына.

Люди начали понимать это повсюду, но не в России. В какой-то мере это связано с тем, что «Архипелаг» был издан у нас уже после того, как из газет, исследований, кинофильмов, записок и вообще из самой разной литературы стали известны факты истории советского времени, причём не в том устном изложении 227 очевидцев, на свидетельства которых опирался Солженицын, а по документам.

Современного человека занимает факт как таковой, а не его осмысление. «Об этом я уже читал, эти факты я уже знаю», — сказал российский читатель, увидевший в книге Александра Исаевича хронику и не понявший, что перед ним «опыт художественного исследования».

Сегодня коммунисты не стесняются угрожать нам каторгой, «колоссальным позитивом» 30-х годов и репрессиями, которые они обрушат на классовых врагов, когда снова придут к власти. Их уже начали бояться. Но возможным стало это не в последнюю очередь в силу того, что «Архипелаг» так и не был прочитан в России.

Солженицын называет наших дедов, репрессированных, умиравших на лесоповалах и расстрелянных, кроликами. Это кажется несправедливым и жестоким, но, увы, это было действительно так. И относится не только к ним, но и к нам. Мы тоже рискуем в любой момент превратиться в кроликов.

Он рассказывает об арестованном вместе с матерью в 1937 году мальчике лет восьми, которому удалось спрятаться прямо на вокзале, где он «нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина». Там этот малыш просидел, пока опасность не миновала, потом пытался спрятаться у соседей, знакомых, у друзей его папы и мамы. «И не только никто не принял этого мальчика в семью, но и ночевать не оставили! И он сдался в детдом».

Вот они, кролики (все эти неплохие люди — соседи, родственники и друзья этого мальчика и его родителей), вот почему советская власть просуществовала так долго и теперь ещё грозит нам тем, что *всё вернется...*

«...Вам можно и непременно надо было бы кричать! Кричать, что вы арестованы! что переодетые злодеи ловят людей! что хватают по ложным доносам! что идёт глухая расправа над миллионами!.. Но с *ваших* пересохших губ не срывается ни единого звука, и минующая толпа беспечно принимает вас и ваших палачей за прогуливающихся приятелей» — так пишет Солженицын в самом начале своей книги.

Он вспоминает о профессоре Дмитриии Аполлинарьевиче Рожанском, который на собрании в Ленинградском политехническом институте *воздержался*, когда все гневно голосовали за смертную казнь обвинённым по делу Промпартии, и был тут же посажен, однако затем вернулся. «Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что граждански-мужественное общество не дало бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги?» — спрашивает Солженицын и самого себя, и каждого из нас.

Писатель описывает особенное ощущение, суть которого сводится к тому, что человек пребывает в полной уверенности, что он ничего не сможет, у него ничего не получится, ибо он слишком незаметен и, главное, совсем один, поскольку его никто не поддержит. Именно это ощущение приводит к тому, что тирания становится возможной. Ощуще-

ние, которое может разрушить всё. Ибо и один голос, поданный честно, может противостоять злу и подготовить ниспровержение идола. К нему всегда присоединится кто-то второй. И так далее.

Сам Солженицын, когда он начинал работу над «Архипелагом», был *почти* один. За ним не стояла никакая структура, его не защищала ни одна организация. О его работе не знал никто за границей, *но* рядом было несколько друзей, которые прятали рукописи, находили информаторов, устраивали встречи с ними и помогали писателю скрыться в нужный момент от «всевидающего ока» и «утаить эту рукопись в суровую минуту, а потом размножить её». Именно это «почти» и привело к тому, что Солженицын победил. Он был услышан. И до «Архипелага» раздавались голоса, которые говорили о том, что такое советская власть. В Париже об этом всегда писали на страницах «Русской мысли» и говорили в стенах Свято-Сергиевского института, об этом говорили о. Александр Шмеман и священник Кароль Войтыла, об этом писал ещё Бердяев...

Однако их голоса тонули в респектабельном хоре европейских писателей и поэтов (вроде Арагона и Элюара), философов и музыкантов, которые вместе с респектабельным настоятелем Кентерберийского собора Хьюлеттом Джонсоном, получившим за это международную Ленинскую премию, на все лады восхваляли Советский Союз и подчёркивали, что его противники просто тоскуют по прошлому, которое никогда не вернётся.

Этому хору вторил политический истеблишмент, которому не хотелось ссориться с советским правительством, хотя, конечно, политики прекрасно знали, что такое коммунизм, и понимали, что он ничем не лучше нацизма.

Солженицын сказал об этом так, что его слышали все. Вероятно, по той причине, что через его книгу, словно в рупор, сотни людей сумели рассказать о своём опыте, о своей жизни и испытаниях, ибо таков гений этого писателя, что на страницах своих книг он умеет дать высказаться герою от первого лица. Писатель, о котором принято говорить, что он индивидуалист и одиночка, а главное, человек, из всех видов борьбы признающий только единоборство, Солженицын не подавляет своего информатора и никогда не говорит от имени своего героя, как делали и делают это почти все писатели, начиная чуть ли не с Гомера и, во всяком случае, с Платона, а даёт возможность говорить ему самому.

После «Архипелага» появились сотни книг, тысячи статей и исследований, посвящённых теме, на которую написана эта книга, стали известны новые факты, но «опыт художественного исследования», предло-

женный нам Солженицыным, не утратил своего значения. Наоборот, на фоне всех этих материалов стала ещё больше видна его уникальность как *человеческого* документа.

Этот аспект творчества Солженицына до сих пор не замечен и не оценён в России. Именно поэтому не только Дума голосует за восстановление памятника Дзержинскому, но и почти 50% опрошенных поддерживают её решение. Читая Солженицына, понимаешь, что значат слова Цицерона, который назвал историю учительницей жизни.

Страшная и беспощадная в своей подлинности книга Солженицына учит нас не бояться и знать, что полнота ответственности за всё лежит на каждом. Когда мы все вчитаемся в неё как следует, тогда и атмосфера в России, без сомнения, изменится. И навсегда.

Валентин Непомнящий

СОЛЖЕНИЦЫНА НАДО ЗАСЛУЖИТЬ*

Пытаться облечь явление по имени Солженицын в свои слова — примерно то же, что пробовать петь на большой горной высоте. С культурой прошлого — будь то Пушкин или «Слово о полку...», Толстой или Лермонтов — проще: там воздух менее разрежён, многие главные слова сказаны до нас и за нас, «большое видится на расстоянии». А тут нечто, явно превышающее привычные нам человеческие возможности, имеющее в культуре очевидно фундаментальный характер и в то же время наследующее её коренные традиции, а сверх того, отмеченное беспримерной персональной ролью в отечественной и мировой истории, воплощено в таком же, как мы, человеке с руками и ногами, который живёт рядом с нами, работает как вол, о нём не возбраняется нести любую околесицу, а помешать ему говорить с людьми, выставив из телеэфира, — дело пяти минут, притом не для царя, генсека или КГБ, а просто для нанятого за хорошие деньги чиновника. Совсем другая дистанция. К тому же и слова сегодня потеряли цену, значение и звучание, образовался какой-то лилипутский язык, в котором «великие» — популярные певицы, известные артисты — на каждом шагу, как грибы; твёрдая же ценность сомнительна и подлежит иронической ухмылке. Как тут говорить о том, что на самом деле велико.

Недавно в одной итальянской газете писали, что 200-летие Пушкина будет отмечаться на Западе чуть ли не шире, чем у нас, только на свой лад: у них будет Пушкин *europeo*. Это очень радовало бы — давно пора, — если бы Пушкин *europeo* не уточнялся в таком ряду: Пушкин *non dosto-*

* Публикуется по: Культура. 1998. 10–16 декабря. С. 1.

euskiano, Пушкин *non staliniano* и, наконец, Пушкин *non russo*. Там же, в Италии, на Международной пушкинской конференции было объявлено, что в русской литературе есть две совершенно разные линии: одна — от Пушкина к Пастернаку и Бродскому, другая — от Достоевского к Солженицыну. При всей выморочности, так часто свойственной приват-доцентскому умозрению, в этой деревянной постройке есть своя эффектность: обе «линии» — *europeo* и *russo* — венчаются именами нобелевских лауреатов, так что никто не обижен. Но и эта эффектность вызывает тоску, ибо нет более величественного символа безнадежно политизированного взгляда на литературу, чем Нобелевская премия; Пушкин и Достоевский вряд ли бы были её удостоены.

Низкий и нелicenseмерный поклон Западу за премию Солженицыну (бронезилет ему самому, а дальше, через него — гуманитарная помощь жертвам большевизма), но дальше политики Запад в понимании Солженицына так и не двинулся. Почему? Да по той же причине, по какой и Достоевский, и, конечно, Пушкин — для Запада люди хоть и почитаемые, но чужие: один не вполне доступен без Фрейда, другой более или менее понятен лишь в чужом свете — раньше Байрона и Шекспира, а теперь вот Пастернака и Бродского. С тем же, кто скажет, что «линия» Достоевского как раз и есть прямое и органическое продолжение «линии» Пушкина, там и разговаривать станут разве лишь из вежливости.

Впрочем, мы и сами недалеко ушли, и у нас почти то же, и притом издавна (вспомним одиночество и Пушкина, и Достоевского), но особенно сейчас, в условиях всеобщего насильственного разделения и обособления. Разделение идёт как вширь — по стране, так и сверху вниз — по «слоям населения»; и культуру искусственно поляризуют, жёстко деля на «массовую» и «элитарную», рыночную и приват-доцентскую, разваливая возводимое веками здание. Поэтому нет, быть может, сегодня в культуре более чужого и одинокого человека, чем единый, связующий Солженицын. Но тот камень кладки, который не даёт обрушиться своду и называется замковым, тоже бывает один.

В отношениях с очень большим явлением культуры у каждого своя история, свои вехи понимания, своя лирика. Мой главный лирический момент — «Матрёнин двор»: в «Огоньке», в деревне на Волге (или это мне сейчас так кажется, что на Волге и в той деревне?), — как гром, как любовь или музыка, как «Буря мглою...», миг полного узнавания, опозна-

ния: моё! И какими-то неведомыми путями — несомненная помощь в формировании моего взгляда на Пушкина.

Другая вежа — «Телёнок». Читал запоем — как Данте, как детектив, как мениппею в духе Петрония или Свифта, как «Капитанскую дочку». И до сердцебиения, до дрожи в коленках — эпический и душераздирающий, трагический, полный сердечного любования гениальный портрет Твардовского. Кто из обиженных и обидевшихся, увидевших в суете и маете идейных ссор не выше сапог, мог бы хоть в воображении воздвигнуть великому поэту памятник такой жизненной мощи, такой проникновенной сомасштабности?

Перед «Архипелагом» и «Красным Колесом» я умолкаю: слишком немного можно сегодня выразить в словах. Карамзин — Пушкин — Достоевский; может быть, Бах. Нравственный пафос, объективность и высокая точка обзора, головокружительная смелость и полифоническая стройность создания, обеспеченные нечеловеческой громадой чёрной работы (зримый, ещё горячий пример которой — «Россия в обвале»). В целом, при всех поводах для чьих-нибудь несогласий, «Архипелаг» и «Колесо» нынешней критике недоступны, не подлежат. Не потому, что «нельзя» или что последняя истина, — нет. Никаким собственно литературным, отвлечённо-профессиональным способом понимание этого человеческого и художественного подвига не приобретается. Чтобы приобрести — надо отдалиться, пройдя дальше, по той исторической дороге, которая нам предстоит и будет, верно, недёшево стоить.

«В одной газете (почти официальной) сказано было, что прадед мой... был куплен шкипером за бутылку рома.

...В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве.

В другой газете объявили, что я собою весьма неблагоприятен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула».

Пушкин, 1830

Кое-какие последнего времени журналистские сочинения о Солженицыне до удивления напоминают газетный лай «тех ещё» времён — тем более что иные детали словно бы прямо заимствованы из арсенала тогдашней Лубянки. Это подтверждает мою догадку о происхождении и природе нынешней правящей идеологии: идеологии позднедиссидентско-номенклатурного альянса. Две вроде бы противостоящие категории — партийно-комсомольские чиновники и борцы за отъезд из *этой*

страны — были родственны в одном: в презрении к *этому* народу, в созидании своей элитарной отделимости от него. Приступая к реформам, никто из них не хотел знать, что такое «эта» страна, что в ней нужно и полезно, а что ей отвратительно и вредно. Превознося достоинство и права человека, заведомо отвергли достоинство и права нации и народа.

И как только появился Солженицын, он почти мгновенно стал чужим. Его точка отсчёта — Россия, её опыт, история, духовный строй и ценности, а не макроэкономические панацеи и либеральные универсалии, заимствованные у «империи добра». Никакие прошлые заслуги этого извинить не могли.

Дурные эмоции вроде раздражения, страха или ненависти всегда ищут себе оправдание, а копаться в чужих грехах, реальных и мнимых, — лучший способ самоутверждения. В последнее время вошла в моду тема «демонизма» Солженицына. Здесь не место размышлять о том, из какой духовной темноты, да и просто безграмотности, возникла эта тема. Но нечто подобное обязательно должно было появиться в условиях тяжёлой болезни человеческого духа, называемой постмодернизмом. Суть её — в неприязни ко всякой твёрдой системе ценностей, в неприятии ценностного мышления вообще, в упразднении категорий истины и истинности, одним словом, в отмене вертикального измерения бытия. Всё это, помимо прочего, суть качества *homo economicus* в отличие от *homo sapiens*. Россия к этому не привыкла — тем труднее ей осваивать эти качества; оттого общество наше — при катастрофичности внешнего бытия, при политической, экономической и идейной сумятице — находится в тяжкой духовной прострации, воля его — в состоянии анемии. Так вот, там, где лестница ценностей сброшена в горизонтальное положение, появление вертикали выглядит угрозой; там, где господствуют не человеческие идеалы, а лилипутские интересы, сила духа не находит иного определения, как демонизм.

Перечитывая, вижу, что менее всего говорю о Солженицыне, — всё вокруг и вокруг. Но о том, чему определено в наше время быть примером и символом нашего национального достоинства, во что вложена цель — вселять надежду и уверенность в нашей силе и духовной неистребимости, — об этом поди найди сегодня слова, которые не были бы сотрясением воздуха...

Виктор Леонидов
ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ,
ИЛИ БИБЛИОТЕКА СОЛЖЕНИЦЫНА*

«Русская эмиграция, рассеянная жестокие колен Израилевых, в нашем советском представлении, если и тянула ещё где свой век – то тапёрами, морфинистами, кокаинистами, домиращими трупами. До войны 1941 года ни по каким признакам нельзя было представить, что русское зарубежье – это большой духовный мир, что там развивается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Франк, Лосский, что русское искусство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бенуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубокие исследования Достоевского, в ту пору у нас просто проклятого, что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что ещё жив Бунин и что-то пишет эти двадцать лет, издаются художественные журналы, ставятся спектакли, собираются съезды землячества, где звучит русская речь».

Сегодня, когда все мы ещё раз задумываемся над тем, что же значит Александр Исаевич Солженицын для страны и для каждого из нас, хотелось бы вспомнить эти слова великого писателя, которыми он открыл одну из глав «Архипелага ГУЛага» почти тридцать лет назад.

В то время как количество исследователей русской эмиграции сравнялось, наверное, с числом историков КПСС в прежние времена и мы берём с полки книги Набокова или Деникина так же легко, как раньше брали Ленина, хотелось бы ещё раз напомнить, как происходил этот процесс возвращения блистательного наследия русского изгнания, наследия тех, кто бежал от революции и Гражданской войны, и тех, кто оказался за пределами тогда ещё существовавшего СССР позднее. Для большинства из нас всё началось во времена перестройки вместе с лавиной публикаций в «Огоньке» и других смелых изданиях первых лет Горбачёва. Мы и понятия не имели, что наш великий соотечественник, живший тогда в Вермонте, уже задолго до начала последней советской

* Публикуется по: Российские вести. 1998. 16 декабря. С. 8–9.

«оттепели», считал сохранение бесценной памяти русского зарубежья одной из основ духовного возрождения будущей некоммунистической России.

«Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания и присылать их, чтобы горе наше не ушло вместе с нами бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее». Так писатель обратился к русским эмигрантам в сентябре 1977 года, вскоре после своей насильственной высылки из СССР.

Поздравляя Александра Исаевича с юбилеем, надо напомнить, что среди всего сделанного им и мощный импульс возвращения огромного пласта российской культуры – наследия: русской эмиграции. Именно он создал серию «Всероссийской мемуарной библиотеки», где увидели свет интереснейшие воспоминания представителей так называемой «первой волны». Серию эту, к слову, открыла книга воспоминаний Волкова-Муромцева, хозяина некогда принадлежавшего Александру Грибоедову имения Хмелита. Следствием обращения писателя стало создание значительного фонда рукописей мемуаров российских изгнанников, составляющих ныне гордость Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», открытой два года назад под эгидой Русского Общественного Фонда Александра Солженицына и Правительства Москвы.

Но об этом чуть позже. Вначале – о возвращении реликвий «России вне России», начавшейся сразу после 1985 года.

Фонд культуры, конечно, благодаря авторитету Дмитрия Сергеевича Лихачёва и безусловной поддержке власти, сделал очень многое. Выставки, открытие ранее запретных имён деятелей культуры и, конечно, работа по возвращению наследия русской эмиграции, так как наши соотечественники, поверив в духовное освобождение страны, решили, что настал час возвращения сбережённых ими сокровищ в Россию.

Потоком в Фонд культуры поступали картины, книги, рукописи. Их присылали в бандеролях и привозили с оказией, иногда они поступали целыми вагонами. Дарители знали, Фонд – это именно та организация, которой можно доверять. Потому что здесь ничего не могло лечь в тину новых спецхранов. А очень многие этого более чем опасались.

Перечислить всё, что было подарено Фонду культуры и передано им в другие культурные и научные центры, трудно. За все годы в Фонд поступило около ста тысяч даров, и более семидесяти тысяч были переведены в другие места хранения. Так, к примеру, один из самых известных художников-реставраторов русской Праги Евгений Климов, окончивший свой век в Канаде, передал в Фонд целую коллекцию. Работы Добужинского и великого Александра Бенуа, присланные им, дополнили со-

брания музеев Санкт-Петербурга, а вот фантастический этюд Сурикова, на котором запечатлён портрет умершей жены художника Елизаветы Шаре, остался в собрании Фонда и экспонируется на многих выставках.

Письма Петра Ильича Чайковского выдающемуся дирижёру Мариинского театра Эдуарду Направнику обогатили коллекции музея композитора в Клину, а личные вещи Бунина, подаренные знаменитой эдинбургской хранительницей архива первого русского Нобелевского лауреата, стали гордостью Музея Ивана Алексеевича в Орле.

В общем, многие реликвии, которые встречают вас в различных музеях и библиотеках, оказались там именно благодаря работе специалистов Российского фонда культуры. Это можно сказать и о знаменитом портрете Марии Волконской работы Соколова — одной из жемчужин Московского литературного музея Александра Сергеевича Пушкина, и об этюде Репина «Лев Толстой с дочерью», украшающем московский Музей Льва Николаевича на Пречистенке.

Работа эта в Фонде не прекращается ни на один день. «Российские вести» уже писали о коллекции прекрасного русского художника Сергея Петрова, с 1933 года живущего в Болгарии. Благодаря Фонду об этом замечательном мастере узнал весь мир.

Но вернёмся на несколько лет назад и посмотрим, как складывалась коллекция Российского фонда культуры, одного из самых известных в мире собраний книг и архивных документов русского зарубежья.

Лето 1992-го. Таможня в Бресте. Усатый страж границы, вылитый Верецагин из «Белого солнца пустыни», не может прийти в себя от удивления при виде вагона, набитого картинами, книгами, архивными коробками. «Надо же... Все везут из России, а вы — туда...»

Действительно, делегация Фонда везла в Москву огромный архив знаменитого исторического романиста Марка Алданова, коробки с автографами Деникина, Лифаря, Дягилева, альбомами фотографий и буклетов русского Парижа за 20–30-е годы. Картины — коллекцию семейных портретов знаменитого дворянского рода Вырубовых-Львовых. Их подарил человек удивительный — Николай Васильевич Вырубов, долгие годы бывший буквально правой рукой де Голля в среде русских. Николай Васильевич — кавалер ордена Почётного легиона и многих других наград Франции. Последний орден недавно вручил ему Жак Ширак. Картины Николай Васильевич просит передать в музей Гатчины, а целую коллекцию книг — в распоряжение Российского фонда культуры. Так же, как и архив своего родственника, пензенского писателя Владимира Лодыженского, умершего в Париже.

А архив Марка Алданова — целая отдельная история. Он был безукоризненным джентльменом и всю жизнь старался ни с кем не ссориться. Память человека этого была феноменальная — недаром он так легко путешествовал по векам и эпохам. Ему ничего не стоило, завершив роман из жизни русской знати XVIII века, перенестись в своём другом произведении в покой, к примеру, морганатической супруги Александра II княгини Юрьевской, а оттуда — на Святую Елену, последнюю обитель Наполеона. Его серией исторических романов зачитывались и зачитываются целые поколения русских и зарубежных читателей. Одно только он не принимал никогда — насилия как способа достижения своих целей.

«Желаю освобождения России. Человеку свойственно и естественно желать свободы — бытовой, политической, свободы от страха, свободы веры и мысли и уверенности в том, что его не могут в любой день ни за что ни про что посадить в тюрьму или расстрелять. Желаю человеку человеческой жизни» — так говорил Алданов в интервью в день своего семидесятилетия.

Архив писателя — корректуры, рукописи, в том числе так до конца и не изданного романа «Бред», огромная переписка. Среди его корреспондентов — Георгий Иванов и Иван Шмелёв, Борис Зайцев, конечно, Иван Алексеевич Бунин. Они были очень близки с Марком Александровичем. У обоих, кстати, было одно божество в литературе — Лев Толстой.

Этот архив, привезённый в Россию, оказался более чем востребованным. Усилиями неутомимого алдановеда Андрея Александровича Чернышёва его значительная часть была использована при подготовке собрания сочинений писателя, так же как в журнале «Октябрь» были опубликованы некоторые письма.

А вот архивные материалы совсем из иного времени — времени следствия над декабристами. Маленький листок бумаги с короткой надписью — «Ты знаешь, чей крест». И подпись — «Н».

«Н» — это Николай I, только что столь драматически вступивший на престол. А адресат — глава корпуса жандармов Алексей Орлов, брат героя войны 1812 года Михаила Орлова, одного из организаторов декабрьского выступления. Он просил за брата, и просьба эта, как известно, в конце концов без внимания не осталась. Михаил Орлов вместо каторги был сослан в своё собственное имение.

Из XIX века, через столетие, переносимся в Париж. Канун начала Второй мировой войны. Небольшая тетрадь с дневниковыми записями, оставленными чётким, упругим, как будто нарочито мужским почерком.

Только автор — женщина. Одна из законодательниц вкусов русской литературной богемы. Зинаида Николаевна Гиппиус. Она и её муж, великий писатель и мыслитель XX века Дмитрий Мережковский, всегда были в центре притяжения лучшей русской интеллектуальной элиты. Так было в Петербурге, на Литейном, так было и в Париже, на улице Полковника Бонне. И в этой тетради Гиппиус писала всё, что думала о событиях страшного 1939 года. «Варшава ещё держится, а большевики её в спину» — только одна цитата из этого дневника — поразительного свидетельства кровавой эпохи.

Или другая тетрадь. Альбом в кожаном переплёте. Для записей гостей, приходивших в дом знаменитого казачьего коллекционера Александра Ксенофонтовича Семенченкова. Имя, наверное, это уже совсем стёрлось из памяти людей. А между тем он был одним из самых известных собирателей русского Парижа. И с удовольствием показывал свои сокровища гостям. Кого только в этой книге нет. И Бунин, и Лифарь, и Дягилев. Задержимся только на одном автографе. Знаменитый чёткий почерк. 30 июня 1936 года, Марина Цветаева. И рядом другой автограф — Г.Эфрон. Это её сын, которого она, да и все окружающие, называли Муром.

Или — наброски замечательного писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. Судя по всему, здесь краткое изложение его книг, которые он предлагал для публикации в какие-то издательства. «Здесь как бы сведены в одно целое две сущности русской души: небесная и земная, здесь быт русский, уклад жизни русской показаны в преломлении чрез религиозную жизнь. На фоне праздников церковных изображается жизнь, в многообразных проявлениях русской природы завершается сложная форма русской сущности... Всевозрастная Русь дана в художественных образах, ищущая Божьей правды, совестливая, кающаяся, детски ликующая пред Святыней, радующаяся благочестию и красоте чинной, которую она чувствует в природе. Здесь дана картина живописного и ласкового до трогательности русского быта, чувствование народом Бога, душевное горение». Как он стремился сохранить старую Россию, Русь, страну малинового звона и благочестивого народа, которая, как верил писатель, была до 1917 года. Такие строки — поистине драгоценность для нас сегодняшних, пытающихся ещё раз осознать вечные вопросы — «Кто мы и откуда...».

Список всех этих архивных золотых россыпей можно продолжать ещё очень долго. Объединяет одно — они все поступили в Фонд культуры благодаря содействию известных алмазных промышленников «Фонд Оппенгеймеров» и «Де Бирс». Эти короли драгоценностей выступили в роли меценатов, закупив всё это богатство для России.

А одним из организаторов этой акции, как и вообще начала возвращения реликвий зарубежья, стала редакция журнала «Наше наследие» во главе с Владимиром Енишерловым. «Наше наследие» было создано именно как орган Фонда культуры. Многие, наверное, помнят, какое прекрасное впечатление сразу произвёл этот журнал. Это сейчас нас трудно удивить лучшими образцами полиграфического производства, а тогда он казался просто чудом. И сейчас, невзирая на все трудности и, естественно, при поддержке Фонда, продолжает выходить и каждый раз удивлять сочетанием блестящего оформления и не менее достойного содержания. Лучшие образцы отечественной и мировой культуры были представлены в этом издании.

Журнал знакомил россиян с наследием зарубежья не только на своих страницах. Редакция занималась и занимается переговорами с рядом владельцев русских реликвий и организовала уже не одно поступление в музеи и архивы страны. В качестве примера можно назвать сто писем Бунина, написанные великим писателем в берлинское издательство «Петрополис» в период подготовки своего единственного за тридцать пять лет эмиграции собрания сочинений. Сейчас они хранятся в Российском фонде культуры и уже подготовлены к публикации в журнале «Наше наследие». Или архив последнего главнокомандующего царской армией генерала Михаила Алексея. Работа эта продолжается и сейчас. Не так давно, к примеру, в издательстве журнала увидела свет ставшая знаменитой «Азбука “Мира искусства”» — альбом карикатур, начатый великим Мстиславом Добужинским в благословенном 1913 году, когда ещё никто и в страшном сне не мог представить грядущую катастрофу, а законченный им в 1943 году, когда художник с тревогой из США всматривался в грозные события Второй мировой.

И конечно, говоря о реликвиях русского зарубежья, хранящихся теперь в России благодаря Фонду, никак нельзя не вспомнить литературный архив знаменитого писателя-террориста Бориса Савинкова.

И ещё никак не обойти американского шерифа из Сан-Франциско Алексея Юрьевича Мельтева, привёзшего в Фонд культуры целую коллекцию писем Ивана Алексеевича Бунина. Отец Алексея Юрьевича, авиаинженер Юрий Викторович Мельтев, был близок к Бунину в последние годы жизни великого писателя. Бунин подписывал ему свои фотографии, а когда семья Мельтевых переехала за океан, писал письма. Их и привёз американский полицейский в дивный особняк Сергея Третьякова, мецената и московского городского главы. Ныне в этом замечательном здании находится Российский фонд культуры.

Или — о другом даре.

Недавно, в дни суриковских торжеств, на вернисаже в Фонде культуры многочисленных приглашённых буквально заворожил неизвестный этюд великого мастера. Потрясающее, как бы живое женское лицо, выписанное широкими мощными мазками, приковывало внимание. Это был этюд к картине Сурикова «Исцеление слепорождённого». Сама работа — ныне один из главных шедевров в собрании Церковно-археологического кабинета Троице-Сергиевой лавры и поэтому не столь широко известна. А вот этюд, так поразивший публику, впервые предстал перед зрителями.

Прислал его в Фонд один из самых известных искусствоведов и реставраторов русской Праги — Евгений Евгеньевич Климов, доживавший свой век в Канаде.

В дальнейшем работа сменила нескольких хозяев, но, что самое ценное, не сгорела в топке революций и Гражданской войны и даже не была национализирована. Долгое время картина находилась в собрании известного врача Ивана Ивановича Трояновского, признанного специалиста по сердечно-сосудистым болезням. Он дружил со многими художниками, в том числе с Коровиным и Серовым, на руках Трояновского умер великий Левитан. Из его семьи портрет попал в Ригу к Евгению Климову, который под конец своей жизни решил вернуть его в Россию.

Всё вышесказанное, наверное, в достаточной степени раскрывает историю появления в России сотен реликвий русской эмиграции и говорит о роли, которую сыграл в этом Фонд культуры и его дарители.

А теперь мы вернёмся на Таганскую площадь. Потому что именно там, почти напротив знаменитого театра, где проходило чествование великого писателя, несколько лет назад открылась Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». Сейчас это один из общепризнанных мировых центров по изучению российской эмиграции. Здесь же разместилось издательство «Русский путь», продолжающее серию, начатую Александром Исаевичем в Вермонте. Книжки, прежде всего сохраняющие историческую память. Серии так и называются — «Всероссийская мемуарная библиотека» и «Исследования новейшей русской истории». «Русская история стала искажаться задолго до коммунистической власти: страстная радикальная мысль в нашей стране перекашивала русское прошлое соответственно целям своей борьбы. Наша страна в её нынешнем духовном возрождении больно ощущает провал своей исторической памяти» — снова вспоминаются слова Солженицына. Здесь же, на Таганке, и книжный магазин издательства «ИМКА-Пресс», дол-

гие годы публиковавшего произведения Александра Исаевича, а сейчас во главе со своим бессменным руководителем Никитой Алексеевичем Струве, ставшим вместе с Правительством Москвы и Русским Общественным Фондом Александра Солженицына учредителем Библиотеки.

Комплектование Библиотеки осуществляется в основном меценатами. В первую очередь, конечно, самим Александром Исаевичем, подарившим более тысячи рукописных воспоминаний русских эмигрантов, поступивших к нему после его призыва писать мемуары, дабы сберечь для потомства всё пережитое. Также из богатейшего собрания писателя были подарены архивы одного из самых известных русских религиозных мыслителей Семёна Франка, секретаря Ивана Алексеевича Бунина — Льва Зурова, многие годы бывшего рядом с великим мастером слова, альбомы с вырезками из русской эмигрантской прессы, многие годы составлявшиеся Алексеем Ивановичем Калугиным.

Книжки и рукописи приходят в Библиотеку-фонд почти каждый день. К примеру, вдова брата великого «акробата танца» Сергея Лифаря — Мария Ивановна Лифарь недавно привезла уникальную коллекцию книг, включая издания с автографами гениального танцора.

И всё-таки хочется рассказать подробнее об одном из дарителей. Точнее — о сообществе людей, давно живущих в Америке, но остающихся, наверное, более русскими, чем многие наши сограждане. Речь идёт о Комитете «Книжки для России» при благотворительном американском фонде «Демократическая Россия — США». Председателем Комитета многие годы является Людмила Оболенская-Флам, в том же издательстве «Русский путь» выпустившая пронзительную книжку «Вики» — о героине французского Сопротивления, погибшей на гильотине в гестаповской тюрьме. Вместе с Людмилой Флам в этот Комитет входят и другие известные деятели культуры. Мы можем назвать и замечательного специалиста Ольгу Раевскую-Хьюз, составившую в своё время просто фантастическую по уровню подбора уникальных материалов книжку «Русский Берлин», и профессора Калифорнийского университета Галину Туник-Роснянскую, и доктора исторических наук Никиту Моравского. Все они способствовали не только передаче целых коллекций книг в Библиотеку-фонд «Русское Зарубежье», но и в другие регионы России.

О деятельности Библиотеки-фонда можно написать очень много. И о выставках, непрерывно там проходящих, и о вечерах издательства «ИМКА-Пресс», и о презентациях Библиотеки в самых отдалённых районах России, и, конечно, об уютном читальном зале, куда каждый день приходят десятки исследователей.

Недаром сквозь страхи земные,
В уже безысходной тоске,
Я сильную руку России
Держу в моей слабой руке.

Так писал один из самых известных поэтов русского зарубежья Владимир Смоленский, книги которого теперь хранятся на Таганке, в Библиотеке-фонде «Русское Зарубежье», которую все называют «Библиотекой Солженицына». «Сильная рука» России — это рука её культуры, её великого наследия, которое наконец-то возвращается к нам.

Григорий Померанц
ОДИНОЧЕСТВО ПРОРОКА*

Он не склонен к диалогу. Мы к диалогу готовы

Мой спор с Александром Исаевичем Солженицыным длится более 30 лет. И все эти годы я не переставал восхищаться характером своего оппонента. Нет, совсем не безупречным, не «идеальным», но захватывающим своей мощью. В силе есть своя красота, красота мужества. Сами недостатки Солженицына связаны с этим достоинством, вливаются в него и тонут в нём. И если спросить, что внёс и вносит Солженицын в нашу жизнь, то прежде всего — себя, свою личность. Он говорит о народе, о народности, а вносит — личность, противостоящую аморфной массе. В этом есть что-то коренное русское, восходящее к протопопу Аввакуму; но не только русское и не только уходящее в прошлое.

Мы живём в безличное время. И не только вследствие семидесяти лет подгонки советского человека под прокрустово ложе. Сейчас всюду трудно стать самим собой, хотя бы и на Западе. Может быть, на Западе чаще в особенности: там не было такой ломки и такой закалки; ломки большинства и закалки немногих. Недаром Хайдеггер писал (ещё в годы моего детства) о господстве «*там*», подлежащего неопределённо-личного предложения. Безличность правит, потому что люди не нашли самих себя, теряются среди множества путей, по которым хочется пойти, и в конце концов идут вместе с толпой таких же безличностей, как они сами.

Подобной затерянности не было в жизни родов и племён, в жизни крестьянских общин, каст и сословий. Там всё было ясно. Веер выбора невелик: походить на отца, на старшего брата, на дядю... Индивидуальные оттенки тонули в общем, и чем примитивнее племя, тем больше. Можно даже сказать, что личностью обладало племя, а отдельные люди — только оттенками личности.

Не было затерянности и в век Моцарта и Гёте, когда веер выбора расширился, но как раз настолько, что удавалось широко мыслить своё,

* Публикуется по: Век. 1998. № 48. С. 9.

личное. А сейчас веер раскрылся полностью. Не осталось никаких берегов, и река исчезла, расплылась.

Универсальная личность Леонардо или Гёте была редкостью, но редкостью возможной, достижимой (пусть немногими). И возможен был Моцарт, чудо-ребёнок, ставший самим собой без усилия, с детства. Сегодня Шнитке всю жизнь искал себя, подбирая цитаты-вехи, среди которых ему хотелось проложить след, бродил среди цитат, находил гармонию в переключке голосов прошлого и снова её терял... И не только он. Весь «модерн» мучает слушателей, читателей, зрителей, ждущих простых решений — простых картин, мелодий.

Однако требование простого решения — не всегда от неразвитости публики, от неспособности понять элиту. Жизнь не сводится к концертному залу, собирающему утончённых слушателей. Жизнь иногда ставит перед простым или — или. Невозможно действовать в сослагательном наклонении. И в час действия выдвигаются характеры, как бы вышедшие из прошлого, характеры пророков, рубивших словом, как мечом. И рядом с художником, видящим мир сразу с нескольких точек зрения, рождается художник-трибун. Сама русская жизнь создавала его.

Казалось бы, век пророков прошёл. И он действительно прошёл, но не совсем. Наступил век диалога, век переключки многих голосов (может быть, даже пророческих по силе вдохновения), — но это слишком общая истина. А в частности, в отдельно взятой стране, положение было другим. Там — то есть у нас — даже утончённые камерные поэты приобретали библейский слог («Северовосток» Волошина, «Реквием» Ахматовой). Чудовищная система, медленно, но верно пережёвывающая народы, сама создавала своих обличителей. Подавляя, унижая, запугивая сотни и тысячи, у сто первого, у тысяча первого она вызывала второе дыхание. А в миллион первом случае возникал неслыханный ступок внутренней силы. Солженицын не был единственным среди людей, выросших в своих испытаниях. «Жизнь — сапожок непарный» Тамары Петкевич — книга, напомнившая, что внутренняя сила может иметь и мягкий женственный облик. Но для цели, которую история поставила перед Солженицыным, он должен был быть именно таким, каким стал.

Споря с Солженицыным, я никогда не забывал благодарности за то, что он на весь мир усилил проклятия, рвавшиеся из миллионов уст — и заглохшие. В том числе и мои проклятия в иные тюремные и лагерные минуты. Я встречал Новый, 1953 год с тостом — трижды повторенным: «Карфаген должен быть разрушен!» Я благодарен Солженицыну, это он помог этому свершиться.

Человек, вместивший в себя все наши крики, должен был быть сосредоточен на своей цели. Он не мог думать об изменчивости форм зла. Оно всё воплотилось для него в коммунизме, всё мировое зло. И сегодня он обречён на мучительную жизнь в посткоммунистической стране, где из крови дракона выросли новые гады и зло, пританцовывая, поминутно меняет маски. Он видит торжество самой пошлой разновидности западного постмодернизма в стране, которую мысленно противопоставлял Западу, в стране, казавшейся ему островом метафизического здоровья в больном мире. Включая телевизор, я часто чувствую себя солидарным с Солженицыным. Он, впрочем, всегда был моим союзником-противником и противником-союзником: и в неприятии коммунизма, и в неприятии постмодернизма. Я иначе воспринимал и то и другое, я склонен больше внимания уделять оттенкам, искать зёрна пшеницы среди плевел. Но мысль о том, что посленовое время и его философия, постмодернизм, — итог всех человеческих поисков, мне так же чужда, как и ему. И я рад, что в нашем мире ещё живёт Солженицын.

Верный только самому себе, готовый один сопротивляться всем, он остаётся напоминанием, что мода, победившая в Париже и Нью-Йорке, не всесильна, что за сильным следует сильнейший и то, что достигло вершины могущества, близко к падению. Солженицын, к сожалению, остаётся верным себе и в нерасположенности к диалогу. Но готовы ли мы к диалогу с Солженицыным? В Швейцарии на ежегодной конференции Общества морального перевооружения (1998) мне пришлось встретиться с мусульманским фундаменталистом из Газы. Он приехал, потому что убедился в искреннем желании своих собеседников понять сопротивление ислама духу сладкой жизни. Его захватило признание европейцев, что некоторые черты современной западной культуры провоцируют мусульманский экстремизм и ограничить себя должны обе стороны, а не только одна, отсталая, во всём уступить другой, забежавшей вперёд и уверенной, что в ней завершилась история человечества. Понимание толкает к пониманию, и возможно по крайней мере согласие о правилах спора.

Мы не сделали шага к пониманию одиночества Солженицына. Публицисты, с лёгким сердцем пишущие, что вчерашний пророк просто устарел, вышел в тираж, не понимают зигзагов истории. Ибо те, кто сегодня остался позади, в прошлом, могут — через прошлое — прийти к будущему, повторяющему кое-что в своём витке. Это «кое-что» — духовные и нравственные ценности, почти потерянные в современном хаосе. Можно спорить о святых Солженицына, но бесспорно, что он исповедует святых, а не корысть и что это никогда не устаревает. В водоворо-

те всеобщего воровства зреет понимание, что ни одно общество не держится на корысти, на драке воров, вырывающих друг у друга дубинку. Что в самой экономике решают не деньги, а культура экономического поведения и что дух культуры — это живой след достойно прожитой человеческой жизни.

Жизнь Александра Солженицына — один из тех следов, которые останутся как веха, одна из вех, между которыми будут прокладывать свой след новые поколения. Я не думаю, что долгая жизнь суждена публицистике Солженицына. Но долговечен он сам, певец своей жизни, встающей перед нами со страниц «Архипелага». Сегодня мы читаем автобиографические главы как эпизод великого эпоса; завтра «Архипелаг» станет постаментом, на котором покоится личность, пробившаяся сквозь время, личность, наложившая на время свою печать. Именно в этом, а не в теоретическом споре Солженицын победил идею, что бытие определяет сознание. Его сознание определило бытие века. Это один из тех уроков, которые наше время оставляет будущим временам.

Владимир Юдин

ФЕНОМЕН СОЛЖЕНИЦЫНА*

Вряд ли я открою Америку, если скажу: писатель Александр Исаевич Солженицын — явление сложное, идейно многомерное, художественно полифоническое, не беспротиворечивое, но главное, что хотел бы подчеркнуть, — явление глубоко национальное, русское, как магнит притягивающее к себе на протяжении десятилетий полярные, часто борющиеся друг против друга общественно-политические силы. Вокруг его имени скрещивают шпаги люди самых разных взглядов, эстетических пристрастий, творческих идеалов и — вот что примечательно! — чуть ли не каждому хочется видеть Солженицына в своих рядах как некое идеологическое знамя, чуть ли не каждому хочется воскликнуть: «Солженицын — наш!»

Да, Александр Исаевич — лютей и непримиримый враг коммунистов, но, как ни парадоксально, очень многие его идеологемы — скажем, ностальгия по монархии, русской державной государственности, крепкой, сильной и независимой России — удивительным способом взаимодействуют с национально-патриотическими лозунгами нынешних коммунистов. Как и они, его злостные оппоненты, Солженицын ненавидит русофобию, решительно отвергает западные притязания на экономическую и духовную экспансию России, убежден, что у России собственный исторический путь в будущее... Недаром русские патриоты православно-монархического толка не без оснований видят в Солженицыне страстного поборника и певца самодержавия, утвердителя многовековых, исконно русских национальных традиций, нещадно порушенных в октябре 1917 года.

Космополитствующая часть российской либеральной интеллигенции, в свою очередь, поднимает на щит антибольшевистские идеи писате-

* Публикуется по: Вестник Тверского государственного университета. 1998. Декабрь. № 6. С. 3.

ля, как бы не замечая своих принципиальных расхождений с ним... Одним словом, Солженицын столь широк, столь идейно многомерен, что его «хватает» на политические программы самого пёстрого социального спектра. Припоминаю такую казусную историю. Как-то ехал в трамвае. Подошла ко мне пожилая, бедно одетая женщина и неожиданно сильным, гневным голосом воскликнула: «Владимир Александрович, вы пишете хорошие патриотические статьи в газетах. Я и мои друзья с удовольствием читаем эти ваши публикации. Но зачем вы поддерживаете предателя Солженицына?! Он же не наш! Он продался Западу!»

Не время и не место было для спора. Но как мне тогда хотелось в ответ страстно возразить: «Не торопитесь сами продавать Западу Солженицына! Давайте постараемся его понять. Ведь он наш: русский, писатель-патриот!» Если он в чём-то заблуждается, ошибается, то, как всякий живой человек, имеет право на ошибку, хотя спрос с него — писателя, претендующего на роль мыслителя, пророка, — конечно, должен быть, как и ответственность за свои слова и произведения, немалым, не то, что с простого, неизвестного человека. Это нестареющая традиция в Отечестве нашем: видеть в творческой личности, писателе фигуру куда более высокую и значимую, нежели самый высокий и значимый политический деятель. Вспомним «второго царя» в дореволюционной России, отлучённого от Церкви, но почитаемого целой плеядой радикальничавшей интеллигенции, великого Льва Толстого, или беспощадного клеймителя крепостничества, богоборца-страстотерпца Радищева, или горячего поборника «старой» веры протопопа Аввакума... Народ падал ниц перед ними уже только за то, что они много натерпелись, пострадали, переживали притеснения официальной власти. Не секрет, что многострадальцы — независимо от того, за что они, собственно, пострадали, — неизменно были и остаются «героями дня» в православной, сочувствующей России. Так было, есть и, видно, будет. Так уж мы устроены: своей боли не замечаем, а другому многотерпеливцу готовы отдать самое последнее... Велик душою и прекрасен русский человек!..

Я убеждён, что Солженицын, как и М.Шолохов, А.Блок, С.Есенин, Л.Леонов, — знаковая фигура в отечественной нравственно-философской литературе XX столетия и чрезвычайно яркая общественно-политическая звезда на небосводе российской жизни, игнорировать которую, как, впрочем, и искусственно завышать, — значит намеренно лукавить или попросту ничего не смыслить ни в жизни, ни в литературе.

Особенно высоко ценю его смелую, по-граждански мужественную, яростно-бескомпромиссную публицистику, начиная со знаменитого «Открытого письма вождям Советского Союза», откровенно антисо-

ветской художественной автобиографии «Бодался телёнок с дубом», и особенно последних лет: имею в виду его выступления (уже после возвращения на родину из долгой вынужденной эмиграции) на радио и телевидении, в которых с неумолимой беспощадностью разоблачается российская кремлёвская олигархия (кстати, Солженицын первым употребил этот точный, убийственный термин, адресовав его заевшимся обитателям кремлёвского Олимпа). Его резкие, беспощадные обличения вызвали буквально шок в «демократической среде». Нет, не такого Солженицына они ждали из Америки!.. Они надеялись увидеть и принять в свои ряды лютого русоненавистника, а приехал русский патриот, глубоко возмущённый перелицевавшейся в «демократов» партноменклатурой. Они надеялись, что писатель с пеной у рта станет восхвалять «достижения» пресловутых «реформ», а Александр Исаевич, как и прежде, когда ещё громче громил партийных бонз из КПСС, стал выводить их на чистую воду, соскабливая с них фальшивую «демократическую» позолоту.

Вот почему заинтересованные политические партии попытались сделать писателя своим знаменем. Но — напрасно! Солженицын остаётся неизменно самим собой. В отличие от многих других собратьев по творческому цеху политически не заангажирован, жёстко не привязан ни к какому политическому стану. Означает ли это, что Солженицын не имеет политического стержня? Нет, не означает. Напротив, писатель, быть может, крепче и надёжнее других идейно направлен, ибо в центр своих философских и политических исканий с самого начала поставил единственно верную цель — служить России.

«Россия — вот моя партия!» — воскликнул он однажды, когда его уже в который раз спросили, на какой политической платформе он стоит.

«Я ни с какими политическими деятелями в сегодняшней России не встречался, не имею контакта. Я из русской истории и из понимания событий получил такие взгляды — их и буду высказывать, и, возможно, многим не понравится это. <...>

Я ни к каким фракциям вообще принадлежать не буду. Политической деятельностью как таковой заниматься не буду. Я — писатель, общественные выступления — моё второе дело. Я буду общаться с простыми людьми, буду им объяснять, что мне кажется для России полезным и нужным. А кому из политических деятелей это понравится или не понравится, мне совершенно неважно»^{*}.

^{*} Цит. по: *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1997. Т. 3. С. 413–414. — *Ред.*

Я привёл слова Александра Исаевича из интервью, данного им ещё до возвращения из вынужденной эмиграции в 1993 году шведскому телевидению. Прошло пять лет. Верен ли своему слову писатель? Бесспорно. В одном лишь, вряд ли сам того желая, ошибся Солженицын: власть имущие бонзы не пожелали, чтобы он, как того страстно хотел, общался с любезным его сердцу русским народом, они просто-напросто отлучили его от России, запретили выступать перед микрофоном, да и печатать в газетах почти перестали... Будто нет в живых писателя. Вот и думай, что хуже: сидеть в концлагере советском — а по тебе плачет весь «свободный» мир, разнося душераздирающие вопли по всему свету о твоих «страданиях», или сиди себе один на кухне и возмущайся, гневись, мучайся сколько влезет: никто твоего голоса, никто твоих слёз не увидит и не услышит... Вот уж, поистине, за что боролись, на то и напоролись!..

«— За всё время, что я вернулся, а это уже третий год, я встречался со многими высшими лицами нашего государства, выступал на нескольких важных совещаниях. Как бы вы ни построили своё выступление, что бы ни говорили наверху — бесполезно. У нас демократия ещё и не начиналась. Ни одного дня демократии мы ещё не видели. Демократия — это власть народа. Это когда люди сами управляют своей судьбой. Для этого нужно местное самоуправление. У нас разогнали декоративные Советы, но не заменили их ничем. И это делается сознательно. У нас строй — олигархия. Сто — сто пятьдесят одних и тех же людей топчутся над нами на вершине. Меняются местами, меняются местами. Одни и те же, одни и те же. Они бесчувственны. У них нет ощущения, что делается со страной, с народом. Выход только один. Местное самоуправление, имеющее свои финансы. Мы должны расти снизу...»*

Констатация фактов, сделанная писателем, бесспорно, правильная, трагическая, реальная. А вот переживания, как выйти из кризиса, убедительными до конца не назовёшь... Впрочем, суть не в ответе, а в постановке судьбоносного вопроса. А как отвечать на него, как народу поступать — выберем все вместе, на общем собрании великой России. Солженицын прекрасно понимает, что любая политическая заангажированность лишает художника-творца беспристрастности и объектив-

* Запись сделана на одной из встреч А.И.Солженицына с общественностью во время его поездки по Тверской области в сентябре 1996 г. — *Ред.*

ности в оценках жизненных явлений. Потому-то он и не состоит ни в одной партии, упорно сторонится какого бы то ни было прямого участия в политическом противоборстве.

У меня создаётся впечатление, что Александр Исаевич намеренно аполитичен ещё и потому, что здраво мыслит: России не нужно такое огромное число партий и движений, ибо это вносит раскол в общественное сознание, размывает главный смысл существования национального человека — любить Россию, ведь Отечество наше состоит из десятков и сотен групп и группочек, часто непримиримых, враждебных, готовых в одночасье уничтожить друг друга. Какая польза от этого людям?.. Обществу, как никогда, нынче необходимо общественное единство и согласие во имя духовного, нравственного и экономического возрождения. Но необходимо, помимо всего прочего, ещё общенациональное согласие в государстве, подчинение лично-индивидуальных приоритетов общественным, без чего совершенно невозможно установление подлинно демократических принципов жизни. А что мы имеем сегодня?

«Когда же вы посмотрите на сегодняшних правящих российских демократов — вы не найдёте там тех, кто боролся против коммунизма. А многие коммунисты стали коммерсантами на нынешний манер, то есть поняли, что надо воровать. Откуда у нас берутся сейчас богатые? Не то что наладил сейчас производство и заработал на этом, а — ворует национальное достояние, которое считалось государственным, вдруг оказалось ничьё. И проворные хватают, продают: кто за границу, кто друг другу, а деньги себе. И чиновники, которые сидят на местах, почти все коррумпированы, причём именно сейчас буйно коррумпированы, в последние года два. Нельзя шагу сделать просто по закону — нет, дай взятку, без взятки ничего того нельзя. Такая нечестная, нечистая власть у нас всюду. В этом смысле ужасающее состояние»*.

Разумеется, Солженицын — не экономист, не социолог, нередко его идеи чужой для него сферы экономики отдают явным утопизмом, однако не секрет, даже опытные учёные мужи к ним прислушиваются, улавливая судьбинный, человеческий аспект пророчеств писателя. Не может не импонировать критический пафос публицистических выступлений Солженицына, не пасующего ни перед какими российскими авто-

* Цит. по: *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. С. 412. — *Ред.*

ритетами власти, припечатывающего к стенке любого, кто ненавидит Россию, мучает и унижает её народ.

«Ельцин... решил скорее начать. Вот и начали. Начали разрушительную реформу. Нужно было начинать с нужд людей, маленьких. А система, как она стояла, пусть пока стоит. Нужно было оживлять мелкий бизнес, маленькие сельскохозяйственные участки, мелкую частную собственность. Люди сразу получили бы еду, одежду, ремонт, обслуживание, сервис. Потом средний бизнес, и так постепенно, постепенно начала бы оживляться вся система. А они сразу всю систему разрушили и объявили свободные цены — это при монопольных производителях! Гайдар совершенно безголово вёл реформу. Его хвалили как гения, а он даже жизни не понимает. Со слепыми глазами пошёл. А Международный валютный фонд его в этом подталкивал всё время, на это и направлял, они всё по Латинской Америке судили, но там — частный бизнес был, у нас не было, такого опыта вообще ещё не было, и Международный фонд не знал, что именно делать, а советы и директивы давал. Гайдар польстился, что нам потом когда-то в долг дадут 24 миллиарда долларов, а тем временем создается такое положение в стране, что у нас разворовывают на сто миллиардов в год, воруют — и всё»*.

Я охотно верю в искренность горестных умозаключений Солженицына, взывающего к совести российских горе-реформаторов, журащего МВФ, словно он, как нашкодивший школьник, пошалил, поозорничал, а взаправду якобы хотел блага для России: МВФ «не знал, что именно делать...» Ох, Александр Исаевич, свежо предание, да верится с трудом!.. Хотел бы я верить в порядочность МВФ, да факты не дают. Не «ошибка» это и не «просчёт», как раз напротив, всё было донельзя учтено, всё хорошо продумано яркими русоненавистниками, а потому и разыграли циничный фарс с пресловутыми «реформами», чтобы загнать в гроб Россию...

...Как русскому писателю, гражданину-патриоту, Солженицыну безмерно дорого российское национальное достояние, дороги наши исторические, духовные и культурные традиции, овеянные благородным православно-христианским светочем, он отвергает призывы доморощенных западников «вернуть Россию в мировую цивилизацию» и потому убеждён, ни за какие коврижки не продаст душу дьяволу, как того давно хочется недоброжелателям России.

* Цит. по: *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. С. 413. — *Ред.*

На вопрос о том, какие стороны дикого капитализма видны сегодня в России, писатель с великой горечью воскликнул:

«Самые отвратительные. Такие отвратительные, каких и на Западе не было, потому что на Западе всё-таки не с того начинали, что национальное достояние можно грабить сколько хочешь.

И преступность, и коррупция.

Ужасно. Это результат того, что 70 лет уничтожали по возможности всё честное и умное в народе.

А ваш ответ на всё это — начинать на самом низшем уровне?

На самом низшем. И вообще всё строить снизу, не декретами из Москвы: указ такой-то, указ такой-то. Надо строить... «демократию малых пространств». И от неё постепенно расти кверху»*.

Какой же идеал общественного Гражданина предлагает нам Солженицын?

Для Л.Толстого, как мы знаем, это был Платон Каратаев — глубоко мирный труженик-созидатель, верующий человек, гармоничный, сладостно погруженный в обитель святой христианской веры, повседневного труда и естественных житейских забот. Л.Толстой воссоздал образ, на который стремился и сам походить. А у Солженицына? Не такой ли идеал спокойного многотерпеливца, поборника чести и достоинства?.. Думаю, так оно и есть. Безумие и кровавые оргии радикал-экстремистов большевиков, стремившихся в одночасье перестроить общественный организм по своим меркам, напроць писатель отвергает, как, впрочем, отвергает и «демократов» образца 90-х годов нашего века, ибо это те же, собственно, большевики «наоборот», рассматривающие Россию ни много ни мало как «вязанку хвороста в костре мировой революции» (Троцкий), широковещательно продекларировавшие в 1917 году: «Весь мир насилья мы разрушим...», но положившие в основу своей уничтожающей идеологической религии именно насилие, унижение и уничтожение несчастного народа.

Сегодня, когда идеологические страсти вокруг писателя приутихли, поулеглись, настаёт время осмысления его феномена именно с этих эстетических позиций, наиболее продуктивных, оптимально отвечающих его философской и морально-этической устремлённости.

* Цит. по: *Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 3. С. 414–415. — *Ред.*

Солженицын — феномен русской национальной культуры. При всех сложностях и противоречиях (у кого из могикан художественного творчества их не было?!) его гуманистических исканий, подчас взаимоисключающих и даже парадоксальных поступков и заявлений, он был и остаётся писателем-правдоискателем, служащим России честно, бесстрашно, целеустремлённо, самозабвенно, не за страх, а за совесть. «Жить не по лжи!» — это не только нравственный принцип творца, но корневая суть его идейного, социального и эстетического облика.

Павел Лаврёнов

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

*Доклад сделан на Солженицынских чтениях в редакции журнала
«Москва» 22 марта 2000 года*

В творчестве А.И.Солженицына не существует «проходных» мелочей ни для самого автора, ни для произведений, которые он создал и продолжает создавать. Всякое слово значимо, всякий сюжет нагружен смыслом, авторские знаки препинания продуманны и обоснованны. Даже ритмика повествования несёт смысловую нагрузку.

Жизнь героев в произведениях, их действие продолжается в разных временных отрезках, от одного мгновения в крохотках «Утро», «Завеса» до месяцев, лет, десятилетий в рассказах, повести «Раковый корпус», романе «В круге первом», военно-исторической эпопее «Красное Колесо», опыте художественного исследования «Архипелаг ГУЛаг».

Такое внимание к **Времени** в произведениях обусловлено и замыслом, и жизненной позицией самого автора. Поэтому, прежде чем говорить о собственно образе **Времени**, обратимся к пониманию самим Александром Исаевичем Солженицыным этой физической величины.

После чудесного излечения от смертельного недуга писатель уверился в том, что его жизнь не принадлежит ему в полной мере, а все последующие годы дарованы ему для реализации главного жизненного плана: написания истории лагерей и истории революции. Это осознание дарованного **Времени** является наивысшей точкой начала самореализации писателя. Оговоримся, это не значит, что прежние годы жизни А.И.Солженицын не использовал эффективно, нет, но теперь, после исцеления, ответственность писателя возросла многократно. Он ответственен теперь не только за себя, но и за всех, кто не успел, не смог докричать, дохрипеть. И выполнить главный труд жизни — вернуть России правду о её истории (война 1914 года и революционные события).

Свою жизнь писатель организывает так, чтобы не пропала ни одна минута, каждый день максимально полно насыщает работой. Достаточно помянуть описание его рязанского периода в очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом»: утром — уроки в школе, остальные часы — писательский труд. В этом труде А.И.Солженицын выкладывает настолько, что исключает полностью праздное времяпровождение. И ограничивает контакты с друзьями, надеясь на их понимание, а где-то и жертвуя отношениями, чтобы только успеть выполнить возложенную на него задачу.

Надо сказать, опыт в формировании временного потока у писателя очень богатый. Ещё в студенческие годы А.И. намечал жизненную программу и неукоснительно следовал ей, жадно и много учился (учёба в двух вузах), читал, размышлял, начинал делать наброски в школе к книге о революции. Стремление вместить как можно больше в единицу **Времени** подробно показано во всех книгах писателя, начиная с первых произведений: «Люби революцию» (неоконченная повесть). Находясь в заключении, А.И. и там организывает своё **Время**: пишет и заучивает комедию «Пир победителей», трагедию «Пленники», узловатую поэму «Дороженька», стихотворения. Постоянный труд души, мозга в нечеловеческих условиях каторги. И если взять всё созданное писателем, становится очевидным: жизненная программа его реализуется с точностью до мгновений, о которых поминается в крохотках.

Динамичность жизненного пути писателя находит безусловное своё выражение и отражение в способе действий и ощущений его героев. Рассмотрим это в вышеназванных крохотках чуть подробнее.

Говоря об утреннем пробуждении в миниатюре «Утро», автор устами своего лирического героя передаёт благостность мгновений **Времени**: «Как думается в эти минуты!.. Замираешь. Будто в тебе вот-вот тронется в рост нечто, какого ты в себе не изведывал, не подозревал... Благодарны эти миги!» Лирический герой очень чуток к току времени. Ловит мгновения его. Именно время утра наполняет его благостным состоянием. И мысль глубокая и ясная хранит эти мгновения, длит их. Но стоит лишь шевельнуться чему-либо недостойному — мелкой мысли, как благодать исчезает, утекают мгновения, и не ощутить их во всей полноте. И писатель, понимая и ежечасно ощущая бег **Времени**, не даёт пропасть ни одному мгновению, стремится зафиксировать его в слове, передать ощущение драгоценности мгновения читателю.

Аналогичные мысли и ощущения у лирического героя и в миниатюре «Завеса». Здесь чувство мгновений обострено до предела, т.к.

связано с пониманием возможного неожиданного обрыва жизни: «...в острой стадии сердечная болезнь — как сиденье в камере смертников. Каждый вечер ждёшь, не шуршат ли шаги? это за мной?» Мгновения становятся пронзительными, осязательными — герой чувствует дыхание **Времени** (оказывается на грани **Времени** и **Вневременного**), и оно сливается с его дыханием. Герой на мгновение становится вневременным, он, как частица мироздания, поглощается Вечностью, делается частью её. И не менее остро переживается отсрочка конца земного пути: «Зато каждое утро — какое благо! какое облегчение: вот ещё один полный день даровал мне Господь». — Вновь осязаемость героем и через него нами дыхания **Времени**, но теперь земного. Дыхание героя сливается, перемешивается с дыханием дня. И понимание безмерной ценности мгновений находит выражение в простой напоминательной фразе: «Сколько, сколько можно прожить и сделать за один-единственный только день!»

В повести «Раковый корпус» **Время** меняется и имеет разные формы выражения. К одним, как, например, к Русанову, Шулубину, Вадиму Зацерко, Чалому, Ахмаджану, Ефрему Поддуюеву, оно распорядительно и безжалостно. Временит с Сибгатовым, Донцовой, Мурсалимовым, Егенбердыевым, Дёмой. Внимательно к Костоплотову. Добродетельно к Веге.

Безжалостным **Время** становится, если человек не ценит его, употребляет не по назначению, точнее, живёт не в согласии с собой и вечными законами Добра, Справедливости, Милосердия. Оно начинает распорядиться человеком по своему усмотрению и как того заслужил он. Участь Русанова и всех персонажей этого ряда страшна. Муки его начались даже не с момента попадания в больницу, а позже, во время бредового сна, как он ползёт, преследуемый своими жертвами. И спасения от мучений для него непредусмотрено. Он растратил **Время**, употребил его на создание атмосферы страха, на воспроизводство системы подавления человека.

Не осталось **Времени** и Шулубину. Философ по складу ума, гуманист по сути, сострадательный душой к происходящему вокруг него, Шулубин не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать обезчеловечиванию своего народа. Известно, кому много даётся, с того и много спросится. А Шулубин наделён всеми необходимыми качествами, чтобы отстаивать идеи гуманизма, которые он проговаривает перед лицом смертельного недуга. Но, увы, отпущенное ему **Время** кончилось, и он остался один на один с собой. Может ли быть что страшнее такой участи? — Знать — и не сказать! Мочь — и не сделать! И всё-таки Шулубин

счастливее Русанова и всех персонажей этой группы. Он в конце концов проговаривает вслух выстраданное им за годы молчаливого бездействия: «Явить миру такое общество, в котором все отношения, основания и законы будут вытекать из нравственности — и только из неё!» И ещё: «А иногда я так ясно чувствую: что-то во мне — это не всё я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа». В этом — осознание **упущенного Времени**. В этом — освобождение. Такого осколочка лишены, к сожалению, Русанов и остальные близкие ему герои.

Всех страдательней среди героев шулубинской группы Вадим Зацерко. Он лишён **Времени** вовсе. У него есть программа последних дней жизни, но, будучи внутренне не наполненным, как Шулубин, он быстро истаивает душевно. И от него остаётся оболочка. Он пребывает в безвременье. Трагизм подчёркивается тем, что это человек искренний, с чистыми помыслами, честный, хотящий и стремящийся «принести пользу человечеству». А человечеству нужно не его научное открытие, а открытие в самом себе, самого себя для самого себя же и его близких. Окружающий мир нуждается в духовности, живой душе, чтобы ток **Времени мироздания** не потерпел и в едином человеке пустоты, незаполненности. Имея просвещённый интеллект, Вадим не просвещён духовно. В этом, безусловно, вина Шулубина, он не передал молодым людям частицу «осколочка Мирового Духа», того самого «неистребимого, высокого очень», которое лишило его покоя перед лицом испытания.

В противоположность Шулубину герой второй группы Олег Костоглотов далеко не милосерден и даже безжалостен к некоторым однопалатникам. (Всем своим поведением издевается над Русановым. Скептически и насмешлив к Зацерко, равнодушен к Поддуюеву). И это перед лицом смерти! И это в непрерывном физическом страдании! Что можно делить и доказывать, когда **Время** каждого по дню, часу, минуте неумолимо истаивает? Костоглотов — доказывает, делит. И Русанов делит и доказывает. Но Русанов доказывает своё начальническое право делить очередь читать газету, а Костоглотов доказывает достоинство человеческое, личности. Русанов тщится по внутренней слепоте. Костоглотов — прозревший, «протеревший глаза». То немногое, что осталось от его **Времени**, Олег употребляет на расправку плеч, укрепление самого себя как свободного Человека. Это ему удаётся, и его **Время** в повести не заканчивается. Костоглотов внимателен ко **Времени** (при переливании крови как хороший знак выделяет дату смерти Сталина), и оно не покидает его. Важно то, что в обретении **Времени** Олегу помогает Вера Кор-

нильевна Гангарт, перестрадавшая, как и Костоглотов, в унижениях, но живущая в согласии с собой. Вера органично включена в ток **Времени** и стремится помочь сделать то же Олегу Костоглотову и всем обитателям «ракового корпуса».

Очень своеобразно ведёт себя **Время** в военно-исторической эпопее «Красное Колесо». При описании разнузданной революционной толпы **Время** сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, тем быстрее несётся **Время**. Оно *убегает*, как живое стремится спастись от бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада жизни России, её граждан. И это ему удаётся. **Время** в разворощённой России исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту **Безвременья**. Прервалась живая связь поколений, оборваны узы родства, не передаётся от старших к младшим житейский опыт, рухнула тысячелетняя культура. Закономерно, что в такие моменты истории победители стремятся не только изменить ход развития событий, но и овладеть убегающим временем, подчинить его себе. Тому пример — переименование месяцев французскими революционерами, установление большевиками новых праздничных «дат календаря», смещение даты наступления Нового года, смещение декретом советской власти полудня с двенадцати часов на час, о чём говорит кавторанг Буйновский в рассказе «Один день Ивана Денисовича». А если возьмём «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя, то исследование персонажей, стремящихся подчинить себе время, может быть уже не литературоведческим, а медицинским. И совсем трагический пример из наших дней: установление нового летосчисления в Северной Корее. Результат таких экспериментов приводит к выпадению из мирового хода истории целого народа, страны, т.е. попаданию в провал временного потока.

Знакомясь с эпосами народов, мы удивимся мифотворчеству древних, их вере, по нашему мнению наивной, в сказочных животных, великанов, карликов. На самом деле происходившие события тех веков были настолько значимыми и потрясающими для людей, истории, что иначе рассказать, как рассказано, — нельзя. Мы же назвали этот способ передачи исторических событий мифотворчеством. То, что произошло в России, — тоже миф, и наступившее после 1917 года **Безвременье** — мифологично. Так, по крайней мере, должно воспри-

ниматься спустя столетия происшедшее с нами, потому что слишком трудно будет поверить в правдивость происшедшего. Как, например, поверить в существование невысокого картавого человечка, хозяином сидевшего в Кремле? Или бессмысленное уничтожение миллионов крестьян, т.е. работников, кормивших страну и этого же человечка? А если при передаче февральских, октябрьских событий использовать слог былины или средневекового европейского эпоса, то будем иметь полноценный миф нашей современной истории. Чтобы избежать «подозрений» потомков в мифотворчестве, А.И.Солженицын использовал включение документов в художественную ткань эпопеи «Красное Колесо».

Убегая от революционной толпы, **Время** ведёт себя естественно и свободно в ставке Верховного главнокомандующего императора Николая II. Пока здесь ведётся работа по управлению войсками, страной. С первыми донесениями о волнениях в Петрограде, с телеграммами от царствующей супруги **Время** в Ставке начинает деформироваться, в нём появляется ущербность. Это связано с неправильными действиями императора и его ближнего окружения. Решение покинуть Ставку и осуществление рискованной, ненужной поездки к семье приводит к потере императором **Времени**. Он тоже попадает в провал революционных событий, в **Безвременье**. Такого трагизма мы не найдём даже в описании уничтожения армии Самсонова. Там гибель людей и командующего армией в высшей степени драматичны, но погибшие воины остаются во **Времени**, и **Время** не покидает их. В ситуации с императором иначе: он нарушил неправильными поступками общественно-гражданский баланс в государстве и тем самым нарушил **Время**. Царь Всея Руси добровольно уехал от своего войска, бросил управление фронтом и страной и попал в капкан **Безвременья**. А вслед за ним и вся страна повторила трагический путь.

Смысловая пара **Время — Безвременье** в «Красном Колесе» помогает полнее осмыслить Первую мировую войну, предшествующие ей события, Февральскую революцию и конкретных персонажей эпопеи.

Надо сказать, далеко не всех героев произведения покидает **Время**. С Лаженицыным, Харитоновым, Воротынцевым, Первушиным, Крымовым, Благодарёвым, Чернегой, Качкиным, Варсонофьевым, Столыпиным и многими другими оно остаётся в самые сложные периоды событий. В связи с этим возникает и такой ещё смысл: *если внутренний миф человека организован и созидателен, то ни при каких обстоятельствах его не покинет **Время**, оно поможет выстоять и выжить. Если же душа*

*оставила, покинула человека, то он, неся в себе пустоту, пребывает в **Безвременье** — Курлов, все террористы с Богровым, Ленартович, Парвус, Ульянов-Ленин и др.*

Время — Безвременье прослеживается и в приводимых документальных свидетельствах. Переписка императора с супругой, отражение государственной жизни в газетных статьях или приказах по фронту — насыщены **Временем**. А в заметках рекламного свойства, никчёмных газетных статейках — пустоты, в них **Времени** нет, потому что они не выражают и не отражают спасительные потребности общества, людей. Не несут в себе созидательной информативности, тревоги за состояние жизни страны. Прямое подтверждение этому — выход оппозиционных газет с пустыми местами на страницах.

Символично и многопланово значение экранных вставок в эпопее:

образ разламывающейся России;
распад Вселенной в огненном пожаре;
бесовские потешки на фоне надвигающейся катастрофы;
иносказательное изображение потусторонних сил;
закат эры милосердия в России;
распад **Времени**.

И лазаретная линейка — во весь дух!
и вдруг — колесо от неё отскочило! отскочило на ходу —
и само! обгоняя! покатило вперёд!
колесо!! всё больше почему-то делается,
Оно всё больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО! — катится, озарённое пожаром!
самостийное!
неудержимое!
всё давящее!

Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!!
пушечные выстрелы!!
Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!

.....
Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки,
и вот оно уже на издохе. Свалилось.

Кончился бег **Времени**, иссяк источник созидательного движения в российской истории.

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» весьма показателен в плане трактовки образа **Времени**. Персонажи в рассказе не имеют времени, оно заменено на **Срока**. Это естественное продолжение **Безвременья**, его порождение или трансформация. Интересна этимология слова: по М.Фасмеру, слово «**срок**» происходит от древнерусского «**рок**», одно из значений которого — «**судьба**». Получается, что, изгнав **Время**, участники революционных событий определили, тем самым, себе и всем остальным **Судьбу**, будущее, которое стало измеряться **Сроком**. И, как результат, страна, народ преследуемы **Роком** — в уже современном, привычном нам понимании.

Таким образом, в рассказе появляется смысловая пара **Время — Срок**.

На отсутствие в лагерном заключении **Времени** указывает и фраза: «...заклѳенным часов не положено, время за них знает начальство». Безусловно, смысл здесь двусмысленный. На поверхности — информативность: во всѳм лагере отсутствуют часы, т.к. «часов не положено» внутренним распорядком. Но подтекст, глубинный смысловой пласт — это пребывание людей в состоянии **речѳнного будущего**, которое называется **Сроком заключения**.

Понятие **Срок**, как замена естественно-исторического времени, становится привычным в обиходе заклѳенных: «...вот он-де срок кончат...», «срока ему не дожить», «таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три».

Отсутствие в лагере **Времени** проявляется и во внешних формах. Отсѳетом **Срока** служит удар о рельс, звонок развода, голос бригадира, гудок энергопоезда.

И всѳе-таки хронос, **Время** присутствует в рассказе. Оно покинуло далеко не всех заклѳенных. Так, Иван Денисович не просто пребывает, живѳт во времени, но и хранит его, организует его. Деятельный внутренний мир крестьянина сохранился и в лагере, разве что стал потаѳнным, «нутрянным». Через своѳ внутреннее укрепление Шухов бережѳт, хранит **Время**, и оно начинает противодействовать **Сроку**, навязанного внешними враждебными силами. А через обретение времени крестьянин ещѳ больше рассвобождается внутренне. Из всего рассказа Шухов, пожалуй, один смотрит на небесные светила. Неподвластные людским **Срокам**, звѳзды, пусть и засветлѳнные лагерными прожекторами, всѳ же присутствуют на небе до конца своего времени — пока не наступит день. И солнце в зените в своѳе время — в двенадцать часов, а не в час, как это определила декретом советская власть. И месяц. При помощи неба

идѳт постоянная сверка мирового хода **Времени** и внутреннего мира героя. В Шухове, Тюрине, Клевшине, Алѳше **Время** начинает противостоять **Сроку**. Время идѳт против Срока.

М.Фасмер в своѳм словаре, анализируя слово «срок», связывает его с праславянской основой «реку, речь», т.е. «говорить, произносить».

Опора на этимологию помогает открыть ещѳ более глубокий смысл рассказа и всего творчества А.И.Солженицына: *в зависимости от состояния внутреннего мира человек обладает или не обладает временем как жизненно необходимой составляющей естественного течения жизни независимо от внешних еѳ условий. Сохраняя свою душу, внутренний мир, человек сам речѳт себе своѳе будущее. Или, напротив, определяет лишь срок своего существования. А свободу внешнюю обращает в несвободу. Лишая себя времени, человек лишает себя всех свобод. И, не имея свободы внешней, но имея свободной душу, выступает хранителем времени, связывая собой историю рода, страны.*

Важно сказать, что **Временем** наделѳн каждый герой в рассказе или почти каждый. Особенно это проявлено в описании заклѳенных: «...до развода было часа полтора времени своего, не казѳнного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать... Не считая сна, лагерник живѳт для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином... Была та минута короткая, разморчивая, когда уже всѳ оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода... А миг — наш!.. Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду... Вот он, миг короткий, для которого и живѳт зѳк». То есть изначально **Время** не покидает ни одного угнетѳнного. Оно милосердно ко всем, в равной степени распространяется на каждого зѳка. А дальше, в процессе самопроявления, действовании каждого героя в отдельности и происходит разделение на тех, для кого оно есть, и тех, кто «тянет» **Срок**. Например, Шухов, Тюрин, Клевшин, помбригадира Павло, старик Ю-81, каторжанин X-123, мальчик Гопчик и другие живут каждый своим внутренним миром, но объединены во **Времени**. Фетюков, десятник Дѳр, Хромой имеют лишь **Срока**. К этой группе следует отнести и надзирателей Татарина, Волкового.

Следует заметить, надзиратели, их помощники уголовники знают и чувствуют неполное себе подчинение зѳков. И чтобы сломить, подмять заклѳенных, изобретают способы внешнего контроля. Это и изъятие нательного белья, непрерывные обыски, пересчѳты на поверках, придирки и наказания. А осуществляется это вторжение во время, которое принадлежит зѳкам. Например, перед вечерней поверкой: «Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам». Это они: надзиратели, их помощники уголовники прежде всего поте-

ряны во **Времени**. Это у них **Срок**. И они ищут Время, чтобы изъять его у заключённых, лишить даже мгновений **Времени**. Подавление через арест, приговор оказывается безрезультатным. Человек с навешенным **Сроком** всё равно сохраняет в себе хронос как выражение внутренней свободы.

При всей оптимистичности трактовки пары **Время — Срок** всё же драматический, трагедийный накал произведений постоянно возвращает к мысли о миллионах погибших прежде своего времени. Волею власти людские жизни втиснуты в **Срока**, и не у всех достало сил вынести их.

У Шухова «таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три».

Андрей Zubov

МЕЖДУ ОТЧАЯНИЕМ И НАДЕЖДОЙ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА 1990-Х ГОДОВ*

Выступление на конференции

*«Александр Солженицын – Архипелаг жизни и смерти».
Пенне. Италия. 24–25 ноября 2000 года*

Немного мыслителей с такой ясностью и горячностью, как Солженицын, в 1970-е — начале 1980-х годов предупреждали мир о метафизической опасности коммунизма и обличали западное общественное мнение за соглашательство, за капитуляцию перед этим вселенским злом. В 1982 году писатель предупреждает о возможном союзе СССР и Китая — и «тогда у них дело пойдёт ещё куда поворотистей»¹.

Главная задача в то, первое десятилетие изгнания — объяснить Западу, что такое коммунизм и объяснить своему народу, что такое Россия, которую он предал, отдавшись «красному дракону с именами богохульными».

Солженицын не является одним из тех, кто предсказал крах коммунизма и нарисовал сценарий его гибели в России. Впрочем, таких людей и вообще было крайне мало. Даже те, кто, как Елена Каррер д'Анкосс, считаются пророками гибели советского тоталитаризма, в действительности предложили совершенно не сбывшиеся сценарии (Е.Каррер д'Анкосс, например, усматривала в 1982 году причину грядущего краха СССР в мусульманском возрождении Средней Азии и Кавказа).

Но Солженицын и не настаивал на том, что коммунизм — на века, как думали очень многие, способные ещё думать и в России, и в некоммунистическом мире. В одном из своих выступлений вермонтского периода он сравнивает коммунизм с тенью от солнечного затмения. Ныне она лежит на России и Китае, потом, может быть, скользнёт по Западной Европе и Америке, а потом и вовсе уйдёт, оставив разорённую землю и отравленные ядом безбожной лжи души².

Впрочем, многократно за эти годы он, поверх всех политических соображений и не сообразуясь со здравым смыслом, а следуя только своей художественной интуиции (или дару сверхразумного прозрения), говорил, что почти уверен, что ещё вернётся в Россию. И не книгами, как

* Публикуется по: Посев. 2000. № 12. С. 13–16.

надеялся когда-то Георгий Иванов, но физически. В мае 1983 года он объяснял Малкольму Магэриджу:

«Знаете, странным образом, я не только надеюсь, я внутренне в этом убеждён. Я просто живу в этом ощущении: что обязательно я вернусь при жизни... Это противоречит всяким разумным рассуждениям, я не могу сказать: по каким таким объективным причинам это может быть, раз я уже не молодой человек. Но ведь и часто история идёт до такой степени неожиданно, что мы самых простых вещей не можем предвидеть»³.

И история пошла «неожиданно». С 1987 года Солженицын уже всецело захвачен происходящими в России событиями. Отрываясь от любимой работы над «Узлами» русской истории, а вернее, перегоняя их многотомье в концентрат почти служебной записки, он трудится над эссе «Как нам обустроить Россию?». В лесной глуши Кавендиша писатель удивительно точно воспроизводит в себе атмосферу тогдашней перестроечной России. Надежда на освобождение, бескорыстное желание послужить распрямляющему спину Отечеству и страх — а вдруг за поворотом, во мгле, на расстоянии вытянутой руки бетонный забор и дальше не пустят — мы все так привыкли жить перед глухой бетонной стеной. Все эти чувства Солженицын разделял с пробуждающейся Россией. Разве что страха было меньше, взгляд яснее и надежды оттого больше были отравлены полынной горечью.

Мы тогда не видели себя, не чуяли — какие мы после 70 лет большевизма. Думали, что мы так себе, люди, как все. А он и видел некачественность «человеческого материала» перестройки, и понимал причины этой некачественности.

«...коммунизм 70 лет проедал наше тело. Это значит, старшему поколению он въелся в голову... Освобождение от коммунизма гораздо мучительнее будет для России, чем освобождение от нацизма для Германии. В Германии нацизм был всего 12 лет, и после него была проведена денацификация. У нас — 70 лет, и никакой декоммунизации ещё не начиналось»⁴.

«...ещё вся Россия заставлена памятниками Ленину, и весь язык засорён коммунистическими названиями»⁵,

— объяснял писатель 7 октября 1993 года в интервью мюнхенскому журналу «Фокус».

Трудность освобождения от коммунизма и причина нашей крайней «изглоданности» им даже не в семи десятилетиях репрессивного режима и не в его крайней жестокости, а в том, что мы, люди России, *добровольно сочетались с ним*.

«Если коммунизм укрепился в России... — то, значит, нашлось достаточно охотников из народа этой страны проводить его палаческие жестокости, а остальной народ — не сумел сопротивиться. И виноваты — в с е, кроме тех, кто погиб, сопротивляясь»⁶,

— напишет он ещё в январе 1982 года.

«Надо перестать попугайски повторять: «мы гордимся, что мы русские», «мы гордимся своей необъятной родиной», «мы гордимся...». Надо понять, что по с л е всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года... и с тех пор мы — до жалкости не прежние, и уже нельзя в наших планах на будущее заноситься: как бы восстановить государственную мощь и внешнее величие прежней России. Наши деды и отцы, «втыкая штык в землю» во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, — уже тогда *сделали выбор* за нас — пока на одно столетие, а то, смотри, и на два»⁷.

Приходится признать: весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорщце»⁸.

Избавление от вины перед Богом (а перед кем ещё можем мы быть виноваты, кроме как перед Богом и перед теми, кто «погиб сопротивляясь»?) возможно единственно через изменение ума, через возненавиденье своего прошлого, сочетавшего нас со злом, изломавшего нам жизнь. Но именно этого-то и не произошло и не происходит.

«Западную Германию наполнило облако раскаяния — прежде, чем там наступил экономический расцвет. У нас — и не начали раскаиваться. У нас надо всею гласностью нависают гирляндами — прежние тяжёлые жирные гроздья лжи. А мы их — как будто не замечаем.

Криво ж будет наше развитие»⁹.

Солженицын видит нераскаянность народного сердца и всё же надеется в 1990 году на «обустройство России». Именно надежда заставляет его прорабатывать вопросы, которые больше пристали бы не писателю, а политологу: состав государства, формы территориального единства, тип организации власти, соотношение бюрократии и самоуправления. Как и все, Солженицын захвачен в то время «национальным вопросом». Незыблемый, казалось, монолит СССР раскалывался на части, на национальные государства. Уже вовсю полыхали войны на Кавказе, отделялась Прибалтика. И в отличие от большинства из нас и, честно признаюсь, в резком несогласии со мной, продумывавшим модель переустройства СССР на действительно федеративных и парламентских началах, Солженицын советует и не держаться за распадающееся государство. Союз Великороссии в границах РСФСР, Украины, Белоруссии и Казахстана — вот границы его будущего Русского Союза. Бремя империи, полагает писатель, Россия более не может нести и должна сбросить ради восстановления обескровленного русского народа и единокровных с ним народов восточнославянских.

Другой ясно выраженной идеей Солженицына в «обустройстве России» является идея земства, тогда тоже плохо расслышанная среди неумолкающих славословий представительной демократии западного типа. Солженицын предупреждает, что без земского самоуправления, т.е. без избрания самим обществом, миром своей распорядительной власти, нам не построить прочного государства.

«...при полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни — она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться *снизу*, а не просто возглашаться громко и стремительно *сверху*, сразу во всём объёме и шири»¹⁰.

Солженицын предлагает схему: государственная исполнительная власть постепенно подменяется земским самоуправлением, приближаясь к человеку, а самоуправление, переходя на высшие уровни — губернии, региона, всей страны, — передаёт часть своих прав бюрократии. Главным средством политического воспитания является избрание тех, кого избиратель хорошо знает. Поэтому выборы не должны быть прямыми. В волости выбирают всем миром, а в уезд и губернию избирают уже депутаты низших уровней местного самоуправления. Система, которая сложится в результате реализации этих принципов, именуется Солженицыным «государственно-земским строем».

Тогда всё это казалось нам, политологам, таким сложным, архаичным и надуманным. Но десятилетний опыт нашей, с позволения сказать, демократии подтвердил правоту Солженицына. Без самоуправления парламентаризм превращается в карикатуру и сплошное лукавство. Сейчас политическая модель Солженицына в своих главных чертах выглядит очень убедительным средством врачевания и организации русского общества. Хотя с искусственными новыми границами России я бы и сейчас не согласился. На мой взгляд, более верен иной принцип — те части бывшей России, Российской империи, если угодно, население которых демократическим волеизъявлением выразит своё желание быть вместе с русским народом в Российском государстве, не могут быть не приняты, исходя из соображений этнической или исповедной несходности. На мой взгляд, Александр Исаевич не ощущает вполне ту глубину общности, которая, поверх всех естественных разделений крови и веры, сложилась в народах исторической России за века общей судьбы. Но процесс воссоединения обязательно должен быть естественным и свободным, не аншлюсом Австрии 1938 года, но объединением Германии 1990-го.

Своим политическим идеям, высказанным в «Как нам обустроить Россию?», Солженицын остаётся верен и по сей день. Они с решительностью повторены и в «Русском вопросе» к концу XX века» (1994), и в последней, по его собственному обещанию (дай Бог, не сдержал бы), работе политической направленности «Россия в обвале» (1998), и в последующих выступлениях и интервью.

Но одновременно с этими старыми (но совсем неустаревшими, а всё более актуальными) политическими моделями в публицистике Солженицына всё громче звучит новая нота. Писатель предвидел, но и он не мог предположить масштаб безнравственности и хищничества дорвавшихся до власти новых правителей России, «захвативших и звание “новых русских”».

Когда большинство из нас ещё с восторгом взирали на нарождающуюся российскую демократию, ещё наслаждались информационной свободой, отсутствием цензуры, раскрепощением Церкви, открытостью границ с внешним миром, прощая власти невнятность программ и финансовую нечистоплотность (что поделаешь, мол, переходный период), Солженицын уже вовсю обличал сложившуюся в годы президентства Ельцина систему приватизации государства, ненасытного и бесстыдного личного обогащения за счёт разворовывания национальных богатств России. «Говорят, нет денег. Да, у государства, допускающего разворовку национального имущества и не способного взять деньги с грабителей, нет денег!» — говорил писатель 28 октября 1994 года, выступая в Государственной Думе.

Ложа правительства была пуста во время этого выступления. Депутаты «правящей партии» «Выбор России» его проигнорировали и голосовали против приглашения писателя в Думу. Егор Гайдар вошёл в зал, когда Солженицын уже полчаса как был на думской трибуне. «Стыд не дым — глаза не выест». Но слова Солженицына ели сердца даже давно окаменевшие. Смотреть в глаза писателю, испившему до дна чашу страданий в борьбе за душу России, было невыносимо трудно тем, кто из «коммунистической номенклатуры перебежал в демократы» не в результате глубинного раскаяния, изменения ума, а по холодному расчёту — ради более удобной и богатой жизни. Совесть обличала. Отсюда и голосование против приглашения, отсюда и нагличанье молодых реформаторов, отсюда и характерные фрейдистские оговорки хулителей:

«С голливудской бородой и начищенной до немыслимого блеска совестью он является в Россию... а кому он, в сущности, нужен? Да никому...»¹¹

Чистая совесть писателя ела глаза тем, кто в свою совесть предпочитал не заглядывать, а то и разучился, ослеплённый миражом мгновенного обогащения.

А Солженицын уже тогда, в 1994-м, решительно назвал «Великой Русской Катастрофой 90-х годов XX века»¹² явление, которое мы искренне считали «демократизацией» и «развитием рыночных отношений». В один ряд с революцией 1917 года, с ГУЛАГом и войной 1941–1945 годов поставил он «нынешний по народу “удар Долларом”, в ореоле ликующих, хохочущих нуворишей и воров»¹³. Тогда нам казалось, что это уж слишком. Что в своей критике писатель переходит в стан красно-коричневых, что нельзя на одну доску ставить кровавых деспотов, богборцев и мужикоборцев и пусть не всегда кристально честную, но демократическую власть, вытаскивающую, опять же, пусть не всегда умело, Россию из большевицкого прошлого.

Понадобилось прожить всё это десятилетие, увидеть плоды правления тех, кто именовал себя «демократами-рыночниками», чтобы совсем иначе услышать эти слова Солженицына. Тем более что их он не уставал повторять все годы «реформ»:

«Когда “Красное Колесо” стали публиковать на родине в середине 90-х... реальное новое Колесо, только цвета Жёлтого, уже пожирало Россию. Нынешнее, ещё новое, падение России длится не месяцы, нет, вот уже второе десятилетие — так тем опаснее и долговременней могут быть материальные, демографические и нравственные послед-

ствия. Тем труднее найти и осуществить созидательный выход из этого хаоса, безвозбранно усугубляемого высокопоставленным грабительством, — говорил писатель во время вручения ему Большой Ломоносовской медали в Академии наук 2 июня 1999 года и продолжал: — В условиях уникального в человеческой истории пиратского государства под демократическим флагом, когда заботы власти лишь о самой власти, а не о стране и населяющем её народе: когда национальное богатство ушло на обогащение правящей олигархии из неперечислимых кадров властей верховной, законодательной, исполнительной и судебной — в этих условиях трудно взяться за утешительный прогноз для России»¹⁴.

Мы «поползли» к выходу из коммунизма как были, «обглоданные коммунизмом», без тени раскаяния за совершённые нами и отцами нашими в коммунистические десятилетия преступления, и точно — «кривым оказалось наше развитие». Да и развитие ли это вообще?

Начиная с середины 1990-х годов Солженицын всё чаще намекает на возможность для России и полной государственной гибели. Он испытывает всё растущий страх, что «из разорища» мы как государство вовсе не выйдем, что будем полонены пришельцами. Хотя и в сослагательном наклонении, но он пишет:

«...в предстоящие десятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, и территории, и даже государственность...»¹⁵

И это — не объективное следствие исторического процесса и даже не результат нашего преступного выбора 1917 года. Это результат нашего нынешнего отношения к нашему прошлому и нашего нового согласия на зло. Потому что, примиряясь со злом прошлого, мы соучаствуем в нём, а соучаствуя — несём за это полную ответственность перед Богом и судимся Им по всей строгости за это соучастие в преступлениях отцов.

Иное дело, что само нынешнее губительное нечувствие греха и неумение противостоять ему, сама наша слепота и расслабленность, скорее всего, результат свободного выбора нашего народа.

«Множественное большинство русского народа ныне пригнетено своей беспомощностью, ограбленностью, нищетой. Но не уклонимся осознать и страшней: русский народ в целом потерпел в долготе XX века — историческое поражение, и духовное, и материальное. Десятилетиями мы платили за национальную катастрофу

1917 года, теперь платим за выход из неё — и тоже катастрофический»¹⁶.

В своей критике нынешнего «пиратского государства» Солженицын во многом сходится с коммунистами, симптомы болезни он видит столь же ясно, как и они, но вот объясняет он эту нашу, возможно, смертельную болезнь совершенно иначе, чем левые. Не отход от советской государственности и идеалов социализма, не жидомасонский или американский заговор против СССР, не двурушничество Горбачёва, нет — все эти причины он отменяет. Историческую катастрофу России он объясняет другим — потерей веры в Бога, отказом от нравственных устоев сначала среди высших, а потом и в среде простонародья. Следствием этого стала неуёмная жажда чужой собственности у одних и полное равнодушие к нуждам народным у других. В результате — забвение долга и высшими, и низшими. Царь Николай II, отрёкшись от престола, «предпочёл... устраниться от бремени» и тем самым «предал нас... — на в с ё последующее»¹⁷. Солдаты, воткнув штык в землю, опозорили Россию и превратились в банальных грабителей своих соседей. Лишь горстка людей выступила за честь и совесть погибающей Родины — часть офицерства, гимназисты, студенты, кое-кто из крестьян и мещан составили, с готовностью умереть «За Русь Святую», добровольческое белое ополчение. Но Святой Руси давно уже не было, и белые добровольцы были смяты бесконечно большим числом наших соотечественников — богборцев, разбойников и грабителей, да и тех, кто молчаливо согласился не противиться раскручиванию «красного колеса».

Тогда те, кто согласился на коммунизм, умерли. И мы — дети мертвецов. А те, кто погиб, защищая святыню и честь России, — они живы. Любимые политические фигуры российской истории для Солженицына — Пётр Столыпин, адмирал Колчак, генерал Лавр Корнилов — те, кто осмелился пойти против потока, ибо поток низвергался в бездну. Все они погибли, но такая смерть и есть жизнь. Но мы, увы, не их дети. И потому мы сами мертвы не физической, но страшной её — *метафизической* смертью.

Метафизическая опасность коммунизма вполне открылась не в 1982 году, когда он был ещё жив, а ныне, когда он ушёл из России, но оставил после себя пустыню — и природную, и нравственную. Пустыню, которую, может быть, и не удастся уже возродить к жизни. Однако вошедший уже в девятое десятилетие жизни писатель не теряет надежды. Так же как сверх всякого разумения твёрдо верил он в то, что вернётся в Россию из изгнания, так же, ощущая неощутимое, верит он и в будущее своего народа:

«За эти четыре года, поездив по России, поглядев, послушав, — заявлю хоть под клятвой: нет, наш Дух — ещё жив! и — в стержне своём — ещё чист!»¹⁸

Иные, чем «демократы» и «коммунисты», причины нашей теперешней бедственности усматривает Солженицын и потому иные видит и лекарства для исцеления. Не возврат к советской системе, не восстановление СССР и не копирование западных политических и экономических моделей, не какой-то новый ловкий экономический приём. Нет. Коль мы рухнули, оставив веру в Бога и потеряв совесть, то и восстановление мы должны начать с обретения веры и совести. Солженицын вспоминает слова Ивана Ильина «нечего и братья за восстановление России без совести и без веры». И продолжает:

«...будущее наше, и наших детей, и нашего народа — зависит первой и глубинней именно от нашего сознания, от нашего духа, а не от экономики»¹⁹.

А сознание индивидуально. Оно коренится не в инстинкте зверя, но в свободном волевом решении человека как «образа Божьего». И Солженицын надеется не на массу, которую всегда влечёт к худшему, но на отдельного «штучного» человека, который только и может прийти в сознание, раскаяться, собрать свою волю и с упованием на Бога мужественно начать собирать камни наших святынь, в безумии разбросанные отцами.

«Ах, если бы, если бы мы были способны к истинному всеобъединению... <...>

А пока не способны, то вот и правило: *Действуй там, где живёшь, где работаешь!* Терпеливо, трудолюбиво, в пределах, где ещё движутся твои руки. <...>

Мой дух, моя семья да мой труд — добросовестный, неусыпный, без оглядки на захлёбчивую жадность воровскую, — а как иначе вытягивать? <...> *Без труда — нет добра.* Без труда — и нет независимой личности»²⁰.

Писатель уже усматривает начала этого созидательного действия. Уже видит, что низшая точка пройдена, возрождение началось. Конечно, это движение ещё очень слабо, ещё почти невидно в общем разложении и неощутимо в зловонном смраде, но восстанавливающиеся храмы, тяга молодёжи в университеты, всё новые прекрасные исследования

учёных, отказавшихся бросить Родину, самоотверженный труд многих учителей — вселяют надежду.

Рухнувшая на дно ада и смерти Россия преподала всему миру страшный урок — чего может стоить богоотступничество и отвержение совести. Но пока жива душа, верит писатель, — жива и надежда. Может быть, Россия преподает миру ещё и новый урок — урок покаяния, изменения ума, обращения к Духу и, в результате, — восстания из бездны.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995–1997. Т. 3. С. 16.
- ² См. интервью с Б.Левиным для газеты «Таймс» // Там же. С. 132.
- ³ Там же. С. 140.
- ⁴ Там же. С. 447.
- ⁵ Там же.
- ⁶ См. статью для журнала «Экспресс» // Там же. С. 7–8.
- ⁷ *Солженицын А.И.* Как нам обустроить Россию? // Там же. Т. 1. С. 543.
- ⁸ Там же. С. 562.
- ⁹ Там же. С. 567.
- ¹⁰ Там же. С. 583.
- ¹¹ *Амелин Г.* Жить не по Солженицыну // Независимая газета. 1994. 27 апреля.
- ¹² *Солженицын А.И.* «Русский вопрос» к концу XX века. // Публицистика. Т. 1. С. 698.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ *Солженицын А.И.* Наука в пиратском государстве. Слово при получении Большой Ломоносовской медали Российской Академии наук // Независимая газета. 1999. 3 июня.
- ¹⁵ *Солженицын А.И.* Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 187.
- ¹⁶ Там же. С. 200.
- ¹⁷ *Солженицын А.И.* Размышления над Февральской революцией // Публицистика. Т. 1. С. 477.
- ¹⁸ *Солженицын А.И.* Россия в обвале. С. 202.
- ¹⁹ Там же. С. 201.
- ²⁰ Там же. С. 200, 203–204.

Олег Мраморнов

«ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ГУМАНИЗМА»*

Двадцатый век — в последней его трети — прошёл под знаком Солженицына и завершился на солженицынской ноте. Очень престижная в интеллектуальном мире Большая премия Французской академии морально-политических наук 13 декабря 2000 года вручена в Посольстве Франции в Москве знаменитому писателю. В речи при вручении премии известный философ-француз Ален Безансон от лица Академии аттестовал Солженицына «не только “моментом человеческой совести”, но главным действующим лицом истории» и подчеркнул тем самым присутствие, влияние, роль отечественного писателя, мыслителя и публициста в историческом процессе, пожелав ему совпадения с теми путями этого процесса, которые лежат в области обретения «счастья свободы и права». «Мы надеемся, что Россия, ведомая хорошим правительством, также познает счастье свободы и права. Мы полагаем, что один из величайших людей этого века поможет ей этого счастья захотеть и его обрести. Именно в этом, дорогой Александр Исаевич, заключается смысл Большой премии, которую рада присудить вам Академия морально-политических наук».

...В ответной речи лишнего ведь не скажешь, но у опытных ораторов есть свои приёмы... Мало кто, наверное, сомневается, что Солженицын хочет для России счастья, однако он отреагировал на пожелание Безансона умолчанием о путях и перспективах попадания России в область счастья свободы и права, то есть светлого демократического будущего, а специально отметил особую трагичность российской истории, имеющий место быть грабёж национального достояния и населения, подавленность самоуправления и народной инициативы, засилье чиновников.

Вот сильное место, показывающее неостывший темперамент опытного критика отечественной социально-политической эмпирии-действительности, и как бы встык к словам Безансона о хорошем пра-

* Публикуется по: Независимая газета. 2001. 19 января. С. 16.

вительстве: *«Наши политический класс составлен диким образом: из нераскаявшихся номенклатурщиков, всю жизнь проклинавших капитализм, а теперь восславивших его. Из хищных комсомольских вожаков, из абсолютных политических авантюристов, из находчивых экономических грабителей, из случайных людей, мало подготовленных для роли, которую они на себя взяли. Нравственный уровень нашего политического класса не высок, а интеллектуальный не выше.»*

Далее последовала фраза, начинающаяся с утверждения отрицательно негативного характера, а в итоге решительно утверждающая победу духа над косной материей — русский путь. Взамен рационально-безукоризненной перспективы свободы и права — внезапная сверхрациональная вспышка с адресацией и к Западу тоже. *«В этих условиях о России говорят, что Россия продвигается в третий мир. Только некоторые говорят, что она уже безвозвратно туда попала. Я с этим не согласен. Я верю и постоянно верил, и это всегда осуществлялось, в преимущество духа над бытием. Я думаю, что это поможет России вырваться. Я думаю шире — что и Западу эта проблема духа, который перерабатывает бытие, тоже весьма не бесполезна и своевременна.»*

Лауреат подробно остановился на состоянии морального и духовного климата в человеческом сообществе. Поблагодарив в начале ответной речи Французскую академию и коснувшись давних культурных связей между Францией и Россией, он сразу перешёл к вопросу о гуманизме, сделав этот вопрос стержнем выступления.

«...Крупным явлением международной жизни я бы назвал перерождение гуманизма. Гуманизм веков пять назад родился и развился от заманчивого замысла — перенять у христианства его добрые идеи, его сочувствие к обездоленным и притеснённым, его признание свободы воли каждого человека. Перенять, но устранить Творца мироздания. И, казалось, это очень хорошо удалось. Век за веком гуманизм проявил себя как широкодушное, человеческое движение. И ему удалось в разных случаях истории смягчить зверства и жестокости. Однако...»

За этим «однако» последовало иной раз что-то очевидное и ясное, а порой не столь очевидное, неотстоявшееся — то, что не удалось или не удаётся. Гуманизм не уберёг человечество в XX веке от двух страшных мировых войн. Как говорил один литературный герой: факт. Чувствуя свою недостаточность и бессилие, гуманизм мог принять контуры обещательного глобализма. Звучит не очень отчётливо: мог. Выходит, глобализм лидеры мирового гуманизма человечеству лишь обещали и у нас ещё всё впереди?.. Глобализм — это тенденция или данность, хорошо или плохо?..

Итак, гуманизм на новом витке пытается что-то сделать, но — не получается. Пытается подняться на новый уровень — установить рациональный порядок на всей земле путём создания единого мирового правительства из высоко-

интеллектуальных людей, которое будет зорко и заботливо следить за нуждами каждого отдалённого уголка земли, каждого народа. Не удаётся. Хотя создали ООН. Создать создали, но оттесняют, не очень считаются, например, в случае с бомбардировками Югославии... Солженицын приводит выразительные цифры: *«США составляют 5% населения Земли, но потребляют до 40% сырья и материалов и вносят 50% всеобщего отравления.»*

Успешливый лидер общества потребления отнюдь не желает отказываться от своих преимуществ под неслабым давлением международных форумов, конференций и призывов. Да и зачем, во имя чего Штатам себя ограничивать, принимать во внимание тезис Солженицына о высшей свободе как *дальновидном самостеснении?* У них выше человека ничего нет: всё во имя человека, всё для блага человека...

Но ведь гуманизм-глобализм пытается брать на свои плечи заботу о братьях по земному обитанию, вызывается выровнять общий фон жизни. Нет больше дальних — все ближние. Хотя никто, конечно, так мне не близок, как я, единственный — самому себе. Солженицын вспоминает Гольбаха, Дидро, Гельвеция, просвещенческую теорию «разумного эгоизма» и пресловутый «просвещённый эгоистический интерес», который выдвигают и оправдывают в наши дни. Эгоизм, но просвещённый, а разрыв между богатыми и отсталыми странами всё увеличивается. Вопиющие мировые проблемы бедности, отсталости, экологии вопиют и вопиют к небу.

«...Во имя гуманных принципов (только во имя гуманных принципов) можно начать бомбить мирную пятиллионную европейскую страну, лишать её живительного электричества, разрушать прекрасные дунайские мосты. Для того ли, чтобы одну группу населения уберечь от депортации, но тем самым обречь на депортацию другую группу? Или для того, чтобы излечить страну, объявленную больной, или оторвать от неё лакомую провинцию? Как заблудился антропоцентризм! И с этим мы переходим в XXI век...»

Поверх общегуманных принципов, призванных соединять человечество, Солженицын говорит о перерождении гуманизма в «просвещённый эгоистический интерес» и ставит диагноз: *секулярный антропоцентризм.* «Так вот, упорный, секулярный антропоцентризм когда-то должен был войти в этот кризис. И с ним мы вступаем в XXI век».

Эгоистический интерес преобладает более, чем всегда, несмотря на декларирование гуманных принципов и стремление к глобальной всеобщности, несмотря на международные институты, берущие на себя функцию справедливого арбитра и заботу о слабых. Доброе познаётся по плодам, а не по намерениям.

Когда практика гуманизма в мировом масштабе раз от разу не приносит желаемых результатов, можно предположить, что и сам высокий

принцип гуманности претерпевает здесь какие-то мутации. Вспомним начало выступления Солженицына, и станет ясно, что *секулярный антропоцентризм* — финал, исход того гуманизма, который перенимает у христианства его добрые идеи, но устраняет Творца мироздания. Перерождение гуманизма.

* * *

Но ведь Бог умер ещё в голове у Ницше, а поэт Александр Блок, объятый заревом революций и разорванным их ветром воздухом, говорил о «крушении гуманизма» (однако видел впереди двенадцати революционеров Иисуса Христа — хотел видеть другого, но другого нет). Солженицын что, только проснулся, что заявляет о перерождении гуманизма? Буржуазного, абстрактного? Какого? Одиночки-чудаки-гуманисты, должно быть, остались, но остался ли гуманизм на вытоптанном поле мирового исторического процесса (с которым Солженицына, как явствует из слов Алена Безансона, тесно связывают на Западе и с которым он так или иначе действительно связан своей активной деятельностью в качестве политического оратора, публициста и моралиста). Запутались с гуманизмом, а Солженицыну — распутывать. Солженицын, как видим, тоже сомневается относительно возможностей мирового организованного гуманизма. А про гуманизм он, конечно, знает лучше нас. В то время как нам вдалбливали в голову нечто о преимуществах пролетарского гуманизма над химерой буржуазного, Солженицын негромко и потаённо воплощал на бумаге (лишь потом всемирно прогремел) принципы человеколюбия: писал «Ивана Денисовича», «Матрёну», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛаг»...

Солженицын наследует русской литературе и русской религиозной философии. Русская литература актуализировала человеческое вопреки историческому и идеологическому прессу, а религиозная философия объясняла богочеловеческое. Бердяев давно предупреждал, что *пошатнулась христианская идея человека, которая оставалась ещё в гуманизме*. Явление гуманизма Бердяев считал неизбежным в связи с нераскрытостью в средневековой жизни христианского учения о человеке — оно с трудом усваивалось греховной природой человека, и Церковь не всегда справлялась с задачей раскрытия этого учения.

«Но дальше произошёл роковой по своим последствиям процесс, — говорил Бердяев в 1931 году, понимая богочеловеческий миф не как нечто нереальное, а как высшую реальность. — Началось и умственное, и жизненное разрушение целостного богочеловеческого христианского мифа. Сначала была отвергнута одна половина мифа — миф о Боге. Но осталась ещё другая полови-

на — миф о человеке, христианская идея о человеке. Мы это видим, например, у Фейербаха. Он отверг Бога, но у него осталось ещё богоподобие человека, он не посягнул ещё на человека, как не посягнули те гуманисты, у которых остаётся вечная природа человека. Но разрушение христианского теоантропического мифа пошло дальше. Началось разрушение другой половины — мифа о человеке. Произошло отступничество не только от идеи Бога, но и от идеи человека. На человека посягнул Маркс, на человека посягнул Ницше. Для Маркса высшей ценностью является уже не человек, а социальный коллектив. Человек вытесняется классом, и создаётся новый миф о мессианстве пролетариата. Маркс есть один из исходов гуманизма. Для Ницше высшей ценностью является не человек, а сверхчеловек, высшая раса, человек должен быть превзойдён. Ницше есть другой исход гуманизма».

Ницше, Маркс с Лениным, пролетарское человеколюбие отходят в область воспоминания. Бердяев произносил свои слова в преддверии мировой войны, когда на карту была поставлена ценность человека и старый гуманизм пытался напомнить о ней. А Солженицын видит уже следующий исход: *кризис упорного, секулярного антропоцентризма*, то есть обратное возвращение к человеку, но поставление на первый план эгоистического человека, в котором перемешаны добро и зло, — взамен устранившего Творца. Человек выпячивается, но из него вымывают его высшую составляющую. В скороспелом синтезе новейшего гуманизма происходит отказ от христианской идеи вечной природы человека, сотворённого по образу и подобию Божию. (Тогда как эпоха Возрождения, открывающая Новое время, дала импульс гуманизму, ещё продолжавшему видеть в человеке образ Божий. И гуманизм русской литературы, традициям которой наследует Солженицын, видит в человеке этот образ.)

Последний исход гуманизма, который фиксирует Солженицын в своём выпаде против *секулярного антропоцентризма*, вытекает из установок на угождение человеку, на принцип потребления, удовольствия и комфорта, связан с притязаниями и обещаниями глобализма, единого мирового порядка, тотального либерального рынка. Надо обладать солженицынской последовательностью и даже дерзостью, чтобы произвести выпад против такого перерождённого гуманизма в присутствии награждающей стороны, представляющей как раз западные либеральные ценности (не будем, однако, забывать, что Франция не Америка)...

Стоит ли говорить, что Солженицын заслужил право на свой выпад, оставаясь неизменным сочувственником страждущей человечности в духе более традиционного гуманизма, пытающегося устоять под натиском истории.

Георгий Гачев
 ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ
 В ПОЛЕ ОТКРЫТОГО БОЯ*

Александр Исаевич Солженицын – титаническая фигура среди многих важных и талантливых писателей, политиков, мыслителей. Человек Судьбы – как Александр (Македонский), Наполеон, Лев Толстой... С миссией. Кого Бог ведёт, пока не исполнит, на что призван. Это – чудо: среди стольких ураганов и рифов по бурному морю века проведён его корабль, что потонуть и разбиться мог на каждом перегоне с 20 и до вот 85 лет. Война, арест, лагерь, рак. Подпольное писательство – создан шедевр русской прозы «Один день Ивана Денисовича»: с ним вышиб дно и вышел вон – на свет Божий мирового Слова и Истории, и вот уже на виду подсвечен!.. Но это ему всё не то: он снова зарывается в келью, мастерит эпопею документально-историческую «Архипелаг ГУЛаг», где убийственное оружие, пуще водородной бомбы, чтобы сразить чудовище Власти, как отмститель за миллионы.

Но Солженицын уже на виду, известен «органам», за ним ведут слежку и охоту, как на опасного зверя, и могли запросто укокошить на любой поляне или повороте шоссе, но он с волчьей хваткой опытного зэка ускользает, обдуривает разленившихся салаг – детективная история пуще Штирлица, записанная им в весёлой книге «Бодался телёнок с дубом». Как Геракл с Гидрой: один воин в поле открытого боя (иль Давид против Голиафа) при одушевляющих волнах поддержки народа. И не один бой, а целая кампания выиграна, война двадцатилетняя – от ссылки и рака до Нобелевской премии и «выдворения» с родины.

И далее баталии – уже с чужой земли. В опровержение, что, «когда гремят пушки, музы молчат», сам и пушка (в войну – боевой артиллерист!), и муза. Разгорается творчество – и писателя, и историка, и публициста, и издателя... Теперь брань – уже на два фронта. Корыстный Запад его использует в «холодной войне» против СССР и коммунизма, но он не по-ихнему воюет: в чужом стане оказывается русский партизан.

* Публикуется по: Московский комсомолец. 2003. 8 декабря. С. 4.

И он их обличает: живут не по существу, а по мнимости, утратили истинные ценности...

И опять один в поле воин... Правда, уже немало развелось воителей-эмигрантов, из укрытия стреляющих. Но чтоб в открытую и со всех сторон (и от «своих») удары отбивать – это он один. Ибо – ГЕРОЙ: такая в нём стать. Добрыня Никитич, чудо-богатырь – именно сказочный и метафизический: зэк-замарашка в робе, Ща-854, вдруг разрастается в великана, кто тягается с воинством целого государства. Как полубог в сравнении с антропосами нормальной величины.

Один? Нет – в семье! Вот откуда ещё ему Божье благословение на подкрепу и долгую жизнь подано: удалось создать дивную семью как своё царство-государство, остров Буян в холодном жестоком мире. Чудная молодая жена, умница, соратница-сотрудница (как и Достоевскому Анна Григорьевна) и мать троих сыновей. И это уже её, Натальи Дмитриевны, подвиг с ним рядом. Ибо интеллектуально-творческая женщина в век феминизма норовит утверждаться как самость, а не любить и рожать. А тут как народная русская мать долг обезлюдевающей России исполнила! И в этом ещё патриотический образец нам – Солженицын и его семья!..

И далее Бог (Судьба?) ведёт: триумфальный возврат на Родину – везенье! И тут уже, как мудрый аксакал, «многоопытный муж» – и в познании человека, и в знании путей истории – подаёт продуманные идеи народу, советы политикам: «Как нам обустроить Россию?». И не его вина, а беда нам, что власть замкнула слух и заглушила его голос – его, кто по существу второй центр власти – Ума и Совести, каков был Лев Толстой в Ясной Поляне...

Нет, оничтожить его не удастся: больно крупен и смел. И творческое плодотворение продолжается – двухтомная эпопея «Двести лет вместе» о трудном супружестве, о совместимости и несовместимости тканей разных этносов, русского и еврейского, сведённых путями Истории на жилплощадь одной страны... Тоже драматическое повествование в открытом им жанре «художественного исследования», в коем и «Архипелаг ГУЛаг», и «Красное Колесо», где писатель в стремлении исповедать пути Истории сотворяет текст, имеющий и научное, и художественное значение.

Обдумывая Солженицына, его дело и творчество, перечитал «Один день Ивана Денисовича», перелистал «Архипелаг», освежил в памяти романы «В круге первом» и «Раковый корпус» – и неожиданный эффект: ВКУС ЖИЗНИ мощно излучается из этих книг. В них и испытания истории (а страдания – тоже ценность!), и жизнестойкость, и кра-

сота человека! Одухотворённый писатель, орган божественного Слова, смог записать эти трагические опыты и нам принести в дар — и уму, и воле жить, и любить Бытие и каждого человека, и не унывать, а находить Божий дар в каждой мелочишке существования.

И когда ты уныл и тебе жить не мило: «Откупори шампанского бутылку / Иль перечти “Женитьбу Фигаро”», как советовал Сальери Моцарту, но с ещё пушистым эффектом — перечти «Один день» или «Архипелаг», и на тебя нахлынет ощущение неслыханного счастья в том, что ты можешь хоть по правой, хоть по левой стороне улицы идти — вольный! — остановиться, созерцать куст рябины, книжку читать, на бумаге мысль записать, себе кашу сварить, на жену и детей милотовзры бросать...

В темах и в стиле Солженицына — и размах ума, и воображение, пронзающие вечные проблемы Бытия, Истории, Духа, и вглядывание в детальки мгновенного существования нашего, житейского. «Генерализация и мелочность», как Толстой обозначил этот двуединый принцип писательства.

Очень важно: откуда он? Не из столиц, а из России, а ведь между ними — «дистанция огромного размера» в жизнеощущении и понимании мира и человека. Он — с Дона, со Ставрополя, с Экибастуза (лагерь в Казахстане), потом из Рязани, писал в деревне Рождество и в «укривиче»: давали ему приют как страннику, калике перехожему, Чуковский в Переделкине, Ростропович в Жуковке, как ранее люди за честь полагали принимать безбытного философа — Сократа, Сковороду... Принципиальный провинциал, а не москвич, петербуржец, столичанин. То-то за «земства» ратует! С активности низов народа начать возродить Россию.

Язык, слог его — речь народного русского человека, живая поросль от корней слов, что он чутко слышит и естественные неологизмы рождает: им создан «Словарь языкового расширения», примыкая к словарю Даля — против языкового сужения на трёп попсы. Текст Солженицына — родник воды ключевой. «И неподкупный голос мой / Был эхо русского народа». Эти пушкинские слова перее всех относимы к Солженицыну.

Андрей Яхонтов

СОЛЖЕНИЦЫН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ*

На пустыре я с двоюродным братом жгу переплетённые в колленкор «самиздатские» рукописи. Что такое «самиздат»? Моя мама работает в издательстве «Художественная литература» машинисткой. И в свободное от официальной занятости время перепечатывает запрещённые произведения. Её пишущая машинка «Континенталь» может сделать под копирку четыре копии. Но мама подкладывает пятый, получающийся подслеповатым экземпляр. Для себя, чтобы можно было почитать без спешки. Ведь «Раковый корпус» дают на одну ночь и забирают утром, чтобы передать следующим. Приезжают Марлен Кораллов, Майя Абезгауз или Лев Пинский и везут ещё кому-то. Кому? Фамилий и имён, разумеется, не называют. Что будет, если их с этой запрещённой литературой схватят? Но страх не только в этом. Сегодня, в эпоху ксероксов и сканеров, невозможно вообразить: в те дни машинистки обязательно сдавали образцы шрифта своей пишущей машинки в соответствующее контролирующее учреждение. Таким образом сразу и легко можно было определить: кем именно осуществлена перепечатка фолианта. Ни Оруэлл, ни Брэдбери, кажется, до подобного не додумались. Но у Солженицына в одном из его романов есть нечто похожее: по звуку и тембру голоса вычисляют отважившегося на телефонный звонок-предупреждение смельчака...

...События, которые пытаюсь реконструировать, возможно, окажутся смещены во времени. Но это не важно. Важна суть, квинтэссенция, атмосфера, в которой они происходили. Мне двадцать лет. Я — студент журфака. Один из первых дней рождения Корнея Ивановича Чуковского, который отмечается после его смерти. 1 апреля. По тающему снегу я иду от платформы Переделкино к писательскому посёлку, долго стою на

* Публикуется по: Московский комсомолец. 2003. 7–13 декабря. С. 27.

мостике над речушкой, переливающейся в лучах яркого весеннего солнца. За накрытым столом оказываюсь рядом со Львом Копелевым, Александром Борщаговским и Арсением Тарковским, которого Борщаговский почему-то, возможно из-за раскосых глаз, называет в том разговоре Чингисханом. Копелев сообщает: Генрих Бёлль заявил о своей безусловной поддержке Солженицына, и это сильнейший удар для советских, поскольку Бёлль считался своим, прогрессивным, то есть антибуржуазным, прикормленным и, значит, поддерживающим политику СССР.

Для меня, молодого человека, крайне важно, что и Вениамин Александрович Каверин, автор знаменитых «Двух капитанов», которому я вожу свои первые литературные экзерсисы, занимает столь же ясную и определённую позицию в вопросе о Солженицыне. Поразительная сплочённость достойных людей! (К этому времени мною, разумеется, уже прочитаны и «Один день Ивана Денисовича», вышедший после «новомирской» публикации в «Роман-газете», я храню этот затрёпанный выпуск до сих пор, и «Случай на станции Кречетовка», и «Матрёнин двор».) Но всё разом изменилось: Солженицын в опале. Каверина вызвали, грозили, что перестанут печатать, однако его твёрдость не поколебали. Константин Федин, глава Союза писателей и член редколлегии «Нового мира», самолично отправился в типографию и рассыпал, разметал набор «Ракового корпуса», подготовленный к печати. Каверин пишет личное возмущённое письмо бывшему другу из объединявшего их Серапионова братства. И Каверина действительно перестают печатать. Незаменимых и неприкосновенных нет! Мне Вениамин Александрович, который знает, какие рукописи множит мама, глухо говорит, что лучше бы эти улики дома не хранить, возможны обыски, и я везу переплетённые и несброшюрованные книги сначала родственникам, а потом мы с братом всё же решаем их уничтожить. Вместе с «Раковым корпусом» в огонь летят «В круге первом» и «Крутой маршрут» Гинзбург, «Колымские рассказы» Шаламова и полный, без цензурных купюр, вариант «Мастера и Маргариты»... Но страх не проходит: во-первых, нас может выдать, донести переплётчик. Во-вторых... Рука не поднимается предать огню крохотный рассказик Солженицына, который дал мне почитать мой одноклассник Миша Цыпкин, — о крестном ходе, удивительно воссоздавший то, что я сам видел, когда приходил к церкви в Пасху: «победительные» (это изобретённое Солженицыным определение с тех пор не изглаживается из памяти) лица подвыпивших юнцов (как и вопрос: «Кого они в своей жизни победили?»), милиционеры, которые никого к церковной оgrade не подпускают... Этот рассказик я сам пере-

печатал на маминой машинке и храню его в своём письменном столе. Вдруг, если будет обыск, его найдут? Что я тогда скажу? Как объясню наличие этого рассказа у себя? И что со мной будет? Исключат из МГУ? Забреют в армию? Душа поёживается в груди. Но рассказик я всё же не выбрасываю, храню.

Похороны Твардовского в Доме литераторов. Заранее известно: должен прийти Солженицын. Известно и то, что его не должны пустить. Администраторы предупреждены, всюду дежурят люди в штатском, очередь пришедших проститься с Александром Трифоновичем простреливается и просеивается их цепкими взглядами с разных сторон. Но Солженицын загадочным образом возникает прямо возле гроба. Люди шепчутся: его провели заранее, переодетого, через потайную дверь... Поразительное время, поразительная смелость, поразительное, ещё раз это подчеркну, единство тех, кто отстаивает свободу в условиях её полной, казалось, обреченности! Тот таинственный проход Писателя сквозь препоны и сегодня кажется мне глубоко символичным. Солженицын своей судьбой подтверждает неслучайность всего с нами происходящего: он трижды должен был сгинуть — на фронте, в лагерях и от смертельной болезни. Но Провидение упрямо не отдало его смерти, будто наперёд зная, какую великую миссию ему надлежит осуществить... Освоить «Архипелаг ГУЛаг» — такое под силу только титану.

События развиваются по нарастающей. Газетные заголовки: «Литературный власовец», «Солжец» и тому подобные. Обсуждаем с Александром Борщаговским подборку писательских откликов в «Правде», поддерживающих выдворение Солженицына из страны. Совершенно ясно, что рядом с искренне одобрительными, от души идущими всхлипами восторга (и таких большинство) печатаются вынужденные, вытянутые насильно строки. Например, сухие, отстранённые, констатирующие, но никак эмоционально не оценивающие происшедшее слова Константина Симонова: «Солженицын поставил себя вне советской литературы...» (Цитирую по памяти.) Что ж, так и есть. Поставил вне. Не обошлось, мне кажется, и без скрытых издёвок над властью. Борис Полевой написал: «Дурную траву — с поля вон». Вкупе с подписью, которую он поставил — «Полевой», это читалось как горькая ирония над самим собой.

Своим присутствием Солженицын сплывал, цементировал, влиял. Рядом со смелым и широким человеком легче самому быть широким и отважным. Разобщённость после его отъезда наступила очень быстро. Возможно, она существовала и при нём, но в его присутствии как-то неловко и постыдно было проявлять и демонстрировать узость собственных взглядов.

В Сальске, под Ростовом, где «Литературная газета» проводила «круглый стол», я оказался в машине с крепко выпившими на банкете Евгением Носовым и руководителем Ростовской писательской организации Петром Лебедеико. Зашла речь о Борисе Можяеве.

— Солженицынский эпигон, — сказал Евгений Иванович. — Играют, понимаешь, в жидов...

Лебедеико довольно и поощрительно засмеялся:

— Женя, разве «в жидов» играют?

— Ещё как!

Сегодня, когда не утихают споры вокруг книги Солженицына о судьбах российского еврейства, а в рядах людей демократических взглядов нет единства и энергии, я с ностальгией вспоминаю трогательные интеллигентские иллюзии совсем ещё недавнего прошлого.

Юрий Карякин

И ЕЩЁ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ОН СКАЖЕТ*

*Александрю Исаевичу Солженицыну 30 025 дней
(или приблизительно 85 лет)*

Знаете ли вы, сколь может быть силен один человек?

Из Ф. Достоевского

Это — заметки из моего «Дневника русского читателя», записанные с ноября 1962 года по сегодня. Часть из них (самая наименьшая) была высказана публично или напечатана.

Н О Я Б Р Ь 1962-ГО. П Р А Г А

Вдруг обожгло: разговор Ивана Денисовича с Алёшей-баптистом в лагере, на нарах, — это же «разработка» темы о Боге и Божьем мире из «Братьев Карамазовых» (Иван и Алёша — в трактире «Столичный город», главка «Бунт»).

Иван Денисович: «Алёша, я же не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю в рай и ад...»

Иван: «Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

Какая «гущина» текста и, одновременно, — свободного простора. Какие глубины чувств — мыслей, — в сущности, на малюсенькой «сотке» бумаги.

31 Я Н В А Р Я 1968-ГО

Из выступления на вечере памяти А.Платонова в ЦДЛ

Я должен сказать о гениальном писателе нашей страны Александре Исаевиче Солженицыне, сказать тем людям, которые вешают на него

* Публикуется по: Новая Газета. 2003. 9–10 декабря. С. 12–13.

сейчас всевозможные ярлыки: не спешите! Посмотрим ещё, где будет он и где окажетесь вы через 10–20 лет в истории нашей культуры. Ну и, разумеется, вы, ненавистники Солженицына, пытаетесь воскресить Сталина. И тоже ведь ничего не выйдет. Чёрного кобеля не отмоешь добела.

22 ИЮЛЯ 1985-ГО

Мне особенно дорого такое признание А.И.С. из «Архипелага ГУЛаг»: «Оглядысь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительным, и я всё порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна... Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами...

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются **со злом в человеке** (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им **носителей** зла, а не разбирая впопыхах и носителей добра — само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство».

С себя, с себя он начинает покаяние, а потому-то неотразимо убедительным становится его призыв к покаянию в том или ином, вольном или невольном, платоническом или физическом соучастии в злодеяниях. Но ведь слишком часто слышатся такие ответы на такие призывы: «Нам каяться не в чем! Мы своих убеждений не меняли!»...

Пушкин — каялся, Достоевский и Толстой — каялись, Чехов... А этим — «не в чем»! А ещё стоят со свечками в храме Христовом.

Достоевский: «Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уж ничем меня не опровергнете. <...> Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо ещё непрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же одна — Христос...»

МАЙ 1986-ГО

*Из выступления на первом вечере
в честь А.И.Солженицына в Доме кино*

Я знаю несколько людей на самом верху, которые до сих пор категорически против публикации «Архипелага ГУЛага». Стало быть, сами-то читали. И знают великолепно, что за чтение «Архипелага» людям давала «срокá». Так почему же они друг другу не дали такие же «срокá»? Читают же антисоветчину...

СЕНТЯБРЬ 1988-ГО

А я бы «юноше, обдумывающему житьё», сказал (и говорил всегда своим ученикам-старшеклассникам и своим студентам): есть две книги, без которых нельзя, безнравственно вступать в наш мир, — «Бесы» Достоевского и «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына. Две книги, обрамляющие законченный исторический цикл. Первая — гениально-художественное предчувствие, предупреждение перед входом в коммунистический ад. Вторая — художественное исследование этого ада на выходе из него.

2 ИЮНЯ 1989-ГО

Из выступления на I Съезде народных депутатов СССР

Михаил Сергеевич! У меня к Вам просьба как к Президенту. Я хотел бы, чтобы наш Съезд поддержал её. Просьба такая: вернуть российское наше гражданство человеку, который первым осмелился сказать правду о сталинщине, который первый призвал и себя, и нас не лгать, — великому писателю земли Русской, великому гуманисту Солженицыну.

Вы нашли общий язык с «железной леди», Вы нашли общий язык с Бушем и Рейганом, Вы нашли общий язык с папой римским — они же не перестали быть антикоммунистами — и нашли этот язык на почве гуманизма. Неужели мы с Солженицыным не найдём на этой почве общий язык?

Подумаем о том, что если бы жили сейчас Пушкин, Достоевский, Толстой, то неужели бы мы с Вами им понравились? Ну и что? За это их выслать? Мне кажется, мы не простим себе (мысль не моя, впервые вы-

сказана Астафьевым), мы не простим себе никогда, и потомки нам не простят, если мы не сделаем этого.

Я Н В А Р Ь 1992-ГО

Мы переподарили портрет А.И.Солженицына нашему посольству в Вашингтоне.

(Разъясняю. Запись 4 декабря 2003-го)

В 1990 году было создано Русско-американское философское общество «Апокалипсис», которое провело несколько конференций в Нью-Йорке и в Москве. Мне довелось быть вице-президентом этого общества с нашей стороны. И после конференции в Нью-Йорке в январе 1992 года меня пригласил к себе вице-президент с американской стороны, бывший полковник. Он и подарил мне этот портрет. Выяснилось: автор — американский юноша, прочитавший «Архипелаг ГУЛАГ» и потрясённый им. Портрет с успехом экспонировался на выставках, и полковник его купил. Я сначала отказался от столь щедрого подарка. А потом предложил: «Поедем вместе в Вашингтон и подарим портрет российскому посольству». Так и сделали. Тогдашний посол В.П.Лукин с благодарностью принял подарок, и портрет одно время висел при входе в посольство. А когда Лукин возвратился на родину, вернул портрет мне.

Достоевский говорил о всемирно-исторической отзывчивости русского народа. Я не думаю, во-первых, чтобы это было нашим исключительным свойством. И американский юноша лишний раз доказал это. А, во-вторых, где была наша всемирно-историческая отзывчивость, когда Сталин с Гитлером делил Польшу, присоединил Прибалтику, когда «спасали» Чехословакию, когда воевали в Афганистане?..

Портрет написан в 1977 году. Теперь, наверное, автору около 40 лет. Я, к сожалению, не знаю его имени и его дальнейшей судьбы. Однако надеюсь, что он, может быть, отзовётся через Интернет.

10 А П Р Е Л Я 1994-ГО

Перечитал «Ленина в Цюрихе». Великолепно о том, как осенило Ленина: начать мировую революцию со Швейцарии, зажечь там пламя гражданской войны. Дескать, многоязычная страна, через неё пересекаются все пути и все финансовые потоки... И тут же «гениальный стратег» рас-

писал участь всех до единого граждан этой милой страны: кого — куда, по какому разряду, точь-в-точь как Нечаев...

И ведь всё это давным-давно опубликовано. И никто не обжётся этим чудовищным и на редкость глупым фактом. И никто не обжёт им других, как Солженицын.

В сущности, все эти экстремистские теории «социального прогресса» не что иное, как кровавое соревнование по составлению и исполнению проскрипционных списков, — какой длиннее? Марксистско-ленинский оказался самым-самым длинным, подлиннее нацистско-гитлеровского. Ленинизм выиграл это соревнование.

Кажется, я начал понимать, почему Ленин так ненавидел Достоевского и так беззаветно любил Нечаева...

Я вдруг вспомнил (6 декабря с.г.), как я осмеливался спорить с А.И.С. году в 1965-м — насчёт марксизма-ленинизма. Я тогда ещё из последних сил цеплялся за «Единственно Верное». Но... но **чувствовал** — не по аргументам, не по логике — а просто по его **голосу, тону, ладу**, что он прав, а я — нет. Но не мог ещё признаться себе в этом. И вспомнил тогда же Рогожина, который сказал (цитирую не дословно, но доподлинно): почему, князь, я не то что слову твоему верю, а голосу твоему... Голос, если прислушаться, всегда выдаёт душу и дух человеческий...

11 Д Е К А Б Р Я 2000-ГО

ТРИ НЕБЫВАЛОСТИ «ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

Во-первых. Когда в ноябре 1962-го была опубликована эта повесть, потрясение — и у нас, и во всём мире — было беспрецедентным. Пожалуй, никогда ещё первое произведение безвестного доселе автора не производило столь всеобщего и оглушающего, и просветляющего, и прозревающего впечатления, столь небывалого и непосредственного отклика и столь небывалого раскола в оценках.

Но далеко не сразу и далеко не все (даже и до сих пор) поняли, что произошла не какая-то социально-политическая сенсация разоблачения сталинизма, а настоящий взрыв духовно-нравственно-религиозного сознания, взрыв посредством художественного слова.

И если уж говорить о шестидесятниках (термин хотя и прижившийся, но неточный, конечно), то вышли они не из XX съезда КПСС, а из

«Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрёниного двора». — Две великие поэмы о трагической судьбе нашего народа, сохранившего — несмотря ни на что — душу живу. Реквием Солженицына, по силе боли и плача, по силе гнева и мужества, сопоставим лишь с ахматовским. Даже если бы остались только эти две поэмы, они навсегда обессмертили бы имя автора.

Я вовсе не хочу умалить значение XX съезда, но не забудем, что в секретном докладе Н.С. Хрущёва была высказана лишь одна тысячная доля правды — меньше, конечно, — да и той испугались, да и ту обставили тысячью оговорок. А когда доклад был опубликован на Западе, официально объявили его «буржуазной фальшивкой». Точно так же в 20-х годах прошлого века, когда на том же Западе напечатали так называемое «Завещание Ленина», оно тоже было объявлено «буржуазной фальшивкой», — даже Троцким! А потом «троцкистской»?! — за одно хранение которой — арест и расстрел.

Во-вторых. Ещё не бывало, чтобы **такое** произведение было опубликовано с благословения властей (Хрущёв), ничего в нём не понявших и попытавшихся использовать его в своих сиюминутных примитивных и сугубо политических расчётах.

Они, верхи (далеко не все), не разобравшись, сдуру, чуть не пожаловали ему Ленинскую премию (в апреле 1964-го).

Вот была бы потеха — или сразу, если бы он не отказался, что было бы вполне и возможно: премия эта на какое-то время прикрыла бы его, оттянула или смягчила будущую абсолютно неизбежную травлю. А если бы даже и дали, а он бы и взял, скандал-потеха случился бы позже, когда дарители сообразили бы, наконец, что наступили на грабли. Так или иначе, — не дали, но могли дать...

Третье. Уж совсем никто не догадывался, что это — лишь **первый** («разведывательный») ход в небывалой шахматной партии, рассчитанной на многие сотни ходов вперёд. Точнее: сделан был лишь первый шаг неслыханного многодесятилетнего похода.

Никто не догадывался, — тем более! — что у автора уже был выработан не поверхностно-политический, а мировоззренчески-духовный, **стратегический план** этого похода — **одного человека** против многомиллионной армии тех, кого Достоевский назвал «бесами», создавшими, казалось, абсолютно неприступную крепость-систему на полмира. А у этого человека было только одно-единственное оружие: ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО — КНИГИ.

Никто не знал, что план этот начал грезиться ему ещё с 18 ноября 1936 года.

Наконец, никто не знал, что **слова** — книги эти (около десяти) были **уже написаны** к ноябрю 1962-го. Что уже был задуман «Раковый корпус» (1955), что задуман и начат был «Архипелаг ГУЛаг» (1958) и что в 1963 году началась работа и над «Красным Колесом» (название определится в 1965-м).

С десятков батальонов и полков стояли наготове, в резерве, ждали только своего часа-приказа — выступить, а главные ударные армии («Архипелаг ГУЛаг» и «Красное Колесо») уже формировались.

Никто, никто не знал об этом, кроме самого А.И.Солженицына.

Не было у самого Гёте в резерве, когда он писал своего «Вертера», — «Фауста». Не было в резерве и у Пушкина юного ни «Евгения Онегина», ни «Бориса Годунова». И у Толстого не было во время «Детства...» — «Войны и мира»...

«Один день» — лишь малюсенькая верхушечка айсберга, о которую разобьётся «Титаник» коммунизма.

О, если бы «они» там, наверху, только знали обо всём этом! Спасала (до поры до времени) жесточайшая конспирация.

Тем временем Солженицын начал обрастать добровольными помощниками, не говоря о десятках, если не сотнях тысяч сторонников.

Но когда в октябре 1964 года произошёл государственный переворот (сняли Хрущёва) и в Беловежской Пуще происходило по этому поводу совещание «братских партий», некоторые участники высказались за то, чтобы не было больше никаких «Иванов Денисовичей» и «апологетических» статей о Солженицыне. Спохватились...

В походе Солженицына бывали отклонения, ошибки, даже поражения.

Но... попробуйте, если хватит воображения и опыта, представить себя на его месте...

Начиная с середины 60-х были уже запреты на принятые в редакциях его книги, арест архивов, непрерывная слежка, было покушение на смертоубийство при «гуманнейшем» Андропове, наконец, арест самого А.И. и высылка его за границу (12–13 февраля 1974-го).

Но несмотря ни на что, главная цель была достигнута.

В июле 1990-го Солженицын мог, наконец, сказать: «Часы коммунизма своё отбили».

Убеждён: **без** А.И.Солженицына они протикали бы подольше.

Однако сразу же за приведёнными словами, в разгар нарастающей эйфории от приближавшейся, казалось, победы, он сказал и другие слова: «Но бетонная постройка его ещё не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под её развалинами».

Всё это сбывается. Пока. (См.: *А.И.Солженицын*. Россия в обвале. 1998.)

Неужто недавний визит В.В.Путина к Александру Исаевичу означает начало «просвещённого абсолютизма»?

Поживём — увидим.

P.S. 6 декабря 2003-го

Два слова о мелком и глупом пакостничестве в отношении к А.И.Солженицыну на страницах одной популярной газеты. Совет автору: поменьше показываться на людях. Вдруг вспомнят благородную старину — и мало что руки не подадут, да ещё и пощёчиной пожалуют. Нет ничего отвратительней вежливого хамства тех, кого А.И.С. обозвал «образованщиной».

Михаил Поздняев РОК-ПРОРОК*

Юбилей Александра Исаевича Солженицына странным образом вклинился в череду пятидесятилетия лидеров русского рока, тридцати- и двадцатилетий их властвования над умами россиян. Досадно, что рок-юбиляры не додумались устроить общий концерт в честь Солженицына: по большому счёту он, как никто иной, является «отцом русского рока», проломившим в стене лжи и пошлости брешь, сквозь которую все они вышли к своим слушателям. Да и в книгах Александра Исаевича явственно слышны не только традиции классики, но и мощные ритмы музыки конца XX века.

Высказанная мысль покажется более чем спорной в первую очередь Солженицыну, привыкшему каждый день подолгу слушать Шуберта, Бетховена, Моцарта, Шопена, Чайковского. «Это его музыка», — рассказала на днях в одном из интервью жена писателя Наталия Дмитриевна.

Сам Александр Исаевич интервью не даёт. Никакие протекции и личные добрые связи не помогают. Если уж ему крепко приспичит — сам напишет статью (как это сделал недавно, ответив легиону критиков его последней книги «Двести лет вместе»). И к этой теме больше возвращаться не будет. Потому что мыслить привык на бумаге, оставаясь писателем в прямом смысле слова (компьютер не освоил, пишет от руки), и потому, что много чего ещё надо успеть сделать. Кроме того, журналистов интересует в первую очередь его частная жизнь. А для Солженицына частная жизнь и есть писательство, ощущение себя оружием в руке Бога.

«Не дай выпасть из Твоей руки!» — взывал он в одну из трагических минут, когда против него пошла вся машина, сотни и тысячи сыщиков, провокаторов, газетных вралей, лекторов-агитаторов, своих же «братев-писателей», от Москвы до самых до окраин голосовавших за выдворение из страны «литературного власовца». Кое-кто и к высшей мере власти призывал. «Крокодил» печатал карикатуры со стихами вроде:

Во весь свой раж
предатель Солженицын,
Впадая в клеветнический азарт,

* Публикуется по: Новые Известия. 2003. 11 декабря. С. 5.

Так служит
заграничным неким лицам,
Что поднят ими нынче,
как штандарт.

Потом Солженицына выслали. И он с той же яростью, с которой противостоял советской системе, обрушился на Запад. Потому что главным врагом всегда почитал не насилие как таковое, не тот или иной политический строй, не тот или иной народ, но ложь. Правдолюбца заманчивее всего изобличить во лжи. Не зря критики, кичась остроумием своим, вышелушивали из фамилии автора «Архипелага ГУЛага» буквы Л...Ж...Е...Ц: на воре, мол, шапка горит! А он им, а заодно и нам, сочувствовавшим ему в тряпочку, возвращал упрёк статьей: «Жить не по лжи!».

Рок — враг попсы. Попса ведь, не только как стиль музыки, но и как стиль поведения, всегда стремится угадать: «Чего желаете?» А угадать проще всего — низкое, примитивное, пошлое. Рок же многообразен и неожидан. Рождение рока как общественного движения странным образом совпало с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича». После Ивана Карамазова и толстовского Ивана Ильича, казалось, других Иванов, переворачивающих общее представление о жизни и смерти, совести и подлости, не появится в русской прозе. Ан появился! И так потом было с каждой книгой Солженицына. С каждым выступлением...

Буквальный перевод словосочетания «рок-н-ролл» рисует перед взором картину ворочающихся, сдвигающихся с места камней. Вот и у Солженицына одно из творений носит название «Из-под глыб». Оттуда, из-под глыб, из духовного андеграунда, разнёсся на весь мир его голос. И мир стал другим. Не намного лучше (он таким и за 2000 лет христианства не стал). Но в этом мире властно звучит голос пророка. Если же кто не слышит его, то никак не по вине Александра Исаевича, который в свои 85, сильно хвораю, каждый день работает и печатается почаше прежнего. Так что, желая Солженицыну «многая лета», можно быть уверенным: он ещё нас не раз, и совсем не по-стариковски, удивит.

Андрей Немзер

ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА*

Много раз Солженицын объяснял своим читателям, что он не политик, а писатель, его интересуют человек и мир (а разгадать и воплотить их доступно только художнику), а не те силы, что корёжат мироздание и унижают человека. Зачастую ему не верили. Не только убеждённые противники или суетливые приверженцы быстро меняющейся интеллектуальной моды, но и люди, признающие великое достоинство книг Солженицына, преклоняющиеся перед его жизненным подвигом, обязанные ему своим духовным взрослением. Застыла глаза многолетняя непреклонная борьба писателя с коммунистическим монстром — «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛаг» и «Красное Колесо» осмысливались лишь как оружие, использованное в этой битве. Поэтому, когда коммунизм пал, а Россия оказалась перед лицом новых исторических вызовов, много кому показалось, что проза Солженицына обернулась «литературным памятником». Это одно из самых печальных заблуждений нашей самодовольной эпохи.

Для тех, кто сейчас сосредоточился на полемике с новейшими публицистическими работами Солженицына, реальный смысл давно написанных рассказов, повестей, романов просто не важен.

Они не благодарны и не справедливы, но по крайней мере последовательны. Куда страннее смотрится почтительное признание «старых заслуг» при отчётливом небрежении самой сутью писательского дела Солженицына. Битва Солженицына с жестокой, лживой и подлой коммунистической системой всегда была битвой за человека. «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» не только рушили заговор молчания о советских преступлениях, не только заставляли увидеть воочию жуть лагеря и колхоза, но и свидетельствовали: *Не стоит село без праведника*. Явив нам лица и судьбы Ивана Денисовича и Матрёны Васильев-

* Публикуется по: Время новостей. 2003. 11 декабря. С. 10.

ны, Солженицын напомнил, что такое человек — свободный и в неволе, неповторимый, сотворённый по образу и подобию Бога. Используя ключевую метафору «Архипелага», должно сказать: душа для Солженицына всегда была важнее колючей проволоки.

Человек свободен, и нет ничего постыднее, чем посягать на его свободу, — превращать человека в раба, подвластного тем идолам пещеры, театра, рынка, о которых рассказывает Шулубин Костоготову в «Раковом корпусе». Идолы эти умеют менять обличья, как умели приспосабливаться к «своеобразию текущего момента» насильники, овладевшие Россией в 1917 году. Их дело удалось, потому что не хватило в стране людей по-настоящему свободных — свободных от самоупоения, своекорыстия и своеволия. Не хватило людей свободных, то есть ответственных.

Их не хватает всегда. В том же «Раковом корпусе» Костоготов совсем не зря проговаривает очень простую мысль: «И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут!» Как ни страшен коммунизм (а как он — посягающий на душу всякого человека — страшен, Солженицын объясняет в каждом своём сочинении), его крах не обеспечивает всеобщего процветания. Не только до и после капитализма, но и при нём люди не застрахованы от жадности. И неразрывно с ней связанных трусости, глупости, душевной мелкости. От привычки верить красивым посулам и жить заёмным умом, от эгоизма и слепоты. Политическая, гражданская, экономическая свобода даёт человеку (и состоящему из людей народу) право выбрать свой путь, но вовсе не гарантирует от срыва в кровавую бездну. Чем закончились десятилетия борьбы за русскую свободу, мнимым апофеозом которой стала Февральская революция, мы знаем. Об этом написано «Красное Колесо», не осмыслив демонический бег которого не поймёшь, откуда же взялся «Архипелаг ГУЛаг». Когда Солженицын с тревогой вглядывался в то посткоммунистическое будущее, которое стало нашим настоящим, он не отрекался от свободы и прав человека, но предостерегал от их фетишизации, от исторической забывчивости, от безответственности, что всегда (и не только в России) изнутри разъедает свободу, её дискредитирует, опошляет и обесценивает, торит дорогу к новому рабству. Чем отольются наши двенадцать свободных лет? Куда сегодня движется Россия? Кто виноват в реальных новейших бедах и как можно их преодолеть? Быть может, читай мы Солженицына внимательнее (не только «Архипелаг» и «Красное Колесо», но и «Раковый корпус», «В круге первом», рассказы, «крохотки»), ответы были бы яснее. А может, и вопросы выглядели бы иначе.

История не знает точных повторений, всякая аналогия хромает. Но, пытаясь осмыслить то, что было пережито нами в последние годы, по-

стоянно вспоминаешь солженицынские картины Февральской революции. Один из самых пронзительных эпизодов «Марта Семнадцатого» — беседа двух незаурядных общественных деятелей, кадетского лидера Шингарёва и сдвинувшегося вправо Струве. Они разговаривают 26 февраля, когда Петроград кажется застывшим в величественном покое, а уже начавшаяся революция никому не приметна. Тут и звучат слова, ныне не менее важные, чем в дни далёкой катастрофы: «Все мы Россию любим — да зряче ли? Мы своей любовью не приносим ли ей больше вреда?»

Многие оппоненты Солженицына любят Россию и желают ей процветания. (Об иных и говорить не стоит.) Невозможно требовать от них согласия со всяким частным тезисом писателя. Но печально становится, когда не замечают главных и неизменных мыслей Солженицына — о поединке души и колючей проволоки, о необходимости нравственного роста, раскаяния и самоограничения, о долге перед многовековой и многотрудной историей, забвение которой чревато превращением свободы в «нашествие гуннов на русскую культуру» (другая реплика Струве в том же эпизоде «Марта Семнадцатого»).

С далёкого 1962 года, когда в одиннадцатом номере «Нового мира» появился «Один день Ивана Денисовича», и по сегодня Солженицын напоминает нам о том, что существуют высшие духовные ценности, о нераздельности свободы и ответственности, необходимости каждодневной душевной и умственной работы, об изворотливости и многоликости зла, о силе и красоте свободного человека. Пройдя сквозь морок и ужас XX столетия, он не утратил ни веры в отечество, ни веры в человечество. Ни веры в нас с вами, что далеко не лучшим образом слушали великого писателя. Верит в наши бессмертные души, что должны одолеть колючую проволоку, в нашу способность к созидательному труду на долгом и тяжёлом пути выздоровления России. Любовь Солженицына к России и к нам, её детям, не должна и не может оставаться безответной. Всякий совестливый и мыслящий человек, для которого значимы слова *свобода, культура и Россия*, не отделяет их от имени Александра Исаевича Солженицына, от его страшной и прекрасной судьбы, от его крепящих душу и разум, влекущих вверх, живых и свободных книг.

Юрий Кублановский
НЕ УСТУПАЮЩИЙ ВРЕМЕНИ*

После появления в 1962 году в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» отечественная культурная и шире – социально-политическая жизнь в сильной степени стали развиваться под влиянием Солженицына. И это несмотря на то, что со второй половины 60-х книги его, перекочевав в самиздат, в тамиздат, стали, в сущности, доступны немногим. Но таково уже, как теперь выражаются, солженицынское «поле»: своим наличием оно влияло на действительность безусловно.

Да, так, как читали мы при коммунистической власти – так теперь никто уже не читает. В книге находили ведь сразу всё: истину, красоту, находили, наконец, сам русский язык, не загаженный идеологической ахинеей. А ведь нередко и книга была не книга, а в неуклюжей папке гора расплзающейся бледной машинописи – глаза испортишь, читая. В таком виде пришли к нам солженицынские «В круге первом» и «Раковый корпус». Но читали залпом, нередко и за полночь – и испытывали не сравнимое ни с чем волнение от дыхания свободного, неконъюнктурного слова. Читали, перепечатывали, переснимали, распространяли по мере сил и каждый – в меру своей отваги. Никого не пугали тогда большие объёмы, наоборот: чем *такая* книга толще – тем дольше радость общения с нею. Так читали не только Солженицына, а и других тогдашних настоящих прозаиков, но, кажется, только у него уловили как необычное: за текстом – дуновение духа, нам уже непривычного, известного лишь из книг лучших прежних, дореволюционных русских писателей. На глазах возрождалась, казалось, навек оборванная соцреализмом отечественная культурная традиция, где текст и автор конгениальны и нераздельны. Впервые, очевидно, самиздатовские герои зажили в нашем сознании своею жизнью наряду с классическими персонажами старых отечественных романов.

Но вот – вдогон прозе – стала появляться и солженицынская публицистика, «спровоцированная» на первых порах зажимом его литературного творчества. И – разжигала сердца, договаривала за нас то, что

* Публикуется по: Труд-7. 2003. 11–17 декабря. С. 6 (статья написана к 80-летию со дня рождения А.И.Солженицына). Для настоящего издания текст статьи авторизован и уточнён.

сами мы не умели столь огненно формулировать. А главное, давала надежду, что советская рутинная не вечна и не беспросветна. «Слепые поводыри слепых! – писал Солженицын по поводу исключения своего из писательского союза. – В эту кризисную пору нашему тяжелобольному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только держать и не пущать!» На дворе 1969 год, впереди новый этап жизни: зарубежная публикация «Архипелага ГУЛага» и высылка за границу.

Прошло, однако, 20 лет, освобождающееся от цензуры общество всё настойчивее требовало публикации на Родине солженицынских книг, а советские писатели продолжали тормозить их обнародование. В публикующихся уже в наши дни в «Новом мире» солженицынских «очерках изгнания» «Утодило зёрнышко промеж двух жерновов» упоминается, что когда в 1988 году приехавшие с Рейганом американские корреспонденты спросили у советских литераторов о Солженицыне, то «получили от Гранина и других: скучный писатель, реакционный, что его нет с нами – не потеря». Так мстили они своему «коллеге по литературному цеху» за его творческое величие.

За чужбинные годы писателем выполнена поразительная работа: в многотомной эпопее «Красное Колесо» исследован и в высокохудожественной форме изложен феномен российской революционной катастрофы – со всеми его идеологическими корнями, террористическими пертурбациями и криминальными перипетиями. Писатель выступил в отношении революционной нашей истории в качестве не столько даже летописца, сколько... «частного детектива» и скрупулёзно и мудро расследовал то, что казалось навсегда погребённым под историческими завалами.

К сожалению, эпопея оказалась обнародована в России, когда здесь начался «новый Февраль», «Третья Смута» – и россиянам было уже не до чтения книг такого объёма. Но ежели есть у России культурное будущее – появятся заинтересованные читатели и у «Красного Колеса». А страницы отречения государя или Самсоновской катастрофы в 1914 году должны изучаться в школе наравне со страницами Гоголя, Толстого и Достоевского.

...Пока Солженицын жил в американском штате Вермонт, а здесь – и не без влияния его книг – начались ощутимые перемены, отношение к нему соотечественников дробилось в очень широкой амплитуде: от убеждённости, что вернётся, возглавит, вытянет и спасёт, – до ревностного страха, что, вернувшись, помешает «демократическому развитию» и соответственно новой общественной карьере «Гранина и других».

Вышеупомянутые «очерки» дают откровенную доверительную картину солженицынских сомнений, колебаний и осмыслений рубежа 80–90-х годов. И отвечают на, кажется, и по сей час в воздухе висящий вопрос: почему не приехал раньше, не «вытащил» и не «спас»? А ответ прост: воздействует писатель — по определению — *словом*: художественным, публицистическим, философским. Когда такое воздействие есть — слово эффективно и споспешествует общественному выздоровлению. Когда в силу определённых причин (часто и без вины писателя) воздействие слова слабеет, писателю — сверх слова — ничего уже не поделать.

Кроме того, замечает Солженицын в 1991 году, «в России и прежде — а в нынешней заверти особенно — влиять на события, вести их может только тот, в чьих руках поводья власти. И для всякого — и для меня, если б я сейчас нырнул туда мгновенно, — единственный путь повлиять — пробиваться к центру власти. Но это мне — и не по характеру, и не по желанию, и не по возрасту. Так — я не поехал в момент наивысших политических ожиданий меня на родине. И уверен, что не ошибся тогда. Это было решение писателя, а не политика. За политической популярностью я не гнался никогда ни минуты».

Из эмигрантского далёка разглядеть и уяснить себе истинную картину происходящего было тогда непросто. И тут-то сидя, мало кто что понимал. Интеллигенция «не заметила» ни колоссальных геополитических потерь, ни миллионов русских, забытых в новообразовавшихся карликовых националистических государствах, ни баснословного мародёрства — под видом приватизации — на постсоветском пространстве. Так при заклинаниях о «демократии» формировался олигархический компрадорский режим. Кто тут видел трезво реальность? Считанные единицы. И литераторы в большинстве своём отдались этому так же, как некогда советизму. Появилась своя культурно-идеологическая элита, или, как сейчас говорят, «тусовка», по виду независимая, а по сути обслуживающая новых хозяев и ими щедро прикармливаемая.

«А где же были в России русские патриоты? — спрашивает Солженицын. — О, горе: нынешнее патриотическое движение безнадежно переплелось с коммунизмом, и, видимо, им не расплестись. “Фонд Национального Спасения” возгласил в октябре 1992 — “историческое примирение белых и красных”. За *кого* мирились? И где среди них были *белые*?»

Так что вернись тогда Солженицын — его буквально по-носорожьки затоптали б и слева и справа. А потом ещё и обвинили бы во всех неудачах. Как, впрочем, улюлюкают и сегодня — равно в «Нашем современнике» и

«Московском комсомольце», бесстыже передергивая и перевирая его тексты, мировоззрение и судьбу.

Правда, драматизм жизни научил Солженицына относиться к «общению» с внешним миром словно к стратегически выстраиваемой операции. Но — как верно сказал Бальзак — гений не может не быть простодушен и откровенен. А потому стратегия и прямотушии находятся у Александра Исаевича в своеобычном и антиномичном взаимодействии, с которым в насквозь циничной российской политике последнего времени ему было делать нечего. «Из-за того, что Россия — так неожиданно? — и с такой быстротой стала падать в разбой и нищету — пережил я с 1992 года такую ломку мироощущения, какую нелегко выстоять, когда ты старше 70 лет», — признаётся писатель.

И тем не менее по возвращении в Россию в 1994 году он пишет несколько замечательных литературных произведений. Особенно сильное впечатление производят его «армейские рассказы» — об обречённости молодого и независимого русского офицерства, сформировавшегося за время войны, и чудесные «крохотки» — развивающие традицию тургеневских «стихотворений в прозе».

Вышедший в самые последние годы исторический двухтомник «Двести лет вместе» — о русско-еврейских взаимоотношениях — масштабно «растабуировал» эту почему-то запретную прежде тему и ещё ждёт осмысления.

...С трудом вмещает сознание: как один человек смог — пусть и за долгую, но столь богатую на драматичные «отвлечённости» от писательства жизненную стезю — столько сделать? Ответ: в неутомимой работоспособности и творческом горении, которое приходит не в виде вдохновенных, но кратких и редких вспышек, но носит протяжённый характер. Солженицыну есть что сказать, и, кажется, сколько страниц он ни испиши, ещё больше остаётся за текстом. И вечная подпитка — чувство России. Как писал зэк Солженицын, обращаясь к Родине в Экибастузском лагере в 1952 году:

Детишки промёрзлой репою
Питаются к февралю, —
Безжалостную, нелепую,
За что я тебя люблю?
Всю, всю сквозь мельканье частое,
Снежинок звёздчатых кишь,
Я вижу тебя, несчастную,
Какая ты вдаль лежишь.

Многие ли писатели имеют сегодня такое видение? И всё меньше тех, кто осознаёт своё писательское дело как миссию и служение. А без этого откуда братья настоящей русской литературе?

Глядя уже не на застой, а «отстой» современной литературы, для которой, кажется, не существует теперь ни чёрта, ни Бога, невольно приходишь к печальной мысли, что Солженицын — последний отечественный писатель такого масштаба: нет уже почвы, на которой всходили бы такие люди.

Он — зримое связующее звено между Россией прошлой и чаемой. Пожелаем писателю сил, ясности и здоровья.

Виктор Линник
ИСПОЛИН*

Есть ли пророк в своём Отечестве? Вопрос, на который до сих пор нет утвердительного ответа. А ведь вот он, рядом с нами уже которое десятилетие возвышается, как Монблан, над водоворотом мелких страстей и политических дрызг, над морем лжи и бездушного накопительства, над пропастью бедствия народного. Он остаётся человеком, которому судьбой и всей его жизнью уготована счастливая, хотя и непомерно тяжёлая участь: говорить своему народу и его вождям правду.

Он нёс горькое слово правды вчера, он, не колеблясь, произносит его и сегодня. Вчера был ненавидим властями, обречёнными его на 20-летнее изгнание. Не удобен оказался он и новым, демократическим, давно лишившим его слова в телеэфире, впрямую подвергающим его травле в своих СМИ. Почему? Да потому, что он может с полным правом повторить вслед за Пушкиным:

«И неподкупный голос мой был эхо русского народа».

А когда у нас давали слово народу? Вчера можно было во всеуслышание разве что хором славить «коллективную мудрость партии» и её «вождей — верных ленинцев». Сегодня новые хозяева СМИ позволяют столь же слаженным хором воспевать «реформы» — кодовое слово для обозначения в корне несправедливого уклада новой жизни. Выпускают в полностью подвластный им теле- и радиоэфир отобранных людей, среди которых русские наперечёт.

Александр Исаевич Солженицын — последний великий русский писатель в том понимании, в каком перешло оно к нам из века XIX, — учителя, народного заступника, выразителя заветных мыслей и чаяний безгласного народа. Наш современник, который во весь голос сказал о чередующихся трагедиях, что произошли со страной и с народом в XX веке.

Всё, всё подверг он осуждению в своих бесчисленных произведениях — революцию, Гражданскую войну, коммунизм, террор, страшную цену победы в Великой Отечественной войне и то, как медленно захлебнулась и рухнула прежняя система под бременем собственного неизбежного перерождения. Но и после 1991 года Солженицын не стал в ряды идео-

* Публикуется по: Слово. 2003. 19–25 декабря. С. 11–12.

логической obsługi новой власти, на что она очень рассчитывала после его возвращения в Россию. Писатель осудил и грабительский характер приватизации начала 90-х, и чудовищный разрыв в доходах между кучкой богатых и массой обездоленных, и тотальную коррупцию чиновничества, и реформы без смысла и без оглядки на народ, и продажу земли, и развал некогда великой страны. Отказался он и от награды, которой собирался отметить его Ельцин...

Жить не по лжи призвал он Россию. «Не по лжи? — переспросил в недавнем юбилейном, невнятном, минут на 30 фильме на первом канале сытый и самодовольный Олег Табаков. — Это трудно, но можно попробовать». Вот и весь ответ, на который сподобилась нынешняя интеллигенция, — «можно попробовать»! Солженицын для такой интеллигенции — чуждая фигура, ей не подняться до него, не осилить всей мощи его натуры, не вобрать в сознание величие его характера и его жизненного подвига.

Солженицыну сегодня абсолютно ясно, что вся его титаническая борьба с советской системой завела Россию не туда, и сама победа оказалась вовсе не «победой», и плоды её присвоены совсем не теми. «Среди верхушки новоявленных, — признавал он, — различалось лишь 5–6 человек, которые прежде боролись против коммунистического режима». А теперь, добавим, уже и этих не наберётся. Верно, что уже в прошлое десятилетие «вермонтский отшельник» предупреждал, как бы не погребли Россию под обломками прежней системы. «Часы коммунизма своё отбили. Но бетонная постройка его ещё не рухнула. И как бы нам вместо освобождения не расплющиться под его развалинами» — этой тревогой начинал он в 1990 году свою работу «Как нам обустроить Россию?». Хотя, признаем честно, этот вопрос диссидентам и борцам с тоталитарным коммунизмом — а Солженицын среди них был самым заметным! — можно было задавать себе и десятую, и двадцатую годами раньше. Но тогда, в запале многолетней схватки с несокрушимым, казалось, колоссом советской системы, было не до этих тревог и вопросов — всё подчиняла себе неумолимая логика борьбы не на жизнь, а на смерть. «А теперь — и все признают, что Россия — расплющена», — как приговор произнёс он в предисловии к своей книге «Россия в обвале» в 1998 году. Вот так и вышло. Как очень точно и горько заметил кто-то по поводу деятельности диссидентов и борцов за освобождение от тоталитарного прошлого: «Метили в коммунизм, а попали в Россию».

«Русский народ обронили», — брался Солженицын усостить властителей. Какое там! Разве есть до народа дело новой элите, жадно

набивающей карманы, судорожно распихивающей ворованное по заграничным банкам и офшорам, отсылающей своих чад, жён и любовниц в заморские края?

Ясно, что не хотят его слушать, сделали изгоем в очередной и последний раз. До бешенства, до иступления, до желудочных коликов дошли нынешние «властители дум» при выходе двухтомника писателя «Двести лет вместе» — хроники очень непростого совместного проживания русских и евреев за последние два века. Как и предвидел сам Солженицын, пропагандистский огонь открыли обе стороны. Писателю пришлось отвечать — в который уже раз за свою долгую жизнь! — на несправедливые обвинения.

Легко вообразить, как в отдалении времён будут посыпать голову пеплом все те, кто сегодня намеренно и нагло игнорируют его! Отсекают от любых попыток прорваться со своим словом к людям! Как будут снова ставить его себе на службу штатные пропагандисты и пиарщики, которые ныне и шагу ему не дают ступить! Те, кто и посегодья травит его как русского националиста и шовиниста. Достали из кагэбэшных архивов все зачатки советских времён и пускают их в новый оборот — он и «поддельный фронтовик», и «лагерный стукач», и «антисемит»! «Осталось, кажется, одно, что не подвергли сомнению новые гонители, — с горькой усмешкой подытожил Солженицын, — что я получил диплом об окончании университета».

Зато ясно видится, с каким пафосом и придыханием те же самые персонажи будут среди первых вещать нам в будущем о «совести нации»! Как снова будут пытаться ставить его творчество и его жизненный подвиг на службу себе, своим низменным и подлым интересам!

Но и сегодня полностью замолчать юбилей патриарха отечественной словесности оказалось неудобным. Отметим, пусть и строго дозированными фильмами на двух госканалах (хотя обратила на себя внимание добротной сделанная лента С.Мирошниченко на Втором канале), отбились короткими сюжетами в аналитических программах — и всё, закрыли юбилей. Неудобный он, Солженицын, опять скажет не то, что нужно, опять вырвется у него резкое слово правды. Впрочем, иной раз кажется, что не нужна она не только верхам, но и обездоленному, оболваненному народу, который скорее предпочтёт «оттянуться» на очередном «Аншлаге», чем забивать себе голову построениями Солженицына. Дескать, зачем бередить душу его болью за Россию?

Поистине трагическая судьба пророка! Жестокая непонятость!

Нет ничего для него горше, чем видеть под занавес жизни теперешнее состояние страны и наблюдать незавидную долю её народа. В этом — высокая трагедия его судьбы!

Противоречивый, непоследовательный, мятущийся — таков Солженицын во многом. Ну вот никак не мог признать гениального Михаила Шолохова автором «Тихого Дона», с пылкостью доказывал нам, что это — плагиат, ворованное то ли у Фёдора Крюкова, то ли у кого-то ещё. Никак не мог простить вёшенцу публичное осуждение собственных диссидентских увлечений. Вопрос теперь — после обнаружения рукописей «Тихого Дона» — закрыт. Упрекать ли теперь Солженицына за это?

Примечательно, что в художественных произведениях Солженицына почти невозможно найти картин и пейзажей лета — там всегда морозящая осень, стылая зима. Влага, сырость, морок...

Поразителен его жизненный путь — сын богатых до революции родителей, выпускник физмата Ростовского университета, страстно увлечённый марксизмом, капитан Советской армии, позволивший себе критиковать Верховного главнокомандующего, в результате чего ставший бесправным эком в течение долгих 8 лет, потом спецпоселенцем в забытом Богом Джезказгане, учителем в Рязани. Но, как теперь принято говорить, матрица, заложенная в нём Богом и собственной волей, давно вознесла его из мрачных пропастей ГУЛАГа в ряды первых не только российских — мировых знаменитостей.

Как истинно русский, а стало быть, максималист, он нарисовал нам в своих многочисленных произведениях картину страны, в которой одни сидели, а другие охраняли. Всё! Чёрно-белая, предельно жёсткая графика его видения России могла взывать лишь к одному: только к слову, только к уничтожению всей государственной машины, ибо на фоне ЗЛА таких масштабов любые улучшения и реформы её и бессмысленны, и невозможны! Но слом системы означал и уничтожение государства, ибо страна и система не просто переплелись — система и была государством. Вот почему развал КПСС в ходе перестройки неминуемо повлёк за собой и развал страны. Личная война Солженицына со Сталиным и с коммунизмом обернулась — пусть и против его воли — его персональной вендеттой стране.

Именно за это писателя так пылко возлюбили, сделали своим знаменем во время оно те из шестидесятников и диссидентов, которые, в отличие от Солженицына, ненавидели не просто систему, а как раз страну. Которые и сегодня, как Шендерович, заверяют нас с экрана НТВ в том, что «тысячелетиями текло по России имперское дерьмо». Хотел ли сам Солженицын крушения империи? Его глубоко национальное, русское мировоззрение позволяет дать однозначный ответ: нет, не хотел. Не мог хотеть. Художник и мыслитель такого масштаба, как Солженицын, должен был понимать, что страна с великой тысячелетней историей, тради-

циями, культурой, трагедиями и победами всегда больше, крупнее, чем любая, навязанная ей вчера или сегодня, политическая система.

Поначалу он рассматривал Октябрь 17-го как дикую аберрацию, как гигантский вывих на историческом пути России. Как трагический сход страны с собственного, самобытного исторического развития. Но потом в «Красном Колесе» признаёт: трагедия 17-го подготавливалась полувековым заигрыванием русской интеллигенции с идеями свободы, её самозабвенной борьбой с монархией, да и слабостью самого самодержавия.

Но, осудивший страну и её систему, поклявшийся люто расправиться с ней за унижения и оскорбления, нанесённые лично ему арестом и тюрьмой, Солженицын и себя на всю жизнь открыл для столь же пристрастного суда. Его не любят не только либералы как человека, сказавшего уже в Новейшее время всю суровую правду о них, — а ведь они так себе нравились! Ну как же — истинные борцы, самозабвенно бившиеся за свою свободу слова, за свои права человека, за свой рынок! А Солженицын резко не приемлет созданную ими систему — «власть олигархии» называет он её; знает он и истинную цену этим борцам.

И многие нынешние консерваторы-патриоты, люди из совсем другого лагеря, с большой настороженностью относятся к писателю как к ниспровергателю основ, как к одному из тех, кто внёс решающий вклад в разрушение страны. Не приемлют его двухмерного видения советского мира, в котором не оставалось полутонов, не было места для неистребимого цвета жизни, который пробивался всюду — и на воле, и на этапе, на комсомольских стройках и на общих работах в лагере.

Увы, удел любого великого человека — возбуждать сильные страсти; беззаветная любовь и откровенная ненависть соседствуют рядом.

Никто из моего поколения не забудет того потрясения, которое охватило нас, когда мы поздней осенью 1962 года, занимая «Новый мир» на ночь, обаявшись передать уже затёртый номер журнала назавтра утром следующему читателю, в один присест проглатывали «Один день Ивана Денисовича». Думаю, многие согласятся с тем, что переворот, произведённый этой книгой в душе и в сознании десятков и сотен тысяч людей по всей стране, стоит в ряду самых сильных потрясений их жизни. «Один день» был и остался больше, чем просто книга, — это было откровение, удар, шок. Настолько сильны были заключённые в ней правда, боль, великое чувство свободы.

Солженицына корили многие — и тогдашняя критика, и даже единомышленники — за то, что в центр повествования он поставил русского мужика, а не их — интеллектуалов, цвет мысли, столпов передовых

идей, пламенных борцов со сталинщиной. Но для Солженицына с самого начала трагедия эпохи была в первую очередь трагедией народа, а уж потом — партийных и чекистских кадров вместе с прослойкой под названием «трудовая интеллигенция».

Выпустить эту повесть в печать — лучшее, по многим оценкам, литературное творение Солженицына — помогли несколько человек из тогдашних верхов. А.Твардовский был его первым редактором в «Новом мире»; помощник Хрущёва Лебедев был тоже за то, чтобы немедленно печатать «Один день». Он долго подготавливал своего патрона, наконец, подsunул ему рукопись. По воспоминаниям, Хрущёв, прочтя повесть в одну ночь, плакал над ней и тут же дал ей зелёный свет. Без помощи этих людей из высших слоёв тогдашней номенклатуры Солженицын, возможно, так и остался бы писателем, широко известным лишь в узких диссидентских кругах. Понятно, что Хрущёву в начале 60-х годов очень нужна была подпорка для продолжения десталинизации и для борьбы с набиравшей силу и крепнувшей день ото дня оппозицией его курсу. Мощное слово Солженицына пришлось советскому вождю очень кстати.

Один из ведущих советских критиков — Ермилов, чьё мнение в литературных кругах считалось в те времена истиной в последней инстанции, объявил во всеуслышание, что в лице Солженицына в русской литературе явился новый Толстой.

Не один маститый литератор, увенчанный литературными чинами и званиями, исполнился тогда завистью при виде столь стремительного и блистательного прорыва в большую литературу нового имени. Из небытия, из бездн ГУЛАГа, из ракового корпуса в казахстанском поселении, из рязанского учительства прорвался недавний зэк и капитан Солженицын в первые ряды тогдашних советских писателей. И.Эренбург мрачно пророчествовал: падение Солженицына будет таким же стремительным и громким, как и его взлёт. Он оказался прав, но только наполовину. Александр Солженицын пережил и тот взлёт, и последующее насильственное изгнание. Но дождался он и ещё одного умопомрачительного взлёта и триумфального возвращения на Родину. Верно сказано: в России надо жить долго...

Солженицын — писатель, исследователь, публицист, романист, моральный и нравственный исполин, вставший вровень с трагическим веком. Со времён Толстого и Достоевского не было у нас фигуры такого гигантского масштаба. «Природа-мать! когда б таких людей / Ты иногда не посылала миру, / Заглохла б нива жизни», — сказал прославленный Некрасов о человеке куда менее значимом. Слова эти полностью приме-

нимы к Солженицыну. «Моральные качества выдающейся личности имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения, — писал А.Эйнштейн. — Последние зависят от величия характера в значительно большей степени, чем это обычно принято считать».

Людмила Донец
КРУГ ПЕРВЫЙ*

Фильм о Солженицыных

У меня на кухне тридцать лет висит такая прямоугольная коробочка — радио России. Много хорошего, интересного из неё невзначай, по ходу хозяйственных забот можно услышать. А подчас услышишь и чрезвычайно удивительное. Сообщают, к примеру, что самую знаменитую брюсовскую строку «О, закрой свои бледные ноги» написал Игорь Северянин. Но это даже трогательно. Понимают, что без русских поэтов крем для ног не впарить.

Но тут давеча в полуновостной утренней программе (это такие, где журналисты рассказывают не о самых главных новостях как о мелочах собственной жизни) услышала и вовсе убойную информацию: «Сейчас вот, во время юбилея Макаревича, случился ещё и день рождения у Солженицына».

Ну всё. Приехали. «Всё теперь на шарике вкривь и вкось, шиворот-навыворот, набекрень. Что мы с вами думаем — день, то ночь, а что мы с вами думаем ночь — то день».

Нельзя сказать, чтоб и телевизор совсем забыл 85-летие Александра Исаевича. Были репортажи и репортажики на тех каналах, кому это не совсем противно. И даже «Культура» расщедрилась — почитала «Случай на станции Кочетовка». А ведь эти могли бы выступить «ширше и глыбже».

И какой бальзам, что на фоне Андрея Макаревича государственный канал «Россия» показал о Солженицыне благородный и достойный фильм «На последнем плёсе» одного из лучших наших документалистов, Сергея Мирошниченко!

Фильмы С. Мирошниченко всегда отличала крупность замысла. Даже когда он снимал об оленях в тундре, это был образ большой человеческой катастрофы. Обратившись к истории, Мирошниченко, как прави-

ло, выбирает темы трагические, где есть, однако, преодоление трагедии — временем ли, памятью людей, мужеством ли отдельного человека. «А прошлое кажется сном». «Убийство императора. Версии». «Георгий Жжёнов. Русский крест».

И Солженицына Сергей снимает не впервые. Но эта картина особенная. Во-первых, она юбилейная, праздничная. Но юбилей не 40 и не 50, а 85 лет. Недаром лента названа жёстко: «На последнем плёсе». И тем не менее в ней есть ощущение устойчивой гармонии, дыхание вечности. Конец жизни — это широта горизонта. Конец — это только начало.

Во-вторых, о Солженицыне уже многое сказано. И режиссёр выбирает, казалось бы, узкий, но самый главный и самый ближний круг героя. Круг первый. Собственно, это фильм не только о Солженицыне, но о всех Солженицыных — жене, сыновьях, внуках. Такой семейный портрет в интерьере и на пленэре.

Как говорит сам Солженицын: главные ценности в жизни — это семья и вера. И если семья — это очевидность фильма, его персонажи, то о вере не говорится словами ничего, просто фильм пронизан светом веры, невечерним светом, при котором кажется, что не только люди, но и большая чёрная мохнатая собака, внимательно слушающая интервью, и деревья в саду в Троице-Лыкове, где живут Солженицыны, и даже деревянная скамейка — все имеют свою светоносную сущность и охотно делятся ею с теми, кто смотрит на них.

Надо сказать, что после фильма «На последнем плёсе» (19.00) канал «Россия» в «Вестях» показал хороший репортаж о Солженицыне, с большим количеством людей, с воспоминаниями о разных годах жизни Солженицына. И я всё прикидывала: чем отличается хороший документальный фильм от хорошего репортажа? Думаю, глядя на работу Сергея Мирошниченко, тем, что репортаж мчится, а фильм — парит.

В композиции «На последнем плёсе» есть два, надо полагать, ранее снятых эпизода: взволнованное возвращение семьи Солженицына в Россию — в самом начале картины и встык — смысловой кусок, определяющий самочувствие Солженицына в этой новой России — один в поле. Солженицын снят на трибуне в Государственной Думе. Он выступает и говорит о чиновничьем произволе, а снято это так, будто вокруг писателя не думские ряды, а обширное пустое голое пространство.

Остальное — сольные партии жены, сыновей и, конечно, самого Солженицына. Ведь телевизионный документальный фильм особенно бли-

* Публикуется по: Литературная газета. 2003. 24–30 декабря. С. 10.

зок литературе, лирике литературы. Главное в нём — рассказы героев о себе, монолог об обстоятельствах жизни, о судьбах. И хорошо, когда, как в фильме Мирошниченко, слово не засорено, выразительно, свежо и портретирует человека без утайки и без деклараций.

Режиссёр (за кадром, что правильно) задаёт героям точные вопросы, и из ответов складываются судьбы и характеры. Игната, который стал пианистом и дирижёром. Степана, американского бизнесмена, живущего в Нью-Йорке, совершенно свободного в этом огромном высоченном городе и вместе с тем с русской отметиной: он переходит улицы, забитые транспортом, где попало и, главное, считает, что это логично. Ермолая в окружении кучи-малы своих детей. И жены Александра Исаевича Натальи Солженицыной, которая на вопрос о том, как она решилась взвалить на себя такую ношу: разделить столь трудную судьбу и ещё родить и воспитать трёх сыновей, отвечает, светясь и улыбаясь (мол, что же тут странного?!): «Я его люблю, и мне с ним всегда интересно». И ещё о детях: «Если тебе Господь вложил живую душу в ладони, неужели ты ему её не вернешь?»

Да, это очень просто: счастье, которое возделано трудом своей души. Жизнью не по лжи. И какие они все красивые! И Игнат за дирижёрским пультом, и Степан на улицах Нью-Йорка, и Наталья Дмитриевна в комнатах Троице-Лыкова. И не сказать, что классические черты лица. Просто в них жизнь и свет.

И конечно, сам Солженицын. Он сидит на скамейке в своём Троице-Лыкове, в саду. В обыкновенной светло-серой рубашке, но какой-то особенно выглаженной, особенно накрахмаленной. Ведь праздник. Да какой! 85 лет. Казалось бы, жизнь давно прожита и рассказана. А какой же крепкий этот человек! Какая ровная спина! Какой молодой румянец! Какие упругие морщины, как боевые шрамы! И говорит Солженицын в этот раз не с обычным напряжением всегда готового к бою, закалённого полемиста, а как-то расслабленно, с усмешкой всё повидавшего человека.

Ведь Солженицыну по возвращении в Россию не простили двух вещей. Во-первых, он так сражался и потерпел от коммунизма, отчего же он не встретил ликованием нынешнюю блистательную демократию? Думали, что он разместится где-нибудь между Чубайсом и Немцовым и будет славословить новую либеральную империю, где всего-то (по скромным, щадящим подсчётам самих либералов) 30% населения от 140 миллионов живут ниже черты бедности, а все остальные — средний класс со ста долларами в месяц. А он туда же, опять критиковать, всё ему нехорошо, всем он недоволен.

Но и это бы ладно. Да вот взялся русский писатель и написал два тома о русско-еврейском вопросе в России. Коснулся «приватизированной» темы. Да как он посмел? Да кто он такой?

Напоминаю для тех, кто забыл. Он — Александр Солженицын.

Книга его «Двести лет вместе» поразительна. Это глубочайший исследовательский труд учёного, скрупулёзно, с научной объективностью, а не просто с публицистическим пафосом выясняющий всё плохое и хорошее в этой двухвековой жизни вместе. Но у нас нынче повелось: как взялся за проклятый вопрос, так антисемит, фашист и вообще сукин сын. А русофобия — пожалуйста. Жираф большой. Он стерпит.

Да, Солженицын не космополит. Напротив. Видит в цветении наций цветение сложности человеческой. Вот что он сказал в своей Нобелевской лекции: «Исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщённые личности его; самая малая из них несёт свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла».

Да, мировое правительство Солженицын считает ужасом и предполагает, что Америка, которая устанавливает сейчас во всём мире свой порядок, плохо кончит. Но и на вопрос об особом пути России, которого так пугаются либералы, отвечает: как у каждой нации, каждой страны, тем более у такой безмерной, как Россия, есть свой особый путь. Но в этом и слава, и опасность для России.

И тем не менее, конечно же, Россия — любовь его, и как её обустроить — боль его.

Солженицын отвечает на вопрос Мирошниченко о книге «Двести лет вместе» совершенно мирно: «Я получил благодарные письма от крупных еврейских мыслителей и деятелей. А всякая мелочёвка, не делая никаких замечаний по существу, обзывала меня так, как меня честили только в КГБ, когда сажали в ГУЛАГ».

Надоело ему уже это. Скучно.

К финалу фильм «На последнем плёсе» собирает всех Солженицыных: отца Александра, мать Наталью, сыновей Игната, Степана, Ермолая и кучу внуков. Они усаживаются в два ряда и фотографируются на память. Большая такая семья. Святое семейство. Крепкое родовое древо.

И заканчивается фильм довшенковским символом. Гибкие ветки яблони смотрят прямо в камеру, смотрит густая листва, смотрят крепкощёкие яблоки, омываемые дождём.

У Пришвина были некогда знаменитые слова: «Искусство как поведение». Они, эти слова, так похожи на Солженицына. Его творчество — это продолжение его жизни. Жизни не по лжи.

Так жить — нужно.

И что бы там ни было, сам Солженицын может сказать о себе словами поэта:

И всё ж я прочное звено.

Мне это счастье дано.

Часть третья

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН:
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА. К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ»

(Москва, 17–19 декабря 2003 г.)

Юрий Лужков
МЭР МОСКВЫ

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН:
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА. К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ»

Сердечно приветствую организаторов и участников Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества. К 85-летию писателя».

А.И.Солженицын – не только продолжатель традиций великой русской литературы, но и человек, отличительными качествами которого были и остаются огромное гражданское мужество, негибаемая воля, яркий и мощный литературный талант.

Уверен, что конференция, посвящённая изучению творчества Солженицына – писателя, историка и мыслителя, внесёт свой значимый вклад в отечественное и мировое литературоведение.

Желаю участникам конференции плодотворной работы и творческих успехов.

17 декабря 2003 года



Юрий Осинов

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН:
ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА»

Конференция, посвящённая творчеству писателя, — всегда факт особого признания места этого писателя в истории, неопровержимое свидетельство того, что его роль и значение требуют этапного осмысления, а произведения — всесторонней и взвешенной оценки. Роль и значение Александра Исаевича Солженицына в истории России XX века безусловно огромны. Весьма характерно, что его творчество как бы завершает эту, пожалуй, одну из самых драматических эпох в истории человечества, одну из самых трагических страниц в истории России. Даже на самый первый взгляд становится очевидной неслучайность судьбы писателя и её неразрывная связь с судьбой его страны, с самыми главными её вехами. И конечно, с наибольшей яркостью эта связь проявляется в творчестве Солженицына, каждое новое произведение которого словно расширяет горизонты во времени, ставит новые проблемы, разрешает новые «узлы» русской истории.

Так за Отечественной войной и ГУЛАГом в книги Солженицына входит революция и Первая мировая война, а в последнее время один из самых крепких «узлов» в истории России, которому посвящён двухтомник «Двести лет вместе». И всегда, в каждой новой книге это история борьбы со злом, правды с ложью, это оценка событий и поступков людей с самой высокой, религиозно-нравственной точки зрения, право на которую писатель заслужил всей своей жизнью, драмы и страдания которой неотделимы от страданий и драмы его страны.

«Мы не врачи, мы — боль», — сказал когда-то о русских писателях А.И.Герцен. Любовь и боль Солженицына, как и всей великой русской литературы, — Россия. Но, как и другие великие русские писатели, сострадавшая русской боли, он стремится к исцелению России, врачеванию её и, основываясь на изучении, исследовании её трагической судьбы в

своём художественном творчестве, пытается указать пути такого врачевания в своей публицистике. И не случайно многие доклады открываемой конференции посвящены связям творчества А.И.Солженицына с классической русской литературой XIX века, с духовным наследием Гоголя, Льва Толстого и Достоевского.

Приветствуя открытие Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества», приуроченной к 85-летию писателя, я хотел бы от всей души пожелать успеха всем её участникам, а главному герою конференции ещё раз пожелать здоровья и долгих лет жизни во имя России и на благо России.

17 декабря 2003 года

Никита Стфуве
ПАРИЖ

ЯВЛЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА. ПОПЫТКА СИНТЕЗА

Моё выступление выходит за кадр темы конференции «Проблемы художественного творчества». Озаглавлено оно, пожалуй, слишком громко. Я не чувствую себя способным, особенно в двадцать минут, синтезировать такое огромное явление, как Солженицын. Скорее это будет введение в тему, попытка понять и поставить вопрос: в чём «огромность» явления Солженицына? Этот вопрос стоит перед нами с появления «Ивана Денисовича»... Ещё в 73-м году известный критик и «сиделец» российских и немецких лагерей Пётр Равич ставил этот вопрос и пытался на него ответить.

Мне придётся выйти за пределы чисто художественных проблем творчества, из убеждения, что литература тогда велика, когда перерастает собственные границы. Я не раз выступал на эту тему, и отправной точкой моих выступлений было напоминание, что Солженицын в детстве мечтал попеременно быть писателем, священником и военачальником. Мечта сама по себе поразительная, но ещё больше тем, что она осуществилась. Она показывает на изначальное, с детства идущее тяготение к «универсальности», стремление воплотить основные три призвания человека (к которым, кстати сказать, прибавится четвёртое, отчасти извне, в силу обстоятельств, призвание учёного). Об основных трёх призваниях: писатель, священник, военачальник — французский поэт Шарль Бодлер писал, что эти три профессии — единственные, которые заслуживают уважения. Все остальные «годятся для конюшни». Поэт, писатель — творец, приносящий своим творчеством жертву Богу («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»); священник по самой своей функции жертвоприноситец, а военачальник себя приносит в жертву. Все эти три призвания включают в себя момент жертвы, и потому они одни, по Бодлеру, достойны уважения. Такую сходную трюичную формулу применил к Александру Исаевичу Варлам Шаламов после выхода «Ивана Денисовича». Шаламов надписал на книге своих стихов, которую подарил Солженицыну: «В знак бесконечного восхищения Ва-

шей художественной, общественной и нравственной победой». Но волей Провидения все три призвания Солженицына были отсрочены на целых пятнадцать, а то и двадцать лет. Разумеется, верховное призвание, писательское, пробивалось неотступно, с самого начала, затем во время сидения на шарашке и в ГУЛАГе, по необходимости в виде рифмованных строчек, «чтобы запомнить». Александр Исаевич — писатель до мозга костей, он живёт словом на всех уровнях жизни, включая и бытовую. Помню, как в Вермонте я получал от Александра Исаевича краткие записки, в которых, казалось бы, незначительные слова, написанные по пустячному поводу, играли всеми своими цветами.

Религиозное призвание оборвалось в юношеские годы, когда «без грохота, тихо рассыпалось здание веры в моей груди», вплоть до одновременно роковых и спасительных месяцев 1952 года.

Мы знаем, с какой страстью, с каким упорством Солженицын в начале войны добивался быть призванным в армию. Военачальническое призвание было грубо оборвано арестом в самый успешный момент, когда он был представлен к ордену Красного Знамени. Связанное с ним чувство власти проявилось, как сам Александр Исаевич писал в «Архипелаге ГУЛага», ещё и тогда, когда в момент ареста он почувствовал своё капитанское право на верховодство, поручив арестовавшим его нести его чемодан.

Для исполнения всех трёх призваний — и в этом я вижу объяснение «огромности» и уникальности явления Александра Исаевича — потребовалось не только восемь лет лагерей, но ещё, вдобавок, раковая опухоль, умирание, затем несколько лет безвестной ссылки. Это оказалось условием, чтобы стать не просто писателем, пусть и хорошим, а писателем-явлением, писателем-пророком. Я не боюсь этого слова, а дальше постараюсь его пояснить и оправдать. Всякое большое писательство, в частности в русской традиции, связано с пророческим моментом, с чем-то большим, чем литература. Чтобы стать писателем-пророком, чтобы стать стратегом, в данном случае стратегом без внешней власти, точнее, против власти, надлежало пройти все круги ада, через согласие на умирание, через принятие его как блага. Все мы помним парадоксальное обращение Солженицына: «Благословенна ты, тюрьма», все мы помним, что «на гниющей тюремной соломке он ощутил в себе впервые шевеление добра». Меньше, может быть, мы знакомы с тем определением счастья, которое Александр Исаевич дал в одной из телепередач во Франции с Бернардом Пиво (цитирую по памяти): «Когда врачи мне сказали, что мне остаётся жить несколько недель, безусловно, я не был счастлив в этот момент, но я испытал такое возвышенное состояние, та-

кой мир, психологически я перешёл через грань смерти. Это такое возвышенное состояние, что его даже нельзя сравнить со счастьем». В буквальном, конкретном смысле, телесном, психофизическом, духовном Солженицын пережил то, что так таинственно изобразил Пушкин во всем нам известном «Пророке». Пушкин, несомненно, применял и к себе эту страшную «хирургическую операцию», когда Серафим ему «вырвал грешный... язык, и празднословный и лукавый», когда он «грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул...». «Как труп в пустыне я лежал...» — это то, что вполне конкретно пережил Александр Исаевич «на гниющей тюремной соломке». Как пережил жизнелюбивый Пушкин это хирургическое обновление своего естества, нам неизвестно, лирические поэты живут испепеляющими мгновениями вдохновения, когда внезапно обновляется всё их существо. У Александра Исаевича была иная судьба, он стал большим писателем через реальное физическое умирание. Без этого нельзя понять художественный мир Солженицына, этот центральный момент позволяет объяснить свет и силу его творчества. Необходимо обратить внимание на то, что у этого по природе, по характеру, по психофизиологическому составу человека власти идёт противоборство между принятием полного уничтожения и сохранением внутренней властности, но преображённой. В этих двух противоборствующих началах я и вижу источник солженицынской гениальности. Гениальность всегда выражается в двух (иногда и больше) противостоящих, антиномичных друг другу внутренних моментов. В умирании Солженицын обрёл власть иного, высшего порядка: «И Бога глас ко мне воззвал: / “Восстань, пророк, и виждь, и внемли...”». Главный, сокровенный импульс его творчества можно определить богословским понятием «кенозиса» (от греческого «кенос»), что означает «опустошение, уничтожение, умаление» как условие и залог осуществления человека в его цельности и полноценности. От «Пророка» Пушкина перейдём к гимну апостола Павла в Послании к Филиппийцам (кстати, оно написано им в узах, в тюрьме). Это гимн уничтожению — «кенозису» в лице Христа: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек...» (Флп. 2:7). Это первая стадия божественного опустошения — «стать как человек». Но есть вторая стадия божественного опустошения: «...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени...» (Флп. 2:8–9). Это ощущение «кенозиса» мы находим в мировой литературе, в её наивысших проявлениях, начиная с греческих трагиков: у Эсхила, Софокла, ещё ярче у Шекспира: «счастливы

цари развенчанные, цари поверженные» (Ричард II). Имеется оно и в русской литературе, и до Солженицына, в частности у Достоевского. Солженицын не раз подчёркивал, что он не своими руками творил свою судьбу, что судьба его не рукотворна. Путь от уничтожения невольного, но принятого или вольного через сознательный отказ ради правды от власти, от счастья есть та глубинная тема, которая изнутри приподнимает и освещает всё творчество Солженицына, не только художника, но и публициста. Любимое понятие Солженицына — самоограничение — не чисто морального порядка: оно восходит к чувству, вынесенному им как из жизни, так и из опыта смерти: восхождение через страдание к чему-то возвышенному и неизреченному. Самоограничение вписывается в основную онтологию человека: самоутверждаясь или самоуслаждаясь, человек теряет самого себя.

Этот путь позволяет Солженицыну и его героям узреть всю первоизданную красоту мира (таков замечательный финал «Ракового корпуса»).

Но ещё, быть может, выше — видеть человека в его красоте. В эпоху антропологической катастрофы Александр Исаевич увидел человека в человеке, увидел то нетленное, что в человеке заложено и что никакое зло до конца не может истребить. Как писал один французский критик, если реальность концентрационного мира была, наконец, признана, а ведь до Солженицына свидетельств было немало, то это потому, что у Солженицына в самых тяжких, в самых ужасающих условиях людям удаётся обрести своё человеческое достоинство как факт неистребимый и, как таковой, сверхъестественный.

Дар видения мира в его первобытной красоте, дар видения в человеке его неистребимой человечности — это то основное, что приносит нам Солженицын. Вот почему его голос вчера, как и сегодня, как и в будущем, всегда был, есть и будет необходим.

Сигурд Шмидт
МОСКВА

СОЛЖЕНИЦЫН-ИСТОРИК

Благодарю за предоставленную возможность выступить вне программы и на первом же пленарном заседании перед лицом соотечественников и зарубежных участников Международной научной конференции, посвящённой творчеству всемирно почитаемого российского писателя. Конечно, Александр Исаевич Солженицын — знаменитейший в России современный писатель. И всем очевидно, что тема литературного творчества такого художника слова и мыслителя самодостаточна для программы научной конференции. Тем не менее, как профессиональный историк, и к тому же историограф, т.е. историк исторической науки, убеждён, что творческий облик Солженицына — особенно в последние десятилетия — это и облик историка-исследователя (хотя и с характерной для исторической науки нашей эпохи публицистической направленностью), инициатора создания ценной источниковой базы для работы других историков.

И не потому только, что общественно-исторические взгляды неотделимы от художественной основы творчества Солженицына, и вообще всякое подлинно художественное произведение становится источником познания современного писателю мира жизненных реалий и общественных представлений, а следовательно, и этических и эстетических идеалов. Ведь ставшую классической характеристику Белинского «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни» должно воспринимать и как методически-установочную при подводе историка к литературным памятникам. Тем более, что Солженицын отобразил жизнь заключённых в тюрьмах и лагерях, о чём нельзя было узнать в доступных тогда историкам источниках. В произведениях его — и особенно явственно в таком шедевре, как «Матрёнин двор», — отражены и целомудренные простодушие, и те черты корневой нравственной культуры народа, о чём не принято было в те годы размышлять публично. Но и потому, что Солженицын много сделал для обогащения собственно исторических знаний, опирающихся на традиционную базу архивных

печатных материалов, возбудил внимание к важной исторической проблематике.

В этом зале уже напоминали сказанное Александром Исаевичем о желании в молодые годы стать и писателем, и священником, и военачальником. Думается, что это допустимо понимать и как стремление и изображать мир, и проповедовать свои взгляды, и вести за собою, защищая их. И занятия историей позволяют это делать.

А это — в русле многовековых традиций отечественной литературы, восходящих ещё к периоду до нашествия восточных кочевников: Повесть временных лет — да и другие, менее значительные по своим художественным достоинствам летописи — памятник и исторической мысли и литературы, и даже издавалась в академической серии «Литературные памятники». А каким ценным источником собственно исторической информации является «Слово о полку Игореве»! Такое явление характерно и для развития мировой культуры со времён античности — напомним имена Геродота, Фукидида, Тацита, Плутарха. Первый российский писатель конца XVIII века Карамзин положил начало распространению научных исторических знаний в широком обществе; и если Пушкин оценивал его многотомную «Историю государства Российского» как вершинное произведение русской прозы, могущее соперничать с шедеврами зарубежной литературы, то великий филолог Средневский сравнивал Карамзина-«исследователя» с Петром Великим, полагая, что он — родоначальник в России специальных исторических дисциплин. Пушкин в последние годы жизни выступал и как профессиональный историк, готовясь, продолжая дело историографа Карамзина, к написанию биографии Петра Великого, а времени восстания Пугачёва посвятил и историческое сочинение, и «Капитанскую дочку».

И так как Солженицын сумел сохранить свободу общественно-исторического мышления, и к тому же — в отличие от советских историков — был по-настоящему осведомлён о развитии исторической мысли в среде российской диаспоры, он решительно подошёл к рассмотрению существеннейших и трагических тем нашей истории, вынужденно обойдённых в советских изданиях. Это — лишение Родины, эмиграция и лишение свободы в Советской России, а также всегда болезненно воспринимаемая тема «Евреи в России». Конечно, его выводы и наблюдения отнюдь не бесспорны, никак не могут быть охарактеризованы как конечные. Но автор — особенно в таком труде, как «Архипелаг ГУЛаг», — опирается во многом и на впервые вводимый в науку материал. И что особенно должно отметить, сочинения Солженицына стимулируют дальнейшие исследования той же проблематики.

Не будучи профессионалом-историком, Солженицын уловил и то, что к рубежу тысячелетия историки преимущественное и к тому же очень пристальное внимание стали уделять изучению не государственно-политической и социально-экономической истории, даже не истории культуры и менталитета, а истории повседневности, микроистории, локальной истории, каждодневному существованию обычных людей. И Солженицын много содействовал тому, чтобы выявлялись документальные памятники, помогающие исследованиям такой тематики, особенно сохранившиеся в семьях эмигрантов, а в России в семьях репрессированных. И поощрял собирание и публикацию таких исторических материалов. И это тоже славная традиция российской исторической науки, прежде всего археографии, — так действовали во второй половине XIX века Бартенев и Михаил Семевский, в начале XX в. Богучарский. Таким путём пытался идти и Бонч-Бруевич, организовав Литературный музей, а до него подвижники краеведы первого десятилетия советской власти, репрессированные затем в зловещее время «великого перелома», в 1929–1930 годах.

Солженицын, как и Дмитрий Сергеевич Лихачёв, рано осознал необходимость усилий по возвращению на Родину памятников культуры и общественной мысли российской эмиграции. Для людей моего поколения особенно явственно ощутимы результаты тех перемен, которые называют «перестройкой». Это открывшаяся наконец возможность говорить то, что думаешь, общаясь даже с малознакомыми людьми, и утверждение представления о том, что культура российской диаспоры, российской эмиграции является естественной составной частью российской культуры. Российская культура — это культура тех, кто говорит по-русски, мыслит образами русского языка, кому снятся сны с русской речью, где бы эти люди ни находились. И как отраднo, что поколение моих внуков и правнуков может уже в школьные годы получить представление о жизни и творчестве русских по рождению и началу их деятельности корифеев мировой культуры, а не ограничиваться, как было ранее, сведениями лишь о доэмигрантском периоде их творчества.

Организация Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» и её всё более развивающаяся многогранная деятельность — важные события нашей общественной, культурной, научной жизни, и прежде всего московской жизни. Конечно, если бы Александр Исаевич Солженицын не был всемирно признанным писателем и не имел бы столь высокого авторитета общественного деятеля, такая желанная для многих инициатива не была бы поддержана. И мы должны быть благодарны и стоявшему у истоков этого начинания Александру Ильичу Музыкантскому, и оказывавше-

му столь ощутимую всеми и столь действенную поддержку мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову. Здание, в котором происходит конференция, воздвигалось невиданными темпами даже для неизменно интенсивного московского строительства. И конечно, нельзя не поблагодарить Виктора Александровича Москвина, стараниями которого ещё в прежнем скромном помещении Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» приобрела значение одного из особо заметных центров нашей гуманитарной культуры.

А завершить хотелось бы выражением уверенности в том, что жизни и творчеству юбиляра — академика Александра Исаевича Солженицына будут отведены солидные разделы не только в обобщающих трудах по истории художественной литературы, но и в трудах по истории исторической мысли.

Александр Музыкантский
МОСКВА

ЧЕЛОВЕК В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

Я рад приветствовать конференцию, посвящённую творчеству великого русского писателя А.И.Солженицына, и особенно рад приветствовать её проведение в стенах этого здания Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье», которое с самого начала многие стали называть «Домом Солженицына».

История этого дома восходит к 1975 году, когда оказавшийся за рубежом Александр Исаевич обратился к соотечественникам, эмигрантам первой волны, с просьбой присылать свои воспоминания и семейные записи, касающиеся исторических событий, свидетелями которых они были. Без этого пласта нельзя восстановить историю, понять, что происходило и происходит в России, говорил Александр Исаевич, обещая сохранить полученные материалы для будущих исследований. Были в том обращении памятные слова, которые в далёком 75-м казались многим фантастикой. Он писал тогда: «Придёт время, и я передам все полученные от вас материалы в музей в одном из городов Центральной России». Согласитесь, написать такое в 75-м году мог только человек очень сильно верящий. Верящий в то, что казавшаяся тогда многим незыблемой, находящаяся в зените могущества тоталитарная империя не может существовать вечно, потому что она построена на гнилом фундаменте, на подавлении человеческой личности. Александр Исаевич, как никто другой, знал, что она рухнет. За его спиной уже был «Архипелаг ГУЛаг», произведение, ставшее необыкновенной силы обвинительным заключением и приговором всей построенной на насилии и лжи политической системе.

После выхода в свет «Архипелага ГУЛага» началась агония этой системы, продлившаяся полтора десятка лет благодаря удешевлению мировых цен на нефть. Она принимала формы то трагедии, то фарса и завершилась в начале 90-х. Предсказанный писателем крах коммунизма произошёл. Александр Исаевич вернулся в Россию и смог выполнить своё обещание. И я как москвич и как член московского Правительства испытываю чувство гордости, что тем самым городом Центральной

России, о котором в далёком 1975 году писал А.И.Солженицын, оказался город Москва. Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», открытая здесь, на Таганском холме, в 1995 году, стала одним из наиболее значительных мировых центров, куда поступает на хранение и где вводится в научный оборот богатейшее наследие русского зарубежья. Новые возможности будут, безусловно, открыты с расширением и развитием материальной базы этой библиотеки.

Центр «Русское Зарубежье» стал полюсом притяжения для тех, кто ищет ответы на фундаментальные вопросы. И один из самых трудных, но и самых главных — что произошло с Россией в 17-м году? Совершенно ясно, что ответ на этот вопрос невозможен без осмысления всего философского, культурного и исторического наследия русского зарубежья.

А без такого понимания нельзя найти ответы и на другие вопросы: что произошло с Советским Союзом в 1991 году? что происходит с Россией сейчас? что ждёт Россию в будущем?

Годы после распада СССР — это время мучительных исканий и шараний, поиски других идеалов, новых кумиров и иных героев. Время крушения романтических надежд, безуспешных поисков своей идентичности новым реалиям. И то, что выход из коммунизма будет трудным, также было предсказано Александром Исаевичем: «Часы коммунизма своё отбили. Но бетонная постройка его ещё не рухнула. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами». Это было написано в 1990 году, в период массовой эйфории, охватившей значительную часть российского общества. Тогда уже вышло в свет «Красное Колесо» — произведение, в котором отразился огромный опыт художественного исследования писателем той катастрофы, которая произошла в России в начале века в результате попытки введения демократии в совершенно для того не подготовленной, измученной, уставшей стране. Введения демократии, как говорится, «с четверга на пятницу» или, точнее, с понедельника 27 февраля 1917 года на вторник 28-е. В книге исследуется, как это произошло и к чему привело.

В работе «Как нам обустроить Россию?» Солженицын говорит прежде всего об опасности попыток опять же по-большевицки, «с четверга на пятницу», решить проблемы, которые встали перед Россией, беременной очередной революцией. В 1998 году, уже вернувшись в Россию и проведя здесь тысячи встреч с самыми разными людьми из разных регионов и самого разного статуса, начиная с первых лиц государства, он пишет книгу «Россия в обвале». И начинает её теми же словами, что и восемь лет назад: «Часы коммунизма своё отбили. Но бетонная постройка его ещё не рухнула». «Россия в обвале» — это, безусловно, свидетельство об-

вала той самой конструкции, которая действительно всех нас расплющила, о чём и предостерегал Александр Исаевич. Мы находимся под воздействием двух этих обвалов. Обвал начала века. И обвал конца века.

Произошло так, что в течение одного века в России дважды произошли колоссальные тектонические сдвиги общественно-политического устройства, связанные со сломом самих основ общественной и экономической жизни, сопровождавшиеся утратой духовных ценностей. Дважды в течение одного столетия в России побеждали и становились господствующими чуждые идеологии. И оба раза российский народ становился полигоном, экспериментальной площадкой для реализации этих идеологий, причём в самых свирепых формах. Философы 20-х годов пытались объяснить катастрофу начала века. И многие из них объясняли её совпадением провозглашённых идеалов коммунизма с внутренними свойствами, качествами русского народа, такими как «коллективизм», «опора на коллектив», «общинность» и т.п. Эти свойства присущи русскому народу, поэтому большевизм и победил не где-нибудь на Западе, а именно в России. К такому выводу пришли великие русские философы — осколки Серебряного века русской философии.

Но как тогда объяснить катастрофу конца века — победу в России идеологии прямо противоположной — идеологии либерализма, ценностями которой являются индивидуализм, личный успех, отрицание коллективности? Это ровно противоположные ценности. Но и тогда, и сейчас нашлись в России адепты новой идеологии. Главное в том, что они получили возможность эту свою идеологию проводить государственными методами, проводить буквально по живому.

«Никогда не поставлю Гайдара рядом с Лениным, — пишет Александр Исаевич. — Слишком не тот рост. Но в одном они очень сходны. В том, как фанатик, влекомый только своей призрачной идеей, не ведающий государственной ответственности, уверенно берётся за скальпель и многократно кромсает тело России». А то, что происходит сейчас, — т.е. уже вполне обозначившийся поворот к укреплению государства, — что это: обретение пути наконец-то или очередной зигзаг?

Я не хочу, чтобы создавалось впечатление: вот, мол, первое письмо к вождям закончилось высылкой Александра Исаевича за рубеж, которое продлилось почти два десятилетия. Второе его письмо к вождям «Как нам обустроить Россию?» (хотя это было уже и не к вождям, оно было опубликовано сразу миллионными тиражами, это было уже письмо к народу), окончилось тем, о чём через восемь лет было написано в работе «Россия в обвале».

Так вот, я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что письма — письмами, а жизнь — жизнью, и что две эти ипостаси пересекаются. И неверно будет думать, что единственной государственно-общественной реакцией на работы Солженицына, которые можно назвать государственно-предупредительными манифестами, были «общественное осуждение» и высылка автора из страны. Солженицын — прежде всего писатель и воздействует он, быть может, не столько на вождей, сколько на души людей. Он меняет общественные нравы.

Я хотел бы привести пример такого непосредственного воздействия творчества Солженицына на чувства и мысли отдельного человека. Говорю о собственном опыте. Получилось так, что «Красное Колесо», и особенно те его страницы, которые посвящены Февральской революции, я прочитал летом 1991 года. Тогда я занимал достаточно высокий пост в Правительстве Москвы, был префектом Центрального округа. В дни августовского путча на улицах Москвы наблюдались картины, сходные с теми, что происходили на второй день «обретения свободы» в 17-м году в Петрограде. По улицам бродили толпы людей в поисках, чем бы заняться. Ходили разные разговоры и высказывались разные намерения в отношении памятника Дзержинскому, других памятников, Старой площади, здания ГУВД на Петровке... А у меня перед глазами были яркие картины, описанные в «Красном Колесе»: как толпы пьяных солдат ходят по улицам, убивают офицеров, вламываются в квартиры. Я представил себе, как в одной квартире за день провели семнадцать обысков, потому что её хозяйка за два дня до революции рассчитала служанку и она в отместку приводила каждый раз с обыском новую группу пьяных солдат. Я мысленно видел, как лавина матросов поглощает командующего Балтийским флотом (порадивший меня факт: 60 процентов офицеров-балтийцев погибли на второй день свободы).

Картины, так ярко нарисованные в «Колесе» рукой настоящего Мастера, оказали влияние и на моё восприятие событий, и на мои реакции, и на моё поведение в те августовские дни.

Творчество Солженицына оказывало и продолжает оказывать влияние на миллионы людей. Остаются актуальными и сохраняют свою силу в сегодняшнем мире и в сегодняшней России его мысли, его труды. Более того, хотя сегодня пишутся диссертации, дипломные работы, проводятся научные конференции по творчеству Солженицына, он не забронзовел, не превратился в литературный памятник. Россия ещё не обрела своего пути. Она ещё в поисках и метаниях, шараханьях и исканиях. Она ещё не выбралась из-под обломков. И потому ей сейчас нужен Александр Исаевич Солженицын. Его часы продолжают свой ход.

Майкл Николсон
ОКСФОРД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ДОМ И «ДОРОЖЕНЬКА» У СОЛЖЕНИЦЫНА

Начать эти замечания хотелось бы с особой топографической модели, которая воспроизводится в самых известных солженицынских произведениях, что уже нередко привлекало внимание комментаторов. Повествователь (или герой) приближается не обязательно к дому, но к месту, таящему в себе особенную притягательность. Это происходит отнюдь не без препятствий и, как правило, вопреки им. Один изнурённый повествователь лелеет мечту «о тихом уголке России» (3: 114)¹. Застряв вначале в угрюмом, вполне современном Торфопродукте, он случайно узнаёт, что за бугром, подальше от железной дороги, начинается целая вереница деревень с «тургеневскими» названиями: Часлицы, Овинцы, Шестимирово и т.д. Там он и добирается наконец до матрёнина двора, ветхого, но добротного построенного, в деревне Тальново, «испокон она здесь» (3: 147).

Об озере Сегден в одноимённом «крохотном рассказе» «не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку...

Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру — не найдёшь...» (3: 147).

Но это место, осаждённое грубой политико-исторической реальностью, остаётся неприкосновенным, чуть ли не сакральным «домом». Повествователь мечтает: «Вот тут бы и поселиться навсегда...». И завершает свой рассказ вздохом:

«Озеро пустынное. Милое озеро.
Родина...» (3: 148).

Даже на поле Куликовской битвы, — казалось бы, не такой уж таинственный государственный заповедник, — вовсе не так легко попасть, по крайней мере в рассказе «Захар-Калита» («Да ведь туда раскрашенные щиты не заывают, указателей нет»). Более того, поле как бы боязливо отодвигается, расплывается в сказочном мареве при приближении тех, кому «хотелось Куликовскую битву понимать в её цельности и необ-

ратимости» (3: 274)². Но наконец чувствуется/узнаётся, хоть мельком, сокровенный смысл и этого полузаброшенного места.

Во всех этих примерах мало внимания уделяется пути, путешествию как таковым. Это всего лишь подступы. Даже в рассказе под названием «Путешествия вдоль Оки» физическое движение исчерпывается в первом дееспричастии: «Пройдя просёлками Средней России, начинаешь понимать, в чём ключ умиротворяющего русского пейзажа» (3: 157). Суть рассказа, разумеется, именно в этом ключе, и главное движение происходит совсем не по горизонтали. Церкви здесь осквернены, они уже не живые. Отзвучал тот вечерний звон, что раньше призывал сельчан «отдать час вечности». Но эти всё ещё немые храмы «из сёл разобщённых, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу» (3: 157).

Опираясь на терминологию Лотмана, сопоставившего путешествия Одиссея и Данте³, можно сказать, что путь в этих, правда, ещё сравнительно коротких текстах представляет собой не *одиссею*, а *паломничество*. Важна не дорога, а придорожное откровение. И что представится страннику, догадавшемуся попасть на такое место? Скорее всего, пространство неприязательное, разорённое или заброшенное, но одновременно чем-то милое. И рано или поздно желаемое место предстанет в истинном свете, как родной очаг, хранилище забытой мудрости, источник цельности и выздоровления. Хоть на короткое время оно наполнится высоким этическим, религиозным и историческим смыслом. И в такой момент всеми унижаемая Матрёна Васильевна станет той праведницей, без которой не стоит село. И комическая прежде фигура смотрителя Куликова поля подымется из заиндевевшей копны, «он был уже не Смотритель, а как бы Дух этого Поля, стерегущий, не покидавший его никогда» (3: 275).

Такие места обязательно связаны с образами высоты, невесомости, вертикальности. Они создают возвышенную перспективу, позволяющую проникнуть сквозь дебри дел людских. «Проходят столетия — извивы Истории сглаживаются для дальнего взгляда, и она выглядит как натянутая лента топографов» (3: 274). Но повествователю из рассказа «Захар-Калита» не приходится так долго ждать. Его неожиданная встреча со Смотрителем поля на миг проясняет, казалось бы, безнадежно запутанные нити и извивы исторического процесса.

Одиссеи в «крохотном рассказе» мы, конечно, не ищем и не ждём. Но длинная повесть «Раковый корпус» во многом повторяет вышеуказанные черты. Правда, больной входит в крайне неприятное для него место, но «герметически» замкнутый мир палаты осуществляет аналогичную функцию, напоминает, подталкивает куда-то, что-то воплощает. Больной оказывается лежащим в центре системы концентрических кру-

гов: койка, клиника, город, историческая и политическая реальность, вплоть до круга онтологического («чем люди живы?»), даже эсхатологического («Первый день творения», «И последний день»⁴). Особенного внимания заслуживает один из ответов на толстовский вопрос о том, чем живёт человек, — а именно мысли «старого доктора» Орещенкова в конце повести. Его мысли формулируются вне стен ракового корпуса, и никто из больных их не подслушивает, но это никак не уменьшает значимость этих мыслей для текста как целого. После ухода доктора Донцовой, оставшись наедине с самим собой в своём старом, добротном, деревянном домике, куда «автобус не подходил близко», Орещенков предаётся размышлениям:

«В такие минуты весь смысл существования — его самого... и всех вообще людей представлялся ему не в их главной деятельности <...>. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутнённым, непродрогнувшим, неискажённым — изображение вечности, зароненное каждому. Как серебряный месяц в спокойном пруду» (4: 330).

Но такое сравнение приносит с собой обязательную оговорку. Проницательность как Орещенкова, так и Костоглотова или Поддубова неразрывно связана с приближением смерти. Только когда по озеру уже не пробегает рябь, перед человеком открывается подлинная сила откровения. В другом месте у Солженицына читаем:

«...лишь там мы видим в зеркальной глади и каждый листик прибрежного дерева, и каждое пёрышко тонкого облака <...>.

Если до сих пор всё никак не увидим, всё никак не отразим бессмертную чеканную истину, — не потому ли, значит, что ещё движемся куда-то?» («Отражение в воде» (3: 151)).

В «Озере Сегден» отражение неба в совершенно круглом зеркале воды вызывает ощущение причастности к чему-то подлинно высокому: «Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли» (3: 148). Но непосредственно после этой сентенции раздаётся слово: «Нельзя». Родное озеро заколдовано нечистой силой (узурпировано властным советским функционером), и осмысление происходящего возвращается в сферу борьбы и движения.

Тут, конечно, возможны бесчисленные вариации и разные степени конкретности или метафоричности. Но с середины 1950-х годов данная модель проявляется в солженицынской прозе всё чаще. Все приведён-

ные выше примеры связывают некоего рода сгущение вокруг замкнутого пространства, возвышение над обыденным, отрешение, жажда откровения, промельк истины. Даже знаменитая лаконичность и «открытость» рассказа «Один день Ивана Денисовича» не составляет исключения⁵.

Но остановимся теперь не на глади, а на той зыби, от которой рябит всякое озеро при натиске и движении, — словом, на «дороженьке» из моего заглавия.

Судя по всему, ни лирическое, ни созерцательное начало не были чужды молодому Солженицыну, но до середины 40-х годов они уступали напору его страстной преданности ленинизму. Среди стихов тех лет мы обнаруживаем такие:

Если Ленина дело падёт в эти дни,
Для чего мне останется жить?..

(ПГ, 292)⁶

Высший смысл бытия навевали не смутные интуиции и ограниченные условные пространства. Трансцендентное мерцало скорее в телеологическом — в реально осуществляемых задачах, в штурмуемых высотах. Среди рассказов, любимых юным Солженицыным, была и лавренёвская «Марина».

«Я люблю революцию. Её пламенный ветер носил меня по дорогам бывшей России от Полярного круга до Закавказских теснин.

Я всегда буду любить революцию.
“Мальчишка! Люби революцию!”»⁷

Когда Солженицыну удалось наконец поступить на военную службу, он не сомневался, что война против Гитлера скоро сменится другой и разразится «долгожданная Революционная война» (ПГ, 222), на которой его поколению суждено гордо и радостно погибнуть.

Мы — умрём!! По нашим трупам
Революция взойдёт!!!

Из Октябрьской мятели
Поколение пришло.
Чтоб потом цвели и пели,
Надо, чтоб оно — легло...

(ПГ, 26)

Жизни и карьеры он не представлял себе отдельно от Истории, от Революции; они сливались в образе собственной «дороженьки». Уже в студенческие годы честолюбивый начинающий писатель мечтал создать огромный эпос в честь победоносной революции, которому он дал рабочее заглавие «ЛЮР» («Люби Революцию»), к тому же и спроецировав самого себя на одного из персонажей. И на фронте Солженицын твёрдо знал, что, останься он в живых, он посвятит жизнь созданию либо длинной автобиографической повести о бывшем студенте и страстном ленинце, переброшенном на «шестой (фронтовой) курс», либо своему заветному проекту «художественной истории послеоктябрьских лет»⁸. Эти линейные по своему замыслу повествования, как кажется, соответствуют целеустремленности молодого Солженицына:

Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!
Есть закон движения! Другого Абсолюта
Нет! <...>

(ПГ, 11)

И даже подвергшись аресту в 1945-м, он не сразу отделился ни от своих взглядов, ни от этого жанрового предпочтения: например, сидя в 1948-м в «круге первом» Марфинской шарашки, он писал не эмблематически закруглённое повествование, а протянутую во времени одиссею Нержина-фронтовика⁹; отзвуки же его ленинизма встречаются и в середине 50-х годов. Но насколько подрываются в те годы основы его мировоззрения, можно судить по поэме «Дороженька» (1948–1953), которую он создал и сохранил в Экибастузском лагере большей частью по памяти. Здесь в серии воспоминаний о юношеских и военных годах жизнь дороженька не столько прослеживается и прославляется, сколько становится объектом вопрошания:

В орлы я перился ранёшенько.
Схватили — швырнули — глядь... —
Да где ж ты была, Дороженька?
Да как же тобой шагать?

(ПГ, 172)

Повествователь то и дело внутренне «отшатывается» от вспоминаемого. Например, скорость и размах русского вторжения в Восточную Пруссию захватывают его вначале:

Расступись, земля чужая!
Растворь свой ворота!
Это наша удаляя
Едет русская пехота!

(ПГ, 118)

Однако всесокрушающее коллективное движение вперёд скоро обрывается. Предоставленный самому себе, молодой офицер вязнет в компрометации и самообвинениях, и эпизод кончается не гимном, а стоном: «Ах, не бойся, есть уж... а-а-а... / На моей душе душа...» (ПГ, 149).

И когда уже грянул арест, прямо на фронте, жизненный путь Солженицына решительно переиначивается. Перед романтическим революционером простирается не дорога славы и даже не оваянная легендой «Шоссе Энтузиастов», а вполне осязаемая «Владимирка каторжан!..» (ПГ, 172). Путь превращается в этап, но ведёт далеко не исключительно вниз. «Вагоны стучат и грохочут», гласит рефрен, когда подконвойный приближается к русской границе (ПГ, 161). Но там, в затишье, родина предстаёт уже без официальной идеологической «мелоди[и] национализма»¹⁰, характерной для того времени.

Россия! Не смею жизнью
Я прежнюю звать свою.
Сегодня рождаюсь сызнова
Вот здесь, на твоём краю...

(ПГ, 173)

Новая дорога-этап ассоциируется с передумыванием, со сдвигом в сторону от доселе главной магистрали. Уже в стихах 1946 года прославляется «невесомая мысль», которой новичок был упоён в камере Бутырской тюрьмы (ПГ, 180). А что, если и сама нравственность основывается не на идейности и партийности, а на хрупкой, шаткой индивидуальной совести?

Соблазнившись властью над толпой покорной,
Отшагав дороженькой кандалной,
Равно я не видел ни злодеев чёрных,
Ни сердец хрустальных.

Между армиями, партиями, сектами проводят
 Ту черту, что доброе от злого отличает дело,
 А она — она по сердцу каждому проходит,
 Линия раздела.

(ПГ, 150)

В приоткрытую дверь лагерных стихов вскальзывают уже недвусмысленно христианские интонации:

Бог Вселенной! Я снова верую!
 И с отрекшимся был Ты со мной...

«Акафист», 1952 (ПГ, 199)

И не удивительно, если в смятении этих лет проглядывается иногда и образ *дома*. Через год после ареста, а значит, за двенадцать лет до «Матрёнина двора» Солженицын уже ищет, где «затеряться и затесаться»:

Мне б теперь — да в село Алтая,
 Где и поезд не будит тишь,

 Я грущу по коровьему пенью,
 По оскалу улыбки коня.

 Мне б — избёнку пониже. <...>

«Мечта арестанта», 1946 (ПГ, 181)

В «Дороженьке» воспоминание о домашнем круге инженера Федоровского, где Солженицын провёл «полдетства», выплывает теперь с новым пафосом:

Теперь уж кажется преданьем
 Такой приветный щедрый дом —
 Нароспашь, искренно, ребром —
 Где рады близким, рады дальним...

(ПГ 40)

Кочуя с мамой по «гнилым избушкам», которые они вынуждены были снимать в Ростове у частников за большую плату¹¹, Солженицын не

знал нигде, кроме как в этой квартире, никакого подобия домашнего очага. Но светлые воспоминания прерываются: повествователь — случайный свидетель ареста Федоровского и опустошения дома, где всё обшарено и распотрошено сотрудниками ГПУ.

Кто б знал тогда, что не удастся навести
 В квартире этой — раз разрушенный уют?
 Лиха беда — беде прийти,
 А пабедки добьют.

(ПГ, 52)

Переосмысление пути и пространства проходит в «Дороженьке» и на уровне жанровых поисков. Включена целиком в «этих строк неёмких горстку тысяч» (ПГ, 100) была первая пьеса автора — комедия «Пир победителей» (1951)¹². Ещё до освобождения он успел создать и запомнить часть второй пьесы — трагедии «Декабристы без декабря», или «Пленники» (1952). Первое новое произведение на воле после поселения в Кок-Тереке в 1953-м, которое он писал уже без надобности использовать стихотворную форму, — самая амбициозная драма Солженицына — «Республика труда». Вообще, значимость его тогдашнего сближения с театром и проблема влияния на творчество писателя ограничений во времени и пространстве, естественных для драматургии, являются предметом отдельного исследования. Но остаётся фактом, что, только пройдя этот период драматического ученичества, Солженицын возвращается к художественной прозе и к будущему роману «В круге первом».

Ещё и ещё раз на пороге появления самых известных солженицынских произведений мы видели, как сильно петляет его дорога, как осложняется всё стремительное и однозначное. И когда наконец в 1955-м — после нового «заточения» в онкологической клинике и нового столкновения со смертью — он принимается за роман, вряд ли стоит удивляться тому, что линейный напор прежних лет уступает место другим приёмам и структурам.

В романе «В круге первом» и сюжет куцей, время сокращено до трёх дней с небольшим. На переднем плане — не жизненный путь главного действующего лица, а самые разные обитаемые круги свободы и несвободы, окружающие нас хороводом моральных парадоксов. Помимо страниц, насыщенных историческими и автобиографическими реалия-

ми, выделяются сцены совсем другого порядка. Тут всадник Парсифаль замирает, прикованный к месту при виде замка святого Грааля. Там высоко над Москвой-рекой съёживается разрушенная церковь: колокола отзвонили, «звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них вся музыка» (1: 155). И как апофеоз невесомости и близости откровения — массивная каменная тюрьма, бывший храм марфинского имени, отчаливает ночью и, преобразившись в ковчег, плывёт над городом, открывая для философов-заключённых тайну.

«Отсюда, из ковчега, уверенно прокладывающего путь сквозь тьму, легко озирался извилистый заблудившийся поток проклятой Истории — сразу весь, как с огромной высоты, и подробно, до камешка на дне, будто в него окунались» (1: 342).

К сожалению, иногда и текстологические пространства бывают загадочными. И восстановить первоначальные редакции этого романа, переходного и во многом ключевого для творческой эволюции Солженицына, при отсутствии рукописей, сожжённых из-за опасности их изъятия, наверно, больше уже никому не удастся¹³.

Не в ущерб вышесказанному, в заключение необходима ещё одна оговорка. Тем, кто знает биографию писателя, известно, что стремительность и напор вовсе не перестали быть характерными для Солженицына. В стихах ранних 50-х годов его прежняя революционность не расплывается в мистически-пассивной дымке, а проступает иногда в достаточно бескомпромиссной форме:

Оттого-то я гляжу с издёвкой
На чекистов: гневу не пора.
Будет час! — и я вольюсь с винтовкой
В русское протяжное «ура!..».

«Право узника», 1951 (ПГ, 195)

Убывающий накал солженицынского ленинизма заменяется восхищением перед экибастузской лагерной забастовкой и кенгирским восстанием. Если жива ещё Россия, то «Глухим ночным ли выстрелом обрезным, / Бунтом ли лагерным — жива!» «Напутствие», 1953 (ПГ, 209). Даже после краха всего его мировоззрения есть ещё с чем бороться, есть куда стремиться, и в дальнейших произведениях отмеченные выше

оттенки «безгневного, немстительного»¹⁴ аллегорического квиетизма соперничают — порой парадоксально, часто в плодотворной напряжённости — с уверенностью летописца, свидетеля, разоблачителя.

Иллюстрации можно с надлежащей осторожностью привести и из повествования «Красное Колесо». В первом Узле в беседе с молодыми студентами чудак-звездочёт Варсонофьев загадывает загадку («Кабы встал — я б до неба достал; кабы руки да ноги — я бы вора связал; кабы рот да глаза — я бы всё рассказал» (КК, 1: 407–408)¹⁵), которую только в последнем Узле, через несколько тысяч страниц, он разгадает: «Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша история». Но «самое страшное», возражает Саня Лаженицын, в том, что «колёса могут катиться и без Дороги» (КК, 10: 530). Триединство молодого Солженицына (жизнь — история — революция) заменено в «Красном Колесе» новым (жизнь — история — родина¹⁶), а само колесо революции уже пагубно «раскатыва[е]тся по пространствам» (КК, 10: 552)¹⁷.

Происходящие отсюда перемены, конечно, немаловажные, но обратимся к самому понятию «*roman-fleuve*», от которого Солженицын к этому времени, по крайней мере отчасти, отмежевывается. Возвращаясь к отложенному проекту своей юности, он уже имеет кое-какие жанровые ориентиры. В романе «В круге первом» он попробовал использовать излюбленный им потом композиционный приём, выбрав «пучок плоскостей»¹⁸, проходящих через одну точку и таким образом раскрывающих широкую панораму событий. А через десять лет в повести «Раковый корпус» он откажется продлить время повествования, чтобы правдоподобно изобразить ход болезни. Уже тогда Солженицын отдаст предпочтение «промежуточной» структуре, воссоздав (пока ещё в скромном масштабе) два критических отрезка на кривой истории, сконцентрированные и непродолжительные по времени. «Красное Колесо» было задумано, когда упоённому студенту море было по колено. Теперь не было для любителя уплотнения таких сподручных, аллегоричных пейзажей и помещений, которые вместили бы всю лавину революционных событий. Например, Узел «Март Семнадцатого», посвящённый примерно тому же самому количеству исторических дней, как и предшествующий «Октябрь Шестнадцатого», охватывает в два раза больше страниц (почти 3 тыс.) и в девять раз больше глав, составляющих в среднем немногим более четырёх страниц. Набирая скорость, ход истории неизбежно грозит вытеснить личные линии повествования, как автор и предвидел.

Тем не менее именно в личных судьбах мы улавливаем знакомое стремление — поиск собственного пути и жажду ясности посреди хаоса

личных и общественных дел. «Ещё меньше теперь можно было (Варсонофьеву) понять в пути России. И в собственной жизни» (КК, 7: 46). Подобное чувство потерянности разделяют и Саня Лаженицын, и полковник Воротынцев. Но каждый из них удостоен хотя бы отблеска желаемого откровения. Для старика Варсонофьева при мысли о смерти «освободилась какая-то великая свободная вертикаль, всю жизнь ему недоступная» (КК, 10: 552). На фронте Саня неожиданно награждён лирическим ощущением причастности к мистической тайне бытия:

«Косо прислонясь к бронзовой сосне плечом, и головой к ней, а лицом жмурясь к солнцу, Саня стоял, как подпорка ствола.
Такая подпорка зовётся *пасынок*.
А он хотел быть — сыном. Этого леса, этой весны, всего голубовато-солнечного огляда.
<...>
Ясная тишина — и царствует над ней тайна Божья.
И хочется подняться к ней и влиться в неё как в самое своеобразное.
Подняться к ней — как это сказано: от земного изгнания» (КК, 8: 32).

Что касается Воротынцева, то в «Марте Семнадцатого» колёса стали вращаться всё быстрее и быстрее, и он несётся сломя голову из Петербурга в Москву, преследуемый врагами по пятам, — оттуда в Киев, на румынский фронт, и, уже в последнем Узле, в Могилёв. Опустел, кажется, Дом России, и осталась только — могила. Элегические тени удлинняются, и «на обрыве повествования» разыгрывается последнее действие трагедии. Воротынцеву предстоит неведомая дорога: «Но — на какой развилке спешить? И уложить себя — под какой камень?» Сидя на скамейке на могилёвском Валу, он смотрит через Днепр туда, где лежит «милая, печальная, обделённая сторонюшка костромская», и мечтает — именно здесь быть похороненным.

«Что за радость — обширного взгляда с горы. На реку, на пойму, на даль.
Как будто возносишься над своей жизнью» (КК, 10: 554).

Но в этих словах слышатся и другие. В «крохотном рассказе» «Прах поэта», написанном на тридцать лет раньше, описывается могила поэта Полонского, на высоком обрыве над Окою, откуда через пойму видно далеко. «Всё нам кажется, — писал тогда Солженицын, — что дух наш будет летать над могилой и озиаться на тихие просторы» (3: 149).

Но тут можно уловить более отдалённое, хотя и явственно звучащее эхо. В Кок-Тереке в декабре 1953-го, собираясь отправиться в Ташкент на почти безнадежное лечение, Солженицын написал свои последние, как ему тогда казалось, строки. Тогда уже и в помине не было той бойкой, уверенной дороженьки его юности, и ясно стало, что путь ведёт совсем в другую сторону.

Смерть — не как пропасть, а смерть — как гребень,
Кряж, на который взнеслась дорога.
Блещет на чёрном предсмертном небе
Белое Солнце Бога.

И, обернувшись, в лучах его белых
Вижу Россию до ледяных венцов —

.....

Вижу прозрачно — без гнева, без клятвы:
В низостях. В славе. В житье-колотье...

Больше не видеть тебя мне распятой,
Больше не звать Воскресенья тебе...

Декабрь 1953 (ПГ, 210)

Но почти через сорок лет вновь смыкается кольцо, и в духе этих предсмертных стихов 1953 года писатель прощается со своей так и не завершённой русской эпопеей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее цифры в скобках означают ссылку на издание: *Солженицын А.И. Собрание сочинений*: В 7 т. М.: Центр «Новый мир», 1991. Первая цифра указывает на номер тома, вторая — на страницу.

² См. также: *Chvany C.V. The Poetics of Truth in Solzhenitsyn's «Zaxar-Kalita» // Studies in Poetics: Commemorative Vol. Krystina Pomorska (1928–1986) / Ed. by E.Semeka-Pankratov. Columbus (Ohio): Slavica, 1995. Pp. 191–206.*

³ См.: *Лотман Ю.М. Заметки о художественном пространстве // Избранные статьи*. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 456.

⁴ Названия последних двух глав повести «Раковый корпус».

⁵ См. мою статью: «Иван Денисович: мифы происхождения» // «Один день Ивана Денисовича» А.И.Солженицына. Художественный мир. Поэтика. Культурный

контекст / Под ред. А.В.Урманова. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. С. 3–36. Републ. в журн. «Континент» (М., 2003. № 4. С. 408–429).

⁶ Здесь и далее аббревиатура «ПГ» и цифра означают ссылку на страницу издания: *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. М.: Наш дом = L'Age d'Homme, 1999. Эта книга включает в себя ранние произведения Солженицына: повесть «Люби Революцию», поэму «Дороженька», лагерные стихи и статью «Протеревши глаза».

⁷ *Лавренёв Б.А.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982. Т. 1. С. 99.

⁸ См. письмо Солженицына первой жене // *Решетовская Н.А.* В споре с временем. Б.м.: АПН, 1975. С. 43.

⁹ Речь идёт об оставшейся фрагментом «Истории одного дивизиона», к концу 50-х годов переработанной и теперь уже не без иронии переименованной в «Люби Революцию».

¹⁰ *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. Т. 2. С. 322.

¹¹ См.: *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 647.

¹² Пьеса была задумана как десятая глава «Дороженьки», потом отделена и присоединена к драматической трилогии «1945».

¹³ Например, изуродованный храм и ландшафт в главе «На просторе» или «перекощенн[ый] придавленн[ый]» дом-сокровищница «Тверского дядюшки» относятся не к первым редакциям (1955–1958), а к более поздней стадии работы над романом (1968). Ввиду таких затруднений процесс возникновения повести «Люби Революцию» (1958) из первоначальной (но неопубликованной) «Истории одного дивизиона» (1948) оказывается для текстолога как бы мостом, перекинутым через этот малодоступный для читателя период опытов и перемен.

¹⁴ Эпитеты в лагерных стихах указывают на желаемое отношение к действительности.

¹⁵ Здесь и далее буквы КК и цифры в скобках означают ссылку на издание: *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М., 1993–1997. Первая цифра (перед двоеточием) указывает на том, а следующая – на страницу.

¹⁶ «Главное действующее лицо – Россия вся» (*Солженицын А.И.* Публицистика. Т. 2. С. 431).

¹⁷ Ср. в «Люби Революцию» (1948, 1958): «...огромное колесо прокатилось, едва не размочив его в мокрое место, – а Глеб не мог даже понять, что оно есть и что оно – катится» (ПГ 230).

¹⁸ Обсуждение рукописи А.Солженицына «Раковый корпус» на заседании Бюро секции прозы с активом 17 ноября 1966 года // Дело Солженицына. Лондон; Онтарио: С.Б.О.Н.Р., 1970. С. 47.

Людмила Сараскина

МОСКВА

ИСТОРИОСОФСКИЙ ОБРАЗ XX ВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

За несколько месяцев до рождения Солженицына, в мае 1918 года, Александр Блок отвечал на вопрос анкеты¹, – что следует сейчас делать русскому гражданину. Блок отвечал как художник. «Художнику надлежит знать, что той России, которая была, – нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в десятиречённом ужасе, так как жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. *Та* цивилизация, *та* государственность, *та* религия – умерли... *утратили бытие*»².

Слово «ужас» станет ключевым для историографии XX века, пророчество «от Ужаса» (формула Вяч. Иванова³) – характеристикой русской литературы XX века.

Хронология формальная и хронология реальная совпадают редко. Если считать, что XIX столетие закончилось Первой мировой войной, так же как XVIII столетие – Французской революцией, Солженицын родился в начале «не календарного, настоящего»⁴ XX века и прожил, освоив всё его историческое пространство и весь смысловой горизонт. По мнению французского философа Алена Безансона, Солженицын сам стал главным действующим лицом истории⁵.

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес» – так писал Розанов в ноябре 1918-го: именно тогда, в канун рождения Солженицына, начал публиковаться «Апокалипсис нашего времени». «...Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то?»⁶

Без преувеличения можно сказать, что всё творчество Солженицына обжигающе пристрастно нацелено на осмысление разницы *той* и *этой* цивилизации, *той* и *этой* государственности, *той* и *этой* религии. Той России, которая, по словам Блока, *утратила бытие*, и той, которая, по словам Розанова, осталась внутри *железного занавеса*. Различные понимания итогов XX века, когда за основу берётся либо уважение к прошлому,

либо отвращение к нему, — и сегодня разделяют российское общество⁷. Интерпретация уроков истории русского XX века, оценки знаковых его эпизодов формируют идеологии политических партий. На построениях философии истории строится национальное сознание.

И вот фундаментальное утверждение Солженицына. «Я прошу, — скажет он в 1987 году, — чтобы вы всё время имели в виду: что после Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в Двадцатый век — в условия жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с Девятнадцатым веком и параллели с Девятнадцатым веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить»⁸.

1

Ракурс, избранный Солженицыным для сравнения ужаса прежнего и ужаса «удесятерённого», — это прежде всего взгляд «из-под глыб», из тюремной камеры и лагерного барака. В камере Лубянки по-новому были услышаны бессмертные строки Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»⁹ «Вот мы и страдаем, и мыслим, и ничего другого в нашей жизни нет. И как легко оказалось этого идеала достичь...»¹⁰ Эта оптика даёт право на упрёк писателям-эмигрантам: «Они (Бунин, Набоков, Алданов) писали так, будто никакой революции в России не бывало или слишком уж недоступно им её объяснить. Они оставляли русским юношам самим искать азимут жизни»¹¹.

На песчаном карьере в лагере под Новым Иерусалимом зэки копают глину. Мокнут под морозящим осенним дождём — тяжёлая одежда насквозь пропиталась водой. Самое время вспомнить Чехова. «Нам очень позавидовал бы сейчас барон Тузенбах? Ведь он всё мечтал работать на кирпичном заводе... Так наработаться, чтобы прийти домой, повалиться и сразу уснуть. Он полагал, очевидно, что будет сушилка для мокрого, будет постель и горячее из двух блюд <...>. А какого чёрта трём сёстрам не сиделось на месте? Их не заставляли по воскресеньям собирать с ребятами железный лом? С них по понедельникам не требовали конспектов Священного Писания? Им классного руководства не навязывали бесплатно? Не гоняли их по квартирам всеобуч проводить?.. Какая-то у них у всех пустейшая болтовня: трудиться! трудиться! трудиться! Да трудитесь, чёрт бы вас побрал, кто вам не даёт? Такая будет счастливая жизнь! такая! такая!! — какая? С овчарками бы вас проводить в эту счастливую жизнь, знали бы!...»¹²

Прежний ужас видится зэку под углом зрения нынешних жестоких реалий. «Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа»¹³. «Пошла лютая жизнь, и уже не назовут заключённого, как при Достоевском и Чехове, “несчастненьким”, а пожалуй, только — “падло”»¹⁴.

Бездна, вырытая в русской истории и разъединившая две эпохи, — это не локальная, пусть даже и огромная яма, это геологический разлом, прошедший через всю жизнь и требующий пересмотра всех духовных ценностей, всех координат бытия. «Ни Пушкину, ни Лермонтову за дерзкую литературу не давали сроков, Толстого за открытый подрыв государства не тронули пальцем. “Где бы ты был 14-го декабря в Петербурге?” — спросил Пушкина Николай I. Пушкин ответил искренне: “На Сенатской”. И был за это... отпущен домой. А между тем мы... прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина: статья 58, пункт 2, вооружённое восстание, в самом мягком случае через статью 19 (намерение), — и если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. И Пушкины получали в зубы свои сроки, ехали в лагеря и умирали. (А Гумилёву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей.)»¹⁵.

Фактор *бездны* заставляет по-иному видеть самые трагические, самые больные точки истории XIX века. «Семь раз покушались на самого Александра II... И что же? — разорил и сослал он пол-Петербурга, как было после Кирова?.. Применил профилактический массовый террор? Сплошной террор, как в 1918 году? Взял заложников? Такого и понятия не было. Посадил *сомнительных*? Да как это можно?!.. Тысячи казнил? Казнили — пять человек. Не осудили за это время и трёхсот. (А если бы *одно* такое покушение было на Сталина, — во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось?)»¹⁶

«Архипелаг ГУЛАг» и «Красное Колесо» полны фактов неслыханного — по меркам XX века — либерализма царского времени. «Мягкость» царского режима сформировала политические взгляды писателей-классиков, повлияла на их нравственное и историческое чувство. При этом пресловутый воздух свободы был уже непоправимо отравлен. «Царизм был разбит не тогда, когда бушевал февральский Петроград, — гораздо раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городского хотя бы с долей симпатии — есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казался уже позор»¹⁷.

Потому-то, считает Солженицын, у Толстого, Достоевского, Чехова и сложились убеждения, будто не нужна политическая свобода, а только

моральное усовершенствование: не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Ясная Поляна при Толстом «была открытым клубом мысли. А оцепили б её в блокаду, как квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись сойтись под одну крышу, — запросил бы тогда и Толстой политической свободы. В самое страшное время “стольпинского террора” либеральная (газета) “Русь” на первой странице без помех печатала крупно: “Пять казней!.. Двадцать казней в Херсоне!” Толстой рыдал, говорил, что жить невозможно, что ничего нельзя представить себе ужаснее»¹⁸.

С мрачной иронией Солженицын свидетельствует, что советскому зэку представить себе картину ужаснее — ой как можно. Потому понятен сарказм лагерника, с тачкой в руках размышляющего о наивной риторике трёх сестер или о рыданиях Л.Н.Толстого по поводу 20 казнённых в Херсоне. Потому замок Иф, где 18 лет сидел и откуда бежал Эдмон Дантес, Глеб Нержин называет не тюрьмой, а морским курортом¹⁹. Потому описания каторжной жизни у Достоевского сам Солженицын называет «мнимыми ужасами». «Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни единого этапа!»²⁰

Всё и вся подлежит сравнению. Вот зэк рассуждает о качестве следствия: «Наши революционеры никогда не знали, что такое настоящее *хорошее* следствие с пятьюдесятью двумя приёмами»²¹. Вот зэк говорит о лагерных врачах: «Тюремный врач — лучший помощник следователя и палача... А кто ведёт себя иначе — того при нашей тюрьме не держат. Доктор Ф.П.Гааз у нас бы не приработался»²². Вот — советует, что надо читать в лагере: «Юголя — прочь! Чехова — тоже прочь! — слишком много еды!.. Читать духовное! Достоевского — вот кого надо читать арестантам! Но позвольте, это у него: “дети голодали, уже несколько дней они ничего не видели, кроме хлеба и колбасы”?»²³. Вот говорит об условиях работы *тогда и сейчас*: «Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой 7 часов (!), летом — 12, 5... Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, вприпрыжку, и начальство даже одевало их в *белые* полотняные куртки и панталоны! — ну, куда ж дальше?»²⁴ Вот — о качестве и количестве питания: «Опасность умереть от истощения никогда не нависала над каторжана-

ми Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них (“в зоне”) ходили гуси (!!) — и арестанты не сворачивали им голов»²⁵.

Но главное отличие от каторжников Достоевского — в почти поголовном сознании невиновности. «Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти»²⁶.

Итак, советский зэк с горечью говорит о губительной наивности своих предшественников. В свете нашего опыта ваши несчастья выглядят смешными, если не ничтожными, — так чувствует зэк, оглядываясь на прежних товарищей по русскому Мёртвому дому. Разумеется, оптика зэка даёт ограниченное видение, подобно тому как ограничена застенком жизнь самого зэка. И Солженицын-историк это отчётливо понимает. Вскоре после высылки у него спросили: «Кто испытал больше страданий — Достоевский или вы?» «Советский ГУЛАГ несравнимо страшней царской каторги, — ответил он. — Но мера внутренних страданий человека не всегда соответствует внешне пережитому»²⁷.

2

Личное восприятие и оценка XX века Солженицыным неоспоримы и подлинны, поскольку они обеспечены его собственным жизненным опытом и опытом миллионов сограждан. Но для понимания смысла русского XX века чрезвычайно важно выяснить отношение к истории XIX и даже XVIII столетия изнутри истории, глазами её участников и свидетелей.

О мере внутренних страданий русских людей XVIII века, который завершился крахом для Европы, свидетельствовал Н.М.Карамзин. Европа для русского дворянина превратилась, считал он, в развалины надежд. После казни Людовика XVI и Марии Антуанетты русские газеты писали о волне самоубийств среди дворянской молодежи — юноши перед смертью сжигали «любезные книги» как никому теперь не нужные. Блистательный век французского Просвещения, суливший процветание народам и государствам, завершился кровью и грязью. Характерно, что именно человек, тяжелейшим образом переживший крах европейского Просвещения, стал первым русским историографом. Рухнула вера в золотой век человечества, который обещали Вольтер и Руссо. Соединение лозунгов «просвещённой монархии» с «естественным человеком» и

«общественным договором», как и сама надежда на земной рай, привело к тотальному поражению. «Теория прогресса», равно как и «теория счастья», которой соблазнили передовые умы, обернулась колоссальным разочарованием, от которого Европа и Россия не могли оправиться весь XIX век.

Человеку XX века XIX представляется золотым, по благополучию и «вегетарианству». Но Пушкин назвал свой век «жестоким»²⁸, Баратынский — «железным»²⁹. Вслед за обоими поэтами эти эпитеты повторил Блок³⁰, добавив определения: «ужасающий» и «погребальный»³¹, «вампирственный», «жалкий» и «трижды проклятый»³². На всём протяжении XIX столетия в России и в Европе раздавались голоса, предупреждавшие о шаткости такого мирового порядка, который обещает бесконечный путь развития; и в начале XX века, вместо торжества Прогресса, разразилась мировая катастрофа. Солженицын горько констатирует преемственность катастроф: «Наша революция была частным проявлением мирового процесса, так же как и Французская революция. Французская революция конца XVIII века была первый сигнал человечеству. Русская революция XX века — второй сигнал. <...> Очевидно, мы должны были, вследствие духовных потерь XVIII и XIX веков, пройти через ад XX века»³³.

Смысл русского XX века Солженицын формулирует как расплату, которая была предъявлена историей за революционные увлечения и либеральные заблуждения. «Я многие годы страдал: ну за что такая несчастная судьба у России! <...> И я понял: значит, вот это и есть узкие, страшно тяжкие ворота, через которые мир должен пройти. Просто Россия прошла первая. Мы все должны протиснуться через этот ужас»³⁴.

Солженицын говорит о *перерождении* Гуманизма в XX веке, того рационалистического гуманизма, которому раньше удавалось смягчать зло и жестокость, «однако в XX веке дважды взорвались котлы запредельных жестокостей»³⁵. Но ещё зимой 1919-го Бердяев пишет, что после Гёте, после романтиков, «гуманизм радикально перерождается и теряет связь с эпохой Возрождения... Начинается кризис гуманизма и иссыкание ренессансного духа. Раскрываются противоположные бездны»³⁶. В это же время Блок говорит о *крушении* гуманизма. Он цитирует историков XIX века, которые считали всю историю этого столетия «повторением в более или менее обширных размерах краткого кровавого эпизода 1789–1794 годов. Только совершенно новый характер придают движению “обширность сцены действия и несравненно большее количество народных масс, вовлечённых в движение”»³⁷.

Итак, Блок, говоря о разнице XVIII и XIX века, видит разницу количественную. От наступающего века он ждёт «всего лишь» удесятерён-

ных ужасов. «Двадцатый век... Ещё бездомней, / Ещё страшнее жизни мгла, / Ещё чернее и огромней / Тень Люциферова крыла»³⁸. Бердяев обнаруживает зловещий результат всего гуманистического процесса истории: «гуманизм переходит в анти-гуманизм»³⁹. Солженицын же, прожив XX век до конца, констатирует запредельность различия, несопоставимость мер и масштабов.

И тогда возникает вопрос: можно ли действительно измерять зло истории одной меркой? Имеем ли мы дело, рассуждая о бездне, вырытой между XIX и XX веком, с простой арифметикой? Или тут как раз тот случай, когда запредельность жестокости, обширность катастрофы, массовость её участников и безмерность жертв, то есть общая сумма зла придают истории XX века некое новое качество («условия жизни как бы другой планеты»)?

3

По Солженицыну, на XX веке лежит неизмеримо большая вина за катастрофу истории. Солженицын-историк пишет о народе, который не оправдал звание богоносца и добровольно сочетался с коммунизмом. «Надо понять, что *после* всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался духовной катастрофе Семнадцатого года... Наши деды и отцы, “втыкая штык в землю” во время смертной войны, дезертируя, чтобы пограбить соседей у себя дома, — уже *сделали выбор* за нас — пока на одно столетие, а то, смотри, и на два»⁴⁰. «Достоевский несколько преувеличил миф о святом русском простом человеке, — считает Солженицын. — Мне пришлось... рассматривая картины революции, увидеть противоположное. Сплошное безумие охватывает массу, все начинают грабить, бить, ломать и убивать так, как это бывает именно в революции. И этого святого “богоносца”, каким его видел Достоевский, как будто вообще не стало. Это не значит, что нет таких отдельных людей, они есть, но они залиты красной волной революции»⁴¹.

Но Достоевский ещё в 1876 году писал: «Иссыкает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своём современные дети народа, взрослые в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти ещё пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов»⁴². «Народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен,

духовно его никто не поддерживает»⁴³, — скажет Достоевский в предсмертном выпуске «Дневника писателя». И ещё: «Надо беречься. Надо беречь народ. Церковь в параличе с Петра Великого. Страшное время <...>. Между тем народ наш оставлен почти что на одни свои силы. Интеллигенция мимо»⁴⁴. Как видим, тезис о сбережении народа, оставленного не только интеллигенцией, но часто и Церковью, был высказан ещё за полвека до революции. В наши дни он повторён и Солженицыным.

И вот что пишет в 1905 году К.Н.Леонтьеву русский священник Иосиф Фудель: «Как пастырь Церкви, я вижу ужас положения в том душевном настроении, которое постепенно овладевает всеми без исключения. Это настроение есть ненависть. Вся атмосфера насыщена ею. Всё дышит ею... Чувствуется, что любовь иссякла... И в этом бесконечный ужас положения»⁴⁵. И ещё в 1903 году обер-прокурор Святейшего Синода К.П.Победоносцев произнёс свой вердикт стране и народу: «Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня, а по ней ходит лихой человек»⁴⁶. Показательно, что это была не риторика, а конфиденциальное искреннее мнение человека, отвечавшего за духовное здоровье страны.

«Приходится признать, — пишет Солженицын, — что весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые... Мы сидим на разорище»⁴⁸. И в другом месте: «Не уклонимся осознать и страшней: русский народ в целом потерпел в долготу XX века — историческое поражение, и духовное, и материальное».

Но вот мнение русского философа Н.Ф.Фёдорова, автора «Философии общего дела» (середина 1880-х), о том, что историческое поражение произошло много раньше: «XIX век приближается к своему печальному и мрачному концу, он идёт не к свету и не к радости... XIX век восстановил веру в зло и отрёкся от веры в добро»⁴⁹.

Безвременьем называл своё время А.Блок — то самое, которое мы именуем Серебряным веком. «Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, — писал он в 1908 году. — <...> Мы переживаем страшный кризис. Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева... высоко над землёю; а под нами — громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы»⁵⁰.

Предчувствия людей конца XIX — начала XX века хорошо знакомы Солженицыну. «Перед революцией вера в России испарилась из кругов образованных. И повреждена была в необразованных»⁵¹, — утверждает он. Однако изнутри времени утрата веры ощущалась намного болезненнее. Вера испарилась не перед революцией, а много раньше. Мир на гла-

зах людей XIX века делался неспособным к христианству и заявлял об этом громко, не чувствуя раскаяния. «Никто Евангелия не знает»⁵², — писал Достоевский о своих современниках, помещиках, учёных, даже священниках. А вот план для монолога старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «Что теперь для народа священник? Святое лицо, когда он во храме или у тайн. А дома у себя — он для народа стяжатель. Так нельзя жить. И веры не убережёшь, пожалуй. Устанет народ веровать, воистину так. Что за слова Христовы без примера? А ты и слова-то Христовы ему за деньги продаёшь... Гибель народу, гибель и вере»⁵³.

Безбожие становилось нормой для образованного человека уже к середине XIX века. Интеллигенция, считал А.П.Чехов в самом начале века, от нечего делать играет в религию, на самом деле уходя от неё всё дальше и дальше⁵⁴. «Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё не знал прежде»⁵⁵, — как бы уточняет Солженицын.

Значит, бездна возникла не в XX веке, её усиленно рыли весь XIX век. Солженицын — один из немногих современных исторических писателей, кто не доверяет политически удобной, но ложной мифологии, будто Россия достигла пика своего развития к 1914 году, когда Церковь и государство были якобы вместе, а царь, армия и народ были якобы православными⁵⁶. Солженицын жёстко говорит: «В Девятнадцатый благополучный век — на самом деле подготавливалось падение человечества, всё падение человечества созревало в Девятнадцатом веке. И в 1914 году разразилась эта катастрофа, которая не кончилась и сегодня»⁵⁷. «Весь XIX век... Европа шла к этому. Шла к этому утерей высших мерок жизни и, так сказать, отдаваясь благам и материальному процветанию. Да, она подготавливала весь XIX век эту войну... В начале XX века Европа... уже катилась в бездну»⁵⁸.

4

Однако концепция бездны имеет значение не только для уяснения степени ответственности за катастрофу истории. В конце концов, всякий совестливый мыслитель склонен видеть главное зло именно в своём времени. Фактор бездны имеет глубинные мировоззренческие последствия, связанные с христианской проповедью любви как основной категории человеческого бытия⁵⁹.

Хочу обратиться к авторскому комментарию той сцены «Августа Четырнадцатого», где гимназист Саня Лаженицын приходит к Л.Н.Тол-

стому, чтобы спросить его как духовного наставника, чем служить добру. Толстой отвечает, что служить добру можно только любовью, но традиционный ответ вызывает у гимназиста большие сомнения. «Что любовь всё спасет, — поясняет Солженицын уже “от себя”, — это христианская точка зрения, и абсолютно правильная. И Толстой говорит в соответствии с нею. Но возражение моё состоит в том, что в наш Двадцатый век мы провалились в такие глубины бытия, в такие бездны, что дать это условие: “любовь всё спасёт” — это значит: вот сразу прыгай аж туда, сразу поднимись на весь уровень. Мне кажется, что это практически невозможно. Я думаю, что надо дать промежуточные ступеньки, по которым можно как-то дойти до высоты. Сегодняшнему человечеству сказать: “любите друг друга” — ничего не выйдет, не полюбят. Не спасут любовью. Надо обратиться с какими-то промежуточными, более умеренными призывами. Один из таких призывов Саня Лаженицын высказывает: хотя бы не действовать против справедливости. Вот как ты понимаешь справедливость, хотя бы её не нарушай. Не то что — люби каждого, но хотя бы не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе. Не делай такого, что нарушает твою совесть. Это уже будет ступенька на пути к любви. А сразу мы прыгнуть не можем. Мы слишком упали»⁶⁰.

Быть может, это самый будоражающий, самый болезненный вывод Солженицына из истории XX века. Ощущение *безмерности* ужасов минувшего столетия парадоксально требует *умеренной*, как бы «промежуточной» христианской проповеди. В область христианского идеала вводятся категории стратегии и тактики, а также меры, которые, казалось, к нему никак не приложимы.

И тогда нельзя отделаться от вопроса: отменяет ли плачевный итог XX века универсальность и абсолютность символа веры? Или заповедь любви относительна и работает только при терпимом уровне зла? Но ведь на протяжении двадцати веков христианства уже были периоды сгущения зла, были истребительные войны, свирепствовала инквизиция, лютвала эпоха Ивана Грозного, применялись казни с копчением и четвертованием при Петре Первом. И Христос пришёл не к праведникам, а к грешникам, в мир больной и падший, а апостол Павел писал свои послания при беспредельно жестоком императоре Нероне.

Можно заметить, что и Л. Толстой видел своё время ровно так же, как Солженицын видит своё. «Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его»⁶¹. Можно вспомнить, что в самый канун рождения Солженицына Розанов писал о том, что «всё, абсолютно всё провалива-

ется в те колоссальные пустоты, которые образовались от бывшего христианства»⁶². И можно уверенно полагать, что под высказыванием Солженицына: «Затмилась духовная ось мировой жизни»⁶³ — подписался бы каждый серьёзный мыслитель XIX века, не снижая, тем не менее, уровень христианской проповеди.

И ещё одно соображение. Никто не знает, до какой степени озверения дошло бы человечество, если бы не сила христианской проповеди. Никто не знает и что несёт с собой XXI век. Быть может, уровень его жестокости, его уже сейчас пугающие вызовы окажутся такими, что XX век по уровню зла будет взят в одни скобки со всей предыдущей историей. Ведь теперь, считает Солженицын, вместо гуманной теории «прогресса для всех» действует жестокий тоталитарный закон: единожды отставший обречён отстать навсегда. Гуманизм Обещательный переродился в Гуманизм Указующий. «Под такими чёрными знаками мы вступаем в XXI век»⁶⁴.

Однако историософские противоречия всё же имеют решение. В художественном мире Солженицына, как и в реальности, человек действительно слишком упал, но имеет силы подняться. Как сказано у Иоанна Лествичника: «Ангел никогда не падает, бес до того упал, что всегда лежит, человек падает и восстаёт»⁶⁵. Солженицын-художник видит надежду, идущую именно из XIX века, как бы поверх бездны, и даже вопреки ей. Напомню фрагмент его вдохновенной Нобелевской лекции.

«Достоевский загадочно обронил однажды: “Мир спасёт красота”. Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровавадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. <...>

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трёх деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся *в то же самое место*, и так выполнят работу за всех трёх?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: “Мир спасёт красота”?»⁶⁶.

Мне кажется, это самая высокая из известных в современной культуре оценок Красоты, которая и должна помочь иссякающей, обессиленной Любви спасти дряхлеющий и холодеющий мир.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Речь идёт об анкете для не вышедшей в свет газеты «Пути возрождения России». Впервые «Ответ» опубликован в «Литературном наследстве» (Т. 27–28. М., 1937).

² Блок А. <«Что сейчас делать?..»> // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1971. Т. 5. С. 449–450.

³ Пророчествуящим, одержимым «от Ужаса» назвал Вяч. Иванов Андрея Белого за его роман «Петербург». «Современная русская культура должна была глубоко изжить себя самоё, чтобы достичь этого порога, с надписью на плитах: “Ужас”, — этого порога, с которого властительно срывает завесу, обнажая тайники утончённейшего сознания эпохи, утратившей веру в Бога, — русский поэт метафизического Ужаса» (Иванов Вяч. Вдохновение от Ужаса // Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1987. Т. IV. С. 628–629).

⁴ Ср.: «А по набережной легендарной / Приблизился не календарный — / На стоящий Двадцатый Век» (Ахматова А.А. Поэма без героя. 1940–1962. Гл. 3).

⁵ См.: Безансон А.: «Вы оставили яркий след в истории». Речь по случаю вручения Гран-при Академии моральных и политических наук Александру Солженицыну. 13 декабря 2000 // Новая Европа. 2001. № 14. С. 75.

⁶ Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., 1990. С. 46, 5.

⁷ См., например: «Избавление от вины перед Богом... возможно единственно через изменение ума, через возненавиденье своего прошлого, сочетававшего нас со злом, изломавшего нам жизнь» (Зубов А. Между отчаянием и надеждой: Политические взгляды А.И.Солженицына 1990-х годов // Посев. 2000. № 12 (1479). С. 13–16). Ср. также: «Художнику надлежит пылать гневом против всякого, кто пытается гальванизировать труп (старой России)... Ему надлежит хранить огонь знания о величии эпохи. Одно из лучших средств к этому — не забывать о социальном неравенстве... Знание о социальном неравенстве — есть знание высокое, холодное и гневное... Художнику надлежит готовиться встретить ещё более великие события, имеющие наступить, и, встретив, суметь склониться перед ними» (Блок А. <«Что сейчас делать?..»> // Указ соч.).

⁸ Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном для журнала «Шпигель». Кавендиш, 9 октября 1987 // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 288.

⁹ Пушкин А.С. Элегия (1930).

¹⁰ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг // Собрание сочинений: В 9 т. Т. 4. М., 1999. С. 226.

¹¹ Там же. С. 221.

¹² Там же. Т. 5. М., 2000. С. 179–180.

¹³ Там же. С. 607.

¹⁴ Там же. С. 617. Солженицын пишет о штрафных лагерях, об уголовниках-блатных, о доходагах из 58-й статьи, о северном лесоповале, о карцерном пайке. И восклицает: «Галина Иосифовна Серебрякова! Отчего вы об этом не напишете? Отчего

ваши герои в лагере ничего не делают, не горбят, а только разговаривают о Ленине и Сталине?» (там же. С. 397). Свою долю ответственности несёт, считает писатель, не только советская, но и мировая литература. «Да не вся ли мировая литература воспевала блатных? <...> Почитаешь — и Дон-Кихоты, и патриоты! А встретишься с этим мурлом в камере или в воронке... Эй, довольно лгать, продажные перья! Вы, наблюдавшие блатарей через перила парохода да через стол следователя! Вы, никогда не встречавшиеся с блатными в вашей беззащитности! Урки — не Робины Гуды! Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг. Когда нужно с замерзающего снять последние портянки — они не брезгают и ими. Их великий лозунг — “умри ты сегодня, а я завтра!”» (там же. С. 398, 401).

¹⁵ Там же. Т. 6. М., 2000. С. 84.

¹⁶ Там же. С. 84–85.

¹⁷ Там же. С. 100.

¹⁸ Там же. С. 97.

¹⁹ «Я обратил внимание, — говорит герой романа “В круге первом” Глеб Нержин, перечитавший в тюрьме “Графа Монте-Кристо”, — что, хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму... В замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожётши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком» (Солженицын А.И. В круге первом // Собрание сочинений: В 9 т. М., 1999. Т. 2. С. 449).

²⁰ Там же. С. 799.

²¹ Там же. Т. 4. С. 137.

²² Там же. С. 209.

²³ Там же. С. 215. Сюжет про хлеб и колбасу, которую приносят голодным детям, упомянут в романе Ф.М.Достоевского «Идиот» (Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Далее — ПСС. Л., 1973. Т. 8. С. 331).

²⁴ Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг // Собрание сочинений: В 9 т. Т. 5. М., 1999. С. 185–186.

²⁵ Там же. С. 189.

²⁶ Там же. С. 566–567.

²⁷ Солженицын А.И. Пресс-конференция в Мадриде. 20 марта 1976 // Публицистика. Ярославль, 1996. Т. 2. С. 468.

²⁸ Ср.: «И в мой жестокий век / Восславил я свободу...» (Пушкин А.С. Памятник, 1836).

²⁹ Ср.: «Век шествует путём своим железным...» (Баратынский Е.А. Последний поэт, 1835).

³⁰ Ср.: «Век девятнадцатый, железный, / Воистину жестокий век!» (Блок А.А. Возмездие, 1916. Гл. 1).

³¹ Ср.: «Только что прожили мы ужасающий девятнадцатый век, русский девятнадцатый век в частности... Век, который хорошо назвать “беспламенным пожаром” у одного поэта (В.Брюсова. — Л.С.); блистательный и погребальный век...» (Блок А.А. Ирония // Собрание сочинений. Т. 5. С. 456).

³² Ср.: «Вот — любовь того вампирственного века, / Который превратил в калек / Достойных звания человека! / Будь трижды проклят, жалкий век!» (Блок А.А. Возмездие. Гл. 1).

- ³³ Солженицын А.И. Интервью с Даниэлем Рондо для парижской газеты «Либерасьон». Кавендиш, 1 ноября 1983 // Публицистика. Т. 3. С. 199.
- ³⁴ Солженицын А.И. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения. Кавендиш, 31 октября 1983 // Там же. С. 191.
- ³⁵ Солженицын А.И. Речь при вручении Большой премии Французской академии моральных и политических наук. 13 декабря 2000 // М. 2001. № 1. С. 132.
- ³⁶ Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 115.
- ³⁷ Блок А.А. Крушение гуманизма // Собрание сочинений. Т. 5. С. 456.
- ³⁸ Блок А.А. Возмездие. Гл. 1.
- ³⁹ Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 121.
- ⁴⁰ Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? // Публицистика. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 543.
- ⁴¹ Солженицын А.И. Интервью с Рудольфом Аугштайном... // Указ. соч. С. 288.
- ⁴² Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 22. С. 29.
- ⁴³ Там же. Т. 27. С. 17.
- ⁴⁴ Там же. С. 49.
- ⁴⁵ Фудель С.И. Воспоминания // Собрание сочинений: В 3 т. / Составление, подготовка текстов, комментарии прот. Н.В.Балашова, Л.И.Сараскиной. М., 2001. Т. 1. С. 25.
- ⁴⁶ Зинаида Гиппиус. Дмитрий Мережковский // Зинаида Гиппиус. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991. С. 231–232. «Кажется, Д.С. [Мережковский] возразил ему тогда, что не он ли, не они ли сами устраивают эту ледяную пустыню из России» (там же. С. 232).
- ⁴⁷ Солженицын А.И. Как нам обустроить Россию? // Указ. соч. С. 562.
- ⁴⁸ Солженицын А.И. Россия в обвале. М., 1998. С. 200.
- ⁴⁹ Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 60–61.
- ⁵⁰ Блок А. Стихия и культура // Собрание сочинений. Т. 5. С. 274, 283.
- ⁵¹ Солженицын А.И. Темплтоновская лекция. Лондон, 10 мая 1983 // Публицистика. Т. 1. С. 449.
- ⁵² Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 15. С. 206.
- ⁵³ Там же. С. 253.
- ⁵⁴ См. письмо А.П.Чехова С.Н.Дягилеву от 30 декабря 1902 г. // Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1964. Т. 12. С. 463.
- ⁵⁵ Солженицын А.И. Темплтоновская лекция... // Указ. соч. С. 450.
- ⁵⁶ См., например, высказывание Н.Бурляева: «Светское государство или православная империя» (НГ Религия. 2003. 3 декабря).
- ⁵⁷ Солженицын А.И. Интервью с Бернаром Пиво... // Указ. соч. С. 191.
- ⁵⁸ Солженицын А.И. Интервью с Даниэлем Рондо... // Указ. соч. С. 198.
- ⁵⁹ Ср.: «...любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 7–8).
- ⁶⁰ Солженицын А.И. Интервью с Бернаром Пиво... // Указ. соч. С. 192–193.
- ⁶¹ Толстой Л.Н. В чём моя вера? // Толстой Л.Н. Исповедь. В чём моя вера? Л., 1991. С. 205.
- ⁶² Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., 1990. С. 5.
- ⁶³ Солженицын А.И. Ответное слово на присуждение литературной награды Американского Национального Клуба Искусств. Нью-Йорк, 19 января 1993 // Публицистика. Т. 3. С. 388.

- ⁶⁴ Солженицын А.И. Речь при вручении Большой премии Французской академии моральных и политических наук. 13 декабря 2000 // М. 2001. № 1. С. 134.
- ⁶⁵ Цит. по: Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 11. С. 184; Т. 12. С. 352.
- ⁶⁶ Солженицын А.И. Нобелевская лекция // Публицистика. Т. 1. С. 9–10. Ср. также: «Всемирно известно положение, что есть три высших принципа: Истина, Добро и Красота. Это часто повторяли многие мыслители, в том числе Достоевский. Но красота казалась в эту триединую формулу искусственно добавленной» (Круглый стол в газете «Йомиури». Токио, 13 октября 1982) // Публицистика. Т. 3. С. 84).

Татьяна Клеофастова
КИЕВ

ТВОРЧЕСТВО А.СОЛЖЕНИЦЫНА В КОНТЕКСТЕ XX ВЕКА

Русскую литературу XIX века часто — и справедливо — называют литературой вопросов, которые прямо выносятся в название романов, поэм, повестей, статей: «Кто виноват?», «Что делать?», «Кому на Руси жить хорошо?», «Что такое искусство?», «В чём моя вера?». Двадцатый век делает попытки дать ответы на эти вопросы. Вчитаемся в название произведений, созданных в XX веке и характеризующих состояние народной жизни: «Железный поток», «Как закалялась сталь», «Хождение по мукам», «Архипелаг ГУЛаг» и, наконец, «Красное Колесо» А.И.Солженицына. Как известно, рукописи не горят, а книги имеют свою судьбу, но не забудем и о судьбе писателя. У Александра Солженицына поистине уникальный жизненный опыт. Судьба как бы спрессовала в одну биографию то, чего хватило бы с избытком не на одну жизнь и не одному художнику. Он прошёл Вторую мировую войну боевым офицером и уцелел среди миллионов смертей. Он пережил испытания сталинских концлагерей, где не умер, не сломился, как умерли или сломились многие другие, а укрепился духовно. Затем был раковый корпус — тяжёлое психологическое и физическое испытание болезнью. Потом шли годы, как казалось многим, в безуспешной борьбе с гигантской машиной власти, которая стремилась раздавить писателя ложью, угрозами, подкупом, прямым насилием. И наконец, эмиграция. Но и здесь он остался верен своему писательскому долгу. Анализируя существенные особенности творчества писателей — лауреатов Нобелевской премии второй половины XX века, исследователи отмечают, что у А.Солженицына проблемы гуманизма, нравственности, человеческого достоинства приобретают «сверхценный характер»¹. Вокруг творчества Солженицына за рубежом, прежде всего в среде эмиграции, существует огромная литература. С приездом писателя на родину дискуссии о его творчестве развернулись и в России, ведь большинство его произведений — это по сути исследовательские работы по новейшей русской истории. Например, «Архипелаг

ГУЛаг» имеет подзаголовок: «Художественное исследование», Таковыми можно считать и его романы, особенно же последний, завершающий труд его жизни — произведение «Красное Колесо», которое получило ряд авторских подзаголовков: «Повествование в отмеренных сроках», «Историческая эпопея», «Цикл Узлов».

Одни литературоведы видят в Солженицыне сторонника монархии, другие — критика коммунизма, третьи усматривают в нём защитника русской самобытности, русской идеи, четвертые считают его западником, пятые — авторитаристом... Но главное — то, что Солженицын (и это осознаётся всеми) — громадное литературное явление XX века, художник, исследующий суровые реалии нашего бытия. И он не вменяется в рамки привычных идеологических, литературоведческих толкований. Отсюда множество интерпретаций творчества Солженицына, борьба вокруг его имени и его произведений.

Особую полемику вызвал роман-эпопея «Красное Колесо», который состоит из десяти томов и является самым объёмным в русской литературе. Одни исследователи считают «Красное Колесо» ещё не определённой, доселе не существовавшей разновидностью исторического романа (Н.Струве), огромным культурным вкладом в духовную сокровищницу нации (Ю.Кублановский, П.Паламарчук, В.Потапов, Р.Темпест, Ж.Нива, Д.Штурман), другие уверены, что в данном случае историк совершенно затмил художника и «Красное Колесо» — сокрушительная неудача Солженицына (В.Максимов, Г.Померанц, В.Синявский, М.Розанова, А.Янов).

Всё вышеизложенное даёт нам возможность присоединиться к мнению крупнейшего теоретика и историка русской литературы проф. П.А.Николаева, утверждающего, что Солженицын является «главной знаковой фигурой конца XX века», что именно в его творчестве произошла сублимация всего духовного и интеллектуального опыта России². Анализируя творчество Солженицына в целом, Николаев подчёркивает такую суперпозицию его творческой индивидуальности, которая резко его отличает от других русских писателей. Это отличие состоит в том, что, по мнению Николаева, все русские писатели XIX века были носителями противоречивого сознания и не вполне понимали, что происходит внутри окружающего их социума. Некоторые, как Лев Толстой, даже любили эти противоречия, культивировали их в себе. И поэтому в течение всего XIX столетия у писателей вновь и вновь «возникла потребность соединить в себе две стороны сознания: конкретное художественное начало — с мирозерцанием; все подробности быта, жизни — с теоретической доктриной, которая не совпадала со всем этим». И,

отмечает учёный, в XX веке «Солженицын был одним из первых, кто ликвидировал это противоречие, трагическое и мучительное для всех художников. В его творчестве соединилась логика жизни с конкретным пониманием и объяснением того, что произошло... В середине нашего столетия пришёл писатель, который ликвидировал этот опасный разрыв. Его картина мира стала подлинно универсальной, ибо она гармонична своими частями — и понятийным обслуживанием этой жизни, и художественным, конкретно-чувственным... На наших глазах возник художник, обладающий стратегическим мышлением»³.

Но Солженицын не только преодолел противоречивость художественного сознания русской литературы XIX века, но сохранил и развил в своём творчестве то главное, что было извечно присуще классической русской литературе, — её исключительную нравственную насыщенность, её духовную энергию, её стремление к высшему идеалу, который в русской литературе приобрёл статус сакральноположительного. Чрезвычайно показательно, что высокие нравственные идеалы продолжают именно в творчестве Солженицына, прошедшего ад Архипелага, именно в России, испытавший все глобальные катаклизмы XX века.

Русский философ Евгений Трубецкой, анализируя природу устремлений человека, прибегает к универсальному математическому сравнению: «горизонталь» и «вертикаль» человеческих желаний. Горизонталь — его мир земной, дольний, вертикаль — его мир высший, горний, мир его непреходящих идеалов. И нет границы между этими мирами ни в жизни, ни в человеческом сердце.

А художник — своеобразный посредник человечества между этими двумя мирами, осуществляющий прямой энергетический контакт на высшем духовном уровне. И эта высокая миссия художника особенно значительна в критические моменты для судьбы целой нации.

Вертикаль общечеловеческого идеала в современной русской литературе было суждено восстановить А.Солженицыну. Его появление — это знаковое явление, такие люди появляются, чтобы поддержать человечество в роковые для него минуты. Как истинный художник, он конструирует окружающий мир исходя из потенциала собственного духовного мира, даже находясь в эпицентре социально-политических катастроф.

Особенно ярко и всеобъемлюще эти особенности воплотились в десятилетней эпопее «Красное Колесо», которая является уникальным синкретическим сплавом историко-исследовательской эпопеи с трагическим катарсисом и открытой гражданской проповедью.

Феномен этого произведения, как, впрочем, и других произведений писателя, своеобразен и велик не только в творчестве Солженицына, но и во всей историко-литературной перспективе русской литературы XX века.

Сказанное дало повод некоторым критикам утверждать, что эти грандиозные произведения не могли быть созданы одной творческой личностью, что никакого Солженицына вообще не существовало и его произведения «не написаны одним пером», они «носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей»⁴.

Однако, когда факт создания А.И.Солженицыным своих произведений стал бесспорным, начались поиски исторических ошибок и неточностей, хотя известно стремление писателя к максимальной исторической точности, что отмечено в ряде исследований. Самые характерные отклики мы позволим себе привести. Например, Н.Струве особо подчёркивает: «Ни на одной фактической ошибке Солженицына не поймали, сколько ни пробовали ловить»⁵, а историк Д.Волкогонов констатирует: «Огромное значение для понимания феномена Ленина имеют, как бы я их назвал, историко-художественные произведения Солженицына. Великий писатель смог, продолжая великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, “перевернувших Россию”»⁶. С ним солидарна израильская исследовательница творчества Солженицына Д.Штурман, отмечающая, что «каждое существенное высказывание Ленина в Цюрихе строго документально. Мне удалось найти для них всех аналоги в переписке и сочинениях Ленина»⁷.

Позади остаются и споры об авторстве собственных книг, и годы изгнания, а реальный Солженицын стал таким, каким он стал, — мыслителем и человеком, сумевшим подняться из тьмы Архипелага ГУЛАГа с номерным клеймом на спецодежде до высоты всемирного литературного признания, что отмечается и друзьями, и недругами.

И при этом он не перестал ощущать себя одним из тех, с кем шагал в бесконечных лагерных колоннах, умирал в раковом корпусе, перенёс фронтовые лишения и изгнание... одним из нас, на чью долю в этом, уже ушедшем XX веке выпал действительно уникальный суровый жизненный опыт.

Следует отметить, что судьба такого грандиозного литературного произведения, каким является «Красное Колесо», определяется не сразу по выходе в свет, а по истечении ряда лет, с постепенным вхождением в художественно-культурное сознание социума. Роман-эпопея «Красное Колесо» рассчитан на будущее, и автор его предполагает проникнове-

ние принципов нового нравственного императива во всю глубинную инфраструктуру современной цивилизации.

В историко-исследовательской эпопее Солженицын отобразил целую человеческую вселенную, и место её действия — вся Россия: от императорской семьи до крестьянской. Задействованы сотни персонажей; некоторые исторические лица — герои этой эпопеи — впоследствии будут канонизированы (Николай II и его семья), другие оставят яркий след в истории России, и на их могилы возлагают цветы (могила П.А.Столыпина в Киево-Печерской лавре). О третьих сказано кратко: погиб в штыковой атаке, убит снарядом или просто — трижды поменявшийся состав пехотного полка Георгия Воротынцева. Некоторые герои просто анонимны. Но анонимность не уменьшает их вклад в историю России, не снимает вопрос о личностном, персоналистическом характере истории в произведении Солженицына, о её человеческой одухотворённости.

На протяжении нескольких тысяч страниц мы становимся взволнованными свидетелями того, как одни персонажи грандиозной эпопеи стремятся противостоять, задержать, остановить неумолимый ход Красного Колеса и как другие разгоняют его, сознательно или бессознательно. И те и другие своими поступками и желаниями творят историю по своему выбору, ведь в христианизированном понимании у личности всегда есть свобода выбора,

И эта, творимая личностью, история немислима, неотделима от человеческой души, поэтому у Солженицына человек всегда основной структурирующий элемент события.

Развиваясь благодаря поступкам и стремлениям личности, история, обогащаясь человеческим фактором, одновременно обогащает личность. Объективные исторические процессы у Солженицына всегда опосредованы человеческой личностью, проходя через внутренний мир, личную жизнь всех персонажей «Красного Колеса». Объективная история России одновременно является и личной историей, трагедией или счастьем для императорской семьи Николая II и для крестьянской семьи Благодарёвых.

Война проходит через сердца и Николая II, и Катёны Благодарёвой, для которой жизненно важно, когда и как кончится эта Первая мировая, убьют или не убьют мужа, будут ли её дети сиротами или нет, будут ли счастье, земля, свобода. Таким образом, статистически количественно малая в соизмеримости с историей личность качественно равновелика ей — ибо без личности нет истории. Однако события, которые разворачивались на огромных просторах России в XX веке, полностью можно

осознать только в контексте метаистории. В нашем понимании, в структуре данного исследования метаистория — фундаментальное смысловое историческое единство бытия, в котором сосредоточена вся полнота трансцендентной экзистенции народа. По мнению современного российского философа Ф.И.Гиренка, Россия сейчас «живёт в состоянии ожидания эффекта истории в пространстве метаистории»⁸. Писателем, который в своём творчестве смог прикоснуться к истокам формирования метаисторических процессов в России и раскрыл их глубинный смысл, по нашему убеждению, является А.И.Солженицын. Его «Красное Колесо» — это художественное отражение живой связи истории и метаистории России, грандиозного многоликого исторического действия, объединяющего в едином метаисторическом пространстве её прошлое, настоящее, будущее.

На взгляд некоторых критиков творчества Солженицына, роман-эпопея «Красное Колесо» хаотичен, огромен, он похоронил автора своей громадой.

Однако нетрудно заметить, что в историко-исследовательском романе-эпопее «Красное Колесо» всё выверено и рассчитано с присущей математике точностью.

Солженицын всё огромное фактологическое богатство социально-исторического и жизненного материала связывает с внутренней духовной динамикой человеческой души. Он смотрит на историю России и с точки зрения современных научных методик, и с христологической, православной точки зрения. В его творчестве происходит гармоническое сочетание, соотношение научного и христоцентричного взгляда на исторический процесс и роль человека в этом процессе. И в этом нет ничего противоречивого. Как писал В.И.Вернадский, «...религия поднимается в такие высоты и спускается в такие глубины души, куда наука не может за ней следовать... Как христианство не одолело науки в её области, но в этой борьбе глубже определило свою сущность, так и наука в чуждой ей области не сможет сломить христианскую или иную религию, но ближе определит и уяснит формы своего ведения»⁹.

Ситуация в мире существенно изменилась: ушли в прошлое нереальные концепции социализма, воинствующий атеизм, пересмотрены устоявшиеся стереотипы и ценностные иерархии.

Всё это заметно влияет и на литературоведческую мысль, ставя её перед необходимостью пересмотра мировоззренческих, философских основ бытия, концепции человека, ценностных ориентаций и духовной позиции.

На наш взгляд, развитие русской литературы, и в том числе современной, не может быть научно и обстоятельно представлено вне истории христианства, ибо истинное художественное творчество всегда развивалось в постоянном взаимодействии с религиозно-философским сознанием нации. Трепетным соприкосновением с высшими нравственными ценностями православия проникнуто и повествование А.Солженицына, продолжающее и на этом духовном уровне традиции русской классической литературы. О наличии, своеобразии и постоянной ротации на протяжении длительного исторического периода христоцентричного, а также мифоцентричного, народоцентричного, эстетикоцентричного типов художественного и философского мирозерцания пишут сейчас и философы (В.Зеньковский, А.Гулыга, С.Крымский), и литературоведы (Ю.Ковалив, Б.Байтц, М.Микулашик), и экологи (Н.Моисеев, Н.Реймерс, С.Казначеев, В.Спирин, И.Быстряков). И очевидно, в прошлом должны остаться атеистично-социологические утверждения об имманентной разделённости развития художественного творчества и религиозно-философского сознания — этих двух ветвей духовной культуры человечества.

Таким образом, оценка автором «Красного Колеса» происходящих событий полифонична и полихроматична и тем самым, смеем утверждать, уникальна для русской литературы конца XX века.

Особенности мировоззрения и своеобразии творческого пути А.Солженицына, время, описываемое им, сделали возможным создание неповторимого художественного феномена «Красного Колеса», жанр которого мы определяем как историко-исследовательский роман-эпопею.

В художественной системе «Красного Колеса» Солженицына совершенно не актуальны и не рассматриваются такие привычно традиционные для нашего прошлого идеологические установки, как руководящая роль пролетариата в историческом процессе, детерминирующая роль экономических отношений, классовая борьба и другие атрибуты марксизма.

Предметом художественного исследования в «Красном Колесе» стало изучение способности человека как носителя определённой культуры и представителя определённого социального слоя подняться или не подняться до уровня понимания всё нарастающей сложности общественного развития, грозящего завершиться социокультурной трагедией, революцией; умение и желание личности предотвратить подобные катаклизмы или не предотвратить. Исследование ведётся на всех социокультурных уровнях, писатель стремится ко всей возможной универсальности и всеохватности. И главное для него в рассмотрении этой

проблемы прежде всего нравственность. Все поступки своих персонажей Солженицын рассматривает сквозь призму нравственности.

Ещё и ещё раз возвращает нас писатель к человеческой душе, показывая, что именно она и есть центр сосредоточения борьбы и добра и зла, и пока добро не победит в человеческой душе, не победит оно и в мире. Об этом говорит в романе-эпопее полковой священник о. Северьян: «...дилемма мир-война — это поверхностная дилемма поверхностных умов. <...> Истинная дилемма: мир-зло. Война — только частный случай зла, сгущённого во времени и в пространстве. <...> Истинная дилемма человечества: мир в сердцах — или зло в сердцах. <...> А преодолеть зло мирового сознания... на это отпущено нам не поколение, не век, не эпоха — но вся история от Адама до Второго Пришествия»¹⁰.

Герои произведения А.Солженицына, а вместе с ними и автор отстаивают право личности на нравственное противление злу как решающую цель человеческой истории. Если же это право не реализуется, происходит духовная и социальная деградация личности и общества. Реализация этих ценностей и придает истории человеческий и творческий смысл. И здесь автор «Красного Колеса», по нашему мнению, предельно близок к утверждению В.Соловьёва: «Человек дорог Богу не как страдательное орудие Его воли — таких орудий довольно и в мире физическом, а как добровольный союзник и соучастник Его всемирного дела. Это соучастие человеческое непременно входит в саму цель Божьего действия в мире, ибо если бы эта цель мыслима была без деятельности человека, то она была бы уже от века достигнута, так как в самом Боге не может быть никакого процесса совершенствования, а одна вечная и неизменная полнота всех благ»¹¹.

В повествовании Солженицына офицеры-фронтовики каждый день видят смерть и увечья в самых уродливых формах, однако не теряют, но обретают способность мыслить в русле высокой христианской этики. «Страшно умереть, а убивать ещё страшнее, — говорит Саня Лаженицын, — так ведь ничего и от человечества не останется». «Жить дальше в этом ремесле нельзя, — убеждён Георгий Воротынцев, — это мертвоприношение». «Зачем воевать, ведь вся земля и так наша», — рассуждают офицеры Смысловский и Нечволодов. Все они убеждены, что «душу пулей не убить», что физическая смерть не означает смерть духовную, что душа рождена для вечности.

А пока Россия в повествовании Солженицына продолжает сражаться на фронтах Первой мировой — в Германии, Польше, Румынии, рвутся к власти фанатичные сторонники социалистической революции в России, плетутся дворцовые интриги, льётся кровь, гибнут люди. Но,

по убеждению писателя, главное и определяющее назначение человека на Земле — жить и любить. Этим утверждением, обусловленным всей сущностью христианского мировоззрения, проникнута структура историко-исследовательского романа-эпопеи: «Пока мы живы — наш удел земной <...> ...сказал Христос: ничего нет выше любви. И не исключил любви — никакой»¹².

«Красное Колесо» посвящается событиям особо трагическим и сложным в истории России. Внимательно вглядываясь в события этих лет, А.Солженицын, кажется, не упустил в своём просторном и многолюдном повествовании ни одного значительного государственного явления, ни одного значительного исторического лица, повлиявшего своими действиями на судьбу России. Показаны и огромные воинские соединения,двигающиеся по дорогам войны и сталкивающиеся в кровопролитных сражениях, и жаркие диспуты и борьба внутри политических партий, разногласия в Думе и правительстве. Показаны упущенные возможности столыпинской реформы и научно не обоснованная вера В.И.Ульянова-Ленина в идеи социализма, и его поистине фанатичное стремление к власти и переустройству мира насильственным путём. Раскрыт интимный, внутренний мир семьи императора Николая II и судьба крестьянской четы Арсения и Катёны Благодарёвых, быт и нравы столицы и провинции. Москва, Петербург, Киев, Женева, Берлин, Лондон, великосветские салоны и жизнь политической эмиграции, военные парады и санитарная землянка с умирающими ранеными — всё это показано в непривычном для нас ракурсе видения и в разных типах авторского повествования. Это и главы-монологи, и документально-публицистические главы, и синкопированные главы, главы-монтажи, главы-экраны и т.п. И здесь роль автора-повествователя и автора-исследователя обретает определяюще-синтезирующие функции.

Почти во всех произведениях А.Солженицына события разворачиваются в замкнутом, искусственно ограниченном пространстве. Это или крестьянская изба Матрёны Васильевны Григорьевой, или барак в концлагере Ивана Денисовича Шухова, или раковый корпус, в котором лечится Олег Костоготов, или особая тюрьма, где находится Глеб Нержин, или территория Архипелага ГУЛАГа, чётко ограниченная железной проволокой и сторожевыми вышками. И только в эпопее «Красное Колесо» происходит выход в широко открытое жизненное пространство — и историческое, и географическое. Трудно перечислить события и участников событий этой грандиозной эпопеи, но они важны именно все, так как только все вместе выражают авторский замысел: показать Россию сверху донизу в её движении к революции, к роковой черте сво-

ей истории. Многим миллионам было суждено исчезнуть, погибнуть, быть раздавленными Красным Колесом российской истории. И в этом роковом историческом движении некоторые персонажи «Красного Колеса» обретают кенотическую способность добровольного отречения от всего сущего, усиливают в себе духовное через отказ от материального. И кенозис, как и антиномия (Ленин — Николай II), становится одним из основных приёмов солженицынского повествования, продолжая эту специфическую особенность русской поэтической традиции.

Свою задачу автор видит не только в том, чтобы выявить механизм и движущие силы Красного Колеса революции, его стремительный и страшный бег, но и показать, как попытка установить рай на земле революционным путём привела к возникновению ада на земле.

Из внутреннего содержания романа-эпопеи выкристаллизовывается и сверхзадача, или метазадача, произведения — показать в художественной структуре «Красного Колеса» встречный диалог русской художественной, религиозной, научной, философской мысли во времени и пространстве русской и общечеловеческой культуры. Это диалог о нравственности и духовности, основы которых были открыты ещё в Нагорной проповеди и к которым возвращает нас в своём произведении А.Солженицын, возводя их в ранг нравственного императива общечеловеческого развития. Этот высокогуманный императив писателя выстрадан и распятием на кресте ГУЛАГа, и всей суровой действительностью нашего XX века.

В романе-эпопее «Красное Колесо» происходит встречный диалог, ибо мощные энергийные потоки дифференцированного художественного, религиозного, философского, научного знания не идут параллельно друг другу, а непременно пересекаются, встречаясь в определённых точках. Их совокупность создаёт особое информационное пространство (поле), обеспечивающее приближение к Истине. Этот процесс соотносится и с мыслями о Павла Флоренского о теодицее и антроподицее как о восходящих и нисходящих встречных энергийных потоках познания Истины.

Под колоссальными сводами романа-эпопеи «Красное Колесо» мы слышим трепетное биение сердца трансцендентной России, явственно и зримо ощущаем раздумья и чаяния её лучших мыслителей: Льва Толстого, Фёдора Достоевского, Владимира Соловьёва, Павла Флоренского... Их идеалы и поиски, сомнения и надежды, как эстафету, продолжают герои солженицынского повествования.

В этом открытом диалоге писатель ведёт поиски новой модели бытия и для России, и для всего человечества в грядущем XXI веке с учётом трагического исторического опыта России.

Диалог современности с прошлым в эпопее А.Солженицына образует существо историко-художественного познания.

В художественном концептуальном поле произведения Солженицына история проходит через судьбы и сердца всех героев, там нет событий, которые происходили бы где-то помимо персонажей эпопеи, над их сознанием, — именно так становится возможным объективное проникновение в содержание истории, не только реконструкция, но и конструирование прошлого. В десятитомном повествовании А.Солженицына подняты фундаментальные, глобальные проблемы эпохи, и в частности проблемы существования такой ноументальной реальности, как Россия, которая отстоит своё будущее только через выход на качественно новый виток цивилизационного развития. «Время, в котором *мы живём, имеет бездонную глубину* (курсив мой. — Т.К.). Современность — только плёнка на времени»¹³, — утверждает писатель в эпопее «Красное Колесо» устами своего героя — философа Павла Ивановича Варсонофьева.

Таким образом, писатель представляет нам, его современникам, новые модусы времени и пространства, отличные от чистого профанизма количественного времени, и этим он выполняет универсальную миссию, оставляя своё творение жить дальше, вне сроков его и нашей жизни. Творчество является для Солженицына подвижническим служением вечным ценностям Духа, моментом «высокого наслаждения, освобождения души». И основная тема его творчества, как, впрочем, и всей русской литературы, — смысл жизни человека и смысл жизни народа. Именно эта тема рассматривается русской литературой во всех возможных вариациях, плоскостях, жанрах: от летописи X века до романа эпопеи конца XX века. Что есть личность, потенциально содержащая в себе всю полноту бытийной первореальности и как она жизнеутверждается в обществе — именно эти проблемы волнуют Солженицына — писателя, мыслителя, человека, разделяющего мнения современных философов о том, что «личность может воплотить целую вселенную, сжатую в пределах индивидуальности...»¹⁴.

Солженицын прошёл свой крестный путь сполна. По мере испытаний ему даны полной мерой и талант, и мудрая мужественность, и тот особый негасимый свет, который сквозь мрак Архипелага ГУЛАГа, сквозь трагедию войн и революций освещает все его произведения и возвышает душу читателя, открывая фундаментальные основания православно-славянской духовной традиции. В творчестве Солженицына эти традиции опираются на философско-антропологические представления Киевской Руси, кордоцентричный экзистенциализм Сковороды и Юркевича, на искания творцов Серебряного века, находившихся под

мощным воздействием вдохновляющей энергии создателя философии всеединства В.Соловьёва, на художественные открытия Л.Толстого и Ф.Достоевского.

Именно в таком идейном контексте и следует, как нам представляется, рассматривать художественный ценностно-смысловой универсум «Красного Колеса» — произведения, утверждающего самоценность человеческой личности как свободного, творческого начала в социокультурном и социально-психологическом отношении, произведения, архитипически сопричастного сакральной, глубинной первореальности, которые синтезированы в христоцентрической модели бытия.

Проблемы, поставленные в «Красном Колесе», находятся в непосредственной связи с внутренним мироощущением писателя, с его пониманием служения Истине, искусству, литературе. Об этом А.Солженицын сказал в возвышенно-трагической Нобелевской лекции, выступая от имени всех тех, кого превратили в лагерную пыль. «На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трём-четырёх примощённым ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмёрзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня, — погибли. <...> Целая национальная литература осталась там, погребённая не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойдённых дерева.

И мне сегодня, сопровождаённому тенью павших, и со склонённой головой пропуская вперёд себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели сказать о н и?»¹⁵

В своей речи А.И.Солженицын, тем не менее, утверждает бессмертность литературного творчества и убеждает в том, что каждый настоящий художник ощущает себя частью мирового сообщества, которое, по мнению писателя, есть «уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества»¹⁶.

И без этого единения, делает вывод Александр Исаевич, мы «не уживём на одной земле».

На Земле, где человек получил из Рук Творца «ещё в предутренних сумерках человечества» способность к художественному творчеству — способность «увидеть на миг Недоступное»¹⁷.

И по твёрдому убеждению писателя, истинный художник, чувствуя над собой эту Высшую силу, достойно несёт свою высокогуманную миссию, «даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях — сохраняя эту волшебную способность — творить»¹⁸.

Ибо в творчестве — весь смысл и всё оправдание нашей земной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992. С. 432.

² См.: *Николаев П.А.* Он в высшей степени стильный писатель // Филологические науки. 1999. № 6. С. 121.

³ Там же. С. 123.

⁴ *Ульянов Н.* Загадка Солженицына // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1971. 1 августа. С. 2.

⁵ *Струве Н.* О «Марте Семнадцатого» // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М.: Столица, 1991. С. 392.

⁶ *Волкогон Д.А.* Ленин. Политический портрет: В 2 кн. М.: Новости, 1994. Кн. 1. С. 23.

⁷ *Штурман Д.М.* Городу и миру. О публицистике А.И.Солженицына. Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1988. С. 114.

⁸ *Гиренок Ф.* Патология русского ума: картография дословности. М.: Аграф, 1998. С. 36.

⁹ *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. С. 211.

¹⁰ *Солженицын А.И.* Красное Колесо: В 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997. Т. 3. С. 66–67.

¹¹ *Соловьёв В.С.* Оправдание добра // Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 258–259.

¹² *Солженицын А.И.* Указ. соч. Т. 4. С. 575.

¹³ Там же. С. 549.

¹⁴ *Крымский С.Б.* Философия как путь человечности и надежды. Киев: Курс, 2000. С. 27.

¹⁵ *Солженицын А.И.* Публицистика. Статьи и речи. Вермонт; Париж, 1981. С. 10.

¹⁶ Там же. С. 21.

¹⁷ Там же. С. 8.

¹⁸ Там же.

А. Климов

ПОКИПСИ (США)

ТЕМА НРАВСТВЕННОГО ПРОБУЖДЕНИЯ У СОЛЖЕНИЦЫНА

Вряд ли требуется доказывать, что тематика лишений, страданий, несчастных случайностей и роковых просчётов широко представлена в творчестве Солженицына. Но в произведениях писателя одновременно присутствует и другая тематическая струя, яркая и мощная, в которой преобразуется трагический колорит и звучат ноты духовного восхождения, возникая именно в самые острые моменты трагических коллизий. Некоторым аспектам этой стороны творчества писателя посвящено настоящее сообщение.

В ранней поэме «Прусские ночи» офицер Красной армии по имени Сергей Нержин поначалу пытается сохранить некую пилатоподобную непричастность к стихийному разгулу, царящему вокруг него во время вторжения советских войск в Восточную Пруссию в начале 1945-го¹. Немецкий фронт в этих краях фактически рухнул, и Красная армия «валит» (по формулировке поэта)² вперёд в каком-то весёло-мстительном опьянении, грабя, убивая, насилая и поджигая аккуратные немецкие селенья.

Нержин видит всё это, но рассуждает так:

Что ж, гори, дыми, пылай,
Трудолюбный, гордый край!
Средь неистовства толпы
Мести в сердце не ношу:
Не сожгу в тебе щепы
И дворца не погашу.
Я пройду, тебя не тронув,
Как Пилат, оmyв персты...³

Однако попытка оставаться в позе стороннего наблюдателя не выдерживает натиска соблазнов, окружающих Нержина, и он всё более и

более отступает от своих изначальных намерений. Сперва он забирает канцелярские принадлежности, брошенные на немецкой почте, оправдываясь тем, что эти вещи все равно пропадут:

Перед кем краснеть я должен?⁴

Дальше — больше. Наблюдая разгул солдат, Нержин начинает говорить уже не отрешённым голосом Пилата:

В нашей жизни беспокойной —
Нынче жив, гляди — убит,
Мил мне, братцы, ваш разбойный
Не к добру весёлый вид⁵.

Заложенная здесь мысль подкрепляется затем уже формально знаменитым латинским речением *Cape diem!* («Лови день!» — из первой оды Горация)⁶. Но едва ли не более сильное воздействие на Нержина имеет навязчивый мотив («зов лукавый»), всё громче звучащий у него в ушах:

Ну, какое сердце
Устоять сумеет?..⁷

Всё вместе взятое в конце концов приводит Нержина к совершению двух тяжких преступлений: он косвенно виновен в том, что не предотвратил произвольное убийство, учинённое его солдатами, а затем уже лично поддался стихии вседозволенности и изнасиловал несчастную немку⁸. В этом акте, однако, перейдена какая-то душевная мера, и непреодолимый протест совести заставляет Нержина содрогнуться от сознания греховности своего поступка:

Я ей поздними словами
Сам сказал: «Какая низость!»⁹

До этого последнего момента Нержин ведёт с собой внутренний спор, как бы стараясь убедить самого себя, что окружающие его вопиющие варварства — в какой-то мере оправданны, то ли по мысли, выраженной пресловутой формулой «*Кровь за кровь, и зуб за зуб*»¹⁰, то ли отмеченным уже призывом «ловить день». Но все эти рассуждения разлетаются в прах перед окончательно пробудившимся и восставшим нравственным чувством.

В одной из своих «крохоток», написанных в 1990-х годах, уже после возвращения в Россию, Солженицын приводит сравнение, самым прямым образом приложимое к психологическому потрясению Нержина. Речь идёт о липе, расщеплённой молнией во время грозы. Ток прошёл

«...повдоль и повдоль ствола, через её живое и в себе уверенное нутро».

И писателю видится параллель с человеческой совестью.

«Так и нас, иног: когда уже постигает удар кары-совести, то — через всё нутро напрострел, и через всю жизнь вдоль. И кто ещё остоится после того, а кто и нет»¹¹.

Именно удар «кары-совести» постигает Нержина в поэме «Прусские ночи». Но он, в отличие от дерева, не уничтожен; он — «остоится». Уничтожены и сожжены его ложные воззрения, а ему открывается мир нравственных законов.

Аналогичный пример мы встречаем в рассказе «Случай на станции Кочетовка», написанном в конце 1962 года. Здесь мы знакомимся с молодым лейтенантом Зотовым, помощником военного коменданта на небольшой железнодорожной станции осенью 1941-го. Человек добросовестный и честный, наделённый ярко выраженными добрыми склонностями, Зотов, однако, искренне предан основам марксизма-ленинизма и не сомневается в правдивости пропагандистских лозунгов того времени.

Солженицын подробно, даже любовно останавливается на наивной вере Зотова в идеалы революции, вере, которая, к огорчению Зотова, находит лишь вялый отклик среди большинства окружающих его людей¹². В этой связи близорукость Зотова — черта явно символическая. То же самое относится к его наружности: когда он снимает очки, лицо его выглядит детским¹³. Вообще, вся «советскость» Зотова представлена как нечто внешнее, наносное, похожее на фуражку, которую он не снимает с головы даже в комнате, когда он на дежурстве, и которая придаёт строгость его курносому лицу¹⁴.

Катастрофически неудачный ход войны осенью 41-го Зотов воспринимает как «святое горе»¹⁵, однако вовсе не в плане национальном, а как смертельную угрозу всем его идеологическим верованиям. По этому поводу он с сочувствием вспоминает недавно слышанные им стихи со следующими словами:

Если Ленина дело падёт в эти дни —
Для чего мне останется жить?¹⁶

Эта преданность «делу Ленина» вступает в борьбу с добрыми наклонностями Зотова, когда к нему попадает случайно отставший от своего эшелона «окруженец» по фамилии Тверитинов¹⁷. Явная интеллигентность окруженца, до войны бывшего актером МХАТа, сразу вызывает прилив доброжелательности к нему со стороны Зотова. Но искреннее расположение Зотова моментально обрывается, когда Тверитинов не в состоянии вспомнить, что бывший Царицын теперь называется Сталинградом. (Город был переименован в 1925 году.) Вступают в силу прочно усвоенные доверчивым Зотовым советские пропагандистские шаблоны и заглушают его естественный сердечный отклик. По разумению Зотова, советскому человеку невозможно не знать о переименовании города, столь прославленного в официальной историографии гражданской войны. И, следуя этой логике, Зотов считает, что раз Тверитинов не советский человек, то он почти наверное — враг. Более того, хорошие манеры Тверитинова дают повод подозревать, что он вообще не окруженец, а переодетый эмигрант, засланный с целью диверсии. Ход мыслей Зотова представлен так:

«Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак!
Никак! <...>
Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.
<...> Да не офицер ли он переодетый?»¹⁸

И, повинувшись этим подозрениям, Зотов решает арестовать Тверитинова и передать его в руки НКВД. При помощи довольно подлого обмана он выполняет своё намерение, испытывая при этом, однако, возрастающее сомнение в правильности своего поступка¹⁹. И хотя Зотов не переживает столь же острого морального сотрясения, как Нержин в «Прусских ночах», тем не менее чувство вины за эту, очевидно, неправимую ошибку глубоко врежется в его сознание, окрашивая всю его дальнейшую жизнь. Как пишет Солженицын,

«никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...»²⁰

Эти два эпизода иллюстрируют нравственный парадокс: именно вопиюще несправедливые поступки способны пробудить ответную реак-

цию нравственного протеста, как бы всколыхнув тот глубинный пласт добра, который заложен в каждом из нас. Тут можно вспомнить Раскольникова в «Преступлении и наказании», внутренняя человечность которого восстаёт против поработившей его идеологии. Солженицын, так же как Достоевский, верит в инстинктивную способность каждого человека воспринимать нравственные категории — даже человека, накопившего тяжёлый груз чуждых идей и верований²¹. Но если у Достоевского в мучительно долгом процессе возрождения Раскольникова активно участвует ряд близких ему людей, то в художественном мире Солженицына нравственное прозрение возникает стихийно из глубины потрясённой совестью индивидуальной души, в этом смысле совершенно без постороннего участия.

Особенно ярко проявляется этот процесс в эпизоде, описанном в третьем томе «Архипелага ГУЛага», в главе «Белый котёнок». С необычайной динамичностью здесь передан рассказ Георгия Тэнно о его побеге из среднеазиатского лагеря вместе с неудачливым напарником. Цельх двадцать суток беглецы успешно скрываются от погони и достигают Иртыша. Плывая вниз по течению в захваченной ими лодке, они встречают другую, плывущую попутно, в которой какой-то провинциальный инвалид с женой перевозит всё свое имущество из одного города в другой. У Тэнно моментально рождается идея присвоить себе документы и деньги этих переселенцев, но он столь же быстро соображает, что осуществить такой план можно будет только при помощи убийства этих двух случайно встреченных людей. Тэнно колеблется, не чувствуя в себе решимости на такой поступок. «Неужели же не имеем права?» — вопрошает он сам себя.

Далее следует неожиданный момент перелома. Цитирую слова Тэнно:

«И вдруг — вдруг что-то очень лёгкое коснулось моих ног. Я посмотрел: что-то маленькое, белое. Наклонился, вижу: это белый котёнок. Он выпрыгнул из лодки, хвостик у него задран стебельком, он мурлычет и трётся о мои ноги.

Он не знает моих мыслей.

И от этого котячьего прикосновения я почувствовал, что воля моя надломилась. Натянута двадцать суток от самого подлаза под проволоку — как будто лопнула. Я почувствовал: <...> я не могу не только жизнь у них отнять, но даже их трудовых кровных денег»²².

С огромной убедительностью Солженицын показывает действие того нравственного инстинкта, который, по мысли писателя, способен

пробудиться в каждом из нас. Особенно показателен в этом эпизоде сам процесс воздействия на Тэнно. Мощное чувство, пресекающее планы убийства, возникает от импульса косвенного, нерационального, лишённого ясно осознанной причинности. Совесть действует как бы мимо сознания, влияя непосредственно на чувство и волю. Точно так же Зотов в «Случае на станции», осуществляя арест Тверитинова в угоду пресловутой «революционной бдительности», непроизвольно краснеет, когда обманывает Тверитинова, с трудом поднимает глаза на свою жертву и не имеет сил сказать прямо, что же, собственно, он предпринимает²³. Естественное чувство бунтует против явной несправедливости, даже в тех случаях, когда не останавливает вероломного действия.

Следует добавить, что Тэнно вовсе не воспринимает срыв своих намерений в эпизоде с котёнком как моральную победу. Даже совсем наоборот, как видно из его последующих горьких мыслей:

«Вот так устроено: о н и могут отнять свободу у каждого, и у них нет колебаний совести. <...> Они всё смеют, а мы — нет»²⁴.

Без сомнения сочувствуя этим словам, Солженицын, думаю, столь же несомненно считает, что иметь «колебания совести», о присутствии которой сожалеет Тэнно, по большому счёту ценнее, чем победа любой ценой.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Прусские ночи» являются девятой главой большой (более 7 тыс. строк) полуавтобиографической поэмы «Дороженька», сочинённой Солженицыным в заключении и ссылке (1947–1953), но изданной полностью только в 1999 г. в сборнике ранних произведений писателя: *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. М.: Наш дом = L'Age d'Homme, 1999. Имя и фамилия героя названы на с. 135. Двадцатью пятью годами ранее в Париже вышло отдельное издание «Прусских ночей» (УМСА-Press, 1974), но там опущено несколько строк текста, где герой называет себя (пропуск отмечен отточием). См. с. 37.

² *Солженицын А.И.* Протеревши глаза. С. 124.

³ Там же. С. 123.

⁴ Там же. С. 130.

⁵ Там же. С. 130–131.

⁶ Там же. С. 144. (У Горация: «*Carpe diem, quam minimum credula postero*». В переводе С. Шервинского: «Пользуйся днём, меньше всего веря грядущему».)

⁷ Там же. С. 123, 132, 145. Как указывает Солженицын, мотив этот создан испанским композитором Пабло Сарасате (1844–1908), который был известен как скрипач-виртуоз и автор популярных композиций в народном стиле («Цыганские напевы» и многое другое).

⁸ См. там же. С. 142–143, 147–149.

⁹ Там же. С. 149.

¹⁰ Там же. С. 129.

¹¹ *Солженицын А.И.* На изломах. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1998. С. 586–587.

¹² См. там же. С. 197–203 и др.

¹³ См. там же. С. 213, 239.

¹⁴ См. там же. С. 197, 215.

¹⁵ См. там же. С. 216.

¹⁶ См. там же. С. 199.

¹⁷ «Окруженцами» называли советских солдат и офицеров, которым удалось пробиться через окружившие их немецкие войска, но которые в силу того, что они какое-то время находились вне связи с советским командованием, считались неблагонадёжными. По правилам того времени окруженцев разоружали и отправляли в тыл под конвоем.

¹⁸ *Солженицын А.И.* На изломах. С. 249–250.

¹⁹ См. там же. С. 252–256.

²⁰ Там же. С. 258.

²¹ Чётче всего эта мысль сформулирована в известном высказывании о линии, которая проходит через каждое человеческое сердце: «Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла» (*Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛаг. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 6. Вермонт; Париж, УМСА-Press, 1980. С. 570).

²² Там же. Т. 7. С. 183.

²³ См.: *Солженицын А.И.* На изломах. С. 252, 255–256.

²⁴ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛаг. Т. 7. С. 183.

Ольга Седакова
МОСКВА

МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР: «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА»

Я хочу начать с извинения: быть может, это первый раз, когда мне приходится всерьёз говорить о прозе. Насколько привычно для меня думать и рассуждать о поэзии, настолько непривычна проза. Об общих различиях двух этих родов словесности здесь не место говорить, но стоит вспомнить хотя бы замечание Романа Jakobsona, сравнившего прозу поэтов с походкой горца, который идёт по равнине. Проза поэта такова — он привык исполнять другие условия, чем прозаик, учитывать другие ограничения и другие возможности — и то, что в соприродной ему среде, на узкой и опасной тропе представляет собой ловкость и изящество, на равнине выглядит нелепо или манерно. Так вот, единственный род прозы, о котором мне приходилось говорить, — это именно проза поэтов.

Разговор о «настоящей прозе» я начну со слов академика Алексея Фёдоровича Лосева (насколько я знаю, нигде ещё не опубликованных и неизвестных слов; их записал Владимир Вениаминович Бибихин, в то время секретарь Лосева). Лосев делился своими мыслями с Бибихиным, после того как он слушал по радио «Август Четырнадцатого» (и не спал всю ночь после этого): «Постой, я тебе ещё вот что скажу — Мережковский в книге “Толстой и Достоевский” пишет, что Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский в изображении страстей души и ума. А вот это уже я, Лосев, говорю: Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему, конечно, помогает его время, такое ужасное».

Как все помнят, у Мережковского это несколько иначе выражено, он говорит: «Тайнозритель плоти — Толстой. Тайнозритель духа — Достоевский». И, продолжая Мережковского, мы можем сказать, что Солженицын — тайнозритель социального и исторического. Исторического — поскольку оно социально. Мне слова Лосева представляются много глубже, чем это может показаться из их нарочитой простоватости — характерной вызывающей простоватости Лосева. Мне кажется,

что здесь есть очень важный ключ к пониманию Солженицына-писателя — и даже Солженицына-критика (литературного критика). Ведь то недовольство предшественниками, которое мы часто слышим в литературной критике Солженицына, можно связать именно с этим: с тем, что стихия социального и исторического, впервые так цельно выраженная в его «художественных исследованиях», никогда прежде не являлась в такой очевидности, никогда не была осознана таким образом, никогда не была предметом художника.

Критика определённого типа приучала нас так читать классику — в социальных обобщениях: тип лишнего человека, тип маленького человека и т.д. Но на самом деле, конечно, сами писатели так не думали. Мера и способ этого обобщения, историко-социологического, совершенно не соответствуют непосредственной реальности классической литературы. Ну предполагал ли Пушкин, например, что он изображает «дворянский тип 30-х годов XIX века» в Онегине? Или что он изображает «крепостную Россию»? Думаю, что нет. Пушкин изображал просто «добраго приятеля», потому что не «дворянских» приятелей у него и быть не могло, и просто Россию, потому что никакой другой России он не знал.

Но если русский художник XX века не знает, что он изображает Советскую Россию, если художник в Германии 30-х годов не опознаёт, что он участник особой истории, особой — гитлеровской — Германии, то вряд ли он достойный свидетель времени и вряд ли он полноценный художник и доброкачественный мыслитель. Социальная история стала стихией, которая захватила частную жизнь человека: нет, не только частную, но и публичную жизнь, умственную, профессиональную жизнь. Сказать точнее — история встала *между* человеком и его жизнью, между ним и его же мыслью, и частной и публичной. К каждой теме — хотя бы, допустим, к исследованию Плутарха (как вы понимаете, я вспоминаю первую работу Сергея Сергеевича Аверинцева) — можно стало пройти только *через* эту среду, иначе даже простое историческое и филологическое исследование самых удалённых предметов стало бы ложным и бессмысленным. Этот переворот совершило время, которое Лосев называет «таким ужасным», — время Солженицына.

Нужно заметить, что в это же самое время, в XX веке, и в европейской мысли появилась тема этого преобладающего вездесущего социального. Экзистенциалистская тема расчеловеченного человека, анонимного человека, находящегося во власти некоей надчеловеческой социальной силы, на фрейдовском языке — безличного «супер-эго» в психике каждого. Но тут даже не приходится сравнивать Солженицына с его европейскими современниками: это совсем другая и по-другому по-

нятая социальность и, соответственно, совсем другие выводы делаются из её «тайнозрения». Естественно, сама реальность социального, с которой имеют дело Камю и Солженицын, несколько разная. Социальность Солженицына — это идейно, квазирелигиозно обоснованная социальность, в ней есть некоторая позитивность: во всяком случае, она претендует на некоторую позитивность. Она выдвигает ценности, ради которых человек должен пожертвовать собой и своим. Тогда как герой экзистенциализма, «посторонний» и себе самому и всему вне его, социальный человек Европы — у него нет никакой «положительной» программы, он как будто ничему и не служит, и не должен служить. Довольно трудно определить, что, собственно, составляет эту стихию, пожирающую личность, которую называют *das Mensch, l'on* и др. Русским соответствием здесь было бы слово «люди» в определенном употреблении: «как у людей», «что люди скажут». Во всяком случае, позитивной, идеологической программы у этих «людей» нет.

Так вот, мне хотелось бы как раз на примере моей любимой вещи Солженицына (может быть, потому, что она, как мне кажется, среди всех его трудов ближе к поэзии) и обнаружить вот это самое новое зрение, «тайнозрение социального». Здесь, в самом близком классическом письме, это представляется труднее всего — и интереснее всего. «Случай на станции Кочетовка» — великолепно исполненный канон новеллы (вообще говоря, целого пучка новелл, но большинство ответвлений сюжета проходит побочно, между делом). В этом повествовании — я помню своё первое, ещё школьное чтение — веет лермонтовской «Таманью». Нам рассказывают некий случай, который произошёл в случайном месте, одинаково чужом для действующих лиц. Все они оторваны от родных, все они странники. Место действия — узловая железнодорожная станция — это не место обитания, это пункт следования, который все минуют, благополучно или нет. Но больше того, сама земля в это время — переходящая из рук в руки и неизвестно в чьих руках находящаяся в момент повествования — это тоже не место обитания. Это место наступления или отступления. Тема бездомности, всеобщей снатоки с мест, «карусели», как говорит герой повествования, доведена до фантастического напряжения, при этом совершенно реалистически мотивирована. Можно отметить, что такое место и время — классическое для новеллы, это её месторождение. Вспомним, что классическая новелла возникает в чумном городе Боккаччо, когда где-то между жизнью и смертью встречаются выбитые из привычного герои и начинают рассказывать занимательные истории.

Такое время-пространство, заметим, — не только поле действия многообразных разрывов, которые очевидны, но и поле невероятных встреч. Таких встреч, о которых говорят — судьба свела. В некатастрофическое время каким образом могли бы сойтись два протагониста «Случая», юный лейтенант Вася Зотов, откуда-то из северной глуши (как говорит его «оканье»), и столичный актёр Игорь Дементьевич Тверитинов, встретивший революцию двадцатипятилетним человеком? Причём встретиться так, что судьба одного целиком зависит от другого?

Итак, перед нами новеллистическая экспозиция — сцена, на которой случай всемогущ. Случай пересекает барьеры всех обычных разграничений: социальных, географических и т.д. Это повествование о непредвиденной событийности жизни, о непредсказуемой фатальности: что-то происходит случайно, но навсегда. Как говорит Тверитинов свои последние слова, «этого не исправит». И за всей этой детально, очень детально, натуралистично прописанной сценой мы чувствуем мифический фон. Этот мифический фон прежде всего выражает погода: косой ливень, тяжёлый ветер, который всегда говорит о приближении какого-то необычайного, значительного события.

И вот здесь-то как раз, в этой близости к классическому канону, особенно ясно видно то своеобразие Солженицына, которое, как я думаю, имел в виду Лосев. Мир, который мы здесь видим, мир, сошедший с рельс, говоря метафорически, а говоря прямо, продолжающий катить свои поезда по рельсам на Восток, сцеплять и расцеплять вагоны, перформировывать составы, — это мир социальный.

Что же такое социальное, о котором идёт речь? Это предрешённость по возможности всего. Это данная человеку возможность избежать прямой встречи с жизнью и с самим собой. Социальный человек инструктирован в идеале для любой ситуации. Он знает, он в принципе должен знать всё необходимое о каждой вещи — и что это такое, и как с этим поступать. Вполне социальный человек ни перед чем не должен впасть в недоумение. Он должен узнавать: а, это вот то-то; меня учили так-то; здесь я должен вести себя так-то. Искать выход из непредвиденной ситуации, из недоумения — в самом ли себе или где-то ещё, в неведомом — социальный человек не может. Не может, поскольку ничто, кроме накрепко усвоенной инструкции, не представляет для него авторитетной инстанции. Говоря совсем просто, социальный человек живёт в завершённом мире, в мире, где происходить ничего не должно. Переводя всё это на язык психологии, можно сказать, что окончательно социальный человек — невротик. Его отношения с миром и с собой — это хорошо защищённый невроз. Он-то и рекомендуется социальностью в качестве нормы.

И сам главный герой, лейтенант Зотов, и все его отношения с остальными персонажами «Случая» имеют в себе это социальное измерение. Среди всех только он целиком усвоил инструкции, которые ему даны. Все остальные окружающие их не усвоили (как старик Кордыбайло) или усвоили слабо. Они должны были бы быть такими, как Зотов, но они такими не стали. Он действительно новый человек — не по долгу, не по корысти, а от всей души. Замечательны его слова: «Уцелеть для себя — не имело смысла». Зотов написан внимательно и без предвзятого осуждения. В его отношениях с другими персонажами сочувствие читателя чаще всего будет на его стороне, потому что эти недоработанные, необработанные люди — они явно корыстны, мелки и т.д., и только он целиком принадлежит некоей высшей сфере. Особенно это видно в его истории отношений с беженкой Полиной («Полину, ребенка её и мать он полюбил так, как вне беды люди любить не умеют»).

И как всякий социальный человек, он запрограммирован на катастрофу, на крушение, на невинное злодеяние, на то, чтобы «не ведать, что творишь». Катастрофа приготовлена тем, что Зотов инструктирован, но не осведомлён. Об этом своём страшном и беспомощном состоянии он только начинает догадываться. Его действительно инструктировали, но ни о чём не осведомили, от него утаили все необходимые сведения, начиная с того, куда и зачем идут поезда, которые он должен отправлять, где расположен враг, в чьих руках земля и т.д. Начиная с непосредственных условий работы, которую он должен исполнять, вся эта реальность от него утаена.

Повествование открывает масштаб его неосведомлённости: он знает не знает, что значит тридцать седьмой год для таких людей, как его собеседник («А что было в тридцать седьмом? Испанская война?»). Он не знает, что существует такая область жизни в его стране, как лагеря. Он не может представить — с чего начинается вся трагедия, — каким образом его современник и соотечественник может не знать нового названия города — Сталинград. Таких людей у нас просто нет и быть не может. Инструкция отвечает: это враг. Зотов обречён на свою роковую ошибку. То есть на самом деле вот эта идеология или социальность в каждом отдавшемся ей человеку закладывает возможность такого крушения. Потому что когда-нибудь, при каком-то «случае», и это неизбежно, условное окружение, декорации, относительно которых он инструктирован, рухнут, и из-за них явится нечто: явится настоящая реальность, о которой он ничего не знает, — и, что страшнее, *не умеет знать*. Даже образ карусели, о которой он думает, глядя на предвоенные семейные фотографии Тверитинова («и миллионы людей прокрутились в какой-то

проклятой карусели — кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска»), — это не полный образ, из-за его неосведомлённости. Он не знает (и роковым образом не может узнать), где были с Тверитиновым эти фотографии детей и жены (его самого на них нет). Зотов видит страшное перемешивание людей, местностей, которое несёт с собой война. Он не знает того, что в это время сметается ещё одна неприступная в мирное время граница: на воле появляются люди из заключения и становятся возможны такие странные встречи. От переживших то время все мы, я думаю, слышали рассказы о такого рода невероятных встречах в начале войны. Итак, она происходит — и кончается плохо для обоих (что будет с Тверитиновым, гадать не приходится, — «Разберутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает», но и безмятежная эпоха жизни Зотова обрывается). Стало быть, это случай с дурным — и фатально предопределённым концом; таким образом, вовсе и не случай: антислучай.

Мне всегда хотелось понять, в чём состоит странное и, посмею сказать, нездешнее величие этого маленького сочинения. Коллизию этой встречи можно очень легко трактовать реалистически: это встреча двух миров, которые не могут вступить в общение, «новый мир» не может узнать «старого», потому что он о нём просто ничего не знает. Он не знает, что такое бывает. Зотов пытается вспомнить, глядя на фотографии Тверитинова, что они ему напоминают. Но вспомнить ему почти нечего, во всяком случае, из своей жизни ему вспомнить нечего («самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях»), он находит «мелкие засечки памяти»: театральные постановки, картины, книги. Характерно, что этот «новый» герой — человек без прошлого. Среди всех его размышлений нет никакого воспоминания о родных местах, о родителях, — только об оставленной жене. Он как бы ниоткуда. Только его «оканье» позволяет заключить, из каких географических мест России он происходит. Он как бы вырос на совершенно новом месте — и встречает человека из старой жизни со всеми её неизвестными ему ценностями и незнакомыми ему привычками, «умным уютом». Зотов из лучших «новых людей»: этот неведомый ему уют вызывает у него приязнь, а не зависть — «классовое чувство», которое, по инструкции, он должен был бы в таком случае испытывать.

Несомненно, такой реалистический план присутствует в «Случае на станции Кочетовка», но не он представляется мне самым существенным, не он сообщает то странное волнение, с которым мы остаёмся после его чтения. Самым существенным мне представляется другое — и здесь в попытке уяснить этот другой смысл я многим обязана размышлениям

Анны Ильиничны Шмаиной-Великановой, с которой мы всё это неоднократно обсуждали. Архисюжет этого сочинения может быть назван так: Посещение. Это история Посещения. И если мы улавливаем этот пунктирно прописанный сюжет, мы читаем происшедшее иначе. Первое поэтическое воспоминание «Тамани» при чтении «Случая», о котором я говорила вначале, достаточно поверхностно. На самом деле то, что вспоминается здесь вполне серьезно, — это такие сюжеты, как толстовское «Чем люди живы?»¹. Речь идёт о посещении человеческого мира неким иным, высшим началом, о самом существовании герой рассказа не был информирован и осведомлён.

Архитипический сюжет Посещения включает в себя некоторые устойчивые моменты. Прежде всего, вестник, посещающий мир, приходит инкогнито. Его трудно узнать. Только некоторым встречным на его пути что-то подсказывает о его необычайной значительности, что-то бессознательно привлекает к нему. Уже узнавание, влечение — знак некоторой избранности, чистоты сердца.

То, что Зотов, можно сказать, праведник социальности, праведник идеологии (весь предшествовавший ход повествования показывает, что он по-своему безукоризненный герой, мученик собственных убеждений), вероятно, оправдывает то, что именно ему этот герой является. Именно он видит Посещение (это видение выражается в необъяснимой приязни к новому знакомцу, в попытке что-то вспомнить и узнать): все остальные в этом странном персонаже ничего особенного не видят. Откуда мы можем заключить, что Тверитинов — это вестник, своего рода ангел или что-то вроде того? Мы узнаём характерные черты Посещения. Всегда, когда речь идет о явлении какого-то посланца из другого — Божьего — мира, его отличает прежде всего простота. Он прост среди крайне сложной, усложнённой жизни, среди хитроумных сплетений принятого, практичного, полезного, политичного. Там, где все отлично знают условности и условия существования, он как-то *слишком* прост. Так, Тверитинов между делом говорит: «...а то ещё за шпиона примут!» — то, чего люди, хорошо знающие ситуацию, никогда не произнесли бы. Его простота обнаруживается и многими другими чертами. Он доверчив: «эти доверчивые глаза»; он не ждёт подвоха со стороны Зотова до последнего мгновения.

У Зотова нет слов, чтобы назвать то, что влечёт его и располагает к этому чудному человеку. Он выбирает слово совсем неподходящее — «уравновешенный»: «Зотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку». И ещё одно слово — «внимательный». У него явно нет слов, нет воспоминаний для того, что заключено в его странном

собеседнике. Понимающий человек, наверное, назвал бы это «неотмирностью», для Зотова это же «уравновешенность».

Тверитинов абсолютно беспомощен, и это тоже характерная черта Посещений XX века. Если в ветхозаветном рассказе мы обыкновенно видим вестника всесильного, грозного, такого, который уничтожит плохо принявшего его человека, — здесь же он сам находится в крайне угрожаемой позиции, и это отвечает небывалой реальности XX века. Известно немало рассказов людей, которые переживали в эти годы нечто вроде такой встречи с Божественным: и в каждом случае вестник являлся им в образе совершенно незащитного, отдающегося в их власть существа — такого, как этот Тверитинов, целиком отданный во власть лейтенанта Зотова.

Дальше мы видим, что происходит то, что обыкновенно происходит в случаях Посещения. Первый момент — неожиданное расположение героя, необъяснимое для него самого: он мгновенно доверяет своему гостю. Его покоряет улыбка — вспомним «Чем люди живы?». Что действует на всех, кто встречает ангела? Его взгляд и улыбка, доверяющий взгляд и освобождающая улыбка. Действие Тверитинова на героя — освобождающее действие: Зотов неожиданно становится откровенен, он начинает ему рассказывать о самых разных вещах, в том числе и о положении на фронтах (военная тайна!), сам удивляясь этому, — «но уж очень редок был случай *ответи душу* с внимательным интеллигентным человеком». Можно сказать, начало посещения состоялось — человек откликнулся вестнику, и никто другой из всех героев этого рассказа откликнуться явно не мог.

Но затем начинается вторая часть Посещения: испытание. И этого испытания, как мы видим, наш герой не выдерживает. Он предаёт своего гостя. Вот здесь открывает свой трагический потенциал его неведение, его неосведомлённость. Он не способен понять, как может вот этот человек не знать всем известных вещей, и по простейшей ориентации, в которой он инструктирован, он относит его к врагам — и перестаёт верить собственному чувству («Тюха-матюха! Раскис. Расстилался перед врагом, не знал, чем угодить»). Дальше мы видим, как Зотов, вызывавший у нас несомненное сочувствие своей чистотой, детскостью, — этот самый Зотов ведёт себя подло и сам чувствует собственную подлость («Его самого резала противная фальшь собственного голоса»). Это поразительное превращение. С таким человеком, как Зотов, что-то, а подлость как-то не связывается. («А лгать Зотов — не умел.») «Случай отвести душу» оказывается «случаем погубить душу».

И здесь я хочу заметить, немного забегаая вперед: «Случай на станции» — один из самых уничтожительных ударов по социальности и идео-

логии, которые нанёс Солженицын. Вместо привычного образа фанатика-идеалиста, ограниченного, но чистого человека (как до сих пор изображают человека идеологии — и «чистоте» его противопоставляют «грязного», но добродушного обывателя²) мы увидели неожиданного и неизбежного подлеца. Солженицын нам говорит, что в этом месте, в человеке социальном, человеке-идеологе, подлость неизбежна, что без подлости здесь дело не делается при самых возвышенных намерениях.

И вот благородно обоснованная подлость совершается, и тут завеса поднимается: напоследок, обернувшись, Зотов видит своего гостя, преданного им человека, в рост — и рост этот оказывается нечеловеческим. Рост Короля Лира — и больше. «Он выбросил руки, вылезавшие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой тёмной тени, и потолок уже давил ему на голову» — и звучит его настоящий голос, произносящий бессмертные слова: «Ведь *этого не исправил!*», слова последнего суда, звучит «гулко, как колокол». Зотов видит истинный облик гостя: так обычно и видят ангела, который отлетает.

Казалось бы, этот рассказ — повествование о неудавшемся Посещении, о непоправимой катастрофе. Герой не выдержал испытания, он сдал человека на гибель и предал себя. Однако на самом деле последняя фраза рассказа, его открытый конец: «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...» — говорит о противоположном. Посещение удалось. Наверняка жизнь его уже решена. Страдательным лицом, в конце концов, оказывается герой этого рассказа. И это не катастрофа, а начало другого пути.

И вот, наконец, последнее, что я хотела сказать с самого начала: о тайнозрительстве социального у Солженицына. Да, этот очень прикровенно изложенный сюжет Посещения можно было бы поместить в ряд других произведений всех времён: посещают человека ангелы (боги, вестники: ср. хотя бы гётевскую балладу «Бог и баядера») — и испытывают, чем он им ответит: т.е., что он такое в своей глубине, на самом деле. Здесь, в «Случае», можно обнаружить даже замечательную сцену угощения: Зотов вдруг отдаёт своему гостю припасённый табак, то есть он ведёт себя как настоящий гостеприимец, как в своём роде Авраам, принимающий ангела. И вдруг всё это оборачивается такой низкой подлостью...

Но вот что отличает «Случай». Обыкновенно Посещение — это испытание человека как человека, как имярека. Так это и у Толстого, в его «Чем люди живы?». Испытывается каждый отдельный человек, каждая «душа»: а что будет, когда он, именно он, сапожник Н. или барин Т., встретит ангела? Здесь же, в солженицынском «Случае», испытывается

не человек сам по себе, не Зотов как таковой, а вот эта самая социальность. Это она, в своём лучшем воплощении, пережила странную встречу, «случай», и это она угадала — опять же, не Зотов, — она угадала в этом вестнике своего опаснейшего врага: совсем не такого врага, как думал бедняга Зотов, не шпиона, не офицера, а в самом радикальном смысле врага всей этой социальности, всей этой квазирелигии, врага, которого можно назвать так — живая человеческая жизнь.

ПОСТСКРИПТУМ

Современный читатель может закрыть «Случай на станции Кочетовка» с облегчением: слава Богу, в наши дни это историческое повествование, нам-то не грозит ошибка бедного Зотова уже потому, что всей этой идеологии, этой формы социальности больше нет. Никто как будто не обязан теперь хранить классовую бдительность и искать врага во всём незнакомом. Увы, у социальности много форм, и любая из них, крепко или слабо идеологизированная, левая или правая, прогрессистская или консервативная, националистическая или космополитическая, делает с человеком то же, что с героем рассказа. Своему адепту она готовит свой, не так-то легко угадываемый, «Сталинград», который превращает случай освободить душу в случай погубить душу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Л.И.Сараскина в обсуждении этого выступления напомнила мне о той важной роли, которая принадлежит толстовскому сочинению в «Раковом корпусе».

² Как в бесконечно цитированной в последнее десятилетие строке Бродского: «Но ворюга мне милей, чем кровопийца». В цепной реакции греха, изображённой в другой притче позднего Толстого — «Фальшивый купон», ворюга, подлец, кровопийца, фанатик неразделимы.

Игорь Золотусский
МОСКВА

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ» Н.В.ГОГОЛЯ

Безусловно, мы имеем дело с весьма далёкими друг от друга писателями. Солженицын — пророк-обличитель, склоняющийся к сатире. Гоголь — комик, к тому же с сильным религиозным подтекстом. В «Выбранных местах» это уже не подтекст, а открытое прокламирование христианской точки зрения на жизнь, на людей, на государственное устройство и будущее России. Солженицын, кажется, исповедует ту же веру, но она окрашена в тона мщения, неуступчивого, как и зло, которое он нацелен сокрушить.

Но есть и одно важное сближение. И книгу Гоголя, и публицистику Солженицына (а о ней сейчас речь) можно отнести к типу «поведенческой литературы», в которой идеал автора и его личная жизнь не расходятся, а, наоборот, напрямую зависят друг от друга.

Если Гоголь утверждает, что «нельзя повторять Пушкина», ибо «христианским высшим воспитанием должен воспитаться теперь поэт», это не декларация, а его личное поведение. Если Солженицын пишет, что надо «жить не по лжи», то он так и живёт. И Гоголь, и Солженицын — этические максималисты и без этой максимы не мыслят себе писательства.

Гоголь пишет: я не в состоянии «писать мимо себя».

«Мимо себя» не может писать и Солженицын.

Роднит их и пророческое начало. Они смотрят на изящную словесность как на инструмент влияния, способный не только «обустроить Россию», но, быть может, и изменить ход истории. В книге «Бодался телёнок с дубом» у Солженицына вырывается признание: «Я чувствую, что делаю историю!»

Христианство Гоголя и Солженицына разное. Сказывается отличие эпох, отличие в опыте, наконец, отличие в природе таланта. Сто с лишним лет, отделяющих Солженицына от Гоголя, — это годы деформации религиозного чувства и его почти невозвратных потерь.

Гоголь, безусловно, романтик (если иметь в виду его отношение к целям искусства), Солженицын тоже не материалист, но и не романтик, если только не существует романтизм мщения.

Желания суда над людьми, а тем более наказания у Гоголя нет. *У Гоголя нет врагов, у Солженицына есть враги.*

Суровые нарекания, которые Гоголь раздаёт своим адресатам, он всё же раздаёт *друзьям*. Это могут быть и его коллеги, его близкие, но им может стать и безвестный читатель, в котором Гоголь видит заблуждающегося собрата, а не противника. Даже падший человек для него «брат», что же говорить о тех, с кем он просто расходится во мнениях.

Конечно, середина XIX века («Выбранные места» вышли в свет в 1847 году) сильно отличается от середины XX-го (время появления писателя Солженицына). Как ни прохладно приняли книгу Гоголя при дворе (он стал раздавать советы всем сословиям, а это мог делать только царь), автора не отправили в тюрьму, не выслали за пределы России. То ещё было *время русских Афин*, когда почти всё, что писалось, находило издателя. Гоголевский «Ревизор» прошёл через цензуру за три дня и беспрекословно разрешён к постановке. А «Мёртвые души» писались на царские вспомоществования: и царь, и наследник престола платили автору пенсию.

Ожесточение между властью и обществом оформилось позже, а ко времени Солженицына приобрело характер обоюдной ненависти, что не могло не сказаться на отношении к власти и её людям со стороны автора «Архипелага ГУЛага». Речь шла уже не об исправлении какого-нибудь нерадивого губернатора или помещика, а о переделке государства.

Прощение, к которому постоянно призывает Гоголь в «Переписке», не стоит у Солженицына в списке добродетелей, поскольку оно, по его мнению, лишь потакает злу.

Гоголь зовёт грешных и праведных собраться в один народ — собраться, «как русские в 12 году», Солженицын проводит непроходимую межу между праведным и грешным и заключает это разделение афоризмом: «Волкодав прав, людоед — нет».

Какова гоголевская философия относительно праведных и грешных? Это философия спасения. «Полюбите нас чёрнинькими, а белинькими нас всякий полюбит» — вот её кредо. Гуманизм XIX века ещё верит, что человек, даже если этот человек — плут Чичиков, способен спастись. Для «врагов» Солженицына такого шанса нет. Если волкодав прав, то всякий волк есть преступник и обречён на уничтожение. С ним церемониться нечего. Он *не имеет права* жить, он должен быть истреблён.

Но если расширить метафору с волком и волкодавом, приблизив её к метафоре Гоголя, то волк — тот самый «чёрнинький», которого надо не только пожалеть, но и полюбить. И это гораздо труднее, чем любить «белинького», т.е. безвинного.

Книга Гоголя, несмотря на содержащиеся в ней провалы (советы губернаторше, советы жене и мужу, советы помещику), а порой и приступы гордыни, глубоко христианская книга, причём христианство её не книжно, не церковно даже (хотя Гоголь чтит Церковь), а исходит из глубины сердца. Недаром Толстой назвал «Выбранные места из переписки с друзьями» «лучшим произведением сердца» Гоголя.

Чтя Церковь, Гоголь, кажется, поднимается над её правами, заметно урезанными ещё Петром I, и говорит: «Следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт».

Такова главная идея его книги. Это и путь спасения отдельного человека, и путь спасения общества. Другого пути совершенствования нет. Предлагая ближе ввести Христов закон в семейственный и государственный быт, Гоголь опирается на давнюю русскую этическую традицию: если закон не выполняется, то на его место надо поставить совесть. Если нет страха перед законом, пусть преступника, грешника, заблудившегося сдерживает страх перед Богом. Только этот страх способен связать руки злу.

Для писателя XX века это непозволительный идеализм. Утопическое упование, которому не суждено сбыться. Можно ли верить в спасение через совесть, если она столько раз была оболгана, дала совершить столько духовных обманов? Можно ли верить, что проснувшийся в человеке стыд изменит лицо общества?

Солженицын в это не верит. Его совет на фоне гоголевских максимумов выглядит достаточно скромно: «жить не по лжи».

Жить не по лжи — значит, по крайней мере, не холуйствовать, не словословить власть, молчать. Молчание сохраняет душу. Молчание — и пример. Если принцип молчания распространится в народе, то эффект будет тот же, на который возлагает надежду Гоголь.

И вновь — сближение, и вновь поляризация таких близких, кажется, установок. Жить не по лжи — по существу, парафраз девятой заповеди: «Не произноси ложного свидетельства» — для Гоголя лишь часть программы спасения. Молитва, самоограничение, участие в делах государства («жить не по лжи этого не предусматривает»), собственное совершенствование — вот камень, на котором можно воздвигнуть — уже в масштабе России — общее совершенство.

Этический максимализм Гоголя и этический максимализм Солженицына столь же несхожи, как и их опыт. Вектор вины у Гоголя направлен

внутрь, на душу каждого (и в первую очередь на собственную душу), а «желание быть лучшим» он готов предпочесть творчеству.

Критика в «Выбранных местах» устремляется на самого автора, у Солженицына — *вовне*, на систему, народ, общество. И здесь пролегает межа, разделяющая не только наших героев, век XIX и век XX, но старый и новый гуманизм.

Громы и молнии Солженицына обрушиваются на головы «чёрниньких». Он, как Христос, изображённый на стене Сикстинской капеллы в Риме, рубящим жестом отправляет грешников в ад. На фреске Микеланджело Богоматерь, находящаяся рядом с Сыном, с горечью отворачивает от его гнева лицо.

Гоголевский жест смягчён, не очень уверен в себе и если, забывшись, вдруг обретает твёрдость, то тут же следует извинение за резкость, за обиду, которую он может нанести. Публичное сомнение в своей правоте — постоянная нота в «Выбранных местах». У Солженицына оно отсутствует.

Сомнения относительно себя редко посещают его, и сила произнесённых им пророчеств таится здесь — в опоре на несомненность их правоты. Засомневайся поди — тут же дашь фору оппоненту, а протянешь руку — откусит.

Гуманный XIX век с его колебаниями, неуверенностью и евангельским правилом — выслушивать всех — и помыслить не мог, что истина, правда и честность приобретут в XX веке черты нетерпимости.

После издания «Выбранных мест» Гоголь не раз был вынужден объясняться с публикой насчёт их содержания (см. «Авторскую исповедь»), не раз признавать, что «размахнулся в ней эдаким Хлестаковым». Можно ли ждать подобного объяснения-покаяния от Солженицына?

Вот его «Письмо вождям». Мало того, что в нём заключена небывалая дерзость и оскорбление, ибо вожди названы «слепыми поводьями слепых», — автор рассылает это письмо по множеству адресов. Налицо акт самозаклания и риска. Солженицын знает: «слепые поводья слепых» ему не простят. Так стоит при этом извиняться? Стоит ли виниться в своей «грубости»?

Он, как лётчик во время войны, идёт на таран. И до покаяния ли тут?

Гуманное воспитание предполагает наличие гуманных воспитателей. Русские цари не стыдились спрашивать совета у Карамзина, у Жуковско-го, у Пушкина. Карамзин подёт царю «Записку о древней и новой России», в которой неллицеприятно отзываясь о его реформах, — и остаётся придворным историографом. Пушкин по просьбе императора пишет

записку «О народном воспитании», скептически оценивающую педагогические усилия правительства, — и остаётся на свободе.

А Василий Андреевич Жуковский, который никогда не был замечен как апологет трона, становится воспитателем Наследника, и выбор этот делает не кто иной, как отец цесаревича.

У Гоголя никто не спрашивает советов, а он их без спросу даёт. Помещику советует, как управляться с крестьянином, жене — как руководить мужем, губернатору — губернией, а царю — Россией. В последнем случае он ставит себя над самодержцем, говоря тому, что он мало похож на «Кормщика Небесного». Гоголя за это, конечно, не хвалят, выбрасывают из его книги главы и абзацы, но собрание сочинений издавать разрешают, а в выданных на время его путешествия в Святую Землю бумагах рекомендуют русским консульствам оказывать подателю сих бумаг всяческое содействие.

И русские консульства в Константинополе и Бейруте работают на творца «Выбранных мест».

Солженицын играет с властью, подбрасывает ей смертельные ловушки, не считая это коварством и нерыцарским поведением. Его принцип — поступать с властью так, как она поступает с нами. Какое может быть рыцарство у того, кто ни за что брошен ею за колючую проволоку? Какие тут нежности, какое джентльменство?

Сам сильный человек, Солженицын делает ставку на сильных, слабых (как в «Матрённом дворе») он жалеет, но для борьбы они не годны: чересчур простодушны, чересчур мягки.

Тут нужны волкодавы, а не домашние незлобивые псы.

«Магический идеализм» Гоголя, надеющегося на безраздельное влияние слова литературы, ему чужд. Если Гоголь способен поверить, что выход «Одиссеи» Гомера в переводе Жуковского может изменить жизнь России, то Солженицын под такой утопией никогда не подпишется.

Даже его антипод Варлам Шаламов свои «Очерки преступного мира» заканчивает строками: «Карфаген должен быть разрушен! Блатной мир должен быть уничтожен!»

И никакой фольклор, воспевающий любовь воров к матери, верность «кодексу чести» и т.д. не могут его обмануть. При ближайшем рассмотрении всё это ложь, игра и сияющее вызвать сочувствие кощунство. Возможно ли нелюдей перевоспитать в людей, вернуть им человеческое лицо? Шаламов отвечает: нет. «Чёрнинькие» никогда не превратятся в «белиньких». Они «чёрнинькие» навечно.

Таков вывод гуманизма XX века, в котором всё более утрачивается христианское начало. Это уже не религия спасения, а религия стои-

цизма и выживания. Её породили неведомые эпохе Гоголя обстоятельства.

Великие страдания, которых не в состоянии был предугадать Гоголь, запятнали и оболгали «святые чувства», ожесточив их. От смирения они перешли к самообороне и превентивному противодействию злу. Коварство, совершенное по отношению к врагу, уже не коварство. Это тактика боя, обход, манёвр, заманивание в капкан. И работают они все на добро.

Светомаскировка, дезориентация противника заимствованы у войны, но мы жили — да и живём и сейчас — в военное время.

Книга Гоголя — детство гуманизма с его верой в возможность мирного исхода. С его политической наивностью. Солженицын — закат наивности и невинности, чистосердечия и суровости взгляда, устремлённого прежде всего на себя. Тут кристаллизация однозначности: «волкодав прав».

Смирение, подчинение (всё, что ни делается, — всё от Бога) здесь не действуют. Обличительная интонация в «Выбранных местах» сдвигается в сторону «Плача Иеремии», завершающего, как известно, его разоблачения. С ним рифмуется заключительная глава книги Гоголя «Светлое воскресенье». Солженицын — Иеремия гневный, Иеремия до «Плача», бросающий в лицо соотечественникам: «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас...» (Иер. 3: 25). Гоголь — Иеремия, чьи слова выбиты на его надгробной плите: «Горьким словом моим посмеюся». Слово горькое, но при нём смех, а смех — смягчение, умиротворение, милосердие. Таков, по крайней мере, смех автора «Ревизора».

Стих из Иеремии, выбитый на надгробной плите Гоголя, взят из главы 20-й, ст. 8-й. В массовом издании Библии он звучит несколько иначе: «Ибо лишь только начну говорить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние».

Мы знаем, что *книга исповеди* Гоголя была осмеяна многими из его современников. И нужно было пройти столетие, чтоб Лев Толстой, в который раз перечитав её, сказал: «Я мечтаю издать выбранные места из переписки в “Посреднике”, с биографией. Это будет *чудесное житие* для народа».

Над *проповедью* Солженицына тоже начинают посмеиваться. Мы забыли, что за каждую строку её заплачено жизнью. «Крик о насилии», который так громко раздался с её страниц, ещё вернется к нам, а если не к нам, то к нашим потомкам. И они, как и благодарный Толстой, тоже

смогут назвать жизнь Солженицына «житием». Конечно, более суровым и строгим, чем «житие» его великого предшественника.

Но не Солженицын будет в том повинен.

В Ветхом Завете последним авторитетом было слово Яхве. В Новом Завете главное заключается не в речах Христа, а в Его муках, смерти на кресте и воскресении. В них Царство Божие явилось людям во плоти.

Слово Гоголя и слово Солженицына так же подтверждены их муками. Один вынес их из своей души на свет, другой, испытав их в реальности, внёс их в свою душу.

Что за этим последовало, я уже сказал.

Валентин Распутин

ИРКУТСК

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

*(публицистика А.И. Солженицына начала 1970-х годов,
до высылки на Запад)*

Публицистика, как известно, не живёт долго. Она есть горячее дыхание своего времени, отклик на события преходящие. Относящееся к вечности можно уподобить в публицистике сосуду, содержание которого постепенно выдыхается. И тридцать лет, миновавшие от начала 70-х, должны бы трижды перекрывать долголетие этого жанра. Тем более что за эти тридцать лет сдвинута была сама платформа прежней жизни, та общественная система, которая своими громоздкими пороками и несоответствием естественному ходу национальной жизни и составляла у Солженицына главный предмет разговора. Имеются в виду статьи «На возврате дыхания и сознания», «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», «Образованщина» и «Жить не по лжи!». Эти работы, да если прибавить к ним ещё более поздние «Наши плюралисты» и «Как нам обустроить Россию?», и составляют краеугольные камни, на которых и держится вычерченная автором духовная, нравственная и политическая архитектура России.

Да, много что изменилось за тридцать лет, притом в масштабе перемен исторических, как всегда, сокрушительных для нашей страны. Но таков и был вердикт суда, на котором Солженицын выступал одновременно и судьёй, и защитником. Он предвидел и повторение Февраля, и отпадение окраин по южным и западным границам, и что гоголевскую «птицу-тройку» оседлают бесы и не станут делать тайны из того, куда они правят. Солженицын только не ожидал, да и никто не ожидал, что это может произойти так скоро. Но и из сегодняшнего дня смотреть — статьи эти нисколько не устарели и не ослабли: таково перо Александра Исаевича, настолько пронизателен его ум и настолько крепко временное впаяно у него в вечное. Но уплотнение и ускорение событий не только в России, но и во всём мире, их хроническая незавершённость, уклонение общества от своих обязанностей, может стать, и неспособность выполнять их привели к тому, что ни одно внутреннее дело, будь

то внутренняя свобода, раскаяние и самоограничение, гражданское и совестное выправление или будь то ещё более потайные духовные движения, до конца доведено не было и привело в результате к ещё более тяжёлым последствиям.

Было оно — должно быть, неширокого охвата и недолгого времени, но было, что как кодекс чести восприняли мы тогда, в 70-х, солженицынское «жить не по лжи», как диагноз скудного и лукавого интеллигентского величия прозвучала «образованщина»; статья не о том, но как твёрдая убежденность в скором выздоровлении понимались сами слова: «на возврате дыхания и сознания». Эти понятия настолько точно отражали суть явлений и запросов и настолько прочно вошли в нашу жизнь, что по прицельному попаданию сравнить их не с чем. Были до того пришедшие из литературы «маниловщина», «обломовщина», «рахметовщина» и т.д., но приложились они, как характеристики, к явлениям незначительным, камерным, — «образованщина» же вобрала в себя всю Россию и на удивление долго оставалась неузнанной. После солженицынской статьи словно глаза открылись у миллионов, и названное сразу поднялось во весь свой огромный и рыхлый рост.

Что приходило прежде в широкую жизнь из литературы? В основном вопросы. Более ста лет задавались мы литературными вопросами: что делать? кто виноват? Позднее к ним прибавился шукшинский: что с нами происходит? Наша вопрошающая неудовлетворённость, конечно, не могла успокоить ими совесть, но создавала видимость нетерпеливых поисков. Солженицын дал нам ответы: вот что с нами происходит, вот кто виноват, вот что надо делать. Впечатление было сильным, в правильности диагноза сомневаться не приходилось. Общество, которому отказала воля, но которое «на возврате дыхания и сознания» не представляло себе ни дыхания, ни сознания без самиздата и тамиздата, помнится, даже опешило от сказанного о нём и от предложенных рецептов выздоровления.

Диагноз верный, верней некуда, но болезнь зашла слишком далеко; это и объясняет, почему общество не бросилось тотчас исполнять рекомендации. Согласиться пришлось, даже центровая образованщина, наиболее откоренившаяся от духовного древа России, наиболее страдающая косоглазием, не могла не узнать себя в предъявленном ей образе. Но одно дело согласиться, узнать, отдать дань справедливости, дань почти и виртуальную, потому что никаких жертв это не потребовало, и совсем другое — изменить свою жизнь, отказаться от благополучия и карьеры. Ни мужества, ни характера, ни сил, чтобы лишиться уютного своего существования и выйти в космическую почти выстуженность

поступка, у неё не оказалось. А вскоре события, которые, в отличие от интеллигенции, не топтались на одном месте, подкинули ей счастливый случай: без всякого жертвенного усилия, без никакого акта мужества оказаться в той самой позиции, которая от неё и требовалась призывом жить не по лжи. Так легко стало говорить правду — сколько угодно, в каких угодно выражениях, с какой угодно яростью — уличную правду. И принять на себя, как вымученные страдания, заслугу её спасения и окончательного водружения, подобно возвращённому гербу и флагу государства российского, на законное место. Общественная система пала, а вместе с нею отвалилось всё, что её держало, все запреты снялись — и как было не выказать бурную храбрость и не вскочить верхом на застрявший в подземном переезде безоружный танк. Отвалились завтра, как предсказывал Солженицын, партийная бюрократия, и тотчас будет выхвачена фигура из кармана и наставлена грозно на руины. Так и произошло.

Российская интеллигенция за свою историю прошла несколько этапов. Поскольку образованщиной судьба её не закончилась, есть смысл хотя бы пунктирно повторить их. Первый этап — во весь XIX век ощущение интеллигенцией себя как ордена, к которому принадлежат люди духа, непримиримого с Россией. Г.Федотов в статье «Трагедия интеллигенции»: «Это не люди умственного труда... русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединённые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». А.Солженицын в «Образованщине»: «кружковая искусственная выделенность из общенациональной жизни», «принципиальная напряжённая противопоставленность государству», «фанатизм, глухой к голосу жизни». Она, эта горячая интеллигенция, сделала своё дело, приведя Россию к революции. А затем неминуемо должна была или уйти, или переродиться. Частью ушла в зарубежье, частью попала под жернова нового порядка, большей же частью, подкорректировав сознание, которому пришлось проявить гибкость, «загипнотизированно», как замечает Александр Исаевич, принялась обслуживать новую идеологию. «Огненнокрыльями, — это опять Солженицын, уже свидетель того настроения, — казались ей истины торжествующего марксизма — и целых два десятилетия, до второй мировой войны, несли нас те крылья». Да и само слово «интеллигенция» сделалось после революции подозрительным и бранным; восстановленная в своих правах после войны интеллигенция уже не отвечала ни сути своего имени, ни сути своего происхождения и более чем справедливо названа была Солженицыным образованщиной.

Но и образованщина, утопив в своей трясине интеллигенцию, неминуемо должна была исчезнуть вместе с исчезновением вылепившей её в

столь неприглядном облике системы. История, как никогда, торопится переворачивать свои страницы, и социальные, и духовные, и политические. Не с достижением результатов, а с исчерпыванием надежд появляются новые вывески. Канули в вечность понятия «прогресс», затем «цивилизация», сменившись недоношенным «устойчивым развитием». Исчезли «пролетариат», «рабочий класс», «крестьянство», сменившись худосочным «наёмные рабочие». Много что исчезло. Так могла ли задержаться образованщина, в которой с самого начала заметны были признаки вырождения? Солженицын предвидел: «Интеллигенция-образованщина как огромный социальный слой закончила своё развитие в тёплом болоте и уже не сможет стать воздухоплавательной». Но он предполагал, что на место интеллигенции придёт элита. Жертвенная элита, никакой другой тогда представить было нельзя. «Тут слово “элиты” не вызовет зависти ничьей, уж очень беззавистливый в неё отбор», — разъяснял он.

Но нет ни одного чистого слова, ни понятия, ни явления, на которые не постарались бы посягнуть грязными руками и губами и не обречь их на мученическое истязание. Употребив в «Образованщине» слово «массовизация», Солженицын замечает: «Мерзкое слово, но и процесс не лучше». Слово, более всего подходящее под ярмарку, шабаш и бесстыдство, в подобие которых превратили сейчас элиту, не менее мерзкое... Но и процесс опять-таки не лучше...

По созвучию с «образованщиной» просится сюда слово «элитарщина».

Всегда элита почиталась возвышенной, качественно безупречной частью общества, находящейся на духовной и культурной высоте. А её стянули вниз и устроили из неё торжище пороков и безвкусицы. Солженицын видел в элите фильтр, через который возможно протискиваться лучшим и собираться с обратной стороны фильтра в достойный народ. А в образовавшуюся в конце 80-х — начале 90-х годов прошедшего века элиту, как на помост для шоу, принялись вспрыгивать все кому не лень и объявлять себя (и не понять сразу, то ли потешаясь, то ли заблуждаясь) цветом нации.

Примерно за пятнадцать лет это новое образование в форме элитарщины безвозвратно и вероломно извратила всё, что было словом, делом и мечтой интеллигенции. Элитарщина окончательно освободилась от служения, освободилась даже от всяких обязанностей перед обществом и государством и добровольно заглушила в себе остатки совести. Образованщина ещё могла мучиться в минуты просветления сознанием своего падения — у элитарщины таких мук не существует вовсе. Она истово и демонстративно празднует победу над вызвавшим её к жизни прошлым.

Образованщина играла роль общественной прислуги — элитарщина никому, кроме себя, не служит, и высокие понятия, которые хоть и глухо, и фальшиво, но изредка звучали ещё в образованщине, она публично презрела и высмеяла.

Образованщина справедливо могла считать себя придавленной, стеснённой даже в тех немногих дарах, которые выказывала, — элитарщина купается в свободах, как в вышедшем из берегов грязном половодье, и пользуется ими только для своего удовольствия.

Образованщина жила с двойным сознанием: для себя и для общества, и с тройной моралью: для себя, для общества и для государства — элитарщина своё сознание сосредоточила только на себе, и ни одной морали, кроме определённых правил поведения в своём избранном кругу, у неё не осталось. Она откровенно стяжательна, заносчива, надменна и открыто проповедует безнравственность и цинизм.

Во времена образованщины, пронизанной ложью, она, ложь, была ещё самостоятельна и различима. Можно было сказать: это ложь, жить по ней нельзя. А правда, как бы ни сталкивалась она на обочину, знала себя и с достоинством несла свой образ. Теперь (и элитарщина приняла в этом резвое участие) ложь и правда перемешаны и переплетены так, что разъединить и получить их в чистом виде, кажется, уже и невозможно. Требуется какое-то особое рода выпаривание при больших температурах, чтобы одно опустилось в осадок, а другое всплыло на поверхность. Но ни в том, ни в другом, ни в правде, ни во лжи в отдельности не стало уже и надобности, потому что существующие сегодня дымовые технологии обработки сознания действуют как одуряющие газы, после которых безразлично, где правда и где ложь, было бы дыхание.

Столетиями Россия считалась западным мнением задворками цивилизации. А когда разгородили эти задворки — потянуло изнутри дурным духом не от России самой, а от разложившейся кучи, в которую превратилась интеллигенция, вечным недовольством «этой страной» сгноившая себя в общественный отход. Ни идеи уже в ней, ни интеллекта, ни достоинства — всё за последний век постепенно сошло на нет.

Надо согласиться с Солженицыным: «Без замены интеллигенции Россия, конечно, не обойдётся, но не от “понимать, знать”, а от чего-то духовного будет образовано это слово. Первое малое меньшинство, которое пойдёт продавливаться через сжимающий фильтр, само и найдёт себе новое определение — уже в фильтре или по другую сторону его узнавая себя и друг друга».

Так оно сейчас и происходит. Через фильтр, который, слава Богу, не надо ни маскировать, ни искать для него обтекаемые формы, ибо распо-

ложился он в храме — там, где ему и следует быть. И отверстия в нём, через которые приходится протискиваться в духовное образование и духовное направление, совсем не узки. В том, что не узки, есть и опасности: что доступно, то и нечисто. И как бы не потянули в торговые ряды (а от них теперь нигде нет спасения) вместе с плотью и дух. Но это уже следующий период нашего стояния и борения среди нескончаемой их череды. И необходимость жертвенности едва ли снимется, да войдёт в неё, похоже, тяжёлым нравственным страданием упущенная победа: близко, совсем близко было желанное просветление умов и душ, рукой подать, но затолкали друг друга в перебранке, кто достойней и чище, — и опять отдалилось.

Теперь о раскаянии и самоограничении.

Мысль о национальном раскаянии с самого начала, мне кажется, была у Солженицына утопичной. Слишком чудесное потребовалось бы потепление нравственного климата, чтобы народы с тысячелетними обидами обнялись и простили друг другу старые и новые прегрешения. О том же, помнится, мечтал и Достоевский, но из разряда русского прекраснотуши эта мечта так и не вышла. Да и как бы могло свершиться такое братание? Ведь надо навсегда, иначе и приниматься не стоит, а как может быть навсегда, если все межгосударственные договоры о дружбе и сотрудничестве недолговечны и носят политический характер. Чтобы произошло обоюдное межнациональное расширение сердец и душ в любви и доверии друг к другу, акта низового, народного раскаяния мало — если бы даже удалось устроить этот акт на самых искренних и дружеских началах. Если бы даже и нашлось чем закрепить его в условиях разгулявшегося, как стихия, зла, когда политические обязательства не выполняются, нравственные заветы стираются, корысть диктует любое соглашение и почти все «дружеские» контакты. Когда на поверженную страну, как на Ирак, хищнически набрасываются десятки государств, чтобы успеть урвать лакомый кусок. Когда единокровные братья (сербы и хорваты, разделённые только религией) веками не могут расположить друг к другу сердца и в одних государственных границах, и в разных. Сможет ли Югославия простить США 1999 год? Да и весь мир, ненавидящий США за культурную и духовную интервенцию, сможет ли освободиться от этого распалённого чувства неприятия?

Что могло казаться возможным тридцать лет назад, сегодня отодвинулось ещё дальше.

Тем более, мне кажется, не следует ворошить нагоревшие от взаимных обид старые пепелища, если лежат они по-могильному тихо, запрятав тлеющие угли. Живущие в мире сознательно их не трогают; мир сам

по себе есть осознание вины и её преодоление. Половина французского народа не согласится, будто революция 1793 года оказалась для Европы несчастьем, так же как половина русского народа не согласится, будто революция 1917 года явилась для мира злом. Но попытки приведения всего народа там и там к общему мнению могут вызвать новые вспышки ожесточения. И так много где. Пример Германии при канцлере Брандте — единственный и особый случай национального раскаяния. Но только за Гитлера, не глубже. Фюреровская эпоха с её неисчислимыми преступлениями всё ещё оставалась на поверхности истории, пепел Клааса стучал ещё в сердца сотен миллионов, и нравственно-политическое благородство Брандта было и своевременным, и целительным. Но и вынужденным. Его, надо подозревать, не случилось бы — не вмешайся всемогущий требовательный холокост, который раскаянием не удовлетворился, сделал Германию ещё и данником Израиля.

Согрешающих видим, а о кающихся Бог весть.

А о своём, о русском народе и каяться некому. Жестоковейшая его судьба только за последнее столетие — в революцию, коллективизацию, реформацию, не говоря уж о мировых и гражданских войнах, — так и будет по обыкновению молчаливо похоронена вместе с ним. Сталин не каялся за Ленина, Хрущёв не каялся за Сталина (только обличал), Путин не каяется за Ельцина. Стал нераскаянный народ по миллиону больше естественной нормы убыли сослуживать в тёмную замогильную справедливость. Только плачут в поминные дни колокола на возродившихся храмах и шелестят по иконам шепотки, просящие за души несчастных.

Но личное, тихое покаяние, может быть, и нужней сейчас публичного, которое непременно, по духу времени, будет прихвачено какой-нибудь общественной корыстью. Капля камень точит. А молитвенные капли, соединившись в благодатное течение, когда бы объяло оно земли и земли, способно растопить самые множественные обиды и отчуждения.

Солженицын справедливо связывает воедино раскаяние и самоограничение: не будет одного, не будет и другого. С какой-то последней надеждой, с последним требованием нужно обращаться сейчас к самоограничению — и никто не обращается. Алчность обуяла все материки, нельзя указать ни на одно государство, кроме совсем уж бедных и немощных, которые в своей хозяйственной деятельности обходились бы нормой, достатком, а не выгребали бы с жадностью всё, на что хватает аппетита. Да и какие могут быть нормы при грабеже? До чего дотянулись хваткие руки, тому и пропаловка. США с четырёхпроцентным населением от населения земного шара заглатывает больше половины всех планетарных изыятий из природы. Могущество восточных «драко-

нов» — Китая, Японии, Индонезии и Малайзии, сделавших прыжок в ряд самых индустриально развитых стран, достигнуто той же практикой опустошения Земли. Каждый небоскрёб, где бы он ни возводился, — это тысяче- и миллионкратного увеличения яма под ногами и пустыня вокруг. Этического зова знать меру по-прежнему нигде не слышать. Предостережения Римского клуба тогда, сорок и тридцать лет назад, напугавшие человечество, спрятаны и забыты. Киотское соглашение, ограничивающее вредные выбросы в атмосферу, не подписано ни США, ни Россией и, стало быть, обречено на провал... «Устойчивое развитие», сменившее цивилизацию, как бы намекающее на надёжность, крепость взятого курса, — название подложное, за ним даже и прятаться не считает нужным беспрерывный и беспощадный рост товарного производства.

И что же остаётся: выгрызем всё, тогда и придём поневоле к самоограничению, затянем пояса, заведём нормы и карточки? Дело знакомое, от чего уходили, к тому и придём?.. А сможем? Сможем после долгого пира и буйного транжирства, после материального обжорства и обжорства свободами, после безволя и беспутья — сможем после всего этого перейти к практике скромного и бережливого существования, сумеем обходиться малым, найдём в себе силы вспомнить стыд и совесть и принять свободу как самостеснение? Не бросимся отбирать у бедных, которые бедны сегодня по нашей милости, последний кусок хлеба, не пойдём войной против народов, живших здравомысленно и умевших экономить? Презревшие законы жизни сегодня — где возьмут их завтра? Если нравственность сейчас только слово, звук, превращённый в ругательство, — откуда, из какого источника рассчитываем добыть благоразумие?

Забывтё прежде относилось к прошлому, сейчас оно перегнулось в сторону будущего. Не хотим знать, что там может быть, — значит, и не надеемся там быть.

Всемогущий рынок принёс в Россию в отместку за её былую консервативность много чего небывалого-неживалого. Недолго он оставался товарным — и полез в душу, обуял дикими страстями и в конце концов вторгся в святая святых — в отношения между живыми и мёртвыми.

Это не выходит за рамки разговора о раскаянии и самоограничении. Так широка эта тема, что не промахнёшься, куда ни обороти глаза.

Чуть не каждый день случаются у нас теперь трагические события. Они давно уже не скрываются, напротив, с воодушевлением, с подробностями повествуются из всех рупоров. Наводнения, землетрясения, авиакатастрофы, атаки террористов — всего этого хватает с избытком. Почти каждый день безвинно и неожиданно гибнут и калечатся люди.

За гибель и увечья власть выплачивает деньги, признавая тем самым ответственность за происходящий в стране беспорядок. За увечья одна цена, за гибель другая, побольше. Какая за что — повторяется на дню по нескольку раз. Как ни дико это звучит — привыкаем. Ко многому привыкаем, к этому тоже.

Всегда на Руси было заведено, что община, мир, коллектив, профсоюз не оставляли родственников в беде, делились чем могли. Государство назначало за кормильца пособие, окружение брало на себя тяготы проводов. По неписаному нравственному закону, давая деньги, как правило небольшие, умалчивали, сколько дают. Над могилой, как и над любой бедой, купюрами не шелестят. Ответственность делилась поровну: люди не уберегли, Бог взял. Вся жизнь пронизана скорбью, от несчастья застраховаться невозможно. Сострадание надёжней материального вспомоществования помогало перенести горе. Так было. Так по матушке России и остаётся в глубинах её и всяких.

Теперь объявляют: власть выплачивает за погибшего то сто тысяч рублей, то двести тысяч, а то и триста, в зависимости от причин и масштаба катастрофы. Родственники или принимают беспрекословно, или торгуются. До недавнего времени такого не случалось, чтобы торговались — как за товар. После трагедии в театре «Норд-ост» десятки убитых горем родственников (не приходится сомневаться в искренности горя, но приходится поражаться некоторым его свойствам) потребовали за гибель сына, брата, матери, сестры по миллиону долларов. Ошеломлённая такими запросами власть, что называется, стушеввалась, адвокат потерпевших настаивал: по миллиону, и никаких. Чем закончился торг, не берусь сказать. Для нравственной стороны этой истории не столь уж и важно, чем закончился... Но сам факт! Сам способ разбогатеть, извлечь из несчастья выгоду, поставить дело последнего прощания на коммерческий лад! Найти утешение в «зелёных», отводить взгляд от могилы, представляя тугие пачки валюты... Что-то предельно жуткое, донельзя уродливое, бесчеловечное выходит к нам из глубин, которые до сих пор оставались неизвестными. Как орошать могилу матери или сына слезами, как хранить память, рассматривать старые фотографии, соединять себя с ушедшими вечной связью — если всё это выгодно продано, если миллион долларов?! И как жить, если на совести, как камень пудовый, миллион долларов?!

Похоже, мир человеческий, перегретый пустопорожней и вредной деятельностью, источенный лукавой моралью, дошёл до такого состояния, что извержения из преисподней, подобные этому самому миллиону долларов, станут случаться всё чаще. Человек так скоро меняется под

влиянием внешних перемен (а всё внешнее от внутреннего), что даже мы, живущие, не успеваем осознать происходящее. Худшее в мире замечается, разумеется, больше, явственней, на то оно и худшее, чтобы бесцеремонно являть себя как властителя жизни; лучшее всегда в отдалении, его жизнь есть внутреннее и непоказное существование. И обнаруживает оно себя тихо и скромно, тёплым прикосновением, напоминающим, что оно живо и по-прежнему с нами.

И ещё настоятельней, чем тридцать лет назад, от нас требуется:

а) жить не по лжи;

б) содержать себя в нравственной чистоте и правде;

в) не поддаваться унынию и робости перед стущающимся злом;

г) на виду у транжирства, бесстыдства и окаянства обходиться малым в материальных и физических потребностях, а духовные обращать к спасительному лону матери нашей России.

И так хорошо, так свободно на душе, что ничего другого нам и не остаётся, что время не оставляет нам больше выбора и суждено нам следовать заветам, не имеющим срока давности.

Леонид Бородин

МОСКВА

СОЛЖЕНИЦЫН-ЧИТАТЕЛЬ

Прочитав в своё время всё написанное Александром Исаевичем, разумеется, всё, что в разные времена было так или иначе доступно прочтению, поимел я тогда дерзость полагать, что, по меньшей мере, самое главное об авторе мне понятно и известно. Таковому суждению в немалой мере способствовала та искренность, каковой сопровождалось каждое высказанное или написанное им слово.

В те, теперь уже давние, времена каждый из нас собственным путём шёл к пониманию социальной реальности, потому отнюдь не всякое суждение, устно или письменно высказанное Солженицыным, принималось безоговорочно. К примеру, лично на меня известное «Письмо вождям» произвело двойственное впечатление, и, когда Мелик Агурский предложил участие в самиздатском сборнике, посвящённом этому документу, помню, что, сев за машинку, я долго не мог сдвинуться дальше заголовка статьи, каковой объявился как бы сам собой. «Подвиг во имя истины вопреки реальности» — так звучал заголовок.

Подвиг? Безусловно. Марксизм как маразм — истина. Но вот адресат? Вожди? Какие вожди? Вождь был один — Сталин. После себя он оставил приказчиков-управляющих, начисто лишённых социально-творческих задатков. Единственное, на что были пригодны «приказчики», — это на сохранение статус-кво, и только в этом направлении смели в большей или меньшей степени проявлять инициативы. Призывать их отказаться от марксизма, по моему мнению, было равносильно предложению повыбрасываться им из окон своих кабинетов. Примерно в таком ключе и состоялся текст статьи.

Однако ж, как ни странно, именно этот документ Александра Исаевича спустя какое-то время приоткрыл мне ранее неизвестную сторону личности автора. По чувству долга стучаться даже в глухо запертые двери, даже без надежды быть услышанным, или, напротив, быть услышан-

ным и отвергнутым, наказанным за дерзость, — то ведь, по сути, подлинно христианское деяние, не столько разумом продиктованное, сколько праведной надеждой на то, что ни одна личность, ни один человек, как бы дурно он ни был славен, не может быть отвергнут безоговорочно без того, чтобы не поиметь шанса на преобразование.

Не будучи в те годы лично знаком с Александром Исаевичем, я, как и все близкие мне по настроениям люди, внимательно следил за его творческой и социальной деятельностью. И в мордовские, и пермские лагеря доходило почти каждое слово человека, уже пребывавшего в изгнании, но в нашем сознании остававшегося рядом, только будто бы где-то в ближайшей зоне или в соседней камере.

Разные слухи доходили до нас. Что, мол, затворник Вермонта общения чурается, пишет «эпохалку», Россия теперь ему лишь проклятая сторона. Несогласные, мы всё же и представить себе не могли, сколь пристален был пригляд Солженицына ко всему, что происходит на Родине.

Моё личное знакомство с Александром Исаевичем обернулось подлинным открытием таких качеств этого человека, о каких даже не подозревал. Знал — неслыханно работоспособен, так вот и представлял: с утра до вечера пишет, читает нужную для работы литературу и снова пишет, и ничего лишнего на рабочих столах.

Но вот в конце нашей первой встречи подаёт мне Александр Исаевич пачку печатных листов и говорит, что специально отпечатал свои рукописные замечания, которые делал там, на чужбине, читая мои повести. Просит, чтоб я передал Распутину и Белову, что если им интересно, то он готов передать и им...

Дома, раскрыв листки, испытал сущее потрясение. Разбор текстов был столь дотошен, что, думаю, для любого писателя, если, конечно, он уже не забронзовел, было бы величайшим счастьем стать объектом внимания такого литературного критика. Язык, стиль, сюжет — всё если плохо, то без малейшего снисхождения, если хорошо, то похвалой с другим человеком и поделиться как-то даже и неудобно.

Ни одно действующее лицо повести или романа не оставлено без внимания, ни одна языковая или стилистическая небрежность не пропущена, и выговор суров и безжалостен.

Так вот открыл я для себя Солженицына-читателя. Об одном эпизоде скажу чуть подробнее. Уже вернувшись в Россию, читал Александр Исаевич мою повесть «Царица смуты». По прочтении опять же предложил мне ознакомиться с его замечаниями.

В целом повесть он принял. К слову сказать, некоторые мои писания он не принял категорически, и должен заметить, что это надо уметь —

категорически не принять работу и при этом не обидеть, не задеть самолюбия автора.

Случилось так, что, когда повесть уже была почти закончена, я обнаружил в ней весьма существенный сюжетный прокол, расстроился, почти на месяц отставил работу, временами, однако ж, напрягаясь — как бы исправить сюжетный просчёт. В итоге нашёл, как мне казалось, идеальный вариант. Он и был идеальным, поскольку никто из читавших повесть не споткнулся на искусной, но искусственной «зацементовке» в сюжете.

Александр Исаевич просчитал мой недодел элементарно. И, соответственно, разнёс со свойственной ему прямоотой.

Ну и, наконец, последний случай, когда я имел возможность убедиться в высочайшем профессионализме Солженицына читателя-критика. Вышедшая недавно в издательстве «Молодая гвардия» моя книга мемуарного характера писалась тяжело, она явно не складывалась. Почти в отчаянии, насмелился я обратиться за помощью к Александру Исаевичу. Зная его загруженность, я фактически злоупотребил его добрым ко мне отношением.

Текст объёмом около пятнадцати авторских оказался не просто прочитанным — вычитанным. Напротив каждого без исключения абзаца пометки: плюс, минус, вопрос, ремарка. И приложение — две страницы рекомендаций по общей организации текста. И при том ни малейшей попытки так или иначе вмешаться в содержание. Советы исключительно организационного плана и несколько справедливых нареканий по стилистике.

Конечно, далеко не со всеми рекомендациями я справился, получилась книга или, скажем, не очень, то отдельный разговор, но без помощи Александра Исаевича она не ушла бы в редакцию и по сей день.

Сам не бездельник, я, тем не менее, не могу представить, когда успевают Солженицын, к примеру, отслеживать журнальную периодику. Однажды на встрече с публицистами журнала «Москва» Александр Исаевич почти каждому так или иначе высказал своё отношение к его статьям, чем были весьма поражены наши авторы, считавшие, что столь занятому человеку не до них, грешных.

И спрашиваю я сам себя: так что же это за явление в нашей культуре — Александр Исаевич Солженицын?

И пробую ответить: великий работник! Дай ему, Господь, сил, здоровья и лёта!

Елена Чуковская
МОСКВА

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГЕ

В апреле 1962 года Корней Чуковский отдыхал в Барвихе одновременно с Александром Трифоновичем Твардовским, который дал ему прочесть рассказ «Щ-854», написанный А.Рязанским, не известным никому автором.

Корней Иванович пришёл в восторг от прочитанного и написал рецензию, которую Твардовский, хлопоча о публикации, передал Хрущёву вместе с рассказом. Свою рецензию Чуковский назвал «Литературное чудо». Он писал:

«Шухов — обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый... весь рассказ написан ЕГО языком, полным юмора, колоритным и метким... Великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона... Только владея таким языком и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в этом рассказе. Тема эта — злое мучительство, ставшее нормой людских отношений, многолетние страдания ни в чём не повинных людей, оказавшихся во власти организованных и вооружённых мерзавцев...

Словом: с этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель... Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нём нет. Он осуждает прошлое, которого, к счастью, уже нет. И весь написан во славу русского человека».

После того как «Один день» был опубликован в «Новом мире», Чуковский посвятил главу в своей книге «Высокое искусство» анализу переводов «Одного дня», которых сразу появилось великое множество. Он проанализировал пять американских переводов и на примере таких

фраз автора, как «Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева», или «И сразу шу-шу-шу по бригаде», или «Фетюков... подсосался», показал, что в переводе «всюду свежие, сверкающие народные краски подменяются банальными и тусклыми».

Эта глава из книги Чуковского читалась по радио, Александр Исаевич услышал передачу во время своей поездки по России и приехал в Переделкино познакомиться с Корнеем Ивановичем. Однако вначале увиделись они нечасто.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

11 сентября 1965 года у Александра Исаевича конфисковали архив на квартире его московского знакомого Вениамина Львовича Теуша, и он приехал в Москву с чемоданчиком, в котором были его уцелевшие рукописи. С этим чемоданчиком в руках он пришёл к Корнею Ивановичу, которого потрясло его положение. Александр Исаевич ждал ареста, был в очень плохом настроении, и Корней Иванович пригласил его к себе в Переделкино, считая, что там меньше шансов арестовать его в какой-то неразберихе, что там он будет лучше защищён.

Александр Исаевич принял это приглашение и в сентябре 1965 года жил в Переделкине. Я ожидала увидеть человека измученного, несчастного, нервного, капризного, больного и была крайне изумлена, увидев молодого, с военной выправкой, весёлого Александра Исаевича, который старался развлечь Корнея Ивановича какими-то шуточными разговорами. Держался Александр Исаевич очень бодро. Несмотря на то, что в это время на душе у него было тяжело.

Вот запись моей матери, Лидии Корнеевны, из её дневника:

«Первое впечатление: молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, лёгкий, сильный, очень русский.

Главное ощущение от него: воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему.

Когда он смеётся или сильно движется, он похож на пламя; иногда он — князь Мышкин; иногда Тиль; иногда — когда моложав и красив — похож на Дубровского.

Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю.

Быстро, точно, летуче, как-то даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица: то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее — то

вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке, глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот».

Приведу запись из дневника Корнея Ивановича этого времени от 30 сентября 1965-го:

«Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал Александр Исаевич — и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь, — огромная мощь таланта»¹.

Своей квартиры в Москве у Александра Исаевича не было. В Рязани он жил, по его рассказам, в старом, развалившемся деревянном доме рядом с шумной базой или складом, где бывало 40–50 грузовиков в день.

Он часто наезжал в Москву по разным делам, и с осени 1965 года иногда на день-другой останавливался на нашей московской квартире, которая находилась в самом центре, неподалеку от журнала «Новый мир», с которым в те годы Солженицын был связан.

КОНСПИРАЦИЯ

В первый же раз осенью 1965 года, когда Александр Исаевич приехал к нам в Москву, он дал мне неожиданное поручение — позвонить какой-то женщине из телефона-автомата, назваться не своим именем и передать ей какие-то определённые слова. Так начиналась для меня солженицынская школа конспирации, которая была многосторонней и отработанной. Прежде всего он исходил из того, что под любым потолком, где он находится, — его прослушивают. Как он был прав в своих предположениях, стало очевидным, когда в годы перестройки опубликовали «оперативные материалы» наблюдений за Солженицыным, о которых я скажу ниже. Поэтому в доме он никогда не называл никаких имён, не упоминал никаких своих планов и встреч, не звонил из квартиры по телефону, а только из телефона-автомата. Позже он учил меня выскакивать из вагона метро в последнюю секунду, с тем чтобы избавиться от «хвостов». Показывал, как выскакивать из троллейбуса. В нашу квартиру к нему часто приходили многочисленные друзья и помощники, но никого он не называл под потолком своим именем, все были переименованы.

Вот образец одной из его записок:

«18.6.1968. Тот экз[емпляр] “Архипа” отдайте Смехачу, он сам будет читать и даст сердитой бабушке».

В те годы Александра Исаевича окружало множество людей разных поколений из разных пластов его жизни — от друзей студенческих лет до учеников из рязанской школы, в которой он преподавал в начале 60-х годов. Был ещё большой круг его ровесников, тоже прошедших войну и лагеря. Приходили писатели и читатели, Солженицын получал сотни писем.

На зиму для работы он исчезал из Москвы в какое-нибудь «укривище», как он говорил.

В ту зиму, после конфискации архива, Корней Иванович затеял хлопоты о том, чтоб Солженицыну в Москве дали квартиру. Написал письмо, которое кроме него подписали Паустовский, Капица и Сергей Сергеевич Смирнов — влиятельный секретарь Союза писателей, писавший о Брестской крепости. К Смирнову ходила я, он колебался, ставить ли ему свою подпись. Я ему сказала: «Сергей Сергеевич, ведь Солженицын до сих пор с войны не вернулся — сперва лагерь, потом ссылка, потом неустроенная жизнь в Рязани, надо ему помочь».

Смирнов подписал письмо. Но хлопоты эти успехом не увенчались. До самой своей высылки Солженицын так и не получил в Москве ни квартиры, ни прописки. После этого письма ему сразу дали другую, чуть лучшую квартиру в Рязани.

Жил он очень скромно. В эти годы его уже совсем не печатали.

Я как-то спросила его: «Знаете, что значит имя Александр?»

Он ответил: «Знаю — “защитник людей”, мы с Александром Ивановичем Герценом выполнили свой долг перед человечеством».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС

Конечно, главное воздействие Солженицына на современников шло через его книги, начавшись с публикации «Одного дня». Но в 1965 году, после конфискации архива, его перестали издавать, а потом начали потихоньку изымать его книги из библиотек. В 1974 году, после высылки, сразу был издан приказ Главлита об изъятии из библиотек и уничтожении всех его книг, изданных в Советском Союзе.

Но несмотря на все запреты, воздействие на современников личности Солженицына, его позиции, его поведения, его слова было огромным.

Я здесь вспомню два эпизода.

В ноябре 1966 года Александр Исаевич выступил в Курчатовском институте (Институт атомной энергии) с чтением глав из неопубликованного «Ракового корпуса» и недавно конфискованного «В круге первом». Это была дерзость неслыханная, и слух об этом выступлении сразу разошёлся по всей Москве. Я там не была, но слышала от очевидцев. Они были потрясены его свободной, смелой и артистической манерой поведения на этой встрече. Были вопросы в записках, и на них он отвечал, не уклоняясь, говорил о конфискации своего архива, в том числе и романа «В круге первом», о тех препонах, которые чинились его работе и его общению с читающей публикой, возражал против цензуры.

Поскольку в это время уже началась «клевета с трибун», о которой я скажу ниже, он решил не отказываться от возможности её публично опровергать и принимать все приглашения на выступления, которые к нему поступят.

От этого времени у меня сохранилась его записка:

«19/X.66. Совершенно чудовищно, но: хотя до выступления в Карповском институте (научный институт, куда его тоже пригласили. — Е. Ч.) осталось 2 часа — оно ещё не отменено. Если не отменят — в 14.30 уезжаю туда, а оттуда — прямо на поезд. — 14.20. Выхожу. Если не вернусь, значит, состоялось. Говорят, позавчера Семичастный объявил, что я читаю “роман, запрещённый цензурой”. Придётся публично опровергнуть, рассказать, кто распространяет роман». (Конфискованный роман распространял тогда «для своих» без ведома автора Комитет государственной безопасности. — Е. Ч.)

И ещё одна:

*«30/11.66. Сейчас отправляюсь на *n*-ную попытку встречи в Институт востоковедения (в день отъезда в Карповском тоже не состоялось)».*

Встреча в Институте востоковедения после многочисленных отмен всё же состоялась, но больше ни одного раза ему не разрешили выступить. Ему перекрывали любые возможности общения со своими читателями.

Что касается его записок, то чаще всего он ставил по бокам косые крестики, и это означало, что записку следовало немедленно сжечь, не

хранить, т.к. там упомянуто какое-нибудь конкретное обстоятельство или названо лицо, которое не должно стать известным. В те годы мы помнили слова Анны Зегерс: «Они знают о нас только то, что мы сами о себе рассказываем».

Весной 1967 года был назначен IV съезд писателей. Допускали туда, и в особенности на трибуну, только делегатов съезда. Солженицын не был избран делегатом. Но к съезду он начал готовиться сильно заранее. Он написал своё теперь знаменитое «Письмо IV съезду писателей», и я тоже заранее напечатала его в большом количестве экземпляров. Этих экземпляров было заготовлено больше двухсот. Экземпляры были разложены в конверты с адресами тех писателей, на поддержку которых можно было рассчитывать, а также тех журнальных редакций, которые он хотел оповестить, и накануне съезда разосланы по этому множеству адресов.

В разных концах Москвы их опускали в разные почтовые ящики разные люди. Помню в этой роли Георгия Тэнно, близкого друга Александра Исаевича, «убеждённого беглеца», морского офицера, которому посвящены многие страницы «Архипелага».

Александр Исаевич старался всё предусмотреть заранее.

Ещё 21 апреля 67-го он писал мне:

«Если со мной что-нибудь случится, Веронька принесёт 16-го все конверты, вы за меня надпишете каждое письмо и отправите без “росписи”. Но этого не будет».

И позже, за несколько дней до рассылки:

«16 мая 67. В субботу намереваюсь ехать в Переделкино, днём посетить Каверина, ещё туда приедет ко мне Борщаговский».

С 19-го же (пятница) отдаём письмо в самиздат. Можно утром уже забирать и давать людям, кого за день увидите».

Таким поступком Солженицын демонстрировал обществу, что вместо мёртвого и формального сидения на съезде с заготовленными казёнными речами и резолюциями — надо обсуждать и решать насущные вопросы текущей жизни, которые волнуют и задевают всех писателей. Он впервые во весь голос, громогласно поставил вопрос о цензуре, которая душила литературу, заговорил об обязанностях Союза писателей по отношению к своим членам, помянул писателей, погибших в лагерях или расстрелянных.

Его образ действий, его нежелание принимать вьевшиеся за годы советской власти правила игры учили современников свободе, независимости и человеческому достоинству. И это был урок не менее важный, чем тот, который люди получали из его книг.

Такое невиданное обращение к съезду не допущенного туда Солженицына было беспрецедентным в истории советской писательской организации и встретило столь же беспрецедентную поддержку писателей.

Около ста членов Союза писателей высказались в поддержку этого письма. Среди них были Паустовский, Каверин, Тендряков, Можаяев, Аксёнов, Тарковский, Василь Быков и многие другие.

В своей «Речи, не произнесённой на IV съезде» Каверин как главное качество Солженицына подчеркнул общую черту, соединяющую его произведения, — «могучее стремление к правде, опирающееся на чувство внутренней свободы»².

Известно, что внешним толчком для Пражской весны послужило это письмо Солженицына, которое обсуждалось также и чешскими писателями.

КЛЕВЕТА С ТРИБУН

Поскольку общественный авторитет Солженицына и интерес к нему был очень высок, власти применили к нему кроме конфискации бумаг, запрета на печатание, постоянной слежки ещё и испытанный советский метод — клевету с трибун. На разных закрытых партийных собраниях ораторы сообщали всяческие домыслы и небывлицы публике, которая не имела возможности их проверить и им возразить.

Один из читателей Солженицына записал выступление главного редактора газеты «Правда» М.В.Зимянина 5 октября 1967 года в Ленинграде на одном из таких собраний. Зимянин сказал:

«Это психически ненормальный человек, шизофреник. Он был в плену (никогда в плену не был. — *Е.Ч.*), а затем за дело или без дела (для редактора «Правды» это несущественно. — *Е.Ч.*) был репрессирован. Свою обиду на власть он выражает в своих произведениях. Лагерная тема — единственная в его творчестве, и он не может выйти за её пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея... я читал пьесу Солженицына «Пир победителей»... За такое в прежние времена сажали. Понятно, что мы не можем его печатать... Солженицын — преподаватель физики, вот и пусть себе преподаёт»³.

ХРАНЕНИЕ АРХИВА

Работа Александра Исаевича уже в те годы была связана с большим архивом. Как сам он пишет, хранение архива задавало ему не меньше задач, чем само писание. По лагерной привычке и навыку он придавал большое значение объёму рукописи.

Солженицына трудно было заставить врасплох, он многое продумывал заранее и поэтому когда он начинал писать, то сразу думал: как он будет хранить рукопись, где она будет лежать, в скольких экземплярах, какой объём будет занимать, кто будет приносить её.

В большинстве его записок мне — поручение передать или взять какую-нибудь из его рукописей. Вот такие поручения:

«30/XI.66. Оставляю РК — часть II (кроме гл. 30, где последнюю страничку дописываю). Можно уносить, можно и оставить.

Апрель 67. Веронька на днях придёт взять мой 1 экземпляр РК-1 для правки.

Роман в малиновой папке можно дать только в бережные руки и не для перепечатки. Остальные экземпляры устроены, и в том числе печатать возьмут. Он понадобится мне только в середине мая.

Если успеете до отъезда — подбросьте один экземпляр «Пасхального хода» Еве».

После напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» к нему хлынул поток писем читателей, рассказывающих о своём лагерном прошлом, о своей жизни. Эти важнейшие свидетельства современников легли в основу многого рассказанного на страницах «Архипелага». Читатели обращались к автору с огромным доверием, с просьбами о защите и помощи. В недалгую пору своего признания в СССР Александр Исаевич успел вмешаться в судьбы некоторых своих корреспондентов и помочь им. Когда-то Зощенко опубликовал книгу «Письма к писателю». Я уверена, что, если когда-нибудь опубликовать сотую часть писем к писателю Солженицыну, мы получим историю нашего общества в 60-е и последующие годы, рассказанную голосами свидетелей изо всех слоев общества.

Своими книгами Солженицын всегда умел затронуть самые болевые точки русской истории, поэтому взгляды его корреспондентов часто сталкивались, но тем более они интересны и существенны.

Вернусь к судьбе архива. После провала 1965 года всё было поставлено так, что он сам переставал бывать в тех домах, где хранился его ар-

хив, чтобы не навести на след. Рукописи передавались по цепочке, с тем чтобы тот, кто стоял в её начале, не знал конкретного места хранения и не мог его выдать. Как я уже говорила, архив хранился на разных квартирах. Но так как работа автора всё время продолжалась, то постоянной заботой была необходимость связаться с хранителями, передать по цепочке для хранения или, напротив, получить оттуда какую-нибудь понадобившуюся папку.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ САМИЗДАТА

Важной стороной общественной деятельности Солженицына было распространение самиздата. Его фигура как магнитом притягивала к себе все произведения авторов, не попадавших на страницы советских изданий. Всеми возможными путями они передавали ему через знакомых или непосредственно свои труды, и у Александра Исаевича накапливался большой фонд таких работ. К нему часто попадали книги, опубликованные зарубежными русскими издательствами — издательством им. Чехова или «ИМКА-Пресс», последние номера «Нового журнала», книги Набокова. Он прикладывал немалые усилия, чтобы сделать их достоянием общности, отдавал эти рукописи и книги своим многочисленным помощникам и болельщикам для перепечатки и распространения, раздавал вместе со своими вещами, передаваемыми в самиздате, и тем самым тоже будоражил и вносил живую струю в общественную жизнь. Около него, вокруг него всегда было множество интересного чтения.

Привожу несколько примеров из записок того времени:

«2/III.67. “Багровый остров” привезу завтра.

16/5.67. Оставляю почитать воспоминания Шалапина.

Весна 1968 г. Надо бы перекинуть НН эту записку с речью Карякина.

12.2.68. Якировское обращение слишком расплывчато. Речь Галанскова — хороша! А Григоренко — это потрясающе! (Собираюсь дать Александру Трифоновичу, мне её сейчас перепечатают.)

22/XI.68. Прочтите маме эту дословную запись вчерашней передачи ВВС (диктофон).

5.8.69. Кладу “Лолиту”, которая мне решительно не понравилась (тяжело, длинно, талант уцербнулся)».

«22/X. Оставляю “Бабий Яр”.

Март 1970. Если у вас сохранился лишний Грибачёв и эта последняя статья Бжезинского — отложите их для меня».

РАБОТА НАД «АРХИПЕЛАГОМ ГУЛАГОМ»

Но вернусь к началу нашего знакомства. Как-то Александр Исаевич сказал мне, что сам печатает на машинке все свои книги. А в это время были уже написаны такие большие произведения, как «В круге первом» и 5 частей «Архипелага ГУЛага». Я предложила, если понадобится, помочь ему в перепечатке его вещей.

И вот в мае 1966 года я получила открытку:

«4.5.66. Кажется, не в силах буду отказаться от щедрого подарка, который вы мне предлагаете — двух недель жизни. Поэтому, если у вас есть в запасе выходные, как вы говорили, — поберегите их на вторую половину мая».

В конце мая он привёз мне тетрадку с первым вариантом первой части «Ракового корпуса». Это была аккуратная толстая школьная тетрадка с полями. На полях цветными карандашами были размечены места, которые автор хотел выделить для себя. Почерк очень особенный и чёткий. Последующие два года внешне были заняты завершением «Ракового корпуса» и борьбой за его напечатание в Советском Союзе, которая сопровождалась многими событиями, — шли разговоры, обсуждения, письма в защиту. Речь шла и о печатании «В круге первом». Под завесой этих хлопот Солженицын и вернулся к своей потаённой работе над «Архипелагом».

Александр Исаевич всё построил таким образом, чтобы внешне выглядело так, будто он поглощён работой над другими книгами. Работа над новой, третьей редакцией «Архипелага» совпала с годами борьбы за публикацию «Ракового корпуса».

Я записала некоторые его мысли о прозе:

«Мне надо писать большие вещи, я люблю архитектурно строить, а рассказы не выгодно. Растрачивание сил.

Как чудно сказал Замятин, что в стихе ритм арифметический, а в прозе — интегральный и что прозу писать труднее.

До сих пор свои рассказы все знаю наизусть. Ритмическая проза».

Я здесь много говорю о конспирации, об усилиях, прикладываемых автором для сохранения своих вещей. Эти волнения и тревоги были совсем не на пустом месте. Можно сослаться, например, на книгу «Кремлёвский самосуд», документально подтвердившую атмосферу непрерывной слежки и сыска, в которой он жил. Книгу открывает «Меморандум по оперативным материалам о настроениях писателя А.Солженицына»: в 1965 году под каким-то потолком был подслушан и записан рассказ Солженицына о том, что он пишет новую книгу. Вот некоторые строки из этой записи, где выражено настроение автора:

«Я сейчас должен выиграть время, чтобы написать “Архипелаг”. Я сейчас бешено пишу, запоем, решил сейчас пожертвовать всем остальным... Я использую свой опыт только в самых ударных местах, в ярких сценках, в которых я сам был свидетелем. Полная картина “Архипелага”, прямо лава течёт, когда я пишу “Архипелаг”, нельзя остановить»⁴.

Сейчас трудно себе представить, в каких условиях работал Солженицын, в каком темпе велась эта работа. Надо напомнить, что свои показания о пребывании в лагерях дали ему 227 свидетелей, чьи имена в своё время приходилось тщательно скрывать и зашифровывать, чтоб не подвергать их преследованиям, а теперь все они будут названы автором в ближайшем переиздании книги. Для того чтобы найти и записать этих свидетелей, тоже пришлось поколесить по стране. Материал приходилось собирать от очевидцев, допуск в архивы был ему закрыт. Вся рукопись «Архипелага» никогда не лежала перед автором на столе, а была только та глава, с которой он работал. И когда он узнавал какой-то новый факт, который нужно было поправить, он должен был ехать — иногда на другую улицу, а иногда в другой город — и вносить исправление в рукопись. Или приглашать человека, хранящего эту страницу, к себе.

Та редакция «Архипелага», которой я была свидетелем, делалась в марте — мае 1968 года. Книга была задумана и начата еще в 1958 году, следующая, вторая редакция была сделана на основе потока писем после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Работа над новой, третьей редакцией шла с фантастической быстротой. В марте — апреле был переделан и сильно дополнен весь первый том. По моей записи: «Почти нет страниц без правки — причём она в сторону ужесточения против

Ленина и Горького». Первый том он правил в Рязани и присылал мне главы, которые я печатала. Рукописи мне привозили его бывшие школьные ученики.

В мае месяце Елизавета Денисовна Воронянская и я поехали на дачу Солженицына в Рождество-на-Истье. Это был маленький деревянный дом, неотопливаемый, куда невозможно было проникнуть, до тех пор пока не закончится разлив рек. Была там комнатка внизу, где жили мы с Елизаветой Денисовной, и комнатка наверху, где жили Александр Исаевич и Наталья Алексеевна (его первая жена), и ещё была терраска, на которой мы собирались. Работали с раннего утра и до ночи. Александр Исаевич правил главы из «Архипелага» одновременно и из второго, и из третьего тома для переписки, и мы с Елизаветой Денисовной их печатали на двух машинках. Я — второй том, а Елизавета Денисовна — третий. Потом он внимательно читал и правил напечатанное. К июню вся эта работа была закончена.

И во всё время работы никогда весь «Архипелаг» не находился на даче. Всё время приезжал кто-нибудь из друзей, увозил и прятал заново перепечатанные главы. Запомнилось, как Александр Исаевич нашёл несколько ошибок в главах, копии которые были уже увезены, и назвал список обнаруженных опечаток «Поздние слёзы». Шестая и седьмая части книги хранились в рукописи, одна из глав — под названием «Мужичья чума» — была закопана на огороде, существовала в единственном экземпляре, и Александр Исаевич при нас её выкапывал.

После возвращения в Москву я встречалась с Георгием Павловичем Тэнно, «убеждённым беглецом», уже упомянутым выше, который успел прочитать и проредактировать главы о своём побеге с каторги. Эта работа шла во время тяжёлой последней болезни Георгия Павловича. Он скончался осенью 1968 года.

Когда была закончена третья редакция «Архипелага», а плёнка отправлена за границу на хранение, Александр Исаевич обратился к прежним своим хранителям и помощникам с просьбой уничтожить все предыдущие редакции. Все хранители ему написали, что уничтожили промежуточные экземпляры. То же самое написала Елизавета Денисовна. Но она (как выяснилось позже) не уничтожила свой экземпляр...

После окончания «Архипелага» в 1968 году Солженицын перешёл к работе над новым вариантом романа «В круге первом», потом к работе над «Августом Четырнадцатого», вскоре он был исключён из Союза писателей, потом получил Нобелевскую премию... Происходило много событий. «Архипелаг» лежал. Был момент, когда Александр Исаевич хотел дать его прочесть Твардовскому, но как-то не получилось. Твар-

довский ничего не знал об «Архипелаге», как ничего не знал и Корней Иванович. Мало кто о нём тогда знал. Не знал и Комитет по Нобелевским премиям, присудивший Солженицыну премию за четыре года до публикации «Архипелага».

Но в августе 1973 года произошёл этот ужасный провал... Летом 1973 года велась травля Сахарова и Солженицына в печати, выступали академики, писатели... Тем летом Елизавета Денисовна Воронянская вместе со своей приятельницей Ниной Пахтусовой отдыхала в Крыму. А я попала в тяжёлую автоаварию и была в больнице. Елизавета Денисовна часто писала мне из Крыма.

Она была человеком восторженным, экзальтированным, очень молодым, ей было уже за 70. Она тяжело болела, с трудом ходила, жила одна, в коммунальной квартире в Ленинграде, на Лиговке, в каком-то достоевском тёмном доме. Там у неё была комнатка рядом с кухней.

По возвращении из Крыма она сразу была арестована и увезена на допрос. Пять дней подряд её допрашивали. Она назвала место, где хранится не сожжённая ею рукопись «Архипелага». Вернулась домой и повесилась. Я узнала об этом 30 августа 1973 года. Профессор Эткинд, который был на её очень странных похоронах, прилетел на следующий день с печальным известием в Москву. А за день до этого о конфискации «Архипелага» узнал по цепочке Лев Копелев, находившийся тогда в Ленинграде, и сообщил об этом мне через своих родных. С этим известием я поехала на дачу к Солженицыну.

Для него случившееся было потрясением. В ближайшие дни, после того как он обо всём узнал, он сделал распоряжение в западное хранение опубликовать «Архипелаг». Фотоплёнка давно лежала у надёжных людей за границей. Через три месяца, в конце декабря 1973 года, в Париже в издательстве «ИМКА-Пресс» вышел первый том книги, и начался чудовищный скандал.

Ведь что такое было в 1973 году печатать «Архипелаг» от своего имени, ни за кого не прячься?! И не отговариваясь тем, что «без ведома автора». Здесь опять современников поражало не только то, ЧТО писал Солженицын, — поражала совершенно небывалая и несвойственная советскому человеку модель поведения. КАК он отстаивал и утверждал свои взгляды в обстановке травли и угроз. Солженицын реагировал на всё совершенно по-своему и безо всяких колебаний. Несмотря на то что у него были крошечные дети, что в Москве его не прописали, что он увлечённо работал над «Красным Колесом», да ещё в это время писал «Письмо вождям», — он сразу всё это отодвинул, решил издавать «Архипелаг», понимая, что его ждёт. Ещё в 1965 году он говорил, что «Архипелаг» будет

печатать в 1972–1973 годах. А по его судьбе, закрученной в эти годы, получилось, что он всё откладывал. Он знал, что это будет обрыв в его жизни, перелом. Но когда всё случилось — он абсолютно не колебался.

ГОТОВНОСТЬ ИДТИ ДО КОНЦА

Иногда можно было услышать — Солженицын защищён своей известностью. Но эта известность складывалась из многих поступков, совершённых буквально на краю пропасти.

Я уже приводила выше его записку накануне рассылки письма съезду. Тогда же на первых главах рукописи «Телёнка» появилась надпись:

«Если не буду жив».

В сентябре 1967 года, когда шла борьба за печатанье «Ракового корпуса», такая записка:

«Настроение у меня — не уступать *ни одного сантиметра*, просто не хочется... Я приеду прямо 22-го на бой, свеженьким».

И в ноябре 1969-го, после исключения из Союза писателей:

«Я настроен боево! Конечно, хотелось бы ещё годик — но не дают, так не дают. Что я не сам начинаю, а они напали — в этом есть моральное облегчение большое, освобождаюсь от самоупрёков».

ВЫСЫЛКА ИЗ СССР

Многим памятны советские газеты января — февраля 1974 года, улюлюканье и свист по поводу первого тома «Архипелага».

12 февраля 1974 года Солженицын был арестован, лишён гражданства и вывезен на самолёте из СССР. Его книги были изъяты из библиотек, имя запрещено и не упоминалось в нашей стране десятилетиями.

На следующий день после высылки Солженицына писатель Юрий Нагибин пишет о нём:

«История — да ещё какая! — библейского величия и накала творится на наших глазах. Последние дни значительны и нетленны, как

дни Голгофы... возблагодарим Господа Бога, что он наградил нас зрением такого величия, бесстрашия, бескорыстия, такого головокружительного взлёта. Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи, почему Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ?.. Он, которого Ты дал отнять у нас, подымал нас над нашей малостью, с ним мы хоть могли приблизиться к высокому образу. Но Ты осиротил нас, и мы пали во прах. Теперь нам уже не подняться. Пуста и нища стала наша большая страна, и некому искупить её грехи. Храни его, Господи, а в должный срок дай место подле себя, по другую руку от Сына»⁵.

ВОСПРИЯТИЕ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГА» СОВРЕМЕННОКАМИ

Вернусь в август 1973 года, к трагедии Елизаветы Воронянской. На обыске у неё были конфискованы её воспоминания, а у её подруги Н.Пахтусовой — дневник. Теперь и то и другое напечатано среди казённых протоколов заседаний Политбюро ЦК и бесчисленных информационных Комитета государственной безопасности в упомянутом сборнике «Кремлёвский самосуд».

Вот что пишет Елизавета Воронянская об «Архипелаге»:

«Ни один мыслящий и думающий человек не пройдёт мимо этого Эвереста русской литературы, охватившего непостижимое народное страдание, показавшее потаённую, скрытую каторжную жизнь доброй половины русского народа за полвека правления коммунистов... Эта книга поведала самую страшную, самую кровавую трагедию двухсотмиллионного народа за всю его вековую историю... В «Архипелаге» он рассказал о пламени, в котором сгорела наша страна»⁶.

Пахтусова в своём дневнике так характеризует «Архипелаг»:

«Такой книги ещё не было ни разу во всей истории человечества. И по содержанию, и по жанру, который не поддаётся определению. Это не литературный жанр и не литературное произведение, а сама жизнь человеческая, сжатая в кровавый сгусток страдания, отчаяния, смирения и бунта... Это Евангелие XX века! И создал его Прометей, а в политическом смысле это бомба, и случись такое чудо, что свободно прочёл бы её весь народ, — да это повело бы к восстанию и баррикадам...

[Но] выйди она при его жизни, она убьёт его сразу же. Суд. Лагерь, расстрел, яд, подстроенная гибель под колёсами машины — вот что его ждёт после издания этой книги. А он идёт на это»⁷.

Солженицын сделал то, что считал своим долгом: сохранил память об этой эпохе, сохранил голоса людей, погибших друзей. Он выжил и поэтому должен был рассказать об их судьбе... Он мне говорил: «Я не отличаюсь и не выделяю себя из тех, с кем сидел. Разница только в том, что мне надо многое сказать... Надо печататься, надо же как-то воздействовать на окружающих...»

После высылки Солженицына «Архипелаг» начал просачиваться в Россию постепенно, годами, маленькими книжечками «ИМКА-Пресс», фотокопиями с этих книжечек, главы из книги звучали по западным радиостанциям.

Когда наступила перестройка, Солженицын поставил условием разрешение на публикацию своих книг в России — печатание «Архипелага ГУЛага» раньше всех остальных его произведений. Это условие не без сопротивления властей было выполнено, и с августа по декабрь 1989 года (через 16 лет после парижского издания) большие отрывки из книги напечатал московский журнал «Новый мир» в нескольких номерах, а потом большие куски из книги вышли в других журналах: «Литературная Киргизия», «Даугава», «Семья» и др. Полностью книга в 1990 году была опубликована сразу в шести издательствах.

На публикацию в «Новом мире» читатели отозвались сотнями писем. Со времени появления на страницах журнала «Одного дня Ивана Денисовича» ни одна журнальная публикация не вызывала такой мощной и бурной читательской реакции. В редакцию сплошным потоком шли письма — потрясённые, восторженные, скорбные, иногда негодующие.

В декабре 1998 года, когда исполнилось 25 лет со времени выхода в Париже в «ИМКА-Пресс» первого тома «Архипелага», в московском «Мемориале» был проведён вечер, посвящённый этому событию.

Приведу отрывки из выступлений двух бывших заключённых — писателей Феликса Светова и Льва Тимофеева.

«Феликс Светов: Мне не забыть это невероятное ошеломление от прочитанного. Вся наша жизнь изменилась после выхода «Архипелага».

Не будет преувеличением сказать, что удар, нанесённый «Архипелагом ГУЛагом» по этому чудовищному режиму, был таким сильным, что он не очнулся уже от него, вся эта кошмарная бетонная стена пошла трещинами, и их не смогли залатать в течение последующих лет.

Конечно, это наша история, недавняя, но история. Но эта книга необычайно современна, она злободневна, она вся повернута и обращена в наше время. Если нацизм существовал всего лишь 12 лет, да и то оказалось много для Германии и для человечества, то мы жили в этом режиме $\frac{3}{4}$ века. 3 поколения людей жили на Архипелаге или рядом с ним... Я убеждён, что все безобразия, которые мы видим, связаны именно с дыханием Архипелага. Если мы хотим понять, что происходит сегодня, мы там найдём все корни.

Книга поразительна ещё тем, что она не оставляет ощущения ужаса.

Речь идёт о страшных преступлениях. В XX веке были три огненные точки: Освенцим, Хиросима и ГУЛАГ. На самом деле, конечно, ГУЛАГ.

Мы и здесь впереди планеты всей.

Лев Тимофеев: Я должен поблагодарить Александра Исаевича Солженицына за судьбу, за умение думать, за ту внутреннюю свободу, которой у меня не было бы, если бы Бог не дал взять в руки книги Солженицына.

Само появление Солженицына для нас было, как вы помните, фактом освобождения. Художник даёт язык. Мы корчились всю нашу жизнь, пока не получили язык. Мы поняли, КАК об этом можно говорить.

Солженицын научил нас говорить, он научил нас быть свободными, он научил нас не бояться».

Конечно, были и совсем другие мнения. В публикации А.Петрова «Как травили Солженицына» приводятся секретные документы января – февраля 1974 года из архива ЦК КПСС и Агентства печати «Новости» (АПН).

Так, председатель правления АПН И.Удальцов докладывает в ЦК о достигнутом: на нескольких языках выпущена брошюра «Ответ Солженицыну: Архипелаг лжи», подготовленная в АПН. В оглавлении брошюры: Е.Долматовский. «Солженицын – враг мира», Г.Серебрякова. «Банкротство», Б.Дьяков. «Ползком на чужой берег», Г.Боровик. «Читал ли Джон Смит книги советских писателей», А.Рекемчук. «Катехизис провокатора», Ю.Бондарев. «Ненависть пожирает истину», С.Михалков. «Саморазоблачение клеветника», Р.Гамзатов. «Логика падения», О.Гончар. «Кошунство»...

И ещё: Агентство выпустило два телефильма – «Солженицын был моим мужем» и «Свидетель с “Архипелага ГУЛАГ”»... Подготовлено три

книги: «В круге последнем», Н.Яковлев «Архипелаг лжи» (130 тыс. экз. на 11 языках) и Н.Решетовская «В споре со временем»⁸.

ЭПИЛОГ

Я всегда верила и сейчас думаю, что «Архипелаг» – это то, что останется от большого и страшного периода в истории нашей страны. «Архипелаг ГУЛАГ» проследивает историю нашего общества на протяжении почти сорока лет – с 1917 по 1956 год, рассказывает о множестве конкретных судеб, обладает невероятной плотностью изложения. Например, глава о строительстве Беломорско-Балтийского канала занимает всего восемь страниц, но история этого сооружения и судьбы людей, участвовавших в строительстве, просто врезаются в память, как будто прочёл толстую книгу... Насколько меньше мы знали бы, если бы у нас не было этой книги.

Так случилось, что именно «Архипелаг» выполнил важнейшую миссию: книга была сразу прочитана. На Западе начали распадаться коммунистические партии – Франции, Италии, возникло движение «Дети Солженицына»... Это был могучий удар по мировому коммунистическому движению, представляющему огромную угрозу для жизни человечества. До сих пор у нас в стране не прошёл суд над преступлениями коммунизма. Реакция, вызванная «Архипелагом ГУЛАгом», была и остаётся таким единственным судом.

Когда я прочитала «Архипелаг», у меня было такое чувство, что я открыла книгу одним человеком, а закрыла её – другим. Я была потрясена каждой страницей, не только тем, *что* я читала, но и тем, *как* это написано. Это – слово, сказанное поразительным художником, поэтому книга берёт за душу и заставляет себя услышать и пережить.

Когда писался «Архипелаг», а потом хранился для будущего, казалось, что, как только люди его прочтут, потрясённый мир изменится. Оказалось, мы всё-таки либо переоценили веру в силу слова, либо недооценили желание людей не знать. Мне кажется, что, несмотря на всё сказанное выше, осмысление «Архипелага»: его издание, прочтение, обдумывание, обсуждение – в нашем обществе пока не заняло того места, которое должно было бы занять. И это не вопрос литературного вкуса, это вопрос нашего отношения к своей истории. Эту книгу должны были бы изучать в школе, по крупицам восстанавливать судьбы людей, иногда лишь бегло упомянутых на её страницах, собирать читательские конференции.

«Архипелаг» продолжает оставаться современным, он не устаревает, он написан с поразительной лирической силой. Я уверена, путь нашей страны был бы другим, если бы «Архипелаг» люди как следует прочли и обдумали.

И ещё. Как известно, все гонорары за «Архипелаг» Солженицын передал учреждённому им Русскому Общественному Фонду. Его фонд с середины 70-х годов помогает по всей стране тысячам людей — сперва политзаключенным и их семьям, теперь — старикам-репрессированным. Это — огромное общественное дело, совершаемое безо всякого шума, общественное дело, оказывающее не только материальную, но и моральную поддержку людям.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Чуковский К. Дневник. 1930–1969. М., Советский писатель, 1994. С. 379.

² Каверин В. Речь, не произнесённая на IV съезде писателей // Слово пробивает себе дорогу: Сб. статей и документов об А.И.Солженицыне. 1962–1974. М., Русский путь, 1998. С. 232.

³ Там же. С. 207–208.

⁴ По оперативным материалам о настроениях писателя А.Солженицына // Кремлёвский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А.Солженицыне. М., Родина, 1994. С. 12–13.

⁵ Нагибин Ю. Дневник. М., Олимп. Астрель, 2001. С. 319–320.

⁶ Вороньянская Е.Д. Воспоминания // Кремлёвский самосуд. С. 233–234.

⁷ Там же. С. 235–236.

⁸ Как травили Солженицына. Из секретных архивов / Публ. А.Петрова (Центр хранения современной документации), Н.Надеждина («Труд») // Труд. 1992. 2 июля. С. 4.

Алексей Урманов
БЛАГОВЕЩЕНСК

КОНЦЕПЦИЯ ЭРОСА В ТВОРЧЕСТВЕ А.СОЛЖЕНИЦЫНА

Ещё в конце XIX — начале XX столетия отечественная философская мысль (В.Соловьёв, Н.Бердяев, Л.Карсавин, В.Розанов, Б.Вышеславцев и др.) пришла к выводу, что проблема Эроса имеет центральное значение для всего русского религиозно-философского и религиозно-общественного миросозерцания, что именно здесь находится центр христианских тайн. Для А.Солженицына — писателя, осознающего свою принадлежность к христианской культурной парадигме, проблема эта, безусловно, тоже является одной из ключевых. Тем не менее она крайне редко становится предметом рассмотрения. Может быть, срабатывают стереотипы, затрудняющие выход исследовательской мысли из привычного руслу, может быть, действительно, не просто решиться совместить в одной плоскости такую, казалось бы, сомнительную вещь, как Эрос, и писателя, в творчестве которого серьёзная духовно-нравственная и социально-историческая проблематика занимает главенствующее место.

С другой стороны, А.Солженицын заявлял в одном из интервью, что «личные чувства сотрясают людей никак не меньше, чем исторические события»¹. Подтверждение тому можно найти и в его художественных произведениях. Воссоздавая в них масштабные социально-исторические события, писатель, тем не менее, на протяжении всего творческого пути значительное внимание уделяет теме любви — в том числе в «Лагерных стихах»², лирическом цикле «Когда теряют счёт годам...»³, пьесе «Республика труда», романе «В круге первом», повести «Раковый корпус». Даже в эпопее «Красное Колесо», главным героем которой является эпоха революционных потрясений, сам исторический процесс, автор через всё грандиозное десятитомное «повествование» протягивает историю взаимоотношений внутри «любовного треугольника» Георгий Воротынцев — Алина — Ольда Андозерская, немало глав посвящает отношениям Фёдора Ковынёва и Зины Алтанской, истории зарождаю-

щегося чувства Сани Лаженицына и Ксеньи Томчак. Писатель подробно рассказывает о семейной жизни, о любви множества персонажей — как вымышленных (Саша Ленартович, Ликоня, Варя «пятигорская», Благодарёвы и др.), так и реальных (Николай II, Ленин, Гучков, Колчак, Ободовский (Пальчинский), Шляпников, Свечин и др.). Всё это подтверждает обоснованность постановки проблемы «Эрос в творчестве А.Солженицына».

Хочется только подчеркнуть, что данная статья не претендует на исчерпание заявленной проблемы: она является попыткой обозначить некоторые наиболее общие подходы и затронуть отдельные её аспекты.

Понятие Эроса многозначно. В широком общекультурном смысле оно трактуется как глобальная космогоническая сила, обеспечивающая «всесвязь элементов Бытия», как «универсум Любви <...> действующей в Бытии», как «диалог Женского и Мужского первоначал Бытия»⁴. Соотношение мужского и женского начал принято считать важнейшей оппозицией, лежащей в основе всего мироустройства. Когда речь заходит об отношениях полов, то Эросом обычно называют *индивидуальную* (по определению В.Соловьёва) или *индивидуализированную* (по определению Н.Бердяева) любовь — в противовес любви *родовой*.

Таким образом, рассмотрение обозначенной проблемы можно вести, как минимум, по двум основным направлениям: одно из них связано с определением главных конструктивных принципов созданного Солженицыным художественного универсума и — далее — с выявлением философских взглядов автора; другое должно помочь понять суть и содержание эстетически претворённых представлений писателя о сущности человека, о цели и смысле его земного бытия, т.е. постичь авторскую концепцию личности — а именно сквозь призму половой принадлежности персонажей. Ибо, как писал В.Соловьёв, «в эмпирической действительности человека как такового вовсе нет — он существует лишь <...> как мужская и женская индивидуальность»⁵.

Что касается первого направления, то здесь, не углубляясь в детали, повторю один из главных выводов своих прежних работ⁶. Структурной основой созданного А.Солженицыным художественного мира является присутствующий в нём макрообраз космического порядка, гармонии как высшей эстетической ценностной меры — т.е., иначе говоря, мужское, космизирующее начало. В представлении писателя, Эрос — это животворящая сила, преображающая мир, освобождающая его от уродств и искажений, восстанавливающая утраченную цельность и, в конечном счёте, гармоническое единство бытия. Солженицын принадлежит к числу христианских художников, которые, отражая в своём творчестве

реальные общественные беды и язвы, «прозревают за эмпирической испорченностью и изуродованностью мир вечной, божественной красоты» и любят её⁷. В созданной им художественной вселенной царствует не вражда, а любовь, не Танатос, а Эрос, не жажда мести и разрушения, а желание созидать и обустроить, не признание хаоса как нормы, как данности, а стремление к преодолению раздробленности, стремление к восстановлению гармонической цельности бытия.

Концепция Эроса органично вписывается в созданную Солженицыным общую художественную концепцию бытия, являясь одним из её проявлений. При этом следует отметить, что у писателя не было готовой, неизменной, изначально существовавшей концепции Эроса. Она складывалась и эстетически развёртывалась постепенно, от произведения к произведению. В поисках решения этой проблемы А.И.Солженицын проделал вместе со своими героями долгий и очень непростой путь. По этой причине важно не только вывести итоговую, окончательную «формулу» сложившейся концепции, но и увидеть её в развитии, в процессе становления. Важно понять логику этой эволюции, выявить факторы, которые её обусловили и направляли.

Правда, некоторые читатели считают, что в произведениях А.Солженицына эрос якобы вообще отсутствует. Так, Д.Самойлов в «Августе Четырнадцатого» увидел не эрос, а лишь «грубый секс», «сексуальность без любви и уважения к женщине»⁸. Это весьма строгое и весьма спорное суждение если и справедливо, то лишь по отношению к отдельным (по преимуществу отрицательным) персонажам «Красного Колеса» — анархисту Жоре, жертвой которого становится наивная Варя Матвеева, каменскому «озорнику» Мишке Рулю и некоторым другим эпизодическим героям. У подобных персонажей действительно преобладают животные, сугубо биологические инстинкты.

Приоритет природно-чувственного начала в отношениях мужчины и женщины признают и некоторые другие персонажи эпопеи, которых нельзя отнести к числу отрицательных. Так, во многих отношениях симпатичный автору Фёдор Ковынёв (его прототипом, как известно, стал донской писатель Фёдор Дмитриевич Крюков) безапелляционно заявляет в разговоре с полковником Воротынцевым: «...всё на свете есть только порыв инстинкта. И надо брать, что жизнь даёт. <...> Какая сохнет по тебе — ту и не пропускай» (КК, III: 221–222)⁹. Похожую позицию занимает и отважный прапорщик Терентий Чернега, на правах старшего товарища делящийся с Саней Лаженицыным жизненным опытом: «Да у баб рази — как у нас? А отчего, ты думаешь, они весёлые или хмурые? да всё от этого, было или не было. <...> Иногда и подумаешь, прав-

да: что-то у неё кручина на сердце? Может, горе какое? А повалил, отлежалась, отряхнулась — и такая сразу весёлая...» (КК, III: 31).

В подобном соединении мужчины и женщины, казалось бы, нет ничего противоестественного, напротив, оно выглядит проявлением некоего общего закона, действующего в природном мире. Жена Арсения Благодарёва Катёна находит подтверждение этой закономерности, наблюдая за домашней птицей. «Все же видим: петух с какою яростью курицу топчет, кажется — закогтит насмерть, а поднялась, отряхнулась, как омытая, и плавно яичко понесла» (КК, III: 554). Для Чернеги, Благодарёва и некоторых других героев «Красного Колеса», представляющих в основном народную Россию, свойственна любовь, которую В.Соловьёв называл *родовой*, — т.е. любовь, которая отдаёт человека во власть безличной природной стихии.

Всесторонне исследуя в своих художественных произведениях проблему Эроса, А.Солженицын обращается и к изображению любви, имеющей духовный, религиозный характер. В романе «В круге первом» полковник МГБ Яконов вспоминает о том, как когда-то давно вместе со своей невестой Агнией он зашёл в церковь. «Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаемо красноречив, лавиной лились хвалы и эпитеты Деве Марии, — и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начётчик, а неизвестный большой поэт, полонённый монастырём; и был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способна извлечь из нас женщина» (I: 155–156)¹⁰. Речь в этом эпизоде идёт о том, что в категориях религиозно-философской мысли называется мистическим влечением к вечной женственности, принявшей конкретную духовно-чувственную форму. Н.Бердяев писал, что «настоящая религиозная, мистическая жизнь всегда оргиастична, а оргазм, могучая сила жизни, связан с половой полярностью»¹¹. Философ исходил из того, что не только человеческая плоть, но и человеческий дух имеет свой пол, что пол — это категория не только антропологическая, но и космическая.

Что касается Агни, то её любовь к Яконову, напротив, совсем не оргиастична. В её понимании, взаимоотношения с любимым человеком противоположного пола — это общение родственных душ, исключительно духовная близость. По этой причине Агния пресекает все чувственные порывы Антона: «...лёжа с ним бок о бок на лужайках, — она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спрашивая “зачем это?”, и пыталась освободиться» (I: 150); «Она давала себя обнимать и даже целовать, но её губы и руки были при этом безжизненны. <...> Она

боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у него: “А без этого нельзя?” — Это только дополнение к нашему духовному общению!» (I: 151).

Однако исключительно духовная любовь есть такая же аномалия, как и любовь исключительно физическая. «Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть её перерождение»¹². Но у идеальной Агни плоти-то как будто и нет. «Эта девушка была откуда-то не с земли. <...> Её брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. <...> а походка — такая лёгкая, будто Агния во все не нуждалась наступать на землю. <...> Прозрачная жёлтая шаль её за плечами <...> была как тонкие золотые крылья» (I: 149–150; 154). При всём внимании к ней автора образ Агни (образ чистой души, ангела) имеет всё же факультативный характер: он нужен прежде всего для того, чтобы контрастно оттенить фигуру Антона Яконова, показать нерализованные, нераскрытые, упущенные духовно-нравственные возможности персонажа.

В позднем творчестве Солженицына едва ли не самая распространённая разновидность женских образов — женщина-жена, весь смысл существования которой — самоотверженное и беззаветное служение мужу, полное подчинение ему, абсолютное самопожертвование, живое и заинтересованное участие в осуществлении его жизненных задач, чаще всего по глобальному «обустройству», т.е. «космизации» бытия. В «Красном Колесе» автор показывает разные варианты подобного женского типа, находя его во всех слоях и сословиях русского общества. Наиболее яркий пример — Нина Ободовская. «Замужество — это судьба», — давно приняла она, приняла, и не раскаялась никогда нисколько. Судьба — мужа, а её — прилитая, и так — хорошо, верно» (КК, III: 383); «У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины — по сути никаких, и так получилось естественно, что она стала думать, как и он» (КК, III: 384); «Дело жизни её состояло в одном: быть его женой» (КК, III: 387).

При таком типе взаимоотношений, когда женщина отказывается от реализации собственной, отличной от мужниной, жизненной программы, она рискует превратиться в тень мужчины, рискует перестать быть самоценным характером, утратить женственность и, в конечном счёте, превратиться из возлюбленной, любимой в *боевую подругу, соратницу, союзницу, помощницу*. Ущербность подобной любви состоит в её неполноте, прочный житейский союз двух близких людей не дополняется двумя другими важными составляющими Эроса — чувственно-природной и духовно-мистической.

Ещё более низкую ступень в авторской оценке занимают женщины — фанатичные приверженцы какой-либо социально-политической доктрины: оголтелые сторонницы революционного террора сёстры Адалия и Агнесса Ленартович, кадетские «дамы-активистки», воинствующая большевичка Коллонтай. Эти и подобные им женские персонажи исполняют роль «рупоров» и «проводников» той или иной системы радикальных политических взглядов. Если поменять имена героинь на мужские и сменить им пол, читатель, скорее всего, не заподозрит подмены — потому, что озвучиваемые героинями эпопеи социальные идеи полностью «заполняют» их, вытесняя женское, эротическое начало. Так происходит и с Авиетой Русановой из повести «Раковый корпус». В ноябре 1966 года во время обсуждения рукописи произведения на заседании бюро секции прозы автор вынужден был отвечать на критические замечания по поводу этой героини: «Об Авиете; говорят: фельетон — согласен. Говорят: фарс — согласен. Но фельетон не мой и фарс — не мой. Я применил здесь недопустимый приём, — в Авиете нет ни одного моего слова, — она говорит слова, сказанные за последние 15 лет крупнейшими нашими писателями и литературоведами»¹³. Таким образом, писатель открыто признал, что, в соответствии с его замыслом, героиня повести не является самоценным и саморазвивающимся характером, не является *женским* характером, что она лишь бесполой «рупор», с помощью которого озвучивается набор одиозных высказываний советских писателей и критиков. И действительно, монологи Авиеты, если посмотреть на них с точки зрения соответствия особенностям женского сознания, производят весьма странное впечатление — они всецело выдержаны в духе и стилистике казённых газетных передовиц советского образца. Но, с другой стороны, в советское время женщин с «бесполом» типом сознания и таким же типом общественного поведения было, очевидно, немало.

Подобные «женско-мужские» образы (женские — по половой принадлежности, мужские — по психологии, по типу сознания) встречаются и в «Красном Колесе»: в главе 60-й «Августа Четырнадцатого», в которой выведена целая галерея женщин-террористок: Вера Засулич, Софья Перовская, Вера Фигнер, Дора Бриллиант, Мария Спиридонова и др.; в описании экзальтированных «активисток» партии Милюкова и т.д.

В критических работах нередко высказывается мнение, что у Солженицына не очень много удач в художественном постижении специфики женского сознания. Если под женщиной понимать не просто существо женского пола, а особое женское начало, если исходить из представлений об особой природе женского способа мышления, то действительно можно

прийти к выводу о слабой выраженности в большинстве ранних произведений А.Солженицына женского дискурса. Дискурс его ранних текстов — это традиционный для христианской культуры Средневековья, классицизма XVII–XVIII столетий и классического реализма XIX века, а также для социалистического реализма мужской дискурс. Одна из первых рецензенток «Августа Четырнадцатого» сделала весьма категоричный вывод: «Не проник он (автор. — А.У.) в сердце женщины; он — не *сердцевед* женского мира»¹⁴. Может быть, такая оценка в чём-то и справедлива, но сама констатация мало что даёт. Гораздо важнее понять, какова природа этого художественного феномена.

О.Мандельштам в статье «Франсуа Виллон» (1913) писал о так называемом «лирическом гермафродитизме», о том, что по своей природе художник — «двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога»¹⁵. Для раннего же Солженицына *лирический* (в нашем случае — прозаический, но сути это не меняет) *гермафродитизм* не характерен. Давно замечено, что в его произведениях доминируют мужские ценностные ориентиры и мужское сознание, что художественная реальность Солженицына — мужская почти на сто процентов, что «женские персонажи играют в ней символическую роль, важную, но “производную” от мужской судьбы»¹⁶. Действительно, женщины в художественном мире Солженицына нередко занимают по отношению к мужчинам маргинальное положение, мужчины же почти всегда — центральное, доминирующее. Можно только добавить, что эта закономерность не всегда действует в «Красном Колесе», — достаточно вспомнить, например, многочисленные главы, в центре которых — художественно убедительно и с глубоким пониманием особенностей женской души выписанные образы Ксеньи и Ирины Томчак, Алины Воротынцевой, Зины Алтанской, Ликони, императрицы Александры Фёдоровны и др.

Да, какому-то числу женских образов, созданных Солженицыным, присущ мужской взгляд на мир, мужское сознание. Но это и неудивительно. Как писал И.А.Ильин, «всё сознание современного человека, независимо от его половой принадлежности, насквозь пропитано идеями и ценностями мужской идеологии с её мужским шовинизмом, приоритетом мужского начала, логики, рациональности, насильем упорядоченной мысли над живой и изменчивой природой, властью Логоса-Бога над Матерью-Материей»¹⁷. Следовательно, можно предположить, что Солженицын не столько приписывает женщинам мужской взгляд на мир, сколько отражает то, что существует в действительности, что является проявлением и следствием серьёзных деформаций, происходящих в современном обществе.

Мужской дискурс проявляется и в том, как показывается женщина (или как она себя воспринимает). В одном из первых читательских откликов на «Август Четырнадцатого» прозвучал упрёк, что «слишком повторяются у разных женщин характеристики груди и губ»¹⁸. Действительно, в некоторых произведениях Солженицына объектом повышенного внимания (и не только мужчин, но и самих женщин) становятся те или иные части женского тела — чаще всего именно груди и губы. В отличие от христианского искусства (например, средневековой иконописи), где женская грудь изображается без какого-либо эротического подтекста, в произведениях Солженицына она частенько не только *эротизируется*, но и превращает в фетиш, в главный объект внимания и поклонения.

В «Раковом корпусе» таким свойством наделены груди медсестры Зои. «С особенной радостью она ощущала свои дружные тугоподхваченные груди и как они наливались тяжестью, когда она наклонялась над койками больных, и как они подрагивали, когда она быстро шла» (IV: 130). Когда о Зое думает Костоглотов, он ловит себя на мысли, что «самое сильное впечатление от вчерашнего вечера <...> было от её дружно подобранных грудей, составляющих как бы полочку, почти горизонтальную. <...> ...весь вечер у Костоглотова был соблазн — взять <...> линейку и положить на полочку её грудей — проверить: соскользнёт или не соскользнёт» (IV: 58). Вспоминая о том, как накануне её провожал из клуба конструктор-техник Коля, героиня фиксирует внимание прежде всего на том, что «больше всего досталось [её] грудям, никому никогда не дающим покоя. Уж как он их обминал!» (IV: 124).

Вторым метонимическим замещением Зои являются её губы. «Она одними только алчными огневатыми губами протащила его [Олега] сегодня по Кавказскому хребту. Вот она стояла, и губы были вот они! И пока это самое *либидо* ещё струилось в его ногах, в его пояснице, надо было спешить целоваться!» (IV: 192–193)¹⁹. Губы существуют словно бы сами по себе, отдельно от человека, которому принадлежат. Особенно наглядно это проявилось в одной из ранних версий повести, выпущенной издательством «Посев». В сравнении с губами Зои ещё более «автономизированы» губы Веры Гангарт — Веги: «Какие-то были отзывчивые, лёгкие губы у неё, как крылышки»; «Это какие-то живые отдельные губы, с отдельным своим назначением, не только целоваться». В издании УМСА-Press этот фрагмент выглядит ещё более выразительно: «Это какие-то живые отдельные губы, которые вот улетят с лица и взвоятся в небо жаворонком»²⁰.

Один из центральных персонажей романа «В круге первом» — Иннокентий Володин, как и Олег Костоглотов из «Ракового корпуса», кон-

центрирует свои эротические чувства к жене на её губах. «Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не пресыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении, — других таких губ он никогда не знал, не встречал...» (II: 51); «Он покосился. Покосился на её губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить, и длить, и длить — и не пресыщает. <...> Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине всё, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и ещё многое надо было бы по частям, по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать» (II: 122). Комичная аллюзийная параллель с гоголевской «Женитьбой» лишь усиливает впечатление сконструированности некоторых женских образов, собранности их из отдельных компонентов: губ, грудей, плеч, волос и т.д.

В чём же причина подобной весьма часто встречающейся в творчестве А.Солженицына раздробленности женских образов? Почему его персонажи-мужчины иногда видят перед собой не целостный образ любимых женщин, а механическую совокупность частей их тела, а иногда какую-либо отдельную часть, наделяемую свойствами всего живого существа? Видимо, это и есть одно из проявлений так называемого мужского дискурса, заключающееся в утрате представления о существе противоположного пола как о самоценной (и потому цельной) личности. Женщина в этом случае видится прежде всего объектом желания — причём желания преимущественно природно-чувственного, физиологического.

Н.Бердяев в работе «Метафизика пола и любви» (1907) пишет: «...любовь исключительно плотская, физиологическая <...> есть фетишизм, так как в ней нет ощущения полной личности <...>. Любовь к отдельным сторонам духа и плоти, к оторванным частям, к прекрасным глазам и чувственным губам, к духовному аромату отдельных черт характера или обаянию ума — тоже фетишизм, тоже потеря ощущения личности. Единый объект любви <...> эмпирически раздробляется: в массе женщин для мужчин, в массе мужчин — для женщин видятся разорванные черты органического объекта — там глаза, здесь рука, там душа, здесь ум <...>. В этом нет ничего морально предосудительного, но страшная трагедия скрыта в этой болезни любовного фетишизма, в этом дроблении любви и её объекта»²¹. Иными словами, описанное Бердяевым явление имеет отношение не к индивидуализированной любви, не к Эросу как таковому, а к низшей его сфере — к чувственному влечению, к сексуальности. Иногда подобный феномен называют *сексуальной перверсией*, суть которой состоит в том, что в восприятии одного человека другой человек как объект чувственного желания предстаёт не в своей целостно-лично-

стной единичности, а как нечто дискретное. В результате он «превращается в парадигму различных эротических частей своего тела, одна из которых оказывается объектным кристаллизатором желания». В этом случае «женщина — уже не женщина, а лоно, грудь, живот, бёдра, голос или лицо, что-то одно в особенности»²².

Георгий Воротынцев из «Красного Колеса» очень похож на героя «Ракового корпуса» Олега Костоглотова — тем, что и ему тоже далеко не всегда удаётся воспринимать любимых женщин целостно. Если метонимией Андозерской для Георгия являются её губы и ступни ног, то перверсией, метонимическим замещением Алины — уши. «После завтрака мыла [Алина] на кухне посуду, Жорж зашёл, может быть, и за делом, но против лампочки, зажжённой по тёмному дню, заметил, черствяк, как у неё ушко светится, — а ушки были действительно украшением Алины! изогнутые тонкие нежные раковинки с неприросшими мочками! две симметричных изящных, как выхваченные дары океана! — поцеловал сзади в ушко. За ушком. В шею. И потянул из кухни, не давая как следует вытереть рук» (КК, III: 134–135). Объект любви в этой сцене упрощается до отдельного предмета — ушек, и потому чувственная страсть героя обращается не на целостный образ любимого человека, а на фетиш, в роли которого и выступают красивые ушки Алины. Аномальность такого чувства состоит в том, что часть становится эквивалентом целого, принадлежность подменяет сущность.

И в случае с Ольдой Андозерской, и в случае с женой целостный образ (в восприятии Воротынцева) может распадаться на автономные части, и тогда любимая женщина, точнее, какая-то часть её тела, метонимически замещающая этот целостный образ, превращается в объект узконаправленного стремления к обладанию.

При подобной раздробленности женских образов на составные элементы уже не кажутся столь неуместными такие, например, весьма специфические «механико-геометрические» уподобления: «Ещё ближе, ближе к себе он [Костоглотов] её [Зою] притянул, эти тёплые эллиптические кронштейники, на которых так и неизвестно, могла ли улежать тяжёлая линейка...» (IV: 191); «Вся Вера Корнильевна была — два треугольника, поставленных вершина на вершину: снизу треугольник пошире, а сверху узкий» (IV: 179). Становятся объяснимы и «гастрономические» сравнения: «...они [глаза Веры Гангарт] были светло-кофейные. Если на стакан кофе налить молока пальца два» (IV: 256).

Конечно, Эрос включает в себя и чувственное влечение, сексуальность (*libido*), однако ею не исчерпывается и к ней не сводится. «Иерархически низшее стремление может входить, как интегральный момент,

в некоторый высший комплекс, причём в этом высшем комплексе оно своеобразно преобразуется и облагораживается, не переставая всё же быть самим собою»²³. Проблема не в том, что у автобиографических (в известной степени) персонажей Солженицына проявляются физиологические или гастрономические влечения, а в том, что они в описанных ситуациях не включаются в этот самый «высший комплекс», не преобразуются.

В самом общем виде художественный поиск Солженицына представляет собой движение от констатации, от художественного отражения разделённости, раздробленности современного мира и современного человека к осознанию необходимости преодоления этой раздробленности и — далее — к поиску путей обретения цельности личности и гармонического всеединства мира. Этот подход применим и по отношению к сфере Эроса.

В позднем творчестве Солженицына, как уже отмечалось, начинает всё более явственно ощущаться влияние идей В.Соловьёва, Н.Бердяева, Б.Вышеславцева и других русских религиозных философов. По словам же Бердяева, ссылающегося на платоновский «Пир», вся сексуальная жизнь человека есть мучительное и напряжённое искание утерянного андрогинизма, томительное желание воссоединения мужского и женского начал в цельную индивидуальность. В ряде сюжетных линий «Красного Колеса» есть любовные сцены, отражающие стремление персонажей эпопеи к такому соединению, к поиску единственной своей родной половинки. Не всегда, правда, эти попытки приводят к желаемому результату. Вместо *андрогинизма* иногда выходит *гермафродитизм*²⁴. В некоторых сценах есть физиологическое, природно-чувственное соединение мужчины и женщины, есть «скрещенья рук, скрещенья ног», но нет скрещенья духовно-метафизического, мистического. Причина и здесь всё та же — отсутствие полноты эротического чувства, полноты соединения, одухотворения плоти. Неудачей оборачиваются попытки Зины Алтанской обрести счастье, полноту чувства в любовной связи с Фёдором Ковынёвым. Недоступным остаётся ощущение цельности и полноты эротического чувства для полковника Георгия Воротынцева — ни в любовной связи с Андозерской или Калисой, ни в браке с Алиной. Таким пониманием (хотя и не реализованным на практике) обладает сестра Георгия — Вера, которой в браке виделась «тайна большая, чем просто любовное схождение двух: в браке — иное качество жизни, удвоение личности, и полнота, недостижимая никакими другими путями, — завершённая полнота, насколько она вообще может быть завершена для человека. Этого удвоения, нового наполнения — она не видела в Георг-

гии» (КК, V: 191). Растянутые на все десять томов исторической эпопеи метания Фёдора между Зиной и «мимопутными» женщинами, метания Георгия между Алиной, Ольдой и Калисой свидетельствуют о том, что герои мучительно ищут, но не находят того, что дало бы им ощущение полноты счастья в любви.

Эротические порывы Воротынцева и некоторых других ключевых мужских и женских персонажей «Красного Колеса» (Ирины, Ковынёва, Зины, Ликони) отражают глубинное их желание вырваться из мира обыденного, имманентного в мир трансцендентный, из быта — в бытие. За этим стоит стремление (чаще всего неосознанное) разорвать эмпирические границы отпущенного человеку времени и тем самым прикоснуться к вечности. То есть, в конечном счёте, речь идёт о преодолении смерти. Кроме того, это и порыв духа к первоначальному идеалу, к сохранившемуся в прапамяти человека ощущению утраченного блаженства.

Но в полной степени это удаётся осуществить лишь двум любящим парам, выведенным в исторической эпопее, — Николаю II и Александре Фёдоровне, а также Сане Лаженицыну и Ксенье Томчак. Их любовь можно назвать истинной, ибо строится она на взаимоотношении «двух восполняющих друг друга существ» (В.Соловьёв). Это как раз тот случай, когда герои не могут существовать друг без друга, так как в противном случае утрачивают ощущение цельности и полноты собственной индивидуальности. «Николай не мог жить без Аликс настолько, насколько человек не может жить с выеденной грудью или отсечённой половиной головы» (КК, VI: 10); «...он нуждался скорее соединиться с женой, с которой за 22 года был сращён, как два дерева, разветвлённых из одного ствола» (КК, VI: 11).

Герои стремятся не просто к обладанию друг другом, а к идеалу, который христианская мысль выражает в форме «богоподобия», т.е. к восстановлению утраченного первочеловеком совершенства. В заключительном томе «Красного Колеса» о Сане и Ксенье сказано: «Как будто они давно-давно знакомы. Как будто — что-то большее, чем они просто потянулись бы друг ко другу от первой встречи, — нет, они узнали друг друга через какой-то высокий далёкий верх» (КК, X: 372). Это и есть подлинный, настоящий андрогинизм, смутную тоску по которому испытывают многие персонажи Солженицына. Любовь Сани и Ксеньи — это Эрос в высшем своём проявлении, основанный на синтезе трёх взаимодополняющих начал: природно-чувственного, социально-нравственного и духовно-мистического. Только такая любовь ведёт к неразрывному соединению двух жизней в одну, только она позволяет человеку возвыситься над природой и собственными инстинктами, совершить духов-

ное восхождение, взойти на новую ступень бытия. Только для такой любви, основанной на чуде преображения чувственного влечения (*libido*) в подлинный Эрос, характерна абсолютная полнота соединения, в том числе внутреннего соединения. Во взаимоотношении героев Солженицына друг к другу проявляется и их интуитивная устремлённость к вечности, к победе над смертью.

Обретая такую высокую любовь, молодые герои эпопеи обретают обновлённый взгляд на мир. На примере взаимоотношений Сани и Ксеньи Солженицын показывает путь слияния не только с любимым человеком, но и с мировым целым. Это путь принятия Божьего мира, его изначальной красоты и совершенства. Это признание того, что человек рождён для радости и любви, для духовного совершенствования, для созидательного труда, ради высокой цели гармонического обустройства — собственной души, дома, семьи, государства, всего мира. Даже изуродованная революционными конвульсиями действительность не в состоянии помешать счастью героев, не в силах поколебать их влюблённость в жизнь. «И с этой минуты — фонтан ликования забил в ксеньиной груди!» (КК, IX: 580); «...в груди её бил и бил тот открывшийся фонтан радости! буйной радости!» (КК, IX: 581); «Но — какая радость! невесомость! И на что в комнате ни взглянь — как сияет. <...> Радость! Радость! Радость!» (КК, IX: 583). И эта переполняющая душу Ксеньи радость, эта мирообъемлющая любовь, эта жажда счастья и полноты жизни вовсе не доказательство примирения с уродливой действительностью, напротив, это залог неприятия всего, что искажает Божий замысел о мире и человеке.

И именно в этом автору видится надежда на грядущее духовное воскресение России и всего человечества.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1997. Т. 3. С. 270.

² См.: Солженицын А.И. Протеревши глаза. М. «Наш дом — L'Age d'Homme», 1999. С. 178–210.

³ См.: Солженицын А.И. Когда теряют счёт годам... (Из писем женщины). М., 1991. (Библиотечка журнала «Славяне»).

⁴ См.: Национальный Эрос в культуре / Под ред. Г.Д.Гачева. М., 1995. С. 3, 12, 14.

⁵ Соловьёв В.С. Смысл любви // Сочинения: В 2 т. М.: Мысль. 1988. Т. 2. С. 513.

⁶ См.: Урманов А.В. Поэтика прозы Александра Солженицына. М., 2000; *Он же*. Творчество Александра Солженицына М.: Флинта: Наука, 2003.

⁷ Бердяев Н.А. Эрос и личность. Философия пола и любви. М.: Прометей, 1998. С. 48.

⁸ *Самойлов Д.* Из книги «Памятные записки» // Вопросы литературы: Прометей, 1991. № 11/12. С. 112.

⁹ Здесь и далее: *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М.: Воениздат, 1993–1997. Римская цифра означает том, арабская — страницу.

¹⁰ Здесь и далее: *Солженицын А.И.* Малое собрание сочинений: В 7 т. М.: ИНКОМ НВ, 1991. Римская цифра означает том, арабская — страницу.

¹¹ *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 15.

¹² *Соловьев В.С.* Указ. соч. С. 529.

¹³ Дело Солженицына. Лондон; Онтарио, 1970. С. 48.

¹⁴ *Соснецкая Б.* Образ изящного // «Август Четырнадцатого» читают на родине: Сб. статей и отзывов. Paris: IMCA-Press, 1973. С. 80.

¹⁵ *Мандельштам О.Э.* Слово и культура: Статьи. М.: Советский писатель, 1987. С. 103.

¹⁶ *Нива Ж.* Солженицын. М.: Худож. лит., 1992. С. 52.

¹⁷ *Ильин И.А.* Собрание сочинений: В 10 т. М.: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн. 2. С. 136.

¹⁸ «Август Четырнадцатого» читают на родине. С. 117.

¹⁹ Попытка художественного решения проблемы Эроса сквозь призму теории З.Фрейда в данном случае оказалась неубедительной, точнее — не вполне органичной для персонажа, за которым угадывается в том числе и сам писатель. Забегая вперёд, можно сказать, что зрелая концепция Эроса в позднем творчестве Солженицына опирается не на открытия психоанализа, а на идеи крупнейших русских религиозных мыслителей — В.Соловьёва и Н.Бердяева, в первую очередь.

²⁰ Цит. по: *Ржевский Л.Д.* Творец и подвиг: Очерки по творчеству Александра Солженицына. Frankfurt a. M., 1972. С. 123.

²¹ *Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 27–28.

²² *Бодрийяр Ж.* Система вещей / Пер. с фр. М.: Рудомино, 1995. С. 85.

²³ *Вышеславцев Б.П.* Этика преображенного эроса. М.: Республика, 1994. С. 113.

²⁴ По словам Н.Бердяева, андрогинизм есть «богоподобие человека, его сверхприродное восхождение», а гермафродитизм — «животное, природное смешение двух полов, не претворённое в высшее бытие» (*Бердяев Н.А.* Указ. соч. С. 79).

Жэнь Гуансюань

ПЕКИН

А.СОЛЖЕНИЦЫН В КИТАЙСКОЙ КРИТИКЕ

Имя А.Солженицына узнали в Китае в начале 60-х годов XX века, т.е. после опубликования повести «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» (1962), принёсшей автору известность. Уже в следующем году (1963) эта повесть была переведена на китайский язык и издана одним из авторитетных китайских издательств — «Китайский писатель» (Пекин). Ещё через год, т.е. в 1964 году, это издательство выпустило сборник «Рассказы А.Солженицына».

Именно с этого времени Солженицын, чьё творчество сильно отличалось от творчества ортодоксальных советских писателей, начал привлекать внимание китайских читателей и критиков. Но вскоре его имя было забыто в Китае, потому что в середине 60-х годов XX века в Китае началась так называемая культурная революция, которая не имела ничего общего ни с культурой, ни с революцией, — эта «революция» отрицала всех и вся, в том числе и мировую цивилизацию, созданную человечеством за тысячи лет. Так что вся иностранная литература подвергалась резкой критике и отрицанию, её называли тлетворным порождением феодализма, капитализма и ревизионизма. Если в то время отрицалась советская литература в целом, то произведения Солженицына — и по-прежнему. Поэтому этот писатель исчез из поля зрения китайских читателей. Из-за «культурной революции» в издании вообще всей иностранной литературы в Китае наступил перерыв, который длился около 16 лет, вплоть до 1979 года. Китайские читатели вновь увидели произведения Солженицына лишь в конце 70-х — начале 80-х годов, после «культурной революции» и её катастрофических последствий. В 1980 году повесть Солженицына «Раковый корпус» была переведена на китайский язык и вышла в свет у нас в Китае. После этого и другие сочинения писателя стали выходить одно за другим. Теперь почти все его произведения переведены на китайский язык, а некоторые, например «Архипелаг ГУЛАГ», издавались неоднократно. Сегодня книги Солженицына стали

активно читаться и изучаться китайскими читателями, и самобытное творчество писателя привлекает всё большее и большее внимание китайских исследователей и критиков.

В 1980 году Пекинское издательство иностранной литературы издало книгу «Избранные статьи диссидентов Советского Союза», в которую вошло и знаменитое письмо Солженицына к вождям Советского Союза, написанное им 5 сентября 1973 года. Это было сигналом, который ознаменовал собой начало «оттепели» в деле издания произведений Солженицына в Китае. В том же году вышел в свет на китайском языке «Раковый корпус» (переводчик Жун Жудэ, издательство «Шанхай Ивэнь», 1980). В 1981 году переводчики Тянь Да, Чэнь Ханьчжан и Цянь Чэн по изданию «УМСА-Press» (Париж) начали переводить на китайский язык «Архипелаг ГУЛаг», и уже через год он вышел в издательстве «Цюньчжун» (Пекин). В Китае это было большое культурное событие. До сих пор наши русисты гордятся тем, что китайские читатели смогли познакомиться с солженицынским «Архипелагом ГУЛагом» на семь лет раньше, чем соотечественники писателя в СССР¹. Однако вышедший в свет у нас в те годы «Архипелаг ГУЛаг» был доступен только узкому кругу исследователей и читателей. В назидание читателям текст «опыта художественного исследования» предваряло «Слово от переводчика»: «Этот роман — типичное антисоветское и антикоммунистическое произведение. Он, как мы, китайцы, говорим, учитель в обратном смысле этого слова: предоставляет нам многие фактические материалы, чтобы лучше ознакомиться с политической ситуацией и социальной обстановкой в СССР; именно с такой целью мы переводим его на китайский язык»². В этом же предисловии после перечисления главных произведений Солженицына следует такая интерпретация романа: «...эти произведения своим содержанием яростно выступают против марксизма и ленинизма, против коммунизма и социализма, окончательно отрицают Ленина и Сталина»³. И далее: «Многие высказывания из этого романа показывают, что политическая позиция и мировоззрение Солженицына носят контрреволюционный характер»⁴. Очевидно, что в начале 80-х годов Солженицын и его произведения в Китае всё ещё служили объектом критики.

Во второй половине 90-х годов издание произведений Солженицына у нас в Китае значительно выросло. Не один, не два, а несколько издательств начали издавать Солженицына. В 1998 году чанчуньское издательство «Эпоха» (переводчик Чэнь Шусянь и др.) издало книгу «Бодался телёнок с дубом». В 1999 году авторитетное издательство «Илинь» (Нанкин) издало серию книг «Шедевры мировой литературы», одна из которых бы-

ло полностью посвящена творчеству Солженицына. В неё вошли несколько рассказов: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела» и др.

Общеизвестно, что творчество писателя вызывает интерес не только у читателей на материковом Китае, но и на острове Тайвань. В 1993 году на Тайване хуаньхуаским издательством «Энциклопедия» была издана серия произведений лауреатов Нобелевской премии по литературе, в эту серию вошёл и «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына, переведённый Чжао Ябо.

По многим причинам, особенно идеологическим, в Китае исследование творчества Солженицына имеет довольно короткую историю. К нему приступили фактически только с начала 90-х годов XX века. За последние десять с лишним лет китайские русисты проделали большую работу в этой области, однако по сравнению с изучением других русских и советских писателей освоение творчества Солженицына находится ещё в начальной стадии. Такая ситуация сложилась главным образом по двум причинам. Первая — идеологическая: общеизвестно, что Солженицын долгие годы в Китае считался антисоветчиком и антикоммунистом, более того, в 70-е годы его высказывания сильно заделали китайский народ. В своём письме к советским вождям он отождествил Китай с фашистской Германией. Усмотрел в Китае опаснейшего врага России. Во время своего визита на Тайвань Солженицын произнёс несколько недружественных, злых слов в адрес китайского народа, даже призывал советских руководителей быть готовыми вести «страшную войну» с Китаем. Эти обвинения были совершенно необоснованными и не соответствовали реальности. Поэтому долгие годы этот писатель был «человеком нежелательным» в Китае, у нас считалось, что его творчество не стоит изучать и тем более доводить до широкого круга читателей. Вторая — техническая. Главные произведения Солженицына перевели на китайский язык относительно поздно, в Китае не было возможности читать их в подлиннике, поэтому китайские исследователи поздно начали изучение его творчества. Несмотря на всё это, китайские литературоведы успели кое-что сделать и за этот короткий срок.

Честно говоря, пока научных трудов по изучению Солженицына в Китае очень мало. Например, «Вернулся на родину скиталец» (автор Чжан Сяоцян, издательство «Чанчунь», 1996) — это почти единственная монография в Китае, посвящённая Солженицыну. Автор — молодой научный сотрудник Института иностранной литературы при Академии общественных наук Китая. Сначала он знакомит читателя с биографией и творческим путём писателя, а затем на основе большого количества ма-

териалов подробно анализирует его главные произведения; эта книга в некоторой степени отражает общий уровень изучения творчества Солженицына китайскими специалистами-русистами.

Кроме монографии Чжан Сяоцяна в Китае есть ряд исследований, посвящённых русской литературе, в которых некоторые главы специально отведены творчеству Солженицына. Такие труды, как «Размышления о взлёте и упадке советской литературы» (проф. Лю Ядин, Изд-во Сычуаньского ун-та, 1996), «История русской литературы XX века» (Чжан Цзе и Ли Хуэйфань, издательство «Циндао», 1999), «Русские писатели. Вчера и сегодня» (Чжан Цзе, издательство «Литературный союз Китая», Пекин, 2000), «История русской литературы XX века» (под ред. Ли Юйчжэня, Изд-во Пекинского ун-та, 2000), «История русской литературы» (под ред. Жэнь Гуансюаня, Изд-во Пекинского ун-та, 2003) и др. В этих научных трудах представлен подробный и глубокий анализ важнейших произведений Солженицына: «Архипелаг ГУЛаг», «В круге первом», «Раковый корпус», а также его ранних вещей: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и др. Сюда можно отнести и другие работы, например, книгу проф. Чэнь Дяньхуа «Очерки о современной русской литературе» (Шэньян: Просвещение, 1997).

Статей, специально посвящённых творчеству Солженицына, к сожалению, тоже немного. Такая ситуация сложилась потому, что сейчас в Китае Солженицын популярен не как писатель, а как общественный деятель. К таким статьям относятся, например, статья «Традиция и новизна в творчестве Солженицына» (Вестник педагогического ин-та. Хэчи, 1995. № 1) и другая, более заметная статья, — «“Красное Колесо” и его автор Солженицын» (Русская литература и искусство. Пекин, 2002. № 3).

Журнал «Русская литература и искусство» предоставил читателям свыше десяти публикаций о Солженицыне. Наиболее значимые из них, помимо вышеназванной, — «Ещё раз о Солженицыне» (1994. № 3), «Солженицын вернулся в Россию на постоянное жительство» (1994. № 4), «Как в России относятся к Солженицыну?» (1995. № 2), «“Диалог” Солженицына с Б.Ельциным» (1995. № 3), «Интервью Солженицына» (2001. № 2), «Наш дух выше печальной действительности» (2001. № 3) и др. Кроме названного есть и другие журналы, которые также знакомят читателя с современной общественной деятельностью Солженицына. Например, в одном очень авторитетном журнале «Чтение» (Пекин, 1999. № 4) была помещена статья «Солженицыну 80 лет», посвящённая юбилею.

Если сделать обзор трудов и статей китайских исследователей о Солженицыне, то можно заметить, что их взгляды и мнения значительно

отличаются друг от друга, и расходятся они главным образом по двум направлениям: одни исследователи отрицательно относятся к Солженицыну как личности и решительно отвергают его творчество; другие видят в нём и в его созданиях и положительные, и отрицательные стороны. Ли Хуэйфань и Чжан Цзе из Института иностранной литературы при Академии общественных наук Китая олицетворяют собой старую школу китайских русистов (оба долгие годы занимаются советской литературой и пользуются большой популярностью среди китайских русистов). Они подвергают резкой критике творчество Солженицына вообще, его личность в особенности. В своей монографии «История русской литературы XX века» Ли Хуэйфань и Чжан Цзе написали целую главу о Солженицыне и дали всестороннюю оценку почти всему его творчеству. Авторы сначала в нескольких словах положительно оценивают раннее творчество писателя: «...некоторые его ранние произведения выявляют определённое писательское дарование... под давлением тогдашней ситуации он вынужден был изыскивать подходящие средства художественного выражения, поэтому его ранние рассказы ещё обладали некоторой художественностью». Затем принимаются развенчивать Солженицына и его творчество; по их мнению, у Солженицына после его ранних вещей почти нет ни одного хорошего произведения. Ли Хуэйфань и Чжан Цзе, основываясь на социально-историческом методе художественного анализа произведения, считают, что повесть «Один день Ивана Денисовича» выражает антисоветскую политическую позицию автора⁵, они утверждают, что в «Архипелаге ГУЛаге» «благодаря собственным вымышленным фактам автор преувеличивает масштабы и размах репрессий в 30-е годы XX века в Советском Союзе»⁶. Исследователи пишут: «Под пером автора предатель Власов и подобные ему становятся народными героями, однако он (т.е. Солженицын) питает злобу, даже ненависть к невинно репрессированному в 30-е годы, арестованному, посаженному в тюрьму старому революционеру, коммунисту и кадровому работнику... он резко выступает против Ленина, отрицает Октябрьскую революцию, осуществлённую под руководством Ленина, осуждает меры, вынужденно принятые Лениным для укрепления новой Советской власти. Он очерняет всю историю Советского Союза, называет первую в мире социалистическую страну тёмным царством, в котором везде разбросаны концлагеря, где огромное количество невинных людей гибнет, подвергается аресту и репрессиям»⁷. Чжан Цзе критикует творчество Солженицына и в художественном отношении. В своей книге «Русские писатели. Вчера и сегодня» он пишет: «“В круге первом” и “Раковый корпус” слабы своей художественностью, а “Архипелаг

ГУЛаг» и «Красное Колесо» почти нельзя считать литературными произведениями»⁸. Оценивая автобиографическое произведение Солженицына «Бодался телёнок с дубом», этот исследователь замечает: «Ввиду того что Солженицын очень субъективно оценивает литературную жизнь с начала 60-х годов, его книга не даёт полного, объективного, правдивого описания литературной жизни того исторического периода»⁹. Чжан Цзе заканчивает свой анализ творчества Солженицына следующими словами: «Солженицын когда-то учил людей “жить не по лжи”, а в своей собственной жизни говорил и писал много лжи. Он рьяно выступал за “самоограничение”, а сам “без самоограничения” занимается антикоммунистической пропагандой и антисоветской деятельностью. Всё это привело к очень плохим результатам. Солженицын когда-то призывал людей к “покаянию”, призывал побольше думать над своими ошибками. Не пора ли сейчас это сделать ему самому?»¹⁰ Я специально так полно цитирую данных авторов, чтобы дать представление о том, каков взгляд нынешних китайских критиков старшего поколения на творчество Александра Исаевича Солженицына.

Есть у нас в Китае и другие исследователи, которые рассматривают Солженицына и его творчество с точки зрения единства противоположностей. Это мой подход; такой же подход к Солженицыну и его творчеству у проф. Ли Юйчжэня из Пекинского университета, проф. Чжан Дянхуа из Пекинского института иностранных языков, проф. Лю Ядина из Сычуаньского университета и у других ученых. Между прочим, можно сказать, сегодня это и есть подход большинства китайских русистов.

Профессор Чжан Дянхуа, автор подраздела «Солженицын» в книге «История русской литературы» под ред. Жэнь Гуансюаня, так оценивает творчество Солженицына: «А.И.Солженицын — человек многострадальной судьбы и уникальный писатель-мыслитель, в личной жизни и творчестве которого нашли отражение самые трагические страницы русской истории XX века»¹¹. Он считает: «Задача высказать и осмыслить самую трагическую и запретную правду национальной жизни стала смыслом и целью всей его жизни и творчества... Солженицын является культурным феноменом в полном смысле этого слова»¹².

Анализируя рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», Шань Чжисуй, автор подраздела «Солженицын» в книге «История русской литературы XX века» под ред. Ли Юйчжэня, замечает, что художественные особенности этого произведения сводятся к тому, что «Солженицын простыми словами описывает один длинный и скучный рабочий день простого заключённого, тем не менее он путём большого количе-

ства правдивых деталей, через незначительные, час за часом, будничные события, даёт потрясающую и угрюмую картину жизни лагерного заключённого при тоталитарном режиме. Писатель обладает высоким мастерством сгущения времени и пространства... Язык Солженицына прост, трогателен и оригинален»¹³. Солженицын продолжает реалистические традиции И.Тургенева, Л.Толстого, в то же время он «сделал прорыв и первым начал тему «лагерной литературы», тем самым открыл «шлюз» для развития обличительной литературы...»¹⁴

Другой исследователь Солженицына, проф. Лю Ядин из Сычуаньского университета тоже положительно отзывается о творчестве Солженицына. Его особенно интересует повесть «Раковый корпус». Он считает: «Продолжая традиции нравственной оценки человека в русской литературе, Солженицын сначала загоняет большинство своих персонажей в тупиковую ситуацию, как когда-то делал Л.Толстой в своей повести “Смерть Ивана Ильича”, потом объявляет каждому нравственный приговор, или заставляет его заниматься самообличением, или сам судит его»¹⁵. И ещё замечает, что «Солженицын большой мастер-рассказчик, он умеет привлечь внимание читателя и вызвать у него жажду к чтению»¹⁶. Профессор Лю указывает и на некоторые недостатки в творчестве Солженицына: «Из-за того что у Солженицына была необычная биография, связанная с его ссылкой и тюремной жизнью в Советском Союзе, он питает антипатию, даже ненависть к ценностям советской эпохи и к советскому режиму. Он всегда смотрит на советское общество как бы из тюремного окна, с точки зрения заключённого, поэтому его мнение не может не носить субъективный, односторонний, замкнутый характер. Впрочем, односторонность его взглядов неизбежна»¹⁷.

У нас в Китае мы всегда видим двух Солженицыных: один — политический деятель, другой — писатель. Мы, конечно, не можем принять всё у Солженицына-политика, но относимся к Солженицыну-писателю с большим вниманием и уважением, т.е. мы чётко различаем Солженицын-политика и Солженицына-писателя и по-разному даём оценку этим двум сторонам его натуры.

С начала 90-х годов творчество Солженицына вошло в аудитории китайских вузов. Студенты и аспиранты, занимающиеся по специальности «Русский язык и литература», стали писать свои дипломные работы по творчеству Солженицына. Конечно, китайские русисты и читатели не забывают и не отрицают того, что художественное творчество Солженицына тесно связано с его политическими взглядами и социальной позицией. Именно основываясь на этом, мы читаем Солженицына и постигаем эту необычайно яркую, сложную и противоречивую творче-

скую личность, в которой отразилась вся сложность, трагичность и противоречивость целой эпохи XX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В 1996 году перед конференцией, посвящённой Солженицыну, автор статьи имел короткую беседу с самим писателем, в которой рассказал о данном факте. Александра Исаевича это удивило и порадовало.

² *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАг (на кит. яз.). Пекин: Цюньчжун, 1982. С. 1.

³ Там же. С. 2.

⁴ Там же. С. 9.

⁵ *Ли Хуэйфань, Чжан Цзе.* История русской литературы XX века. Циндао: Циндао, 1999. С. 443.

⁶ Там же. С. 447.

⁷ Там же.

⁸ *Чжан Цзе.* Русские писатели. Вчера и сегодня. Пекин: Литературный союз Китая, 2000. С. 19.

⁹ *Ли Хуэйфань, Чжан Цзе.* Указ. соч. С. 451.

¹⁰ Там же.

¹¹ Цит. по: *Жэнь Гуансюань и др.* История русской литературы. Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2003. С. 392.

¹² Там же.

¹³ Цит. по: *Ли Юйчжэнь.* История русской литературы XX века. Пекин: Изд-во Пекинского ун-та, 2000. С. 392.

¹⁴ Там же.

¹⁵ *Лю Ядин.* Размышления о взлёте и упадке советской литературы. Сычуань: Изд-во Сычуаньского ун-та, 1996. С. 142.

¹⁶ Там же. С. 154.

¹⁷ Там же.

Ричард Темпест

УРБАНА-ШАМПАНИ (США)

ТОЛСТОЙ И СОЛЖЕНИЦЫН: ВСТРЕЧА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Художник никогда не завершает свой труд,
он лишь оставляет его.

Поль Валери

Ясная Поляна — одно из сакральных пространств России. У каждого народа есть такие места, связанные с основополагающими личностями или событиями его прошлого. Эти места представляют собой организующий элемент национального сознания. Они являются предметом фольклорных и светских произведений искусства. В любой культуре их всегда немного — быть может, два-три на народ или страну. Таким национальным локусом, например, является Куликово поле, описанное в «Задонщине», воспетое Блоком в известном стихотворном цикле и введённое Александром Солженицыным в один из созданных им художественных миров («Захар-Калита»).

Ясная Поляна, однако, не храм, не поле сражения и не сцена драматических исторических событий. Там жил русский писатель, освятивший своим присутствием и творчеством этот «стоящий как-то косо» двухэтажный дом и сопредельные с ним парк, поля и леса в Тульской губернии. Подробности его бытования в этом пространстве, произведения и герои, им здесь созданные, стали первичным материалом для мифологических текстов, составляющих в своей совокупности легенду Льва Толстого. Современники и адепты писателя, посещавшие его в Ясной Поляне и оставившие свидетельства о своих визитах, активно участвовали в этом процессе воспевания и увековечения. Среди них едва ли не главным мифологизатором был Горький, в известной книге воспоминаний давший портрет Толстого как «сказочного человека»¹, «старого колдуна»², «Святогора-богатыря»³ и даже «русского бога»⁴ — Толстого обожествлённого если не концептуально, то метафизически.

Священная аура, окружающая Ясную Поляну, столь сильна, что даже немецкий вермахт — самая десакрализирующая армия в новейшей истории, — заняв имение в начале Московского сражения, вела себя там в

строгом согласии с законами и обычаями войны, во всяком случае в первое время. В своих мемуарах генерал Гудериан, в 1941 году командовавший 2-й танковой армией, пишет:

«Вся мебель и все книги, принадлежавшие Толстым, были собраны в двух комнатах, двери которых были заперты на ключ. <...> Ни один кусок мебели не был сожжён, ни одна рукопись не была тронута. <...> Я сам посетил могилу Толстого. За ней был установлен хороший уход. Ни один немецкий солдат её не тронул»⁵.

Ясная Поляна и её знаменитый обитатель фигурируют в самом начале «Красного Колеса».

Во второй главе «Августа Четырнадцатого» Саня Лаженицын, решивший пойти добровольцем в действующую армию, едет на поезде в Москву. Лёжа в купе, Саня вспоминает, как за четыре года до этого, гимназистом, тоже на поезде и тоже в августе, отправился в Ясную Поляну к Толстому. Заметим, что в солженицынском «повествование в отмеренных сроках» сосуществуют два временных измерения — календарно-историческое (ср. «Календари революции» в начале и конце «Апреля Семнадцатого») и мифическое. Август — месяц, название которого носит первый Узел, месяц, в котором родились Толстой и Наполеон (метатекстуальное присутствие последнего чётко прослеживается в военных главах эпопеи). Это и месяц зодиакального Льва, в христианской астрологии победителя над Скорпионом-Змием и посему символа Воскресения.

Добавим, что август (по ст. ст.) 1910 года — период острого кризиса в отношениях Толстого с женой и детьми и начало эмоционально-нравственного процесса, приведшего его к октябрьскому предсмертному бегству из Ясной Поляны. В дневниках этого периода развитие семейного конфликта описано чётко, хотя и пунктирно. Обо всём этом во второй главе «Августа Четырнадцатого» нет ни слова. Тем не менее читатель, осведомлённый о тогдашних обстоятельствах жизни Толстого, обладает дополнительным контекстом для осмысления встречи Сани с писателем. Этот читатель-всезнайка, читатель ультраимPLICITный (профессиональный филолог? историк?), возможно, вспомнит о дневниковой записи от 2 августа: «Ходил утром много»⁶. Следует указать, что Санино паломничество к Толстому имело место в один «из первых дней» этого месяца⁷.

Высадившись на станции Козлова Засека, Саня направляется в Ясную Поляну. Идёт он непрямым путём, кружа по прилегающим к имению местам и по самому имению, «бродя, садясь и глядя»⁸ (трёхстопный

ямб!). Наконец он приходит в яснополянский парк. Из-за старой липы, откуда Саня, затаившись, обозревает священную территорию, он вдруг замечает писателя, который совершает по прямоугольнику парковой аллеи моцион (мы вспоминаем геометрически контрастное название эпопеи — «Красное Колесо»). Здесь, как и в других своих произведениях, Солженицын использует характерно толстовский приём опосредованного повествования от третьего лица — то, что П.Спиваковский называет «несобственно-прямой речью»⁹.

Толстой именно таков, каким ожидал увидеть его Саня, каким знает его читатель, — во всяком случае, читатель русскоязычный, располагающий тем же мифологизированным образом обитателя Ясной Поляны, что и юный герой. В экзальтированном воображении гимназиста Толстой последовательно воспринимается как «Великий»¹⁰, «Седоволосый»¹¹, «Седобородый»¹², «Пророк»¹³. Эта идущая по возрастающей последовательность архетипов кончается одним из имен Господних — Саваоф¹⁴, которое приходит литературному паломнику на ум, когда Толстой обращается к нему с приветствием: «Как будто самого Саваофа слыша...»¹⁵. Санино восприятие писателя хотя и мифично, но непосредственно. Оно отнюдь не сродни журналистской цветистости Горького, в своей статье о Толстом вечно подыскивающего *le mot juste* или *la comparaison juste**: «Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на эдакого русского бога...»¹⁶; «Он <...> всё-таки похожий на Саваофа...»¹⁷.

Но до того как Толстой и Саня обмениваются приветствиями, последний тайком, в продолжении нескольких минут, разглядывает своего прогуливающегося кумира. Гимназист испытывает эффект узнавания: «Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража»¹⁸. Слово «мираж» здесь ключевое. Толстой в этой главе есть видимость и слышимость, и не только потому, что является предметом Саниных воспоминаний теперь уже четырёхгодичной давности. Ведь разговора в то утро между писателем и гимназистом совсем не получается. Когда Саня выходит из-за своей липы, Толстой не говорит юному герою (а через него читателю) ничего неожиданного, ничего нового. В этой беседе автор произведений «В чём моя вера?» и «Что такое искусство?» лишь цитирует самого себя: «Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле»¹⁹.

Заметим, что для Толстого Саня не менее узнаваем — хотя и анонимен, — чем Толстой для Сани. При виде его писатель думает: «Перевидал

* Точное слово... точное сравнение (фр.). — Ред.

он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить...»²⁰.

Саня робко пытается выразить Толстому тревожащую его мысль: «...а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, в современном человеке?»²¹. Но Толстой не может или не желает вступить с юным искателем правды в диалог. У него нет цитат на этот случай!

Несостоявшийся разговор в Ясной Поляне имеет серьёзные импликации. Для Толстого любовь к ближнему есть обязательный и достаточный принцип человеческого общежития и нравственного миропорядка. Однако в XX веке «современный человек», движимый идеологическим императивом или бюрократическим фанатизмом, займётся умерщвлением себе подобных с небывалым энтузиазмом и методичностью. Как покажет последующее многотомное повествование, провозглашённый Толстым принцип любви является социально, исторически, даже нравственно неадекватным.

Но вернёмся к встрече в Ясной Поляне. Оказывается, Солженицын вложил в Санины уста одну из самых интересных — и спорных — своих идей. В интервью 1983 года Бернару Пиво он сказал следующее (вопрос задаёт французский журналист, но отвечает Солженицын, можно сказать, Льву Толстому):

«Христианство не может отказаться от своей максимы, христианство правомерно призывает к любви. <...> Но когда мы спускаемся в бытовые области, то в ежедневном разговоре, в бытовом решении — призывать к любви сейчас, сегодня, это значит — не быть эффективным. Призывать к любви можно, но раньше того надо призывать хотя бы к справедливости. Хотя бы не нарушайте собственной совести, уж не любите, ладно, но не делайте против совести»²².

Идея о «неэффективности», пусть и относительной, христианской заповеди любви странным образом перекликается со словами ницшевского Заратустры — фигуры автору «Красного Колеса», безусловно, глубоко чуждой: «Братья мои, не любовь к ближнему советую я вам — я советую вам любовь к дальнему»²³. Ницше признавал, что для отдельных, исключительных личностей «такая жизнь, какую жил тот, кто умер на кресте»²⁴, — жизнь *imitatio Christi* — возможна и даже необходима. Но христианство было для него религией бесчеловечной, даже античеловечной именно потому, что (в отличие от буддизма или ислама) оно требует заведомо, чрезмерно, невозможно многого от живущих и страдающих на этой земле людей.

Ницше — антихристианин, Толстой антицерковен. Солженицын же и христианин, и церковен, но, подобно своим великим предшественникам — и оппонентам, — он подвергает религию, культуру и общество, к которым принадлежит, беспощадному критическому анализу. Подобно Ницше, он выговаривает невыговариваемое.

Ещё о Ницше. В одном эссе немецкий мыслитель замечает, что великие композиторы живут и творят в конце культурных эпох: Гендель — Реформации, Моцарт — Людовика XIV и Расина, Бетховен — Просвещения. По мысли философа, перечисленные им музыкальные гении были гениями суммирующими, гениями заключительными. И действовали они в периоды, когда современная им культура уже вступила в период упадка. «Любая истинная, любая оригинальная музыка есть лебединая песнь»²⁵, — провозглашает Ницше.

Идея художественного гения как фигуры завершающей приложима и к истории литературы. Следуя за Ницше, Ю.Тынянов определил принцип литературной эволюции как «борьбу и смену»²⁶. Большой писатель или поэт преодолевает то, что по определению преодолеваемо, т.е. себя уже исчерпало, потеряло заряд новшества и оригинальности. Если принять такое прочтение канона словесности, то можно сказать, что в первой половине своего творчества Толстой каждым своим рассказом и романом преодолевает модель романтизма, а во второй — уже свою собственную.

Как и произведения Толстого, произведения Солженицына отрицают заданную литературную модель. В его случае она называлась «социалистический реализм». Впрочем, соцреализм, это мертворождённое идеологическое дитя Бухарина и Горького, было ниспровергнуто им *en passant*, походя, в процессе выполнения гораздо более трудных, грандиозных литературных задач. Одной из которых было творческое, динамическое преодоление Толстого.

Далее. Литературные системы Толстого и Солженицына подразумевают установку на то, что Тынянов называет «литературной личностью»²⁷. Дело не в том, что ряд их героев можно соотнести с личностью придумавших их писателей, а в том, что образы писателей — реальных авторов — воспринимаются читателями, да и культурой в целом, именно через призму этих персонажей. Такая «обратная экспансия литературы в быт»²⁸, как называет её Тынянов, ведёт к тому, что, когда мы думаем о Толстом, в нашем воображении возникают образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Константина Левина, Дмитрия Нехлюдова, а когда думаем о Солженицыне, мы представляем себе Глеба Нержина, Олега Костоглотова — и Саню Лаженицына. Легенда Солженицына во многом

зидется на этом явлении обратной связи: те его персонажи, которым он придал некоторые свои черты, в свою очередь придают его личности иногда героическую, иногда бытовую легендарность. Мы в значительной мере воспринимаем фигуру Солженицына как динамическое средоточие созданных им автобиографических героев и ищем в них точки соприкосновения с самим писателем. Под именем «Солженицын» здесь подразумевается как реально существующий автор, так и автор имплицитный, присутствующий в тексте. Мы соотносим солженицынских персонажей с известными нам подробностями жизни создавшего их человека, с его иконографией и даже с его именем (Лаженицын — Солженицын). Характерно, что Никита Хрущёв в одной из своих речей, оговорившись, назвал Солженицына Иваном Денисовичем! Даже исследователи творчества Солженицына, профессиональные филологи и критики, допускают такого рода наложения. Один из них, например, определил «Матрёнин двор» как «явный рассказ о возвращении автора из своей первой ссылки в Гулаге»²⁹.

Выведенный во второй главе «Августа Четырнадцатого» Толстой литературен, историчен, мифологичен.

Литературен — ибо он персонаж художественного произведения. Историчен — ибо детали его речи, поведения, внешности и среды взяты из документальных источников и в силу этого обстоятельства исчисляемы и проверяемы. Мифологичен — ибо Саня, глазами которого мы видим Толстого, воспринимает владельца Ясной Поляны как личность, ориентированную на ряд культурных архетипов.

Впрочем, литературный персонаж Саня Лаженицын не менее историчен, не менее цитатен, чем литературный персонаж Лев Толстой. Сам Солженицын неоднократно подчёркивал этот факт. В послесловии (не носящем, впрочем, заглавия) к «Августу Четырнадцатого» читаем: «Отец автора выведен почти под собственным именем...»³⁰ Или приведём другое высказывание писателя: «Мой отец когда-то прошёл через толстовство, поэтому я ему и даю это толстовство»³¹. Саня Лаженицын является одним из автобиографических — генеалогических — представителей автора в тексте.

Более того, выведенный во второй главе Узла образ Толстого-Пророка как бы приглашает нас сопоставить его с образом самого автора. Ведь пророками в России называют лишь трёх писателей: Толстого, Достоевского и Солженицына. В каком-то смысле мы имеем дело с металитературной встречей Солженицына с Толстым.

Знакомый нам уже ультраимплицитный читатель представляет себе Солженицына собирающим материал для «Августа Четырнадцатого».

В августе 1963-го писатель вместе с Натальей Решетовской совершил велосипедный тур по Тульщине, во время которого супруги посетили два сакральных места — Ясную Поляну и Куликово поле. Легко можно представить себе будущего автора «Красного Колеса» идущим по перрону той же маленькой железнодорожной станции, что и Саня, следующим к имению тем же окольным маршрутом, быть может, так же стоящим у одной из лип в яснополянском парке, откуда намётанным глазом старого артиллериста он обзирает тот же прямоугольник аллеи, по которой будет идти его Толстой.

В восьмой главе «Евгения Онегина»:

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил³².

«Нас» — потому, что речь здесь идёт о двух фигурах одновременно: Пушкине — авторе реальном, и повествователе (полу-Пушкине), который есть его художественная эманация или проекция. Подобным же образом можно говорить о двойном самовоплощении Солженицына-автора во второй главе «Августа Четырнадцатого» — через образ Сани Лаженицына, которому писатель придал черты своего отца, да и самого себя в том же возрасте, и через образ Толстого, преемником которого Солженицын стал во второй половине XX века.

Следует отметить, что в прозе Солженицына текстуальное присутствие Толстого выражается по-разному. Иногда оно функционирует на уровне закодированной аллюзии или подспудного полемического комментария. Так, в романе «В круге первом» жёсткий и волевой Спиридон транстекстуально противопоставлен толстовскому Платону Каратаеву с его почти буддистской резиньязией.

В «Раковом корпусе» это присутствие явно, даже цитатно. Шулубин критикует попытку Толстого «насаждать в обществе христианство»³³, Поддубев читает «Смерть Ивана Ильича».

Но лишь в «Красном Колесе», в дополнение к двум вышеперечисленным видам присутствия, мы имеем дело с прямым, физическим вхождением Толстого в созданный Солженицыным художественный мир.

Вернёмся к встрече в Ясной Поляне. Несмотря на ещё гимназический возраст, Сане дано понять, что в мире есть люди, сознательно и свободно творящие зло. Они дурны не по недомыслию, как говорит Толстой, а по выбору. Подтверждение правоты Саниного убеждения следует в сюжетной линии Вари Матвеевой в «Августе Четырнадцатого».

Варю мы впервые встречаем в конце первой главы Узла, когда она прощается с Саней на перроне станции Минеральные Воды. Заметим, что образы Вари и Сани ассоциированы именно с железной дорогой.

Расставшись с Саней, Варя едет в Пятигорск. Восьмая глава, в которой описано её пребывание там, в первом издании Узла отсутствует.

В этой главе Варя встречает революционера-жестящика, жестокого и ненавидящего, которого в последний раз видела одиннадцатилетней девочкой.

«В такой жаркий день в серой плотной рубашке, под цвет жести, и в чёрном твёрдостоялом фартуке наперед, это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый...

<...>

С молотком в руке парень покосился на неё...»³⁴

Жестящика зовут Жора — т.е. Георгий. Он тёзка полковника Ворытнцева, одного из авторских *alter ego*, и его антипод. При виде Жоры в Вариной памяти всплывают услышанные ею в детстве фрагменты анархистских писаний: «...разрушение несовместимо с созиданием... <...> взрывать памятники...»³⁵ Таинственный и страшный «подземный кузнец»³⁶, этот Гефест или Вёлунд анархокоммунизма, приводит Варю в чулан, «как в подполье»³⁷, где она «ощутила на плечах *неумолимое* (курсив мой. — *P.T.*) давление его рук. Вниз»³⁸.

Сравним этот пассаж со сценой самоубийства Анны Карениной.

«...Что-то огромное, *неумолимое* (курсив мой. — *P.T.*) толкнуло её в голову и потащило за спину. <...> Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом»³⁹.

Выделяющие что-то с металлом зловещие ремесленники — мужичок у Толстого, жестящик у Солженицына — суть тотемы этих двух трагических эпизодов.

Добавим, что и у Анны, и у Вари есть с собой дамский атрибут, играющий роль некоего символа. Перед тем как броситься под поезд, Анна откидывает свой красный мешочек. Оказавшись в страшном чулане, Варя роняет бывшую до этого на ней (и в восьмой, и в первой главах) шляпку. «И чем-то сбило соломенную шляпку, попрыгала она куда-то»⁴⁰.

В начале этой статьи я подверг разбору сцену встречи Сани с Толстым во второй главе «Августа Четырнадцатого», но толстовские мотивы, толстовская ориентированность эпопеи дают о себе знать буквально с первой страницы «Красного Колеса».

Возьмём три начальных абзаца «Августа Четырнадцатого», в которых фигурирует массив Кавказа, мимо которого Саня Лаженицын едет на войну. Этот пассаж перекликается с соответствующими местами из «Путешествия в Арзрум», «Казаков», «Тихого Дона». Известно, что Кавказ (не)определяет этнографическую, культурную, религиозную границу собственно России — «материка», пространственно и исторически сравнимого с Азией, как даёт понять Солженицын в рассказе «Захар-Калита»⁴¹. На Кавказе — после Кавказа — России, быть может, уже нет, хотя там есть русские люди. Кавказ представляет собой южную границу художественного мира эпопеи, так же как поля Восточной Пруссии и цюрихские улицы очерчивают её западные пределы. Заметим, что географически художественный мир ограничен с юга и с запада — но не с востока и севера. С этих двух сторон Россия открыта, не завершена. Здесь Солженицын последователен. Ведь ещё в «Письме вождям» он призывал о перемещении на северо-восток демографического и экономического центра России.

Итак, Саня Лаженицын едет вдоль южной границы своего художественного мира. Едет не один, а со сводным братом, восьмилетним Евстратом. Едет на таратайке, потому что рачительный отец пожалел дать братьям рессорную бричку (намёк на организующий символ эпопеи — колесо).

Далее следует первый в произведении кусок прямой речи — вопрос, заданный Сане Евстрашкой: «А почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?»⁴² И нам кажется, что вопрос этот обращён не к брату его, а к писателю, в дюжине рассказов, повестей и романов описавшему пребывающих в полудремотном состоянии мальчиков и мужчин (в «Анне Карениной» — женщину), которых убаюкивает движение саней, кибитки, кареты, пбезда. Эти персонажи о чём-то мечтают, им что-то грезится по ходу их перемещения через текст.

Первое историческое лицо, упомянутое в тексте, — это Толстой.

«И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы <...>. Саня много ходил-прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали...»⁴³

Здесь имя писателя фигурирует в контексте фрагментации смыслов, характерной для России — да и западного мира — начала XX века. Эта фрагментация породила великолепные произведения искусства — но и революции, войны, геноциды. Раздроблению современной культуры

и сознания Солженицын последовательно противопоставляет цельное христианско-национальное мировоззрение, а в созданных им художественных мирах — интегрирующее правдоискательское начало. Отсюда его настороженное и даже враждебное отношение к модернизму, дробящее повествовательную реалистическую традицию XIX века и постулирующее примат стиля над содержанием.

Но я отклоняюсь.

Далее в первой главе мы узнаём, что толстовская практика вегетарианства в отношениях Сани с семьёй «привела ко лжи», т.е. именно ко злу, как определяет его Толстой. Дело в том, что, опасаясь насмешек и осуждения со стороны семьи и станичных, Саня говорит семье, что не ест мяса, следуя «открытию одного немца». Ложь эта распространяется даже на самого себя, она имеет измерение физиологическое: «А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли»⁴⁴. Тут Санино тело живёт своей собственной, отдельной от Санино (культурного) сознания жизнью. Характерно толстовская деталь! Вспомним Наполеона или Элен в «Войне и мире» — фигуры безусловно отрицательные, но обладающие красивой, здоровой, *радостной* плотью. Их плоть является для них источником наслаждения, и вместе с ними ею наслаждается читатель, для которого она становится источником *jouissance à la Barthes**.

Итак, Толстой тайно и явно присутствует в тексте «Красного Колеса» буквально с первых страниц и даже первых абзацев. Причём, когда речь в эпопее заходит о его взглядах на церковь, историю, военное дело, повествование неизменно обретает полемический или иронический тон. Солженицын оспаривает Толстого на всём протяжении эпопеи. Назовём лишь два-три момента этой полемики. Разговор Сани с мистиком Варсонофьевым в 42-й главе «Августа Четырнадцатого», когда Саня признаётся, что он уже «...не чистый толстовец теперь»⁴⁵. В 53-й главе того же Узла (без)действие генерала Благовещенского, начитавшегося «Войны и мира» и с толстовско-кутузовским фатализмом ожидающего окончательной победы немцев в Танненбергском сражении⁴⁶. Ночная беседа Сани, теперь подпоручика, с отцом Северьяном в 5-й главе «Октября Шестнадцатого», когда Саня заявляет, что он «и — не толстовец. Уже»⁴⁷ (войдя во фронтовую Санину землянку, этот неординарный военный священник переkreщивается на католическое распятие, — и мы вспоминаем старца Зосиму, в келье которого висело такое же).

* Наслаждения по Барту (*фр.*). — *Ред.*

(Анти)толстовская направленность многих пассажей эпопеи напоминает нам о том, что русская литературная традиция изобилует примерами интертекстуальных переключек между писателями. Я имею в виду то множество сюжетных и персонажных последовательностей, которыми изобилует русская проза от Пушкина до Пелевина. Метели и дуэли!

Возьмём один такой сюжетный ряд.

В «Дворянском гнезде» Тургенева (1859) главный герой реагирует на измену супруги следующим, буквально косвенным образом: «Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон; он почувствовал, что в это мгновение он был в состоянии истерзать её, избить до полусмерти, по-мужицки, задушить её своими руками»⁴⁸.

В «Войне и мире» (1863–1869) Пьер Безухов ведёт себя с обманувшей его Элен, женщиной ещё более развратной, чем Варвара Лаврецкая, менее трепетно.

«— Я тебя убью! — закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на неё.

Лицо Элен сделалось страшно; она взвизгнула и отскочила от него. <...> Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил её и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!» — таким страшным голосом, что во всём доме с ужасом услышали этот крик»⁴⁹.

Эта цепь матримониальных противостояний продолжается в «Крейцеровой сонате» (1889). Оказавшись в схожей с Пьером ситуации, Позднышев швыряет в госпожу Позднышеву, точнее, мимо неё не мраморную доску, а папье-маше. Минимализм этого акта насилия делает его *интертекстуально* пародийным (ср. с вышеприведённым пассажем из «Войны и мира») и *интратекстуально* зловещим (ср. с максимализмом совершённого Позднышевым актом насилия в конце повести).

Обратимся теперь к «Красному Колесу». В 52-й главе «Октября Шестнадцатого» Воротынцев признаётся жене, что встретил другую женщину. На стене комнаты пансиона, в которой происходит разговор, висит на гвозде его шашка. В этом клинке, комментирует повествователь, есть нечто зловещее: «И — шашка, одна посреди нагой стены, висела над ними, как будто чем угрожала»⁵⁰. Во время объяснения Воротынцева с Алиной: «Полнообъёмно и он смотрел на жену (косым зрением ещё видел и свою шашку на стене)»⁵¹. Шашку Воротынцева можно считать как контраллюзию на кинжал, висевший над диваном в доме Позднышева, которым он убивает жену. Добавим, что дугообразностью, *эллиптично*

стью своей формы шашка наводит на мысль об *эллипсисах* — недосказанностях — в словах, которыми Воротынцев рассказывает Алине о своей возлюбленной, Ольде: «Непроговариваемо языком это было...»⁵²

А вот ещё один пример предметно-стилистической ориентированности солженицынского «повествования в отмеренных сроках» на Толстого.

В седьмой части «Анны Карениной», в одной из предшествующих гибели героини глав, есть пассаж, где Анна в подавленном предсмертном состоянии заходит к своей маленькой дочери в детскую. Физический лейтмотив этого ребёнка — унаследованная от отца смуглость и черноволосость. «Девочка, сидя у стола, упорно и крепко хлопала по нём пробкой и бессмысленно глядела на мать двумя смородинами — чёрными глазами»⁵³. А вот как в «Августе Четырнадцатого» повествователь описывает взгляд, брошенный на Саню мистиком Варсонофьевым во время их разговора в московской пивной (читатель уже предупреждён о внешности персонажа: белый маг — Варсонофьев седоволос и светлолиц): «— Да! — повернул к нему Варсонофьев светящихся две пещеры»⁵⁴. У Солженицына окулярная — оккультная — метафора не снабжена «переводом».

Еще в 1976 году писатель заявил: «Я сейчас стараюсь каждое лишнее слово выбрасывать. Если только можно без слова — выбрасываю»⁵⁵. Что напоминает нам о том, как близко местами — пассажами — Солженицын подходит к модернистской модели повествования.

Приведём ещё два его комментария.

В интервью Хилтону Крамеру 1980 года Солженицын отметил, что замысел «Красного Колеса» был связан именно с его (про)чтением Толстого: «Влияние (“Войны и мира”. — *P.T.*) было в том, что я, уже в восемнадцать лет, задумал свои Узлы». А в интервью, данном Никите Струве за четыре года до этого, писатель объяснил, что прочитал «Войну и мир» в десятилетнем возрасте, когда «...личных линий совсем не понял, но совершенно был захвачен этой композицией и историческими сценами»⁵⁶. То есть военными. Действительно, хотя Толстой монологичен, структура «Войны и мира» позволяет читателю читать *выборочно*. Он может войти в художественный мир романа не через парадный вход — салон Анны Павловны Шерер, — а через одну из многочисленных других сюжетных дверей, расставленных по всему тексту. Такой дверью являются, например, главы об Аустерлицкой кампании в первом томе романа. Я знаю читательниц, в детстве их выпускавших и вместо них читавших лишь главы светские, семейные или любовные. Структура «Войны и мира», позволяющая такого рода читательское волеизъявление (чего

нет, например, в «Анне Карениной»), обусловлена тем обстоятельством, что, как отмечает Б.Эйхенбаум, толстовские герои суть психологические и эмоциональные состояния. Они возобновляются, восстанавливаются каждый раз, когда появляются в тексте.

Рецензенты и критики, злорадно сообщающие, что не смогли осилить десять томов «Красного Колеса», могли бы начать читать эпопею с какой-нибудь другой главы, нежели первая. Выбор у них есть. Он дан им автором. Солженицын, этот писатель, которого так часто обвиняют в политической и артистической авторитарности, текстуально открыт. Он охотно тасует и перетасовывает «отмеренные сроки» «Красного Колеса», давая возможность разным категориям читателей проникнуть в художественный мир произведения с разных его углов и концов. Он печатает ряд глав, взятых из нескольких Узлов, в виде романа «Ленин в Цюрихе», главы нехудожественные в «Вестнике Русского Христианского Движения», издаёт сокращённый и упрощённый четырёхтомный вариант эпопеи. Местами в эпопее автор — автор реальный — советует читателям, даже почти настаивает, чтобы они пропустили некие куски текста. Так, перед тем как во втором томе «Августа Четырнадцатого» начать исторический очерк о Столыпине, Солженицын пишет: «...автор приглашает погрузиться в подробности лишь самых неутомимых любознательных читателей. Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт»⁵⁷. Кстати, формула «неутомимый любознательный читатель» есть определение читателя ультраимплицитного!

Ещё один комментарий. Лев Шестов как-то сказал, что произведения Толстого «имеют характер совершенной законченности», потому что он «предстает пред публикой всегда с ответами, данными в такой определённой форме, которая удовлетворяет наиболее требовательного и строгого в этом смысле человека»⁵⁸. Но если законченность у Толстого присутствует на уровне нравственном и дидактическом, само повествование у него — как и у многих других русских писателей — развёрнуто в бесконечность. Самое знаменитое многоточие в мировой литературе завершает первую часть эпилога «Войны и мира». То есть собственно роман.

Определяющие произведения русской литературы: «Евгений Онегин», «Война и мир», «Преступление и наказание» — имеют открытые концовки. То же можно сказать о «Красном Колесе». За четвёртым Узлом эпопеи следует раздел, озаглавленный «На обрыве повествования» — «конспект» (термин автора) последующих шестнадцати Узлов. В кратком, в полстраницы, пояснении, которым начинается раздел, Солженицын указывает, что Узлы, относящиеся к 1917 году (V–X), «разработаны

в значительной подробности», остальные — «схематично». Некоторые из Узлов — и 1917 года, и более поздние — даже предварены эпитафиями, что придает им дополнительную художественную наполненность. «Сюжеты с вымышленными персонажами я вовсе не включаю в конспект»⁵⁹, — сообщает автор, быть может намекая, что в некоем нереализованном текстуальном измерении его герои продолжают жить, бороться, любить, страдать.

И даль свободного романа
И сквозь магический кристалл...

Последний, двадцатый Узел озаглавлен «Весна Двадцать Второго» — после названия Узла не указан месяц, ибо к этому моменту временная линия эпопеи уже не имеет прежней календарной точности. За схемой двадцатого Узла следует список, состоящий из названий пяти Эпилогов с датами: 1928 г., 1931 г., 1937 г., 1941 г., 1945 г. Даты эти самодостаточны. Читатель соотносит их с решающими событиями сталинского периода: индустриализацией, коллективизацией, ежовщиной, началом и концом второй Отечественной войны. На этой, последней странице эпопеи текстуальная проекция эпопеи уже не схематична, а стенографична.

«На обрыве повествования» — это многоточие Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: Горький М. Лев Толстой // Горький М. Литературно-критические статьи. М.: Гослитиздат, 1937. С. 182.
² См. там же. С. 188.
³ См. там же. С. 186.
⁴ См. там же. С. 164.
⁵ Guderian H. Panzer Leader. Cambridge: De Capo Press, 2002. Pp. 256–257. Столь необычная для сражавшихся на Восточном фронте немцев корректность произвела впечатление на Г.Владимова, в романе которого «Генерал и его армия» Гудериан да же сидит за столом Толстого и пишет письмо жене.
⁶ Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: ГИХЛ, 1965. Т. 20. С. 417.
⁷ См.: Солженицын А.И. Красное Колесо: В 10 т. М.: Воениздат, 1993. Т. 1. С. 21.
⁸ См. там же.
⁹ См.: Стиваковский П.Е. Феномен А.И.Солженицына: новый взгляд / ИНИОН РАН. М., 1998. С. 43.
¹⁰ См.: Солженицын А.И. Указ. соч. С. 21–22.
¹¹ См. там же. С. 22.

- ¹² См. там же.
¹³ См. там же. Заметим, что слово «пророк» фигурирует и в начале эпизода: «дух пророка носился здесь» (там же. С. 21), но в этом случае оно написано с прописной буквы и не носит такой же эмоциональной и мифической нагрузки.
¹⁴ См. там же.
¹⁵ Там же.
¹⁶ Горький М. Указ. соч. С. 164.
¹⁷ Там же. С. 171.
¹⁸ Солженицын А.И. Указ. соч. С. 22.
¹⁹ Там же. С. 23.
²⁰ Там же. С. 22.
²¹ Там же. С. 23.
²² Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1997. Т. 3. С. 193.
²³ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 44.
²⁴ Там же. С. 663.
²⁵ Nietzsche Contra Wagner // The Portable Nietzsche. Harmondsworth: Penguin, 1976. P. 668.
²⁶ См.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 258.
²⁷ См. там же. С. 279.
²⁸ См. там же.
²⁹ Ragsdale H. The Solzhenitsyn That Nobody Knows // Aleksandr Solzhenitsyn / Ed. H. Bloom. Philadelphia, 2001. P. 184.
³⁰ Солженицын А.И. Красное Колесо. М., 1993. Т. 2. С. 544.
³¹ Солженицын А.И. Публицистика. Ярославль, 1996. Т. 2. С. 446.
³² Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 5. С. 165.
³³ Солженицын А.И. Избранная проза. Рассказы. Раковый корпус. М.: Сов. Россия, 1990. С. 627.
³⁴ Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 1. С. 65.
³⁵ Там же. С. 67.
³⁶ См. там же. С. 69.
³⁷ См. там же. С. 71.
³⁸ Там же.
³⁹ Толстой Л.Н. Собр. соч. М., 1963. Т. 9. С. 389.
⁴⁰ Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 1. С. 71.
⁴¹ Солженицын А.И. Избранная проза... С. 247.
⁴² Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 1. С. 8.
⁴³ Там же. С. 9–10.
⁴⁴ Там же. С. 10.
⁴⁵ Там же. С. 396.
⁴⁶ В Содержании второго тома «Августа Четырнадцатого» данный эпизод озаглавлен: «Теория Льва Толстого, проверенная на генерале Благовещенском».
⁴⁷ Солженицын А.И. Красное Колесо. М., 1993. Т. 3. С. 58.
⁴⁸ Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. М.: Худож. лит., 1983. С. 160.
⁴⁹ Толстой Л.Н. Собр. соч. М., 1962. Т. 5. С. 38–39.

Владимир Захаров
МОСКВА

О ГЛУБИННЫХ СОВПАДЕНИЯХ СОЛЖЕНИЦЫНА И ДОСТОЕВСКОГО

- ⁵⁰ Солженицын А.И. Красное Колесо. М., 1993. Т. 4. С. 226.
⁵¹ Там же.
⁵² Там же. С. 227.
⁵³ Толстой Л.Н. Собр. соч. Т. 9. С. 373.
⁵⁴ Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 1. С. 407.
⁵⁵ Солженицын А.И. Публицистика. Т. 2. С. 423.
⁵⁶ Там же. С. 445.
⁵⁷ Солженицын А.И. Красное Колесо. Т. 2. С. 167.
⁵⁸ Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше // Избранные произведения. М.: Ренессанс, 1993. С. 54.
⁵⁹ Солженицын А.И. Красное Колесо. М., 1997. Т. 10. С. 559.

Когда речь идёт о таких писателях, как Солженицын, о русской литературе мало говорить как о литературе. Присутствие Солженицына в современной русской словесности, как в древние времена митрополита Илариона, преподобного Нестора, автора Слова о полку Игореве, преподобного Эпифания Премудрого, в Новое время — Державина, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, в XX веке — И.Шмелёва, А.Ахматовой и Б.Пастернака, меняет значение и содержание того, что мы привыкли называть русской литературой.

Так было бы даже в том случае, если бы Солженицын был один, но вместе с ним соратники — писатели-«деревенщики», писавшие о вечных духовных ценностях, хранившихся в русском крестьянстве, так что, имея в виду исходный смысл слова «крестьянский», в котором просвечивает исконное значение — «христианский», необходимо отметить их принадлежность к христианской традиции в русской литературе.

Их всех назвал сам А.И.Солженицын при вручении премии В.Распутину 4 мая 2000 года:

«В большой доле материал этих писателей был — деревенская жизнь, и сами они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодовольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте нового движения) эту группу стали звать *деревенщиками*. А правильно было бы назвать их *нравственниками* — ибо суть их литературного переворота была возрождение традиционной нравственности, а сокрушённая вымирающая деревня была лишь естественной, наглядной предметностью.

Едва ли не половину этой писательской группы мы теперь уже схоронили безвременно: Василия Шукшина, Александра Яшина, Бориса Можаева, Владимира Солоухина, Фёдора Абрамова, Георгия Семёно-

ва. Но часть их ещё жива и ждёт нашей благодарной признательности. Первый среди них — Валентин Распутин»¹.

Сто лет назад, говоря об упадке культуры, писали о декадансе — сейчас пишут о постмодернизме, но как прежде величие Толстого, так и сегодня присутствие Солженицына в современной литературе оттеняет мизерность тщеславий и творческую бесплодность, придаёт литературе иное измерение — она предстаёт словесностью, которая имеет тысячелетнюю историю, вековые духовные традиции.

Не все писатели выдерживают сравнение с Достоевским. Солженицын ничего не теряет, более того — при всей очевидной оригинальности своего творческого дара обнаруживает ожидаемую и в то же время неожиданную родственность с Достоевским.

Солженицын близок Достоевскому даже тогда, когда спорит с ним, как, например, в Нобелевской речи, когда рассуждает о мысли, как ему кажется, Достоевского: «Красота спасёт мир». Солженицын чувствует её недостаточность — ему необходимо триединство Истины, Добра и Красоты. Но не так ли полагал и Достоевский?

Знаменитая фраза возникает в вопросе Ипполита Терентьева князю Мышкину:

«Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасёт “красота”? — Господа, — закричал он громко всем: — князь утверждает, что мир спасёт красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблён. Господа, князь влюблён; давеча, только что он вошёл, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасёт мир? Мне это Коля пересказал... Вы ревностный христианин? Коля говорит, что вы сами себя называете христианином»².

Слова, ставшие афоризмом, переходят в романе из уст в уста — они в буквальном смысле возвращаются к князю из третьих уст. Каскад вопросов Ипполита Терентьева ясно раскрывает проблему, христианская ли это мысль. В романе князь Мышкин молчит, в записной тетради против этой фразы написано: «Князь скажет что-нибудь о Христе»³.

Мысль князя Мышкина сложна и тоньше — как и мысль Достоевского, и пророческое указание Солженицына.

Эти совпадения глубже и определённое, чем тогда, когда в «Круге первом» А.И.Солженицын сознательно воспроизводит архитеконику полифонического романа, причём воспроизводит логическую структу-

ру, созданную М.Бахтиным, — у Достоевского она не столь логична и не так жёстко сконструирована, как у Бахтина.

Эта родственность двух писателей обнаруживается и в совпадениях некоторых знаменательных деталей их литературного дебюта.

Вряд ли А.И.Солженицын думал о Макаре Девушкине, когда писал «Один день Ивана Денисовича», но неслучайно сходной фразой начинается роман Достоевского и заканчивается рассказ Солженицына.

«Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив!»⁴ — начинает своё первое письмо Макар Девушкин.

Чем же счастлив Макар Девушкин?

Тем, что «уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзаминном, точнёхонько так, как я вам тогда намекал»; поездкой на Острова, встречами и бдениями у Всенощной, возможностью видеть тень Вареньки в окне.

Как роман Достоевского при всей сложности содержания рассказывает о незатейливом счастье бедных людей, так и рассказ Солженицына повествует о «почти счастливом» дне Ивана Денисовича:

«Засыпал Шухов вполне удовлетворенный. На дню у него сегодня выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся»⁵.

Эти слова рассказа Солженицына звучат как эхо других слов Макара Девушкина:

«Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду всё, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо (недавно Макар Девушкин провинился: запил. — В.З.), из одного уважения к его превосходительству (который одарил его 50 рублями. — В.З.) буду вести себя хорошо и отчётливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем верить друг другу наши мысли, наши радости, наши заботы, если будут заботы; будем жить вдвоём согласно и счастливо. Займёмся литературой... (Пожалуй, это первая откровенная проговорка, чем, собственно, занимается герой в своих письмах, — и неслучаен его творческий акт в финале

романа — неотправленное письмо без даты и без адреса, факт написания которого и превращает переписку героев в литературу, а Макара Девушкина в литератора. — В.З.) Ангельчик мой! В моей судьбе всё переменилось, и всё к лучшему переменилось»⁶.

Подчёркиваю, что здесь речь идёт не о влияниях и заимствованиях, а о неслучайных художественных решениях при всей очевидной разности жизни мелкого чиновника и советского зэка.

Как некогда Достоевский заставил рыдать над своим романом таких искушённых читателей, как Некрасов и Григорович, привёл в восторг Белинского и Панаева, заставил говорить о Макаре Девушкине в великосветских салонах, так и рассказ Солженицына в своё время потряс читающий мир. И вчера здесь прозвучала оценка К. Чуковским рассказа Солженицына: «литературное чудо» (тоже знаменательная отзывчивость критика, ещё в 1918 году вдохновенно и восторженно описавшего литературный дебют, историю публикации первого романа Достоевского).

Художественный эффект рассказа Солженицына был бы очевидно слабее, если бы не точный и безупречный выбор героя, если бы на месте неидеального Ивана Денисовича оказался кто-то другой — более умный, образованный, сильный и волевой, или кавторанга — или Цезарь Маркович. Гениальность художественного решения Солженицына в том, что за колючей проволокой оказался именно Иван Денисович, простой и не совсем простой в своей человечности русский человек, бывший колхозник, не утративший крестьянский толк и сохранивший народную мораль и сметку, солдат, пострадавший от своих больше, чем от фашистов. Образ героя больше и точнее слов, своим явлением перед читателями он наглядно опровергает идейные и политические мифы советской эпохи. Гулаговский зэк, он знает, что жизнь на воле в колхозе не слаще, он озабочен, как ему облегчить участь жены и дочерей, он нашёл способ помочь семье, отказавшись от посылок, чтобы не обременять семью расходами. Он многим зэкам нашёл тапочки — «всё другим, себе не оставил». Ему жалче сохнувшие валенки и портянки своих мёрзнувших ног — он так готов постоять на сыром студёном полу. Он унижен властью, голодом и холодом, ему обидно, что на его срок выпало три високосных года, которые прибавляют три лишних дня к его заключению. У него есть свой способ спастись от бесчеловечного режима — избежать, уклониться, схитрить, не участвовать. Единственное, что не может делать плохо Иван Денисович, — это работать: работает он в удовольствие, весело, мастеровито.

Так и в «Бедных людях». Можно быть умнее, культурнее, образованнее Макара Девушкина, и таких героев русская литература знала: Онегин, Ленский, Татьяна Ларина, Печорин. Достоевский же открыл безграничный духовный мир и раскрыл величие «маленького» человека, страдающего и помогающего другому человеку, открыл героя, который самоотвержен в своей преданной любви и служении ближнему, героя, который в своих письмах обретает дар слова и сам творит литературу.

И здесь ещё одно знаменательное совпадение Солженицына и Достоевского: как современный автор говорит языком и понятиями Ивана Денисовича, так и Достоевский дорожил своим правом говорить от лица героя.

Так было в 1846 году, когда он жаловался брату:

«В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но [есть] нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нём слова лишнего нет»⁷.

И позже в том, что у него «каждое лицо говорит своим языком и своими понятиями», Достоевскому приходилось убеждать в письме от 21 августа 1875 года друга юности и сотрудника «Отечественных Записок» А.Н. Плещеева, редактора «Русского Вестника» Н.А. Любимова в письмах от 8 августа 1879 г. и от 10 августа 1880 г.

В целом и Достоевского, и Солженицына роднит нечто большее, чем то, что возникает в процессе влияний, подражаний и пр., — их сближает и делает конгениальными принадлежность к одной литературной традиции — русской христианской словесности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солженицын А.И. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 // Новый мир. 2000. № 5. С. 186.

² Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 317.

³ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1974. Т. 9. С. 222.

⁴ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 11.

⁵ Солженицын А.И. Малое собрание сочинений: В 7 т. М.: Центр «Новый мир», 1991. Т. 3. С. 111.

⁶ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 74.

⁷ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 117–118.

Павел Стиваковский
МОСКВА

ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА У Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО И А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

Как известно, сама возможность использования полифонической композиции в крупном эпическом произведении — важное завоевание русской литературы XIX века. Ф.М.Достоевский создал не только новую жанровую разновидность романа, но и совершенно особую картину мира, которую также уместно назвать полифонической. Вместе с тем полифоническая картина мира присутствует и в творчестве А.И.Солженицына, и поэтому естественно рассматривать эти два литературных феномена не порознь, а в сопоставлении друг с другом.

Обычно, когда говорят о полифонии, имеют в виду принципиальное «равноправие» между точками зрения персонажей и автора. При этом данное её свойство нередко воспринимается как «плюрализм без берегов», однако следует учитывать тот факт, что против релятивистской интерпретации феномена полифонии резко протестовал и сам М.М.Бахтин¹. В свете этого весьма важным является уточнение В.В.Кожина: «...в художественном мире Достоевского *равноправен* с героями именно *голос автора*², а отнюдь не сам *автор*³, не Ф.М.Достоевский, который создал всех этих героев и которому всецело принадлежит смысл художественного мира “в его последней инстанции” — смысл, соотносимый с *бытием*, а не с сознаниями героев»⁴. Поэтому, по мысли Кожина, «последний, конечный смысл художественного мира, созданного Достоевским, относится к бытию, а отнюдь не к “равноправным *сознаниям*” героев, которые представляют собою всего лишь отдельные порождения бытия»⁵. И это, подчёркивал учёный, опровергает широко распространившееся представление о принципиальном релятивизме художественного мира Достоевского⁶. Дело, однако, осложняется в связи с тем, что *сознания* героев Достоевского — это тоже часть *бытия*, изображённого в его произведениях⁷. Точнее, видимо, было бы говорить о равноправии сознаний героев писателя *в самой повествовательной*

ткани его произведений, а не в художественно воссозданном бытии. Неслучайно Бахтин подчёркивал, что полифония невозможна в драме, где «реплики драматического диалога не разрывают изображаемого мира, не делают его многопланым...»⁸. Герои драматического произведения, по словам учёного, «диалогически сходятся в едином кругозоре автора, режиссёра, зрителя на чётком фоне односоставного мира. <...> В драме невозможно сочетание целостных кругозоров в надкругозорном единстве, ибо драматическое построение не даёт опоры для такого единства»⁹. Очевидно, что принципиальная невозможность полифонии в драме связана с почти полным отсутствием в этом роде литературы повествовательного начала. Именно это отсутствие промежуточных повествовательных инстанций между автором-творцом и действующими лицами в принципе исключает возможность с достаточной степенью убедительности изобразить внутренний мир персонажа как относительно «автономный», в повествовательном отношении «независимый» от авторской точки зрения. Следовательно, есть весьма веские основания говорить о том, что *проявление полифонического начала возможно лишь на повествовательном уровне*.

Поэтому, говоря о полифонии в романах Достоевского, необходимо учитывать тот очевидный факт, что воссозданная в них *жизненная реальность* напрямую зависит лишь от Достоевского как автора-творца. Что же в таком случае представляет собой *полифоническая картина мира* (то художественно воссозданное *бытие*, повествование о котором полифонично)? И что именно побудило Достоевского обратиться к столь необычной композиционной технике? Чаще всего на это вслед за Бахтиным отвечают так: полифония создаёт плюралистическую картину мира, в которой «на равных» присутствуют все голоса персонажей, находящиеся в состоянии потенциально бесконечного диалога, который сам по себе является источником неисчерпаемой художественной глубины.

И это во многом верно.

Дело, однако, в том, что сам Достоевский воспринимал полифоническую картину мира не столь однозначно «положительно». Вспомним, например, сны Раскольникова на каторге.

«Ему грезились в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве <...>. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселившиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так

умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. <...> Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествывали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нём в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. <...> Оставили самые обыкновенные ремёсла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались»¹⁰.

Очевидно, что сны Раскольникова на каторге в сгущённо-концентрированной форме воссоздают те же самые тенденции, которые проявляются и в «обычной» жизни, изображённой в романах Достоевского. И эта принципиальная невозможность договориться между людьми, каждый из которых только своё мнение считает верным и истинным, есть не что иное, как зримое воплощение того самого *потенциально бесконечного диалога*, который описал Бахтин¹¹. Разница лишь в том, что для Бахтина намного более актуальна «либерально-плюралистическая» сторона данного феномена, а для Достоевского — при всей гносеологической значимости того «горнила сомнений», через которое прошёл он сам и через которое проводит своих героев, — более важной и существенной была та глобальная коммуникативная и социальная деконструкция, к которой по самой своей природе скрыто или явно тяготеет полифоническая картина мира.

В «обычной» жизни, изображённой в романах Достоевского, дело, конечно же, не доходит до тех крайностей, которые мы видим в снах Раскольникова на каторге, но мало-помалу для читателя становится очевидным постепенное саморазвитие ситуации именно в этом, катастрофическо-деструктивном направлении. Вместе с тем очевидно, что сны Раскольникова отсылают нас к жизненной реальности, которую Достоевский видеть не мог. И эта реальность в значительной своей части описана Солженицыным, прежде всего в его эпопее «Красное Колесо». Это тот чудовищный и непреодолимый для каждого отдельного человека со-

циально-коммуникативный хаос, который возникает в первые же дни Февральской революции, сразу же после отречения Николая II, и продолжается затем в годы Гражданской войны. Совпадает настолько многое, что у читателя невольно возникает ощущение, будто Достоевский «заглянул» в будущее.

Но та ситуация, которая в «Преступлении и наказании» описана лишь гипотетически, у Солженицына изображена подробно, детально, исторически и документально точно¹².

И вместе с тем повествование в «Красном Колесе» полифонично, причём полифония здесь строится на принципах, резко отличающихся от тех, на которых основана полифония в романах Достоевского. Дело в том, что единый образ автора подвергается на страницах эпопеи весьма своеобразной деконструкции. В главах, посвящённых каждому из многочисленных персонажей этого произведения, образ автора всякий раз максимально приближен по идеологической, психологической и частично фразеологической (языковой) точке зрения¹³ к какому-либо одному конкретному персонажу, индивидуальная точка зрения которого на повествовательном уровне оказывается безусловно доминирующей (в пределах одной главы), и поэтому точка зрения героя временно оказывается «авторской», а единый образ автора на наших глазах распадается, и перед читателем предстаёт произведение в полном смысле слова полифоническое¹⁴. Солженицын совершенно сознательно окружает почти каждого из своих героев «повествовательным ореолом», воспроизводящим именно его специфическую точку зрения на мир: «... для меня главный герой тот, кому посвящена данная глава, и я должен строить всю главу полностью в его психологии¹⁵, и стараясь передать его правоту¹⁶. Больше того, я свой язык — не прямую речь, а свой авторский язык — строю так, чтобы он был верным фоном именно к этому герою, именно в этой главе¹⁷. И вот у меня столько точек зрения в романе, сколько героев»¹⁸, — говорит писатель, и именно эти повествовательные принципы и определяют полифонический характер данного произведения. Из сказанного, однако, вовсе не следует, что точка зрения реального автора в тексте эпопеи «невычислима». Так, например, А.В. Урманов в своей книге¹⁹ весьма убедительно показывает, что в способе отбора и преподнесения читателю различных элементов художественно воссозданной в «Красном Колесе» *бытийной реальности* скрыто присутствует, в частности, и позиция реального автора эпопеи. Но только из этого вовсе не следует, что «Красное Колесо» не является полифоническим произведением, как полагает Урманов. Полифония — сугубо повествовательный феномен, и, обращаясь к бытийной реальности,

воссозданной в романах Достоевского, легко обнаружить, например, что Алёше Карамазову или Зосиме реальный автор «Братьев Карамазовых» симпатизирует намного больше, чем Смердякову, однако на основании этого отнюдь не следует делать вывод, что голоса всех этих героев не оказываются равноправны на *повествовательном уровне*. Именно самоограничение реального автора, который в повествовательной ткани произведения утверждает не свою точку зрения, а точку зрения своего героя, и создаёт полифоническую нарративную «ауру», которая, в свою очередь, «накладывается» в сознании читателя на восприятие бытийного уровня изображаемого, прямо и непосредственно связанного с позицией реального автора. То же самое происходит и в «Красном Колесе» Солженицына.

Деконструкция единого образа автора позволяет писателю показать художественно воссоздаваемую в «Красном Колесе» жизненную реальность многосторонне и многомерно — как в художественном, так и в интеллектуальном плане. На макрокомпозиционном уровне такой повествовательный принцип напоминает голографическое изображение объёмного предмета, которое возникает в результате «суммирования» множества фотографий, каждая из которых является односторонним, «плоским» и «несамодостаточным» визуальным образом этого предмета, однако «суммирование» «противоречащих друг другу» изображений порождает впечатление необыкновенно точного и адекватного соответствия оригиналу. Кроме того, использование такого глубоко новаторского приёма, как деконструкция единого образа автора, позволяет отобразить резкие социокультурные изменения в революционную эпоху, которая на наших глазах приобретает черты полифонической ситуации. Герой «Красного Колеса», философ Павел Иванович Варсонофьев (его прототип — выдающийся русский философ, правовед и социолог Павел Иванович Новгородцев), сравнивает революцию с процессом плавления кристаллической решетки:

«Революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно, сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в междузельях. Но температура растёт — и упорядоченность строения теряется всё быстрее, процесс разгоняет сам себя. И чем больше уже нарушен порядок — тем меньше надо энергии разгонять его дальше. И вот — исчезает последняя упорядоченность, наступает — плавление»²⁰.

Вместе с тем в ситуации революционной анархии и стремительной деконструкции («плавления») всей государственной системы какой бы

то ни было социально-коммуникативный смысл существования каждой отдельной личности теряется. Человек поневоле оказывается замкнут в рамки своего индивидуального мира, вне которого бушует страшная и бесчеловечная революционно-анархическая стихия. Люди, современники, перестают понимать друг друга, потому что окружающая их жизненная реальность утрачивает единые стабильно-государственные формы. В условиях всеобщей разобщённости нередкие попытки отдельных людей хоть как-то изменить положение в лучшую сторону (даже на сугубо местном уровне) не приводят к желаемым результатам, поскольку единственной реальной и действенной силой в данном хронотопе оказываются лишь страсти и устремления анархически-безответственных масс.

Неудивительно и усиление полифонического начала в «Красном Колесе», где точка зрения реального автора (самого Солженицына), вначале открыто выражаемая на повествовательном уровне наряду с точками зрения, принадлежащими многочисленным героям эпопеи, в дальнейшем высказывается всё реже и реже и наконец почти исчезает²¹. При этом радикальнейшая ментальная несовместимость огромного количества персонажей эпопеи лавинообразно «обрушивается» на читателя, постоянно переключающего своё восприятие на всё новые и новые взаимоисключающие индивидуальные миры персонажей, которые на повествовательном уровне осмысливаются как «авторские». Всё это лишает читателя привычной (и очень «уютной») опоры на субъективность реального автора и позволяет в то же самое время ощутить чудовищную, безысходно трагическую разобщённость людей той эпохи не умоглядно, а «изнутри» — как проблему своего собственного читательского восприятия.

Вместе с тем весьма существенно и то, что полифоническая ситуация оказывается закономерным порождением антропоцентрической разобщённости между людьми, когда каждый ориентирован лишь на «свою правду», что вполне естественно для общества, утратившего единую теоцентрическую «точку отсчёта». «А истина, а правда во всём мировом течении одна — Божья», — подчёркивал Солженицын, убеждённый, что «многообразие мнений» имеет смысл, только если оно помогает «приблизиться» к ней²². И полифония исподволь подводит читателя к осознанию необходимости преодоления этого антропоцентрического «беснования» как гносеологического тупика. Читатель вынужден искать истину в сложнейшем лабиринте взаимоисключающих точек зрения персонажей, каждая из которых на нарративном уровне представлена как «единственно верная».

В 1984 году в беседе с Н.А.Струве А.И.Солженицын подчеркнул: «Полифоничность, по мне, метод обязательный для большого повествования. Я его придерживаюсь и буду придерживаться всегда»²³. Однако это утверждение писателя верно лишь отчасти. Так, например, «Архипелаг ГУЛАг» не является полифоническим произведением, поскольку основной смысл этой художественно-документальной эпопеи – противостояние всепроникающему тоталитарному монологу, и это противостояние дихотомически «делит» художественную вселенную «Архипелага» на палачей и жертв, не оставляя места для полифонически многомерного мировосприятия.

Отчасти это относится и к художественному миру романа Солженицына «В круге первом», однако несколько большая степень свободы, которой обладают узники Марфинской шарашки, позволяет вырваться наружу бесконечно многообразной разноголосице мнений (показательно, например, обсуждение «синего света» в начале 14-й главы), и это делает возможным проявление полифонического начала, в частности в главах, посвящённых Рубину и другим персонажам романа. Однако властная необходимость противостояния насильственно навязываемой всем и вся тоталитарной идеологии приводит к тому, что это полифоническое начало в данном произведении оказывается «вписано» в некую композиционную «нишу», поверх которой развёртывается всё то же противостояние палачей и жертв.

Отчасти похожая картина наблюдается и в повести «Раковый корпус», однако здесь полифоническое начало проявляется намного интенсивнее, в частности и потому, что подавляющее большинство героев этого произведения не являются ни зэками, ни бывшими зэками. И всё же противостояние прессу тоталитарной идеологии и социально-государственной системы оказывается здесь весьма важным и существенным, что, по крайней мере отчасти, уменьшает практическую значимость полифонического противостояния между персонажами повести.

И лишь в эпопее «Красное Колесо» полифония проявляется у Солженицына в полную силу, прежде всего потому, что сама общественно-историческая ситуация, воссозданная в этом произведении, в гораздо большей степени располагает к её полифоническому художественному отображению. Здесь нет давления со стороны «обязательной для всех» коммунистической идеологии, и антропоцентрические тенденции Нового времени предстают не в монологически-тоталитарном облике, а в виде релятивистской, почти постмодернистской по своей внутренней сущности либерально-революционной деконструкции какого бы то ни было единого общегосударственного смысла и общественных структур.

В частности, таким предстаёт на страницах этого произведения массовое эйфорическое безумие Февраля. Именно поэтому «Красное Колесо» может и должно быть прочитано и как весьма своеобразный ответ на вызов постмодернистской ситуации, брошенный в XX веке всем нам.

Как известно, Солженицын – сторонник теоцентрической аксиологии, и вследствие этого для него неприемлемы как монологическо-тоталитарная «версия» антропоцентризма, так и его либерально-релятивистская разновидность. Это и есть, по определению писателя, те два «жёрнова», «промеж» которых он оказался в годы изгнания.

Для антропоцентрически ориентированной культуры Нового времени весьма характерна подмена теоцентрически воспринимаемого бытийного факта («логоцентризм») *перцептивным артефактом*, связанным с мировосприятием одного человека или группы единомышленников. Однако именно изначальная *перцептивная ориентация антропоцентрической аксиологии* и создаёт предпосылки для конфликта множества принципиально несовместимых между собой перцептивных систем. Этот конфликт и порождает ту полифоническую картину мира, которая была художественно воссоздана Достоевским и Солженицыным. Разумеется, оба писателя резко отрицательно относятся к антропоцентризму, но при этом они стремятся извлечь из сложившейся де-факто ситуации конструктивно-созидательный смысл. И конечная значимость художественного воссоздания той полубезумной разноголосицы мнений и восприятий, которая доносится до нас со страниц романов Достоевского и эпопеи Солженицына, связана, с одной стороны, с демонстрацией тупика, в котором неизбежно оказывается антропоцентрическо-релятивистская аксиология, а с другой – с возможностью для читателя самостоятельно и без какого бы то ни было монологического «принуждения» со стороны автора преодолеть антропоцентрический соблазн и связанные с ним онтологические тупики и обратиться к единственной подлинно несубъективной и онтологичной «точке отсчёта» – к Богу.

Таким образом, художественное воссоздание полифонической картины мира и использование полифонической нарративной композиции и для Достоевского, и для Солженицына отнюдь не самоцель. Оба писателя с предельной остротой переживают и художественно воссоздают тот бытийно-аксиологический тупик, в котором в эпоху Нового времени оказалась европейская цивилизация. И полифонически деструктивная картина человеческих взаимоотношений, воссозданная в их произведениях, взывает к преодолению антропоцентрической ценностной иерархии. В этом и заключается высший смысл использования полифонии в творчестве Достоевского и Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «...Полифонический подход не имеет ничего общего с релятивизмом (как и с догматизмом). Нужно сказать, что и релятивизм и догматизм одинаково исключают всякий спор, всякий подлинный диалог, делая его либо ненужным (релятивизм), либо невозможным (догматизм)» (*Бахтин М.М.* Собрание сочинений: В 7 т. / ИМЛИ РАН. М.: Рус. словари: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 81).

² Видимо, точнее было бы сказать: голос *образа* автора.

³ То есть реальный автор (автор-творец).

⁴ *Кожин В.В.* Размышления о русской литературе. М.: Современник, 1991. С. 254.

⁵ Там же. С. 253–254.

⁶ См. там же. С. 252.

⁷ В связи с этим заслуживают внимания слова А.Ф.Лосева: «Бытие определяет сознание: а разве само сознание не есть бытие? Или оно действительно не есть бытие, — тогда перед нами чисто кантовский метафизический дуализм: с одной стороны — субъективное сознание, которое не есть бытие; с другой — бытие и “вещи-в-себе”, о сознании которых ничего не известно. Или сознание есть тоже бытие, — тогда сознание “определяется” своим собственным бытием, т.е. законами своего собственного существования; однако тогда против этого не будет спорить ни один идеалист. <...> Я хотел указать только на то, что чисто *диалектически* нужно говорить: и “бытие определяет сознание”, и “сознание определяет бытие”...» (*Лосев А.Ф.* Диалектика мифа. М.: Мысль, 2001. С. 155).

⁸ *Бахтин М.М.* Указ. соч. С. 23.

⁹ Там же.

¹⁰ *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 5. С. 516.

¹¹ Впрочем, и само изложение содержания этих снов Раскольниковца также включено Достоевским в диалогическую композиционную систему. Так, об этих снах героя романа далее говорится: «Раскольниковца мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление горячешных этих грёз» (там же. С. 517). Достоевский не хочет навязывать читателю свою точку зрения и поэтому воспроизводит на повествовательном уровне позицию самого Раскольниковца, который склонен видеть в этих снах лишь «бессмысленный бред». Читатель может согласиться либо с авторской точкой зрения, либо с точкой зрения героя романа — на повествовательном уровне они равноправны. Однако при этом очевидно, что на уровне *бытия*, художественно воссозданного в этом произведении, авторская позиция намного более серьёзна и адекватна и в сознании вдумчивого читателя в конечном счёте *должна* победить именно она.

¹² Так, Февральская революция 1917 года описывается Солженицыным буквально по часам, а иногда и по минутам: столь подробного воссоздания этого события нет на сегодняшний день ни в одном историческом труде. Высокая степень достоверности «Красного Колеса» подтверждается и изысканиями немецкого историка, который, как свидетельствует С.П.Залыгин, в течение шести лет пытался найти ошибки в этом произведении и не нашёл ни одной (см.: *Залыгин С.П., Золотуский И.П.* «Природа единственна и не революционна»: Диалог // Лит. газ. 1992. 28 октября. С. 5). К аналогичным выводам приходит и Д.М.Штурман, изучавшая проблему историзма «ленинских» глав «Красного Колеса»: «... каждое существенное высказывание Ленина в Цюрихе строго документально. Мне удалось найти для них всех аналоги в переписке и сочинениях Ленина» (*Штурман Д.М.* Городу и миру. О публицистике

А.И.Солженицына. Париж; Нью-Йорк: Третья волна, 1988. С. 414). Вместе с тем покойный историк Д.А.Волгогонов отмечал: «Огромное значение для понимания феномена Ленина имеют, как бы я их назвал, историко-художественные произведения Солженицына. Великий писатель смог, продолжая великую традицию Достоевского, заглянуть в подвалы сознания людей, “перевернувших Россию»» (*Волгогонов Д.А.* Ленин. Политический портрет: В 2 кн. М.: Новости, 1994. Кн. 1. С. 23). Показательно и то, что волгогоновская трактовка исторической роли Ленина весьма близка к солженицынской.

Н.А.Струве, говоря об изображении Солженицыным Самсоновской катастрофы 1914 года, подчёркивал: «Может быть, нигде “Август” (имеется в виду “Август Четырнадцатого”, первый Узел “Красного Колеса”. — П.С.) не вызвал такого безоговорочного одобрения, как в военных кругах русской эмиграции. По мнению этих свидетелей-специалистов, военная операция полстолетней давности описана с безукоризненной точностью» (*Струве Н.А.* Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992. С. 273). Н.А.Струве замечает: «...ни на одной фактической ошибке Солженицына не поймали, сколько ни пробовали ловить...» (там же. С. 297). К аналогичным выводам приходит и историк Н.Н.Рутыч (см.: *Рутыч Н.Н.* От Воротынцева к Столыпину; Военная интеллигенция в творчестве Солженицына; Новая тотальная стратегия. По страницам книги А.Солженицына «Ленин в Цюрихе» // *Рутыч Н.Н.* Думская монархия. СПб.: Logos, 1993. С. 68–84, 96–109).

¹³ Типология точек зрения заимствована из работы: *Успенский Б.А.* Поэтика композиции // *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995. С. 7–218.

¹⁴ Концепция полифонии в эпосе «Красное Колесо» изложена здесь предельно упрощённо и лишь тезисно. Более подробный анализ см.: *Стиваковский П.Е.* Феномен А.И.Солженицына: новый взгляд / ИНИОН РАН. М., 1998. С. 42–67.

¹⁵ Психологическая точка зрения персонажа.

¹⁶ Идеологическая точка зрения персонажа.

¹⁷ Фразеологическая (языковая) точка зрения персонажа.

¹⁸ *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1997. Т. 3. С. 286.

¹⁹ См.: *Урманов А.В.* Творчество Александра Солженицына: Учебное пособие. М., 2003.

²⁰ *Солженицын А.И.* Красное Колесо: В т. 10. М.: Воениздат, 1997. Т. 10. С. 528.

²¹ Показательно в этом смысле впечатление Ж.Нива: «Я долго — и даже отчаянно — искал <...> в этом лабиринте зеркал точку зрения автора. К моему удивлению, — добавляет французский исследователь, — я понял, что её нет, что она почти исчезла. Каждый раз, когда я её улавливал, она ускользала. И приходилось приписывать её одному из персонажей» (*Нива Ж.* Поэма о «разброде добродетелей» // *Континент*. М.; Париж, 1993. № 75. С. 289). К похожему выводу приходит и И.Б.Роднянская, по словам которой, прочитав «Апрель Семнадцатого» (четвёртый, последний Узел «Красного Колеса»), мы убеждаемся «в полном отказе Солженицына от знаменитого толстовского всеведения, от, пользуясь термином Бахтина, “авторского избытка” по отношению к сознанию и кругозору персонажей. <...> Автора не видно нигде — ни на романских “небесах”, над взаимодействием лиц, ни в щелях между обрывками газетных сообщений и документальных цитат...» (*Роднянская И.Б.* Уроки четвёртого Узла // *Роднянская И.Б.* Литературное семилетие. М.: Кн. сад, 1995. С. 11). При этом очевидно, что и Нива, и Роднянская имеют в виду именно повествовательный уровень данного произведения.

²² См.: *Солженицын А.И.* Публицистика. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 408.

²³ Там же. Т. 3. С. 264.

Мира Петрова
МОСКВА

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ТЕКСТОЛОГА С АВТОРОМ

Многоопытный текстолог, Дмитрий Сергеевич Лихачёв любил повторять, что текстологией надо заниматься с живым классиком, только тогда работа может дать неколебимую гарантию соблюдения «воли автора», которой обычно клянутся текстологи и которую — увы! — сплошь и рядом трактуют по-разному. Возникают столетние текстологические войны, и на сцену выходит гибельный для всякого дела фактор — борьба самолюбий.

Был, правда, один блистательный пример сотрудничества филолога с автором — Л.К.Чуковской с Анной Ахматовой. Лидия Корнеевна была исступлённым текстологом, знающим цену любой мелочи, но она обходилась без рутинных обрядов академической текстологии — не делала так называемую «пеструшку» и не составляла на её основе текстологический паспорт, где все разночтения — по всем источникам — выстраиваются в шеренгу, которую замыкают три графы: «Пояснения», «Предложения» и, наконец, вершинная, по мечте Д.С.Лихачёва, графа — «Решение автора» вместо бытующего от века — «Решения текстологической комиссии».

Все эти текстологические нормативы будут выдержаны в научном издании романа «В круге первом», которое готовится сейчас в академической серии «Литературные памятники», — первый случай появления в этой серии живущего классика. Текст «Круга» подготовлен на основании обширного текстологического паспорта с собственноручными пометами Солженицына (более четырёхсот!). И этот авторизованный текстологический документ будет сдан на хранение в Отдел рукописей ИМЛИ.

Я не собираюсь душить аудиторию текстологией — на слух и вне текста она вообще не воспринимается. Но общую картину сотрудничества текстолога с автором попытаюсь нарисовать, не пренебрегая биографическими и психологическими подробностями.

Наши текстологические штудии, по свидетельству самого Солженицына, начались вскоре после знакомства, которое он относит к 1966 году. Формально представление произошло годом раньше, 2 ноября 1965, в ЦГАЛИ, за два дня до появления в «Литературной газете» его статьи «Не обычай дёгтем щи белить...» (4 ноября). Солженицын тогда оценивал эту публикацию как знак некоего посветления атмосферы после сентябрьского мрака, когда был изъят его архив у В.Л.Теуша и Александр Исаевич ждал ареста. Полагаю, что именно в тот день он привёз в ЦГАЛИ один из машинописных экземпляров «Круга», рассчитывая на надёжность государственного архивного хранения.

Инициатором знакомства была моя цгалийская приятельница Миральда Георгиевна Козлова. Её одолевало желание впрячь меня в солженицынский воз, чему я противилась. Она-то и вызвала меня в ЦГАЛИ в день приезда Александра Исаевича и представила ему.

Об этом «представлении» он, разумеется, мгновенно забыл, я же от волнения ничего не видела и не слышала, но чрез моё замутненное сознание пробилась ярчайшая экспрессия весёлого и насмешливого удивления, с каким А.И. на меня уставился. Целый год я ломала голову, что бы это значило? — пока не споашилась (словцо Солженицына и Л.Толстого, между прочим) поделиться с Миральдой своим недоумением. Оказалось: она представила меня фразой: «Вот маленькая женщина, на плечо которой можно опереться», что и вызвало насмешливую экспрессию, особенно при моём полуобморочном виде.

Далее Миральда пригласила меня на авторское чтение «Ракового корпуса» в ЦГАЛИ (май 1966). Потом потребовала написать отзыв, пригрозив, что иначе не даст читать вторую часть повести. Пришлось сдаться. 1 июня 1966 я послала своё письмо-отзыв из Пярну на адрес Миральды, которая сочла, что написала я, «как дурочка», «не выдержала её аттестации» и она пребывает в сомнении, можно ли передавать такое позорище автору.

Но — передала. И последовала совершенно неожиданная для нас обеих реакция Солженицына, изложенная в «Невидимках». Ответ Александра Исаевича от 4 июля 1966 начинался словами: «Я поражён Вашим письмом...» — и содержал фразу: «Прочтите роман» (т.е. «В круге первом»).

Было выдано письменное предписание директору ЦГАЛИ Наталии Борисовне Волковой дать возможность мне прочесть «Круг» в читальном зале архива. А вторую часть «Ракового корпуса» я получила уже домой.

Потом Миральда, как пишет Солженицын в «Невидимках», «охотно устроила встречу — у Миры, в Воротниковском переулке»¹.

Да, «охотно» и, между прочим, явочным порядком: мол, встреча назначена, отменить нельзя, и баста. Преодолевая жуткий мандраж, я высказала свои суждения о «Раковом корпусе», которые Солженицын аттестовал как «отважные»².

И пошло-поехало.

Для начала я с большим энтузиазмом перепечатала «В круге первом», «Раковый корпус», «Олень и шалашовку» (один экземпляр себе, три — автору для самиздата). Потом мне была уготована роль первочитателя (индикатора, по слову А.И.), хотя в первом своём письме я предупредила: «У меня нет сознания своего права делать Вам замечания». «Привыкайте! — командовал Александр Исаевич. — Только критические замечания!» Он ещё не знал, какой бес критиканства сидит во мне, несмотря на почти религиозное отношение к его труду и жадность к его текстам.

В то время я делала первые шаги текстолога на ниве академического издания Горького (в ИМЛИ) и порою рассказывала Александру Исаевичу всякие текстологические страсти-мордасти. В частности, о цензурных изыятиях, которые авторы, по невниманию, забывают восстановить. Такой вычерк обычно оставляет в тексте рваную рану, и автору приходится её как-то стилистически заштукатурить. А текстолог теряет возможность «вживить» цензурный вычерк обратно.

Цензурные изыятия были в «Иване Денисовиче», и как-то само собой возникло желание провести текстологическую обработку «всех рассказов», опубликованных к 1966 году, пишет Солженицын в «Невидимках»³. На самом деле я провела обработку только двух рассказов — «Ивана Денисовича» и «Матрёны». Работали в согласном климате. Только когда А.И. решительно заносил перо для правки сразу набело, я буквально вцеплялась в его рукав и молила сначала попробовать начерно. Эти пробы по тексту «Ивана Денисовича» сохранились у меня то ли по случайности, то ли из опасения, что он их немедленно скомкает и разорвёт. (Вообще-то весь скопляемый у меня материал я отдавала А.И., даже против его желания, так как считала, что архив должен храниться в одном месте.) Обсуждали, разумеется, и изменённые в «Новом мире» заголовки. В «Телёнке» Солженицын написал о новомирской «страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям»⁴. Я была против возвращения и неудобоваримого «Щ-854», да ещё с подзаголовком «Один день одного ээка», и против пословичного заголовка «Матрёнина двора» — «Не стоит село без праведника». Твардовский, обладавший отменным словесным слухом, сразу стал именовать рассказ «Праведница». Да и сам Александр Исаевич нимало не покушался на возврат старых заголовков. Мне, грешным делом, казалось, что и в предполагаемом новомирском

названии «Корпус в конце аллеи» больше смысловой игры, чем в лобовом — «Раковый корпус».

Позднее он ставил вопрос о переименовании романа «В круге первом» на более удобное для склонения «Круг первый». Я, по своей инерционности, высказалась за прежнее название, а потом жалела. Тогда же он предложил ещё два заголовка: «Шарашка» или «Шарага». Тут уж я просто вопила: в 60-е годы слово «шарашка» приобрело презрительный оттенок из-за расплодившихся засекреченных КБ; их именовали «шараш-монтаж». Первоначальный же заголовок — «В первом круге ада» — Н.А.Решетовская, по её воспоминаниям, предложила сократить на последнее слово⁵. В декабре 1997 я спросила Александра Исаевича, так ли это, — он подтвердил.

В мемуарном и публицистическом обиходе Солженицына чаще всего встречается «Круг первый» или просто «Круг». Когда речь заходит об истории создания: «Круг-87» («лекарственная» версия, по числу глав) и «Круг-96» («атомная» версия, тоже по числу глав).

При первом текстологическом опыте 1967 года меня поразило, что провинциальный автор не подвергся никакой стилистической правке в столичном журнале. Это говорило о вкусе новомирцев и зрелости якобы начинающего писателя («Круг-96» был уже написан). Опытный Твардовский сразу почуял масштаб и отточенное мастерство рязанского «новичка». 18 ноября 1962, в день выхода журнала с «Иваном Денисовичем», Александр Трифонович — раным-рано, в 5 часов, — перечитал «Матрёну» и не записал, а выдохнул в своём дневнике: «Боже мой, писатель. Никаких шуток»⁶.

В 60-е годы текстологией «Круга» я заниматься не могла, так как имела перед глазами всегда только одну, последнюю редакцию. Перепечатывала и «Круг-96» и как-то особо сложно сверяла его по двум разным перепечаткам, а списки опечаток относила Анне Самойловне Берзер в «Новый мир», по соседству. То, что Александр Исаевич именуется в «Невидимках» «сравнением редакций», нужно назвать «сравнением разных перепечаток» одной и той же редакции. В дневнике, который стала вести с октября 1968 года, я всякую совместную работу с Солженицыным именовала — для конспирации — «текстологией». Адресовала свои записи «будущим текстологам». Мне ни на полсекунды не влетало в голову, что этим далёким адресатом буду я сама.

В начале 1968 года Солженицын попросил меня сделать замечания по тексту «Круга-87» — письменно, на отдельных листках каждое. Чтò я накатала — не помню, но у меня есть его письмо, датированное 10 апреля 1968 года; в нём он откликается на эти мои заметки, в частности об

автобиографическом герое Глебе Нержине: «Заметки по роману, такие добросовестные и горячие, и упрёчные, так растрогали меня, что захотелось вот сейчас же ответить <...>. Обязательно проведу сейчас переделку романа — но почти только для собственного удовлетворения, потому что всё — в пустой след, и РК и “Круг” выйдут, и узнаются, и запомнятся в каких-то неокончателных, недоправленных редакциях. И многое непереносимо слабое, что в романе есть» и что в заметках показано — «увы, уже не убрать, так и опубликуют. Больше всего я люблю в вещах самые последние редакции — 6-ю, 7-ю, где дожимаются вершки. И почти никогда не удаётся мне спокойно сделать их. И вот к 50 годам все вещи разлетелись, ушли из рук — а ощущения совершенства так и нет, не состоялось. Сколько я слышал восторгов по поводу “Круга” от людей, очень искушённых в л-ре, вообще от людей большого кругозора — и никто мне до сих пор не указал такой простой и такой явной (когда названа) вещи: что Нержин — голубой... Ведь верно! И — поздно...»⁷.

Письма Александра Исаевича и мой собственный, убогий и самоцензурированный, дневник иногда помогают мне в работе, при почти полном отсутствии в моём распоряжении архивных материалов-первоисточников, за исключением всех сохранивших редакций романа, предоставленных мне Александром Исаевичем и Наталией Дмитриевной.

Да ещё Елена Цезаревна Чуковская с любезной готовностью передала мне упоминания «Круга» из записей своих и Лидии Корнеевны и кое-что добавила устно.

В 70–90-е годы Солженицын помнил далеко не все перипетии редакций, перепечаток, хранений и прочего. Этого вообще нельзя запомнить, не записав. Он насчитывал семь редакций, включая две первые (рукописные и давным-давно уничтоженные). На самом деле редакций было восемь. Одна, «искажённая», по определению А.И., т.е. превращающая «Круг-96» в «Круг-87», с заменой атомной пружины на лекарственную, тоже была уничтожена. Анализ определил и этот провал в текстовом развитии романа, и основу, на которой была проведена «искажительная» редакция 1963/1964 года. Одновременно прояснилась и причина уничтожения этой редакции. Дело в том, что за основу был взят один из двух строго конспиративных экземпляров авторской машинописи 1961 или 1962. Солженицын называет её «плотной» машинописью (напечатана на полулистах, с двух сторон, почти без полей и интервалов). К счастью, сохранилась одна глава этой уничтоженной редакции. Так как от редактуры и вставок «плотная» машинопись распухла и разломатилась, хранить её потаённо было уже невозможно. И она отправилась в огонь.

Текстология разъяснила ещё одну путаницу в свидетельствах Солженицына.

В «Телёнке» он пишет, что *все четыре* экземпляра «Круга» новомирской машинописи, опечатав их у новомирского вахтёра-стукача (для самиздатского алиби), он отнёс 7 сентября 1965 прямо к В.Л.Теушу, где оставил только три (они и были арестованы 11 сентября и пропали в недрах ГБ). А один отнёс в редакцию «Правды» и ещё один (?) «через сутки» отдал в ЦГАЛИ⁸. Но поскольку цгалийский экземпляр имеет густую авторскую правку, эта версия отпадает совершенно. В редакции такие экземпляры не носят (да и не принимают).

Более точную версию Солженицын изложил на пояснительном листе для моей текстологической работы. К Теушу он отнёс *только три* новомирских экземпляра, а четвёртый попал в ЦГАЛИ. Но упорно настаивал, что это был совершенно «пустой» экземпляр и смотреть его мне не следует. Между тем в цгалийской описи солженицынского фонда ясно зафиксировано: машинопись с правкой автора. Раз экземпляр побывал в руках автора, текстолог обязан его изучить.

Даже когда в ноябре 2000 я сообщила Александру Исаевичу, что цгалийский экземпляр «Круга» содержит большую авторскую правку, в которой я сейчас разбираюсь, он продолжал упрямыться:

— Эти экземпляры из «Нового мира» никуда не годятся. Я с ними не работал.

А дело обстояло так. Один новомирский экземпляр отбил от других ещё летом 1964 года, когда в «Новом мире» 11 июня состоялось многочасовое обсуждение романа, ибо Твардовский всерьёз вознамерился его напечатать. (Хрущёв ещё не был снят, а его помощник В.С.Лебедев, сыгравший свою роль в истории с «Иваном Денисовичем», не читал ещё начала «Круга», которое повергло его в праведный партийный гнев.)

Выступавшие на обсуждении члены редакции, а затем и внутренний рецензент М.А.Лифшиц в своих замечаниях ссылались на страницы новомирской перепечатки. Естественно, что автору для ответов была предоставлена одна из машинописных копий. Этот экземпляр весь испещрён правкой Солженицына, ибо прожил у него больше года — с июня 1964 до осени 1965, времени сдачи в ЦГАЛИ.

Разобравшись, я поняла, что правка цгалийского экземпляра частично состоит из переносов с рабочего экземпляра «Круга», а частично — это творческая правка, никуда не попавшая, но сверхценная по своей природе, которую Солженицын в 2001 году, при рассмотрении паспорта, принял и авторизовал собственноручным «да» в графе «Решение автора».

Правда, для начала подозрительно спросил: «А это моя правка?» — «Александр Исаевич, — простонала я, — чёрными чернилами...» Далее он не сомневался: солженицынская правка всегда целеустремлённо улучшает текст, поэтому я никогда не колебалась в случаях так называемой «воздушной правки», которая всегда возникает при авторской перепечатке. Спутать её с опиской невозможно.

Приведу только один пример цгалийской правки.

В главе 32 («На путях к миллиону») профессор Челнов, блистательный математик-зэк и редкий мудрец, высказывал мысль, близкую одно время Солженицыну: «Только зэк наверняка имеет бессмертную душу, а *вольняшке* бывает за суетою отказано в ней»⁹. Столь узкое и надменно-неосновательное зэковское самохвальство не подходило человеку духовно свободному. И Солженицын исправил в цгалийском экземпляре: «Душу, да ещё бессмертную, не всякий человек успеваешь в себе осознать за суетою».

Между прочим, без автора эту боковую правку из другого экземпляра текстолог не мог бы внести из-за жупела контаминации.

Другой системный текстологический казус возник в главе 44 («На просторе»), где три машинописные копии правились по-разному, а в дальнейшую перепечатку попал экземпляр с неполной правкой (а сам исчез, не сохранился!). И любимейшая работа Солженицына над «последними вершками» осталась в экземпляре, который в качестве своеобразной архивной ухмылки лежит себе на виду, в той самой редакции, которая служила автору источником для следующей перепечатки. С такими «играми» текстолог встречается постоянно. В результате в одной этой 44-й главе пришлось сделать 22 стилевые поправки.

Как известно, Солженицын, по соображениям конспирации и стеснённого быта, сжигал все подготовительные материалы к «Кругу»: планы, заготовки, черновики и пр. и пр.

К счастью, шесть листочков, относящихся к работе над «Кругом», оказались всё же в ЦГАЛИ. Одна запись озаглавлена рукою Солженицына «Для АТТ» и содержит ответы на замечания Твардовского по «Кругу» в 1964 году. Там есть такой пункт: «После “Ковчега” композиционно *необходим* громадный взлёт арестантской вольницы. Это может сделать только “Князь Игорь”» (речь идёт об игровом суде над оперным героем; действие, распространённое в молодёжной среде 20–30-х годов).

Что бы я поняла в этих строках без своего дневника?! Но, к счастью, в нём нашлась запись от 22 ноября 1968 года: «А.И. очень доволен “текстологией” и шуточно предлагает выдать мне письменное разрешение править его рукописи по моему усмотрению.

— Прекрасно, — отвечаю. — И я воспользуюсь этой бумагой, чтобы исправить...

— У Горького?..

— Нет, у Солженицына. «Суд над князем Игорем». Выкину или сокращу. Во всяком случае, всё оперное.

Ему же эта глава нравится. Хотя ещё два человека, кроме меня, рекомендовали её убрать: Твардовский и Евтушенко».

И становится понятным, на какое замечание Твардовского возразил Солженицын в цгалийской заметочке. Думаю, однако, что не композиционный просчёт имел в виду АТТ, а художественный: снижение своеобразной солженицынской смеховой стихии (главы «Улыбка Будды», лекция на шарашке «Диалектический материализм — передовое мировоззрение» и др.) до чужеродного капустнического юмора.

В той же бесценной цгалийской единице лежит клочок тёмной бумаги, похожей на обложку школьной тетради, с двумя одинаковыми пометами зелёной шариковой ручкой — *III* (т.е. Шарашка). Такие зелёные пометы, пояснения Александр Исаевич делал на своих рукописях, передавая их в ЦГАЛИ в 1965 году.

В КОМНАТЕ № 15

1. Букгаков (математик)	Костюков
2. Сухов (физик)	Сушин
3. Моторный — Колбасов — Гуцев (химик)	Гарбузов
4. Синицык (геолог) <i>III</i>	Васильев
5. Курчёнков (географ) <i>III</i>
6. (физик)	Ревич

10 ИЮЛЯ

Около «Курчёнкова» я бы и сама поставила *III*, ибо так именовался вплоть до четвёртой редакции один из основных персонажей романа — Валентуля. Да и внешность его вполне совпадала с семантикой фамилии: узкоплечий, щуплый, тонконогий. Потом он будет переименован в Окорёнкина (тоже что-то куриное) и, наконец, получит фамилию Пряничков (содержащую нечто детски-простодушное, звонко-колокольчатое, как и голос Валентули).

Что касается даты, то она безусловно связана с основанием Марфинской шарашки 9 июля 1947 года, причём «летним вечером». Так что в ра-

бочей комнате № 15 зэки могли собраться только на следующий день — 10 июля.

Примечательным мне показалось и число фамилий, упомянутых в цгалийском клочке, — 12. В мае 1969 я записала слова Александра Исаевича: «9 июля — открытие Марфинской шарашки. Нас 12 человек зэков-основателей. Потом этим обстоятельством даже гордились».

Я уже готова была сделать вывод, что в сохранившемся обрывке перечислены основатели шарашки. Но всё же — для осторожности — показала копию листочка Александру Исаевичу 2 мая 2001, когда наша десятичасовая текстологическая страда была закончена и он находился в благорасположенном настроении.

В левом столбце он сразу признал три фамилии (Гущев, Сухов, Моторный) — из Ростовского университета, где учился. Затем стал делать поправки: мол, Курчёнков — не географ, Синицык — не геолог. Но тут я позволю себе предпочесть молодую память 1955 года. В первом случае профессия прототипа (географ) была вытеснена в памяти романной профессией героя — инженер. А след «геолога» Синицыка мы находим в 3-й главе «Круга», где в арестантской многоголосице всплывает фраза о составе шарашки: «Даже одного геолога по ошибке завезли»¹⁰.

Фамилий из правого столбца Солженицын вообще не помнил. Не сразу, но я поняла почему. В левом столбце стоят фамилии реальных лиц, тех, кто намечался в прототипы героев задуманного ещё в Марфине романа о Шарашке, а в правом — предполагаемые фамилии вымышленных персонажей. Вот почему под 3-м номером слева стоят три фамилии, а справа — одна (иногда персонаж имеет два или даже три прототипа). Вот почему прототип Сухов получил близкую романную фамилию Сушин. Вот почему у прототипа Курчёнкова нет никакой иной фамилии в персонажном столбце — герой «Круга» сохранит её в первых редакциях.

Позволю себе предположить, что за стоящим на первом месте математиком Букгаковым, превращённым в правом столбце в Костюкова, скрыт след будущего автобиографического героя. Ведь корень фамилии *кост* переключал потом в фамилию Костоготов, а Солженицын с бухты-барахты своих героев не называет, тем более автобиографических. Кстати, неудобнопроизносимое «кг» в фамилии прототипа торчит как некая «фонетическая кость»...

Вместе с обрывком плохой бумаги, свидетельствующим об убогом обиходе ссыльного, выплыла из небытия первая песчинка будущего «готического собора» — так назвал «Круг» Генрих Бёльль¹¹.

В статье к прошлому юбилею Солженицына я заметила, что при создании своих героев он «использует разные стадии своего развития и

разные свойства своей души»¹². И перечислила персонажей «Красного Колеса», в которых видела автобиографический подтекст. Александр Исаевич в телефонном разговоре подтвердил мою догадку. Потом я обратила внимание на то, что фамилии всех автобиографических персонажей, начиная с «Ракового корпуса», состоят, как и фамилия Солженицын, из четырёх слогов с ударением на третьем: Кос-то-глю-тов, Вор-тын-цев, Ле-нар-то-вич, Вар-со-нофь-ев.

Как говорила Цветаева: «Раз — случайность, два — подозрение на закон»¹³. А уж четыре раза, да ещё у Солженицына, это — сам Его Величество Закон. Правда, иногда и случай включается в художественную игру. Давая имя стержневому герою романа, свершителю безумного по смелости поступка, Солженицын назвал его Иннокентием, не зная, что это имя значит «невиновный». Потом Александр Исаевич говорил об этом с удовольствием.

Что же касается фамилии протагониста Солженицына — Нержина, то у меня сначала была твёрдая, но ложная уверенность, что она восходит к корню *нерж*, который штампуются на изделиях из нержавеющей стали.

Ещё в 60-е годы я читала автобиографическую повесть «Люби революцию», написанную в Марфинской шарашке¹⁴, а «закрытую» (т.е. законспирированную) лагерную поэму «Шоссе Энтузиастов» (теперь «Дороженька») перепечатывала в 1969-м. В обеих вещах автобиографический герой носил имя Сергей Кержин. В сборнике «Протеревши глаза» (1999) фамилия Кержин была закономерно заменена на Нержин, и только имя Сергей в поэме осталось, ибо односложный «Глеб» разрушил бы размер.

22 марта 2001 года я посетовала в телефонном разговоре, что мне не предоставлена возможность проследить по цгалийским материалам эволюцию автобиографического героя.

Александр Исаевич ответил:

— Я вам сейчас всё расскажу. На фронте я встретил название деревушки — Свержень, которое очень приглянулось¹⁵. Решил взять для фамилии героя, убрав «с», чтобы снять смысловую переключку с глаголом «свергать». Получилась фамилия «Вержин», которая казалась красивой. Потом изменил на «Кержин». Затем решил устранить созвучие со старобрядцами [кержаками], заменил первую букву.

— О созвучии с корнем *нерж* не думали?

— Нет.

— А почему Решетовская, говоря о «Круге», как-то назвала «Сергей и Надя»? Может быть, на первых порах фамилия Кержин фигурировала и в романе?

— Какое это имеет значение? — уже раздражаясь. — В первой сохранившейся редакции — Нержин, а остальное не важно.

— Ну это для вас не важно, а для исследователя всё важно.

Помрачнел, узнав, что текстологией моя работа не кончится. Будет ещё описание сохранившихся рукописей с фиксацией всех изменений в сюжете, композиции, характерах, стиле и прочее, и прочее. И только потом собственно история создания романа.

Выразил неудовольствие от такой громадной и «ненужной» работы...

— Значит, сколько же вы ещё будете обращаться ко мне со всякими вопросами?..

— За год первый раз.

— Да ещё триста предстоит!..

— Более трёхсот. Но вряд ли вы сочтёте их такими уж «ненужными».

Александр Исаевич с самого начала пытал меня, сколько текстологических казусов будет в паспорте. Сдуру я как-то лягнула: 30–40. Он удовлетворённо хмыкнул. Потом стала уточнять: счёт пойдёт на многие десятки, на сотни... На числе 300 он взорвался, и дальнейшую информацию я прервала; только твердила: «Вы не враг своего текста», «Не я же сама их сочиняю». Его бесил предстоящий расход времени при убывающих силах. Вплоть до 1 мая 2001, т.е. кануна нашей десятичасовой страды, он требовал, чтобы я поделила текстологический паспорт на две части: важную и не важную. Я категорически отказывалась.

Ехала в Лыково с тяжёлым чувством, но после первых же позиций паспорта А.И. совершенно переокрасился и был сверхвнимателен к любой мелочи. И когда на какой-то совсем уж пустяковине я извинительно проговорила: «Что делать — отрасль такая», он благорасположенно откликнулся: «Ну что вы — я понимаю».

Из 409 случаев он принял 314.

Среди них все разновидности искажающих «авторскую волю» наслоений, известных в текстологии: опечатки, описки, пропуски, перестановки, недоправки, недосмотры и т.д. Сам Александр Исаевич при авторской перепечатке почти не ошибается. Почти... Но и над ним властвует коварная ловушка, которую наборщики и редакторы именуют «козлом»: если соседние отрывки текста кончаются (или начинаются) одинаковыми словами, то глаз проскальзывает, теряя часть фразы или даже целую строку.

Вот один из примеров такой «дорогой пропажи» в главе 20 («Этюд о великой жизни»). Самодовольные воспоминания Сталина, как он «переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу», содержали в автографе выразительный параллелизм: «Сделаешь вид — рассердился, они ищут, в чём

виноваты. Сделаешь вид — от любви размягчился, они уже — вдвое мягкие». После авторской перепечатки осталось лишь второе предложение и в осиротелом виде пошло по всем изданиям...

Только в сталинских главах несколько таких «козлов», а замечен был лишь один, при этом — что характерно! — вместо того, чтобы проверить по автографу, Солженицын создаёт так называемую конъектуру (новый вариант текста), иногда удачную, иногда не очень (если правка «Круга» ведётся много лет спустя, без погружения в текст, при отвлечённом внимании на другую работу).

Даже простая перестановка слов может нанести смертельный удар тексту. Есть в романе сценка, которая должна быть причислена к жемчужинам, — разговор Сологодина и гравёра-зэка в момент, когда оба — «на взлёте». Сологдин победоносно провёл рискованную операцию с шифратором, ведущую к верному и скорому освобождению («он слышал пение как бы вселенской победы»). Гравёр на свидании с женой получил очередную порцию похвал своим новеллам, которые он исхитрялся передавать на волю и которые вызывали у доверенных лиц такие вот отзывы: «Даже у Чехова редко встречается столь законченное и выразительное мастерство». При этом — обоим персонажам собеседник представляется «совершенно средним человеком». Сначала этот мотив — собственного «взлёта» на фоне заурядного человека — проигрывается гравёром. Затем переходит к Сологдину, чтобы повториться в тех же формулировках: перед ним «не вовсе глупый, но совершенно средний человек...». В машинописной основе 7-й редакции (1968) произошёл сбой: «вовсе не глупый...» — разрушивший узорный чертёж эпизода! И так пошло в дальнейших изданиях...

Свои тексты Александр Исаевич проверяет очень зорко, но сам никогда не считывает с автографом или авторской машинописью. И тут недосмотров не миновать. Пусть редких, но при большом объёме романа и многих перепечатках — исчисляемых сотнями.

Даже так называемые «зелёные точки» порою вымываются из текста (такие точки с конца 60-х Солженицын ставил на полях рукописи рядом со «своими» словами — из области языкового расширения). Когда Александр Исаевич увидел в паспорте вместо «очищенного ночного кабинета» Сталина восстановленное авторское: «очищённого ночного кабинета», он воскликнул: «Моё слово!» — и, как ястреб, накинулся на потерянную «золотинку».

Текстолог кропотливо и любовно протирает драгоценную поверхность текста, возвращая ей авторскую первозданность. А если ещё текстолог работает с самим творцом, то возможности исправлений неизме-

римо расширяются: всё недоправленное подлежит доводке, неудачные обороты, повторы и другие недогляды — устранению.

Михаил Леонович Гаспаров делит литературоведение на два разряда: точноведение и что-то ведение и напоминает этимологию наименования «филолог» — «любитель слова». Сергей Сергеевич Аверинцев формулирует ещё решительнее: «Филология — это служба при тексте».

Так что, господа филологи, не пренебрегайте текстологией!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. М., 1996. С. 463.

² См. там же. С. 463–464.

³ См. там же. С. 464.

⁴ См. там же. С. 28.

⁵ См. *Решетовская Н.А.* Александр Солженицын и читающая Россия. М., 1990. С. 56.

⁶ *Твардовский А.Т.* Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000. № 7. С. 139.

⁷ «Голубой», т.е. идеализированный; современного смысла слово тогда не имело.

⁸ См.: *Солженицын А.И.* Указ.соч. С. 117, 118, 123, 125.

⁹ *Солженицын А.И.* В круге первом. М., 2004. С. 231. В гл. 86 такую же мысль высказывает Герасимович: «У вольняшек не было бессмертной души, добываемой ээками в их бесконечных сроках» (С. 706).

¹⁰ Там же. С. 18.

¹¹ Из статьи Г.Бёля «Мир несвободы» о романе «В круге первом» (журнал «Меркур». 1969. № 5); специально для Солженицына её тогда же прекрасно перевёл Ефим Григорьевич Эткинд. Цитирую по экземпляру этого перевода, который А.И. подарил мне в июле 1969 года. В России статья Бёля была опубликована через 20 лет, в другом переводе (Иностранная литература. 1989. № 8).

¹² *Петрова М.Г.* Александр Исаевич Солженицын (к 80-летию со дня рождения) // Известия АН. Серия литературы и языка. 1998. Т. 57. № 6. С. 76.

¹³ *Цветаева М.И.* Собрание сочинений: В 7 т. М., 1995. Т. 6 (Письма). С. 225.

¹⁴ Солженицын был в трёх шарашках: Рыбинской (июль 1946 — март 1947), Загорской (март — июль 1947) и Марфинской (июль 1947 — май 1950).

¹⁵ Упомянута в лагерной поэме:

Отступаем — мрачен, наступаем — весел,
Воевал да спирт тянул из фляги.
Ола. Вишеньки. Шипарня. Бёсесь.
Свержень. Заболотье. Рудня-Шляги.

(*Солженицын А.И.* Дороженька. М., 2004. С. 73.)

Олег Лекманов

МОСКВА

ИВАНЫ В «ИВАНЕ ДЕНИСОВИЧЕ»

Потенциал ономастики в рассказе А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» используется экономно и эффективно.

Жёсткая лагерная иерархия, подчиняющая себе сознание всех персонажей произведения, за исключением баптиста Алёшки, многократно усиливает и на воле существенную разницу между полными и уменьшительными именами, именами и фамилиями, фамилиями и именами-отчествами. Это тонко показано автором, например, в той сцене рассказа, где приболевший Иван Денисович пытается получить в лагерной санчасти освобождение от работы.

«...в дежурке сидел фельдшер — молодой парень *Коля Вдовушкин*, за чистым столиком, в свеженьком белом халате — и что-то писал.

<...>

Шухов снял шапку, как перед начальством... *Николай* писал ровными-ровными строчками...

— Вот что... *Николай Семёныч*... я вроде это... болен...

<...>

— Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришёл? Ты же знаешь, что утром приёма нет? Список освобождённых уже в ППЧ.

<...>

— Да ведь, *Коля*... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит...»¹

Юный фельдшер, увиденный глазами голящегося ему если не в отцы, то в старшие братья главного героя, сперва совсем «по-граждански» назван «Колей». Но поскольку он «начальство», перед которым положено снимать шапку, «Коля» стремительно преобразуется в «Николая», а потом (в реплике Шухова) — в «Николая Семёныча». Когда же Иван Денисович предпринимает попытку человеческого

контакта со Вдовушкиным, «Николай Семёныч» снова урезается до «Коли».

На то, что выбор формы обращения одного лагерника к другому имеет первостепенное смысловое значение, автор «Ивана Денисовича» в своём рассказе дважды указывает прямо. Ближе к финалу, в сцене на стройке:

«— Иди, бригадир! Иди, ты там нужней! — (*Зовёт Шухов его Андрей Прокофьевичем, но сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся. Не то чтоб думал так: “Вот я сравнялся”, а просто чувствует, что так.*)» (92)

И — ближе к началу — в том фрагменте, где главный герой впервые фигурирует как «Иван Денисович» (до этого автор называл его исключительно «Шуховым», а надзиратели — по номеру — «Щ-854»):

«Павло поднял голову.
— Нэ посадылы, *Иван Денисыч?* Живы? (*Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отчеству да выкают.*)» (26)

Разумеется, подбор большинства имён, отчеств и фамилий в рассказе Солженицына неслучаен. Такие фамилии, как «Фетюков», «Волковой» — «бог шельму метит, фамильцу дал!» (32), «Буйновский» и многие другие просто и выразительно характеризуют тех, кому они даны автором «Ивана Денисовича». Почти то же самое можно сказать об имени и отчестве солженицынского интеллигента — «Цезарь Маркович» — чьи «древнеримские», царственные обертоны по полной программе обыгрываются в рассказе.

«Цезарь богатый, два раза в месяц посылки (42–43). <...> Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху (72). <...> Шухов бросился мимо БУ-Ра, меж бараков — и в посылочную. А Цезарь пошёл, себя не роняя, размеренно, в другую сторону» (110)

и тому подобное.

Та основная причина, по которой Солженицын дал своему заглавному герою имя «Иван», вряд ли нуждается в специальном комментарии и обосновании. Иван — «самое обиходное у нас имя... по всей азиатской и турецкой границе нашей, от Дуная, Кубани, Урала и до

Амура, означает русского. <...> Иван простак и добряк» (цитируем словарь В.Даля).

Вместе с тем внимательный читатель рассказа, на наш взгляд, обязательно должен время от времени вспоминать известное выражение «Иван, не помнящий родства».

Губительный отрыв от родных корней, рабское подчинение законам, навязанным новой властью, — всё это, согласно Солженицыну, составляет едва ли не суть характера бывалого лагерника (читай — опытного советского гражданина):

«...за столом, ещё ложку не окунувши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичок.

А русские — и какой рукой креститься, забыли. (19) <...>

Писать теперь — что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. (38) <...>

Ни по-плотнички не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, весёлый — это ковры красить». (39)

В том, что сознание самого Ивана Денисовича заражено коррозией безверия и забвения вековых устоев, читатель убеждается из его финального идеологического спора с баптистом Алёшкой (139–141).

Именно поэтому чрезвычайно важно, что герою произведения присвоено не только имя, но и отчество, — всё же он крепче многих других персонажей рассказа и на почти генетическом уровне помнит о своём крестьянском происхождении, а советскую власть воспринимает как чуждую и досадливо-навязчивую силу.

«— Не иначе как двенадцать, — объявил и Шухов. — Солнышко на перевале уже.

— Если на перевале, — отозвался кавторанг, — так значит не двенадцать, а час.

— Это почему ж? — поразился Шухов. — *Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.*

— То — дедам! — отрубил кавторанг. — А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

— Чей ж эт декрет?

— Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце *ихим* декретам подчиняется?» (57–58)

Имя «Иван» у Солженицына — это своеобразный «общий аршин», мерило русского национального характера со всеми его достоинствами и недостатками. «Недоиваны» в рассказе сурово осуждаются, как осуждается устами старого зэка фильм Сергея Эйзенштейна «Иоанн Грозный» (на самом деле, и это важно, называвшийся «Иван Грозный»):

«— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ртом задержал, сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба настоящего! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единичной тирании. Глумление над памятью трёх поколений русской интеллигенции!» (71)

Но и «Переиваны» автором изображаются с нескрываемой иронией. Таков в произведении «худой да долговязый сержант черноокий» (11), надзиратель с «избыточной» кличкой *Полтора* Ивана. И «Иван в квадрате» — условный *Иван Иванович*, которому на воле полагается «отдельная зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата» (52). Здесь важно отметить, что «Иванами Ивановичами» в лагерях презрительно называли бывших работников умственного труда. «Вы давно на Колыме? — спросил самый храбрый, разглядев во мне “Ивана Ивановича”» (В.Шаламов. «Геологи»).

Идеально сбалансированным героем предстаёт у Солженицына бывший крестьянин Иван Денисович, умело пребывающий в «жилистом, не голодном и не сытом», т.е. срединном, гармоничном «состоянии» (108).

Возможно, что именно на способность Ивана Денисовича «заморозить», сохранить неприкосновенной свою личность намекает его фамилия — Шухов, от «шух» — «лёд» (словарь В.Даля). Напомним, что мотив неподатливого, твёрдого льда — один из ключевых в рассказе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича. М., 1963. С. 23–24. Далее рассказ цитируется по этому изданию, с указанием номера страницы в круглых скобках. Подчеркивания в цитатах везде мои. — *О.Л.*

Андрей Ранчин
МОСКВА

ТЕМА КАТОРГИ В «АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГЕ» А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА И В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА. НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ¹

Среди описаний каторжных порядков и каторжного быта XIX века, на которые ссылается Солженицын в «Архипелаге ГУЛага», упомянуты «Записки из Мёртвого дома» Ф.М.Достоевского и «Остров Сахалин» А.П.Чехова. Несомненно, для автора «Архипелага» произведения Достоевского и Чехова значимы не только как исторические источники, но и как художественные тексты. Это тексты-«предшественники», в соотнесённости с которыми «Архипелаг» приобретает новый, дополнительный художественный смысл².

Художественная природа «Архипелага ГУЛага» отмечена самим автором в подзаголовке, имеющем жанроуказующий смысл: «Опыт художественного исследования». Автор осознавал, что «Архипелаг» — достояние именно русской литературы, а не только русской общественной мысли. О советских лагерях Солженицын писал прежде всего не как публицист, но как обличающий и наставляющий проповедник. Преемственность по отношению к русской литературе, стремившейся быть пророческим словом, позволила Солженицыну сказать накануне неизбежной мести за тот «прорыв немоты» (Л.Чуковская), каким был «Архипелаг ГУЛаг»: «Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой её, над любым русским автором»³.

Заглавие солженицынской книги — метафора, семантика и мотивация которой раскрываются, в частности, при соотнесении с названием книги Чехова о сахалинской каторге. Подробное истолкование названия солженицынской книги было недавно предложено В.Курицыным:

«Что мы можем сказать о собственно метафоре архипелага, вынесенной в название книги? <...>

Речь идёт о мистической или виртуальной стране, существующей наравне с реальной страной № 1, — как в силуэтах града земного может просвечивать град небесный. <...>

Почему «архипелаг» — то есть пространство разодранное, неединое?

Возможно, отчасти потому, что дискретность — одно из традиционных свойств мифологического пространства, где действуют не законы и социальные единицы, а боги, герои и интуиции. Кроме того, клочковатость географическая пересекается здесь с клочковатостью, так сказать, логической: работает большое количество неувязываемых в единое целое законов, указов, юридических институций, в провалах между которыми осуществляется тотальное наказание»⁴.

Но метафора архипелага может быть объяснена и иначе. Её источник — книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», неоднократно упоминаемая на страницах «Архипелага»: сравнивая описанный Чеховым быт сахалинских каторжников с положением советских узников, Солженицын убеждает, что порядки старой каторги были несоизмеримо более лёгкими, щадящими и гуманными.

«Чеховский» код «Архипелага» раскрывает оппозицию: остров Сахалин — архипелаг ГУЛАГ. Одному каторжному острову противопоставлен громадный неисследованный архипелаг советской каторги. Сахалинская каторга находилась на периферии Российской империи, море отделяло землю отверженных от свободного материка. Метастазы (ещё одна устойчивая метафора Солженицына) гулаговского архипелага захватывают, опутывают мертвящими щупальцами всю территорию бывшей России. В отличие от Сахалина архипелаг ГУЛАГ постоянно разрастается. Сахалин стал главным местом сосредоточения узников в Российской империи. Каторга была изолирована, отрезана от материковой России. Чехов об этом пишет. Архипелаг ГУЛАГ движется в обратном направлении: от периферии к центру, с острова на материк. Повествование об истории ГУЛАГа Солженицын открывает описанием первого «официального» лагеря — Соловецкого, созданного на островах в Белом море (часть третья, гл. 2 — «Архипелаг возникает из моря»); затем рассказывается уже о позднейших «материковых» лагерях.

Другая оппозиция, создаваемая «чеховским» кодом в «Архипелаге», — путь автора на остров Сахалин — путь на архипелаг ГУЛАГ. Обе книги начинаются с описания этих путей — но сколь непохожи они! (Замечу, что «Остров Сахалин» и «Архипелаг ГУЛаг» сближает не только экспозиционная роль мотива путешествия; родство композиции более тес-

ное — например, ближе к финалу и Чехов, и Солженицын повествуют о положении ссыльных и о побегах.) Чеховское путешествие на Сахалин — обычная, хотя и не лишённая стеснительных неудобств поездка свободного человека с корреспондентским бланком в кармане.

«... Два гиляка соглашаются везти меня за рубль, и на лодке, сбитой из трёх досок, я благополучно достигаю “Байкала”».

Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. <...>

Кают-компания и каюты на “Байкале” тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски; есть пианино. <...>

... Я ожидал встретить на “Байкале” китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачною жвачкой, в действительности же нашёл людей вполне интеллигентных. Командир парохода г. Л. ... много знает и рассказывает интересно. <...> Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника... добрые и приветливые люди»⁵.

Попасть таким образом на архипелаг ГУЛАГ Чехов не смог бы.

«Как попадают на этот таинственный Архипелаг? Туда ежечасно летят самолёты, плывут корабли, гремят поезда — но ни единая надпись на них не указывает места назначения. И билетные кассиры, и агенты Совтуриста и Интуриста будут изумлены, если вы спросите у них туда билет. Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островов они не знают, не слышали.

Те, кто едут Архипелагом управлять — попадают туда через училища МВД.

Те, кто едут Архипелаг охранять — призываются через военкоматы.

А те, кто едут туда умирать, как мы с вами, читатель, те должны пройти непременно и единственно — через арест»⁶.

Чеховское путешествие на Сахалин — свободный поступок, опыт повествователя его впечатления и переживания единственны, уникальны. На острова же ГУЛАГа обыкновенный человек не может попасть добровольно и не желает этого. Они существуют как бы в ином пространстве, они непричастны окружающему миру. Вместе с тем ГУЛАГ — самая сущность, квинтэссенция бытия, построенного на заповедях «передового учения». Острова ГУЛАГа — это как бы подпространство в пространстве

физическом и географическом, они скрыты от стороннего глаза и вместе с тем вездесущи.

Каторга в «Острове Сахалин» — *только* каторга на реальном, отмеченном на всех географических картах острове. Фантазмагорические острова ГУЛАГа у Солженицына — порождение мистики и мифологии насилия.

Нормальному, человеческому слову-имени «Сахалин» противопоставлен оскалившийся словесный обрубок «ГУЛАГ».

Читатель чеховской книги независим от точки зрения, взгляда повествователя на увиденное: читатель вправе прервать путешествие по сахалинским тюрьмам и покинуть рассказчика в любой момент; он не брал билет на «Байкал». В тексте «Острова Сахалин» нет читающего, есть только повествующий. Повествователь, каторжники, которых он описывает, и человек, раскрывший его книгу, принадлежат разным реальностям, отчуждены друг от друга. Напротив, Солженицын заставляет читателя следовать за собой в бездны ГУЛАГа. Текст «Архипелага» цепко держит читающего в своих тенетах. Одинокое «я» повествователя заменено неопределённым «мы», объединяющим рассказчика и его союзников-читателей. От солженицынского «приглашения на казнь» (чуждого и набоковскому, и какому бы то ни было иному эстетизму) уклониться невозможно. Текст «Архипелага» начинает вершить над читателем насилие: «жертва» солженицынской «стратегии письма» вынуждена почти физически испытать на собственном теле и душе страх допроса, мучения пыток, муки голода.

«Солженицын проводит читателя всеми кругами ада, опускает во мрак преисподней, заставляет нас, беспамятных, властью своего лирического эпоса (или эпической лирики?) пережить вместе с ним сотни и даже тысячи судеб. И — что ещё важнее — осмыслить пережитое ими. И нами»

— так характеризовала «Архипелаг ГУЛАг» Л.К.Чуковская⁷. Много раз описанное на страницах «Архипелага» путешествие в вагон-заке не имеет ничего общего с комфортабельным плаванием Чехова на пароходе «Байкал». На сей раз читателю дарована краткая передышка, и он едет как вольный человек — наподобие чеховского повествователя, — хотя и рядом с зэками:

«...в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте — с разрезаемой пачкой белья для постели, с разносимым в подстаканниках чаем — вы разве можете вжиться, какой тёмный сдавленный ужас

пронёсся за три секунды до вас через этот же объём эвклидова пространства? Вы, недовольные, что в купе четверо и тесно, — вы разве смогли бы поверить, вы разве над этой строкою поверите, что в таком же купе перед вами только что пронеслось — четырнадцать человек? А если — двадцать пять? А если — тридцать?..»⁸

Плавание на пароходе «Байкал» в «Острове Сахалин» целенаправленно и однократно. Поезда и корабли с плавающими и путешествующими зэками в «Архипелаге» находятся в постоянном движении. У их странствий нет конца.

«Закройте глаза, читатель. Вы слышите грохот колёс? Это идут вагон-заки. Это идут краснухи. Во всякую минуту суток. Во всякий день года. А вот хлопает вода — это плывут арестантские баржи. А вот рычат моторы воронок. Всё время кого-то ссаживают, втискивают, пересаживают. А этот гул? — переполненные камеры пересылок. А этот вой? — жалобы обокраденных, изнасилованных, избитых»⁹.

Корабль в «Острове Сахалин» лишён символического ореола; это подлинный торговый пароход, курсировавший между материком и каторжным островом. Солженицынские «корабли Архипелага» (так названа 1-я глава второй части) всецело символичны; ими могут быть и вагон-заки, и эшелоны красных телячьих теплушек, и дальневосточные теплоходы, перевозящие в своих трюмах скрюченных от тесноты, задыхающихся зэков. Наиболее прозрачный, явственный смысл этого символа — уподобление зэков рабам-невольникам, а гулаговского транспорта — кораблям работорговцев, шныряющим «с острова на остров» (таково название последней главы второй части).

Но «корабли Архипелага» напоминают и о традиционной символике корабля — воплощения свободы или спасения (ковчег Ноя). Напоминают внешне. На самом деле это корабли Смерти, подобие лодки Харона: ведь архипелаг ГУЛАГ наделён чертами царства мёртвых, иного мира.

«Чеховский» код в «Архипелаге» выражает одну из основных оппозиций солженицынской книги: прошлое (старая Россия и старая каторга) — настоящее (послереволюционная Россия и Советский Союз и созданная в них система насилия). Всё то тёмное, неприглядное и унижительное, что увидел Чехов на Сахалине, в сравнении с запредельным ужасом ГУЛАГа кажется безоблачно-ярким и светлым. Воистину рядом с островами ГУЛАГа Сахалин — «райский остров» (в солженицынской книге «райскими островами» иронически именуются «шарашки»). «Остров

Сахалин» Чехова — выражение некой точки отсчёта, от которой начинается нисхождение в небытие¹⁰.

В отличие от «Острова Сахалин» «Записки из Мёртвого дома» Достоевского в структурном отношении мало похожи на «Архипелаг ГУЛАГ». Текст Достоевского «маскируется» под беллетристическое произведение, в то время как и для Чехова, и для Солженицына характерна установка на документальность. Сочинения Чехова и Солженицына претендуют на роль «этнографического» и исторического («Архипелаг ГУЛАГ» — несомненно, «Остров Сахалин» — только отчасти) исследования каторги. Достоевский прямо такой цели не ставит. И у Чехова, и у Солженицына есть автобиографический повествователь, в то время как Александр Петрович Горянчиков в «Записках из Мёртвого дома» отделён от автора. Тем не менее между «Записками из Мёртвого дома» и «Архипелагом ГУЛАгом» есть определённая соотносённость. Она проявляется, например, в композиции, в последовательности глав, посвящённых аналогичным событиям. Подобно «Запискам из Мёртвого дома», автобиографический повествовательный пласт, посвящённый советской каторге, в «Архипелаге ГУЛАге» открывается описанием первых впечатлений повествователя (окончания 4-й и 5-й глав первой части). Правда, в целом автобиографический пласт в книге Солженицына начинается описанием ареста и следствия (заключительные фрагменты 1-й и 3-й глав первой части), а у Достоевского в первых главах представлены именно впечатления повествователя от увиденного в остроге (глава «Мёртвый дом» и три главы под общим названием «Первые впечатления», две главы под общим названием «Первый месяц»).

Аналогии в композиции произведения Достоевского и художественного исследования Солженицына прослеживаются и далее. Ближе к концу текста оба писателя повествуют о бунтах и о побегах: Достоевский — о «бунте» («претензии») в 7-й главе второй части, а о побеге — в 9-й главе этой же части; Солженицын о побегах и лагерных восстаниях рассказывает в пятой части своей книги.

Это совпадение, вероятно, не чисто формальное. Оба произведения строятся как постепенное погружение повествователя, а вместе с ним и читателей в мир каторги, но также и как постепенное внутреннее освобождение. У Достоевского таковым освобождением является преодоление повествователем преграды между ним и каторжниками из народа; у Солженицына это прежде всего преодоление как автобиографическим повествователем¹¹, так и большинством зэков, оказавшихся в лагерях в позднесталинское время, страха и рабской покорности. Помещение

описаний бунтов и побегов ближе к концу произведения, вероятно, имеет символический смысл, свидетельствует о сохранении узниками жажды свободы. (Неудача бунтов и большинства побегов в данном случае не столь существенна.)

Каторжная тюрьма осмысливается Достоевским как пространство смерти («Мёртвый дом»)¹². Это осмысление подхвачено Солженицыным, строящим текст «Архипелага ГУЛага» как нисхождение по кругам Ада: первый том — арест и следствие, второй — лагерь, третий том — каторга и ссылка¹³.

Ключевые мотивы «Архипелага ГУЛага»: каторга как обитель Смерти, как пространство небытия, невероятная скученность зэков, невозможность уединения в лагере, бессмысленная и тяжёлая работа, выполняемая узниками, зверства лагерных властей, попытки бегства, предпринимаемые узниками, — обнаруживают соответствия в произведении Достоевского. Но Солженицын показывает, сколь чудовищно возросли жестокость, насилие в сравнении с временем Достоевского. Контрастный в «Архипелаге ГУЛаге» мотив по отношению к «Запискам из Мёртвого дома» — стена отчуждения между отверженными узниками и миром «воли».

С «Записками из Мёртвого дома» произведение Солженицына сближает и структурный принцип соединения автобиографического повествования с аналитическим описанием, исследованием «механизма» каторги, каторжного быта и психологических типов узников. Но в отличие от «Записок из Мёртвого дома», в которых каторжный опыт, знания о каторге ограничены кругозором повествователя, Александра Петровича Горянчикова, в «Архипелаге ГУЛаге» автор-повествователь изображает концентрационные лагеря не только на основе собственных знаний о них, но и по свидетельствам множества других узников. Текст Солженицына лишь в малой степени имеет мемуарный характер, он является своеобразным сводом свидетельств о советской каторге, «летописью» ГУЛАГа.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ряд идей и наблюдений, содержащихся в этой работе, был ранее представлен в статье: «Архипелаг ГУЛАГ» как художественный текст // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. М., 1999. Т. 58. № 5/6. С. 1–8.

² Значимость этих произведений для книги Солженицына отмечалась исследователями. М.Шнеерсон, указывая на синтетический, полижанровый характер «Архипелага» и жанровую уникальность книги, приводит всё же такие параллели, как «Ис-

тория государства Российского» Н.М.Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева, «Записки из Мёртвого дома» Ф.М.Достоевского, «Остров Сахалин» А.П.Чехова (см.: *Шнейерсон М.* Александр Солженицын. Очерки творчества. Frankfurt a. M., 1984. С. 73). Но сопоставительный анализ «Записок из Мёртвого дома», «Острова Сахалина» и «Архипелага» до сих пор не проводился.

³ *Солженицын А.И.* На случай ареста // Жить не по лжи: Сб. материалов. Авг. 1973 — февр. 1974. Москва; Paris. Самиздат, 1974. С. 8.

⁴ *Курицын В.* Случай власти («Архипелаг ГУЛАг» А.И.Солженицына) // Россия-Russia. Новая серия. М; Венеция, 1998. Вып. 1 [9]. С. 167–168.

⁵ *Чехов А.П.* Остров Сахалин // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М., 1987. Т. 14/15. С. 43–44.

⁶ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАг: Опыт художественного исследования: В 3 т. М., 1990. Т. 1. С. 15.

⁷ *Чуковская Л.К.* Процесс исключения. Париж, 1979. С. 138.

⁸ *Солженицын А.И.* Архипелаг ГУЛАг. Т. 1. С. 470.

⁹ Там же. С. 553.

¹⁰ Метафора архипелага, конечно, мотивирована не только текстом «Острова Сахалин». Она указывает и на другой литературный код солженицынской книги — «гомеровский», или, точнее, код «Одиссеи». На соотнесённость «Архипелага ГУЛАга» с «Одиссеей» обратил внимание Ж.Нива: «Можно сказать, что весь предшествовавший мир, вся человеческая история до ГУЛАГа служит метафорой гулаговской вселенной. И в первую очередь “Одиссея” Гомера, с её эгейской экзотикой, её островным архипелагом, которого каждое утро касаются персты Эос-Зари. У Солженицына одиссея приобретает злобещий смысл, архипелаг уходит в подполье, корабли его — смрадные “вагон-заки”, “караваны невольников”. Сокрушительное путешествие заключённых становится культурным путём человечества. Титанические труды по “канализации” человечества суть подвиги нового Геракла. Сталинский “закон” мукает на наших глазах, как новый и юный идол, требующий всё больше жертвоприношений. Кровавые культы минувших времён кажутся невинною шуткой против новой империи и её культа» (*Нива Ж.* Солженицын / Пер. с фр. С. Маркиш в соавторстве с автором. London, 1984. С. 184).

¹¹ Ж.Нива называет его «рассказчиком-посредником» и «связующим цементом повествования» (там же. С. 183).

¹² Аналогичная семантика каторги есть и у Чехова; но в «Острове Сахалин» она не акцентирована так настойчиво, как в «Записках из Мёртвого дома».

¹³ См.: *Геллер М.Я.* Александр Солженицын (К 70-летию со дня рождения). London, 1989. С. 41, 59.

Евгения Иванова

МОСКВА

ПРЕДАНИЕ И ФАКТ В СУДЬБЕ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГА»

Тема выступления подсказана соображениями отчасти полемического характера. Несколько лет работая в одном отделе с покойным ныне Вадимом Валериановичем Кожинным, я неоднократно выслушивала его высказывания в адрес Солженицына, в которых он, я уверена, из самых лучших побуждений пробовал внести уточнения в «Архипелаг ГУЛАг»: чаще всего оказывались завышенными статистические сведения, иногда, впрочем, дело касалось и оценок сталинской системы в целом. Перечитав статьи Кожинного последних лет, я следы этой критики обнаружила только в одном из интервью. На вопрос Виктора Кожемяко по поводу статистических данных в «Архипелаге» Вадим Валерианович отвечал: «Не хочется об этом даже говорить...» «Вы имеете в виду, — участливо, даже с состраданием переспросил Кожемяко, — что там есть некое преувеличение?» Кожиннов ответил почти безнадежно: «Да не некое — громадное»¹.

По части статистических выкладок в последние годы жизни В.В.Кожиннов накопил огромную эрудицию, в которой было что-то даже угнетающее. Но при всей аксиоматичности утверждения, что «статистика знает всё», размеры расхождений в ней при различных методиках исчисления бывают удивительные, касаются ли они жертв Второй мировой войны или подсчёта голосов избирателей. Как ни странно, но статистика, вопреки репутации точной науки, требует безоговорочной веры в тот метод, с помощью которого производятся исчисления, и игнорирования всех других. В итоге получается, что к статистике вполне приложимы слова старца Луки из горьковской пьесы: «Во что веришь, то и истина».

Может быть, потому, что я чужда статистикой, эти поправки и вызывали протест. Первый довод, который сразу приходил на ум, — легко сегодня уточнять, когда публикуются источники, как западные, так и отечественные. Из истории создания «Архипелага ГУЛАга» мы знаем,

как добывал свои сведения Солженицын, какого труда стоило ему собирать информацию о ГУЛАГе и каким опасностям подвергался он, прежде чем донести накопленные сведения до всего мира. Но здесь встаёт принципиальный вопрос: сегодня, когда многие архивы открыты для исследований, когда издан справочник «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960» (М., 1998), где содержатся гораздо более достоверные сведения по истории ГУЛАГа, наше отношение к произведению Солженицына должно измениться? Превращают ли написанные за эти годы труды по истории созданной большевиками пенитенциарной системы книгу Солженицына в некоторый публицистический черновик для подлинной истории, созданной уже на основе изучения открывшихся источников? Тем более что после выезда на Запад Солженицын вносил дополнения и исправления фактического характера в опубликованный текст «Архипелага ГУЛага», о чём он писал в книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»: «...к “Архипелагу” мне за границей слали и слали дополнения, многое хотелось внести, — но и, наконец же, на каком-то рубеже остановиться, так и конца не будет»². Как расценивать это и подобные признания: что же, будь у писателя силы и время, «Архипелаг ГУЛаг» мог бы пополняться и до наших дней?

Вот этого уж совсем не хотелось, а главное — никакие указания на неточности не влияли на читательское ощущение от самой книги, которая для всего человечества продолжает оставаться самым достоверным свидетельством о трагических судьбах миллионов невинных людей, несмотря на огромную библиотеку написанного о них за последние годы. В чём же дело? Может быть, в особой жанровой природе «Архипелага ГУЛага», которую автор определил как «опыт художественного исследования». В интервью с Никитой Алексеевичем Струве Солженицын эту жанровую природу объяснил так: «Это такое использование фактического (не преобразённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном»³.

Убедительность достигается за счёт художественности, «фактический (не преобразённый) жизненный материал» допускает исправления и уточнения, и при этом остаётся, в определении Солженицына, главным, а «художественное» при таком понимании тождественно доказательному. Противоречия этих аттестаций очевидны, и исследования Элизабет Маркштайн⁴ и Андрея Ранчина⁵ повествовательной структуры и художественных особенностей «Архипелага ГУЛага» только запутывают дело, переключая внимание на художественные приёмы, с помощью

которых, по их мнению, достигается убедительность. Художественные приёмы в данном случае вещь обоюдоострая — они способны вносить абберрации, деформировать фактический материал по желанию писателя. Получается некий заколдованный круг, единственный выход из которого подсказывается уникальной ситуацией, в которой рождалась особая жанровая природа «Архипелага ГУЛага».

Перед нами прежде всего повествование историческое, претендующее на освещение одной из самых трагических страниц в истории России XX века. Любая история складывалась по определённой схеме. Сначала она существовала в виде преданий, которые в разных культурах фиксировались по-разному, — в некоторых культурах в виде предания или эпоса (например, русские летописи, европейские хроники, исландские и ирландские саги и т.п.), которые на разной стадии своего устного существования закреплялись в письменных источниках. На основе критического их осмысления и привлечения других источников создавалась история. Летописец и историк при этом не только отстояли друг друга во времени, но решали разные задачи: летописец закреплял предание⁶. Напротив, историк критически изучал и перерабатывал источники, привлекая другие доступные материалы (легенды, сказки, данные археологических раскопок и тому подобные сведения), и уже на их основе строил некоторую концепцию происходившего. Так создавалась, например, «История» Карамзина, написанная по летописям, позднее оказавшимся утраченными. И наконец, писатели и публицисты использовали труд историков в своих, иногда даже агитационных целях, как использовал их, например, Салтыков-Щедрин в «Истории одного города», как используют их и до нынешнего дня, подтверждая ссылками на факты, почерпнутые у историков, самые разнообразные концепции.

Но в силу исторических обстоятельств Солженицын все эти три роли применительно к истории ГУЛАГа исполнил один. Сначала он собирал то, что можно назвать здесь преданием, что должна бы зафиксировать лагерная летопись. О поездках по стране, о встречах с узниками ГУЛАГа Солженицын рассказывал неоднократно. Но он не удовлетворился фиксацией этого материала; цели, которые он преследовал, были не совсем такие, как у летописца Пимена. Поэтому он взял на себя и труд составления истории ГУЛАГа, присовокупляя к записанным устным преданиям доступные документальные источники, занимаясь критическим сопоставлением воспоминаний разных лиц и т.п., и здесь он уже выступал в роли историка. И наконец, готовясь донести эту историю до сознания человечества, он сгруппировал и изложил накопленный материал со всем доступным ему писательским мастерством, с полным

осознанием собственной ответственности и долга: так появилась публицистическая составляющая «Архипелага ГУЛага», делающая его произведением художественным в самом высоком смысле этого слова. Время и исключительная историческая миссия этой книги позволили соединиться воедино жанрам, которые обычно существуют в культуре порознь, и соединиться в новом для литературы жанре, который мы бы назвали историческим свидетельством, обвинительной речью на суде истории и публицистическим обращением *urbi et orbi* от лица безмолвно сошедших в могилу жертв. И хотя отдельные смысловые части этого повествования имеют разную жанровую природу, все вместе они доносят единую правду — правду свидетельства.

В силу этого факт как таковой обладает здесь особым статусом, его задача донести главную правду свидетельства, но в то же время факт допускает проверку и уточнение, которые выходят за рамки его задачи. Возьмём, к примеру, небольшой отрывок из главы 4 «Несколько судеб», посвящённый о. Павлу Флоренскому, по авторской оценке, «может быть, одного из самых замечательных людей, проглоченных Архипелагом навсегда»⁷. Прочитируем этот отрывок почти полностью.

«Сведущие люди говорят о нём, что это был для XX века редкий учёный — профессионально владевший множеством областей знаний. По образованию математик, он в юности испытал глубокое религиозное потрясение, стал священником. Книга его молодости “Столп и Утверждение Истины” только сейчас получает достойную оценку. <...> Тюремный путь его известен мне лишь несколькими точками, которые ставлю я неуверенно: сибирская ссылка (в ссылке писал работы и публиковал под чужим именем в трудах Сибирской экспедиции Академии Наук), Соловки (кажется, создал там бригаду по добыванию йода из водорослей), после их ликвидации — Крайний Север и Колыма. И там занимался флорой и минералами (это — сверх работы киркой). Не известно ни место, ни время его гибели в лагере. (Есть слух, что он умер в 1938 на Колыме на прииске “Пятилетка”. Есть и такой, что до Колымы он не доплыл, потонул на одном из кораблей.)»⁸

В момент создания «Архипелага ГУЛага» не было известно многое, что мы знаем сегодня, например точная дата расстрела о. Павла Флоренского, — это произошло 8 декабря 1937 года, при ликвидации Соловецкого лагеря. Ни на какой Колыме он не успел побывать — но, как обычно, родным в конце 1937 года объявили, что он осуждён повторно на 10 лет без права переписки, и до 1946 года жена с помощью Е.П.Пешковой продолжала разыскивать его по лагерям. Потом, уже в 60-е годы, была выдана справка о его смерти в 1943 году, и только в конце 80-х род-

ным сообщили настоящую дату расстрела, но место расстрела, кстати, уточняется до сих пор стараниями петербургского историка А.Я.Разумова. Период пребывания в Соловецком лагере известен достаточно точно: в четвёртом томе сочинений Флоренского опубликованы его письма к родным с Соловков, опубликованы также воспоминания некоторых сосидельцев, и среди них Юрия Чиркова⁹, где описывается, как закрывался Соловецкий лагерь и каковы были судьбы его заключённых. Более того, опубликовано следственное дело о. Павла, где благодаря доносам стукача зафиксированы его последние разговоры...

Сравнивая всё то, что стало известно сегодня о пребывании Флоренского на Соловках, с тем, что записал Солженицын, ясно, что перед нами легенда, сохранившееся в памяти соловчан предание, где факты, вымыслы и домыслы переплетаются и создают нерасторжимое целое. Сегодня мы располагаем возможностями отделить одно от другого. Следует ли из этого делать вывод, что эту главу нужно переписать на основе новых данных либо в примечаниях отсылать к достоверным источникам по биографии о. Павла? Но первый, кто воспротивился бы такому переписыванию, был как раз сам Флоренский, который писал: «Легенда не ошибается, как ошибаются историки, ибо легенда — это очищенная в горниле времени ото всего случайного, просветлённая художественно до идеи, возведённая в тип сама действительность. “Легенда — живое предание, почти всегда более истинное, чем то, что мы называем историей”, — по слову Августина Тьерри. Легенда — это и есть история по преимуществу, ибо “поэзия ближе к философии и содержательнее, нежели история”, как свидетельствовал и трезвейший из философов, отец современной науки, Аристотель»¹⁰.

То есть, с точки зрения самого о. Павла, записанный Солженицыным рассказ о нём есть нечто большее, чем рассказ, составленный на строго фактической основе, потому что в нём содержится то самое «очищенное в горниле времени от всего случайного и просветлённое до идеи» предание о Флоренском, которое сложилось вокруг него и сохранилось в изустных лагерных преданиях и которое позволяет увидеть его таким, каким запечатлелся он в сознании туземцев Архипелага. И никакая самая точная и достоверная биография не может восприниматься как опровержение или уточнение, потому что предание передаёт нечто более важное — *смысл* его судьбы. Даже пребывание на Колыме и Крайнем Севере попало неслучайно — в лагере пос. Сусуман Магаданской области погиб младший брат о. Павла — Александр, и легенда расширяет свои границы до рассказа о судьбе рода Флоренских.

Вот почему столь беспомощными оказались усилия М.Розанова по развенчанию соловецких легенд (см. его исследование «Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939 годы. Факты. Домыслы. “Параши”. Обзор воспоминаний соловчан соловчанами в двух книгах»; издание автора. 1979–1980; в 1987 году был издан третий, дополнительный том). В предисловии к своей книге, изданной на скудные пенсионные сбережения, М.Розанов писал о Солженицыне: «Отдавая должное сизифову труду и таланту писателя, мы тем не менее в интересах исторической правды должны отметить, что в главе 2-го тома (“Архипелаг ГУЛага”. — *Е.И.*), описывая обстановку Соловецкого концлагеря первого десятилетия, он невольно допустил ряд ошибок, художественно передав то, что вычитал из воспоминаний и услышал от живых соловчан. Очень трудно даже талантливым пером описать концлагерь 20-х годов, когда и состав заключённых, и моральный облик их, и многое другое мало походило на то, с чем столкнулся лицом к лицу и среди чего жил Солженицын в режиме Особлага»¹¹.

Розанов, тщательно собрав все воспоминания, пробовал воссоздать точную хронологию некоторых событий, например пожара в Соловецком кремле, уничтожившего значительную часть построек, установить достоверность некоторых рассказов, например о барже с заключёнными офицерами, потопленной у берегов Соловецкого острова. Для этой цели он использовал метод сопоставлений повторяющихся рассказов, но оказалось, что буквально ни в одном вопросе мемуаристы не совпадают — касается ли это положения духовенства, количества имён и т.п. Нет единодушия в описании даже такого, казалось бы, ясного сюжета — лагерного театра. Даже историю его существования на основе имеющихся мемуаров не удаётся восстановить сколько-нибудь достоверно.

Оказалось невозможным проверить предание преданием, потому что предание — результат работы коллективной памяти, стремящейся общими усилиями сохранить нечто существенное для целого сообщества, и для тех, кто его передавал из уст в уста, общий смысл оказывался важнее, чем хронологические и фактические подробности.

Что касается «вымыслов» и «параши», которые пытался удалить из соловецких воспоминаний Розанов, то он напрасно тратил усилия. «Вымыслы» и «параши» имеют другую природу, они есть результат работы индивидуального сознания, пытающегося умышленно внедрить в коллективное сознание ложную, но выгодную для себя информацию. Предание защищено от них самой своей природой — оно отторгает всё, что не противоречит главному смыслу, а то, что не противоречит, охотно при-

нимает в свой состав и сохраняет. Как, по слову Е. Баратынского, «предрассудок — ...обломок древней правды», так и легенда возникает не случайно, она несёт в себе коллективный опыт. И потому писатель Борис Ширяев в своей книге о Соловецком лагере «Неугасимая лампада» настаивал на том, что все писали правду, только «менялись времена — менялись люди»¹².

Но предание от этого не становится вымыслом и тем более «парашей», можно привести пример, когда оно оказывается способным опровергнуть то, что пытаются выдать за достоверный рассказ. Именно так произошло с документальным очерком М.Горького «Соловки», написанным в ходе его поездки на остров. Казалось бы, достоверность этого очерка должна быть выше достоверности воспоминаний эков, — Горький посетил лагерь, когда он ещё функционировал в полную силу, писатель пользовался относительной свободой передвижения, мог задавать вопросы, и среди эков нашлись бы отчаянные головы, готовые рассказать ему правду ценой собственной жизни. Но именно *правда* предания и помогает поставить очерку Горького диагноз: «врёт как очевидец».

Писательская установка Горького ясно обозначена, он ставит перед собой задачу показать: на Соловках собраны общественно вредные элементы для перевоспитания и система трудового воспитания отчасти уже достигает своих целей. Вторая его задача — показать, что находящееся там духовенство ни о чём, кроме вина и женщин, не помышляет и этим эксплуататорам не вред поработать. Что же противопоставляют этим установкам легенда и предание? Прежде всего, они выбивают почву из-под ног у тех, кто будет пытаться доказать, будто Горького ввели в заблуждение и сумели показать ему лагерь так, чтобы он и вправду ничего не понял в лагерной жизни. Все предания без исключения, как записанные М.Розановым, так и включённые в «Архипелаг ГУЛаг», сохранили упоминание о том, как готовили лагерь к приезду великого писателя, здесь опыт потёмкинских деревень был учтён лагерным начальством в полной мере. Другой обязательный элемент всех преданий — как ждали сами эки приезда писателя, видя в нём народного заступника, и как принимали меры, чтобы разрушить потёмкинскую деревню, *тухту*. Наконец, как они открыли писателю глаза на истинное положение дел. Методы обнаружения правды во всех преданиях разные: в одних случаях это мальчик, который потом исчезает¹³; в других — заключённые, держащие вверх ногами розданные им по случаю приезда писателя газеты; в третьих — уже в статье М.Агурского, — это заключённая Ю.Н.Данзас, имевшая продолжительную беседу с писателем и раскрывшая ему глаза

на истинное положение вещей¹⁴; в четвёртых — вынырнувший из леса зэк, вручивший свое послание. Но *детали* оказываются не существенными — важен общий смысл, истинное положение вещей обнаружило себя в ходе поездки, зэки не дали втереть очки писателю, ему не удалось не заметить, куда его привезли. Поэтому тот факт, что вопреки всему раскрывшемуся в ходе поездки Горький всё-таки описал лагерь так, как хотели его хозяева, и есть самый страшный приговор его якобы документальному очерку.

Доказать это стремятся все предания, и потому можно сказать, что они не противоречат друг другу — как те, которые о поездке Горького записал Солженицын и включил в «Архипелаг ГУЛаг», так и собранные М.Розановым, М.Агурским и кем-либо ещё. Напротив, попытки биографов Горького в качестве смягчающего обстоятельства привести тот факт, что два чемодана с собранными Горьким материалами были у него похищены, совсем не кажутся «смягчающими обстоятельствами»¹⁵, — дело не в том, что Горький неточно воспроизвёл какие-то события, факты и цифры, а в том, что, увидев концентрационный лагерь, он попытался выдать его за гуманитарное учреждение санаторного типа, что он прошёл мимо величайшей человеческой трагедии. Словом, вместо «Архипелага ГУЛага» написал очерк «Соловки» и использовал свой международный писательский авторитет, чтобы, пусть на короткий период, успокоить общественное мнение. И здесь предание обнаруживает своё превосходство над тем, что пытаются выдать за факт.

Таким образом, правда соловецких преданий — равноправная составляющая «Архипелага ГУЛага», ничуть не менее значимая, чем чисто фактические сведения, которыми пользовался писатель, потому что своими способами сохраняет главный *смысл*, ради которого создавалась эта книга. Часто цитируемые противниками Солженицына слова Н.Решетовской — «энциклопедия лагерного фольклора»¹⁶ ничего в книге не опровергают, Решетовская просто не в состоянии отличить фольклор от пропагандистской *тухты* и «параш». На основе преданий Шлиман раскопал золото Трои, а лагерные легенды способны противостоять писательским фантазиям М. Горького, выдаваемым за документальный очерк.

И главное — осознание особой роли легенд и преданий помогает понять уникальную жанровую природу «Архипелага ГУЛага» как многосоставного по своим источникам *свидетельства* на суде истории, в котором голоса и судьбы безымянных узников соединяются с голосом писателя, чтобы донести до человечества правду об особом материке,

который скрывали за фасадом социалистического рая. Уточнять фактическую сторону существования этого материка — дело историков (и они его успешно выполняют), они также будут востребованы на этом суде, но за пределами главного свидетельства, поскольку дополняют и уточняют его «просветлённый художественно до идеи» смысл.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солженицын против Солженицына. Литературовед и историк Вадим Кожин в беседе с Виктором Кожемяко // Советская Россия. 1998. 3 декабря.

² Новый мир. 1999. № 2. С. 79.

³ Солженицын А.И. Интервью на литературные темы с Н.А.Струве // Вестник РХД. Париж, 1977, № 120, С. 135.

⁴ См.: Маркштайн Э. О повествовательной структуре «Архипелага ГУЛаг» // Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Воронеж. 1993. Вып. 1. С. 91–101.

⁵ См.: Ранчин А.М. «Архипелаг ГУЛаг» как художественный текст // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1999. Т. 58. № 5/6. С. 26–32.

⁶ Эту задачу очень точно сформулировал А.С.Пушкин устами Пимена:

Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил...
.....
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...

⁷ Солженицын А.И. Собрание сочинений. М., 2000. Т. 5. С. 635.

⁸ Там же. С. 635–636.

⁹ См.: Чирков Ю.И. А было всё так... М., 1991.

¹⁰ Флоренский П. Первые шаги философии // Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 83.

¹¹ Розанов М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939 годы. Факты. Домыслы. «Параш». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами в двух книгах. Издание автора. 1979–1980. Кн. 1. 1979. С. 8.

¹² Ширавев Б.Н. Неугасимая лампада. М., 1991. С. 147.

¹³ Происхождение легенды о мальчике наиболее интересно с литературной точки зрения. Наиболее законченный вид она приобрела в соловецких воспоминаниях Д.С.Лихачёва, со слов которого, скорее всего, попала и на страницы «Архипелага ГУЛага». В 1927 году была опубликована первая часть романа Горького «Жизнь Клима Самгина», где содержится ключевой эпизод, ставший затем лейтмотивом всей книги: гибель в проруби Бориса Варравки, которому Клима не успевают протянуть руку. Реакция Клима, которая по смыслу горьковского романа подлежит осуждению, заключена в известной фразе: «А был ли мальчик?» Так вот, в версии Лихачёва этот мотив возникает сам собой и заставляет нас отождествить Горького с Самгиным, с одной стороны. С другой же — беседа с мальчиком и последующее его исчезновение

из лагеря могут иметь очень простое объяснение: Горького во время поездки на Соловки сопровождал Максим Погребельный, который набирал детей для исправительной колонии в Болшеве.

¹⁴ См.: *Агурский М.М.* Горький и Ю.Н.Данзас // *Минувшее: Исторический альманах*, М., 1991. Вып. 5. С. 359–377.

¹⁵ См.: *Чернухина В.Н.* Поездка М.Горького на Соловки (Свидетельства очевидцев) // *Неизвестный Горький. М.Горький и его эпоха. Материалы и исследования*. Вып. 4. М., 1995. С. 124–135.

¹⁶ Эти злобные слова из интервью Н.Решетовской западным корреспондентам цитируются по-разному, поскольку приводятся в обратном переводе.

Андрей Zubov
МОСКВА

САМОПОЗНАНИЕ НАРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ СОЛЖЕНИЦЫНА

Размышляя над темой этого выступления, я хотел бы в первую очередь обратить внимание на тот контекст, в котором шло творчество Солженицына. Не на внутренний художественный феномен умножения таланта писателя и мыслителя, но на творчество Солженицына как на факт общественного сознания в прямом смысле этого слова, т.е. на факт гегелевского самораскрытия внутренней идеи России в его творчестве. К каждому народу Бог посылает пророков, которые раскрывают ту внутреннюю сущность и то призвание народной души, которые всегда есть и которые до поры до времени народом не признаются. Ведь народная душа вовсе не выдумка романтиков. Для христианина это ясно. Сколько раз в Псалтыри говорится, что Бог судит народы по правде (например, Пс. 95:10). Не отдельных людей, но именно народы. Следовательно, есть у народа в целом нечто такое, что можно осуждать и оправдывать. А осуждать и оправдывать можно только склонение воли. Склонение воли ко злу и греху или к правде и спасению. Итак, у народа есть воля — коллективная воля, которой причастен каждый, соединённый кровью и ещё более сердцем с этим народом. И каждый, сам спасаясь или погибая духовно для вечной жизни, умножает в своём народе, а через него и во всём человечестве волю к спасению или волю к греху смерти. И как мы входим в свою душу в таинстве покаяния, чтобы познать её, обнажить перед Христом и обличить зло в ней и грех, так же приходят порой люди, способные войти через свою душу в душу своего народа, чтобы обнажить её грехи и язвы и тем помочь ему обратиться от лжи к правде и от смерти к жизни.

И вот как раз феномен Солженицына как служителя Духа в русском народе — это то, что привлекло мое внимание. И действительно, давайте посмотрим на этапы творчества Александра Исаевича буквально с

первых моментов, когда он начинает писать и печататься, т.е. писать уже не «в стол», но писать и становиться известным.

Первое — это, конечно, рассказы, роман «В круге первом» и повесть «Раковый корпус», в которых в художественной форме открывается тот мир, который был знаком каждому подсоветскому человеку. Мир, который находился по ту сторону узловой станции железной дороги, соединяющей лагеря с вольными поселениями. Существование того мира было известно почти всем, а многие и познали его на своей шкуре или на шкуре своих близких. Но все молчали об этом своём страшном опыте, все скрывали, стыдились его. И первое, что надо было сделать для исцеления раздавленной злом и запуганной души народа, — это показать, что тот мир был, что его нельзя просто забыть, изгладить как кошмар, потому что и в том мире была жизнь, и в том мире были те же абсолютные законы Божии, внутренние законы совести, долга, правды, которые во все века действовали в мире. И та же борьба со злом, и та же обязанность «жить не по лжи», которая единственная побеждает, внутренне побеждает, — и эта борьба велась там, в ГУЛАГе. Тот мир не был миром, где не было правды. Но тот мир был миром, где за правду надо было страдать и умирать. И это было показано Солженицыным.

В романе «В круге первом» финальные сцены — это сцены фактически пути на гибель одних и продажа своей души другими за поездку в Крым, за хороший обед, за иллюзорную свободу. И те, кто казался и сильнее, и лучше, кто боролся в одиночку, как Сологдин (фамилия, я думаю, значимая: соло — поющий в одиночку), — они ломались. А те, кто казался совсем маленьким, ничтожным, слабым, как, скажем, Герасимович, — они отказывались, шли умирать и обрекали на неисчислимые страдания свои семьи.

И это был первый опыт для нас, опыт того, что выбор должен быть по высшей планке, и что такой выбор делался, и что там, по ту сторону, шла жизнь, которая, возможно, определяла жизнь здесь. И оправдывала её. «И лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках» — гениально почувствовал поэт зарубежья, а Солженицын описал, раскрыл для нас. Вот в чём был смысл первого этапа творчества Солженицына, быть может не до конца осознаваемого и им самим. Или осознаваемого? Не мне судить.

А потом наступил второй этап, и не потому, что происходило развитие темы. К сожалению, он наступил потому, что происходило — и это страшно сказать — замыкание темы, не в писателе, конечно, а в обществе. Общество не пережило первый призыв так, как должно было пережить. Общество не раскрылось к нему раскаянием — разве что интере-

сом. Не мукой — разве что модой. И тогда понадобился голос уже не писателя только, не художественные образы понадобились, а факты, исторические факты.

И был дан «Архипелаг ГУЛаг». Великое произведение. Многие говорили о том, что именно оно сломало советскую систему. И это так. Потому что экспликация, демонстрация правды — самое страшное для сатаны, а режим-то большевицкий был тот самый — режим зверя с именами богохульными, красного апокалипсического дракона.

Однако, сломав большевицкий режим экспликацией правды, этот великий труд Солженицына тоже не вызвал раскаяния в наших душах. Да, бывшие зэки увидели в «Архипелаге» некую подпорку себе, возможность консолидации. Да, появились люди типа Александра Николаевича Яковлева, которые раскаялись. Конечно же, общество, народ не едины, это надо всегда помнить. Но тем не менее для большинства «Архипелаг» остался фактом культуры, не пережитым внутренне, не изменившим жизнь, не породившим преобразование ума — «метанойю», покаяние. А именно это исцеляет и спасает.

«ГУЛаг» остался фактом исторической прозы, но не фактом изменения общественного сознания в тех масштабах, которые требовались для спасения России. И сознательно или неосознанно, не знаю, ведают люди, близко знающие Александра Исаевича, ведают он сам, но им был выбран абсолютно правильно, абсолютно адекватно следующий шаг.

Если народ не способен ужаснуться тому, что он сотворил в советское время; если весь этот кошмар, описанный, эксплицированный, всё это безмерное преступление воспринимается как не твоё, а другого кого-то там, да и вообще почти не затрагивает душу, то, значит, что-то очень сильно повреждено в народе глубже, значит, само это советское не есть замкнутое, индивидуальное, само в себе существующее. Значит, это советское — производное от чего-то, бывшего до того. Значит, оно — порождение общества досоветского, российского.

И с честностью гражданина Александр Исаевич обращается к более глубокому пласту русской истории в «Красном Колесе». Конечно, в этом произведении он борется и с советщиной (в Узле «Ленин в Цюрихе», например), но в то же время, и в первую очередь, он пытается понять причину полного бессилия старой власти перед лицом демонов революции. И причину предательства всем народом, его высшими и низшими слоями, от царя до последнего рабочего и деревенского мужика, от священника до философа, причину предательства высоких идеалов России. Почему произошло это предательство. «Красное Колесо» — это самое трагическое произведение Солженицына — величайшего русского пат-

риота и гражданина. И беда в том, что оно даже и не прочитано-то русским обществом, не то что не осознано. В отличие от «ГУЛага» «Красное Колесо» упало уже на то время, когда читали другое. Хотя, правда, первые книги «Колеса» ещё читали за одну ночь в позднесоветские годы. Но так до конца и не прочитали. Грохот разрушающейся совдепии заглушил голос летописца. И вот эта проблема ответственности России за трагедию советчины, эта, может быть, величайшая проблема нашего общества, — она осталась непережитой. Роман ещё ждёт своего читателя. Он ждёт своего времени. Если будет Россия, будет прочитан этот роман. И если будет прочитано русским обществом «Красное Колесо», прочитано и осознано, — то будет Россия.

А в 1990-е годы произошло то, что, собственно говоря, и должно было произойти, коли уроки, данные великим писателем до того, не пережиты, на них не дано ответов в душе народа. Когда рухнул режим, практически все думали о том, что вот, упала эта внешняя стена, наша, российская Берлинская стена, и начинается новая жизнь, нормальная жизнь. Пройдёт год, много — два, и раскроется та старая Россия, которую мы потеряли, и она пойдёт дальше, думали одни. Создастся за пятьсот дней новое русское общество, которое станет нормальным западным обществом, думали другие. Хотя о многом предупреждал Александр Исаевич, думаю, что и он тогда не предполагал, и об этом он прямо пишет в «России в обвале», что пойдёт всё так криво, как пошло. Однако пошло очень криво. И та самая бетонная постройка, которая при разрушении могла задавить общество, о которой предупреждал писатель в своём послании «Как нам обустроить Россию?», — она оказалась совсем не внешней. Совсем не стенами тюрьмы, в которой томилась Россия. Она оказалась тюрьмой внутри нас. Великие слова Спасителя, что «Царство Божие внутри вас есть» (Лк. 17:21), — они ведь подразумевают, что не только Царство Божие, но и царство сатанино может быть внутри нас. Вспомним притчу о доме души пустом, без Бога, в который приводит бес семь других бесов, злейших себя. Ведь такое тоже внутри нас может быть. Не только храм Божий, но и тюрьма, узилище сатаны внутри нас может быть.

И эта-то внутренняя тюрьма, которая возникла из-за согласия на зло революции в сердце наших дедов, и за сотрудничество с режимом у отцов и у нас самих; эта внутренняя тюрьма, в которую мы вогнали свою душу, потому что иначе надо было идти на Голгофу, а на Голгофу-то идти большинству совсем не хотелось, — большинство даже жертв коммунизма тащили на Голгофу против воли, единицы восходили на неё добровольно; вот эта-то внутренняя тюрьма и пленила нашего человека.

И «Россия в обвале» — это скорее крик ужаса, великая скорбь о том, что же стало с душой народа. Не «что *вы* сделали с душой народа» — какие-то там тираны, преступники, Сталин, Ленин, — а что народ сделал с собой, не приняв тех вызовов, тех призывов к покаянию, тех призывов к изменению ума, которые обращал к нему Бог через слово писателя. Но, закоснев, заткнув уши, закрыв глаза, стал народом жестоковейным, который не желал видеть и не желал слышать того, что он наделал, и даже того, что с ним наделали, и не желает слышать этого до сих пор.

И поэтому всё то, на что так уповал Александр Исаевич как гражданин, как политический мыслитель: самоуправление, земство, построенный снизу, от земли конус земской демократии, восходящий вверх, — всё это оказалось химерой, полной химерой, потому что всякие формы самоуправления в конечном счёте предполагают самоуправляющуюся волю, самоответственную волю. Коли её нет, коли она раздавлена соглашениями со злом и с той ложью, жить не по которой призывал писатель, тогда, конечно же, ничего не построится. Да ничего и не строилось толкового и не строится по сей день. Так всё и живём в тумане.

И вот после всего этого, после всей неслышанности народной душой Александр Исаевич пишет свой на данный момент последний великий труд — «Двести лет вместе». Почему вдруг? Почему писатель, который постоянно говорил о том, что он полностью обращён к своему народу, к русскому народу, к его страданиям, к его слезам, к его пути, — почему он выбрал проблему взаимоотношения русского и еврейского народа? А почему тогда не русского и армянского или русского и грузинского? Если уж говорить о тех проблемах, которые для русского народа создали другие нации, то, наверное, Сталин и Берия создали не меньше проблем, чем Троцкий, Володарский и Урицкий. Почему же выбор Солженицына пал на народ еврейский?

Потому ли, что он был помехой, был злым гением, был палачом или чем-то ещё злейшим для народа русского? Да нет, конечно же, не поэтому. В том и величие Александра Исаевича, что он писал не о другом народе, не о чужом народе, не о том народе, — он писал о своём народе, не в смысле физического и кровного родства, а в смысле того родства, того великого родства с еврейским народом, которое не может не ощущать любой христианин, причащающийся Плоти и Крови Господа, который, по слову апостола Павла, был иудеем — «...и от них Христос по плоти...» (Рим. 9:5). Еврейский народ не может быть чужим народом для любого человека, который ощущает себя принадлежащим к Новому Израилю, привитому Израилю, к тому Израилю, который есть дикая маслина, привитая на корне еврейства, как говорит опять тот же апостол о

пришедших в христианство неевреях. А потому проблема еврейства есть внутренняя проблема русского народа. В той степени, в какой русский народ — народ христианский, это его проблема. Александр Исаевич не обратился с призывом к «метанойе» к народу армянскому или грузинскому, хотя, разумеется, любой народ совершает на своём историческом пути немало ошибок и ему есть за что каяться. Но судьба «армянства» или «грузинства» — это другое, — это братское, близкое, но другое. Еврейский же народ — это «ты сам». Еврейская кровь, Кровь Христа, Богородицы, течёт в жилах любого христианина, участвующего в таинстве евхаристии, являющегося членом Церкви — Тела Христова, вновь по Павлову определению. И вот этот факт, факт того, что это «ты сам», и в то же время это «ты сам», избранный Богом, «ты сам», который создан только потому, что того пожелал Господь, — этот факт для любого христианина крайне важен.

Для любого верующего человека — всё равно, иудея или христианина, — совершенно очевидно, как говорил в своё время великий Саадия Гаон, что «этот народ есть народ только славой Торы», славой Пятикнижия, славой Моисеева закона, никакой другой славы у него нет, никакого другого значения у еврейства нет. И народа-то нет, помимо богоизбранничества. Поэтому только в хранении веры, только в несении всему человечеству этой истины правды закона Моисеева или, если угодно, шестисот тринадцати мицв Торы, — только в этом смысл жизнь еврейского народа. И так получилось, а, как известно, что для верующего чудо Божие, для атеиста — случай. Так получилось, что после разделов Польши конца XVIII века абсолютное большинство рассеянного в мире еврейского народа оказалось в России. Случайно? Конечно же, нет.

Для меня как для профессионального историка, может быть, важнейшим моментом всего творчества Александра Исаевича, начиная с его романов, является именно нравственное прочтение истории. В истории нет детерминирующего внешнего закона развития формаций, смены народов, рас, племён. В ней есть внутренняя пружина ответа на добро и зло, пружина нравственной ответственности. И когда народ, страна, граждане в каком-то непонятном для нас арифметическом соотношении, потому что иногда немногие могут спасти многих, а иногда многие не способны спасти немногих лжецов и грешников, по-всякому бывает, и мы не знаем почему, — но когда народ выбирает зло — с ним совершается зло, когда выбирает добро — с ним совершается добро. Умение нравственно прочесть историю, умение увидеть в ней личный выбор, выбор личной воли — это, может быть, главный вклад Александра Исаевича в русскую культуру, в европейскую культуру XX века, страшно-

го века, который всеми своими идеологиями как раз уводит человека от нравственного выбора. Посмотрите, в нацизме вовсе не нравственный выбор предлагается («Я освободил вас от совести», — говорил немцам Гитлер), а выбор крови, выбор почвы. Национализм даже в самой мягкой форме — это дихотомия свой — чужой. Свой прав, чужой не прав. И отсюда — этническое государство и всё прочее: жизненное пространство, естественные границы, самоопределение наций. Страшная мировая война 1914–1918 годов, разрушившая «добрую старую Европу», плата как раз за безнравственность национализма. Уж о коммунизме я и не говорю. Класс-гегемон, класс пролетарский прав, а эксплуататорские классы не правы. И вот от этого как раз уводит Александр Исаевич и показывает, что высший смысл общественной жизни не в национальном величии и даже не в национальной независимости, а в личном выборе человека и в личном выборе народа. В книге «Двести лет вместе» Александр Исаевич сказал замечательные слова, которые могут быть эпиграфом ко всему его творчеству:

«Так и всегда трудны и смешны в истории те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество»¹.

И потому удивительное соединение еврейского и русского в границах одной империи имело следствие, на которое не мог не обратить внимание человек, привыкший осмысливать историю в нравственных категориях. Тот народ, который призван был нести имя Божье всему миру и который в большей своей части оказался соединённым с народом русским, не только в массе своей отказался от имени Божьего, но и породил богоборческие доктрины и режимы по всему миру. И в России, и в Германии в 1918–1919 годах, и в Венгрии в 1919-м. Как, почему такое количество евреев — людей, которые только славой Торы существуют, пошло против Бога отцов своих, против Бога, которого исповедовали вокруг христиане, пошло с богоборцами и даже в некотором роде создало силу и основу богоборческого большевицкого режима, богоборческого III Интернационала? Это главный вопрос. И этот страшный вопрос обращён уже не к русскому народу, он обращён к еврейскому народу. Нельзя одними притеснениями и гонениями Средневековья объяснить массовый отход евреев от Бога Араама, Исаака и Иакова в XIX–XX веках и навязывание богоборчества и беззакония всему миру. Эта апостасия имеет нравственную, свободную волевою причину и потому ответственна и может быть судима.

Как в своих предшествующих книгах Александр Исаевич призывал к покаянию русский народ и бичевал грехи своего народа и язвы своего

народа, так же на этот раз он поднял бич на грехи того народа, который стал его народом через принятие веры и Христа. Он вновь кается за себя, за свой народ, за русское еврейство.

Посмотрите «Двести лет вместе». Каждый факт правильного нравственного выбора тем или иным евреем приветствуется, описывается, поднимается на высоту необычайную, и не только выбор в отношении русских, такое тоже было (скажем, те евреи, которые пошли в Белое движение, вроде офицера Кацмана кутеповской дивизии, или как тот ростовский врач-еврей, который вытаскивал своего сына в Ледовый поход в феврале 1918 года). Он всех вспомнил, он обо всех сказал. Но даже не только это. Те евреи, которые и не думали о русском народе, но которые честно, нравственно, религиозно исполняли свой долг, скажем не уклоняясь от общих работ в лагере, но таща тачку, а не уходя в обслуживающий персонал лагеря, — все эти имена перечислены. Вот эти самые люди показали суть, правильную суть нации. И каждый из них выделен, каждый из них показан. Для Солженицына важно то, что это — нравственный пример, а другое — нравственное преступление, порочащее народ. Его народ. И об этом надо было сказать. Об этом, конечно же, как пишет в предисловии сам Александр Исаевич, должен был сказать еврей, но это не было сказано, почти не было сказано. Есть книга доктора Пасманника-Ильинского, еврея, о проблеме евреев в России в Гражданской войне, ей посвящены целые главы «Двести лет вместе». То, что было сказано Пасманником и немногими подобными ему, бесценно, но этого мало. И вот протянута вновь рука, она протянута к тому народу, без которого жизнь русского народа невозможна, жизнь христианского мира невозможна. Пророчество апостола Павла, что весь Израиль спасётся, что еврейский народ отринут до времени, пока не войдёт в Церковь полнота язычников, — этот призыв действует. И поэтому это своё. И рука протянута. И слово произнесено. И для спасения, для утверждения в Правде народа еврейского, по сути говоря, написаны «Двести лет вместе», не для русского народа они написаны. Но так же как и с русским народом, так же как и с «Архипелагом ГУЛагом», так же как с «Красным Колесом» было, так и тут. Слова Солженицына вновь не приняты, не поняты, отвергнуты, ошельмованы и оплёваны.

Но наступит время, и наступает уже, когда великий народ, народ славы Торы, осознает, как осознает и русский народ, что без покаяния, без честного называния своих грехов нет будущего, нет спасения и нет возрождения. И тогда низко склонится он перед тем, кто не пожалел себя для того, чтобы сказать эти горькие, честные и, как всегда, невероятно трудные слова. И если будущее «Красного Колеса» больше, чем его про-

шлое, то будущее «Двухсот лет вместе» безмерно больше того хая, который вокруг него поднялся. Великий писатель прошёл путь от частного к общему. От художественного факта к исторической панораме, от своего народа к метафизической проблеме спасения. Это был путь, возвратный путь к правде, и то, что было сказано Александром Исаевичем, свой призыв «жить не по лжи» он исполнил вполне, распяв себя не только за русский народ, но фактически в лице еврейского народа за всё человечество, которое, постоянно забывая пути правды, надеется на непроходных обрести вечно желанные человеку мир и благоденствие.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.И.* Двести лет вместе: В 2 ч. М.: Русский путь, 2002. Ч. II. С. 337.

Светлана Шешунова
ДУБНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ»

О «Красном Колесе» можно сказать то же, что сказал Пушкин о «Евгении Онегине»: время в нём рассчитано по календарю. Этот календарь многослоен. «Время, в котором мы живём, имеет бездонную глубину. Современность — только плёнка на времени» (IV: 549)¹, — размышляет Варсонофьев. Эта глубина времени открывается в православном календаре.

Одна из сквозных тем тетралогии — тема поста. О её значимости для Солженицына свидетельствует статья «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни» (1973). Пост изначально предназначен для решения поставленных в ней задач — таких, как поворот от духовной разбросанности к духовной сосредоточенности, лечение души через покаяние и самоограничение. И «Красное Колесо» есть, в частности, история отказа русского народа от этих важнейших для автора ценностей.

В одной из глав наминается, как глубоко приняла когда-то Русь христианство: «...его поимёнными святцами заменила всякий другой счётный календарь, весь план своей трудовой жизни»; отдала «его постам — свою выдержку, его праздникам — свой досуг...» (VIII: 227). Эти праздники придают повседневности иное измерение, позволяют земному прикоснуться к небесному. Когда Ирина (Оря) Томчак, поссорившись с мужем, едет в день Преображения в церковь, то на службе её «всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом», что, вернувшись от обедни, героиня сама просит прощения у виноватого перед ней Романа, «ибо только в этом христианство» (I: 27). Арсений Благодарёв думает во время праздничной литургии, как поднимает она «над жизнью колотыбенной <...>. И хотя, у престольной службы стоя, всегда знают, что едва спустя начнётся общая гульба, пьянка <...> и драки <...> а тут напомним тебе, что всё это — муть и пена, а все мы — мир, одного Бога дети, и не го-

жо нам друг на друга злоститься» (IV: 128). Воротынцев, набираясь сил после страшного боя, вспоминает о крестном ходе в храмовый праздник Успения у себя на родине, в поместье Застружье. «Седовласый почтенный батюшка никогда не приезжал в тарантасе, а всегда шёл пешком, с непокрытой головой. И две иконы несли, по две бабы каждую. Но главный добровольный состав шествия был — подростки. <...> Приходили в лапотках и босиком, но в чистенькой всегда одежде, и столько доверия простодушного (обязывающего), столько чистой веры было в лицах, разлитая мягкость смывала озорную остроту. И две одинокие хоругви двигались праздником на всю распаханную окрестность» (I: 438). Этот краткий эпизод вбирает в себя то, что так подробно развёрнуто в «Лете Господнем» И.С.Шмелёва.

Однако «Красное Колесо» показывает, как накануне роковых испытаний Россия отстает от тысячелетнего чередования постов и праздников. Оря напоминает Ксенью, что «в постах — люди вырастают» (I: 42), но в образованном кругу её убеждения выглядят как чудачество. Крестьянство ещё строит «план своей трудовой жизни» по церковным праздникам — как, например, отец и сын Благодарёвы: «...за Михайлов день забуду. А до Введенья — нет» (III: 545). Но выдержка, необходимая для поста, теряется уже и здесь. Даже Арсений и Катёна, во многом олицетворяющие здоровые силы крестьянской России, ставят своё желание поскорее иметь ребенка выше Великого поста: «Ещё ни про какую войну никто не ведал, и с Масляны по закону надо было обрывать, хоть и молодожёнам. А Катёна — ещё не понесла. А жадалось им. И шептались: будем грешить, може Бог простит. И так — до Вербной. И, видать, простил же им Бог, какого сына родила! А подклонились бы закону — и осталась бы Катёна яловой на войну» (III: 550). Принятое супругами решение влечёт за собой и ложь священнику (будущему священномученику о. Михаилу Молчанову), который, догадавшись о правде, «над святцами хмурился, грозил Катёне». Однако героиня «со спохваточкой» отклоняет возможность покаянного признания. «Батюшка, истинно говорю, лишнего переносила. Чего-й-то он никак не выкатывался!» (там же). Арсений и Катёна радуются на сына и остаются довольны, что «не подклонились закону»: «В пост Великий — а какой получился! То ж великой, да?» (там же). Между тем известно, чем кончилось Тамбовское восстание, в котором должен принять участие Арсений: «...семьи восставших берутся заложниками в концлагеря <...>, за укрытие повстанца расстрел <...>; укрытие семей повстанцев приравнять к укрытию бандитов <...>. — В Каменке. Массовые расстрелы на выгоне; похороны без гробов» (X: 688–689). Страшное будущее отбрасывает тень на

убеждение героев, что Бог и так им простил, а значит, никакого покаяния не нужно...

В процесс апостасии вовлечён даже такой близкий автору персонаж, как Воротынцев. Когда он объявляет Калисе, что останется у неё ночевать, та может в ответ лишь покорно выдохнуть: «Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе...» (V: 537). Важно подчеркнуть, что отмеченные поступки не судятся автором; Солженицын предельно чужд фарисейского высокомерия по отношению к своим героям — как историческим, так и вымышленным. Желание молодёжьонов Благодарёвых скорее дать жизнь новому человеку несравнимо чище и достойнее, чем, например, стремление к любовным утехам, присутствующее у Александра Коллонтай; соединение с Калисой освобождает Воротынцева от невыносимой душевной растравленности, которая могла бы довести его и до худшего греха... Но всё же факт остаётся фактом: пост теряет свой смысл даже для самых лучших, искренне верующих (и даже поющих в церковном хоре, как Арсений) людей. И это знак того, что духовные силы народа исподволь тают, делая его беззащитным перед грядущими испытаниями.

Отказ от самоограничения достигает кульминации в эпизодах самовольного разговения, псевдопасхи. Их значение было впервые раскрыто П.Е.Спиваковским, который проследил их связь с другими символическими мотивами «Красного Колеса» — образами солнечного затмения и гуннов². Добавим к его наблюдениям, что в повествовании несколько раз упоминается мнимопасхальный звон, возвестивший о победе революции. Такой звон Варсонофьев слышит из Кремля «...не только не урочный, не объяснимый церковным календарём, — утром в пятницу на третьей неделе Поста, — он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. <...> Это были удары — как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать» (VII: 46). В другой главе Ксения слушает тот же «громовой колокольный звон, как пасхальный» и чувствует, «что это неуместно и даже обидно: как же так, на великий пост?». А «многие прохожие <...> восхищались, как это замечательно придумано: отметить колокольным звоном праздник обновления России. Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон — подменный какой-то...» (VII: 230). Показательно, что Ксения про себя определяет мнимопасхальный звон так же, как и Варсонофьев: «пьяный» (VII: 231). Этот звон — символ самоопьянения и самоослепления народной души, символ свершившейся глобальной духовной подмены.

Революционная фразеология подменяет также содержание праздников Преображения и Входа Господня в Иерусалим. Автор без комментариев приводит бредовые фразы февральских газет: «Да это же вовсе не революция! Это — светлое Преображение, величайшее из земных чудес!» (VII: 600). «Из проповеди священника в те дни: “Мальчики и девочки с пальмами и цветами встречали Христа Спасителя — вот как сейчас гимназисты и гимназисточки встречают Великую Русскую Революцию...”» (VIII: 117). Подобное переосмысление календаря предстаёт как результат глобального искушения, которому поддаётся Россия.

Подлинная Пасха при этом отодвигается на задворки национальной жизни и дискредитируется. «Тема этой незамеченной, упущенной Пасхи проходит у Солженицына по “апрельским” страницам»³, — справедливо замечает И.Б.Роднянская³. «Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции, теперь ещё эта Пасха не вовремя, сбивает темп, необходимый повсюду, и “Речь” призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник» (IX: 19). И вот уже делегаты Царскосельского гарнизона обращаются к рабочим судостроительного завода с требованием «напряжённой работы на оборону. “И заклинаем товарищей не губить родины празднованием Пасхи! Не услышите — найдём средства заставить!” Рабочие отвечали: охотно пойдут навстречу желаниям солдат» (IX: 85). Люди даже не замечают абсурдности предположения, что Пасха Господня может быть «не вовремя», что празднование Пасхи может погубить родину — страну, которая ещё числится христианской. Утверждается новая, несоместимая с христианским мировоззрением система ценностей, внутри которой отношение ко времени может быть только прагматическим.

Другим искушением выступает упование на то, что в дни церковных праздников Бог особо покровительствует человеку или стране независимо от их собственного поведения. Если же события мирской жизни не дают знаков такого покровительства, это упование оборачивается унынием, что и происходит в дни Самсоновской катастрофы. Отчаяние сердечно верующего полководца усугубляется тем, что эти дни совпали с праздниками Успения Пресвятой Богородицы и Нерукотворного образа Спасителя. «...и не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос.

Как будто и Христос и Божья Матерь отказались от России» (I: 417). Покоряясь этому отчаянию, Самсонов кончает с собой. Между тем из интервью Солженицына следует, что он не согласен с выводом своего героя: «Когда нам кажется, что история развивается безнадежно, это

мы только проходим через испытания, в которых мы можем вырасти. <...> Это не значит, что Бог нас покинул! Бог дал нам свободу воли <...>. И если <...> одна нация за другой, одно правительство за другим — делает ошибки, то это не Бог с нами ошибается, это мы ошибаемся»⁴. Поражение русской армии, как наглядно показывает писатель, обусловлено не отказом Христа от России, а конкретными ошибками военачальников.

В «Красном Колесе» изображается немало церковных служб, но полностью, от начала до конца — только одна. Это всенощная с выносом Креста («Март Семнадцатого», глава 430), которая совершается в субботу на третьей неделе Великого поста и открывает четвёртую, Крестопоклонную. Неделя эта особенно строга, так как готовит людей к уже близким дням Страстей Господних. Почтение к ней по инерции сохранялось в общественном быту и в первые дни после Февральской революции: «...из-за четвёртой, Крестопоклонной, недели поста не было ни спектаклей, ни даже киносеансов» (VIII: 68). Смысл названной всенощной выражен у Солженицына с предельным лаконизмом: «Крест голгофских страданий, вынесенный в центр храма, становится в центр мира» (VII: 312). По воле автора он становится и в центр эпопеи: названная всенощная изображена почти в середине повествования. Слово «Крест» неслучайно часто пишется в ней с прописной буквы. Тетралогия не может, на наш взгляд, быть понята вне символики Креста и семантики столь выделенного писателем богослужения.

Созерцание Креста позволяет человеку не замыкаться в пределах собственной эпохи, соизмерять происходящее в мире с главным событием человеческой истории, свершившимся на Голгофе. А перед лицом этого события легко осознать, что ни политические коллизии, ни социальные конфликты недостойны восприниматься как основное содержание исторического процесса. «И воспламеняются революции, и гаснут революции, — а мир Творца стоит» (VII: 283), — думает во время всенощной Вера Воротынцева, и её точка зрения в данном случае созвучна авторской. Встречая Крестопоклонную неделю, только что отрёкшийся Николай II думает: «Боже мой, как мелки все наши заботы по сравнению с Голгофой! Что решит или откажет какое-то временное правительство, пустят туда или сюда, что напишут в революционных листках, — всё это прейдёт. И его отречение от престола <...> — тоже прейдёт. А Голгофа — останется вечно, как главная жертва и главная тайна» (VII: 313). Всенощная с выносом Креста идёт уже среди революционного вихря. На улицах вокруг храма творятся бессудные расправы. Стараниями фанатиков пропагандистов в народе умножаются и умножаются зависть и нена-

висть. Ещё несколько месяцев — и к власти придёт правительство, объявившее беспощадную войну Христу и христианам. «Но мир храма торжествовал над внешним. Ничто не могло протянуть лапы остановить этот воспаряющий праздник <...> где вперёд искупалось и всё дурное, что могло случиться во внешнем мире» (VII: 286).

Однако это искупление, совершённое Спасителем на Голгофе, отнюдь не освобождает человека от ответственности за собственную судьбу и окружающий мир. Для Солженицына чрезвычайно важно представление о том, что «история есть результат взаимодействия Божьей воли и свободных человеческих воль»⁵. Собранные в «Красном Колесе» исторические факты свидетельствуют, что в событиях революции 1917 года не было ничего фатального. Они стали результатом свободного проявления воли (а чаще безволия) самых разных людей: генералов и парламентариев, министров и рабочих. У этих исторических персонажей, воссозданных на страницах эпопеи, несхожие биографии и политические убеждения. Объединяет их только одно: в решающий момент они идут, иногда из благих побуждений, на сделку со своей совестью. Эта сделка, как правило, предполагает согласие с унижением или убийством невинных людей. Но действующие (а чаще бездействующие) лица оправдывают себя тем, что таким образом служат родине, народу или идеалам всемирного братства...

В этом важнейшем аспекте своего содержания «Красное Колесо» созвучно одной из тех восхищавших Солженицына проповедей о. Александра Шмемана, которые писатель в 1970-е годы слушал по радио «Свобода»⁶. Она посвящена именно Крестопоклонной неделе, и в ней говорится: «Мы знаем, что мучили, распинали, ненавидели Христа не какие-то изверги, особо злом одержимые люди. Нет, в сущности, это были люди, “как все” <...>».

Но разве не совершается то же самое и в окружающей нас жизни? <...> Разве не присутствует Пилат в каждом из нас всё время? Разве, когда приходит час сказать решительное, бесповоротное н е т неправде, несправедливости, злу и ненависти — мы не сдаёмся на этот соблазн «умыть руки»? <...>

И потому первый смысл креста — это смысл его как суда <...> над тем псевдодобром, в которое в мире сем вечно рядится зло и которое обеспечивает злу его страшную победу на земле»⁷. И «Красное Колесо» отвечает этой мысли проповедника. Мозаика документальных сюжетов складывается в рассказ о том, как официальные лица и частные граждане России тоже отнюдь не изверги, а «люди, как все» — «умыли руки», освобождая Ленину прямой путь к власти. И обрекли страну на распятие...

Крестопоклонная напоминает не только о Кресте Христовом, но и о том кресте, который дан каждому человеку в его конкретных обстоятельствах и который христианин обязан нести каждый день. Солженицын писал об этом и до «Красного Колеса» — в частности, в своём письме Патриарху Пимену (1972). Символично, что это скорбное письмо датировано именно Крестопоклонной неделей⁸. Глава «Марта Семнадцатого», в которой описана всенощная, будет создана ещё нескоро. Но её будущий автор уже призывает «в эти дни, коленно опускаясь пред Крестом, вынесенным на середину храма», вспомнить о том, что без жертвы нельзя вернуть России христианский дух и христианский облик⁹. Здесь письмо Солженицына почти буквально совпадает со словами уже упоминавшейся проповеди о. Александра Шмемана: «Вынося крест, поклоняясь ему, целуя его, вспомним <...> о кресте как о выборе. О выборе, от которого всё зависит в мире и без которого всё в мире — торжество тьмы и зла»¹⁰.

Все герои «Красного Колеса», сознательно или неосознанно, стоят перед этим выбором. И некоторые выбирают крест — путь самопожертвования во имя любви к Богу и ближнему. Вера Воротынцева заставляет себя отказать столь долгожданному ею любимому человеку, чтобы не причинить горя другой женщине и её ребенку. «Крест? Крест. Нести крест!» — решает она (VIII: 421). Николай II видит в своей царской власти «Крест Господен» (II: 397), а после отречения со смирением принимает все посыпавшиеся на него удары: «Вот она, Крестопоклонная...» (VII: 315). «Да будет воля Божья над нами!

Записал так в дневник и после восклицательного поставил Крест» (X: 253). Такова последняя фраза, сказанная в «Красном Колесе» о Государе: Крест Христов завершает, венчает собой его жизнь, словно перечёркивая все его ошибки. Отметим, что интерпретация Солженицына предварила позицию Церкви: Николай II был канонизирован не как благоверный правитель, но именно как страстотерпец — за свою жизнь после ареста, в которой он сознательно следовал за Христом в кротком перенесении издевательств, вплоть до смерти. Крестом завершается в эпопее и совершенно другая сюжетная линия — история провинциального мальчика Юрика Харитоновна. Чувствуя, что революция несёт с собой всеобщую нравственную порчу, он призывает своего такого же юного товарища, Виталия Кочармина: «А давай поклянёмся друг другу, что вот мы — будем против всякой мерзости биться!» И мальчики дают такую безмолвную клятву — соединяют свои руки: «правую с правой, левую с левой, крест-накрест» (X: 469).

Но большинство персонажей «Красного Колеса» отказываются от креста — иногда в прямом смысле слова. Например, солдаты сдают в

поддержку революции свои Георгиевские кресты — боевые награды, принятые «когда-то перекрестясь» (IX: 102). А главное, множество людей из самых разных общественных слоёв вдруг осознают себя свободными от любого долга. Не жертвенность, но стремление к власти или к лёгкой, необременительной жизни определяет их поведение. Этот коллективный, почти всеобщий отказ от Креста писатель считает самой главной, самой глубокой причиной русской катастрофы XX века. В своей Темплтоновской лекции, произнесённой в 1983 году, Солженицын обозначил эту причину одной фразой: «Люди забыли Бога...»¹¹.

Но кара Божия лишь грань Божьего милосердия. Об этом напоминает такой документальный, а вместе с тем символический эпизод «Марта Семнадцатого». Когда толпа достигла казарм Измайловского полка (чтобы и там убивать верных присяге военных), измайловцы как раз выходили оттуда с другой стороны — «на подкрепленье правительственным войскам. И успели уйти. Разделил тех и других — массивный широкий тёмный в ночи Троицко-Измайловский собор.

Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окружной темноте крест на куполе необъяснимо светился. И кто замечал — снимали шапки и крестились» (V: 638).

Этот необъяснимый свет ещё раз напоминает людям о спасительной силе Креста. И всенощная с выносом Креста говорит о том, что после всех земных победителей победит Христос. Падая на колени перед увитым цветами Крестом, все собравшиеся в храме прославляют его песнопением, и голоса их звучат «взмывающей земной силой» (VI: 286). Земля в эти минуты взмывает к небу. «Это была — как волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, — на аналой посреди храма.

Нет, не волна, а соединяющая сила, которую действительно ничто на Земле не может сломить.

— Кресту-у-у Твоему-у-у по-кло-ня-ем-ся, Влады-ыко-о!

И падал весь храм в едином земном поклоне — и снова вставал. И снова победно —

— Кресту-у-у...

Потом хор пел один — «Животворящему древу поклонимся» <...>.

Твоим Крестом разрушится смерти держава» (VII: 287).

Последняя фраза завершает всю главу, что придает ей значение смыслового итога. Она говорит прежде всего о буквальной победе Христа над смертью, о Его воскресении как залоге воскресения всех умерших. Но в контексте эпопеи она приобретает и другой, конкретно-историче-

ский смысл. «Торжественно выносили огромное Евангелие <...>. И мощным голосом дьякона:

“...Ибо они ещё не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых...”

Ещё не знали...

Но мир храма торжествовал над внешним» (VII: 286). Авторское, многозначительно оборванное «Ещё не знали...» имеет иное значение, чем омонимичная цитата из Евангелия. Те, кто молился за всенощной 4 марта 1917 года, ещё не знали, какая тьма надвигается на них; не знали, что наступает владычество безбожников, которое будет держаться на крови и костях, а потому тоже с полным правом может именоваться «державой смерти». Но и эту державу в конце концов разрушит Господь.

Изображение Крестопоклонной в «Красном Колесе» перекликается со словами Н.А.Струве: «Мы тут стоим перед Крестом, в котором всё содержание нашей веры, всё содержание таинственных законов мироздания. В каком-то смысле в Крест вписано всё, во что мы верим, но и больше: всё, что мы ощущаем как протекающее от начала мира до окончания века... Это есть нисхождение Всемогущего для нашего восхождения, восхождения по мере нашего свободного принятия Креста. Это есть закон одновременно уничтожения и славы, закон любви»¹². Отказ от Креста знаменует собой в «Красном Колесе» явление псевдопасхи; принятие же его, готовность на страдания за правду открывает перспективу Пасхи подлинной. Поэтому церковный хор и напоминает в конце всенощной, что Крест, орудие мучительной смерти, — это вместе с тем «животворящее древо» (VII: 287), источник вечной жизни.

Как показал И.А.Есаулов, в русской литературе ярко выражено пасхальное начало¹³. В целом ряде художественных произведений нравственное воскресение, преображение героя приурочено именно к Пасхе. Православный календарь, для которого Светлое Христово Воскресение является центром годового круга, определяет в таких произведениях своеобразие художественного времени — иногда более, иногда менее явно. Солженицын продолжает эту важнейшую для отечественной культуры традицию. А.С.Немзер обратил внимание на то, что почти в строгом центре романа «В круге первом», финале 52-й главы (в издании полного текста эта глава завершает первую книгу), неожиданно звучат слова: «Выпьем — за воскресение мёртвых!» Солженицын выделяет их разрядкой, подчёркивая тем самым их значимость. «Так в роман, действие которого разыгрывается в западное Рождество, входит главная тема праздника православных — тема Пасхи, праздника воскресения. <...> капитан Щагов не думал о том, что таится за его скромным тостом. Писа-

тель, прошедший путём своего любимого героя, — думал. Он знал, что душа человека, России, человечества, одарённого почти две тысячи лет назад Благодатью, не может пребывать в смерти. Как знал Гоголь, завершивший первый том “Мёртвых душ” словами надежды и восторга. Как знал Достоевский, завершивший “Братьев Карамазовых” клятвой мальчиков над могилой Илюшечки. Как знал Пастернак, завершивший “Доктора Живаго” стихами о воскресшем Христе»¹⁴.

Напомним, что слова о Воскресении «мощным голосом» возвещаются и почти в центре «Красного Колеса». Скрытая пасхальность является, на наш взгляд, тем внутренним светом, который освещает страницы этой уникальной эпопеи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее в скобках даются ссылки на издание: *Солженицын А.И.* Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках. М., 1993–1997; римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

² См.: *Стиваковский П.Е.* Символические образы в эпопее А.И.Солженицына «Красное Колесо» // Известия Российской академии наук. Сер. лит-ры и языка. 2003. Янв./февр. Т. 62. № 1.

³ *Роднянская И.Б.* Уроки четвертого Узла // *Роднянская И.Б.* Литературное семилетие (1987–1994): Статьи. М., 1995. С. 15.

⁴ *Солженицын А.И.* Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения // Собрание сочинений: В 9 т. М., 2001. Т. 7. С. 366–367.

⁵ *Солженицын А.И.* Интервью с Дэвидом Эйкманом для журнала «Тайм» // Там же. С. 474.

⁶ См.: *Шмеман А., протопресвитер.* Воскресные беседы. М., 1993. С. 3.

⁷ Там же. С. 169–170.

⁸ См.: *Солженицын А.И.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 38.

⁹ См. там же.

¹⁰ *Шмеман А.* Указ. соч. С. 171.

¹¹ *Солженицын А.И.* Собрание сочинений. Т. 7. С. 330.

¹² *Струве Н.А.* В Кресте всё содержание нашей веры // «УМСА-Press» в Архангельске. Встречи с Н.А.Струве: лекции, интервью, беседы. Архангельск, 2002. С. 7.

¹³ См.: *Есаулов И.А.* Пасхальность в русской литературе // Исторический вест. № 2/3 (13/14). Москва; Воронеж, 2001. С. 456–461; *он же.* Пасхальный архетип русской литературы и структура романа Б.Пастернака «Доктор Живаго» // *Есаулов И.А.* Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). Тверь, 2002. С. 50–63.

¹⁴ *Немзер А.С.* Рождество и Воскресение: О романе Александра Солженицына «В круге первом» // Литературное обозрение. 1991. № 6. С. 37.

Нэлли Щедрина
МОСКВА

ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В «КРАСНОМ КОЛЕСЕ» А.СОЛЖЕНИЦЫНА

«Этот Роман, ещё не написанный, всегда был величайшей любовью моей жизни. Ничего на свете я не любил до такого обмирания сердца»¹, — отметит Солженицын 19 июня 1965 года в «Дневнике Р-17», а впервые обнародует своё признание о «Красном Колесе» за день до 85-летнего юбилея в декабре 2003-го. Такое откровение — свидетельство большой значимости исторической эпопеи в его творчестве. Записи автора 1967 года по поводу этапов работы над книгой: «полуслеплого поиска материалов», «возгонки сюжета», «строения Частей» и др.; редакций романа; переживаемого состояния («Что значит написать этот роман? Это — стать себе на плечи, и ещё раз тому второму на плечи, и тогда напружить ноги, подпрыгнуть, зацепиться пальцами за край стены, подтянуться и перелезть. Вот так — трудно. Вот так — почти невозможно. А иногда думаю: не исключено, что и справлюсь, а? Вот диво-то будет»²); влияния исторических фактов на концепцию произведения («Так материал сам меня поправил. Форма романа будет *меняться на ходу* (курсив мой. — Н.Щ.) — по мере самой Революции!»³); многочисленные интервью и ответы на вопросы иностранных корреспондентов в связи с выходом отдельных частей «Красного Колеса» — приоткрывают исследователю всю сложность и ответственность писателя в осуществлении такого грандиозного замысла.

Развивая традиции Л.Толстого и Ф.Достоевского, переосмысливая наследие классиков XIX и XX веков, А.Солженицын и в своём творчестве придаёт огромное значение идейной и эстетической сторонам произведения. В его «Литературной коллекции» содержится много суждений о жанровой специфике, об образности, о художественных приёмах и средствах романов Л.Леонова, В.Гроссмана, В.Замятина, М.Алданова и др.

Чтобы выразить с помощью многообразия изобразительно-выразительных средств цельность идеи своей эпопеи, Солженицын оставался

в рамках определённых жанровых координат. Природа художественности «Красного Колеса» обусловлена как авторской позицией, так и самим историческим материалом и его значимостью для судеб России.

Проблема художественности в теории литературы обозначена В.Белинским, М.Бахтиным, А.Веселовским, А.Лосевым, Н.Геём и др., рассматривалась в связи с формой и содержанием, критериями оценочной характеристики произведения (С.Кормилов); исследователями выдвигались «законы» и «модусы художественности» (В.Тюпа)⁴, связанные с целостностью и значимостью содержания, его эстетическим феноменом, с сюжетом, детализацией, «голосом» автора, композицией, ритмом, ситуацией, мифом и др.

Несмотря на то что невозможно выработать некую таблицу признаков «художественности» на все времена, всё же существуют ценностные обозначения. По мнению С. Кормилова, критерии художественности не изолированы друг от друга и исторически подвижны. В этом их сложность и методологически значимая сила. К тому же у каждого жанра «свои требования к художественности»⁵.

При рассмотрении структуры произведения встаёт проблема его «эстетической оценки». Есть мнение, что это прерогатива критики, а между тем эстетическая оценка — вопрос пограничной области знания, объединяющей усилия теории литературы, эстетики и культурологии. Для постижения сущности предмета важно обозначить дистанцию между автором и тем, что он изображает, ибо оценка произведения затруднена исторической жизнью и функционированием его во времени. Эта зависимость касается любого жанра, но в историческом романе всё обстоит гораздо сложнее, поскольку для него временная дистанция является обязательным условием, а оценка в литературном процессе зависит от степени или доли присутствия социальных проблем, отражающих сущность настоящей политической системы.

Мы рассматриваем «художественность» как типологическую категорию авторского сознания, отдавая себе отчёт в том, что она, с одной стороны, выполняет свои функции как аксиологически-нормативная, а с другой — проецируется на конкретный текст и проявляется в: историзме; художественной философии истории; значимости и новизне художественного открытия, заложенного в самой сути исторического содержания; концепции исторической личности как предмете эстетического отношения и художественного познания; единстве мира (эпохи) и человека (личности); выделении в личности общечеловеческой сути; причинной связи между характерами и обстоятельствами (вымышленные и исторические герои); макромире и микромире. Художественность как

форма выражения эстетического видения писателя раскрывается в структуре произведения: в композиции романного целого, функциях автора-повествователя и автора-героя, во времени и пространстве, в роли мотивов и лейтмотивов, ритме; в изобразительно-выразительных средствах (художественная условность, символика, метафоричность, импрессионистические картины, фольклоризм и др.).

Этими особенностями обладает «Красное Колесо» А.Солженицына. Основополагающее место в романе занимает художественная философия истории⁶ — крупное оригинальное явление, требующее особого изучения. Это мощнейшая глыба, постичь которую возможно лишь усилиями филологов, философов, историков, культурологов и др. Боль за Россию, сопряжение происходивших в ней событий с современностью привели к грандиозным обобщениям, коими стали «Красное Колесо», «Как нам обустроить Россию?», «Русский вопрос», «Россия в обвале» и др.

Историософия А.Солженицына зиждется на постулатах Платона и К.Леонтьева, Н.Бердяева и С.Булгакова, И.Ильина, Блуа, Камю, Кафки и др. Но писательские взгляды складывались скорее не в союзе с ними, а в спорах. Солженицын выступает её творцом и активным проповедником-новатором. Его концепция русской революции в целом противоположна бердяевской. И Бердяев, и Франк усматривали в 1917 году вершину свершения русского максимализма, утверждали, что в Петре есть черты сходства с большевиками. Писатель же развивает тезис об инородности революции для России. Считает, что это учение привозное: это чужаки, пришельцы устроили у нас революцию, и главной жертвой стал русский народ. Массовое истребление народа — основной довод А.Солженицына.

Запад 1978 года — это Россия 1880-го, с её террористами, сбившейся с пути интеллигенцией и тем патологическим нежеланием смотреть в глаза «действительности», которое обличал Бердяев и его соавторы в сборнике «Веки» в 1909 году. Самоуничтожение либералов и социалистов перед лицом коммунизма, объясняет писатель, повторилось в мировом масштабе, растянувшись на несколько десятилетий; происходит грандиозное повторение того же процесса самоослабления и капитуляции.

С юных лет Солженицын чувствовал, что на него возложена особая миссия — воссоздать русскую революцию, которую столько исказили, фальсифицировали, скрывали. Её история в «Красном Колесе»⁷ — образ философский, развёрнутый широко, наделённый метафоричностью. «Как же сложно-петлиста история! — восклицает автор. — Вместо того чтобы прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну — и ты бессилен, и все бессильны»⁸.

Философское сознание писателя политизировано в силу объекта размышления, ибо к вечным философским категориям в его концепции «примешивается» реальный человеческий опыт. Построенная на принятии и одновременно на неприятии некоторых позиций Бердяева, Леонтьева, Ильина и Флоровского, но в большей мере на столкновении с ними, его философия «устремлена» на государственное переустройство страны.

«Красное Колесо» построено на парадоксальном историческом смешении российской истории — той, которую проповедовали в официальной идеологии, и той, которая на самом деле происходила. История, по мнению А.Солженицына, — действенная категория, которая должна «служить» нации. Историческая эволюция «сметена» исторической трагедией. История в «Красном Колесе» — не только предмет изображения, но и главный герой повествования. Это философский образ, наделённый метафоричностью, развёрнутый в большое пространство. Раскрытию философии истории Солженицына служат не только факты и документальные источники, философские концепции и учения видных мыслителей, но и заимствованные библейские сюжеты, евангельские мотивы. Художественная философия зиждется и на экзистенциальной проблематике, «вечных» вопросах бытия: любви, жизни, смерти, быстротекущего времени, созидания, дружбы и одиночества, мечты и разочарования. Расширению творческого освоения истории способствует «личностная» позиция писателя-историка.

«Красное Колесо» — это роман «авторских идей», рождающий и одновременно разрушающий существующий мифологический пласт. Писатель берёт сотворённые и жившие в сознании советского человека мифы о русских революциях: первой — 1905 года и Февральской — 1917-го.

«Авторский миф» о Феврале выразился в кульминационном Узле «Красного Колеса» — «Марте Семнадцатого». Отдельные его звенья претворились в выделенных апострофом обзорных главках: 3' — «Хлебная петля», 26' — о бездарности Государственной Думы. Фабульными звеньями в «Марте» стали: история унтера Тимофея Кирпичникова, застрелившего офицера, — «пусковой крючок» солдатской вольницы в Волынском полку; безумство министров Протопопова и Кривошеина, «знаменитого монархиста Шульгина»; деятельность «крикунов первого состава Совета», «двух оборотистых псевдонимщиков Суханова-Гиммера и Стеклова-Нахамкеса»; судьба людей «нового типа», наподобие ротмистра Вороновича, легко скользящего по волнам революции, а также история жизни тех, кто сохранил в этой сумятице

своё достоинство: бывший министр внутренних дел Маклаков, фронтовой полковник Кутепов — будущий знаменитый генерал Гражданской войны и др.

Отречение Николая II, по мнению писателя, начало разрушения России и ядро самопадения Февраля. Эта сцена — центральная в композиции «Марта», выполненная в маскарадном ключе⁹ является сюжетообразующим звеном Узла. Писатель использует традиционный для эпохи Ренессанса мотив карнавала, перенося его в XX век, что прямо ассоциируется с постановкой в Императорском театре в этот момент драмы М.Ю.Лермонтова «Маскарад», в которой участвуют и герои «Красного Колеса». «Карнавал» в романе приобретает характер «потехи» и площадного зрелища на заседаниях Государственной Думы, Комитета Советов, а также в сцене исторического отречения Николая II от власти, шаржированного выступления в Таврическом дворце перед толпой триумфатора Керенского и гротескного безумия в читальном зале швейцарской библиотеки, где зреет ленинский план о возможности «прийти на революцию вовремя». После весёлого «карнавального праздника» произошла историческая метаморфоза — всё приобрело мрачный трагический оттенок «слепоты», превратив людей в маски. Создавшаяся абсурдная ситуация становится для России революционным «безумием». А.Солженицын в романе, метафоризируя сюжет, приходит к обобщению: «маскарад» — драма жизни и судьбы, «маскарад» как театральное действие, «маскарад» — «революция».

И как реакция очевидцев и участников февральских событий на то, что уже произошло, и как итог содеянного, писатель вводит в «Красное Колесо» главу 546' «Февральская мифология», выделенную в тексте апострофом, даёт читателю волю поразмыслить, как бы дистанцируясь от приводимой документальной информации. Всё же в подборке материалов к ней, в расположении его и подтекстном обобщении выражен авторский взгляд. Звучащий голос повествователя обращён к нам, читавшим в учебниках истории об убийствах, погромах и грабежах в февральские дни. Солженицын стремится к развенчанию «придуманной истории». В этой части романа скрыт глубокий авторский подтекст и ирония: мифы священны, не всем доступны, в них верят. Называя главу «Февральской мифологией», писатель использует ещё один оттенок понятия «мифология»: мифу всегда присущ объяснительный (этимологический) элемент, связь с какой-то чертой действительности. Для «объяснения мифа» о Феврале в этой главе появляются такие действующие лица, как «крупная немецкая партия», «высокопоставленные иуды», «дворцовая камарилья», «царство Каинов», «переодетая поли-

ция», «псы мракобесия», говорится о «гласном суде», «диктатуре безумия», «временах Иуды Искарюта», «бесовском царстве».

Глава «Февральская мифология» построена по принципу монтажа материалов печатных изданий того времени: «Русской воли», «Нового времени», «Биржевых ведомостей», «Речи», в которых дана характеристика недавно свершившемуся событию с разных точек зрения. В приведённой информации говорилось о «гнусном», «крепостническом режиме», в котором «задышалась Россия», якобы фактически управляемая не Николаем II, а Вильгельмом. Надеялись на свободу мысли, свободу печати и считали свободой для России «национальной гордостью», а революцию называли «народно-русской». «Династией греха и крови» «обзывали» рухнувший режим власти, писали о существовании в России предательской «крупной немецкой партии», опиравшейся на государыню, обвиняемую во всех грехах и пороках («имела немало фаворитов», организовала покушение на жизнь мужа и др.). Царя теперь в прессе именовали «Николаем бывшим» (8: 73) и слали в его адрес после отречения проклятия, называя «коварным лицемером», «романовским последышем», затмившим своими грехами Ивана Четвёртого, критиковали императорское окружение, в котором царил «гомерическое пьянство», находились «шептунны и предатели».

В главе «Февральская мифология» привлечены мнения публицистов, политиков и историков — Н.Чхеидзе, П.Струве, писателей — Л.Андреева, А.Блока, А.Серафимовича, Д.Философова, Ф.Сологуба и др. Кульминация характеристики этого страшного времени содержится в повествовании фельетониста Александра Амфитеатрова, приведённом в романе.

«Царь вышел глупый-преглупый. Рождённый быть безголовым, инстинктивно был недоволен: зачем ему голова... Полная нечувствительность к эмоциям нравственного восприятия. <...> Опасный неврастеник, может быть даже параноик... Дегенеративные начала несомненно переданы Александрой Фёдоровной всем своим детям... Россия может считаться счастливой, что отделалась от Александры Фёдоровны так дёшево» (8: 76).

Очевидно, это отрывок из книги фельетонов Амфитеатрова о царской семье — «Господа Обмановы».

В главе 546' «повествования в отмеренных сроках» приведены и другие острые и гневные высказывания из прессы: о положении на фронте, о лозунгах Учредительного Собрания, о борьбе внутри Государственной

Думы, о «февральских вождях», вызвавших Октябрьскую революцию, «отменившую их самих». Рассчитывая на то, что читатель в состоянии разобраться в приведённом материале, который имел место в печати, Солженицын иронически завершает главу народной поговоркой: «Супротив печатного не соврёшь» (8: 80).

Если в «Красном Колесе» авторская концепция Февраля воплощена художественно, то в публицистике, органично с ним «сросшейся», показан «механизм» возникновения и существования политического и идеологического мифотворчества, которым «обросла» Февральская революция. В сознании писателя эти два аспекта неотделимы друг от друга.

«Февральской революцией, — говорит А.Солженицын, — не только не была достигнута ни одна национальная задача русского народа, но произошёл как бы национальный обморок, полная потеря национального сознания. Через наших высших представителей мы как нация потерпели духовный крах. У русского духа не хватило стойкости к испытаниям»¹⁰. Возможно, поэтому Солженицын «оборвал» своё повествование в «Красном Колесе» на событиях, предшествующих Октябрю 1917-го, ибо перспективы его были уже ясны.

Проблема воссоздания характера исторического деятеля является ключевой для писателя. Он осмысливает его взаимосвязь с окружающей действительностью, место в историческом процессе того времени, рассматривает и оценивает влияние на него событий истории.

«Быть может, главная причина, по которой рушатся государственные системы, круги, привыкшие к власти, не успевают — потому что не хотят — уследить и поспеть за изменениями нового времени: начать благоразумные уступки ещё при большом перевесе сил у себя... Мудр тот, кто уступает, стоя при оружии, а не опрокинутый навзничь. Начать уступать — ...это ведь трудно для человеческой природы» (2: 200).

В России должна была появиться личность, которая взвалила бы на себя весь этот нечеловеческий груз реформ. Ею оказался П.А.Столыпин.

«Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. А затем — не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают... это ядро» (2: 165).

Авторские отступления о «вечных проблемах России», «людях земли», о том, «как легко с лакированной трибуны XX века поставить неторопливую, прожжённую, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды!» (2: 233), как «не всякому даже в жизни раз даётся такой день публичного беззащитного позорища медленной казни» (2: 236), служат раскрытию личности Столыпина. Не раз проводится в романе авторское сравнение Столыпина с Петром I:

«Это опять был *Peter* над Россией — такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же радатель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслью иной, и тем отличаясь от императора Петра...» (2: 221).

И далее даётся авторское резюме:

«Линия Столыпина стала кристаллизующим стержнем, и к нему притягивались по всей России все те образованные — увы, уже — е щ ё ? — немногие, в ком сохранились непостыженные остатки или раскрывались неуверенные начатки русского национального самочувствия и православной веры» (2: 222).

В процессе работы над «Красным Колесом» перед Солженицыным стояла задача постижения сложнейшей зависимости объективных обстоятельств и субъективной воли личности в поступательном ходе времени, преодоления романтического и гиперболизированного отношения к народу.

Писатель в «повествование в отмеренных сроках» раскрывает личную ответственность человека, взявшегося властвовать и повелевать. Он стремится разобраться в психологии неограниченной самодержавной власти, её диалектике, опорах, кульминации и крахе.

Солженицына интересует взаимодействие героя с данной ему (Николай II) или приобретённой им (Ленин) властью. Он рассматривает, как власть держащие или власть имеющие испытывают всемогущество, аффект власти. Ощущение гениальности, состояние исключительности подталкивают их к реализации конкретных государственных преобразований и свершению нечеловеческих поступков. С другой стороны, это ощущение неограниченной самодержавной власти являет собой ещё и «философию наслаждения», часто перерастающую в самодурство. Ленина Солженицын считает не только центральной фигурой своих произведений, но и «центральной фигурой нашей истории». Вождь в

изображении писателя действительно политик «нового типа», перед которым отступают все исторические персонажи «Красного Колеса», все участники Февральской революции, на глазах перерастающей в Октябрьскую.

Автор, создавая своё произведение, исходит из того, что исторические личности трагичны по своей сути, что они проходят «испытание трагедией» в момент катаклизмов. Писатель даёт логический императив: нельзя подводить Россию к великим революционным испытаниям и дальнейшим неслыханным переломам в ходе истории — тогда политика исторической личности тоже становится помехой для их страны. Он рассматривает трагедию невозможности достижения своей цели, категории вины, вины и беды.

Писатель стремится «разбить» прямолинейное представление о зависимости человека от среды и обстоятельств, якобы всецело определяющих его личность, стремится показать, что же ещё заключено в ней, каковы её возможности, какова зависимость от психологии. Воссоздавая минувшее, Солженицын утверждает приоритетность общечеловеческих основ жизни, ценностей народного миропонимания, без которых нет ни отдельной человеческой судьбы, ни судьбы всего государства; выявляет новые подходы к историческому герою и его поведению с точки зрения традиции, натуры человека и его самосознания.

При всей внутренней сложности и жанровой интегрированности «Красное Колесо» является художественным феноменом. Исторический материал как бы полностью растворяется в избранной писателем форме. Этому способствует разнообразие стиливых приёмов, используемых Солженицыным.

В структуре романа ведущую роль играют мотивы, организующие сюжетную цепь повествования. Это мотивы «бесовщины», нетерпения, «русского фатума», дома, мира, пути, смерти. Метафоризация, при помощи которой образ, мотив, символ, приобретая устойчивость, могут брать на себя и функцию метафоры, рассматриваются как ключ к пониманию авторского сознания, как часть художественной системы Солженицына. Глубинным подтекстом обладают мотивы «бесовщины» и нетрадиционного для русской литературы карнавала, получившие в романе особое метафорическое звучание.

Каждый мотив имеет свой особый хронотоп¹¹. Романно-эпические хронотопы А.Солженицына масштабны и объёмны. Хронотоп в «Красном Колесе» является как способом последовательного, хронологического изображения событий — от 1914 к 1917 году с точной конкретизацией месяцев, чисел, порой даже часов, так и способом сгущённости времени.

«Красное Колесо» следует отнести к произведениям «открытого» времени¹²; в нём характеры героев вовлечены в исторический водоворот, но и само время трансформируется: история «живёт» странными «скачками» — от затухания к извержению, и жизнь — «это сплетение подъёмов и спадов человеческого духа». Писатель исследует и концентрацию, и длительность, и протяжённость времени, проявляющиеся в «биографических хронотопах»¹³. Следует особо выделить и хронотоп Петербурга-Петрограда. Он центр событий «Красного Колеса», основная сценическая площадка «Октября Шестнадцатого» и особенно «Марта» и «Апреля Семнадцатого».

Уже в первом Узле, где речь в основном идёт о событиях Первой мировой войны, определённое место занимает пространство Петербурга. Оно воссоздаётся изображением как самого города, так и его предместий: Выборга, Павловска, Красного Села, но особенно Царского Села. Именно в 1914 году и произошло изменение названия Санкт-Петербурга, к которому относились по-разному. А.Солженицын приводит разговор курсисток по этому поводу.

«Спорили и о Петербурге-Петрограде, переименованном вчера. И тоже не говорили так, что это — квасной шовинизм, что смешно. А только-то: что *святого* потеряли, Санкт-, сменили апостола на императора и не заметили, уж тогда бы *Свято*-Петроград. А другие напоминали, что город-то был по-голландски назван Питербургом, а “Петербург” нам немцы навязали, и в этом символ нашего вечного подчинения, и хорошо, что отбросили!» (2: 458–459).

Всё для автора «Красного Колеса» является важным в облике Петербурга, будь то описания времён года, например зимы, весны 1905 года, когда погода «стояла на одних оттепелях, все ездили на колёсах, и уже в марте неслась по улицам убийственная пыль» (2: 387). Или христианских праздников, например Крещения 1905 года, когда царская чета отправилась «к водосвятию в Петербург. После службы в церкви Зимнего крестный ход спустился к Неве на иордань» (2: 403). По этому поводу салютовала гвардейская конная батарея, но надо же было такому случиться, что одно из орудий выстрелило настоящей картечью и ранило городского. В нижнем этаже Зимнего вылетели стекла и упали на помост митрополита. Картечь на водосвятии явилась плохой приметой только что наступившего 1905 года, принёсшего России много бед.

Особое место в романе занимают описания самых разных уголков города, например малой Невки, Каменного острова,

«где в глубине деревьев, оголённых и с удержанными бурыми и красными листьями, угадывается, а в театральном бинокль и хорошо видно: в петушином стиле деревянная дачка, фантастическая каменная с чёрными башенками, да деревянный Каменноостровской театр» (3: 446).

По-разному к Петрограду относятся герои «Красного Колеса»: например, приехавшие — с фронта офицер Воротынцев и из провинции рабочий-конспиратор Шляпников. Воротынцев любит Москву и считает, что она «с душой, а тут — нет» (3: 311). Чужим чувствует себя в Питере Шляпников: «...ой, мамаша, зачем я из Муромы зелёного уехал, зачем в большой свет подался?» (4: 341).

Встреча сослуживцев Свечина и Воротынцева тоже происходит в Петрограде на Невском проспекте. После прогулки по Мойке, Большой Морской они заглянули в ресторан Кюба, где завязался разговор о том, можно ли было России избежать войны и каковы наши союзники.

«Центром зрения» на Петроград в «Октябре Шестнадцатого» является авторский взгляд. Он выражен в целом во всей концепции этого Узла. Конкретизирован и в точных указаниях на место действия: «В Таврическом дворце, в Белом зале, заполненном полукругами кожаных кресел...» (4: 421); в публицистических отступлениях: «Петроград и сам по себе тоже был локомотив немалый» (3: 430); и в отдельных главках, названных, например, «Невский паровичок», где А.Солженицын утверждает, что

«центр тяжести этой многовострой северной Пальмиры или Венеции — не сверкательный Невский, не лепнокаменная Морская, не золочёные шпили, не россияевские колоннады, не фельтеновские решётки, вдоль которых рассеянной лёгкой походкой бродили легендарные наши поэты, — но сами решётки эти, и многие львы, и колесница Победы на величайшей арке, и самые мосты под коней чугунных или живых — Аничков, Николаевский, Синий, Цепной, отлиты здесь, далеко за Невскою заставой, на Александровском механическом. Отсюда ты твёрдо узнаёшь, что главный вес Петербурга — не то, что понимается и смотрится всеми как Петербург» (3: 498),

а «честно рассчитанный рычаг», который способен «угрожая перепронуть» (там же) всю Россию.

Пространство и время в «Красном Колесе» концентрируются в главах, названных писателем «обзорными» и «фрагментарными». Первые выделены в тексте апострофами, имеют подзаголовок, указывающий на

хронологически точную дату. Например, в главе 19' «Общество, правительство, царь» в первом Узле повествуется о 1914 году. Все события в ней происходят в Петербурге. В третьем Узле «обзорных» и «фрагментарных» глав по сравнению с предыдущими становится меньше, ибо повествование приобретает более динамичный характер как во времени, так и в пространстве. И всё же эти главы играют большую роль: 7' — «К вечеру 23 февраля», в которой говорится об экстренном совещании в градоначальстве; 21' — «К вечеру 24 февраля», в которой раскрывается сложившаяся ситуация, когда вся ранее охранявшая столицу гвардия ушла на фронт, и стало ясно, что в штабе на Гуреховой, 2, наступил кризис и надо принимать решение. А.Солженицын вводит «обзорную» 26-ю главу под названием «Дума кончается», где повествуется о неудачном обсуждении всесословного волостного земства — местного самоуправления, без которого Россия и движется к своему краху (за восстановление его в конце XX века вновь ратует писатель в публицистическом трактате «Как нам обустроить Россию?»).

Соотнося «фрагментарные», «газетные», «обзорные» главы о Петрограде с общим повествованием, писатель, по его словам, находится в поиске «какого-то равновесия»¹⁴.

Город в «Марте Семнадцатого» запечатлён как живой организм с его улицами, проспектами, площадями, вокзалами, дворцами, мостами, магазинами, театрами — вся сложная многомерная картина нарисована в его судорожной динамике. То, что в этом Узле «Красного Колеса» разворачивается военное действие, делает петроградское пространство отнюдь не абстрактным: читатель ощущает реальность Знаменской площади и Петроградской стороны, дома графа Мусина-Пушкина или Мариинского дворца; движется то с кутеповским отрядом, то с толпой военного батальона, то с охтинскими рабочими; начинает физически переживать значимость расстояний, трудности проезда, опасность пешеходных переходов.

«Времяпространство» (термин М.Бахтина) романа «Красное Колесо» обуславливается ходом повествования. Ведущим для А.Солженицына, по его словам, становится «метод плотности»¹⁵. Следует отметить концентрацию времени и пространства в тех главах романа, где речь идёт о Петрограде. «Знаком» в них является «неисчерпаемая плотность» происходящих в истории событий. Масштабность картины создаётся за счёт характеристики вышедших газет, уличных объявлений, информации о работе транспорта, полиции, воинских караулов, санных извозчиков, петроградских пекарей и т.д. Внимание писателя концентрируется на «бастующем многолюдье» Васильевского острова, Литейного, Выборгской стороны.

В третьем Узле Петроград явно доминирует над всем остальным пространством (Москва, провинция, прифронтовые области, Швейцария), действие лишь трети глав романа разворачивается вне Петрограда.

Предвестником падения власти становится неразбериха в городе, в которую ввергнуты, так или иначе, все герои романа: офицеры восставших полков, министр Протопопов, стремящийся спастись в Думе, генерал Кутепов, пытающийся удержать Литейный, Саша Ленартович, захвативший вместе с офицерами Мариинский дворец; обмороки Керенского, сердечные приступы Государя и Гучкова воссоздают ощущение трагедии.

«Видами повествования», использованными в «Красном Колесе», писатель назвал «киноэкран», «газетные монтажи», поясняя в беседе со студентами Цюрихского университета 20 февраля 1975-го, чем его приёмы¹⁶ отличаются от «киноглаза» Дос Пассоса. Как известно, в кино элементы измерения времени, сочетание плоскостей играют едва ли не главную роль. У Солженицына в «экранных» вставках идёт преобразование жизненного времени в единый кинокадр, имеющий свой центр, план, эмоциональную окраску. С помощью киноэкрана нарисованы в «Красном Колесе» массовые сцены — бегство корпуса генерала Благовещенского, уличные сцены в Петрограде. «Наступает такой момент, — говорит Солженицын, — когда повествователь мешает. Он становится стеной между читателем и материалом. Лучше дать сразу в глаза читателя, чтоб он всё это увидел»¹⁷. И тогда внутри главы появляется «настоящее кино», перед «просмотром» которого автор предлагает зрителю видимые ориентиры: где расположен сам экран, откуда идёт звук, как начинается съёмка.

В «экранный» вставке «Марта Семнадцатого» под названием «Уличные сцены в Петрограде» три картины, две из которых происходят на Аничковом и Казанском мостах. Это неслучайно, с одной стороны, происходящее связано с историческими местами конкретных событий, с другой — в мифопоэтической традиции мост означает соединение между различными точками сакрального пространства, в общеславянском языке буквально — «перекинутое, переброшенное через что-то»¹⁸, а в стратегическом смысле мосты всегда считались важными объектами. А.Солженицын использует и прямое значение, и мифологическое, и метафорическое как переход Петрограда и всей России в иное историческое измерение, в иное пространство и время.

Между четырьмя бронзовыми конями Аничкова моста мчатся живые красавцы кони, их два. Писатель в «экранный» главе демонстрирует возможность остановки мгновения, превращая сцену в одномо-

ментный снимок. Молодой мастеровой «в поддёвке, шапке набекрень — стал на пути» и притормозил коней и сани, в которых ехали солидный господин и «дама в широкой шляпе с перьями», заставил их сойти, а извозчику приказал «катить» вместе с ним «вдоль по Невскому». Кроме ближнего плана на «экране» возникает дальний, где тоже изображена сцена со средством передвижения, но теперь уже трамваем, на пути которого появляются мальчишки лет пятнадцати и требуют у пожилого вагоновожатого покинуть своё место и отдать им право управления.

Вторая часть «экранный» сцены на Казанском мосту, где проглядывает Спас-на-Крови вдоль канала, выполнена в форме молитвенного плача. Только пришедшие с окраин Петрограда к собору бабы и подростки обращаются не к Богу, а к власти:

«— Дай-те хле-ба!
— Ха-тим есть!» (5: 83).

Их голоса «улетают» в подошедшую толпу, на которую «драгуны наезжают конными грудями» (там же).

На дальнем плане «экрана» по контрасту с «просящей толпой» зеваки — «хорошо одетая публика», наблюдающая за происходящим, но и неё появляется сочувствие.

Третья картина, представленная А.Солженицыным в главе, символизирует столкновение власти и толпы. Олицетворением самодержавия у церкви Знамения выступает памятник Александру III — «императору-богатырю», с которым вступает в поединок разъярённая масса, вооружённая поленьями из ломового воза дров, привезённых с Лиговки. Поленья «полетели как снаряды» в конных полицейских.

«Один только коняка не шелохнулся —
Александров. Конь-то — из былины» (5: 84),

— завершает сцену Солженицын. Диалог толпы с «фараоном» закончился: снисходительно взиравшие на происходящее, ухмылявшиеся казаки перешли на сторону восставших.

«Экранный» глава 169 «Разгром “Астории”» написана в стихотворно-тоническом ритме для усиления эмоционального эффекта. Увертюрой к сцене служит ночная «фотография» тупоносой «шестиэтажной с закруглённой крышей “Астории”» (5: 693), стоящей напротив памятника Николаю I. На ближнем плане — «кучки солдат», толкующих между собой, «пятки матросов». И вдруг, после сигнала:

«резкий свист дупальный!
и — кинулись — с обеих сторон угла!
кто откуда,
все с винтовками, с палками, с ломками!
.....
А ну, как ты колешься? — тычком приклада!
Брень!
И разбилось и не разбилось, тёмная рваная дыра —
.....
Брень! Брень!
.....
Так и рвёт дырами, ни прохода, ни проёма, гляди обрежешься.
.....
Выстрел.
.....
Дзень! тресь!
.....
Тресь! крах!» (5: 693–694)

Сцена ближнего плана приобретает необыкновенный динамизм, когда на пути ночных «посетителей» оказывается служащий гостиницы в фуражке с чёрным околышем, на котором выведено золотыми буквами «Астория». На его испуганную реплику: «*Одумайтесь, господа солдаты!* <...> *Приходите утром*» — матросы отвечают, что господ офицеров они «из постелек повытаскивают».

«— *Бе-ей! Бе-ей, погоны золотые!!*» (5: 695)

В одной и той же главе ощутимо изменение ритма повествования, к которому прибегает автор «Красного Колеса».

Когда А.Солженицын работал над тремя первыми Узлами, то не ставил перед собой цели создавать единое пространство, т.е. не думал о «стыках» и «спайках» частей. Такая потребность возникла в процессе написания последующих томов «Красного Колеса». «...Уже после “Марта” между Узлами вставляется календарь революции. Это может быть одна страничка между узлами, где перечислен десяток событий...»¹⁹ «Я выбираю из множества событий того времени те, — говорит писатель, — которые мне кажутся наиболее знаменательными, и огромное историческое событие, всем известное, может стоять рядом с маленьким, ничтожным, которого никто не знает. Но когда они вы-

страиваются в ряд, они дают тонкую соединительную веточку-ниточку между двумя Узлами»²⁰.

К концу четвёртого Узла сцены, нарисованные в романе, становятся столь напряжёнными, что А.Солженицын передаёт их содержание по календарным числам и по времени суток. Главы так и именуются: «Утро в Петрограде», «Фрагменты утра в Петрограде», «Фрагменты петроградского дня», «Фрагменты петроградского вечера».

«Апрель Семнадцатого» открывает «второе действие» «Красного Колеса», названное А.Солженицыным «Народоправство», после чего «повествование в отмеренных сроках» обрывается авторским итогом об «обречённости февральского режима <...> октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный» (10: 559). Само название «второго действия» и приведённые в десятом томе «Фрагменты народоправства» подчёркивают, что только большевицкий режим обладает динамичной силой, а он-то и сулит народное правление. В представленном А.Солженицыным конспекте главных событий продолжения романа, доведённом до двадцатого Узла, «Весны Двадцать Второго», идея «народоправства» имеет дальнейшее развитие, к сожалению, только в набросках.

Что касается Петрограда, то его мозаичная картина в «Апреле Семнадцатого» составлена писателем из событий, происходивших как на массовых сборищах (на митинге против «Займа Свободы» у Казанского собора, на Металлическом заводе на Выборгской стороне), так и в жизни частных лиц (бежал арестованный аферист Гольцман, солдат-писарь Стрючков выстрелил в спину генералу Кошталинскому, барон фон-Шриппен зарезал певицу Сезах и др.). В целом представленные фрагменты воссоздают трагизм Петрограда, ввергнутого в пучину разрухи и крови. А над всем происходящим витает идея Ленина о мировой революции, а это означает, что события Петрограда, всей России окажут влияние на общемировое пространство.

По мнению А.Солженицына, писателя-историка и публициста, одна из коренных причин русского настроения состояла в том, что страна бессознательно равнялась на Петроград — средоточие империи, именно в нём и произошёл слом власти, слом двухсотлетнего периода в развитии города, а значит, и Российской империи, ибо всё решается в столице и столицей, «умышленного» столпа петровского деспотизма и бунтующих площадей.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что столь тщательно описанного, столь масштабного и панорамного образа города-столицы в период с 1914 по 1917 год в русской литературе XX века не было. Эпи-

ческая форма повествования, избранная автором «Красного Колеса», в котором синтезированы и время, и пространство Петербурга-Петрограда, основанного Петром, способствует этому.

По мысли Солженицына, подлинный художник «знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога»²¹. Он осознаёт, что «не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах»²². Так писателю удаётся высказать невыразимое, художественно воссоздав на страницах «Красного Колеса» трудноуловимый метафизический пласт бытия.

В позиции осмысления и художественного воссоздания А.Солженицыным природного космоса²³ особое место занимают суждения писателя о планетарном единстве человечества. Они близки выводам В.И.Вернадского и П.Тейяр де Шардена. Вернадский видел, что «увеличение вселенскости, спаянности всех человеческих обществ непрерывно растёт и становится заметным в немногие годы чуть не ежегодно», и оценивал это как «начало стихийного движения, природного явления, которое не может быть восстановлено случайностями человеческой истории»²⁴. Солженицын ощутил это глобальное единство не в геологическом, а в историческом времени, изнутри системы, стремившейся прервать неделимость, «единство планетарного человечества».

Разумеется, Вернадский и Солженицын по-разному подходят к процессам планетарного сознания: учёный — с точки зрения геологических процессов, писатель — с точки зрения Божественного Провидения, социальных и исторических катаклизмов. Но тот и другой учитывают космическую стихию. Природный космос для них тоже часть планетарного сознания.

Для Солженицына природный космос вечно изменчивое, вечно становящееся целое, исполненное противоречий и одновременно гармонии. В его художественном мире удерживается мифологическая традиция, в которой космос целостная, упорядоченная Вселенная, где космическая гармония созвучна народной организации (мир-община и мир-космос). Именно с этими представлениями связано и понимание космоса не только как красоты, а Земли как мудрости. У Солженицына целостность изначально присуща Вселенной. Поэтому человеку нужно творить вместе с природой, не мешать её проявлению, не нарушать естественного ритма бытия, естественной пульсации всего в мироздании.

Большое место в эпическом повествовании А.Солженицын отводит микрокосму как объективному образу, с которым связано всё живое и неживое. Не только небесные светила, вид ночного неба, подробности рассвета описаны А.Солженицыным с детальной точностью. Созвездия

обозначают путь; месяц, сначала молодой, потом всё набирающий силу, отмеряет ход времени. Но помимо этого утилитарного использования «жизни неба» его облака, месяц, звёзды — уже они одни представляются нам картинами, как бы независимыми от жизни на Земле.

В целом же солженицынские пейзажи даны не как «интерьер» героя, а как арена Жизни, Истории, Космоса, Времени, Пространства.

Анализ картин природы и их философский смысл в «Красном Колесе» позволяют увидеть в романе характеризующие космос мифологемы. Для природного космоса «Красного Колеса» чрезвычайно характерны все четыре стихии. Среди них огонь, пламя, красный цвет занимают одно из центральных мест. Это очищающая, целительная сила, когда речь идёт о домашнем очаге семьи Томчаков, и это грозная, опасная стихия, которая связана с кровавостью империалистической войны, стихия огня, испепеляющего землю, несущая гибель всему живому.

Универсальность образа Земли создаётся масштабом измерений. Генерал Нечволодов войну и Вселенную меряет Россией. Россия в творчестве Солженицына — это земля, поля, хребты, ландшафты — пространства; это народ с его миропониманием, с традиционными представлениями, имеющими мифопоэтические корни. Хотя писатель и говорит, что держится ближе к истории, подальше от романистов, но движение времени, смена знаков зодиака, образы реки, струи, неба, Земли как стихии Космоса вносят в его роман метафорически-обобщённое начало. И «пространство» России обогащается и расширяется за счёт представлений о ней как единственной Земле, планете плодоносящей и творящей жизнь. Архетипический символ «матери-сырой земли», известный во всех земледельческих цивилизациях, конкретизируется в метафорически сакральном образе «Матушки России», за которую и отдают свою жизнь герои «Красного Колеса». Блуждают по символическому Грюнфлисскому лесу многие герои: прапорщик Ленартович, грызущий «крупитчатую землю» на картофельном поле, солдаты, несущие безногого, который «не был враждебен» никому, — «не немецкий, не русский, а Божий», «приючал» к себе всякую тварь, покровительствовал на земле всему живому. Мифологема земли стягивает все остальные природные мировые стихии.

И всё же природа у автора «Красного Колеса» то выше человека, то ниже, то ровень с ним — и в мирном, и в военном состоянии. Писатель предпочитает взаимное переплетение и сближение судьбы человека и земли. Изображение природного космоса в эпике Солженицына является не столько художественным приёмом, сколько органической частью авторского мироздания.

Анализ романа позволяет прийти к выводам, что, повышая эмоциональную выразительность картин истории, А.Солженицын создал необычную²⁵ повествовательную структуру, используя приёмы многоголосия, стереофоничности, прибегая к нетрадиционным для прозы авторским ремаркам, способствующим динамике сюжета, «общению» автора с читателем, введению сценической интриги, раскрытию характеров героев, жестов, интонаций и т.д.

В «Красном Колесе» особую функцию выполняют публицистические отступления, ретроспективные и документальные «вкрапления», а также философская, библейская, предметная и абстрактная символика²⁶. В рамках эпопейного начала в романе синтезированы²⁷: историческое, историософское, романное, художественно-документальное повествования, а также использованы принципы драмы, а именно мистерии и трагедии с элементами катарсиса, привлечены кинематографические приёмы.

«Красное Колесо» — этапное произведение мировой литературы XX века, вобравшее в себя всю полноту исторических, философских, нравственных и этических проблем. Их раскрытие обусловило поиск А.Солженицыным новых эстетических координат, связанных с организацией единого целого как качественного показателя художественности произведения.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Солженицын А. Из дневника Р-17 (1960–1991) // Литературная газета. 2003. № 49. С. 3. См. также наст. изд. С. 10–12.

² Там же.

³ Там же.

⁴ См.: Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. Кемерово, 1987. С. 3.

⁵ Кормилов С.И. О критериях художественности // Принцип анализа литературного произведения. М., 1984. С. 51.

⁶ Определение и содержание этого понятия сводятся к следующему: «Художественная философия истории» — некая «творческая категория, формируемая сознанием писателя, опирающегося на достижения науки (истории, философии истории, историографии, социологии, психологии, биологии, физики, астрономии и др.), и под влиянием идей определённого философского направления» (Щедрина Н.М. Исторический роман в русской литературе последней трети XX века (Пути развития. Концепция личности. Поэтика): Автореф. ... д-ра филол. н. М., 1996. С. 22).

⁷ См. подробнее об этом в статье: Щедрина Н.М. Концепция истории в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Русская литература конца XX века (80–90-е годы). Пути развития прозы и драматургии: Учебное пособие / Изд-во Башкирского ун-та. Уфа, 1995. С. 90–115.

⁸ Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. М., 1993–1997. Т. 1. С. 336. В дальнейшем цитируется это издание, в скобках указывается том и страница, сохранена авторская орфография и пунктуация.

⁹ См. об этом подробнее в статье: Щедрина Н.М. Метафоризация мотива «маскарада» в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Литература «третьей волны» русской эмиграции: Сб. научных статей / Изд-во Самарского ун-та. Самара, 1997. С. 100–113.

¹⁰ Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 503.

¹¹ См. подробнее об этом в статье: Щедрина Н.М. Функции «хронотопа» в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Поэтика русской прозы XX века: Межвузовский науч. сборник / Изд-во Башкирского ун-та. Уфа, 1995. С. 81–99.

¹² См. размышления учёного о дифференциации и поэтике художественного времени в кн.: Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы: 2-е изд. Л., 1971. С. 238.

¹³ Термин М.Бахтина (см.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 398).

¹⁴ Солженицын А. Публицистика. Paris, 1989. С. 530.

¹⁵ См. там же. С. 515.

¹⁶ См. там же. С. 492.

¹⁷ См. там же. С. 528.

¹⁸ См.: Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка: 2-е изд., испр. и доп. М., 1971. С. 272.

¹⁹ Цит. по: Паламарчук П. Александр Солженицын: путеводитель. М., 1991. С. 63.

²⁰ Там же.

²¹ Солженицын А.И. Публицистика. Ярославль, 1995. Т. 1. С. 8.

²² Там же.

²³ См. об этом: Щедрина Н.М. Природный космос в «Красном Колесе» А.Солженицына // Природа: материальное и духовное: Материалы Всерос. науч. конференции (Пушкинский дом, Ленинград, гос. обл. ун-т.). СПб., 2002. С. 232–235.

²⁴ Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991. С. 28, 82.

²⁵ См. подробнее Щедрина Н.М. Форма выражения авторского сознания в романе А.Солженицына «Красное Колесо» // Поэтика русской и зарубежной литературы: Сб. статей. Уфа, 1998. С. 193–206.

²⁶ См.: Щедрина Н.М. Проблемы поэтики исторического романа русского зарубежья. / Изд-во Башкирского ун-та. Уфа, 1993. С. 148–160.

²⁷ См. об этом: Щедрина Н.М. Природа жанрового синтеза в «Красном Колесе» А.Солженицына // Русская литература XX–XXI вв. Направления и течения: Сб. науч. работ. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. пед. ун-та, 2002. Вып. 6. С. 181–197.

Александр Ванюков
САРАТОВ

«АДЛИГ ШВЕНКИТТЕН» А.СОЛЖЕНИЦЫНА. КОНЦЕПЦИЯ ПАМЯТИ И ПОЭТИКА ЖАНРА

В 1999 году в журнале «Новый мир» (№ 3) была опубликована «одно-точная повесть» А.Солженицына «Адлиг Швенкиттен»¹, посвящённая «памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балужева» (30), сама поэтика заглавия которой свидетельствует о том, что автор придаёт большое значение как жанровой дефиниции, точному определению жанра, так и направленности, адресату/посвящению своего произведения конца XX века.

В журнальной публикации повесть «Адлиг Швенкиттен» шла после «двучастного рассказа» «Желябугские Выселки», написанного от первого лица («Я четвёртые сутки обожжён и взбаламучен, не улегается. Всё, всё — радостно. Наше общее большое движение и рядом с Курской дугой — великанские шаги» (3)) и связывающего в своей структуре войну и мир, историю и современность: лето 1943 года, Желябугские Выселки на боевом пути командира звукобатареи Александра Солженицына и май 1995-го, празднование 50-летия Победы в Орле, поездку в Желябугские Выселки, в которых «выселковским» (Искитея и др.) «жизьца не стало» (27).

Взятые в единстве, рассказ «Желябугские Выселки» и повесть «Адлиг Швенкиттен» образуют определённый метажанровый контекст, который позволяет отчётливее представить и авторские принципы повествования, микротипологию повествовательных форм², и движение, развитие авторской мысли, глубинно связанной с основной идеей, концепцией/концептом памяти³, неслучайно выделенной в тексте курсивом (30).

Можно сказать, что работа Солженицына-эпика сродни работе А.Солженицына-математика, командира батареи звуковой разведки:

«Сижу, разбираюсь в лентах. Думаю.

Уставной приём: снимать отсчёты по началу первого вздрoga (здесь и далее курсив мой. — А.В.) каждого звукопоста. <...> Можно сравнивать

тики колебаний — первый максимум, второй максимум. Или, напротив, минимум. Или вообще искать по всем пяти колебаниям однохарактерные места, изгибы малые — и снимать отсчёты по этим местам» (14).

Произведения А.Солженицына — художественно смоделированные «отсчёты» по всем «колебаниям времени»; в «Желябугских Выселках» видно, как писатель «снимает отсчёты» по «пикам», «изгибам» памяти, восстанавливает то, что не могло быть тогда записано в *дневнике* и «перемешалось» в сознании:

«Сел под дерево, может запишу что в дневник? От вчерашних цыган — не добавил ни строчки.

А мысли не движутся, завязли. И — сил нет карандашом водить.

За эти четыре дня? Не приспособлен человек столько вместить. В какой день что было? Перемешалось» (19).

Рассказ строится на *максимумах* (война) и *минимумах* (мир) «пик колебаний», причём образ автора-рассказчика и героя, его память, сознание, слово/точка зрения органично объединяет все сферы повествования (событийную и бытийную, физическую и метафизическую) и живо раскрывает образ времени, «состояние» (14) народного духа, т.е. по своей жанровой природе «двучастный рассказ» «Желябугские Выселки» предстаёт как бы каплей эпопеи, малой частью солженицынского «повествования в отмеренных строках».

Показательно, что своё, важное место в авторской *памяти* о войне, авторской концепции личности занял в рассказе образ майора-комдива, командира дивизиона Павла Афанасьевича Боева, который заметно выделяется в воинском содружестве («Простодушного Овсянникова, да с его владимирским говорком, — люблю братски. Курсы при училище проходили вместе, но сдружились, когда в одну батарею попали» (9); «комбат 8й Толочков. Нравится он мне здорово. Ростом невысок, отчаянный, и работе отдаётся сноровисто, всё забывает. Хорошо с ним стрелять» (10) и в движении повествования вырастает в первой части рассказа в символ русского бойца, воина — на самом пике своего бытия («день рождения, тридцать без одного. А этот один — ещё как пройдёт...» (19)). Авторское слово о нём — это и слово-«гост» в боевой «компании», и слово-формула живого героя-друга, «святого товарищества».

«<...> Никакие мы с Боевым не близкие, а друзья ведь! все мы тут — в содружестве.

— Павел Афанасьевич! Два года войны — счастлив я встречать таких, как вы! Да *таких* (курсив автора. — А.В.) — и не каждый день встретишь.

Я с восхищением смотрю на его постоянную выпрямку и в его лицо: откуда такая *самозабычивая железность* (здесь и далее курсив мой. — А.В.), когда сама жизнь будто не дорога? Когда всякую минуту вся хватка его — *боецкая*.

— И как вам такая фамилия выпала? — лучше не припечатаетесь. Вы — как будто вжились в войну. Вы — как будто счастье в ней открыли. И ещё сегодня, вот, вижу, как вы по той колокольне били... <...>

— ...Для вас война — само бытие, будто вы вне боёв и не существуете. Так — дожить вам насквозь через всю...

Боев с удивлением слушает, как сам бы о себе того не знал. <...>

Бывал я в компаниях поразвитей — а *чище сердцем* не бывало. Хорошо мне с ними.

— Да-а-а, и ещё друг друга *как вспомним...*» (20–21).

Во второй части рассказа в мае 1995-го автор вспоминает о Боеве вместе «с Витей Овсянниковым, теперь подполковником в отставке» (22), знающим деревню «с основы» (26), и сам объём, контекст воспоминаний, образ памяти показывает, что в авторском сознании образ Боева и его судьба неразрывно/трагически связаны с судьбой России:

«Присели на бугорочек. Смотрим туда, вперёд.

<...>

Сидим, солнышко с левого плеча греет.

— Помогать им — по одной не вытянешь. **Весь распорядок в стране надо чистить** (здесь и далее выделено мной. — А.В.).

А — кому? Таких людей — не видно.

Давно не стало их в России.

Давно.

Сидим.

<...>

— Вот там, поправей, отмечали тогда день рождения Боева. Говорил: доживу ли до тридцать — не знаю. А до тридцати одного не дожил.

— Да, прусская ночка — была, — *вспоминает* Овсянников. — И какое ж безлюдье мёртвое, откуда бы наступленью взяться? Я через всё озеро перешёл — и до конца ж никого, ничего. И тут — Шмакова убило.

— Как мы из того Дитрихсдорфа ноги вытянули? **Бог помог.** Овсянников — теперь уже с усмешкой:
А от *Адлига*, через овраг, по снегу — бегом, кувырком» (26).

Эта эпическая *ситуация воспоминания* о Боеве и прусском Адлиге, чётко фиксирующая в 1998 году (29) «**Божеское и человеческое**» (Л.Н.Толстой), является своеобразным *прологом* к «односюточной повести» «Адлиг Швенкиттен», которая посвящается «*памяти* майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балужева» (30), образует двойной «*магический кристалл*» восприятия **повести**, разворачивающейся в журнальном номере «Нового мира» как вторая часть, вторая «глава» из авторской военной истории, судьбы «командира 2го дивизиона майора Боева» (30) и вместе с тем имеющей своё эпическое содержание, свою повествовательную структуру.

Уже «первое слово» — многосоставная *сфера заглавия* солженицынской повести ёмко фокусирует в себе главное, эпическую *меру* произведения, авторский хронотоп, или, точнее, **топохрон** повествования, *повести памяти*, действие которой происходит в немецкой местности, восточнопрусской деревне Адлиг Швенкиттен в течение одних суток.

«В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу! И значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии!

Отрезана — пока только этим дальним тонким клином, за которым ещё не потянулся шлейф войск всех родов. Но — прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия! Окружена!» (30)

— так начинается первый раздел/первый фрагмент повести, сама форма которой — повествование от третьего лица, по природе своей предполагающей эпичность, объективность, — действительно проникнута духом хроникальности, летописности и одновременно пронизана словом, интонациями автора, насыщена голосами времени.

«Это уже считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина — рукой подать, если и не нам туда заворачивать.

Уже пять дней нашего движения по горячей Пруссии — не было недостатка в праздниках. <...>

И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений — когда-то же чуть-чуть и распуститься.

<...>

А к утру 26го семеро бригадских шофёров — кто с тягачей, кто с ЗИСов — скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчётов. И несколько — схватились за глаза.

Так начинался в бригаде этот день» (30).

Уже зачин повести А.Солженицына ясно показывает глубокую соотнесённость авторского жанрового сознания с национальной традицией, знаково/формульно представленной «*Повестью временных лет*» и «*Словом о полку Игореве*», «трудной повестью о полку Игореве», воинской повестью⁴. Несомненно, что А.Солженицын, посвящая в 1998 году свою повесть *памяти* майора Павла Афанасьевича Боева, 1914 года рождения, и майора Владимира Кондратьевича Балужева, «однодневного комполка» (55), вернувшегося в армию, Восточную Пруссию, под Алленштейн, из Академии Фрунзе, жанрово учитывал, «снял» (говоря философским языком), развивал опыт работы над «Августом Четырнадцатого», первым Узлом «повествования в отмеренных сроках» «Красное Колесо».

Повесть «Адлиг Швенкиттен» — один из «тугих узелков» солженицынской эпопеи, его художественного *метатекста*. И в этом плане она синтезирует в себе «повесть времени» и «повесть личности».

«Односуточная повесть» А.Солженицына состоит из 24 главок и эпилога, передающих и всеобщее эпическое «содержание», «напряжение», «смысл» события (повествовательный «ключ» в «Желябугских Выселках»: «Ох, и гудит же в голове. Голова — как распухла, налилась. Да и сама же собой: ото всего напряженья этих дней, оттого, что *в сутках не 24 часа, а 240*» (14)), и движение времени, отдельные, конкретные событийно-временные «пики», «миги» действия, неразрывно связанные с «максимумами»/«минимумами» личностных проявлений. Каждая главка солженицынской повести — отдельный акт со своими действующими лицами единого военного, трагического события, начавшегося 26 января 1945 года в пушечной бригаде, когда «капитан Топлев... постучал в комнату, где спал командир 2го дивизиона майор Боев, — доложить о событии» (смерти шофёров) (30).

Солженицын строит повествование по принципу «глазами автора — глазами героев» и идёт от «внешнего» к «внутреннему».

«Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. <...> На гимнастёрке его было орденов-орденов, удивисься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (ещё и с Хасана было, ещё и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно затерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть — одна и радость *солдату*.

<...>

Майор был роста среднего, а голова удлинённая, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень и нос как чуть-чуть бы свёрнут к боковой глубокой морщине — как будто *неуходящее постоянное напряжение*.

С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу, горько:

— Э-эх, *глупеньё...*

<...>

Хоронить — да где ж? Сами себе место и выбрали.

<...>

— <...> Около огневой и похороним» (30–31).

И далее образ Боева проходит через всё пространство повести, неизменно выходя на передний край в самые ответственные моменты, максимальные пики, решающие обстоятельства развития действий, причём автор особенно внимателен к его «солдатскому» делу, офицерскому долгу, личностной сущности, героической по природе.

Вот в 3-й главке комдив Боев в «белом коротком полушубке» *получает задачу*: «Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько раз за военную службу приходилось вот это ему — *получать задачу* (курсив автора. — А.В.)» (33) — и повествование сразу — по ходу «получения задач» — проникается «внутренним голосом», профессиональными соображениями Боева:

«А сейчас — ещё издали, за 25 километров от того Либштадта, — как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное — где наша пехота? <...>

А в чём был смысл — занять огневые позиции до полуночи? <...>

По зимней дороге и с малым гололёдом ещё надо дотянуться невредимо до этого Либштадта, часа бы за три» (там же).

В 5-й главке Боев ставит «огневые» у деревни Адлиг Швенкиттен.

«По восточной окраине Адлига вполне уставлялись восемь пушек, однако, всё ж, не двенадцать, да и бессмысленно бы так. Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею — метров восемьсот поужней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен» (35).

Он размышляет о ситуации:

«И получалось непонятно: вот поставим здесь орудия — слишком далеко от немцев? Или, наоборот, зарвались? Может, они и этом ближнем леске сидят. Пока — выдвинуть к тому леску охранение.

<...>

<...> И сидел Боев над картой. Карта — всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадежки что-то можно увидеть, догадаться.

Боев никого не торопил, всё равно саней подождём. В безвестье он, бывало, и попадал. Попадал — да на своей земле» (там же).

Входит «давний приятель» Боева, «(ещё из-под Орла, математик)», «командир звукобатареи, оперативно подчинённой» (там же) ему. Автобиографический образ командира звукобатареи органично укладывается в эпическое поле повествования, занимая своё место в стремительном развороте событий.

«И сразу же свою планшетку с картой к лампе развёртывает. Думает он: вот, прямая просёлочная на северо-восток к Дитрихсдорфу, ещё два километра с лишком, там и центральная будет, туда и тяните связь.

Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрее и точнее, чем книгу. И:

— Да, будем где-то рядом. <...>

<...>

Торопится, и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием:

— Пока?

Что-то не сказано осталось» (35–36).

Велика роль в раскрытии характера героя, истории личности Боева 6-й главки, которая выглядит как сжатый «двучастный рассказ». В его первой половине конспективно раскрываются основные вехи, пласты биографии, жизненного пути Боева:

«Для кого война началась в 41м, а для Боева — ещё с Хасана, в 38м. Потом и на финской. Так и потянулось сплошной войной вот уже седьмой год. <...>

Да когда в армию попал — Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от Гражданской войны, от подавленного ишимского восстания. <...> С жильём — хуже всего, жил у замужней сестры Прасковьи. <...>

А в армии... <...> Чёткий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок — и жизнь твоя осмыслена насквозь: жизнь — служба, и никто тут не лишний. Рвался в армию ещё до призыва.

<...>

В армии понял Павел, что он — отродный солдат (курсив мой. — А.В.), что родная часть ему — вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свёртывания, передвижки, смены карт, новые порядки — вот и жизнь. <...> Война — как просто работа, без выходных, без отпусков, глаза — в стереотрубу. Дивизион — семья, офицеры — братья, солдаты — сынки, и каждый своё сокровище. Привык к постоянной передрыге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело — *забыл бояться* (курсив автора. — А.В.). И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее — всегда шёл. И под самой жестокой бомбёжкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только *как операцию заданную осмыслить и исполнить получше* (курсив мой. — А.В.)» (36).

А во второй — продолжается повествование о Боеве в данной операции:

«Вышел Боев наружу...

Все трое комбатов — тут как тут. Ждут команды. <...>

<...> Сейчас самое важное — правильно выбрать места наблюдательных. <...>

— А всё ж таки понимай, ребята: вот т а к а я (здесь и далее разрядка автора. — А.В.) тишина и т а к а я пустота — это может быть очень, очень серьёзно.

Топлеву:

— Ищи, Женя, пехоту... Найдёшь — пусть командир полка меня ищет. <...> А я выберу НП — свяжусь с тобой.

И прыгнул в передние сани» (37).

Затем сани Боева «выходят» в 9-й главке:

«Прикрывая снопик ручного фонарика рукавом полушубка, Боев поглядывал на карту, — по изгибам их заметенной полевой дороги определяя, где расставиться с комбатами и каждый на свой НП, по снежной целине» (39).

Боев ставит задачи комбатам (Касьянову и Прощенкову), ориентируется на местности, окапывается, устанавливает связь со звукопостом, ищет пехоту: «Двенадцатый, Двенадцатый, ищи палочки! (Здесь и далее курсив мой. — А.В.) Разошли людей во все стороны» (40).

В следующей — 10-й — главке на «огневые позиции тяжёлого пушечного дивизиона» (там же) приезжает майор Балуев. Его встречает Топлев.

«Из виллиса выскочил молодо. Майор Балуев.

<...>

У майора — и голос очень молодой, а твёрдый. <...>

<...>

Вошли в дом, к свету. Майор — худощавый, чисто выбрит. А, видно, примучен.

<...>

И оказалось он — командир полка, того самого, из той дивизии, что искали» (там же).

Повествование предельно лаконично, приближено к стилю киносценария, концентрировано и динамично:

«Присели к керосиновой лампе карту смотреть.

<...>

Майор, шапка сбилась на льняных волосах, *впивчивым взгядом* вонзился в карту.

Да нисколько он не был весел.

Смотрел, смотрел карту. Не карандашом — пальцем провёл предположительную линию — там где-то, впереди наблюдательных. Где пехоту ставить.

Раскрыл планшетку, написал распоряжение. Протянул старшему сержанту, какой с ним:

— Отдашь начальнику штаба. Забирай машину. Если где по дороге какое средство на колёсах — старайся прихватить. Хотя б одну роту подвезти вперёд.

А двух разведчиков при себе оставил.

— Пойду к вашему комдиву.

Топлев предупредительно повёл майора в Адлиг. И к исходу пути: — Вот прямо по этой санной колее» (41).

11-я — маленькая — главка — балуевская, автор точно и быстро раскрывает предысторию майора Балуева; его образ, как меченый атом, пронизывает всю толщу армии, наглядно обозначая вектор её движения и развития.

«После лёгочного ранения на Соже — майора Балуева послали на годичные курсы в Академию Фрунзе. Грозило так и войну пропустить — но вот успел, и прибыл в штаб Второго Белорусского — как раз в январское наступление.

Оттуда — в штаб армии. Оттуда — в штаб корпуса. Оттуда — в штаб дивизии.

И нашёл его только сегодня днём — нет, уже считай вчера это.

А у них как раз за день раньше — убило командира полка, и уже третьего с этой осени. Так вот — вместо него, приказ подпишем потом.

<...>

После академической слаженности теоретической войны — вот так сразу плюхнуться, немного обалдеваешь. А отвык — бодрись.

<...>

И в этой бурной неожиданности, колкости, остроте — *сладость воина*» (там же).

Новые, характерные грани личности Боева раскрываются в 12-й главке. В свете луны обнаруживается, что

«Луна имела над Павлом Боевым ещё с юных лет особую власть, и навсегда. Уже подростка — она заставляла остановиться, или сесть, или прилечь — и смотреть, смотреть. Думать — о жизни, какая будет у него. И о девушке — какая будет?»

<...> Павел перед каждой женщиной замирал душой, преклонялся перед этой нежностью, хрупкостью, уж боялся не то что сломать её, но даже дыханием обжечь. Оттого ли всего, не оттого — так и не женился до войны. (И лишь Таня, госпитальная, потом объяснила: дурачок, да мы хваткую власть над собой только и любим.)» (42).

А «странное» отсутствие связи «со штабом бригады» (при том, что «огневая» связь была уже налажена) показало ещё одну сторону чистой, цельной натуры Боева.

«Тут вспомнил: комбриг в госпиталь днём уехал. Значит, там Выжлевский заправляет?»

И всяких-разных политруков сторонился, не любил Боев как больше людей пустых. Но Выжлевский был ему особенно неприятен, что-то в нём нечистое — оттого и особенно пустозвонное комиссарство» (там же).

В 14-й главке «голос Боева — густой, всегда уверенный, надёжный» (44) — успокаивает «исполнительного» Топлева, обеспокоенного допросом перебежчика и «порывом» (43) линии связи.

«Боев — не сразу. Да он не говорлив. Думает. <...>

<...>

— Давай вот что. Переведи всё касьяновское хозяйство — за реку. Немедленно. И там занять позиции.

<...>

— <...>И — будь, будь начеку. <...>

<...>

— Всем — в боевой готовности, и смотреть, и слушать. Чуть что — докладывай» (44).

Встречаются два майора — Боев и Балувев — «на открытом снежном месте» (там же), на переднем крае: «Поручались. Уж, кажется, у Балувева — крепкое пожатие, но у Боева — цепная хватка» (там же). Оценили обстановку, поняли друг друга, свои задачи.

«Сошлись в голом поле на четверть часа. Сейчас расстаться — до пока провод, до первой связи. А то — и никогда не увидится, это всегда так.

— А величать тебя — как?

— Павел Афанасьич.

— А меня — Владимир Кондратьич.

И — сдвинулись тёплыми ладонями.

Зашагал Балувев со связными.

Луну — заволакивало» (45).

Каждый стежок, каждая деталь солженицынского полотна, кульминации повести эпически конкретны и символически значимы. Боевскую луну «заволакивало», движение Балувева (16-я главка) «по целине», «по рыхлому снегу» идёт в многослойном потоке повествования, включающем в себя и вехи военной биографии героя, и «повороты мысли»

«Даже во Второй Ударной, весной 42го, остался Володя Балувев жив, и из окружения вышел. А вот на сожевском плацдарме весь ноябрь 43го сгнивали — так ранило за два часа до отхода немцев, когда они уже утягивались. Но ранило — возвратимо, два месяца госпиталя в Самаре. И тогда — на год в Академию.

<...> А всё-таки год учебы — другой мир: война, возвышенная до ясности, красоты, разума. А и трудно запретить себе поворот мысли: за год-то, может, война и кончится? может, хватит с меня?

Не кончилась. <...> Через северную Польшу, через Пруссию догонял, догонял попутными машинами... И поспевал уже радуясь, войти опять в привычное фронтовое» (там же),

и «привычное фронтовое»

«Вёл по компасу.

<...>

Только б эту одну ночь передержаться — уже завтра будет легче» (там же),

и предчувствие, воспоминание о сне, примете

«И ещё вот: сон. Мама.

Володина мать умерла молодой, такой молодой! И Володе, вот, 28 — а уж много лет снится ему, ненаглядная. <...>

...от каких-то примеров, сравнений или чьих-то рассказов сложилось у Балувева: когда придёт время умирать — мама подойдёт вплотную и обнимет.

И минувшей ночью так и приснилась: мама дышала прямо в лицо да так крепко обняла — откуда у неё силы?

И так было тепло, радостно во сне. А проснулся — вспомнил примету...» (46).

Следующий боевский «пик» повествования — двойной, главки 18-я и 19-я, следующие с интервалом «с полчаса» (48) и передающие напряжение времени, мыслей и действий героя на рубеже жизни и смерти.

«Т а к (здесь и далее разрядка автора. — А.В.) Боев ещё не падал.

<...>

А вот — т а к?.. Ни звука, ни снаряда, ежеминутная смерть не подлетает, ничем не проявлена. Но пехоты — нет, и раньше утра не будет... А свой штаб — как умер, уже полночи. <...>

<...>

И — чего стоять? По ком стрелять? Зачем мы — тут?

Уже одну батарею Боев оттянул самовольно. <...>

Но оттянуть и две другие батареи за Пассарге? Это — уже полностью самовольная смена позиции, о т с т у п л е н и е. А есть святой принцип Красной армии: ни шагу назад! <...>

Вот — бессилие.

Ясный, полный смысл: конечно, надо отступить, оттянуть дивизион.

И ещё ясней: это — совершенно запрещено.

Хоть и погибай: только не от своих.

<...>

Мысли — быстро крутятся. Штаб бригады? Как могли так бросить?

Отступить — нельзя. Но — и до утра можем не достоять.

<...>

Волнения — нет. Спокойный отчётливый рассудок.

<...>

...До утра додержаться...» (47–49).

Показательно, что внутри этих главок, как раз в эпицентре каждой, Боева предупреждает «комбат звукобатарей» (48)/«комбат звукочей» (49): «...сообщает: сразу за озером — немцы, обстреляли предупредитель, убили бойца» (48) и «очень тревожно: его левый звукопост захвачен немцами! Оттуда успели только: **“Нас окружают** (здесь и далее выделено автором. — А.В.). В маскхалатах”. И — всё» (49).

Последние два абзаца 19-й главки ещё раз связывают образы Боева и Балужева.

«На северо-востоке — километра за два — протрещали автоматные очереди. И стихли.

А — примерно там, куда Балужев пошёл» (там же).

Последний раз голос Боева звучит «на огневых» дивизиона в 20-й главке.

«Боев — грозным голосом:

— Топлев! **Нас тут окружают!** Готовь оборону!

И ещё, знать, клапана на трубке не отпустил — услышался выстрел, выстрел!

И — всё оборвалось. Больше нет связи» (50).

Следом, в 21-й главке, на позицию 6-й батареи полковые разведчики выносят смертельно раненного Балужева.

«Олег (Гусев. — А.В.) наклонился над раненым. Майор. Волоса как лён.

Недвижен.

— Ваш?

— Полковой. Новый. Только прислали его вчера.

— Тяжело?

— В голову и в живот» (51).

22-я и 23-я главки таким же «двойным зрением» — авторским и живых героев (Топлева, Кандалинцева и Гусева) — показывают «кинжальную» немецкую атаку («Всё это коротко — как удар ночным кинжалом» (51)) и ночной бой сквозь призму воспоминаний.

«Кандалинцев и Гусев потом только вместе, помогая друг другу, — могли и не могли вспомнить, как же оно точно было? Что после чего? И чья именно пушка попала в первый танк? и в третий? и отчего горел бронетранспортёр?

<...>

Вот так — вспоминали потом, все вместе, но *что* (здесь и далее курсив автора. — А.В.) именно за *чем* и от *кого* — уже никому не разобраться (52–53).

<...>

Не поверил Олег, глянувши на часы: куда три часа ушло? Как они сжались, проскочили? Будто канули в бою.

Уже и светало» (53).

Последние выстрелы звучат в финале (24-я главка) повести: «смекнувший» бригадный СМЕРШ майор Тарасов «повёл за сарай» немецкого перебежчика — «невиноватую» жертву этого трагического «узелка» войны.

«Шёл сзади него и на ходу вынимал ТТ из кобуры.

А за сараем — сразу два выстрела.

Они — тихие были, после сегодняшней громовой ночи» (54).

Однако «односуточная повесть» не завершается на этом, не замыкается в рамках одной, пусть и «громовой ночи». Автор пишет «Эпилог» (выделено автором. — А.В.), в котором объединяются хроника боевых действий, как бы репортаж, свидетельства очевидцев и взгляд, интонации историка, современника, т.е., можно сказать, оперативно-тактический и стратегический, исторический и метаисторический масштабы повествования:

«2 февраля мы снова отбили и Либштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Адлиг Швенкиттен. <...> Между пушками и дальше к Адлигу лежали неубранные трупы батарейцев, несколько десятков. <...>

Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали близ Боева мёртвыми. И сам он, застреленный в переносицу и в челюсть, — лежал на спине. Полушубок с него был снят, унесён, и валенки сняты, и шапки нет, и ещё кто-то из немцев пожадился на его ордена, доложить успех: ножом так и вырезал из гимнастёрки вкруговую всю группу орденов, на груди покойного запёкса ножевой след.

Похоронили его — в Либштадте, на площади, где памятник Гинденбургу.

<...>

Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева — Отчественной войны 1й степени. Удовлетворили. Только ордена этого, золотенького, *никто никогда не видел* (здесь и далее курсив мой. — А.В.), — и сестра Прасковья не получила.<...>

Тоже и командир стрелковой дивизии *в своих послевоенных мемуарах* — однодневного комполка *майора Балужева не упомянул*.

Провалился, как не был» (55).

«Адлиг Швенкиттен» — трагическая повесть. Начавшись радостным известием о прорыве нашей армии к балтийскому берегу и «горькой» вестью о «глупой» кончине семерых «бригадских шоферов», она (повесть) ёмко воссоздаёт «одни сутки» войны, трагическую ситуацию, высшим, *реквиемным* выражением которой является трагическая гибель и судьба героев — майоров Боева и Балужева, *памяти* которых и посвящена повесть.

Повесть А.Солженицына написана *по вестям памяти*, и слово автора находит «ключ к душе» (50) каждого из героев, поднимает человека из «провала», небытия, восстанавливает его существование, выводит из

тьмы забвения на свет Божий. И в этом смысле «Адлиг Швенкиттен» — христианская повесть, «христианская трагедия, в которой жертва — всегда искупление и восстановление в сущем»⁵.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Солженицын А.* Адлиг Швенкиттен // Новый мир. 1999. № 3. С. 30–55. Далее в скобках даются ссылки на это издание в тексте с указанием страниц.

² См.: *Вайль П., Генис А.* Поиски жанра: Александр Солженицын // Октябрь. 1990. № 6. С. 197–202; *Паламарчук П.* Александр Солженицын: Путеводитель. М., 1991; *Стиваковский П.Е.* Феномен А.И.Солженицына: новый взгляд. М., 1998; *он же.* Жанр романа и типология эпических жанров в интерпретации А.И.Солженицына // Русский роман XX века. Духовный мир и поэтика жанра: Сб. науч. трудов. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2001. С. 304–310; *Урманов А.В.* Поэтика прозы Александра Солженицына. М., 2000; *он же.* Творчество Александра Солженицына. М., 2003 и др.

³ «В памяти — без всякой записи, когда я не мог ничего записывать — так много укладывается, такой обильный материал» (*Солженицын А.И.* Интервью на литературные темы с Н.А.Струве // Вестник Русского Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк; Москва, 1977. № 120. С. 132); «И ещё в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый стужённый опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит её утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу» (*Солженицын А.* Нобелевская лекция // Русские писатели — лауреаты Нобелевской премии. Александр Солженицын. М., 1991. С. 51).

⁴ См.: Слово о полку Игореве / Вступ. ст., ред. текста, досл. и объяснит. Перев. с др.-рус., прим. Д.С.Лихачёва. 2-е изд., доп. М.; Л., 1955. С. 48, 49, 193.

⁵ См.: *Струве Н.А.* Православие и культура. М., 1992. С. 294.

Юрий Кублановский
МОСКВА

ПРОЗА ЗРИМАЯ, СЛЫШИМАЯ, ОБОНЯЕМАЯ...

Опыт прочтения военных рассказов
Александра Солженицына

Когда в начале 1990-х годов я спросил покойного ныне разностороннего учёного и поэта С.С.Аверинцева про его отношение к солженицынскому «Красному Колесу», он ответил уклончиво: «Солженицын — замечательный баталист». И это тоже, разумеется, правда. Но тем более от Солженицына чаемо было нами произведение именно о той войне, в которой он принял непосредственное участие, — Великой Отечественной. Как писал он в своей ранней поэме «Дороженька»: «Я ношу в себе заряд историка / И обязанности очевидца». Но «обязанности очевидца» перво-наперво требовали писать о ГУЛАГе: освобождение России от советской заразы очевидно бы затянулось без соответствующих книг Солженицына. А «заряд историка» подталкивал к уяснению — как могла произойти революционная катастрофа, почему русская цивилизация рухнула и была ли в том неизбежность. И, только справившись с двумя этими капитальными задачами, уже вернувшись в Россию, писатель вплотную занялся военной темой. В конце 1990-х из-под его пера выходят два объёмных рассказа — «Желябугские Выселки» и «Адлиг Швенкиттен». Напечатанные сначала в «Новом мире», в 2001 году они вышли отдельной книгой в издательстве «Русский путь», но в читательскую толщу — по условиям нынешнего времени — так и не сумели проникнуть.

...А между тем именно они достойно завершают отечественную прозу прошлого века, да и в целом, видимо, ждуть новых произведений на военную тему от писателей-фронтовиков более не приходится: с культурной сцены сходят и они, и следовавшие за ними шестидесятники. Мы стоим перед угрозой окончательного захвата литературного пространства постмодернистскими конъюнктурщиками, которым слабосильно противостоят в основном эклектики. Тем живительней ещё раз — может быть, напоследок — надыхаться ключевым воздухом русского реалистического рассказа.

При чтении «Желябугских Выселок» трудно не вспомнить Тютчева:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Рассказ двучастный — военные «жизнь и кровь» первой части, когда читателя за счёт непрерывного движения, развития действия буквально затягивает в водоворот фронтовых боевых будней; и в контраст им — мертвенная тишина части второй: жалкий быт разорённой русской деревни через пятьдесят два года после тех военных событий. Война страшна, но почему-то оптимистична: есть надежда, что после победы начнётся новая жизнь. А в части второй — полная безнадега: наша деревня — скопище одиноких, брошенных в нужду и нищету стариков, бесправных, бессильных. Так за что ж проливали кровь и боролись?

Изумляет, сколько же мелких подробностей сохранила с военного времени солженицынская память: подробностей не только зрительных — слуховых: «благородно хлюпающий крупный снаряд» — кому, кроме Солженицына, под силу сказать такое? Проза зримая, слышимая, обоняемая. Но при массе подробностей — это отнюдь не «натуральная школа». Описание здесь служит не просто педантичному воспроизведению обстановки, но усилению образа и картины. Часто наша «натуральная школа» грешила и грешит, я бы так сказал, бухгалтерской отчётностью, не жалеющей читательских глаз и времени. Проза Солженицына — экономна: много говорится, но не покидает ощущение, что ещё больше остаётся за текстом. Она врывается в сознание не за счёт своей «массы», но благодаря точности и незаменимости слова. «А вот и ландыши. Никому не нужные, не замечаемые. Срываем по кисточке». Именно благодаря «кисточке» эти ландыши остаются в памяти внимательного читателя навсегда. Или: «Застоялая, как годами не движимая вода. От соседней яркой майской зелени она кажется синей себя». Какая импрессионистическая поэзия! И образ бойкой девочки с красивым и нелепым именем Искитея — безжалостно перемолотой жизнью в полубезжизненную старуху — незабываем.

Маленькая повесть «Адлиг Швенкиттен» — о боях в Восточной Пруссии в январе 1945-го — настоящий шедевр позднего Солженицына, где его литературное мастерство достигло предельной концентрации. С первых же страниц и абзацев повествования проникает в читательскую душу чувство вещей, точней, зловещей тревоги — и так по нараста-

ющей — вплоть до реквиемного финала. Скупые предложения, частые абзацы; иногда проговариваемое понятно только специалисту-артиллеристу, фронтовику; для непосвящённого же читателя это только усиливает общую тревожную музыку. Бессмысленное, стратегически не мотивированное выдвигание бригады в прусскую ночь, тогда как штабные отключили от себя связь, расслабившись за горячим — со спиртным и бабами — ужином, бессмысленная гибель множества лучших солдат и офицеров, сформировавшихся именно в годы войны во всей своей внутренней мужественной самостоятельности, — таков сюжет повести. Но у неё — мнится — гораздо большая глубина. И она — *в ощущении обречённости лучшего* перед худшим. Чистое проигрывает нечистому, сильное проигрывает корыстному, крупное — мелкому, храброе — опасливому. Лапидарная, но какая ёмкая проза! Прежде у Солженицына в знаменателе всегда было некое подспудное... ликование: в жертвенности добра он видел его метафизическую победу. Здесь — по-другому. Герой повести майор Павел Боев мелькает ещё в «Желябугских Выселках» — это отсюда запомнились нам его «на груди слева — два Красных Знамени, редко такое встретишь» и — «голова у него какая-то некруглая, как бы чуть стёсанная по бокам, отчего ещё добавляется твёрдости к подбородку и лбу». В «Аддиге» есть портрет его тоже: «Майор был роста среднего, а голова удлинённая, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти». И вновь: «На гимнастёрке его было орденов-орденов, удивись: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды...»

И вот, согласно приказу, Боев с бригадой выдвинулся вперёд, никак не обеспеченный с тыла. Зловещее освещение: лучи карманных фонариков, только выпавшие снега под луной, то и дело скрывающейся за тучами. «Мутнела пасмурная ночь, приобелённая снегом. Висела отстоянная тишина». Боеву 30, семь лет, «ещё с Хасана», он на войне. А его комбаты ещё моложе, им по 20 с небольшим, они для него «сынки». Война — их единственная — по жизни — профессия: она для них попросту труд, работа. И как всегда у Солженицына — каждый персонаж не тень, не абрис, не функция, а во плоти живой человек: заботливо и объёмно не ленится прозаик выписывать свои персонажи.

От страницы к странице меняется лунное освещение, в мрачной тишине нагнетается обстановка. Бригада Боева на *заклани*. Можно бы отступить, спастись, но по-советскому «кодексу» откат и на шаг — преступление. Что-то будет? — замирает душа читателя.

Наконец гнетущая тишина разряжается в атаку противника: «Из смутного ночного брезга, из полного беззвучья — грянуло на 5-ю ба-

тарею сразу от леса справа, но даже и не миномётами — а из трёх-четырёх крупнокалиберных пулемётов — и почему-то только трассирующими пулями. Струями удлинённых красных палочек, навесом понеслась предупреждающая смерть — редкий случай увидеть её чуть раньше, чем тебя настигнет».

Несравненны — в своей драматичной простоте — последние абзацы эпилога повести «Аддиг Швенкиттен». Извлечения из них невозможны: это единая прозаическая порода, сжатостью и силой сравнимая с прозой Пушкина. Поэтому цитирую полностью.

«2 февраля мы снова отбили и Либштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Аддиг Швенкиттен. Пушки двух погибших батарей стояли в прежней позиции на краю деревни, но все казённые части, а где и стволы, были взорваны изнутри тротильными пашками. Этого уже не восстановить. Между пушками и дальше к Аддигу лежали необрунные трупы батарейцев, несколько десятков. Некоторых немцы добились ножами: патроны берегли.

Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали близ Боева мёртвыми. И сам он, застреленный в переносицу и в челюсть, — лежал на спине. Полушубок с него был снят, унесён, и валенки сняты, и шапки нет, и ещё кто-то из немцев пожалился на его ордена, доложить успех: ножом так и вырезал из гимнастёрки вкруговую всю группу орденов, на груди покойного запёкса ножевой след.

Похоронили его — в Либштадте, на площади, где памятник Гинденбургу.

Ещё на день раньше командование пушечной бригады подало в штаб артиллерии армии наградной список на орден Красного Знамени за операцию 27 января. Список возглавляли замполит Выжлевский, начальник штаба Вересовой, начальник разведки бригады, ниже того нашлись и Топлев, и Кандалинцев с Гусевым, и комбат-звуквик.

Начальник артиллерии армии, высокий, худощавый, жёсткий генерал-лейтенант, прекрасно сознавал и свою опрометчивость, что разрешил так рано развёртывание в оперативной пустоте ничем не защищённой тяжёлой пушечной бригады. Но тут — его взорвало. Жирным косым крестом он зачеркнул всю бригадную верхушку во главе списка — и приписал матерную резолюцию.

Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева — Отечественной войны 1-й степени. Удовлетворили. Только ордена

этого, золотенького, никто никогда не видел — и сестра Прасковья не получила.

Да и много ли он добавлял к тем, что вырезали ножом?»

Солженицын никогда не был пацифистом, непротивленцем. Он — за «противление злу силой», даже и когда зло победило. Проза писателя не разрыхляет, а закаляет характер читателя, укрепляет его в его самостоятельности и надежде.

*Декабрь 2003 г.
Переделкино*

Павел Фокин

КАЛИНИНГРАД

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. ИСКУССТВО ВНЕ ИГРЫ

Свой профессиональный путь в литературе Солженицын начал в середине XX века, слагая первые сюжеты и тексты в условиях вынужденного интеллектуального подполья: сначала за колючей проволокой лагеря, позже в больнице и ссылке. Но и легальная культурная среда того времени была весьма специфична. Советская литература 50-х годов являла скорбное зрелище, будучи безысходно провинциальной и безмерно идеологизированной. Единственно дозволенный и повсеместно затверженный способ постижения действительности, социалистический реализм, рахитичный внук классического реализма XIX века, находился в состоянии полной вымороченности. Мирового литературного контекста и вовсе не существовало. Идти приходилось в пустыне, опираясь на опыт великих предшественников и собственную интуицию. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов были на начальных порах главными учителями Солженицына.

Его первые зрелые произведения — «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Раковый корпус», «В круге первом», созданные в период с 1955 по 1967 год, как и ранние его опыты в стихах и прозе, — ещё во многом находятся в русле традиции. Это сказывается в самом подходе к материалу, в выборе формы и жанра. Жестокую правду своего времени Солженицын пробует изобразить по законам художественного вымысла. Эпическая поэма, драма, рассказ, повесть, роман по очереди привлекают его внимание. Он в совершенстве овладевает всем арсеналом изобразительных средств реалистической поэтики. Созданные им образы точны и узнаваемы. Описания с неизменной убедительностью воссоздают окружающую обстановку, яркие детали запечатлевают индивидуальные особенности. Речь персонажей, внутренние монологи, поступки, жесты передают их психологическое состояние, умонастроение и характер. Было бы вполне уместным вспомнить в связи с этим теорию Г.Д.Гачева об «ускоренном развитии» литературы¹, только в данном слу-

чае речь нужно вести не столько об «ускоренном развитии» национальной литературы, сколько о становлении так называемой лагерной темы.

Однако при всём бесспорном мастерстве, с которым Солженицын использует возможности реалистической поэтики, ему вскоре становится видна ограниченность этого метода. Та задача, которую ставит перед собой писатель, — быть неложным свидетелем на суде истории, — требует от него точного следования фактической основе. А принцип художественной типизации, лежащий в основе эстетики реализма, предполагает обязательное укрупнение одних, главных черт явления и ослабление других, второстепенных. Типизация помогает художнику достичь наибольшей выразительности повествования, но в то же время лишает текст безусловной достоверности. И если в малых и средних формах Солженицыну удаётся преодолеть конфликт этих двух тенденций, то в романе противоборство цели и средств чувствуется с исключительной остротой.

«В круге первом» представляет собой попытку *целостного описания тоталитарной системы советского государства традиционными романскими средствами*. В качестве базовой модели Солженицын использует структуру романов Достоевского. В основу сюжета положена детективная история с ярко выраженной моральной подоплёкой: молодой советский дипломат Иннокентий Володин передаёт американцам секретную информацию, касающуюся разработки ядерного оружия в СССР. Он совершает государственную измену во имя предотвращения мировой катастрофы. В тот же час МГБ начинает за ним охоту. Первые страницы романа по психологической напряжённости и стремительности событий вполне соотносимы с началом «Преступления и наказания».

По мере развития интриги в действие втягивается множество лиц — от политзаключённого Нержина до главы государства Сталина. Постепенно проступают все этажи гигантской государственной пирамиды. Единство романного мира у Солженицына, как и у Достоевского, обусловлено отнюдь не внешними обстоятельствами. «Система образов романа соотнесена не только и не главным образом с историей, которая нам известна из других, нежели Солженицыну, источников информации, но, главным образом, с задачей, которая осуществляется в романе»². Мотивировка, по которой в тексте романа появляется тот или иной герой, не всегда носит сюжетный характер. Иногда писатель идёт вслед за реальными событиями, иногда заполняет художественную нишу, образовавшуюся под давлением метода реалистического изображения действительности.

Достоевский изображал своих героев в кульминационные моменты их биографий, когда рушилась исполненная нравственных метаний и интеллектуальных мятарств прежняя жизнь и в катастрофе личность обретала смысл и перспективу подлинного пути. Солженицын идёт ещё дальше. На долю его героев одновременно приходится несколько переломных событий, по присказке «беда не приходит одна». Как и у Достоевского, каждый персонаж в романе занимает определённую идейную позицию. Свой взгляд на мир герои отстаивают в ходе непрерывных идейных споров. Всё это делает роман очень динамичным и занимательным. «В круге первом» и сегодня читается на одном дыхании.

Художественный опыт Достоевского помог Солженицыну выстроить чуждое зданию своего романа, который Генрих Бёлль уподобил сложной архитектуре Кёльнского собора. Но известная жанровая заданность, предопределённая детективной интригой, сковывает свободу авторской воли. То, что в философском романе играет вспомогательную роль, в романе политическом начинает претендовать на заглавное место. Смещается и угол читательского восприятия. Вопрос: «Выследят или нет Володина?» подавляет вопрос: «Прав Володин в своём поступке или нет?» Писатель вынужден композицию произведения подчинять логике сюжета, а не логике факта. Так, например, картины лагерного быта предшествуют описанию ареста и первого следствия. Некоторые принципиальные для Солженицына аспекты повествования перемещаются из центра на периферию, выступая в качестве фона. Беллетристика требует жертв.

Однако в случае Солженицына жертвовать приходилось теми, кто уже однажды был принесён в жертву. В сходной ситуации оказался и Василий Гроссман, взявший за основу своего великого романа «Жизнь и судьба» романную структуру «Войны и мира» Льва Толстого. Но мученики сталинской диктатуры, униженный и опозоренный народ требовали иного слова о себе и своих палачах. Известно, что писавший в эти же годы «Колымские рассказы» Варлам Шаламов считал: тема лагерей вообще не может быть раскрыта традиционным литературным способом, ибо находится вне сферы эстетики.

Солженицыну помогли его читатели. После публикации «Одного дня Ивана Денисовича» к писателю пошёл поток писем, свидетельств, воспоминаний от узников тюрем и лагерей, узнавших в нём своего Гомера, чьё вещное слово будет услышано во всём мире и останется на века. Огромный документальный материал нуждался в организации и осмыслении. Систематизируя разрозненные факты, сопоставляя их между собой, Солженицын находит тот метод, который дал ему возможность

выразительно и точно рассказать о трагедии своей страны, — художественное исследование.

Художественное исследование располагается на стыке науки и искусства. По словам писателя, оно обладает «тоннельным эффектом». «Там, где научному исследованию надо преодолеть перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее»³. Только в рамках этого метода оказалось возможным честно говорить о том небывалом испытании, которое выпало на долю России в XX веке. Именно честно, а не просто правдиво.

Объективно, детально, документально обоснованно.

И — с болью. С гневом. С любовью.

К началу 1970-х годов, когда Солженицын завершал работу над «Архипелагом ГУЛагом», правда о репрессиях и лагерях, особенно после доклада Хрущёва на XX съезде КПСС, была во многом известна, но не существовало целостной картины событий, а природа и смысл политики коммунистического террора были сознательно искажены и объяснены уродливой прихотью одного человека. Как писал поэт Иван Елагин, «самая страшная бойня названа “культом личности”, скромно, благопристойно». Солженицын повёл себя неблагопристойно.

«Архипелаг ГУЛаг» написан огненным словом.

Называя вещи своими именами, Солженицын с тщательностью механика-часовщика разобрал на мелкие детали и подробно описал весь изощрённый механизм подавления личности в СССР. Отвечая на вопрос корреспондента журнала «Ле Пуэн» Жоржа Сюфера: «Как можно стать памятью народа?», Солженицын так характеризовал свой метод работы: «В голове у меня много рассказов, фактов. Главная моя забота — правильно классифицировать. Я должен разобрать каждый рассказ по камешкам — и каждому найти соответствующее место. Я в первую очередь каменщик. Я был на самом деле каменщиком. Недостаточно класть камни один на другой, чтобы стена получилась прямой. Нужно ещё многое»⁴.

В «Архипелаге ГУЛаге» типизация сменяется типологизацией. Строгая статистика цифр чередуется с многочисленными живыми примерами. Каждый смысловой эпизод представлен в многообразии вариантов. Но главное — обстоятельность подходов сочетается с открытой, эмоционально окрашенной моральной оценкой.

С «Архипелага ГУЛага» начинается новый этап в творчестве Солженицына. Если раньше в поле зрения писателя были судьбы отдельных людей, то теперь он обращается к изображению-исследованию масштабных исторических процессов. Теперь он описывает уже не один

день из лагерного срока одного заключённого, а почти сорок лет существования целого управления политического сыска и репрессий, поставившего под свой контроль жизнь миллионов граждан страны.

Замысел «Красного Колеса» ещё грандиознее. Он возник у писателя в годы его молодости. Отдельные фрагменты, по свидетельству Солженицына, были написаны им ещё до войны. Но вполне закономерно то, что основной текст эпопеи был создан уже после «Архипелага ГУЛага» (последние страницы эпопеи дописывались в 90-е годы). «Такого сплава научно выверенной истории (на неточности, а тем паче на ошибках Солженицына не поймаешь) и художественности в русской литературе ещё не знали, — утверждает Н.А.Струве, — всегда страдала та или другая сторона, а часто и обе»⁵.

В многослойной структуре «Красного Колеса» чувствуется большой опыт организации разнообразного по характеру, значимости и качеству материала. Вглядываясь в историю страны, в историю революции, Солженицын выявляет те точки, в которых события складывались роковым образом и предопределяли будущее. Он называет их Узлами. Подобного рода Узлы искал Солженицын в своё время и в судьбах Нержина, Сологодина, Рубина, Матрёны, других своих героев. В «Красном Колесе» Узлы выполняют идейно-композиционную функцию. Вокруг них располагаются исторические, хроникальные, мемуарные, публицистические и фольклорные свидетельства. Ими определяется и существование вымышленных героев.

Солженицын не отказывается полностью от возможностей собственно художественного повествования. Особенно в «Августе Четырнадцатого», где присутствует довольно разветвлённая система персонажей. «Август Четырнадцатого» во многом ещё продолжает писательскую практику Солженицына-беллетриста. В последующих Узлах эпопеи роль вымышленного элемента изменится. Романский план уступит место художественной реконструкции, домысливанию тех исторических ситуаций и эпизодов, которые не удаётся или даже невозможно строго документировать. Писательское воображение и знание человеческой природы приходят на помощь там, где требуется понять психологию участников исторической драмы. А на полотне «киноэкрана», в своеобразных репортажах с мест событий, обретают плоть наиболее яркие страницы истории. Выписанные с фотографической тщательностью, они включают читателя в водоворот событий, позволяют почувствовать энергетику и мистику происходящего.

«Постепенная — от “Августа” к “Апрелю” — утрата придуманными героями своей выразительности есть не досадная оплошность, не худо-

жественный срыв, не проявление неспособности удержать социальное явление в рамках традиционной художественной формы, — справедливо замечает В.Суриков, — а тончайшее понимание неизбежности “исчезновения” таких героев, необходимости разрушения традиционной формы; но разрушения с целью сохранить её с новым, невиданным романским героем — революцией»⁶.

Если развить метафору Бёлля, то «Красное Колесо» можно уподобить большому архитектурному ансамблю, который состоит из многих корпусов разных объёмов и форм и раскинулся на несколько кварталов. Помимо романного плана, показывающего исторические события сквозь призму частной жизни вымышленных героев (таких, как Воротынцев, Благодарёв и др.) и «киноэкрана», сгущающего до символических образов перебрёх газетной хроники, в «Красном Колесе» выделяется ещё целый ряд аспектов.

Особого искусства потребовала организация документального материала. «Я годами копил, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты, — пишет Солженицын, — в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий...»⁷ В «обзорах» дней и событий ведётся собственно историческое исследование. В этих главах писатель предпринимает попытку разобраться в случившемся с учётом знаний нашего времени и выходит на уровень историософской интерпретации. В подборках газетных материалов, также составляющих самостоятельный пласт, читателю даётся возможность ощутить пульс живой жизни. Кроме того, по замечанию Н.А.Струве, «газетные вырезки вносят элемент здорового, объективного юмора, в котором нуждается, как в отдушине, всякая трагическая эпопея»⁸.

Наконец, включение в текст в качестве самостоятельных структурных единиц разнообразных фольклорных элементов: пословиц, песен, частушек — придаёт «Красному Колесу» подлинную эпическую завершенность. Их демонстративная оторванность от конкретного носителя речи подчёркивает и усиливает народную точку зрения.

«Смена разного рода глав вносит в роман ритмическую основу: обзоры замедляют ритм, экраны его ускоряют»⁹.

В «Архипелаге ГУЛаге» и «Красном Колесе» Солженицын заявил о себе как о смелом новаторе художественных форм. В этих произведениях он обрёл полную писательскую самостоятельность. Общая тенденция развития творчества Солженицына — от автобиографической прозы к

документалистике, от правдоподобия к подлинной правде живой жизни во всей её полноте. Апофеозом документального жанра стали «очерки литературной жизни» «Бодался телёнок с дубом», текст которых состоит из двух разделов — сюжетного повествования и Приложения, в котором сюжет продублирован различными документами (письмами, заявлениями, стенограммами, газетными сообщениями и т.п.). В отдельном издании «Телёнка» 1996 года (М.: Согласие) помещены многочисленные фотографии не только самого писателя, но и других непосредственных участников событий, что ещё более расширяет документальное наполнение текста.

Солженицын обозначил жанр своего документального повествования вполне традиционно — «очерки литературной жизни», однако это произведение — уникальное в русской литературе. Солженицын действительно рассказывает о том, каким предстал перед ним мир советских писателей в те дни, когда он вдруг, в одночасье оказался на вершине всенародной и даже мировой известности, ведя до этого жизнь скромного провинциального учителя математики, бывшего зэка и предусмотрительного подпольщика. Но рассказывает он об этом в тот момент, когда столь же стремительно, как вознесён, был свергнут идеологическими надсмотрщиками, подвергнут уничтожительной критике и окружён «заботливым вниманием» КГБ, когда каждое слово правды о советской системе расценивалось как предательство родины и могло стоить автору жизни.

Книга писалась по горячим следам событий, всякий раз возобновляясь и дополняясь, как только наступала передышка между очередными схватками с «органами». Писалась не как мемуары, а как свидетельское показание для будущего суда истории. Это не просто «очерки литературной жизни» — это «репортаж с петлёй на шее». Читается она как шпионский детектив с лихо закрученной интригой. Здесь есть всё: конспирация, слежки, явки, погони, аресты, допросы, угрозы, шантаж.

Элементы документалистики присутствуют и в крупных публицистических работах Солженицына, таких, как «Размышления о Февральской революции» (1980–1983), «Как нам обустроить Россию?» (1990), «Русский вопрос» к концу XX века» (1994), и особенно в книге «Россия в обвале» (1998), которая обращена уже не столько к современникам писателя, сколько к потомкам. «Россия в обвале» по сути своей является развёрнутым историко-документальным эпилогом к «Красному Колесу».

В течение всей жизни Солженицын неустанно искал новых путей постижения мира словом. По справедливому замечанию Н.А.Струве, он «принадлежит к тем прозаикам, которые не повторяют раз найденную форму выражения, а переходят от одного замысла к другому, развиваясь

скачками и обновляя жанр»¹⁰. И сегодня писатель продолжает активно работать. С завершением «Красного Колеса» и после возвращения в Россию начинается новый этап в развитии писательского искусства Солженицына, охарактеризовать который в какой-то лаконичной формуле пока просто не представляется возможным. Мы видим небывалую свободу художника, легко и охотно работающего во всех жанровых формах. Если оставаться в пределах строительной метафоры, то мы являемся очевидцами возведения уже не отдельных зданий, не архитектурного ансамбля, а целого города с индивидуальными по облику улицами, и кварталами, но в едином плане и строе. Среди произведений Солженицына последнего времени и новые крохотки, и двучастные рассказы, и повесть, и мемуарное повествование «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», и очерк «Россия в обвале», и «Литературная коллекция», и историческое исследование «Двести лет вместе». На первый взгляд может показаться, что писатель обращается к уже освоенным приёмам и методам, но, приглядевшись, мы увидим качественную разницу.

Так, «очерки изгнания» написаны в ином темпе. Они создавались совсем в другой атмосфере и в большей степени тяготеют к мемуарному жанру, охватывают значительный временной отрезок, включая в себя выношенные и продуманные впечатления и оценки. В то же время они сохраняют свойственные солженицынской документалистике *динамизм и насыщенность действием*. «Яркое свойство солженицынских мемуаров, — пишет Ю.Кублановский, — предельная концентрация повествования, чрезвычайно высокий удельный вес каждого предложения и пассажа, умение одним штришком точно запечатлеть человека, в относительно небольшом объёме — вместить и публицистику, и полемику, и пейзаж, и лирику, и откровенную исповедь. Писательская речь работает “на сжатие”, читательскому сознанию лениться тут не приходится, Солженицын вводит нас в самую “лабораторию”, где формируется его миропонимание, в данном случае — его отношение к Западу, к принципам затратной технократической цивилизации последних десятилетий XX века»¹¹.

«Двучастными» были и некоторые рассказы Солженицына 60-х годов. В отличие от них рассказы 90-х значительно масштабнее по охвату событий, чувствуется привычка писателя к работе с крупными отрезками времени, его неугасаемый интерес к исторической теме в её самых разнообразных вариантах. Заявленный в жанровом определении композиционный приём Солженицын использует с максимальным эффектом. Параллели, следствия, контрасты, отражения и умножения создают поле сильного художественного напряжения, в котором рождается ток духовного электричества.

В монументальном исследовании «Двести лет вместе» Солженицын обнаруживает себя как историк академического склада мышления. Тысячи фактов и документов строго выверены и описаны многочисленными сносками, отсылающими читателя к первоисточникам. Лишь изредка писатель обращается к личному опыту. Личность автора, как и прежде, обнаруживается в первую очередь в главном — в предмете исследования, который являет собой одну из самых острых проблем русской жизни. Книга представляет собой попытку увидеть в возможной полноте историю взаимоотношений русских и евреев в последние двести лет их совместного существования на территории России. «Рад бы я был не пытаться своих сил ещё на такой остроте, — признаётся Солженицын на первой странице своего труда. — Но я верю, что эта история — попытка вникнуть в неё — не должна оставаться “запрещённой”»¹².

Обращаясь к изображению многоветвистого куста тем и вопросов, Солженицын демонстрирует замечательную способность видеть предмет своего исследования всесторонне, т.е. с учётом множественности частных (и нечастных) аспектов, случайных и закономерных явлений, характерных и исключительных фактов. И каждую грань этого живого кристалла истории описать точно, выразительно, ярко — в её соприкосновении и преломлении с другими гранями. И не потерять из виду целое! А здесь целое — на несколько тысячелетий, да чуть не по всем континентам.

Несмотря на весь внешний академизм книги, её, тем не менее, следует рассматривать в контексте всего творчества Солженицына, не отделяя и не противопоставляя произведениям собственно художественным. Особенно отчётливо это понимаешь при чтении второго тома. Он явно отличается от первого по своей интонации, да и стилистически. Первый том сдержаннее, степеннее, может быть, даже несколько тяжеловат. Первый том — это такой глубокий вдох, необходимый, чтобы хватило воздуха высказать — на одном дыхании — всю правду второго тома. Второй том читается совсем иначе — узнаёшь знакомый и любимый голос: молодой, сильный, бодрый, с огневой иронией, с напором и — безоглядностью, какие так подкупают и в «Архипелаге», и в «Телёнке». Совершенно очевидно, что перед нами произведение подлинной современной литературы. «Двести лет вместе» — мужественный, сильный и внятный ответ постмодернизму, объявившему смерть Большого Искусства. И в XXI веке слово писателя остаётся весомым, если это слово правды.

Вне игры.

«Двести лет вместе» — книга не о евреях и их судьбе в России, а о России, российской истории, её драмах и трагедиях. «Еврейский сюжет»

российской истории — это равно и «русский сюжет». Без него невозможно понять метафизику русской истории. Без него невозможно понять и — метафизику русской души. «Двести лет вместе» в очередной раз, но совершенно в особом свете, ставит вопрос: что же такое Россия, в чём метафизическая сущность этого историко-государственного явления? Сквозь «оптику» «еврейского вопроса» по-иному видится и «кавказский вопрос» (сколько уж лет вместе?), и «татарский вопрос» — и все прочие.

И «русский ответ» на эти вопросы.

В 1981 году на Международном симпозиуме «Одна или две русские литературы?» в Женеве Зинаида Шаховская, определяя сущность идейного содержания произведений Солженицына, сказала: «Выбрав главным персонажем своего творчества Россию и воплощающий её, как в хорошем, так и в плохом, русский народ, Солженицын этих двух своих героев от себя не отделяет. Они часть его самого»¹³. Думается, именно в этом заключено и своеобразие писательского пути Солженицына.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: *Гачев Г.Д.* Ускоренное развитие литературы. М.: Наука, 1964.
- ² *Белинков А.* Сталин у Солженицына // Новый колокол. Лондон, 1972. С. 430.
- ³ *Солженицын А.И.* Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996. Т. 2. С. 212.
- ⁴ Там же. С. 323–324.
- ⁵ *Струве Н.А.* Православие и культура. М.: Христианское изд-во, 1992. С. 289.
- ⁶ *Суриков В.* О Солженицыне — читая «Август» // Литературное обозрение, 1992. № 7/8. С. 12.
- ⁷ *Солженицын А.И.* Указ. соч. Т. 1. С. 414.
- ⁸ *Струве Н.А.* Указ. соч. С. 273.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же. С. 283.
- ¹¹ *Кублановский Ю.* Солженицын в изгнании // Труд. 1998. 9 декабря.
- ¹² *Солженицын А.И.* Двести лет вместе: В 2 т. М.: Русский путь, 2001. Т. 1. С. 5.
- ¹³ *Шаховская З.* Литературные поколения // Одна или две русские литературы? / Под ред. Ж.Нива. Lausanne, 1981. С. 61.

Георгий Гачев
МОСКВА

СОЛЖЕНИЦЫН — ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ, ОРГАН И ОРГАН ИСТОРИИ

Титаническая фигура среди многих важных и талантливых, средней, большой даже величины — писателей, политиков, мыслителей. Человек Судьбы — как Александр (Македонский), Наполеон, Лев Толстой... С миссией. Кого Бог ведёт, пока не исполнит, на что призван. Потому что это — чудо: среди стольких ураганов и рифов по бурному морю века проведён его корабль, что потонуть и разбиться мог на каждом перего-не с 20 до вот 85 лет! Война, арест, лагерь ГУЛАГа, рак, подпольное писательство: создан шедевр русской прозы «Один день Ивана Денисовича», с ним вышиб дно и вышел вон — на свет Божий мирового Слова и Истории, и вот уже на виду и подсвечен!.. Но это ему всё не то: он снова зарывается в келью, где убийственное оружие, пуце водородной бомбы, мастерит, чтобы сразить чудовище Власти, как отмститель за миллионы, — эпопею документально-историческую «Архипелаг ГУЛАг». Как Пимен-летописец:

Борис, Борис! всё пред тобой трепещет...
А между тем отшельник в тёмной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдёшь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от Божьего суда.

Но то в «келье», а Солженицын уже на виду, известен «органам», за ним ведут слежку и охоту как на опасного зверя, и могли запросто укокошить на любой поляне иль повороте шоссе, но он с волчьей ухваткой опытного зэка ускользает, обдуривает разленившихся салаг — детективная история пуце Штирлица, записанная им в весёлой книге «Бодался телёнок с дубом». Как Геракл с Немейским львом иль Гидрой: один воин в поле открытого боя (иль Давид против Голиафа) при одушевляющих волнах поддержки народа. И не один бой, а целая кампания, война два-

дцатилетняя — со ссылки и рака в 1953-м до Нобелевской премии в 1970-м и «выдворения» с родины в 1974-м — выиграна.

И далее баталия — уже с чужой земли. В опровержение, что «когда гремят пушки, музы молчат», сам и пушка (в войну — боевой артиллерист!), и муза. Разгорается творчество — как писателя и историка (эпопея познания России в Революции «Красное Колесо»), публициста, издателя... Теперь брань — уже на два фронта: корыстный Запад его использует в «холодной войне» против СССР и коммунизма, но он не по-ихнему воюет: оказывается русский партизан в их стане. И их он обличает: живут не по существу, а по мнимостям, утратили истинные ценности...

И опять один в поле воин... Правда, уже немало развелось воителей-эмигрантов, из укрытия стреляющих. Но чтоб в открытую и со всех сторон (и от «своих») удары отбивать — это он один. Ибо — *герой*: такая в нём стать. Добрыня Никитич, чудо-богатырь — именно, сказочный и метафизический: зэк-замарашка в робе, Ща-854, вдруг разрастается в великана, кто тягается с воинством целого Государства. Как полубог в сравнении с антропосами нормальной величины.

Один? Нет — в семье! Вот откуда ещё ему Божье благословение на подкрепу и долгую жизнь подано: удалось создать дивную семью как своё царство-государство, остров Буян, в холодном и жёстком мире. Чудная молодая жена, умница, соратница-сотрудница (как и Достоевскому Анна Григорьевна) и мать его троих детей. И это уже её, Натальи Дмитриевны, подвиг с ним рядом. Ибо интеллектуально-творческая женщина в век феминизма утверждаться как самость норовит, а не любить и рожать. А тут — как народная русская мать — долг умножения населения обезлюдяющей России исполнила. И в этом ещё патриотический образец нам — Солженицын и его семья!..

И далее Бог (Судьба?) ведёт: триумфальный возврат на Родину — такое везение, что не выпало меланхолически певшим «Когда я вернусь...». И тут уже, как мудрый аксакал, «многоопытный муж» — и в познании человека, и в знании путей истории — подаёт продуманные идеи народу, советы политикам: «Как нам обустроить Россию?». И не его вина, а беда нам, что власть замкнула слух и заглушила его голос — его, кто по существу второй центр власти — Ума и Совести, каков был Лев Толстой в Ясной Поляне... Нет, совсем уничтожить его не удаётся: больно крупен и смел. И творческое плодоношение продолжается — двухтомная эпопея «Двести лет вместе» — о трудном со-упружестве, о совместимости и несовместимости тканей разных этносов, русского и еврейского, сведённых путями Истории на жилплощадь одной страны... Тоже драмати-

ческое повествование в открытом им жанре «художественного исследования», в коем и «Архипелаг ГУЛАг», и «Красное Колесо», где писатель в стремлении исповедать пути Истории сотворяет текст, имеющий и научное, и художественное значение.

Обдумывая Солженицына, его дело и творчество, взял перечитать «Один день Ивана Денисовича», перелистал «Архипелаг», освежил в памяти: «В круге первом» и «Раковый корпус» — и неожиданный эффект: *вкус жизни* мощнейше излучается из этих произведений, совместных — и испытаниями Истории (а они, страдания, тоже ценность!), и жизнестойкостью, и красотой Человека! Вдохновенный писатель, орган Божественного Слова, смог секретарствовать этим трагическим опытом, записать и нам принести в дар — и уму, и воле жить, и любить Бытие и каждого человека, и не унывать, а находить Божий дар в каждой мелочишке существования. Как вон Иван Денисыч — в умело подвязанной тряпочке на лице против морозного ветра, в удаче запрятанного мастера, чтоб ловко работать на кладке кирпичей, сохраняет достоинство не лизать миски и не шакалить окурков... И когда ты уныл и тебе жить не мило — если Моцарту Сальери в подкрепление радости бытия пересказывает совет Бомарше:

Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро»,

то с ещё пушим эффектом перечти «Один день» или «Архипелаг» — и на тебя нахлынет ощущение неслыханного счастья: в том, что ты можешь хоть по правой, хоть по левой стороне улицы идти — вольный! — остановиться созерцать куст рябины, книжку читать, на бумаге мысль записать, себе кашу сварить, на жену и детей миловзоры бросать...

В темах и стиле Солженицына и размах ума и воображения, пронизающих вечные проблемы Бытия, Истории, Духа, — и вглядывание в детальки мгновенного существования нашего, житейского. «Генерализация и мелочность» как Толстой обозначал этот двуединый принцип писательства.

Очень важно — откуда он? Не из столиц, а из России, а ведь между ними — «дистанция огромного размера» в жизнеощущении и понимании мира и человека. Он — с Дона, со Ставрополя, с Экибастуза (лагерь в Казахстане), потом из Рязани, писал в деревне Рождество и в «укривище»; давали ему приют, как страннику, калике перехожему, сановные «помещики» в Подмосковье — Чуковский в Переделкине, Ростропович в Жуковке, как ранее люди за честь полагали принимать безытного фи-

лософа Сократа, Сковороду... Принципиальный провинциал, а не москвич, петербуржец, столичанин. То-то за «земства» ратует: с них, из регионов и с активности низов народа, начать возрождать Россию. Язык, слог его – речь народного русского человека, живая, растёт, даёт поросли от корней слов, что чутко слышит и естественные неологизмы рождает, сам выступая как орган языкового расширения (им и создан «Словарь языкового расширения», примыкая к Словарю Даля) – против того языкового сужения на язык «Элочки-людоедки» и «попсы», куда ныне переводят через СМИ Слово России... В текст С. впиваешься, как в родник воды ключевой, это санаторий языку.

И неподкупный голос мой
 Был эхо русского народа.

Эти пушкинские слова перее всех относимы к Солженицыну.

о. Иоанн (Привалов)
 АРХАНГЕЛЬСК

ЯВЛЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА И ОПЫТ ЕГО ЦЕРКОВНОЙ РЕЦЕПЦИИ

Я не филолог и не богослов, поэтому не могу предложить результатов серьёзного научного исследования. В мои планы не входит анализ религиозного мира Александра Исаевича – того мира, который нам открыт в его жизни или проступает в его произведениях. Более того, я не готовился заранее и решил попросить слово лишь вчера утром. Мне показалось, что на этой конференции будет важно услышать ещё одно свидетельство нового поколения российских читателей, т.е. тех, кто начал читать книги Солженицына лишь в 1989 году, а то и позже.

Нашу конференцию открывал доклад Никиты Алексеевича Струве, который назывался «Явление Солженицына. Попытка синтеза». Мне захотелось откликнуться на этот доклад и посмотреть на «явление Солженицына» с другой стороны.

Явление Солженицына – это реальность, которую, конечно, можно не замечать, но она от этого не перестаёт быть. В этом случае хуже для того, кто избегает с ней встречи. Эта реальность сложна, многогранна, противоречива и поэтому может по-разному оцениваться, но с ней можно и нужно вступать в диалог. Однако, чтобы вступать в диалог, нужно самому принадлежать реальному миру, покинуть мир фантазмов, прийти в себя, т.е. вернуться в реальную точку своего существования, иначе это будет разговор не по существу, а «вокруг да около». Поэтому я буду опираться на то, что хорошо знаю, а именно на материалы своей жизни и на жизнь моих друзей во Христе, т.е. на жизнь нашего небольшого церковного братства, которое существует десять лет на Севере России и включает в себя человек семьдесят. Заранее прошу прощения за частое употребление слова «я», оно исчезнет лишь в самом конце. В данном случае это обусловлено самой действительностью – слишком долго «явление Солженицына» было «частным фактом моей биографии» и только теперь оно стало раскрываться для членов нашего братства.

Моя первая встреча со словом Александра Исаевича произошла летом 1989 года. В то время я, восемнадцатилетний молодой человек, находился в поисках духовной жизни и ещё не был до конца уверен в том, есть Бог или Его нет. Эта реальность то приоткрывалась мне, то закрывалась. Я склонялся к тому, что Бог есть, но нужен был пример конкретного человека, который показал бы мне веру «из дел своих». Спросить было не у кого. О Солженицыне я тогда ничего не знал, кроме того что нам говорили на политинформациях, а именно: что «это человек с большим талантом, но возомнивший о себе, впавший в критиканство, обиды и высланный за это на Запад». Первый материал, который мне удалось прочитать, был опубликован в газете «За рубежом». Это была перепечатка одного «западного» интервью. Как только я к нему прикоснулся, так тут же почувствовал голос глубокой правды. Я уже не помню, спрашивали там Александра Исаевича о вере или нет, — это не важно. Его слово было исполнено веры в присутствие Божье в нашей жизни. Потом «Новый мир» и другие журналы начали печатать художественные произведения Солженицына. Я их читал с большой жадностью, потому что в них была пища и для ума, и для сердца. Они питали мою веру и учили жить.

Осенью 1989 года я оказался в серьёзном внутреннем конфликте с окружающей средой. На лекции в нашем педвузе преподаватель истории средних веков, пожилой человек, убеждённый марксист и ленинец, с большим пафосом разоблачал христианскую церковь, «уничтожившую в своих инквизициях 15 000 человек». Он говорил: «Вы только подумайте — 15 000 человек!» А что мог думать я, если вчера я прочитал в «Архипелаге», что Советский Союз лишил жизни 66 миллионов человек в мирное время?! Этот случай стал последней каплей — я понял, что масштабы окружающей меня лжи превосходят мои силы, что я уже не могу различать — где правда, а где ложь.

И я делаю вывод, нормальный для юноши-максималиста: я больше не верю ни одной советской книжке, ни одному советскому преподавателю и безоговорочно доверяю только Солженицыну. Его книги я читаю и перечитываю не только из любви к литературе, к его стилю, к его манере, но и в поисках ответа на вопрос: как жить дальше? Его тон — это тон Правды. Сила его слова раскрепощает меня и освобождает от глубинного страха. Так Солженицын становится *моим* «учителем жизни» на несколько лет.

Мысль о том, что нужно «жить не по лжи», сопровождает меня всюду, в том числе и тогда, когда я переступаю пороги храмов, и тогда, когда я устраиваюсь на постоянную работу в церковь в качестве сторожа и

дворника. Меня вдохновляет и удивляет жизнь «невидимок» — их опыт слаженной жизни в сотрудничестве и служении Правде и Истине. Я улавливаю в их опыте отголоски первохристианства, той общинно-братской жизни, которую ищу в церкви и никак не могу найти. Слово, образ, пример Солженицына побуждают меня не допускать праздности, особенно тогда, когда открываются язвы современного церковного общества. Солженицын показывает, что «и один в поле воин», поэтому не нужно дожидаться, что кто-то другой будет решать проблемы твоей и окружающей тебя жизни.

Став в 1993 году, в возрасте 21 года (такое тогда было возможно), священником и настоятелем сельского прихода, я с ужасом вижу, что ложь в невероятных масштабах проникает в церковную ограду. Советские люди без покаяния и без малейшей веры во Христа толпами принимают крещение. Я понимаю, что Крещение — это Таинство Возрождения человека, Таинство его вступления в новозаветный народ Божий — профанируется, оно ни к чему не ведёт. Люди толпами приходят в храм ради совершения крещения и такими же толпами выходят из храма, так и не успевая войти в Церковь с большой буквы, даже не подозревая о Её существовании. А те немногие, что остаются, несут в себе весь букет советских болезней: хамства, подлости, готовности принимать за веру новую идеологию и решительно оттесняют то старое поколение церковных людей, которые сознательно и ответственно вошли в церковь в годы советского времени, но чьи силы уже успели оскудеть к переходному периоду. Здесь я должен оговориться, что не подвергаю критике саму Церковь с большой буквы, а говорю только о каких-то проявлениях церковного общества, с которыми мне реально приходилось сталкиваться. В общем, я вижу, что совершается ложь, — создаётся мнимая реальность из этих мнимых крещений, которые ни к чему не ведут, создаётся «многомиллионная церковь», которой на самом деле нет и быть не может. Но я не знаю, что делать.

Всё лето 1993 года я крещу людей «по первому требованию». «Все делают так, а что я могу в одиночку?» И вдруг осенью меня обжигает: ведь отказаться от такого «крещения» — это и значит сегодня — жить не по лжи на том месте, где поставил тебя Господь! Эта ситуация требует не только раскаяния — публичного признания в несправедливой жизни, но и глубокого покаяния, т.е. усилия по исправлению жизни, исправлению ситуации, конечно, без осуждения других.

И это совершается. При нашем храме начинается оглашение, т.е. целостное и последовательное научение людей основам христианской веры и жизни. Плодом этого покаяния является то самое братство, о котором я упомянул вначале. Можно сказать, что эта ситуация лета-осени

1993 года стала первым отголоском явления Солженицына в моей церковной жизни.

Тем не менее логика христианской жизни приводит к тому, что образ Александра Исаевича в моей памяти и сознании должен сильно потесниться и уступить место Христу – единственному Учителю жизни всякого христианина. Наверное, типологически это похоже на то, что пережил о. Сергей Булгаков в двух встречах с Сикстинской Мадонной. Первая встреча вдохновила его на возвращение ко Христу и в Церковь, а вторая (когда он уже был в Церкви) вызвала разочарование. Видимо, это диалектика духовной жизни. С одной стороны, все приходит к Вере посредством кого-то (или чего-то): людей, произведений искусства. С другой стороны, все посредники могут наделяться атрибутами божественности и превращаться в кумира или идола, от которых рано или поздно приходится освобождаться. Разумеется, Александр Исаевич не виноват в том, что стал не только моим заочным учителем, но и кумиром, так же как не виновата в этом Сикстинская Мадонна. Это неизбежные этапы духовной жизни...

На несколько лет я теряю из виду этого человека: писателя, мыслителя, общественного деятеля, вспоминаю лишь иногда. Например, радуюсь его слову на Рождественских чтениях 1996 года, где он очень точно и справедливо говорит о недостатках современной церковной жизни в России и делает конкретные предложения по её исправлению (предлагает аккуратную и бережную русификацию богослужебного языка и призывает духовенство к большей открытости). Иногда я читаю его книги, но уже не выискиваю ответов на все жизненные вопросы, скорее вникаю в особенности языка, мысли. И вообще это становится частным делом моей жизни.

Однако весной 1998 года откуда-то из глубины поднимается вопрос: «А всё-таки, Солженицын – это пройденный этап? Неужели его весть потеряла свою актуальность для православных христиан нашего времени?»

Не то чтобы я мучился этим вопросом, но иногда он возникал. Особенно когда в церковном обществе то тут то там мелькали уродливые советские черты. В какой-то момент до меня стало доходить, что «невидимки», которыми я так восхищался в 1991 году, так и остались «невидимками», их не видно ни в обществе, ни в церкви. Везде и всюду задают тон совсем другие люди – исполненные комсомольского задора и твёрдой веры в собственную непогрешимость и всеильную власть капитала.

На этом фоне вопрошаний и размышлений о путях российского общества как внутри церкви, так и за её пределами происходит моя первая встреча с директором издательства «УМСА-Press» Никитой Алексеви-

чем Струве. Сначала я даже не понял, что в этом общении есть что-то особенное (настолько оно было скромным и простым), и лишь позднее до меня дошло, что это был Божий ответ на все мои переживания того времени. Мне стало ясно, что «невидимки» никуда не ушли, они живы и продолжают вдохновенно трудиться над подлинным возрождением России и Русской церкви.

Четыре дня общения с проф. Струве на архангельской земле превращаются в одни из самых счастливых дней моей жизни. Главный виновник всех подлинных встреч – Создатель – воспользовался этим общением, чтобы существенно поправить траекторию моего пути. С новой силой оживает имя Солженицына и близких ему людей, с новой силой просыпается интерес к его творчеству, как и к творчеству русской эмиграции и нашей второй культуры – культуры самиздата.

После отъезда Никиты Алексеевича я решаюсь сделать шаг к церковной рецепции творчества Солженицына. Я предлагаю своим братьям и сестрам во Христе прочитать разные книги Александра Исаевича и провести читательскую конференцию по теме «Творчество Александра Солженицына и его значение для церковной жизни в современной России». И тут я наталкиваюсь на неоднозначную реакцию. Кто-то загорается таким желанием, а кто-то честно и открыто говорит, что не собирается этого делать, так как не считает его серьёзным писателем, и вообще – «психика этого не вмещает». Как бы то ни было, с грехом пополам, но 28 февраля 1999 года эта конференция состоялась, и она показала, что между явлением Солженицына и новым поколением христиан существует довольно большая дистанция, но путь к её сокращению возможен.

Проходит два года, я читаю и перечитываю книги Александра Исаевича. Не могу освободиться от двойственного чувства: с одной стороны, душа просит его слова, с другой – тональность моей духовной жизни не совпадает с тональностью его творчества, чтение переходит в испытание. Вместе с тем отмечаю, что его слово по-прежнему влияет на меня: изгоняет внутренний страх, проводит сквозь различные формы жизненной мишуры к реальности, влияет на слог и стиль.

В марте 2001 года в «Русском пути» на конференции, посвящённой о. Сергию Булгакову, я знакомлюсь с О.А.Седаковой и приглашаю её посетить Архангельск. Она принимает приглашение и дважды посещает наше братство. Среди прочего мы ведём диалоги о Солженицыне и его явлении. И вдруг я понимаю, что Ольга Александровна тоже из породы «невидимок». Нет, не о ней писал Александр Исаевич, но она тоже из тех, кого в упор не видит современное общество – себе на беду. Разговаривая с Ольгой Александровной, я говорю ей о роли Солженицына в мо-

ей жизни и спрашиваю, не знакома ли она с профессором Женевского университета Жоржем Нива, который написал прекрасную книгу об Александре Исаевиче. Она отвечает утвердительно, и я прошу передать ему моё приглашение приехать в Архангельск. Я очень надеюсь, что свидетельство Жоржа Нива послужит сближению солженицынского слова и архангельской общественности.

Весной 2002 года выходит книга, посвящённая визиту проф. Н.А.Струве в Архангельск. Это запоздалая попытка рассказать жителям архангельского Севера о духовном и культурном событии, происшедшем в сентябре 1998 года. Встречи с Никитой Алексеевичем Струве, как и с Ольгой Александровной Седаковой, к сожалению, были малозаметны для широких кругов общественности. Для этого было несколько причин: отсутствие опыта по организации таких встреч, сильное разрушение культурной среды, низкая осведомлённость о наших гостях, плохой социально-экономический фон (Никита Алексеевич выступал в Архангельске через месяц после финансового обвала 1998 года). Конечно, те, кто смог побывать на этих встречах, назвали их настоящим событием в своей жизни, но таких людей было очень мало. На книгу «УМСА-Press в Архангельске» возлагалась большая надежда по исправлению этой ситуации, и нужно сказать, что удалось что-то изменить к лучшему.

В марте 2003 года в Архангельск приехал Жорж Нива. На его выступление в областную библиотеку, которое тоже имело прямое отношение к Солженицыну (оно называлось «Встречи с Пастернаком, Солженицыным и другими творцами русской культуры»), собралось около 200 человек. Журналисты недоумевали и рассказывали об этом так:

«Могло показаться, что встреча с Жоржем Нива привлечёт десяток преподавателей Поморского университета, десяток литераторов да десятка два-три студентов. Однако зал был не просто полон — переполнен. В Библиотеку Добролюбова пришло множество архангелогородцев разного возраста и профессий, в очередной раз подтвердив то особое место, которое подлинная культура и всё, что с ней связано, занимает в русской северной душе».

Конечно, эти 200 человек собрались не сами по себе — это был плод братских усилий и анализ неудач 1998 и 2001 годов, а также заинтересованного участия самой библиотеки.

В августе нынешнего года наше братство совершало паломничество по Финляндии, знакомясь с жизнью Финской Православной Церкви. И счастливым образом удалось устроить встречу братства с Ириной

Емельяновой Мейке — лечащим врачом Александра Исаевича (все присутствующие знают её как Вегу из «Ракового корпуса»). Братство смогло услышать слово свидетеля, который говорил об Александре Исаевиче как о человеке думающем, переживающем за других людей. Готовясь к этой встрече, мы много говорили о том, что образ Солженицына в расхожем сознании воспринимается как образ холодной глыбы, совершенно равнодушной и безучастной к тем, кто его окружает. Встречи с Н.А.Струве, Ж.Нива, И.Е.Мейке разрушают этот стереотип. Я уж не говорю о том, что встреча с настоящим свидетелем всегда даёт прикосновение к нерву истории. И наконец, забавный эпизод из жизни Александра Исаевича, о котором нам поведала Ирина Емельяновна. В раковом корпусе Ташкента никто не мог предположить, что среди них находится человек, который потом станет одним из великих писателей XX века. Из всех больных Солженицын выделялся своей молчаливостью и тем, что всё время что-то записывал. Донцова-Дунаева с беспокойством поговаривала: «Он ещё на нас напишет...»

В марте этого года наше братство с радостью узнало, что Солженицынская премия будет вручена двум замечательным людям — Ю.М.Кублановскому и большому другу братства О.А.Седаковой.

В ноябре Ольга Александровна снова приехала в Архангельск, но в этот раз её приезд предваряла выставка (та же, что была в «Русском пути» в день вручения премии). А сама встреча с лауреатом Солженицынской премии и одной из «невидимок» (в широком понимании этого слова) началась с чтения письма Наталии Дмитриевны Солженицыной, обращённого к общественности Архангельска.

«С радостью следим мы за становлением у вас традиции встреч с замечательными людьми — теми, чья жизнь и работа в гнетущие десятилетия обеспечивала, ткала непрерывность культурного самосознания России. Среди ваших гостей были и близкие нам люди, друзья наших изгнанных лет — Никита Алексеевич Струве, четверть века возглавляющий парижское издательство «ИМКА-Пресс» и журнал «Вестник РХД», Жорж Нива, яркий европейский славист, Дмитрий Пospelовский, известный историк русской церкви XX века...»

Встреча этого года выгодно отличалась от встреч предыдущих лет. Газета «Правда Северо-Запада» писала о ней так:

«Будто затрубил невидимый трубач, и вдруг откуда-то из своей повседневности, деловой и бытовой замотанности вышли люди.

Сколько их? Да целый полный актовый зал в Добролюбовской библиотеке. Именно он вместил в себя всех, кто хотел послушать стихи гости нашего города – поэта Ольги Седаковой, которая, напомним, приехала по благословению владыки Тихона и по совместному приглашению областной библиотеки и Заостровского прихода.

<...> Когда показывают хронику, на которой запечатлены очень хорошие лица, слушающие поэзию в шестидесятых–семидесятых, невольно возникает мысль: а где эти люди сейчас? Если не они, то их наследники, преемники? Неужели всё это было напрасно? Нет, ничего не бывает напрасно. И та традиция, которая была заложена во времена недолгой “оттепели” и такого, казалось, бесконечно тянувшегося застоя, не просто продолжается сейчас. Она обрела новые черты, новую направленность. И стала уже традицией нашего времени.

<...> И вот снова в зале лица с тем самым почти забытым выражением. Они никуда не делись, и поверка показала – их немало. Только поводов для встреч не так уж и много. Может быть, поэтому после окончания запланированной части вечера, когда Ольга Александровна читала стихи и отвечала на вопросы, началось неформальное общение. И не только с гостьей, люди просто разговаривали друг с другом. Такой повод встретиться...»¹

Заканчивая своё затянувшееся выступление, я хотел бы сказать, что само наше братство в определённом смысле является отголоском явления Солженицына. Это братство воспринимает, рецепирует творчество Александра Исаевича не тем, что хочет превратиться в клуб его почитателей, а тем, что хочет жить не по лжи, т.е. хочет жить в *настоящей* реальности, где миражи теряют свою власть над людьми. Это братство хочет посылно выявлять невидимый мир настоящей жизни и культуры, которая пока ещё сокрыта от множества наших современников.

Мы все помним удивительные слова А.А.Ахматовой о Солженицыне: «Мы и забыли, что такие люди бывают». Эти слова сохраняют свою актуальность и сейчас. Они справедливы не только по отношению к Александру Исаевичу, но и ко многим людям, причастным к «явлению Солженицына».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Правда Северо-Запада. 2003. 26 ноября.

Жорж Нива

ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)

«ЖИВОЙ КЛАССИК»

Статус «живого классика» – парадоксален. Солженицын – «классик». Его читают в школах, о нём пишут диссертации. Его место указано во всех учебниках как литературы, так и истории. Однако он *живой классик*. И может ещё удивлять, раздражать, увлекать за собой новыми текстами. Что и случилось у нас на глазах в России и за рубежом с книгой «Двести лет вместе». Он всё ещё полемист, взывает по-новому к публике, остро и порой едко отвечает на критику. Полемист он – юного характера. Наверное, кроме Толстого, никто никогда не занимал такую позицию. И это замечательно.

От первых проб литературных, когда он на ощупь искал жанр, соответствующий теме, теме раскрытия правды о ГУЛАГе, остался навсегда один принцип – диалогический принцип. «Республика труда» – может быть, не лучшее его произведение, но этот текст, не «горе от ума», а своего рода «горе от утопии», навсегда установил в творчестве Солженицына диалогический принцип. Отметим по пути, что его часто обвиняют в монологе, в неумении вести диалог со своими современниками. А вот именно, по-моему, всё развивается с этой первой пьесы, по принципу диалога. И повесть, принёсшая ему всемирную славу в один миг, «Один день Ивана Денисовича» именно диалогически развивается. Не только диалог Ивана с Алёшей-баптистом, идущий, конечно, от диалога «русских мальчиков» у Достоевского, но вся повесть диалогически обращена к читателю. Как и будет обращён к читателю «Архипелаг ГУЛаг» или, намного позже, «Двести лет вместе».

Повесть «Один день» построена по принципу этого диалога с современником, с одной стороны, и по принципу классического театра XVII века: единство времени, места, действия. И это сочетание породило шедевр, т.е. текст, полностью адекватный теме. Тема первой «глыбы» солженицынской – это превращение «утопии у власти» (выражение истори-

ка Михаила Геллера) в новую систему рабства, с одной стороны, а с другой стороны — рождение нового, духовно свободного человека: Иван Денисович, Матрёна, Олег... Самые жгучие главы математической мистерии «В круге первом» — это именно диалоги, диалоги эзков, выработавших внутреннюю свободу в недрах рабовладельческой системы. Стоицизм Марка Аврелия и француза Ля Боэси воодушевляет эту мистику. И раб может быть свободен. «Архипелаг ГУЛаг», конечно, более сложный текст, это и энциклопедия, и эпос-буфф, и исповедь (по следам Августина, не Руссо), но повсюду также господствует диалогический принцип.

Мы знаем, видим контраст этой книги с «Колымскими рассказами» Шаламова. «Архипелаг» ближе к Герцену «Былого и дум», чем к «Запискам из Мёртвого дома» Достоевского. Именно из-за иронии, автоиронии, показа духовных страданий и диалога с современником.

От «Одного дня» до «Архипелага» развивается принцип «расширения», расширения кругозора, дыхания, «окоёма» хроникёра ГУЛАГа. Нарративные тиски трёх единств остались, но расширились до пропорций грандиозной поэмы о насилии.

«Красное Колесо» — вторая глыба. Она связано с первой, она ищет причины, это своего рода гигантский *flashback** исторического характера.

Солженицын — историофаг... Пожиратель источников, мемуаров, отчётов. Он работает не как историк, копающийся в архивах, а как поэт, превращающий читанное в виденное. Или, чтобы использовать одно из его любимых слов, перемалывающий огромную массу зерна. Толстой бредил о том, как рассказать полностью вчерашний день. И сталкивался с парадоксом Ахиллеса и черепахи. Таким же образом Солженицын сталкивается с таким же парадоксом, но в гигантских масштабах. И не помогает ему семейная хроника, как Толстому в «Войне и мире».

Сроки отмерены, но повествователь всё дробит и дробит до мельчайших нарративных единиц. Может быть, эта гигантская попытка смотреть истории (т.е. людям, живущим в потоке истории) в лицо где-то была обречена на поражение. Бывают моменты, когда ему идёт на помощь гигантская метафора, метафора войны, как гумна, или убийцы Столыпина, как акробата в цирке. Эти метафоры скрепляют текст, замедляют дробление текста, но процесс расширения и раздробления идёт мощным ходом, он, кажется, неотвратим.

«Отмеренные сроки» — это условность, математическая гипотеза. Бич пляшет по гумну истории; как изобразить миллионы судеб, лиц, искривлений?

* Здесь: кадр из прошлого (англ.). — Ред.

А вот в 90-е годы прошлого века бич как бы снова пляшет, убийцы-трапезисты снова летают под куполом цирка. Солженицыну кажется, что вновь Февраль 17-го свирепствует на дворе.

«А тем временем сложил-таки я с себя в 1990 г. полувековые доспехи “Красного Колеса”, кончил! Что дальше!

Что дальше!

Оглянулся, приотпахнул, — а неоконченной работы сколько! Своего неразобранного!»

Автор накопил больше материала, чем сам сможет использовать. То есть история прёт на него со всех концов. Она просится, умоляет его дать ей Форму. Кто читал все эти титанические массивы письма, не может не быть потрясён таким мощным напором Истории, т.е. недореализованной, недоплощённой материи. Тысячи немых голосов просятся наружу, немо кричат из-под тяжёлых глыб лжи, безразличия или просто бесформенности.

Солженицын, как мне кажется, не историк в профессиональном смысле этого слова (хотя сколько профессиональных историков могут ему позавидовать!), он поэт истории. Я не вижу другого параллельного ему явления, чем Мишле в нашей французской историографии.

Опять цитирую из последних глав «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»:

«Начать с массива тамбовских собранных материалов, и сколько ездил за ними по области — ведь всё это я прочитал для “Красного Колеса”. А теперь, уже видно, отрезано, не войдёт».

То есть крестьянская судьба, Тамбовский мятеж, Вандея русская, родина солдата Благодарёва... вот целый массив, целая сеть нитей, ведущих и к «Красному Колесу», и к «Архипелагу ГУЛагу», и к «двучастным рассказам» (через образ Жукова). И всё останется недосказанным!

Так что драматический диалог ведётся не только между обитателями первого и других кругов ада, не только между автором и его адресатом — нами всеми, людьми XX и начала XXI века, наивными, развращёнными продуктами утопии у власти (и после власти!) — но и между материалом истории и самим этим историофагом, историософом и поэтом истории! И также между жанрами, которые борются за поле битвы этого писателя.

Как ни широки рамки выбранного им жанра, всё равно в жанре этом писателю тесно. Тесно в «крохотке», тесно в «Красном Колесе»! И всё

равно история, выброшенная за борт жанра, история, как он сам выражается, «оставшаяся за ободом» жанра, — прёт и прёт и умоляет художника... пиши меня, выскажи мои муки!

Кончено «Колесо». Оно дополнено приложением с сухим изложением «оставшегося за ободом» материала. Во истине чувствуется и подвиг, и поражение историка-демиурга.

Но и другой ещё диалог ведётся, между настоящим и прошлым, между накопленным материалом «Колеса» и настоящим, как его переживает Александр Исаевич со дня своего возвращения на Родину. «Февраль» повторяется! повторяется раздор, потеря ориентира, безответственность власть имущих, сумасшедшая и опасная игра трапезистов. Один Февраль соперничает с другим Февралём. В оценках современности у старого мэтра чувствуется даже головокружение, как бы наваждение... Он криком и воплем, угрозой и плачем взывает о помощи, предостерегает, карает! Мне кажется, что и здесь диалог продолжается, но с примесью именно «наваждения». Гора идёт на гору. Рок повторяется...

Мы не обязаны следовать за всеми его выговорами и осуждениями. Но как не дрожать именно от этих пророческих воплей, взываний о помощи? Публицист? да, он — и публицист. Решает, осуждает, приговаривает, хочет больно бить. Бьёт, и бьёт больно! Но публицист в нём, при всей видимой строгости и неумолимости, — тоже уязвим, кроток, слаб. Просит об ответе. Просит всех современников об ответе. А ответ не следует. Ибо эпоха не внимает, стремительно бежит без оглядки. А солженицынская эпопея — это оглядка, оглядка Титана. Но нужна ли нам сейчас такая «оглядка»? Оглянулся Орфей, и исчезла Эвридика. Не полемист поглощает классика, а классик поглощает полемиста. И классика не выносят, или, как в пьесе Бродского «Мрамор», классиков бросают в мусоропровод...

Как не видеть, что и в «Двести лет вместе» это тоже зов? Пусть неуклюжий зов... пусть книга сложная, длинная, слишком (как и «Колесо») клонится в сторону дидактизма... Но диалогическая структура всё та же. Она полностью конструирует текст, придаёт свою энергию этому массиву нарратива, испещрённого цитатами. Эта книга, как объясняет нам автор, также осталась «за ободом». И она умоляла автора написать её. Муки и сомнения этого рождения чувствуются. Я удивляюсь, что этого не чувствуют критики, напавшие на Солженицына. Всё остальное подлежит критике, обсуждению, сомнению... Но эта диалогическая структура просто структурно прирождённый элемент книги.

А последние главы — попытка превзойти муки диалога, угадать тот «конец истории», таинственный и ещё спрятанный в лозе Божьем —

конец Исхода, примирение христиан и евреев, снисхождение утешителя...

Что вздыхает об этом всё творчество Солженицына — мы знаем уже с «Матрёнина двора». Что эти отблески утешителя придают смысл отрывкам и хаосу Истории — это ощущается повсюду в этих мощных массивах нарратива. Это остановки в потоке Истории. Это капли росы, капли Вечности. Наверное, всё остальное, эти массивы письма, эта огромная молотьба Истории в «отмеренных сроках» — написано ради этих капель! И мы читаем эти массивы, преодолеваем эти титанические поля прозы в отмеренных тактах — тоже ради этих всплесков. Да, диалогическая структура ведёт к этим моментам единства. Не единства мономана, глашатая одной идеи, а единства слова и дела, пишущего и читающего, истории накопленной и истории рождающейся, единства диалога в своём совершенстве, единства Грааля.

Ирина Роднянская
МОСКВА

ЛЕТОПИСЕЦ РОКОВЫХ ЧАСОВ РОССИИ

Я человек очень «политизированный». Теперь это слово как отрицательный эпитет часто употребляет среда гуманитариев, особенно журнально-газетная. Что ж, пускай. Я всё время мысленно нахожусь в информационно-дискуссионной гуще: в столицах шум, гремят витии, идёт словесная война... Не только в столицах. Нельзя сказать, что во глубине России — вековая тишина, этого уже нет.

А во времена принудительной тишины буквально каждое ловимое нами слово Александра Исаевича было не вопросом, а ответом. Помню, как одна моя сослуживица, когда я спросила её, откуда она знает то-то и то-то и почему так думает, — подняв взор кверху, ответила: «Он сказал». И это было для нас именно так.

Но теперь — во всей этой сумятице, в этой словесной и политической войне, от которой я не в силах отрешиться, — Александр Исаевич Солженицын стал не только творцом, гигантской «глыбой» художественных и исторических исследований, но, как здесь уже было точно сказано, «совопросником». Я всё время задаюсь вопросами, и он для меня совопросник. Впрочем, не знаю, насколько мои коллеги по гуманитарному цеху, мои коллеги по пресловутому «ордену интеллигенции» слушают его таким же образом.

Солженицын всю жизнь пишет исторический образ России, обращённый в будущее, в современность и в будущее. Но скажу я не об этом монументальном труде, а лишь о том, что нынче меня волнует на фоне злобы дня. Употреблю слово «узлы» не в том строгом и новаторском композиционном смысле, в каком его использует «повествование в отмеренных сроках», а просто вспомню о двух исторических узловых моментах.

Первый из них вот какой. В течение тех многих лет, когда слово Солженицына уже было абсолютно доступным, поражает *неуслышанность* того, что он написал про Февральскую революцию. Скажем, для меня

сегодняшняя ситуация (например, когда абсолютно не за кого голосовать на думских выборах) связана с тем, что весь анализ Февральской революции как гибельного рокового часа в новейшей истории России полностью прошёл мимо ушей тех, кто делает политику, кто пишет о политике, говорит о ней и строит её перспективы. Наша так называемая «правая часть спектра» образованного общества — она вся происходит из Февраля. Все предупреждения, которые были сделаны в «Красном Колесе», совершенно не дошли до неё. И люди, которые не хотят голосовать за другую часть спектра, просто вынуждены или не идти на выборы, или, скрепя сердце и скрежеща зубами, голосовать за тех, кто повторяет февральские ошибки 1917-го. Меня поражает эта глухота. И когда я начинаю разговаривать с коллегами и лидерами журнальной гуманитарии, выясняется, что они во многих случаях даже не прошли инициации «Вехами» — никакой рефлексии над идеями веховцев, «никто не помнит ничего».

Если так будет дальше, если ничего не обозначится между нашими так называемыми правыми, которые таковыми никогда не являлись, и, с другой стороны, декларациями г-на Рогозина, то огромный вакуум, который как раз историософскими идеями Солженицына мог бы быть ежели не заполнен, то, во всяком случае, призван к заполнению, — этот вакуум снова нас погубит.

Второй «Узел», побуждающий меня что-то сказать, — это такой вопрос, на который у меня нет даже внутреннего подобия ответа. Относительно российского Февраля у меня есть хотя бы определённая убеждённость, выработанная отчасти самостоятельно, отчасти вслед сказанному Александром Исаевичем. Что касается второй темы, тут я теряюсь.

Это вопрос о территории нашей страны — т.е. исторической территории Империи и, если угодно, постимперии. Меня поражает фантастическая смелость, с которой Солженицын в статье, впервые опубликованной в «Новом мире», написал, что многие завоевания, совершённые в царское время, начиная с XVIII века и вплоть до войны 1914 года, через русско-турецкие войны, через кавказскую главным образом войну, завоевание Туркестана и пр., — что они напрасны. Когда я впервые у него это прочитала, у меня глаза полезли на лоб. Потому что весь мой имперский, не скрою, настрой — все звучавшие во мне исторические имена Потёмкина, Скобелева и т.д. — не желал с этим соглашаться. Признать, что всё это зря. И я до сих пор не могу это проглотить.

Но, с другой стороны, жизнь ставит этот вопрос. Мы обязаны что-то тут понять. Солженицын призывает к объединению славянских народов, которые оформились теперь в самостоятельные государства, и Се-

верного Казахстана, где живёт огромное число русских; он ставит под сомнение искусственные границы, проведённые когда-то на административной карте СССР. Что России надо «сосредоточиться», как сказал один дореволюционный государственный деятель, — это несомненно, но вопрос о территориальных границах того, что мы называем именем Россия, остаётся совершенно открытым в наших сердцах, что бы ни говорили по долгу службы дипломаты и к чему бы ни склонялся мировой расклад сил. Дипломаты сегодня будут решать, и, возможно, в отрицательном смысле, следует ли ставить вопрос о вхождении Абхазии или Южной Осетии в состав Российской Федерации. Но ведь мы сами ещё не решили для себя, хотим мы жить в Империи или в допетровском «царстве».

Об этом ведутся сейчас жёсткие споры. И поразительно, что Александр Исаевич поставил под вопрос то, что даже классические славянофилы, будучи противниками дела Петра, не оспаривали, — распространение Империи вширь. Отсюда постановка кардинального вопроса: надо понять — независимо от сегодняшних реалий, ибо реалии создаются сменяющимися друг друга людьми и они, реалии, изменчивы, они не навеки, — надо понять, что же такое Россия в её территориальной сути. Этот вопрос, повторю, не для меня одной далеко не решённый.

Однако обозначила я эти две темы скорее для примера. Дело в том, что историософия Солженицына, по крайней мере до этой конференции, совершенно не прочитана, не сведена воедино и не поставлена перед нами как перед свидетелями поворота, который совершило колесо российской истории. Теперь оно, как где-то написал Солженицын, «жёлтое»; я не берусь определять его цвет, но оно всё катится и куда-то поворачивает, вираж очень крутой. А мы пока мало что обдумали из того, что зовёт нас обдумать человек такого масштаба.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	5
-----------------------	---

Часть первая

А. СОЛЖЕНИЦЫН. ИЗ НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Из дневника из «Дневника Р-17»	9
Из путевых записей, 1994	29
Беседа с Витторио Страда (20 октября 2000)	36
Интервью с Петером Холенштейном (Декабрь 2003)	48

Часть вторая

РОССИЙСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ОБ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНЕ

Л.Сараскина. Код Солженицына (Россия. 1996. № 1)	59
Т.Иванова. От лица, совершившего подвиг (Книжное обозрение. 1996. № 38)	63
Ю.Кублановский. Солженицын при демократии (Труд. 1997. 26 февраля)	69
В.Берестов. Возвращенец (Стас. 1997. Май № 5)	74
О.Павлов. «Солженицын — это Солженицын» (Москва. 1998. Ноябрь)	79
М.Золотоносов. Бык у обломков дуба (Московские новости. 1998. 29 ноября — 6 декабря)	82

А.Антонов. Пророк в своём отечестве и мире (<i>Экспресс хроника. 1998. 7 декабря</i>)	87
Ю.Кублановский. Солженицын в изгнании (<i>Труд. 1998. 9 декабря</i>)	90
В.Крупин. Жил и живёт не по лжи (Несобственно-прямая речь) (<i>Парламентская газета. 1998. 10 декабря</i>)	94
Г.Васюточкин. Упреждающий голос (<i>Вечерний Петербург. 1998. 11 декабря</i>)	100
М.Новиков. Проблеме Солженицына – 80 лет (<i>Коммерсантъ. 1998. 11 декабря</i>)	105
Ю.Крохин. Архипелаг судьбы (<i>Российская газета. 1998. 11 декабря</i>)	108
М.Соколов. Почвенный Штольц (<i>Известия. 1998. 11 декабря</i>)	111
А.Архангельский. Один в поле воин (<i>Известия. 1998. 11 декабря</i>)	114
А.Немзер. Художник под небом Бога (<i>Время МН. 1998. 11 декабря</i>)	121
Г.Владимов. Список Солженицына (<i>Московские новости. 1998. 6–13 декабря</i>)	124
Е.Попов. Весёлый Исаич (Чёрный юмор на красной подкладке) (<i>Огонёк. 1998. 14 декабря</i>)	135
М.Новиков. Последний пророк русской литературы (<i>Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 1998. 15 декабря</i>)	140
П.Лаврёнов. Из уст в уста (<i>Книжное обозрение. 1998. 15 декабря</i>)	144
С.Аверинцев. Мы и забыли, что такие люди бывают (<i>Общая газета. 1998. 10–16 декабря</i>)	151
Л.Аннинский. Даёт Бог честь тому, кто может снести (<i>Общая газета. 1998. 10–16 декабря</i>)	154
И.Виноградов. Парадокс великого затворника (<i>Общая газета. 1998. 10–16 декабря</i>)	156
А.Музыкантский. Если бы власть читала его книги... (<i>Общая газета. 1998. 10–16 декабря</i>)	160
Е.Яковлев. Земский учитель свободы (<i>Общая газета. 1998. 10–16 декабря</i>)	162
о. Георгий (Чистяков). Прочла ли Россия Солженицына? (<i>Русская мысль. 1998. 10–16 декабря</i>)	165
В.Непомнящий. Солженицына надо заслужить (<i>Культура. 1998. 10–16 декабря</i>)	170
В.Леонидов. Возвращение русского зарубежья, или Библиотека Солженицына (<i>Российские вести. 1998. 16 декабря</i>)	174

Г.Померанц. Одиночество пророка (Он не склонен к диалогу. Мы к диалогу готовы) (<i>Век. 1998. № 48</i>)	183
В.Юдин. Феномен Солженицына (<i>Вестник Тверского государственного университета. 1998. Декабрь. № 6</i>)	187
П.Лаврёнов. Образ Времени в творчестве А.И.Солженицына (<i>Доклад сделан на Солженицынских чтениях в редакции журнала «Москва» 22 марта 2000 года</i>)	195
А.Зубов. Между отчаянием и надеждой: политические воззрения А.И.Солженицына 1990-х годов. (<i>Посев. 2000. № 12</i>)	205
О.Мраморнов. «Перерождение гуманизма» (<i>Независимая газета. 2001. 19 января</i>)	215
Г.Гачев. Человек Судьбы в поле открытого боя (<i>Московский комсомолец. 2003. 8 декабря</i>)	220
А.Яхонтов. Солженицын как зеркало русской интеллигенции (<i>Московский комсомолец. 2003. 7–13 декабря</i>)	223
Ю.Карякин. И ещё неизвестно, что он скажет (Александру Исаевичу Солженицыну 30 035 дней (или приблизительно 85 лет)) (<i>Новая Газета. 2003. 9–10 декабря</i>)	227
М.Поздняев. Рок-пророк (<i>Новые Известия. 2003. 11 декабря</i>)	235
А.Немзер. Душа и колючая проволока (<i>Время новостей. 2003. 11 декабря</i>)	237
Ю.Кублановский. Не уступающий времени (<i>Труд-7. 2003. 11–17 декабря</i>)	240
В.Линник. Исполин (<i>Слово. 2003. 19–25 декабря</i>)	245
Л.Донец. Круг первый (Фильм о Солженицыных) (<i>Литературная газета. 2003. 24–30 декабря</i>)	252

Часть третья

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. К 85-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ» (Москва, 17–19 декабря 2003 г.)

Ю.Лужков. Участникам Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества. К 85-летию писателя»	259
---	-----

Ю.Осинов. Участникам Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества»	260
Н.Струве. Явление Солженицына. Попытка синтеза.	262
С.Шмидт. Солженицын – историк	266
А.Музыкантский. Человек в своём Отечестве	270
М.Николсон. Дом и «дороженька» у Солженицына.	274
Л.Сараскина. Исторический образ XX века в творчестве А.И.Солженицына.	287
Т.Клеофастова. Творчество А.Солженицына в контексте XX века	302
А.Климов. Тема нравственного пробуждения у Солженицына.	315
О.Седакова. Маленький шедевр: «Случай на станции Кочетовка»	322
И.Золотуский. Александр Солженицын и «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В.Гоголя	332
В.Распутин. Тридцать лет спустя (публицистика А.И.Солженицына начала 1970-х годов, до высылки на Запад)	339
Л.Бородин. Солженицын – читатель	349
Е.Чуковская. Александр Солженицын. От выступления против цензуры к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГе	352
А.Урманов. Концепция Эроса в творчестве А.Солженицына	371
Ж.Гуансюань. А.Солженицын в китайской критике	385
Р.Темпест. Толстой и Солженицын: встреча в Ясной Поляне	393
В.Захаров. О глубинных совпадениях Солженицына и Достоевского.	409
П.Сливаковский. Полифоническая картина мира у Ф.М.Достоевского и А.И.Солженицына.	414
М.Петрова. Первый опыт работы текстолога с автором	424
О.Лекманов. Иваны в «Иване Денисовиче»	437
А.Ранчин. Тема каторги в «Архипелаге ГУЛаге» А.И.Солженицына и в русской литературе XIX века. Некоторые наблюдения.	441
Е.Иванова. Предание и факт в судьбе «Архипелага ГУЛага»	449
А.Зубов. Самопознание народа в творчестве Солженицына.	459
С.Шешунова. Православный календарь в «Красном Колесе»	468
Н.Щедрина. Природа художественности в «Красном Колесе» А.Солженицына	478

А.Ванюков. «Аддиг Швенкиттен» А.Солженицына. Концепция памяти и поэтика жанра	498
Ю.Кублановский. Проза зримая, слышимая, обоняемая... (Опыт прочтения военных рассказов Александра Солженицына)	514
П.Фокин. Александр Солженицын. Искусство вне игры	519
Г.Гачев. Солженицын – человек судьбы, орган и орган истории	529
о. Иоанн (Привалов). Явление Солженицына и опыт его церковной рецепции	533
Ж.Нива. «Живой классик»	541
И.Роднянская. Летописец роковых часов России	546

М-431 **Между двумя юбилеями (1998–2003):** Писатели, критики и
литературоведы о творчестве А.И.Солженицына: Альманах /
Сост. Н.А.Струве, В.А.Москвин. – М.: Русский путь, 2005. – 552 с.

ISBN 5-85887-205-0

Альманах содержит новейшие публикации А.И.Солженицына, а также фрагменты из его неопубликованных сочинений (первый раздел). Во втором разделе собраны наиболее заметные выступления отечественных писателей, публицистов, критиков и литературоведов, посвящённые жизни и творчеству А.И.Солженицына и приуроченные к его 80- и 85-летнему юбилеям. Третий раздел составили материалы Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества. К 85-летию писателя» (Москва, 2003 г.).

ББК 83.3 (2Рос)6

МЕЖДУ ДВУМЯ ЮБИЛЕЯМИ
1998–2003

Писатели, критики, литературоведы
о творчестве А.И.Солженицына

Альманах

Составители *Н.А.Струве, В.А.Москвин*

Редактор *Т.В.Есина* Художник
С.А.Стулов Корректор *И.В.Леонтьева*
Компьютерная верстка *Л.В.Петрашиной*